



СЕМЕН
СКЛЯРЕНКО

♦
Владимир



СЕМЕН
СКЛЯРЕНКО



Владимир



РОМАН

*Авторизованный перевод с украинского
А. Дейча и И. Дорбы*

МОСКВА
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
1991

ББК 84Ук7

С43

Художник

М.Шевцов

Скляренко С.Д.

С43 Владимир: Роман/ Авториз.пер. с укр. А.Дейча и И.Дорбы.— М.: Дружба народов, 1991.— 512 с.

ISBN 5-285-00119-6

Исторический роман "Владимир" известного украинского писателя Семена Дмитриевича Скляренко (1901-1962) — это яркое эпическое полотно, воссоздающее историческую обстановку, политическую атмосферу Киевской Руси. В центре повествования, основанного на документальном материале, — образ легендарного князя Владимира, отстаивавшего твердую государственную власть и единство Русской земли.

С 4702640201-031
018 (01)-91 Без объявл.

ББК 84Ук7

ISBN 5-285-00119-6

© Издательство "Дружба народов", 1991, оформление



КНИГА ПЕРВАЯ

СЫН РАБЫНИ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I



осле гибели князя Святослава воин Микула добирался до Киева и родного Любеча очень долго.

В ту ночь на острове Хортица, когда на русских воинов вероломно напали печенеги, когда погибла передовая дружина, а на рассвете Святослав с несколькими воинами пошел в последний бой с врагами, Микула защищал его до конца, готов был жизнь отдать, чтобы спасти князя, но помочь не смог — Святослав упал мертвым на холодные камни, Микула, жестоко израненный, без памяти повалился рядом с ним.

Словно сквозь сон, вспоминал Микула похороны князя, лодию с телом Святослава, объятую огнем, дым над островом и днепровскими водами, воинов, стоявших среди холодных песков, а потом — тьму в очах, скованные руки и ноги, смерть...

Но это была не смерть. Крепчайшего корня человек, живучий, как отцы его и деды, был Микула-любечанин. Воины княжеской дружины после смерти Святослава взяли недвижные тела Микулы и других раненых, на руках пронесли мимо порогов, а потом на веслах и порой под парусами поплыли вверх по Днепру.

Однажды утром Микула пришел в сознание, оперся на руки, приподнялся, сел.

Он лежал в лодии, которую гнал против течения десятков жилистых рук. Впереди, сзади, со всех сторон, медленно двигалась вверх по воде сотня-другая лодий — все, что осталось от воинства князя Святослава.

— Вот как судил Перун, — вздрагивая на свежем ветру, сказал Микула гребцам. — Кости срослись, кожу затянуло — опять словно бы такой, как был...

Чудной человек Микула! Ему и невдомек было, что стал он совсем не таким, как прежде: волосы сильно поседели, тело и лицо покрылись морщинками, глаза выцвели, багровые шрамы на лбу и вовсе изменили его.

— Ого! — тихо заговорил Микула сам с собою. — Вижу, и щит, и меч мой уцелели, — он прикоснулся к ним рукой, — и дань моя не пропала, — Микула заметил у борта свою котомку с пожитками и семенами гречихи, — все, все цело, была бы только сила в руках и ногах... Домой, домой!.. — Он глубоко вдыхал днепровский воздух, упивался запахами трав и цветов.

Так возвращались из далекого похода против ромеев воины князя Святослава. Было их немного: из Киева вышли десятки тысяч — теперь же все уместилось на двух сотнях лодий, и многие были искалечены, тяжело ранены.

Вокруг буйствовала весна, на глазах у воинов росли, расцветали травы. Они видели, как на вспаханных землях над Днестром тянулись к солнцу, колосились, цвели, наливались хлеба. Ратники шли под кручами где волоком, а где на веслах, от веси до веси, от города до города, от переволоки на Воинь, от Сакова до Родни, к Зарубу, Ивану, а там мимо Триполя и Витичева направились к Киеву.

Киев!!! Как часто и с какой любовью думали они в походах, в чужих землях о родном стольном городе над Днестром! На поле брани, когда приходилось им стоять лицом к лицу с врагами, в кровавых сечах под Адрианополем, Преславою, Доростолом, когда над головами витала смерть, в длинные бессонные ночи, когда они, окровавленные, израненные, лежали на холодной земле и не знали, что сулит им грядущий день, всегда и повсюду одна и та же мысль об отчизне, о Киеве поддерживала их, придавала им силы и мужества.

И вот за Витичевским поворотом, когда лодии миновали ослепительно желтый остров и выплыли на широкий плес, вдали открылись перед ними зеленовато-синие горы, темные очертания длинной стены на них, золотистые крыши, крутые склоны предграды.

На лодях все вскочили. Торжественная тишина воцарилась над Днестром — гребцы опустили в воду свои огромные весла, кормчие оставили рули, только вода журчала за бортами, да где-то глухо ударила, упав в воду, подмытая течением глыба земли.

— Люди! Киев! — зазвучало внезапно с одной лодии, с другой, третьей...

И нечего греха таить, у многих из этих бывалых воинов, которые никогда ни перед чем на свете не дрогнули и не отступили, сильнее забились сердца, предательская влага выступила на глазах — о, родная земля, как сладка ты еси!

А гребцы уже взмахивали веслами, кормчие направляли теперь лодии прямо на горы, онемевшие руки наливались силой, мускулы напрягались, лодии выровнялись, собрались в ключи и так полетели вперед, что радуги брызг заискрились над ними, вода закипела за кормами.

До Киева уже давно, еще ранней весной, долетела весть, что воины князя Святослава плывут домой по Днепру. Но эта весть была не радостной. Когда пять лет тому назад Киев провожал воинов в далекий поход, их было тогда на пятистах лодиях двадцать тысяч, да сухопутно шли через земли тиверцев да уличей еще тридцать тысяч. Теперь все они плывут на лодиях — сколько же лодий вырвалось из черной пасти Русского моря, сколько воинов — отцов, сыновей, братьев — несут те лодии на себе?!

В Киеве поджидали, с рассвета до ночи глядели на низовья Днепра: не видно ли там знакомых ветрил, не возвращаются ли воины из похода?

И в то время как воины князя Святослава со стороны Витичева смотрели на Киев, там с холмов сразу увидели лодии, повсюду понеслась весть, что лодии плывут, что воины возвращаются домой.

Множество людей кинулось к Почайне, тут были горяне, ремесленники и кузнецы из предградья, купцы, смерды и убогие люди с Подола. Когда лодии стали приближаться к Киеву, Боричевым взвозом с Горы сошел окруженный воеводами и боярами Киевский стольный князь Ярополк.

Он остановился на высоком пригорке над Почайной впереди всех, в белом, расшитом золотом платне, с красным корзном на плечах, в сапогах из зеленого хоза, с мечом у пояса — молодой, прекрасный лицом сын князя Святослава.

Лодии приближались, вот они развернулись широким полукругом, стали поворачивать к берегу, прежде выкрашенные в красный, зеленый, голубой цвета, украшенные вырезанными из дерева пучеглазыми турами, вепрями, чудищами, а теперь темные, опаленные жарким солнцем, овеванные морскими ветрами.

Скрипел песок. Лодии одна за другой останавливались у круч. Безмолвно стояли люди на берегу. Сколько их, тех лодий? Десять, двадцать, сто? О боги, спасите нас, как мало! Воины на лодиях вставали, широко раскрытыми тревожными глазами смотрели на берег. Оттуда за ними следили бесчисленные женские, мужские, девичьи глаза.

Первой из лодии вышла старшая дружина. Что несут воины на высоко поднятых руках? О, это меч и щит князя Святослава! За ними один за другим стали выходить и остальные.

Почему же они, сойдя на берег, не бросаются к своим родным и близким, а стоят молчаливые и задумчивые? Вот кто-то из старшей дружины — это воевода Рубач, что смотрит иные на свет одним правым глазом, хотя видит, наверно, больше, чем прежде, — приказывает:

— Приготовиться, вои!

И все они медленно, торжественно становятся так, как на поле битвы: старшины, со знаменами князя Святослава и земель, впереди, воины, с копьями, луками, пращами, строятся за ними десятками и сотнями.

Первым выступает вперед воевода Рубач, за ним шагает старшая дружина, идут рынды — они несут знамя князя Святослава, на котором нарисованы два скрещенных копья, а под ним — меч его и щит.

Князь Ярополк принял знамя, у него задрожали руки, когда он взял, вынув из ножен, меч своего отца.

Несколько минут князь Ярополк стоял, держа этот меч. К нему были прикованы тысячи глаз воинов и жителей Киева. Князь должен был, как велели древний закон и обычай, дать роту над оружием князя Святослава.

— Спасибо вам, дружина, что честно сражались за родную землю и утвердили славу Руси, а сюда принесли знамя, меч и щит отца моего князя Святослава! — промолвил, побледнев, князь Ярополк. — Слушайте же меня, дружина, мужи, люди, и пускай слышит это вся Русь... По завету предков моих и отца Святослава, даю роту беречь мир и покой в земле своей, нещадно бороться с нашими врагами, не жалеть для того ни сил своих, ни самого живота!

Подняв меч, он поцеловал его пересохшими губами.

Воинов окружили жители Киева. Теперь уже видно было, кто вернулся живым из похода, а кто ныне почивает в раю, живые бросились к живым, на берегу Почайны раздался великий плач — это плакали отцы, не дождавшиеся сыновей, жены, что потеряли мужей своих, осиротевшие дети.

Прежде чем отправиться в Любеч, Микула пробыл в Киеве несколько дней. Он побывал в хижине ремесленника Мутора, где останавливался когда-то, едучи на брань, рассказал вдове и детям, как погиб в далеком Доростоле их отец, сходил вместе с другими воинами на Подол, где пылал огонь перед статуей бога Волоса, а вокруг кипело торжище; собирался Микула побывать и на Горе — на этот раз он хотел дознаться, куда же делась его дочь Малуша, которая была когда-то ключницей у княгини Ольги.

Оказалось, однако, что попасть на Гору было теперь не легко. К лодиям часто приходили ремесленники из предградья, убогие люди с Подола, один нес воинам хлеб, другой — крынку молока. Они расспрашивали, как воины сражались с ромеями в далекой Болгарии, вспоминали мертвых, молились за их души. А потом, оглядываясь боязливо на Гору, говорили:

— Князь Ярополк — ненасытный и хищный. Сидит вместе со своей дружиной на Горе, отгородился от предградья и Подола, никто из нас не может туда попасть: когда запирают ворота — поднимают мост, откроют ворота — только тогда опустят мост. И почему прячется наш князь? Одни говорят, что он сговаривался с ромеями, другие — что снаряжал послов к полякам, немцам. Может, и правда, может, для них опущены мосты на Горе. Рушится старый покон и обычай, до богов далеко, до князя Ярополка еще дальше...

— И хуже всего то, — потихоньку говорили люди воинам, — что нет ладу между самими братьями, сыновьями Святослава. И повинны в этом не Олег и Владимир, нет, каждый из них сидел на своей земле, каждую весну слал брату Ярополку богатую дань, все туда, на Гору, на Гору!.. Но Ярополку этого мало, поссорился он с князем Олегом, пошел на Древлянскую землю, убил своего родного брата... А теперь куда собрался, зачем сзывает полки из Чернигова, Переяслава, Родни, неужели на брата своего Владимира? О, горе, горе Русской земле!

Грустными голосами рассказывали эти новости киевляне, поникнув сидели и слушали воины князя Святослава. Для чего же, для чего боролись они в чужих землях, если нет мира на родине? Потом они брали свои убогие пожитки,

мечи и щиты, растекались во все стороны по домам, и горькие думы овладевали ими.

Микула тоже слышал такие речи от жителей Киева, но его сердце терзала и своя печаль. Ему оставалось только идти домой, в Любеч, но он все же хотел узнать о дочери Малуше, повидать ее, а может быть, и забрать с собою.

“Как жаль, — думал он, — что не стало князя Святослава. Кто-кто, а уж он-то помог бы мне найти дочку, ведь тогда ночью на острове Хортица князь так сердечно говорил со мною, обещал найти Малушу. И нашел бы, непременно нашел бы ее, ибо слово его всегда было твердо, неуклонно”.

Микула не ошибался. Если бы князь Святослав был жив, он, несомненно, помог бы разыскать Малушу. Князь Святослав сделал бы, наверное, еще много такого, что и не снилось Микуле. Но его не было, помочь Микуле не мог никто.

Настала еще одна ночь. Все вонны князя Святослава уже покинули берега Почайны, темные пустые лодни чернели под высокими кручами, один только Микула еще находился там. На рассвете и он собирался вскинуть котомку на плечи, отправиться в Любеч.

Ему не спалось. Кончался его далекий путь. Хотелось Микуле просто отдохнуть, подумать. И он долго сидел на носу лодин, в темноте, среди тишины, пока небо за Днпром не пожелтело, налилось багрянцем, над лесами и речками левого берега взошел большой ярко-красный месяц, и тут же другой, гораздо больший, но неровный, рябой, вынырнул под кустами в воде.

Ночь сразу ожила: тишина исчезла, над землей потянуло теплым ветерком, сильнее запахло травами и цветами, проснулись даже птицы — раздалось пение запоздалых соловьев в кустах, крики испугнутых уток на песчаных отмелях, тоскливые стоны одиноких куликов, носившихся где-то над водой.

Потом послышались шаги: кто-то шел по тропинке среди деревьев и кустов; шаги раздавались все ближе и ближе, и вот две темные тени обозначились на берегу у лодин.

Микула слегка кашлянул, чтобы там, на берегу, знали, что в лодии человек. И люди на холме услышали его кашель, стали спускаться.

— Добрый вечер, человеце! — прозвучал вблизи голос.

— Добрый вечер, люди! — ответил Микула.

Обернувшись в их сторону, он увидел высокого, одетого в темное платно мужчину, а за его спиной был еще кто-то, как видно, женщина.

— Ты воин князя Святослава Микула? — спросил мужчина.

— Воин Микула... А что?

— Мы принесли тебе поесть, — сказал мужчина. — И платно принесли. Мы слышали, ты ранен.

— Зачем это? — от души удивился Микула. — Мне уж тут еды всякой нанесли вдоволь... А платно у меня еще от похода осталось.

— А тут новая сорочка и ноговицы, — услышал Микула женский голос. — Возьми, воин, я сама спряла, соткала и сшила.

— Спасибо, спасибо! — поблагодарил Микула. — Да что же вы стоите, люди добрые, подойдите ближе, отдохните.

Поздние гости вошли в лодию, сели: женщина у борта, где было совсем темно, мужчина — на месте, озаренном месяцем. Микула увидел, что его лоб пересечен глубоким шрамом.

— Да и ты, вижу, меченный! — сказал Микула.

— Было дело, — махнул мужчина рукой. — Только давно, уже и забылось.

— О нет, — возразил Микула, касаясь своего лба. — Такое, человеке, не забывается!

Пока они разговаривали, женщина молча сидела у борта и слушала. На ней было темное платно, голова укутана темным платком, темным было и лицо. Микула видел только глаза, которые, как показалось ему, были прикованы к нему.

— Куда же ты поедешь? — спросил его мужчина. — И когда?

— Куда же? — отозвался Микула. — Домой, в Любеч. Женщина вздохнула.

— Теперь уже недалеко, — сказал Микула. — Вот побывал я, люди добрые, далече, за морем Русским, за Дунаем-рекой, за горами Родопскими...

— И князя Святослава видел? — спросил мужчина.

Месяц быстро поднимался в небе, он стал меньше, но светлее; в воде от берега далеко к низовью протянулась серебристая дорожка.

Микула расстегнул ворот сорочки, потому что ему вдруг стало душно, и засмотрелся на эту дорожку.

— О-хо-хо! — ответил он пришедшему. — Вы спрашиваете, видел ли? Не только видел, а все время шел с ним плечо к плечу. А в Доростоле, есть такой город над Дунаем, мой меч князю Святославу жизнь спас...

Женщина и мужчина напряженно слушали, и Микула почувствовал, что мог бы вот так говорить о князе и до утра.

— А в последнюю ночь, — продолжал он, — да будет прощен наш князь, мы с ним и спали рядом. Было тихо, как вот сейчас, темно-темно, все спали, только князь Святослав не ложился, да еще я сидел неподалеку. “Ты почему не спишь?” — спросил меня князь. “Сижу, говорю, а спать не хочется... Вода течет — родная вода, звезды вверху, как сторожа, соловьи поют — дух перевести боишься...” — “Правда, — согласился князь, — хороша родная земля, нигде лучшей нет...”

— И больше ничего не говорил князь? — сдавленным голосом спросила женщина.

— О нет, женщина! Очень много говорил... Я ему рассказал о себе, просил в гости приехать, и он обещал, что будет гостем моего дома... Много, много мы с ним тогда говорили... И о дочке я его просил.

— О дочке? — насторожилась женщина.

— А разве я вам не рассказывал о ней? Была у меня дочка Малуша, жила она с нами в Любече, а потом приехал ко мне сын Добрыня, забрал ее сюда, в Киев... Слышал я, будто потом тут, на Горе, Малуша ключницей была у княгини Ольги, да не угодила, послала ее княгиня в какое-то село...

— Откуда же ты, человек, это знаешь? — тихо промолвила женщина.

— А я, когда шел на брань, был в Киеве, попал на Гору, расспрашивал людей о дочке. Вот тогда мне одна женщина, — ее, кажется, Пракседою звали, ключница княжья, — рассказала о Малуше... И молодого княжича Владимира я тогда видел, ключница Пракседа с ним гуляла в саду... А вы что, — обратился Микула к пришельцам, — может, слышали что-нибудь про Малушу, так скажите же, скажите...

— погоди, человек, — сурово перебила его женщина, — ты сказал, что говорил о дочери с князем Святославом? О чем же ты его просил?

— Как же, как же! — отозвался Микула. — Я ему все рассказал, вот как вам, просил помочь разыскать мою Малушу.

— И что же князь?

— “Ты не тужи, Микула, — сказал князь, — будешь в Киеве — найдешь Малушу. И я сам помогу, поищу ее... Жива она и здорова, где же ей быть? Найдем, найдем нашу Малку...” Так сказал князь.

Наступило молчание, необычайно длинное, невыносимое. И мужчина и женщина не отвечали ничего.

— Тебе сказали правду о твоей дочери Малуше, — проговорила наконец женщина. — Она была тут, на Горе, потом княгиня Ольга послала ее в свое село...

— Где же это село? — спросил Микула. — Скажи мне, женщина, я пойду туда, найду ее, заберу в Любеч.

Женщина обернулась лицом к Днепру, долго смотрела на серебристую переливчатую дорожку на воде, и в эту минуту Микула увидел ее нос, подбородок, глаза. Нечто странное, невероятно грустное и даже больше — страшное, неповторимое, родное почувствовал Микула в этих глазах. Но длилось это только одно мгновение. Женщина снова обернулась в сторону Микулы, лицо ее снова стало темным.

— Не ищи свою дочь, воин, — произнесла женщина, — потому что она умерла.

Он вскочил, умоляюще протянул вперед руки.

— Что ты сказала, женщина?! — крикнул Микула. — Нет, мне, должно быть, не то послышалось! Женщина, — он шагнул вперед, — скажи мне правду, неужто она, моя Малуша...

Женщина опустила голову, но повторила твердо, ясно:

— Да, человеке, твоя дочь Малуша умерла.

— Когда?

— Весной... Тогда же, как погиб князь Святослав.

— Вместе с князем Святославом? О, боги, боги! Так скажи же, скажи мне, где ее могила? Если нет ее в живых, пойду хоть помолюсь богам и сотворю жертву.

Женщина промолвила:

— Не найдешь ты могилы Малуши... утонула она в Днепре...

3

Охватив голову руками, сидел Микула, — он не слышал, не видел ничего, что творилось вокруг. Мужчина и женщина немного постояли, попрощались, вышли из лодки, поднялись на крутой берег и пошли тропинкою над Днепром. Так шли они долго, молча среди кустов и деревьев, впереди женщина, за нею мужчина. Наконец женщина остановилась.

Перед ними расстился широкий, осыпанный серебристой росой луг, высоко вверху висел светло-голубой месяц, далеко за лугом катил свои воды Днепр.

— Боже мой, боже мой! — женщина, задыхаясь, схватилась за грудь. — Бедный, несчастный отец мой Микула...

Она пошатнулась и, вероятно, упала бы, но Тур подхватил ее, усадил на какой-то пенек, а сам сел на землю рядом с нею. Потрясенная всем, что случилось этой ночью, Малуша положила голову на плечо Тура. Он осторожно обнял ее за плечи.

— Должно быть, не надо было нам ходить к нему, — проговорил Тур.

— О нет, нет! — ответила она. — С той минуты, как увидела его среди воев, я думала только о нем, знала, что он меня станет искать, должна была повидать его. Теперь стало легче, я услышала все про Святослава: он думал обо мне, собирался искать.

Страшно бледная, даже зеленоватая в призрачном сиянии месяца, Малуша смотрела на луг, небо, Днепр и говорила, словно убеждала себя:

— А отцу я сказала правду. Нет Святослава, нет и меня. Все есть — и небо, и земля, и Днепр, только нет ни князя, ни меня. Нет, Тур, очень хорошо, что мы сходили к отцу, как много я сегодня узнала. Что же еще я могла сказать? Правду? Но тогда нужно было рассказать все — и про князя Святослава, и про Владимира, и обо всем, что я уже давно пережила — бесчестье и позор, муку и боль, все, все... А я не хочу, чтобы ему было так же больно, как мне... Пусть думает, что я умерла, так ему будет легче, лучше — нет Малуши...

Она осмотрелась вокруг, взглянула на небо, луга, Днепр.

— Да и меня тоже нет, — засмеялся Тур. — Я не хотел тебе этого говорить, но сегодня у меня отняли меч, щит и копье... Князю Ярополку гридень Тур не нужен, у него есть другие, молодые, лучшие гридни... Если нету тебя, нет и меня, Малуша!

— Отняли меч, щит и копье? — переспросила, взглянув на Тура, Малуша. — Кто же ты теперь?

— Был гриднем, а теперь — никто.

— Послушай, Тур! Ты говоришь страшные слова! Скажи правду, кто ты: дворянин, смерд, холоп...

Тур засмеялся.

— Я сказал тебе правду, Малуша! Дворянин знает двор, где он должен работать, смерд — хозяина, которому должен служить, хороший хозяин никогда не выгонит холопа, потому что холоп — его руки и сила... А у меня ничего нет, никому я не нужен. — Он на мгновение умолк, потом закончил: — Я человек с поля...

— Как же это случилось, почему?

— Я же сказал тебе, Малуша, князь Ярополк убил брата своего Олега в земле Древлянской, а теперь скликает полки из Чернигова, Переяслава, Родни, собирает новую дружину, и мы, гридни Святослава, ему уже не нужны.

— Значит, тебе дадут пожалованье?

— Пожалованье? — Тур даже засмеялся. — Какое уж там пожалованье! Богатому нужно столько, что бедному ничего не останется. Святославовых воинов Ярополк не пожалует — иные воины ему нужны.

— Почему?

— Князь Ярополк хорошо знает, что мы не поднимем меч против своих братьев.

— На кого же он задумал идти?

— Известно, на Владимира, новгородского князя.

— На сына моего Владимира? — на лице Малуши отразился испуг. — Нет, он не сможет его одолеть, он не убьет его.

— И я так думаю, Малуша! Он хочет его убить, но ему не одолеть Владимира... Нет, Малуша, — добавил он, — и ты и я — мы еще должны жить!

4

Еще издалека, от Стрыева кургана, откуда в ясную погоду видно все вокруг до самых каменных скал, Микула увидел родной Любеч. Пять лет — это было много и в то же время так мало, незаметно промелькнули эти годы в походах на чужбине, должно быть, и в Любече за это время не произошло никаких перемен.

Однако перемены были, и чем ближе подходил Микула к родному селению, тем больше их замечал. Разумеется, перемены эти заметны были не в городище, где когда-то начал селиться их род, — там по-прежнему высились насыпанные тысячами рук валы, за ними уходили в степь, исчезали вдалеке поросшие деревьями могильные курганы старейшин рода и всего племени.

Перемены произошли в самом Любече. Это были уже не выселки членов рода, откуда Микула уходил на рать, а большое селение, целый город.

Больше всего поразил Микулу терем, стоявший выше Любеча на холме. Там, он хорошо это помнил, было дворище его брата Бразда, там стоял раньше лучший, чем у других, но обычный дом.

За эти годы Бразд построил на дворе терем со многими постройками и верхом, с двумя башнями по углам, круглыми слюдяными окошками, поблескивавшими сверху, как глаза хищной птицы, с голубятнями, а вокруг всего двора, охватив, наверно, целое поприще, высилась теперь стена из толстых бревен, на верху которой торчали острые колья...

“Словно князь”, — подумал Микула о брате.

И не один только терем брата стоял теперь на горе на окраине Любеча — справа, тоже окруженный стеной, только без острых кольев, чернел добротный терем еще кого-то из любечан, слева — терем без ограда, возле самого леса — знакомая Микуле с прежних времен корчмь брата Сварга.

Нижняя часть Любеча поразила его: тут были хижинки, большие и маленькие, дымки вились над землянками, повсюду слышались человеческие голоса, у берега покачивались на волнах десятки лодий со спущенными парусами.

“Не тот Любеч, что прежде! — подумал Микула. — Людей словно больше стало, да и расплозились они во все стороны...”

Ему хотелось только одного — поскорее очутиться на родном дворе, но ноги его не слушались. Микула поднимался по приднепровским кручам медленно, останавливаясь, чтобы перевести дух, и взобрался наконец на вал старого городища.

Тут ему повезло: сразу же за валом он увидел женщину; высоко занося над головой тяжелый заступ, она разбивала сухую землю.

— Виста! — закричал Микула. — Эй, Виста, это я! Слышишь?!

Заступ выпал из рук женщины; не веря своим глазам, она вскинула руки, пошла, побежала, бросилась вперед, на склон, на вал городища.

— Мику-у-ла-а! Боги! Ми-и-ку-ула!

Он стоял перед нею — с непокрытой головой в серой от пыли сорочке и таких же ноговицах, с мечом у пояса, со щитом и котомкой за плечами, потемневший от ветров и солнца.

Но Виста ужаснулась, потому что Микула был совсем седой, лоб его пересекал широкий шрам, сквозь расстегнутый ворот видны были рубцы на груди.

Она шагнула вперед, бросилась ему на шею, обняла, поцеловала, орошая слезами лоб, щеки, коснулась руками его груди.

— Цел! Цел! Вот и пришел домой! — промолвил Микула, взглянув на хижину, которая еще глубже вросла в землю, на сломанную телегу, поросшую бурьяном посреди двора, на ржавый лемех рала, стоявший там, где он его оставил, у стены хижины.

И по непонятной причине случилось с ним нечто неожиданное. Из глаз вырвалась, поползла по щеке, прокатилась по седой бороде и упала в траву крупная, как горошина, слеза.

— Не плачь! — сурово сказал он Висте. — Смотри, — уже сердито добавил он, — своими слезами все лицо мне измочила. — Он провел рукой по щеке и смешал свою слезу со слезами Висты. — Ты лучше скажи, как тут?

— Что мне тебе сказать? — ответила она. — Все, как было. Где ты был так долго?

Он обернулся, словно хотел окинуть взглядом пройденный путь.

— Далеко был, — глухо отозвался он. — Ратоборствовали мы. Теперь уже враги сюда не придут... Вот только князя нашего Святослава не стало...

— Слышала. Пойдем домой, пойдем, Микула.

И они двинулись — бегом по склону вала, медленнее по двору.

— Слышала, слышала, — говорила Виста. — От многих слышала про князя. И уж думала, если князь голову сложил, то и твои кости возле него.

— Но я жив! — воскликнул Микула. — Жив, Виста!

Вместе, согнувшись в три погибели, потому что дверь за долгое время осела еще больше, сошли они по ступенькам в землянку, остановились сразу за порогом. В углу тлел огонь, его красноватые блики освещали дощатый помост, темные стены, кадку, в которой поблескивал кружок воды, пустые, перевернутые доньями кверху корчаги, горшки.

Микула медленно прошел вперед, снял с плеч котомку и щит, отцепил от пояса меч, сложил оружие перед очагом, низко поклонился огню и чурам, жившим под ним.

И кто знает, то ли услышали и узнали чуры Микулу, то ли свежим ветром пахнуло от раскрытой двери, но только огонь в очаге сразу ожил, полыхнул, желто-красные языки поднялись над углями.

— А как живет род наш? — спросил Микула, усевшись у очага.

— Все, как было... Нет рода.

— А братья Бразд и Сварг?

— Бразд теперь не брат нам... Посадник княжий, новый терем выстроил...

— Видел. Ладный терем. А брат Сварг?

— Что Сварг? В старой его корчмнице десятки холопов работают, да еще одну поставил у дороги на Остер.

— А другие родичи наши?

— Все дальше и дальше люди от людей.

— Почему же, Виста?

— У кого земля и гривны, у того сила и правда, только у нас никогда ничего не было.

И тут Виста спросила у Микулы, поглядывая на котомку, лежавшую на полу неподалеку от очага.

— А ты, Микула, принес что-нибудь?

Он даже не понял, о чем она спрашивает.

— Ты о чем говоришь?

— Что у тебя в суме, — задыхаясь, спрашивала она, — гривны, золото, серебро, богатство?

Микула посмотрел на нее, словно не узнавая.

— Богатство? О, как же, есть, вон оно, в котомке.

— И мне можно взять, посмотреть?

— Смотри, смотри!

Она торопливо схватила и развязала котомку, принялась все из нее выкладывать.

— Сорочка? Да ведь она вся в крови... И ноговицы... Опять кровь! А это что? Какие-то семена?

— Дань взял, — усмехнулся Микула. — Это гречиха.

Виста растерянно опустила руки.

— А где же... где же, Микула, — спросила она, — золото, серебро?

— Не знаю, где оно, — тихо произнес Микула. — Не нашел.

После короткого молчания он добавил:

— Что там богатство?! Вот был я в Киеве, искал дочку нашу Малушу... Нет ее, Виста! Весной умерла... В Днепре утонула...

Он взял из котомки несколько зерен гречихи, бросил их в огонь.

— За упокой ее души.

Виста заплакала, как плачут дети, безутешно, навзрыд...

5

Вскоре Микула побывал у брата своего Бразда. Любеч невелик, куда ни пойдешь — его терема не минуешь, не хотел бы идти, так все равно княжий посадник позовет.

— Слышал, слышал, что воротился ты с брани, Микула, — отгоняя псов от ворот, говорил Бразд. — Что же ко мне так долго не шел? Загордился?

— С чего бы я стал гордиться, брат? — ответил на это Микула. — И чем?

— А кто тебя знает? Мы здесь на земле сидим, а ты воин... Пойдем-ка в дом.

Они вошли в терем, где в это время топила печь жена Бразда Павлина. Микула поздоровался с нею, но молчаливая, всегда словно чем-то недовольная Павлина почти не ответила на его приветствие. Пришли со двора три сына Бразда — Гордей, Самсон и Вавила. Микула их даже не узнал: недавно были дети, от земли не видать, а теперь высокие, жилистые, сильные, как и их отец.

— Сыны у тебя, вижу, могучие, — сказал Микула. — Растут, вернее, уже выросли.

— А как же! — засмеялся Бразд. — Так оно и идет на свете: одни протягивают ноги, другие идут по дороге, одно погибает, другое вырастает... А сыны у меня и в самом деле могучие.

— В отца пошли, — засмеялся и Микула.

— А что ж, — согласился Бразд. — Должно быть, так и есть, в меня, в отца.

Сыновья недолго пробыли в тереме — они, как видно, всегда появлялись тут, когда кто-нибудь приходил к отцу, — охранить его, защитить. А сейчас они, увидев, что к отцу пришел его брат Микула, сразу вышли: родной дядя не возбуждал в них любопытства. Исчезла из терема и Павлина: не хотела угощать брата Микулу.

— Где же ты побывал? — полюбопытствовал Бразд. — Куда ходил?

— Зачем спрашиваешь? — махнул рукой Микула. — Сам знаешь, когда-то и ты ходил на брань, ныне я побывал, а предки наши, брат, всю жизнь не слезали с коней...

Упоминание о предках, как видно, не понравилось Бразду, и он сердито махнул рукой.

— Не слезали с коней? Так это когда было?! К чему бы я ныне стал сидеть на коне? Ты расскажи лучше о себе. Я слышал, что сеча с ромеями была большая, нам тут тоже пришлось потерпеть: давали князьям волов, коней, хлеб... и людей не раз давали...

— Великие брани были над Дунаем, — вздохнул Микула. — Не знаю, как и выстояли... Вместе бились болгары и мы. Но выстояли, не посрамили Русской земли, только лишились князя Святослава...

— Что ж, князю честь и слава, — спокойно произнес Бразд. — Теперь у нас Ярополк. Достойный князь, Святославич... На столе Киевском сидит твердо, вся земля его слушается... А ты как, Микула, будешь теперь служить в дружине Ярополка или возьмешь рало вместо меча?

— Мой меч ходит там, где враги земли нашей, а тут, в доме отцов, возьму рало.

— Что ж, — сказал Бразд, — хорошо сделаешь. Уж мы, княжны люди, теперь землю рассудим... А ты сам где думаешь рало водить, на княжей земле или на своей?

— Где же теперь земля княжья, а где моя?

— Как велит закон, княжье всегда остается княжым. Что принадлежало Ольге, стало Святославовым, от Святослава перешло к Ярополку. А ты ступай туда, где и раньше был.

— Перед бранью, — вздохнул Микула, — пахал я над Днепром, в песках.

— Оставайся и ныне там. Княжны земли выше по Днепру, там и знамена стоят.

Братья помолчали. Микула собрался уходить.

— А ты не забыл, брат, — неожиданно сказал Бразд, — что перед самой бранью брал у меня купу?

— Купу у тебя? Но ведь ты сам тогда говорил, что это купа не от тебя, а от князя. А я, брат, князю Святославу служил, пока сил хватило, кровь вместе с ним за землю Русскую проливал. Слышишь, Бразд, я в последнюю ночь перед смертью князя сидел рядом с ним, беседовал, и он меня благодарил за все, так неужто же я купу не отработал?

— Не знаю, что ты делал на поле брани и о чем говорил с князем Святославом. Не знаю и того, какую дань золотом и серебром привез ты с брани... Что не мое, то не мое...

— Золото с брани? Опомнись, брат, что ты говоришь? Да неужто ты думаешь, что я ходил на брань ради золота и ради него стоял плечом к плечу с князем Святославом?

— А чего ради ходил ты на рать?

— Если бы ты знал, ради чего я ходил! — с болью ответил Микула. — Но раз ты так спрашиваешь, я сам уж не знаю, зачем ходил.

— Оставим этот разговор, — сурово сказал Бразд.

— Брат!

— Я тебе не только брат, но и посадник княжий. Ты взял у меня в купу коня, жита три четверика, новое рало... Окажу милость, как велит князь Ярополк: за то время, что был на рати, урока не возьму, а весной ты должен возвратить

купу. Не сумеешь сразу — будешь платить оброк, не вернешь купу, не отработаешь оброка — холопом станешь на княжьем дворе.

Микула молчал.

— И не гневайся на меня, брат, — добавил Бразд. — Русская земля ныне не та, что прежде. Князь князю уже не брат, хотя они и одного рода. Что же делать нам, простым людям? Кто сумеет — раздобудет, неумелый — все потеряет... Так говорит князь, так и бог велит.

Микула пристально посмотрел на брата.

— Ты, значит, христианин?

— Христианин, — гордо ответил Бразд. — Разве моя вера хуже твоей? Посмотрим, брат, как помогут тебе твои боги!

6

Ходил Микула и к брату Сваргу. Шел с тяжелым сердцем — после встречи с Браздом все вспоминал ночь после похорон отца, когда остались они, три сына Анта, в отцовском доме и когда оба брата, и Бразд, и Сварг, брали его за горло, требовали раздела наследства. Нет, что Бразд, что Сварг — его недруги, ввек не пошел бы к ним, да разве обойдешь в Любече терем посадника или корчийницу?

Впрочем, брат Сварг встретил Микулу совсем иначе, чем Бразд, идя через выгон к опушке леса, где стояла корчийница, увидел Микула брата. У него все было как раньше: черная от копоти корчийница стояла у самого леса, над нею вился синий дымок, где-то внутри стучали два молота, брат Сварг искал что-то среди железного хлама на дворе. Он издали увидел человека, медленно направлявшегося в сторону корчийницы, приложил ладонь к глазам, присмотрелся.

— Неужели Микула? — промолвил Сварг, когда Микула приблизился.

— Он и есть, — отозвался Микула.

— Челом тебе, брат, челом! — радостно воскликнул Сварг и быстро пошел навстречу брату. Обнял его, даже поцеловал.

Микула ответил на его приветствие и сам обнял брата, поцеловал, хотя, правду говоря, был очень удивлен и целовал Сварга холодными устами.

— Пойдем же в дом, брат Микула! — говорил Сварг. — Дай посмотреть на тебя, какой ты стал. Смотри-ка, ей-ей,

ты выглядишь лучше, выровнялся как-то, словно помолодел! Нет, брат Микула, ты теперь настоящий дружинник княжий!

Корчийница брата Сварга только издали казалась такой же, как раньше. На самом же деле к ней сзади было теперь пристроено несколько клетей, рядом с корчийницей с одной стороны Микула заметил землянки, возле которых ползали голые ребятишки, еще несколько землянок было с другой стороны, а в самом лесу, спрятавшись от людских глаз, высился огражденный острым частоколом терем, где, услышав голоса, надрывались псы. Это было целое лесное гнездо, не один Сварг жил здесь, с ним было множество людей.

Они стали показываться: два кузнеца вынырнули из черной тьмы корчийницы, старые, черные от дыма, с высохшими бледными лицами. Из дверей выглядывало несколько юношей, тоже худых, бледных; из землянок вылезали и глазели женщины.

— Вижу, узнаешь, — говорил Сварг. — Работаем, Микула, что поделаешь, раньше ковали мечи, а теперь — рала, когда-то работал один, ныне людей на помощь зову. Сколько всякого железа надо перековать, а годы не те, сам, сколько ни бейся, всего не переделаешь. Да что ж это мы стоим, пойдем в терем, там и побеседуем.

К терему, однако, подступиться было не легко. Как только Сварг отпер ворота и вошел во двор, на них кинулись огромные псы.

— А, сгиньте, проклятые, сгиньте! — закричал Сварг, схватил какую-то дубину, бросился на собак, но одна из них все же успела изловчиться, подскочила к Микуле, яростно щелкнула зубами и оторвала клоч ноговицы.

— Ну и псы! — говорил Сварг в сенях, куда едва проникал свет сквозь решетчатое оконце. — Как звери, сй-сй, сущие звери. Что же ты стоишь, вот сюда, сюда иди, брат Микула!

Окна в тереме Сварга были тоже забраны решетками, внутри находился не очаг, а печь, посередине стоял большой стол, на нем корчага с вином, хлеб, разная еда.

— Ну, как же ты, брат? — спросил Сварг, когда они уселись за стол.

— Я? — искренне удивился Микула. — Что я? Каким ушел из села, таким и вернулся.

Сварг отнесся к словам Микулы не так, как Бразд, его они не удивили.

— Так я и знал! — сказал он. — Не там была брань, куда ты ходил...

Микула изумленно посмотрел на брата.

— И ныне есть, — усмехнулся Сварг, — и хазары, и черные булгары, и печенеги, и ромеи, и ссоримся мы с ними со всеми, но самая тяжкая брань здесь, на земле нашей: человек идет на человека.

— Кто же идет и против кого? — тихо спросил Микула.

— А вот, — не раздумывая, отвечал Сварг, — Кожема в Остре, Бразд в нашем Любече и много еще таких, как они, взяли у князей и друг у друга всякого рода пожалования — земли и леса, озера и реки, все в их руках.

Микула от души удивился, что Сварг стал ныне врагом Бразда, и Сварг это сразу заметил.

— Не удивляйся, не удивляйся, Микула, — сказал он. — Ты думаешь: с чего это Сварг сетует на Бразда, вот же у него и терем есть, и корчийница, и смерды работают на его дворе? Но ведь у меня, — с обидой закричал Сварг, — нет того, что есть у Бразда, земель и лесов, а без них человек — ничто... Корчийница, — задумчиво продолжал он, — о, я думал когда-то, Микула, что если у меня есть корчийница, то есть все — золото, серебро. Но я забыл, что вдобавок к корчийнице нужно еще иметь руду, лес, дерево. Да и зачем, скажи, стал бы я думать об этом, когда берега Днепра, где я брал руду, рубил лес, все это было мое, твое, людское. А теперь сунулся я брать на берегу руду, а там знамена... Чьи берега? — князя, Кожемы, Бразда... Бросился я в лес — знамена. Чей лес? Князя, Кожемы, Бразда... Так вот князя, Кожема и Бразд обогнали меня, все себе да себе, а мне... Помнишь, в ту ночь, когда мы делили отцовское наследство, Бразд говорил: "Возьми, брат Сварг, разную кузнь, ты ведь ее любишь..." Я и взял кузнь, кую теперь, а все богатство у Бразда.

Микула раскатисто, громко засмеялся.

— Ты чего смеешься? — спросил его Сварг.

— Как же мне не смеяться, — откровенно ответил тот, — пришел я, походил по Любечу, думал, что только я выродок, что ты, брат Сварг, живешь в согласии с Браздом...

— Нет! — крикнул Сварг, ударил по столу кулаком. — Нет уже ныне братьев. Богатый богатому ныне тоже враг.

— Вижу! — с горечью промолвил Микула. — Трое было нас у отца Анта, и двое доселе шли против одного. Ныне же все трое стали уже врагами...

— Не говори так, — перебил его Сварг. — Кто же тебе враг?

— Купу я до брани взял у Бразда, думал, что кровью оплатил ее. А он говорит: "Отдавай!" Чем же я стану отдавать ему эту купу?

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Сварг. — А ты ему купы не отдавай!

— Тогда я стану обельным холопом у брата.

— А что за купу ты брал у него? — любопытствовал Сварг.

— Коня, рало, три четверика жита.

Сварг, шевеливший губами, пока Микула перечислял взятое, сразу выпалил:

— Две гривны кун и пять резан...

— Не понимаю, — произнес Микула.

— Зато я понимаю, — сердито сказал Сварг.

Он встал, пошел в клеть, долго там брэнчал чем-то, воротился и положил на стол четыре золотых слитка и десять резаных кусочков серебра.

— Возьми, — сказал Сварг.

— Зачем?

— Две гривны кун и пять резан отдай Бразду.

— погоди, Сварг! Как же это, пошто даешь ты мне эти гривны и резаны?

— Я тебе ничего не даю, а только одалживаю. Ты меня не бойся, не бойся, — положил руку на плечо Микуле Сварг. — Придешь ко мне, поможешь, сделаем что-нибудь...

— Нет, — ответил Микула. — У тебя ли, у Бразда ли купу брать, все равно... Теперь я вижу, куда нас завела брань...

7

Микуле приснился отец Ант. Это было так просто и обычно. Микула часто видел во сне Анта. Тот вел с ним разговоры, что-то советовал, против чего-то предостерегал, и Микулу это не тревожило. Значит, душа отца, старейшины рода Анта, думал он, не ушла; как души всех предков, из хижины, а живет под очагом, поздно ночью просыпается, летает над огнем и по всей хижине, беседует с ним. Микула не видел ничего удивительного в таких снах и даже радовался, что души предков его не забывают.

И в эту ночь Микулу встревожил не сон. Поговорила с ним душа Анта и ушла. В очаге тлел красный жар, в полутьме на стене выступили висящие на колышках меч, щит, лук. Завернувшись в потертую меховую шкуру, спала на помосте Виста. В хижине было тихо, спокойно. Спать, только спать!..

Но беспокойно было на душе Микулы. Он долго сидел, почесался, лег, попробовал заснуть — и не мог. Тогда Микула осторожно, чтобы не разбудить Висту, поднялся с помоста, постоял у очага, потом тихо, босиком, в одной сорочке и ноговицах, прошел по полу, открыл дверь, вышел во двор. Почему так случилось, кто знает? — Только Микула постоял немного посреди двора, потом пошел, пошел, взобрался на вал городища и направился к курганам, под которыми покоились старейшины рода Ант, Улеб и далекий прапрадед — старейшина-витязь Воик.

Была теплая ночь, высоко в небе висел месяц, он уже был на ущербе: Перун с трезубцем в руках наступал на духов тьмы, на злые силы, край месяца был словно присыпан пеплом.

На земле было тихо, в зеленом свете месяца темнел, словно длинный ряд пчелиных колод, Любеч, там не светило ни одного огонька, с левой стороны широкой подковой чернел лес, где-то среди деревьев мигал огонек в корчийнице брата Сварга, оттуда доносились удары двух молотков — все кует и кует Сварг лемехи, мечи, лемехи, мечи...

Справа от Микулы текли воды Днепра. Микула даже вздохнул — дивно хорош был в этот поздний ночной час Днепр, полноводный, с мощным течением, широкий, голубой в свете месяца. Где-то в ночной тиши послышался удар и всплеск, должно быть, вскинулся сом. Неподалеку на водной глади что-то зарыбило: это из глубины выплывают стаями, останавливаются, смотрят сквозь толщу воды на месяц огромные рыбы. Воды Днепра текут и текут среди берегов, темные леса стоят над ними, туманами покрыта даль.

Не один Микула любовался этой прекрасной ночью. В темноте увидел он витязя их рода — старейшину Воика. Он стоял, окаменевший воин в шлеме, броне, с мечом у пояса, на кургане над Днепром так давно, что не только ноги, но и руки вросли, вгрызлись в землю, весь он оброс травой, зеленоватый мох, затянув все трещины в камне, обволок его, словно платном.

Только лицо воина было чистым, ясным — таким, должно быть, было оно и при жизни, таким вытесали его когда-то

мастера-каменотесы: широко открытые глаза, брови словно стрелы, большой, широкий у окончания нос, толстые, выпяченные губы. Задумчиво глядел он на Днепр, заливы, луга, леса. И Микула даже обрадовался, что смотрит на прекрасный мир вместе с древним старейшиной-витязем.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1



Василевс Восточной Римской империи Иоанн Цимисхий болел тяжело и давно. С тех пор как он вернулся из далекого похода в Азию, страшная, неумолимая болезнь разрушала и разрушала его тело. Император не мог есть, лишился сна, высох. Удивительно было, как еще он живет на свете.

От императора почти не отходила жена его василисса Феодора, проэдр, постельничий Василий, не выходил из Большого дворца дни и ночи. К императору приводили лучших врачей Константинополя, их везли из далекой Сирии, Венеции, Амальфи, но они не могли понять причины болезни императора, а потому и не знали, какими лекарствами и снадобьями нужно его лечить.

Один только врач, — это был знаменитый Уне-Ра из Египта, — казалось, разгадал таинственную болезнь императора. Осмотрев высохшее, костлявое тело Иоанна, он долго расспрашивал, когда император почувствовал себя плохо, что у него болит...

— О, я понимаю... — прошептал врач Уне-Ра.

Однако, поймав на себе взгляд проэдра Василия, стоявшего у ложа императора, он смутился и умолк. Разумеется, тут не следовало говорить о болезни.

Позже, когда они оказались с глазу на глаз с проэдром Василием, тот спросил:

— Ты, лекарь, знаешь, что это за болезнь?

— Да, — отвечал врач. — Глаза, печень, сердце, цвет кожи подсказывают мне, что императору дали...

— Почему ты умолк? — прошептал проэдр.

— Императору Иоанну дали яд змеи, которая водится только в одном месте — в Египте, в верховьях Нила.

— Ты безумец... Константинополь и Нил... Кто и когда мог дать такой яд императору?

— Не ведаю, — низко поклонился врач Уне-Ра. — Я говорю только то, что вижу и знаю.

— Проклятье! — воскликнул проэдр Василий. — Так неужели же нет лекарств, которые приостановили бы действие этого яда?

— Я знаю такие лекарства, — тихо ответил врач Уне-Ра.

Тогда проэдр шагнул вперед, схватил врача за руку и сказал:

— Если они существуют, их нужно найти и применить тотчас же, немедленно. Я, слышишь, лекарь, обещаю тебе великую награду. Ты будешь патрикием империи, ты получишь все, что захочешь, только спаси василевса.

Врач покинул Большой дворец. Он думал теперь только о лекарствах, готовил их и, возможно, вылечил бы императора Иоанна, но в следующую ночь, когда он возвращался домой на тихую улицу неподалеку от Золотого Рога, на него возле самого дома напали и пронзили его ножами неизвестные, которые тут же исчезли. Единственный врач, разгадавший болезнь и способный еще спасти жизнь императора Иоанна, сам ушел в небытие. И сделал это проэдр Василий, который собственными руками дал императору яд во время похода под горой Олимп.

Император Иоанн знал, что болен очень тяжело. Но такова уж натура человеческая, а императорская тем паче — Иоанн Цимисхий не хотел верить, что вскоре покинет этот свет.

Правда, он говорил всем окружающим, что, должно быть, умрет, велел спешно строить в Константинополе на Халке храм во имя Христа Спасителя, а когда ему доложили, что храм почти готов, велел положить туда привезенные им из Палестины волосы с головы Иоанна Предтечи и приготовить там же мраморную гробницу для брэнного своего тела.

Но все это были лишь пустые слова — Иоанн хотел, чтобы живые заботились о нем, молились, просили бога. Что же касается самого бога, Иоанн считал, что еще один храм ему не помешает.

Цимисхий прибегнул и к другим средствам: имея бесчисленные владения во всех фемах империи, он велит одно из них, небольшое, под Константинополем, продать, а вырученные деньги раздать нищим, особенно тем, кто страдает от падучей болезни.

Иоанн Цимисхий делает это с умыслом — больные ходят по всему Константинополю, падают, вопят, молятся об исцелении всемогущего Иоанна.

Вспоминает Цимисхий еще об одном. С патриархом Антонием, которого он вывез когда-то из Студийского монастыря и посвятил на соборе в Константинополе, у него сложились плохие отношения: воюя в Азии, Цимисхий был вынужден лишить духовенство многих льгот, из-за чего Антоний воспыал жгучей ненавистью к Иоанну.

Теперь Цимисхий велел привести в Большой дворец не патриарха, а епископа адрианопольского Николая и долго оставался с ним наедине. Все говорили, и епископ подтвердил, что император исповедался в грехах, просил епископа быть посредником между ним и богом.

Так действовал Иоанн Цимисхий и делал вид, что готовится к смерти. Но когда наступала ночь, он начинал беспокоиться, звал жену Феодору, проэдра Василия, не отпускал их от себя, умолял искать спасения, победить болезнь, стремился вырваться из ее сетей — жить, жить!

Василисса Феодора все время была с ним, переворачивала его с помощью слуг на ложе, поила, давала снадобье, которое навевало сон, смачивала уксусом лоб и губы. Но она сама чувствовала себя плохо, страдала от больной печени, временами не могла выходить из китона. Только проэдр, паракимомен Василий, не оставлял теперь Цимисхия.

В одну из ночей Иоанн долго молча лежал на своем ложе, слушал, как за стеной свистит осенний ветер, смотрел на мусии прежних императоров, которые с молитвенниками в руках, с поднятыми вверх очами изображены были вдоль всех стен опочивальни.

— Одно не дает мне спать, выздороветь, жить, — внезапно прозвучал в тишине опочивальни его голос.

Проэдр Василий, который сидел в это время неподалеку от ложа и отдыхал, смежив веки, вздрогнул и спросил:

— Ты что-то сказал?

— Я говорю о том, — отвечал Иоанн, — что никто не хочет и не может помочь мне в Большом дворце.

По безбородому лицу Василия пробежала еле заметная усмешка.

— Почему же ты забыл обо мне? — спросил он. — Правда, я понимаю. Совсем недавно у горы Олимп ты говорил, что я не забочусь и не забочусь о тебе, что я обманывал и изменял тебе.

— Проздр! — прохрипел Иоанн. — То были несправедливые слова, и я уже говорил об этом. Я верю только тебе, иначе я сошел бы с ума в этой опочивальне.

— Спасибо тебе, василевс, — склонил голову Василий.

— И еще я верю одному человеку на свете, — продолжал Иоанн, — который не допустил бы, чтобы я так хворал и мучился, который мог бы вырвать меня из лап смерти, но кто, к сожалению, находится сейчас далеко от Константинополя.

— О ком ты думаешь?

— Я говорю о Феофано, которую мы выслали в далекую Армению.

Проздр молча стоял перед императором.

— Я привык угадывать твои мысли, — сказал он, — знал, что ты захочешь видеть Феофано, ибо действительно только она может поднять тебя с ложа, а потому я давно послал в Армению дромон.

— Ты сделал хорошо, проздр. Я хочу видеть Феофано, как только она появится в Константинополе.

2

Много лет прошло с тех пор, как Иоанн Цимисхий после убийства Никифора Фоки, по требованию патриарха Полиевкта, выслал Феофано на остров Прот в Пропонтиде, а еще позднее, когда она бежала оттуда и спряталась в соборе Софии, услал ее, уже по собственному решению, в далекую Армению.

Император Иоанн сдержал слово — все эти годы Феофано жила в Армении, в городе Ани, как настоящая василисса, у нее был дворец, множество слуг, сокровища. Вместе с нею жили вначале и ее младшие дочери — Зоя и Анна. На десятый год Зоя умерла, и с нею осталась только Анна.

Феофано была такой же, как в дни молодости, — настойчивой, упрямой, жестокой, в свои тридцать пять лет она оставалась столь же привлекательной, красивой, как и раньше. Годы, казалось, обходили ее. На гладком, как мрамор, лице не было ни одной морщинки, глаза, как прежде, блестели под прямыми тонкими бровями, губы пылали; ее гибким рукам, персям, стройному стану могли бы позавидовать сами богини.

Прежним осталось и сердце Феофано — год за годом в нем скапливалась обида, жажда мести, ненависть к Иоанну Цимисхию, к проздру Василию, с которым она была связа-

на больше, чем с Иоанном: с ним совершила убийство свекра своего Константина, мужей Романа и Никифора Фоки, вместе возложили они корону на голову Иоанна Цимисхия.

И Феофано готовилась к борьбе с ними — тут, в Ани, она часто навещала царя Ашота и стала его другом, принимала царя в своем доме и сама была желанной гостьей многих ишханов, один раз и другой ездила в Грузию, где беседовала с царем Давидом, азнаурами. Феофано знает, что делает, — в Грузии и Армении бесчисленное количество людей ненавидит Византию, которая стремится покорить их земли; и Ашот и Давид — враги императоров-ромеев. Но мать малолетних Василия и Константина, которую изгнали из Константинополя, может стать их искренним другом. Влияет и красота Феофано — боже, до чего прекрасна эта вдовствующая василисса!

Не забывает Феофано и еще одного: недалеко отсюда, в Каппадокии, подняли было восстание против Иоанна брат Никифора Фоки — Лев и сын его Вард. Ныне Лев, ослепленный, живет по приказу императора в Амазии, Варда постригли и выслали в монастырь на острове Хиосе. Феофано справляется о Варде Фоке, встречается в Ани с его приверженцами — все на этом свете может пригодиться!

Одетый в монашескую рясу, Вард Фока, получив первое известие от Феофано, которая живет в далекой Армении, воспрянул духом. Вард Фока хорошо помнит свою тетку. Еще в Константинополе, встречая Феофано, он терял рассудок от ее красоты. Монах Вард, вынужденный ныне проводить время в постах и молитвах в монастыре на острове Хиосе, услышав издали зов Феофано, готов сделать все, что она прикажет.

В Константинополе тоже помнили Феофано. В Армении она получила от проэдра два пергамента с пожеланием доброго здоровья и счастливого возвращения в Константинополь. Проздр Василий помнил о Феофано, действовал, подбадривал ее.

И вот прибыл из Константинополя дромон. В руках Феофано очутился еще один, и самый ценный, пергамент. Проздр Василий велел ей немедленно возвращаться в столицу империи.

Стояла поздняя осень, когда дромон Феофано оторвался от берегов Кавказа и поплыл на запад. Перед ним лежал долгий путь; в Понте Евксинском в это время свирепствова-

ли страшные бури, горами вздымались волны, дули холодные северные ветры. Даже бывалые мореходы-ромен боялись пускаться в опасный путь.

Но Феофано ни на что не обращала внимания. Дерзкая и отважная, она никогда и ничего не боялась, не пугало ее теперь и море. Вместе с дочерью Анной поднялась она на дромон, спустилась в трюм, где можно было спрятаться от ветра и дождей, терпеливо сидела там, пока тяжелый дромон, ныряя в волнах, продвигался вдоль южных берегов Понта. Мореходы-ромен, опасаясь в это время года скалистых берегов, где дромон мог в щепки разбиться о камни, шли открытым морем, откуда порой, когда рассеивались тучи и выглядывало солнце, видны были далеко-далеко на юге горы Азии. Так проходили дни и ночи, позади остались Синоп, Амастрида, Ираклия, дромон приближался к Константинополю.

Иногда, когда погода становилась лучше, Феофано с дочерью выходили на палубу и смотрели вперед — на запад, поглядывая иногда и на север. Там над самым небосклоном висели тяжелые, темные, похожие на нагромождение скал, тучи. То и дело толщу этих туч прорезывали острые, ослепительно белые стрелы молний, отблески которых тревожно играли на темно-синих высоких беспокойных волнах, потом оттуда долетали отзвуки далекого грома.

— Ты почему дрожишь, мама? — спросила испуганная Анна.

— Там, — отвечала Феофано, сжимая плечи дочери, — над Евксинским Понтом лежит страшная земля — Русь, жители ее дикие, жестокие люди. Они живут в норах, едят сырое мясо, не верят в Христа, молятся своим деревянным богам. И они всегда, всегда были нашими врагами, шли на Империю, их каганы стояли под самыми стенами священного нашего Константинополя.

— Но сейчас они не идут на нас?

— О нет, дочка, — усмехнулась Феофано, — Иоанн Цимиский достойно проучил их кагана Святослава. Вон там, за этим морем, на берегу Дуная, он наголову разбил его. Нужно только впредь остерегаться их всегда.

Маленькая девочка не могла постигнуть всего, что рассказывала ей мать, она поняла только одно, последнее, что русов нужно остерегаться, а потому она прямо, по-детски спросила:

— А до них далеко, мама?

— О да, — уже засмеялась Теофано. — Туда, до нашего города Херсонеса, что лежит на краю Руси, нужно плыть морем много дней и ночей, а до самого их главного города Киева нужно ехать месяцами.

— Это и в самом деле очень далеко, — засмеялась и девочка. — Я не боюсь их, — добавила она задорно.

Разве могла девочка Анна знать, что пройдет много лет, — и она поедет в далекую Русь, попадет в Херсонес, а потом и в Киев? В этот час безбрежное море и тяжелые волны заслоняли далекий небосклон, Русь. Дромон бывшей василиссы Теофано с туго натянутыми парусами летел все дальше и дальше на запад.

3

Никто в Константинополе не видел, как однажды темной ночью дромон миновал Сотенную башню и остановился в Золотом Роге, бросив якорь в его конце, напротив Влахернского дворца; как позже к этому кораблю подошли, а затем снова возвратились во Влахерну несколько легких лодий.

В одну из них спустилась женщина с девочкой. Евнухи, неподвижно стоявшие вдоль бортов, и гребцы, которые размеренно, стараясь не шуметь, поднимали и опускали в черную воду свои весла, — все они не знали, что за женщина в темной одежде и с темным покрывалом на голове спустилась с дромона и села в их лодию. Когда лодия пересекала Золотой Рог, женщина не выдержала и на мгновение откинула с головы покрывало — свет огней Константинополя отразился в глазах, упал на бледный лоб, сжатые губы Теофано.

Она тут же опустила покрывало. Берег был близко. Нос лодии врезался в гальку. Упали сходни. Чьи-то руки подхватили Теофано, ее повели к стене, в узкий и длинный проход, где воздух был холодный и сырой, через сад, терпко пахнувший поздними цветами, каменными лесенками и переходами, где звуки гулко отзывались под сводами, и вошли в палаты, где царила полутьма.

— Привет тебе, василисса!

Покрывало упало с головы, и легкий вздох вырвался из уст Теофано. Василисса — о, как давно не слыхала она этого слова, как много сказало это слово в устах всемогущего проэдра Василия здесь, в Константинополе!

Он подошел к ней ближе и взял ее за руку. Теперь они стояли друг против друга: скопец, проэдр Империи, и Феофано — бывшая василисса, а ныне женщина в темном покрывале.

— Ты такая же, как прежде, Феофано, — произнес проэдр Василий. — Ты была и осталась самой прекрасной женщиной в мире. Сбрось со своей головы этот черный саван.

— Скажи мне, где я теперь нахожусь и что случилось?

— Мы находимся во Влахерне, где нас никто не может видеть и слышать. Пока еще ничего не случилось. Ты, наверное, очень устала после далекого пути. Представляю себе, как беспокойно сейчас на Понте Евксинском. Но все это далеко позади. Ты будешь жить здесь, во Влахерне, с тобой будет и дочка. Может быть, мы сядем? Вот и вино на столе. Ты хочешь есть? Тут найдется, что выбрать. Пей, ешь, Феофано, тебе это так нужно после дальней дороги.

— А за кого же пить? — усмехнулась Феофано и, подсев к столу, взяла кубок с вином.

— Он умирает, — сказал проэдр, — скоро, должно быть, конец.

— Что у него за болезнь?

— Ты знаешь, Феофано.

— Мой порошок из Египта?

— Да.

— Этот яд действует очень быстро.

— Я сохранял порошок много лет, и он, наверное, утратил силу. Кроме того, Маленький* оказался очень крепким. Он подыхает уже полгода, и только теперь конец его близок.

— Для чего же ты звал меня?

— О Феофано, нам нужно сделать очень много. В Империи беспокойно, на севере собирают силы болгары, в Малой Азии вспыхивает восстание за восстанием.

— Теперь я хорошо знаю Малую Азию, — усмехнулась Феофано. — Это настоящий вулкан, который ежечасно может взорваться: Сирия, Месопотамия, Каппадокия, а за ними — арабы...

— Видишь, тебе все точно известно! И в Константинополе беспокойно.

— Я понимаю и знаю все это, — холодно сказала Феофано. — Только мне что до этого?

— Это мое и твое дело, Феофано... Иоанна скоро не станет...

* Цимисхий — маленький (арм.).

— И что же? Вы пожинаете то, что посеяли. У Иоанна ныне есть порфиноносная жена Феодора, и после его смерти она по праву сядет на Соломонов трон, патриарх ее благословит.

Проздр усмехнулся.

— Не только Феодора, есть и другие, которые хотели бы завладеть Соломоновым тронем. Нашей константинопольской знати — тебе, конечно, понятно это — не по душе ни Феодора, ни ты, не обижайся, Феофано, ни твои сыновья: они мечтают об императоре-полководце, который повел бы легионы против болгар и Малой Азии.

— И кого же они прочат?

— Мне кажется, Варда Склира. Ты хорошо его знаешь — он был полководцем Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия, а теперь, как видно, сам хотел бы взойти на их престол.

— Варда Склира я знаю, — промолвила Феофано. — Что ж, он блистательный полководец и, должно быть, будет неплохим императором.

— И это говоришь ты, Феофано, мать Василия и Константина? Да неужели ты не понимаешь, что ни Феодора, ни Вард Склир не допустят в Золотую палату ни сынов твоих, ни тебя.

— Они не допустят тебя, — засмеялась Феофано. — Говори правду, проздр!

— Да, они не допустят, изгонят из Большого дворца тебя, сынов твоих и меня тоже, — согласился проздр.

— Теперь ты мне нравишься, Василий, — с издевкой сказала проздру Феофано.

— А должно быть так, — встал и подошел вплотную к Феофано проздр, — когда Иоанн Цимисхий умрет, на престол сядут твои сыновья, рядом с ними как регентша и соправительница, а на самом деле как полновластная василисса должна сесть ты. Я же, — проздр заискивающе посмотрел на Феофано, — останусь тем, кем и был, — вашим, твоим паракимоменом, проздром.

Феофано так волновалась, что ей трудно было дышать. О, какие величественные дали открывались перед нею! Поверить своему счастью, поверить проздру или нет? Сколько раз уже он обманывал ее и людей, которые вверялись ему! Но нет, нет, на этот раз он не может лгать и обманывать. Василий и Константин по праву взойдут на трон, они и сейчас соцарствуют с Иоанном.

— Значит, надо убрать Феодору и Склира? — сурово сказала Феофано.

— Да, Феофано, обоих... Я добился того, что Иоанн хочет повидаться и поговорить с тобою. Если же ты побываешь у него, то сумеешь все сделать. Что ж, василисса, — поднял он кубок, — может, мы теперь выпьем за наше счастье и успех?

Он помолчал и добавил:

— ...Да еще за то, чтобы Иоанн поскорее занял свое место в гробнице на Халке, в храме Христа Спасителя!

— О нет, — она подняла кубок и дерзко, хищно засмеялась. — Я выпью за то, чтобы Иоанн еще пожил... пока мы не довершим своего дела.

4

Феофано нелегко было пробраться в Большой дворец, еще труднее — очутиться в опочивальне Иоанна, но у проезда повсюду — и у Слоновых ворот, и на террасе Дафны, и в самом китоне — были свои люди. В черном одеянии, в шляпе со страусовыми перьями, с мечом у пояса, она, как этериот, вместе со сменной стражей прошла в Большой дворец. Там ее повел переходами начальник этерии Пеон, в китоне Феофано скинула одежду этериота, шляпу, меч.

Вместе с проездом Василием она вошла в опочивальню в Большом дворце, где жила могущественной василиссой во времена императоров Романа и Никифора Фоки и где теперь василевсами были Иоанн и Феодора.

Она даже содрогнулась, увидев после многих лет знакомые стены опочивальни, изображенные на них фигуры прежних императоров: с молитвенниками в руках, подняв очи горé, они все шли и шли куда-то — как прежде, так и теперь. Увидела она и узнала серебряные светильники, стоявшие у стен, темные, пронизанные золотыми нитями занавеси на окнах и дверях, ложе в углу — о, Феофано знала это ложе, на нем почивали императоры Роман, Никифор и Феофано с ними.

Сейчас на этом ложе умирал Иоанн Цимисхий — тот, кто убил здесь, в этой опочивальне, императора Никифора Фоку, тот, кто клялся Феофано в любви, а потом отрекся от нее.

Она даже не узнала его. Это был не тот Иоанн, когда-то крепкий, жилистый, сильный, которого она обнимала и целовала, который утолял здесь ее ненасытную страсть. На ложе лежал скелет, вдоль белой простыни были вытянуты

высохшие, темные, сведенные болезнью руки, ужасной была голова — облысевшая, с огненно-рыжими бородой и усами, из-за которых виднелись зубы, с заострившимся носом, темными глазами, сверкавшими в глубоких впадинах.

— Иоани! — громко произнесла она. — Приветствую тебя, василевс!

— Феофано! — глухо отозвалось в опочивальне.

Чтобы не мешать их беседе, проэдр Василий сделал рукой знак, что будет находиться тут же, за дверями, и вышел из опочивальни.

— Ты меня, наверное, не узнала, — сказал Цимисхий. — С тех пор как разбилось... как я разбил зеркало, я не видал и не хочу видеть своего лица. Скажи, я очень изменился, я очень страшен, Феофано?

Она прошла вперед и остановилась возле его ложа.

— О нет, — сказала Феофано. — Ты болен и переменился, но не страшен.

— Проклятая болезнь! — заволновался он. — Никто ее не знает, а она мучит, изнуряет мое тело и душу. Я уже потерял все силы.

Он помолчал и, тяжело дыша, все смотрел и смотрел на нее — такую же прекрасную, как прежде, несравненно прекрасную Феофано.

— Спасибо, что ты приехала. Я очень ждал тебя. Но ты словно гневаешься на меня? Ты, должно быть, не можешь забыть ту ночь в Софии, когда мы говорили с тобой в последний раз и когда я сам посоветовал тебе уехать в Армению.

— Не посоветовал, а выслал, — не сдержалась Феофано.

— Да, да, выслал, этого требовали обстоятельства.

— Я помню ночь в Софии, — промолвила Феофано, — и не обвиняю тебя. Ты поступил тогда так, как требовали обстоятельства. Но ты не разобрался, кто твой друг и кто враг, ты предал Феофано и теперь расплачиваешься за это. Но я все забыла, любила тебя и люблю, стоило тебе позвать меня, и я через весь Понт примчалась в Константинополь, пробралась сюда. Только для чего, для чего, Иоани?

Он беспомощно огляделся по сторонам.

— Как же я мог не позвать тебя? Ведь я остался совсем один.

— Ты остался одиноким еще тогда, когда мы виделись с тобой в соборе, в Софии. Припомни, ты сам говорил об этом.

— Я помню все, словно это было вчера. Да, я уже тогда был одинок, а потом война со Святославом, походы на Азию, страшная, неизвестная болезнь.

— Ты захворал, Иоанн, только потому, что меня не было рядом с тобой. Я бы этого не допустила, отвела бы вражескую руку.

Она присела на ложе совсем рядом с Цимисхием, видя перед собой его встревоженные, испуганные глаза.

— Ты думаешь, кто-то мог сделать это умышленно?

— Не только мог, но и сделал.

— Но кто же? Неужели он? — Иоанн кивнул в сторону двери, через которую вышел проздр.

— О нет, — поспешно ответила Феофано. — Я не знаю человека, который служил бы тебе так же верно, как он.

— Тогда кто же, кто? Ведь я заболел не здесь, а в далеком походе. Это началось ночью... у горы Олимп, где я был только с проздром.

— Есть яды, которые действуют не сразу, а через известное время, и действуют долгие годы...

— А потом? — он схватил Феофано за руку. У него были холодные, высохшие, костлявые пальцы. — Феофано! Почему же ты молчишь? Ты хотела сказать, что потом конец, смерть?

Феофано гладила теплыми пальцами его холодные руки.

— О нет! — уверенно ответила она. — Против каждого яда есть лекарства. Нужно только узнать, что именно могли тебе дать. Я уверена, что сумела бы разгадать и вылечила бы тебя.

— Спасибо, что ты меня поддерживаешь, Феофано. Только нужно узнать, кто мог дать этот яд, потому что он может дать его еще и еще раз.

— Он или она, — коротко процедила Феофано.

Запавшие глаза пристально смотрели на нее.

— Ты думаешь, что это женщина?

— Женщина и мужчина.

— Феофано! Скажи мне правду.

— Хорошо, я скажу правду, какой бы жестокой она ни была. Феодора... Я слыхала о ней еще в Армении, а теперь и в Константинополе... Это твой враг, но много говорят и о Варде Склире, — он даже держит здесь свои легионы. Феодора и Склир — для них это было бы неплохо.

— Какой ужас! — повторял он. — Ничтожная Феодора! Понимаю, она меня никогда не любила, не любил ее и я... Василисса, о, как я ошибся, вступив с ней в брак. А Склир — неблагодарный полководец, бездарность, убийца.

Так нет же, они меня не обведут вокруг пальца, не обманут, не обманут, я сделаю так, что их безумные замыслы не осуществятся, рассыплются в прах, а сами они погибнут.

Феофано притворно равнодушно сказала:

— Я тебе открыла всю правду, а ты поступай как хочешь, Иоанн. Помни, что Феофано близко, во Влахерне, и поможет, спасет тебя. Завтра же я разыщу и пришлю тебе лекарства.

— Спасибо, Феофано!

Она наклонилась и поцеловала императора в лоб.

— Император должен действовать спокойно, — склонившись к его уху, прошептала Феофано: — У тебя много врагов.

— Я знаю, что у меня и у тебя много врагов, и буду действовать спокойно, — также шепотом ответил на это Цимисхий. — Ныне еще достаточно одного моего слова, и все будет так, как я хочу. Спасибо, Феофано. Уже поздно, ступай, пришли мне лекарства, сама жди моего слова.

— Прощай. До встречи, любимый василевс!

5

В ночь на шестое января 976 года в опочивальню к умирающему императору пришел вселенский патриарх Антоний — седобородый, старый, но еще подвижный человек. Войдя, он низко поклонился императору, а потом сел у его ложа.

— Помираю я, отче, — начал император.

Патриарх смиренно сказал:

— Всевышний благословил тебя, он пошлет тебе здоровье, даст долгие лета жизни на благо Византии и всего мира.

— Нет, отче, дни мои сочтены, и я позвал тебя, чтобы сделать последние мои земные распоряжения.

— Великий василевс, — говорил патриарх, — церковь денно и ночью молится о твоём здравии, хотя сам ты не слишком благосклонен к нам. Ходил в походы, нас лишил всех льгот, когда тебе трудно, кличешь к своему ложу не меня, патриарха, а какого-то адрианопольского епископа... Хотя правда, — добавил патриарх, воздев руки, — все мы равны перед богом: василевс, патриарх и епископ также, а перед смертью тем паче.

Император понимал обиду старого патриарха и старался ее развеять.

— Я звал к себе многих и многих, — сказал он, — и готов позвать сюда всю церковь. Но патриарх у меня один, и потому в этот особенно трудный час зову только тебя. И еще должен сказать, отче мой Антоний, что я поступал не всегда справедливо в отношении тебя и церкви. Когда Империи приходилось трудно, я лишил духовенство многих льгот, установленных прежними императорами. Что ж, винюсь, возвращаю церкви все ее привилегии, которых она была лишена, передаю ей храмы, дам земли в Македонии и Фракии.

— Господь не оставит тебя, мы же прославим навеки.

— Я хочу уйти из этой жизни, поведав тебе обо всех своих грехах и получив перед вечной жизнью прощение от господ...

— Говори, василевс, а я именем господа бога отпущу тебе все грехи.

— Я хочу поведать об одном моем грехе, о незаконном браке.

Патриарх, ничего не понимая, внимательно смотрел на Иоанна.

— Как тебе известно, отче, у императора Константина были дети Роман и Феодора, я же — племянник покойного Никифора, который был мужем Феофано — жены Романа...

— О, понимаю, — сурово произнес патриарх, — родство в третьем колене, а церковь запрещает кровосмешение до шестого колена... Помню, патриарх Полиевкт воспретил брак Никифора и Феофано, хотя он был только крестным отцом ее детей... А тут дело хуже.

— Мучаюсь, отче... Как предстану на суд перед престолом господа бога?..

— Не поздно еще церкви объявить этот брак кровосмешением, расторгнуть его, я же именем бога прощу и уже теперь отпускаю тебе грех.

— Я согласен, отче, и прошу огласить мой брак кровосмесительным, расторгнуть его...

— Воля твоя будет исполнена, василевс... Церковь расторгает твой брак с Феодорой...

На следующий день, собрав синклит и пригласив на него патриарха Антония, проэдр Василий добился, чтобы члены синклита признали брак Иоанна с Феодорой недействи-

тельным, потому что Иоанн якобы был племянником императора Никифора, а Никифор — кровный родственник императора Константина, благодаря чему его брак с дочерью Константина Феодорой — кровосмешение.

С таким же, а возможно, и с большим правом можно было доказать и другое: что Иоанн всю жизнь безуспешно стремился к более тесному родству с кем-либо из императоров. Но проэдру Василию достаточно было ухватиться за тоненькую нить чужих сомнений, — нужных для достижения его цели, и ниточка эта становилась подлинным канатом. Синклит все утвердил, патриарх благословил, и в следующую ночь корабль с Феодорой вышел из Золотого Рога, круто свернул у полуострова и направился на запад — к Проту. И, разумеется, Феодора была не Феофано — надежды возвратиться в Константинополь у нее не было.

Не только о Феодоре говорили члены синклита. Проэдр Василий рассказал о Малой Азии: там все кипит, часто вспыхивают восстания. Сирия, Месопотамия, Армения, Иверия, а за ними Аравия и государство Хамсанидов ждут первого попавшегося случая, чтобы напасть на Византию.

Сенаторы, члены синклита сходятся на том, что в Малую Азию нужно послать лучшие легионы, проэдр Василий настаивает на том, чтобы во главе легионов был поставлен и лучший полководец Империи.

— Императорская десница, — добавляет проэдр Василий, — назначает domestikом легионов в Малой Азии славного нашего полководца Варда Склира.

И Вард Склир, принимая назначение, заранее подготовленное проэдром Василием, склоняет низко голову, слушая приказ императора, а подняв ее, смотрит на проэдра ненавидящим взглядом. Он, лучший полководец Империи, самое имя которого приводит в ужас врагов*, славный патрикий Константинополя, к голосу которого прислушивался и прислушивается весь синклит, никогда не забудет и не простит того, что сотворил с ним именем императора проэдр Василий.

6

Была ночь накануне десятого января 976 года. От Галаты неся через Золотой Рог, вздымал вихри над Константинополем и гнал высокую волну в Пропонтиде северный холод-

* Склир — жестокий.

ный ветер. Временами из темных туч, все плавших и плавших от Родопов, лил дождь, сыпал снег.

В такую ночь каждому не по себе, каждый ищет теплого уголка. А умирающему императору Византии Иоанну Цимисхию было совсем тяжело, он мучился, почти отходил.

С самого вечера возле него находились лучшие лекари столицы, они прикладывали к его ногам и рукам амфоры с горячей водой, время от времени давали глоток терпкого вина, которое оживляет тело и поддерживает сердце, слуги распахнули в опочивальне императора двери и окна, выходявшие к морю, — но ему уже ничто не помогало.

Около полуночи Цимисхию словно стало лучше: исчезло удушье, ровнее забилося сердце, он даже закрыл глаза и на какое-то мгновение забылся, может быть, и заснул. Когда через короткое время император проснулся, в опочивальне было тихо, где-то глубоко под окнами шумели волны, перекатывались камни.

В ногах у ложа Цимисхия стоял проэдр Василий.

— Я спал? — спросил император.

— Да, ты спал, — ответил проэдр.

— Феодору выслали?

— Да, она теперь уже на Проте.

— А Вард Склир?

— Его легионы уже переправлены в Азию, а сам он тоже покинул Константинополь.

— Как сильно шумят волны... Закрой, проэдр, двери, окна... Меня раздражает этот шум...

Проэдр выполнил приказ императора.

— Теперь лучше... Тихо... Даже совсем тихо... Проэдр, я хочу, чтобы ты привел сюда Феофано...

— Сейчас поздно, завтра она будет здесь.

— Проэдр, ты чего-то не договариваешь... И почему ты так смотришь на меня?... Ты думаешь... ты думаешь, что я умираю?

— Ты умираешь очень долго, дольше, чем нужно...

— Что?..

Собрав все силы, Иоанн Цимисхий оперся руками о ложе и приподнялся. Он смотрел на лицо проэдра, и сейчас оно казалось ему хищным, злым.

— Василий!.. Проэдр! Ты, ты хочешь моей смерти?

— Да! — прозвучал в опочивальне тонкий и неумолимый голос проэдра-скопца. — Я давно, давно уже хочу твоей смерти, потому что ты никчемный император, выскочка, бездарность, ты оскорбил меня — сына императора

Романа, я дал тебе яд возле Олимпа... Но ты умирал слишком медленно, долго, и я ныне опять дал тебе яду...

Император хотел закричать, но из его горла вырвался только хрип:

— Феофано!

— Молчи! — громко произнес проэдр. — Лекарства, которые ты пил все эти дни и которые прислала Феофано, — это и есть твоя последняя отрава...

— Боги!

— Теперь тебе уже никто не поможет.

7

Рано утром Феофано разбудили необычайный шум и крики. Она проснулась. Где-то вдалеке, а потом все ближе и ближе слышались ровные шаги многих ног, бряцание. Так, нога в ногу, ударяя при каждом шаге в щиты, ходили только этериоты. Но почему они очутились возле Влахернского дворца, да еще так рано? Феофано вскочила с постели и бросилась к окну.

Сквозь круглое слюдяное оконце было видно, как за Перу рождается утро. Звуки шагов и бряцание щитов все нарастали. Вот Феофано увидела на улице темный четырехугольник этерий. Этериоты остановились, послышались человеческие голоса. Феофано открыла окно.

— Вечная память императору Иоанну, — долетел в комнату громкий выкрик, — да здравствуют божественные императоры Василий и Константин!

Феофано замерла у окна. Сердце ее безудержно билось. "Вечная память императору Иоанну". Значит, этой ночью его не стало. "Да здравствуют императоры Василий и Константин!" Значит, сыновья ее взошли на трон. Так окончилось все с Иоанном, так воцарились порфирородные внуки Константина.

Но почему, почему же мать их, порфиноносная Феофано, не знает, что произошло этой ночью в Большом дворце, почему она узнает о воцарении новых императоров, как все жители Константинополя?

Феофано сгорала от нетерпения. Она ждала, что сейчас, сию минуту, к ней явится посланец от проэдра Василия, от сыновей, что они позовут ее в Большой дворец. Ведь проэдр обещал сделать это немедленно, как только умрет Иоанн, а Василий и Константин — ее сыновья.

Она захотела встретить этих посланцев, как подобает, да и, конечно же, ей нужно было подготовиться, чтобы идти

в Большой дворец. Поэтому Феофано наскоро поела, оделась, надела на шею, грудь, руки драгоценности, возложила на голову венец василиссы.

А время шло. До Влахернского дворца доходили все новые и новые вести. Патриарх Антоний на рассвете благословил в Софии молодых императоров, у Слоновых ворот Большого дворца собрались все члены синклита, они направились в Золотую палату, проэдр Василий обратился к ним с речью.

Почему же он не зовет ее? Что случилось? Феофано должна быть там, с сыновьями, в Золотой палате. Ждать еще? Нет, довольно! Настойчивая, неугомонная Феофано решила поступить так, как поступала всю жизнь: не ждать, когда позовут, а идти самой, силой взять то, что принадлежит или даже не принадлежит ей. Она велит слугам приготовить носилки, вместе с дочерью Анной выходит из покоев, спускается вниз.

Но что это? Во Влахерие и на улице стоят этериоты, они заполнили дворец, стоят у всех дверей...

Растерянная, разбитая Феофано все поняла, но не выдала своего волнения, ни единым движением не показала, как это ее поразило, постояла в сенях и возвратилась обратно в свои покои.

Там, сорвав с себя и швырнув на стол украшения и венец, Феофано долго стояла у открытого окна. В Константинополе уже был день, оттуда со всех улиц неслись крики: "Слава божественным императорам! Слава Василию и Константину!", повсюду раздавалось пение, торжественная музыка, звон колоколов.

Итак, проэдр Василий не допустил ее к трону.

8

Восточная Римская империя — Византия, возникшая на смену Риму, знала в прошлом блистательные времена. Первые василевсы ее — Септимий Север, Константин, прозванный Великим, и множество императоров более поздних времен собрали воедино потомков древних римлян и греков, сохранили и приумножили сокровища науки и культуры Рима и Эллады, долгое время поражали мир своей мощью, присоединяли к Империи новые и новые земли в Европе, Азии и даже Африке. В мире рабовладельцев и захватчиков, среди моря насилий и крови Византия выстояла,

достигла богатства, силы, расцвета, она владычествовала над многими и многими землями и народами.

Но времена эти миновали. От всемогущей когда-то Империи откалывались земли и народы, внутри нее столетие за столетием вспыхивали восстания, нищали крестьяне, ремесленники, рабы, народ самой Византии не раз поднимался против императоров.

Время, когда василевсами были Роман I и II, Константин VII, а затем полководцы, любовники Феофано, Никифор Фока и Иоанн Цимисхий и, наконец, сыновья Феофано Василий и Константин, было очень тяжким для Византии. Империя принимала на себя один за другим удары соседей и сама горела в огне восстаний.

Проздр Василий, который был самой приближенной особой и правой рукой императоров Константина, Романа, Никифора и Иоанна, лучше, чем кто бы то ни было, понимал, на чем держится Соломонов трон византийских императоров; ему приходилось пожинать то, что им было посеяно, распутывать узлы, которые он же сам в свое время завязал.

Тяжко было в Империи. В фемах ее несколько лет подряд был неурожай, если что и всходило на каменистых, выжженных солнцем полях, то все забиралось в подати. То тут, то там вспыхивали восстания. Чтобы бороться с ними, необходимо было содержать многочисленную армию, еще более многочисленной и алчной армией были духовенство и монахи, владевшие большими именьями и землями; огромные средства поглощал Большой дворец, в котором любой ценой, хотя бы ради чужеземцев, нужно было поддерживать внешний блеск. Золота, золота и еще раз золота требовали синклит, сенаторы, патрикии, чиновники, наконец, этерия, полки бессмертных, охранявшие особу императора, легионы, рассеянные по Европе и Малой Азии.

Трудно приходилось Византии и с соседями. Злейшим врагом Империи на протяжении последних столетий была новая Германская империя; она, как черная туча, надвигалась на Византию с севера и с запада, ей принадлежали земли от Варяжского до Средиземного моря, почти вся Италия, острова на Средиземном море.

Долго боролся с Германской империей император Никифор Фока, но одолеть ее не мог. Иоанн Цимисхий сделал то, до чего не додумался его предшественник: он выдал дочь императора Константина Феофано за сына Оттона I, и теперь, когда этот император умер, а на престол сел его сын —

Оттон II, Германская империя и в мыслях не имела стремиться на юг и запад — ее легионы двинулись на восток. Польша отдала Оттону II в заложники малолетнего сына короля Болеслава, Чехия старалась заключить договор. Дочь императора Константина, гречанка Феофано, отводит меч от Византии, направляет его против поляков, чехов, Руси.

Не беспокоился проэдр Василий и о южных границах Византии. Там, в Азии, всегда было беспокойно, Никифор Фока и Иоанн Цимисхий всю жизнь усмиряли эти непокорные земли. Вард Склир жаждет взойти на Соломонов трон, — что ж, если он хочет сохранить свою жизнь и честь, пусть повоюет в Аравийской пустыне. Вместе с Вардом проэдр разбросал по Азии всех его подручных: пустыня велика, непокорных земель много, они, как голодные псы, будут блуждать в сыпучих песках, лизать горячие камни, а тем временем проэдр Василий будет вершить свои дела.

Иное тревожило теперь проэдра: северные и восточные границы Империи... До каких пор Византия будет трепетать перед Болгарией и Русью, до каких пор Константинополь будет содрогаться от бешеного гиперборейского ветра, до каких пор Болгария и Русь будут угрожать Византии?

Проэдр Василий все время пристально следил за Болгарией и знал, что в то время, как император Иоанн сражался в Преславе и Доростоле, в западных областях Болгарии подняли восстание комит Шишман и четыре его сына: сначала отец, а потом комитопулы Давид, Аарон, Монсей и Самуил неустанно расширяли свое царство, ныне они сидят в Водене, готовят поход против Византии.

Неспокоен был проэдр и за Русь; там, как рассказывали купцы, после гибели Святослава сел на престол в Киеве сын Святослава Ярополк, два его брата княжат в других землях русских. Но что замышляют князь Ярополк и его братья? Будут они мстить за смерть своего отца или нет? Не объединятся ли они, сохрани боже, с болгарскими Шишманами, не обратятся ли к папе римскому или, что еще хуже, к германскому императору?

Война! О, проэдр Василий трепетал, думая о войне с болгарями и Русью. Если она начнется, Византия не только не выиграет ее, но потеряет все.

Проздр Василий торопится. Он велит привести в Большой дворец кесаря Болгарии Бориса и долго разговаривает с ним.

У кесаря Бориса жалкий вид: темное платно на нем выцвело и износилось, сам он исхудал, поблек, у него дрожат руки, он моргает глазами.

И как это ни странно, он теперь не кесарь, а магистр. Император Иоанн жестоко поглумился над ним, Борис живет в Большом дворце, как узник, с ним его жена Мария, двое детей.

Проздр спрашивает о здоровье Бориса, расспрашивает о его жене и детях, рассказывает о том, что творят в Болгарии Шишманы.

— Проклятые камиты! — вырывается у Бориса. — Они раздирают Болгарию на клочья, они погубят ее!

Проздр Василий улыбается всем своим безбородым лицом, подбадривает Бориса:

— Но Болгарию еще можно спасти, и Константинополь хочет это сделать. Что Шишманы — они выскочки, самозванцы, в них нет и капли царской крови.

Борис расправляет плечи. В словах проэдра решительность и упорство, он не напрасно нынче позвал его к себе.

— Да, великий проэдр, Шишманы — выскочки, самозванцы, их никогда не поддержат болгары.

Тогда проэдр Василий переходит к делу.

— Покойный император Иоанн поступил нехорошо, отняв у тебя корону, — говорит он, — но мертвых не судят. Боговенчанная десница императоров наших Василия и Константина в этот трудный для болгар час хочет возвратить тебе царскую корону, багряницу и сандалии... Ты с братом своим Романом, — сурово и медленно говорит проэдр, — поедешь в Болгарию и сядешь на трон в Преславле. В своей борьбе ты можешь рассчитывать полностью на помощь Византии.

Борис низко склоняется и целует костлявую руку проэдра Византии. Он немедленно, не теряя ни одного дня, выедет в Болгарию. Но с кем, с какой армией?

— Проэдр Василий, — говорит Борис об этом вслух, — на кого же я могу положиться в борьбе с Шишманами?

Проздр улыбается.

— Кесарь Борис, — насмешливо цедит он, — только что ты сам сказал, что болгары никогда не поддержат Шишманов. Но ведь тебя, сына Петра и внука Симеона, они должны поддержать? Конечно, надеяться на то, что ты сразу соберешь войско, не приходится. Земля в Болгарии слишком раскалена, ты должен действовать не спеша, постепенно, опираясь на бояр, боилов, кметов. Дать тебе свое войско не могу, ибо тогда Византия должна начать войну с Шишманами, а сейчас делать этого не стоит. Ты, и только ты, должен начать восстание против Шишманов; для начала я тебе дам небольшую дружину из легионеров, а войско собирай в Болгарии сам.

— А корона? — вырвалось у будущего кесаря.

— Тебе известно, — спокойно ответил на это проэдр Василий, что Иоанн Цимисхий отдал корону болгарских каганов в Святую Софию. Там она и будет лежать, а когда сядешь на престол в Преславле, получишь корону. Кесарю — кесарево!

Отступать! Нет, кесарю Борису уже поздно это делать. Проэдр Василий возвращает ему корону, но надеть ее на голову должен сам Борис. Что ж, у кесаря выбора нет!

Проэдр Василий приглашает в свои покои в Большом дворце патрикия Феодора.

Муж этот был одним из богатейших людей в Константинополе, прославился тем, что торговал десятком лет с русами, смело пересекал каждую весну Русское море и поднимался вверх по Днепру в Киев, где у него был свой двор, погреба, рабы, осенью возвращался с нагруженными всяким добром хеландиями в Константинополь, — его даже прозвали Феодором Бореем.

Проэдр Василий хорошо знал патрикия Феодора, не раз приглашал его в Большой дворец, чтобы разузнать о далекой Руси; бывали случаи, когда проэдр Василий давал Феодору и важные задания (купцы Византии всегда были глазами императоров в чужих землях): именно Феодора Борея посылал проэдр с василиками к печенежскому кагану Куре, когда Иоанн Цимисхий задумал убить князя Святослава.

И патрикий Феодор выполнил тогда задание Цимисхия, разыскал у Днепра Курю, дал ему двести кентинариев, а каган весной дождался князя и убил его на острове Хортица.

Теперь проэдр Василий и патрикий Феодор встретились как старые знакомые, друзья.

— Я слышал, патрикий Феодор, — начал беседу проэдр, — что ты только что прибыл из Киева.

— Да, проэдр Василий, я прибыл из Киева три дня тому назад.

— Ты ехал морем?

— Нет, по Борисфену и Понтом я побоялся ехать. На этот раз я ехал лошадьми через земли тиверцев и уличей, а потом через Болгарию.

— И как мне говорили, ты опять отправляешься в Киев?

— Сейчас зима, и все пути на Русь закрыты, но весной я непременно выеду в Киев.

— Ты — настоящий рус! — засмеялся проэдр.

— Русом я никогда не стану, — так же шутливо отвечал патрикий Феодор, — хотя многие русы считают меня своим ромеем.

— Ты, как мне передавали, даже имущество имеешь на Руси.

Феодор Борей усмехнулся:

— Когда купец торгует в чужих землях, он должен молиться и своим и чужим богам.

— Но веруешь ты в единого бога?

— Я верую только в единого бога — и императоры Византии и ты, проэдр Василий, это знаете.

— Да, императоры знают и благодарны тебе. Ты оказал великую услугу, убив Святослава.

— Я никогда никого не убивал, — сурово произнес патрикий Феодор, — князя Святослава убил каган Куря.

— За наше золото...

— Да, золото было наше, — согласился Феодор.

— А тебе не страшно там, в городе Киеве?

— А чего же мне бояться? Не один я сижу в Киеве, есть там наши купцы и кроме меня, дворы у них есть и на севере Руси, в Новгороде. Торгуем, проэдр Василий, и торгуем неплохо. Богата земля русская, у нас есть, что им продать, а еще больше можем купить у них.

— А как русы относятся к нашим купцам?

— Хорошо! Русы, проэдр, очень мирные люди и никогда не обманут, не обидят купца. Они страшны только тогда, когда кто-нибудь с оружием вторгается к ним... А мы, прости меня на слове, вторгаемся и вторгаемся к ним.

— Послушай, патрикий, — проэдр вскочил с кресла и несколько раз прошелся по палате, — сейчас Византия не

хочет и сил не имеет вторгаться на Русь. Хватит! Я сам видел войско князя их Игоря под Константинополем, Святослава — на Дунае... Благодарение богу, что этот варвар убит. А что теперь творится на Руси?

— О чем именно ты хочешь знать, проэдр?

— Каков Большой дворец киевских князей?

Патрикий Феодор усмехнулся:

— Такого большого дворца, как наш константинопольский, в Киеве нет.

— Меня интересует не сам дворец, а князья.

— Понимаю... На Руси ныне сидят сыновья князя Святослава.

— Сколько их?

— В Киеве сидит Ярополк, под Киевом на земле Древлянской — Олег, они сыновья Святослава и угорской княжны, а еще один, князь Владимир, сидит в Новгороде, он сын князя Святослава и рабыни.

Проэдр Василий вздрогнул: сыну императора и рабыни тяжело было слышать это.

— А кто из них, — спросил он, — лучше всех, то есть с кем из них легче договориться? Слышишь, патрикий, мы сейчас не можем воевать с Русью, я хочу с ней договориться.

— Ты хорошо делаешь, проэдр, с Русью лучше не воевать, а договориться и вести торг. Прежние императоры наши, к сожалению, этого не делали, если же мы установим такие отношения с Русью, тогда скорее удастся и покорить ее...

— Я вижу, ты меня понимаешь, патрикий! Хорошо, будем действовать. Так какой же из князей русских наиболее пригоден для Византии?

— Только киевский князь Ярополк. Он христианин, очень честолюбив, ненавидит своих братьев, особенно сына рабыни, Владимира.

— Он женат?

— Нет, проэдр. Тебя, я вижу, и это занимает...

— Занимает, и даже очень, потому что ты поедешь весной в Киев не только как купец, но и как наш посол, вместе с тобой поедет посольство, а может быть, и епископ... По дороге в Киев вы должны будете найти печенегов...

— Ты задумал убить Ярополка?

— Отнюдь. Наоборот, ты найдешь печенежского кагана...

— Курю?

— Нет, Курю уже знают, он для этого не годится. Ты найдешь другого кагана, дашь ему золота, чтобы он поехал в Киев и заключил мир с Ярополком.

— Мир с Ярополком? Подожди, проэдр! Найти кагана, который возьмет наше золото и заключит мир с Ярополком, очень легко, но зачем это? Я ничего не понимаю, проэдр!

— Потом все поймешь... А вы тем временем поедете вслед за печенегами в Киев, повезете князю Ярополку дары, заключите с ним мир, а кроме того, повезете, возможно, князю и жену.

— О проэдр, я вижу, ты хочешь затеять с князем Ярополком брань большую, чем покойный император.

— На этот раз брань будет без крови.

— Кровь ни к чему! Золотом, проэдр, да если еще к нему прибавить жену, можно достигнуть большего, чем на поле брани...

10

На самом берегу Тибра, на каменистом холме Ватикане, окруженное рвом и валами стоит мрачное каменное сооружение с башнями, высокими стенами, мостом, который поднимается на ночь, с тяжелыми железными воротами.

Такие же сооружения виднеются и на других холмах — Авентине, Квириналии, Капитолии, — все это крепости охраняли когда-то древний Рим, раскинувшийся над Тибром и в долинах, его величественные храмы, дворцы, форумы, базилики, памятники, сокровища.

Но здание на Ватиканском холме над Тибром не только крепость. Когда-то у его стен велись жестокие бои, лилась человеческая кровь, ныне же тут живет со своим конклавом наместник бога на земле — римский папа.

В поздний ночной час папа Бенедикт VII не спит. Он сидит и беседует с епископом Львом, который только этим вечером прибыл в Рим из Константинополя, куда ездил негласно, под видом купца.

— Итак, императора Иоанна не стало...

— Да, всесвятейший, господь бог призвал его к себе.

— Уверен, что господь бог отдаст его душу только дьяволу. Этот армянский полководец натворил нам столько бед в Средиземном море, как ни один из императоров Византии.

Значит, теперь на престоле в Константинополе сидят Василий и Константин.

— Над ними стоит все тот же проэдр Василий.

— О, — усмехается папа, — этот проэдр — хитрая лиса, но он не поведет легионов, как Иоанн.

— Это верно, — соглашается епископ, — он, разумеется, легионов не поведет, но в Константинополе я слышал, что проэдр освободил кесаря Бориса и тот уже выехал в Болгарию, а на Русь он собирается послать своих послов и епископов.

Епископ умолкает. В палате, где они сидят, царит тишина. Через некоторое время слышится звон сторожевых колоколов на башнях Ватикана, вот долетели такие же, но более глухие звуки — откликнулись Квириналий. Капитолий... Поздно. Скоро, должно быть, начнется рассвет, епископу нестерпимо хочется спать.

Но папа не отпускает его, склонив голову к столу, он думает. Внешне ничто не говорит о том, какие тяжкие и сложные заботы тревожат душу наисвятейшего, на безбородом, высохшем, бледном лице не шевелится ни один мускул, глаза папы полузакрыты, на тонких синеватых губах — мягкая усмешка.

В голове у папы роится тысяча мыслей, старческое его сердце учащенно бьется от напряжения, спрятанные под скатерть пальцы разжимаются и сжимаются в кулаки.

С Ватиканского холма днем видны горы, долины, Рим. Но папа Бенедикт видит отсюда дальше и больше, он вспоминает прежнюю Римскую империю, ее цезарей и императоров, ее мощь, перед которой когда-то содрогался весь мир.

Римская империя! О, ее уже нет, вся северная и центральная часть бывшей Империи захвачена германцами, юг полуострова и прилегающие к нему острова принадлежат Византии. Германская империя на севере и Восточная Римская на востоке — эти две империи господствуют теперь в мире, они угрожают уничтожить и все то, что осталось от империи цезарей, угрожают самому Риму.

Поэтому папа Бенедикт с глубокой благодарностью вспоминает своего предшественника папу Иоанна XII; в то время когда германский король Оттон I захватил Северную Италию, брал города Средней Италии и уже угрожал Риму, папа Иоанн XII одним взмахом руки сумел остановить орды Оттона, не допустил их к Риму.

Это напоминало чудо, но на самом деле о чуде здесь не было и речи: Оттон и сил-то не имел продвигаться по Италии дальше, гонимы с севера сообщали, что там все чаще и чаще происходили стычки с уграми. Но больше всего беспокоила Оттона Византия: императоры ромеев, по-видимому, посылают на них угрозы, чтобы потом ударить самим.

Оттон I пишет папе Иоанну XII, что он согласен остановить свое войско и не пойдет на Рим, но требует, чтобы папа короновал его как императора Германской империи, которая отныне будет называться "Священной Римской империей".

Священная Римская империя германской нации — это была наглость и просто безумие. Никогда германские короли не были императорами, никогда Германия не была Империей, никогда Германия не имела никакого отношения к Риму. А если бы, наконец, и возникла бы Германская империя, то с какой стати ей быть Римской, да еще и Священной.

Папа понимает, что кроется за требованием германского короля.

Империя цезарей исчезла и никогда уже не возродится, на смену ей в Константинополе возникла Восточная Римская империя, которая стремится поглотить весь мир. Ныне противостоять ей могут только германские короли. Папа Иоанн соглашается короновать Оттона.

Но Иоанн хочет получить награду за корону, которую он вручит Оттону, а потому требует, чтобы новый, посвященный им на престол германский император признал, что папы тоже обладают властью императоров, им должны быть подчинены Рим, Италия, все страны Запада, главенство над александрийской, антиохийской, иерусалимской и константинопольской церквами. Папа Иоанн не только требовал, но доказывал, что эти права якобы были дарованы папам римским императором Константином, что, кроме того, он даровал им высшую судебную законодательную власть в церкви, право смещения епископов и суда над ними.

Король Оттон знал, что дар Константина — папская выдумка, но он жаждал стать императором и утвердил права Ватиканского престола, за что и получил из рук папы золотую корону.

Так с помощью пап возникла новая Германская империя, принявшая название "Священной Римской империи",

папы же получили подтверждение дара Константина и вооруженную помощь новых германских императоров.

Папам было тесно в городе Ромула и Рема, они мечтали о древней Римской империи, о владычестве над всем миром, хотя не имели ни сил, ни войска. Но в их руках оставалась сила, с помощью которой можно было сделать гораздо больше, чем с помощью оружия, — тысячи священнослужителей, и сидевших в Риме, и рассеянных по всему свету. Они действовали крестом, чтобы когда-нибудь, возможно, закрепить свои права мечом.

В этом папам повезло. Слуги Ватикана стали духовными наставниками германских императоров, они окатоличили польских и чешских королей, стояли уже у престолов Франции, Англии — весь Запад затопляли волны католицизма.

Но ничего не могли поделывать слуги Ватикана на Востоке. Не только папа Бенедикт, но уже несколько его предшественников думали и пеклись об окатоличении славянских земель; еще в 956 году в Германии при Магдебургском епископе были учреждены две новые епархии "*Partibus infidelium*"* для Польши и для Руси.

Самовольно учредив эти епархии, Оттон I и папа Иоанн XII продолжали действовать, назначили "епископом русским" Адальберта, послали его в Киев.

Однако княгиня Ольга сразу поняла, чего добиваются германский император и папа римский, — не стала даже разговаривать с "епископом русским", а русские люди выгнали Адальберта из Киева и перебили всю его свиту.

— Мы тоже начнем переговоры с киевским князем, — наконец поднимает голову и говорит епископу Льву папа Бенедикт. — Ты не будешь долго отдыхать, епископ, а выедешь через несколько дней в Кведлинбург и потом на Русь.

Епископ смотрит на папу испуганными глазами.

— Боюсь, что меня там ждет участь Адальберта.

— История с Адальбертом не должна повториться, — успокоил перепуганного епископа папа. — Епархии для язычников ныне не существует, русского епископа в Магдебурге нет, а говорить с русскими князьями мы можем и должны.

— Эти князья — язычники, варвары!

* Языческие области (лат.).

— Нет, варвара и язычника князя Святослава больше не существует. Император Оттон известил меня, что в Киеве ныне сидит его сын Ярополк. Он христианин, его окружают знатные люди, среди них немало христиан, а кое-кто тайно исповедует нашу веру. Ты, епископ, по дороге в Киев заедешь в Кведлинбург и будешь иметь беседу с Оттоном. Желательно, чтобы он послал с тобой своего человека, разумеется, под видом священника. Мы, — заканчивает он, — пошлем послов в Киев, а за ними пойдут легионы Оттона, или же, наоборот, пускай Оттон шлет свои легионы, а мы можем пойти на Русь следом за ними!

На берегах Тибра тихо. Рим спит. Пора отдохнуть и папе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1



Кесарь Борис покинул Константинополь, быстро миновал Аркадиополь и Адриано-поль, ибо весь юг Болгарии был захвачен акритами, и уже приближался к Родопам, видел вдалеке зеленые предгорья, белые, укрытые снегами вершины хребта. Он был не один, рядом с ним ехал на коне брат Роман, их окружала сотня переодетых в болгарскую одежду легионеров — все, что мог ему дать проэдр Василий. Конечно, опираться на такую вооруженную силу не приходилось — что такое сотня легионеров для кесаря Бориса, который хотел захватить наследственный престол и отвоевать у Шишманов всю Болгарию?

Поэтому кесарь, переезжая по ночам от града до града и от села к селу, разыскивал старых боилов, кметов и бояр, просил у них помощи, советовался, как быть. Кметы и бояры в беседах с Борисом охотно поддерживали его, но, когда дошло до дела и кесарь попросил дать подмогу — денег, а главное, людей, они наскребли лишь сотню, обещая позже прислать еще. Так и приближался кесарь к Родопам — с сотней переодетых легионеров и сотней молодых бояр. Он сердился на проэдра Василия, который дал ему не легион закованных в броню воинов, а малочисленную и слабую дружину, искоса поглядывал на брата Романа, которого проэдр послал с ним — помочь он не может, а думает, должно быть, сам о короне кесаря. Кесарь Борис ярился, что не

может надеть на голову корону болгарских каганов, а крадется по болгарской земле, как вор.

Кесарь Борис надеялся, что, когда он минует клисуры в Родопах и приблизится к древней Преславе, там его встретят бояры, которые окружали его в Золотой палате Преславского дворца, там соберет он войско, двинется с ним против Шишманов.

Как-то утром, когда кесарь Борис, переночевав с дружиной в овчарских катунах на одном из перевалов, проснулся на рассвете и хотел продолжать путь, он увидел множество болгар — смуглых от солнца и ветра, в убогой одежде, со звериными шкурами на плечах.

“Овчары, как видно”, — подумал кесарь Борис, наблюдая, как эти люди, сбившись в кучки под деревьями, стоят и присматриваются к ним.

— Дружина! — воскликнул кесарь Борис, набрасывая на плечи черное корзно и готовясь вскочить в седло. — Мы идем дальше, на Преславу...

Сесть на коня кесарь не смог, никто из его дружины не шелохнулся. Болгары, толпившиеся под деревьями, двинулись вперед, разворачиваясь полукругом.

— Кто вы? — закричал Борис.

— Мы болгары, — ответил бородатый седой человек, у пояса которого Борис заметил длинный меч.

— Это хорошо, — сказал кесарь Борис, обрадовавшись, что увидел здесь, в горах, так много болгар. — Тогда слушайте! Я — сын покойного кесаря вашего Петра, внук кагана Симеона Борис, я сам был вашим кесарем... Царство мое, — вдохновенно завопил он, — родная земля, я возвращаюсь к тебе!

Суровы и задумчивы были лица людей, встретивших прежнего кесаря.

— Ты сказал правду, — произнес бородатый болгарин, — был у нас кесарь Симеон, мир праху его, был у него и сын Петр, но внука его Бориса мы не знаем и не хотим знать. Ты ошибся, Борис! Это не твоя земля! Ты же не болгарин, а грек, пес ромеев.

— Как смеешь ты, раб, так говорить со мной, кесарем Болгарии?

Лицо бородатого было сурово и неумолимо.

— Не я один это говорю, так говорит вся Болгария, земля и люди... Убирайся, грек!

Борис выхватил меч.

— Дружина! — прозвучал его надтреснутый, хриплый голос.

Но что это? Оглянувшись, он увидел, что legionеры вскакивают на коней и поворачиваются к нему спинами, а

болярские сынки все быстрее разбегаются в ущелья и по куштам.

Меч задрожал в руках Бориса, но не дрогнула рука бородатого человека — он рассек кесарю голову.

Люди, встретившие кесарей-беглецов на перевалах Родопов, были вовсе не овчарами, а воннами. Оставив мертвое тело Бориса в добычу вóронам и взяв с собой Романа, они направились тропинками среди скал и зарослей к ущелью, где паслись их кони, оседлали их и двинулись в горы.

Через неделю воины очутились в Водене — крепости, которая притаилась на крутой скале над бурным потоком среди гор и долин, — это была новая столица Болгарии.

В Водене сидел тогда Самуил, самый младший сын комита Николая Шишмана, который в грозные времена, когда над Дунаем, в Родопах, а потом и на равнине шла ожесточенная борьба между Иоанном Цимисхнем и князем Святославом и когда болгарские каганы Петр и сын его Борис продались императорам, провозгласил свободной Западную Болгарию и объявил себя врагом Византии. Отца поддерживали и комитопулы, четыре его сына — Давид, Моисей, Аарон, Самуил.

Однако Николай Шишман и сын его Давид, который после смерти отца занял его место, не сделали того, что могли и должны были сделать. Это к ним, взяв древнюю столицу Болгарии — Преславу, обращался князь Святослав, предлагая объединить силы, чтобы громить войско императора Иоанна Цимисхня в долине за Родопами, под Аркадиополем и Адрианополем. Они не пришли на помощь Святославу, не ударили Цимисхию в спину. Домовитые, богатые комитопулы в этот трудный, решающий для Руси и Болгарии час сидели в своих городах и областях, ждали, кто же возьмет верх: Цимисхий или Святослав, и даже когда победил Святослав, не пошел к нему, выжидали, когда русские воины оставят Преславу и Доростол, чтобы самим забрать в свои руки всю Болгарию.

Это было великой ошибкой комитопулов Шишманов, большим несчастьем для Болгарии, последствия которого сказались много позже — через столетие. Когда русский князь Святослав отошел, заключив мир с ромеями, за Дунай и Шишманы бросились освобождать и объединять Болгарию, было уже поздно: вся Восточная Болгария с ее реками и долинами была захвачена ромеями. Шишманам остались горы и горные равнины на западе.

Николай Шишман и его сыновья храбро сражались с Византией, все последние, самые трудные годы жизни старого Шишмана прошли на коне, он освобождал все новые и но-

вые города. В древних болгарских хартиях написаю, что он и умер, сидя на коне.

Но старого Шишмана, а порой и его сыновей губило стремление держаться в стороне от бурных событий, которые происходили в Восточной Болгарии, они не понимали, что там, и только там, над Дунаем и Русским морем, на широких равнинах и реках, решается и будет решена судьба Болгарии, они жаждали бескровной войны, а за это пришлось расплачиваться реками крови.

И эта жестокая, неумолимая и неминуемая брань с Византией приближалась. Император Иоанн Цимисхий, заключив мир с князем Святославом и пообещав освободить Восточную Болгарию, не сдержал, да и не собирался держать свое слово — его акриты стоят вдоль Дуная и в долине, продвигаются и продвигаются в горы.

После смерти Цимисхия то же самое делает проэдр Василий, который правит Византией от имени молодых императоров Василия и Константина, — он объявляет самую настоящую войну болгарам, шлет легионеров против Шишманов.

Что же делает и что может поделаться Давид Шишман? Вся Восточная Болгария захвачена ромеями, русские воины идут на Дунай, а их князь Святослав, говорят, убит на порогах. Западная Болгария остается один на один со своим врагом Византией.

И вот, в поисках поддержки и союзников, Давид шлет послов в Кведлинбург к немецкому императору Оттону I, который обещает помочь Давиду, но никогда пальцем не ударит, чтобы это сделать, — муж византийской принцессы Феофано печется о благе не Болгарии, а Византии.

В то же время Давид принимает послов от папы римского Бенедикта, который, оказывается, много слышал и знает о кровопролитной войне в Болгарии, обещает помощь в борьбе с Византией. Давид, конечно, верит в это, ибо нет на свете врагов более лютых, чем ромейские императоры с их патриархами и римский папа. Папа посылает Давиду в знак своего расположения корону из священного города Рима.

Против римской короны в Болгарии прозвучал один только голос патриарха Дамиана. Проклятый константинопольским патриархом, он после доростольской битвы бежит в Западную Болгарию, к Шишманам, и вместе с ними переезжает из столицы в столицу. Но это очень робкий голос: патриарх Дамиан доживает уже последние дни на свете.

Впрочем, корона так и не поиадобилась Давиду Шишману: если папа римский действует крестом, то Византия действует мечом. Под городом Сера ромеи убивают в бою Давида; Моисей падает мертвым, убитый ромеями из-за уг-

ла, — в Западной Болгарии остаются два сына старого Шишмана: Самуил, который сидит в Водене, да еще Аарон, что правит в Средеце.

Кесаревица Романа привели к комиту Самуилу босого, потому что он разбил свои башмаки в дальней дороге, с непокрытой головой, в черной от пыли сорочке и таких же новицах.

— Что это? Кого ты привез, воевода Петр? — обратился Самуил к бородатому воину, сопровождавшему Романа.

— Охраняя склоны Родопов, мы увидели отряд, ехавший со стороны Адрианополя по клисурам, долго следили за ним и окружили. Во главе этого отряда, оказалось, ехал прежний кесарь Болгарии Борис. Он поднял против нас меч, и мы его убили.

— Ты поступил справедливо, воевода Петр, дружина моя и все болгары давно решили убить Бориса, если он посмеет переступить границы Болгарии. Греческий кесарь нам не нужен. Хватит! Но это кто?

— Брат Бориса — Роман, — ответил воевода Петр. — Они ехали вместе.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Самуил. — Выходит, ромей посылали сюда двух кесарей вместе?

— Нет! — подал вдруг голос Роман, стоявший до сих пор молча, присматриваясь к молодому Шишману, о котором он слышал когда-то еще здесь, в Болгарии, а позже и в Константинополе.

— Нет? — рассмеялся Самуил. — Хорошо, ты сейчас сам мне все расскажешь. Ступай, Петр, — обратился он к воеводе, — ты, должно быть, очень устал?

— Да, комит, дорога была дальняя. Мои воины стоят у дверей.

— Добро!

И воевода Петр вышел. Самуил поднялся с кресла, подошел к окну, за которым виднелись горы, долины.

— Как же ты, кесаревиц Роман, очутился здесь? — обернувшись к Роману, спросил Самуил.

Роман решил говорить правду. А впрочем, что ему было скрывать?

— Недавно проезд Василий велел Борису ехать в Болгарию и начинать восстание против тебя, а мне сопровождать брата...

— Значит, Византия послала Бориса в Болгарию как кесаря?

— Проздр Василий назвал его кесарем и обещал возвратить корону, как только он дойдет до Преславы.

— Хитро поступает Византия, — засмеялся Самуил. — Как всегда, загребает жар чужими руками. А ты? Зачем ты ехал с Борисом? Что же, ты тоже хотел стать кесарем?

Роман закрыл глаза, сжал губы, на лице его отразилось невероятное страдание.

— Я кесарем? — прозвучало в палате. — Послушай, комит Самуил, ты шутишь, ты ведь знаешь — я никогда в жизни не смогу и не захочу быть кесарем Болгарии...

— Нет, я не шучу, я не знаю, зачем ты ехал с братом. Мне казалось, что, если погибает кесарь, корону надевает его брат.

Роман закричал:

— Я говорю правду, как перед богом. Я не хотел и не хочу быть кесарем Болгарии, потому что я не человек: Иоанн Цимисхий отнял у меня все, все...

— О чем ты говоришь?

Роман взглянул на Самуила глазами, в которых были пустота, безнадежность.

— Он ископил меня, — сказал Роман, охватив голову руками.

Комит Самуил следил за Романом, который стоял перед ним раздавленный, уничтоженный — получеловек.

— Роман! — громко окликнул он его.

Тот поднял голову, и Самуил увидел на его глазах слезы.

— Послушай, Роман! — обратился к нему он. — А мне ты будешь служить?

Роман вздрогнул. Неужели и этот комитопул не считает его человеком, неужели он хочет сделать его, сына кесаря, своим рабом?

— Служить тебе? Не знаю, комит Самуил, как бы я мог служить тебе?

— Ты меня, должно быть, не понял, а может быть, я не так выразился, Роман, — сказал Самуил. — Хочешь ли ты вместе со мной служить болгарам?

— Болгарам? — сразу же выпрямился Роман. — Согласен.

— Ты и будешь им служить... Я назначаю тебя главным начальником своего войска, которое стоит в Скопле на Вардаре.

— Спасибо, комит, за честь и доверие, — тихо произнес Роман. — Я согласен служить тебе и болгарам. Верь мне, все сделаю, чтобы отомстить ромеям.

Меч и щит князя Святослава! Приняв их из рук воинов, которые уцелели после боя на Хортице, князь Ярополк сам отнес отцовское оружие на Гору, велел повесить на стену в Золотой палате. Там оно и висело на свежих колышках из граба — рядом со шлемами и топорами первых князей киевских Кня и Щека, рядом со щитом Олега, с помятыми и пробитыми доспехами князя Игоря.

Меч и щит князя Святослава! Приняв их из рук воинов, князь Ярополк дал клятву беречь мир и покой на родной земле, бороться с врагами, не щадить ни сил своих, ни жизни!

Однако, давая эту клятву, и позднее, когда меч и щит уже висели в Золотой палате, князь Ярополк думал свою, иную думу.

Это началось давно, наверное, еще с детских лет, когда после смерти матери Предславы его взяла в свой терем и воспитывала княгиня Ольга.

Ярополк рос в роскоши, богатстве, бабка-княгиня окружила его заботой и любовью; сама христианка, она тайком от отца окрестила внука, а чтобы научить молодого князя владеть оружием, назначила ему вую — воеводу Блюда.

Князь Святослав, вероятно, не сделал бы Блюда воем Ярополка. Блюд служил в его дружине, ходил с князем на хазар, но не проявил в походе ни сметливости, ни отваги, а, наоборот, всегда оставался в тени; из-под Саркела Святослав отослал Блюда в Киев, назначил воеводой Горы.

А Блуду только этого и надо было: как воевода Горы, он построил там свой терем, как тайный христианин, был вхож к княгине Ольге. Хитрый и изворотливый, он вошел к ней в доверие, стал воем Ярополка.

Князь Святослав позже узнал об этом, но не стал перечить матери: владеть оружием мог научить княжича Ярополка не только воевода, но и каждый гридень. Ведь воем своего любимого сына Владимира он поставил не кого-нибудь, а дружинника Добрыню...

Придет время, думал он, и каждый из его сыновей — будь то Ярополк, Олег или Владимир, — став князем, должен будет сам показать свои способности, силу. Князь Святослав надеялся на всех троих своих сыновей: отправляясь на последнюю брань с ромеями, он посадил на стол в Киеве Ярополка, в земле Древлянской — Олега, а Владимира послал в Новгород.

Но Святослав поступил так не по своей воле. Владимир был его первым, старшим сыном и по закону и обычаю должен был сесть на стол в Киеве, но Ярополк и Олег были детьми княжны Предславы, а Владимир сыном рабыни, не Святослав, а Гора не пожелала иметь князем Владимира. Потому-то скрепив сердце и послал он его в далекий Новгород, Киев же отдал Ярополку.

Разумеется, не бабка Ольга и не вуй Блюды вложили душу в княжича Ярополка. Высокий и стройный, светлый лицом, с темными волосами, тонкими бровями, слегка заостренным носом, осторожный в слове, сдержанный, рассудительный, очень хорош собой был княжич Ярополк.

Но, как это порой бывает, душа у него была хищная, ненависть и жажда мести всегда непреодолимо жгли его сердце. Ярополк не останавливался ни перед чем, не брезговал лицемерием и ложью.

Когда Святослав воевал в Болгарии и на Дунае, каждый из сыновей сидел и правил своей землей; но отец был жив, он правил Русью, его слушались, ему подчинялись сыновья, в том числе и Ярополк.

Когда же до Киева дошла весть, что князь Святослав погиб на порогах, Олег и Владимир несколько раз посылали друг к другу гонцов. Правды не утаишь, обоим им были не по душе заносчивый, гордый, хитрый Ярополк и вся киевская Гора, стремившаяся побольше захватить себе, покорить Древлянскую землю и Новгород.

Но они не могли нарушить волю отца, назначившего каждому сыну его землю. Сговорившись между собой, принесли Ярополку по обычаю присягу на оружии, обещали сохранять с ним дружбу, обязались платить уроки со своих земель. И Ярополк, садясь на стол как князь Руси, присягнул Христом, что будет блюсти закон и обычай отцов, охранять земли, вести дружбу и приязнь с братьями.

Но Ярополк не остался верен своей присяге, зависть терзала его сердце, он не мог стерпеть, что не он один, а еще два брата — и один из них сын рабыни — правят землями.

Вскоре после смерти отца произошла у него стычка с братом, древлянским князем Олегом. Виноват был не Олег; тихий, нерешительный князь сидел в своей глухой, скудной, болотистой земле в городе Искоростене, исправно посылал в Киев дань, давал воинов, выполнял все уроки.

Но Ярополку было этого мало. Собственно, действовал теперь не он: и при княгине Ольге, и во времена Святослава боярство и воеводство, мужи и старцы Горы накопили в своих руках большие богатства, они брали и брали из княжьих

рук пожалования, земли, леса, реки; им было уже мало города Киева и Полянской земли, они хотели, чтобы князь и они получали даи и в других землях.

— Доколе будем, князь, брать малую дань из земли Древлянской... Пошли, князь, в Искоростеи дружину, пусть Олег платит больше даи.

Ярополк послушался Горы, послал в Древлянскую землю воеводу, сына Свеиельда, Люта, который стал бить там в лесах зверя, снимать борти, налагать на города и веси свою, воеводскую, дань.

Покачать Люта выехал с дружиной сам князь Олег, — на этот раз тихий князь был раздражен и решителен. Настигнув Люта, он убил его, а дружину прогнал за пределы земли своей.

Гора зашумела. И не потому, что любила Люта, нет, бояре и воеводы ненавидели этого потомка свиоивов. Они шумели потому, что хотели быть хозяевами всех земель, а древляне убили их воеводу, древлянский князь обнажил меч против Горы.

Князю Ярополку следовало бы вспомнить деда своего Игоря, который ходил в Древлянскую землю за данью и там погиб... Но он забыл об этом, послал в город Вручай дружину, она разбила древлян, конями затоптала в схватке князя Олега.

Вскоре туда прибывает князь Ярополк. Он преклоняет колена перед телом брата, горько плачет и причитает: "За что его убили".

Но что слезы? Кто им поверит? Брат убил брата, кровь Олега запеклась на мече князя Ярополка.

Ранней весной, как только подсох Соляной путь, в поле за Днепром появился небольшой отряд печенегов: одни из них верхом, другие в кибитках.

Полевая стража, как водится, сразу же бросилась по их следам, настигла, готовилась принять бой.

Но печенеги вовсе не собирались биться. Они остановили коней и кибитки, подождали на высоком кургане, когда приблизится стража, а потом выслали вперед своих глашатаев, которые и объявили, что это идет в Киев на поклон к князю Ярополку каган Илдея.

На поклон к князю Ярополку? Русские люди доселе не слыхали, чтобы каганы ездили на поклон к их князьям. Старые, бывалые воины говорили: "Берегись хазарина на Итиль-реке, ромея над морем Русским, а печенег повсюду в диком поле". Не знали они и на этот раз, как быть с пече-

негами, поэтому велели отряду остановиться и ждать, сами же окружили его, а в Киев послали гонцов, чтобы узнать, как им поступить.

Меч и щит князя Святослава! Ярополк услышал о печенежском кагане Илдее, стоя в Золотой палате, у оружия своего отца, и, казалось, эти мертвые, холодные предметы говорили, кричали, приказывали, чтобы он не разговаривал с врагами, которые пролили кровь его отца.

Князь Ярополк предал отца, сказал, что будет говорить с каганом Илдеей, принял его в Золотой палате, где висели отцовские меч и щит.

В высоких, сшитых из козлиной шкуры выворотных сапогах, в коротком кафтане, подпоясанный поясом с золотым набором, с кривой саблей у пояса, черный от степных ветров, с кружком черных волос на бритой голове, остроносый, с лукавыми, быстрыми глазами стоял каган Илдея перед князем Ярополком и через толмача говорил:

— Мы приехали, чтобы узнать о здоровье великого князя, всех воевод и бояр русских...

— Спасибо, каган! А тебе как ехалось в поле и как здоровье твое и прочих каганов?

— Благодарим, князь! И я и все остальные каганы чувствуем себя хорошо, мы привезли тебе дары.

Несколько здоровенных печенегов, пришедших вместе с Илдеей, развернули меха и положили перед князем дары — свертки фофудии с серебряными узорами, кованную из резных колец байдану, кривую саблю в золотой оправе.

— За дары благодарим и подносим свои.

Гридни принесли и подали кагану сработанные роднянскими мастерами позолоченные меч, щит и кольчугу.

— Щедры дары твои, — говорил каган, и лицо его так и сияло от удовольствия. — Лучше серебро, чем медь, лучше золото, чем серебро, лучше мир и любовь, чем война. С этим меня и прислали каганы, велели сказать: наши печенежские орды много воевали с твоими предками и проливали русскую и свою кровь. Мои орды не хотят больше воевать с русскими князьями, мы хотим держать мир и любовь с Киевом. Хотим верно тебе служить.

Если бы князь Ярополк был дальновидным и следил бы за границами Руси, он знал бы и понимал, что печенежский каган прибыл в Киев из-за того, что с востока на просторы между Итиль-рекой и низовьем Днепра, где печенеги до того чувствовали себя полными хозяевами, надвигаются по-

ловецкие орды, следом за ними идут кимаки, огузы. О, если бы Ярополк это знал, он разговаривал бы с Илдеей иначе, заставил бы ударить на половцев, предупредил бы потоки крови, которая позднее была пролита на Руси.

Не знал, конечно, князь Ярополк и того, что каган Илдея совсем недавно встретился на порогах с василиками императоров Василия и Константина, которые дали ему золота, чтобы он заключил мир с Ярополком и чтобы орды его шли на запад к Днестру, чтобы, когда понадобится, соединиться с легионами ромеев и бить болгар. Князь Ярополк об этом не знал, он слушал льстивые слова Илдеи:

— Весь мир славит тебя, князь Ярополк, печенежские каганы предлагают тебе мир и любовь, они не будут больше становиться помехой русским купцам в поле, уйдут к Днестру, хотят осесть на земле.

И князь Ярополк отвечал:

— Я согласен на мир и любовь с вашими племенами, и в знак нашей дружбы дам города и волости у Днестра, где живут тиверцы и уличи.

Так князь Ярополк ради славы своей заключил мир с врагами Руси, так он за клочок гнилой фюфудии, ржавую байдану и отравленную саблю отдавал врагам-печенегам земли тиверцев и уличей. Сам он впоследствии в тяжкую годину слишком поздно узнал, какова цена печенежской любви и измены людям своим.

Само небо, казалось, вопило против мира русских людей с печенегами: еще каган Илдея не покинул Киева, как среди бела дня на солнце напозла тень, землю объяла тьма, поднялись вихри и загредел гром, заревел скот и завyli звери в лесу.

Но князь Ярополк не обратил на это внимания. Он праздновал победу в Киеве, каган Илдея мчался со своей дружиной в диком поле, а к Киеву приближались еще более страшные и коварные враги.

3

Когда в Днепре отшумели мутные весенние воды и над голубой гладью выступили темные, изрезанные желтыми, красными и зелеными прожилками кручи, когда в безграничных лугах зацвело множество пахучих цветов, как раз в разгаре мая с низовьев приплыли и остановились на Почайне бесчисленные греческие хеландии. Это были настоя-

щие чудища с диковинными резными носами, тупой кормой, с высокими бортами, облепленными зелеными морскими водорослями.

На хеландиях прибыли, как и всегда, константинопольские купцы во главе с Феодором, вместе с ними приехали и послы императоров ромеев Василия и Константина, которые хотели говорить с киевским князем.

О, если бы живы были княгиня Ольга и сын ее Святослав! Они знали, что греки лживые, хитрые люди, они сразу задумались бы и поняли, зачем послы императоров Византии появились в Киеве.

Послы императоров: славный полководец патрикий Роман, один из папиев Большого дворца Лев, епископ из Солуни Никодим и купец Феодор — как только их ввели в Золотую палату, начали:

— Божьей милостью, от василевсов Римской империи Василия и Константина мы, василики, бьем тебе челом, князь Ярополк, и просим принять дары.

После таких слов василики ударили челом князю Ярополку, поклонились воеводам и боярам, столпившимся в Золотой палате, а слуги их поднесли поближе дары императоров.

Это были поистине достойные дары. Слуги клали на ковры перед князем алые, тканые золотой нитью гексамиты, штуки тончайшего венецианского альтабаса, бархат из Флоренции, половинчатый и остроугольный бурмицкий жемчуг, красные, как кровь, винисы, желтые яхонты, голубую, как небо, бирюзу, разнообразное узорчье.

— За дары благодарим, — отвечал князь Ярополк, — а императорам ромеев желаем здоровья, долгих лет жизни, счастья.

А потом василики повели беседу — тонкую, хитрую, но лестную для князя Ярополка:

— Императоры ромеев подтверждают мир и любовь между Византией и Русью, установленные императорами нашими Львом и Александром, Романом, Константином и Стефаном, а позже Константином Порфирородным и Иоанном Цимисхием.

— Мы, русские люди, — отвечал на это Ярополк, — такожде блюдем и будем блюсти уговор, который заключили с императорами ромеев князья наши, вечная им память, Игорь, Ольга и отец мой, великий князь киевский Святослав.

— Императоры ромеев не только хранят мир и любовь с Русью, — продолжали василики, — но хотят их укрепить, умножить.

В Золотой палате слышался шепот воевод и бояр — уж кто-кто, а они знали, как берегли мир и любовь с Русью императоры, — вот на стене палаты висят порубленные саблями ромеев доспехи князя Игоря, щит и меч князя Святослава, сколько крови пролито в сечах с ромеями, сколько костей тлеет в песках у Русского моря, у берегов Дуная, в Болгарии! О, русские люди, родная земля, слышите ли вы ныне ромеев?!

Князь Ярополк смотрел на богатые дары, лежавшие перед ним, гордо сидел на столе отца своего, — это с ним говорят василики императоров...

И утверждается, множится мир с Византией — купцам греческим дозволяется торговать не только в Киеве, но и во всех городах Руси, киевский князь предоставит императорам военную помощь, если возникнет в этом необходимость...

В этом месте князь Ярополк останавливает василиков, которые старательно записывают ряд на харатиях.

— А если понадобится, — говорит он, — императоры ромеев должны помочь и Киеву, дать воинов с хеландиями, греческий огонь.

Василики оторопели: Византия уже не раз заключала ряд с Русью, это императоры хотели, чтобы Русь помогала Византии оружием, но киевские князья никогда еще не просили помощи у ромеев.

Однако василики усмеваются и записывают на харатии то, о чем просит князь Ярополк.

А потом говорит василик епископ Никодим, он просит князя Ярополка утвердить христианскую епархию на Руси, установленную еще патриархом Фотием.

Ярополк колеблется — христианин, окруженный боярами, воеводами, купцами, большинство которых тоже, еще со времен Ольги, христиане, он охотно утвердил бы учрежденную Фотием киевскую епархию.

Но он знает, что патриарх Фотий действовал самочинно, не спрашивая согласия киевских князей, из-за чего Игорь, Ольга, Святослав возмущались и проклинали Византию.

Знает Ярополк и то, что Гора молится Христу, но во всех остальных землях Руси люди молятся богам старым, деревянным и не примут христианства.

— Я не знаю об епархии Фотия, — хитро отвечает Ярополк, но тут же добавляет, что на Руси много христиан и

что сам он христианин, а потому разрешает греческим священникам распространять свою веру по Днепру, — а это уже измена Руси, князь Ярополк нарушает слово предков, открывает дверь в Русь злейшему врагу.

Так беседует князь Ярополк с василиками ромеев в Золотой палате, после чего приглашает их на обед в трапезную.

И тогда василики говорят князю Ярополку, что императоры ромеев хотели бы закрепить мир и дружбу с киевским князем его браком с невестой царской крови, что царевна эта ныне гостит в Херсонесе и может скоро прибыть в Киев.

Князь Ярополк, опьяневший от медов, на какое-то мгновение задумывается, вспоминает рассказы старых людей о том, как княгиня Ольга ездила в Константинополь сватать его отцу византийскую царевну и как ей была нанесена из-за этого великая обида.

Неужели же он лучше, сильнее, нужнее ромеям, чем его отец?

— Я встречу и с честью приму в Киеве царевну, — говорит василикам князь Ярополк.

Прошло немного времени, и у берега Почайны остановилось несколько хеландий. С одной из них сошла и направилась по Боричеву взвозу на Гору окруженная патрикиями-послами женщина, лицо которой было скрыто темным покрывалом.

На Горе, в тереме, женщина сняла покрывало, и князь Ярополк был поражен, увидев перед собой гладкое, словно выточенное из мрамора, лицо, тонкий нос, нежные губы, румянец, вспыхнувший на его глазах, как пышная роза, и темные глаза, как будто впитавшие в себя грозу полуденных морей, но веселые, искристые.

“О боже, — подумал Ярополк, приветливо улыбаясь женщине, которую послы называли Юлией, племянницей императора Романа Лекапина и троюродной сестрой царствующего императора Василия, — где родилась и как попала в Киев эта красота несравненная?”

Он приглашает Юлию в Золотую палату и долго беседует там с нею, потом она переходит в княжеские покои, где князь и царевна обедают, а вечером в гриднице идет пир, на котором Ярополк передает богатые дары императорским василикам, поднимает за здоровье царевны кубок с медом.

Гора шумит, слухи о василиках и царевне несутся по предградию и Подолу; одни в этот час пьют, другие, ошупывая шрамы на теле, думают тяжкую думу.

Так проходит несколько дней. За это время князь Ярополк вместе с Юлией и послами побывал в Вышгороде, на ловах, там они развлекались и веселились, но говорили о деле, улаживались о браке князя с царевной.

В одну из ночей произошло нечто необычайное. Был поздний час, спала, упившись медами, Гора, только перекликалась стража на башнях и время от времени спокойно, навеяв сон, звучали медные била. По небу плыла большая желтоватая луна, тысячи звезд горели в небесной глубине и ярко отражались в водах Днепра.

И внезапно луна начала меркнуть, с правой стороны на нее напозла серая тень, вот она совсем закрыла лик луны, и луна стала темной, пепельной, в то же время откуда-то из бездонной глубины неба сорвались бесчисленные звезды, они летели к земле, пылали, гасли...

Эти знамения солнца, луны и звезд* произвели на людей русских необыкновенное впечатление. Когда луна затмилась и с неба полился звездный ливень, перепуганные стражи на стенах ударили в била, сразу проснулась Гора, люди раздували огни на Подоле и Оболони, выходили из домов и с тревогой всматривались в таинственное небо.

Только князь Ярополк не испугался неба, его не тревожили звуки бил, толпы людей, которые вышли из теремов и шумели по всей Горе.

— О Юлия, — говорил он, стоя у окна светлицы и показывая на ночной Киев, — ты слышишь звуки бил — это моя стража приветствует нашу любовь, ты слышишь голоса Горы — это люди славят тебя, ты видишь, как потемнела луна, — это сам бог укрывает нашу любовь шатром ночи, ты видишь, как из небесных глубин сыплются звезды, — это знамения для всей Руси в честь нашего брака. Будь благословенна, княгиня Руси, пусть наша любовь будет вечной!

В это время звездный ливень окончился, серая тень медленно сползла с луны, светлица наполнилась ярким зеленоватым сиянием; княгиня Юлия сбросила свои уборы, ее руки простерлись к Ярополку.

4

Княгиня Юлия очень быстро освоилась на Горе, в княжеском тереме. Это было не удивительно: в то время в Киеве жило немало ромеев, приехавших сюда еще при княгине

* Записи о затмениях солнца, луны и звездных дождях имеются в летописях 6487 года (979 г.н.э.).

Ольге, а позднее на Почайне ежегодно останавливались хеландии из Константинополя, которые все лето торговали на Подоле и только к осени, когда вода в Днепре прибывала, спускались к Русскому морю, а некоторые купцы оставались и зимовать, имели здесь свои дворы.

Так было не только с ромеями, Киев хорошо знал тогда свионов, свободно ездивших из Варяжского в Русское море, некоторые из них служили в княжеской дружине и жили в Киеве; над Почайной целую улицу занимали хазарские купцы; на Подоле на торге можно было встретить германцев, угорцев, чехов, поляков.

Потому княгиня Юлия легко могла встречаться и при необходимости вызывать к себе в терем земляков, если хотела, могла разговаривать с германцами, поляками; живая, бойкая, остроумная, она быстро познакомилась с боярскими и воеводскими женами, да и сами они наперебой стремились побывать в тереме новой княгини.

Ох уж эти боярские и воеводские жены! У них теперь только и было на языке:

— Какая красавица эта царица! А как умна! А одевается как! А ходит! А говорит!

И они учились у толмачей кое-как говорить по-гречески, учили Юлию русским словам, стали одеваться, как княгиня, натираться благовониями, как она, завели в своих термах красные греческие ковры, поставили амфоры, цепляли на себя греческие украшения.

За женами, разумеется, тянулись и мужья. Впрочем, трудно сказать, кто из них был первый, — среди бояр, мужей нарочитых, послов, купцов, которые с давних времен ездили в Константинополь, были христиане, давно перенявшие греческие повадки.

Особенно же много христиан появилось на Горе, когда на столе сидела княгиня Ольга. Купцы Воротислав, Ратша, Кокор, бояре Коницар, Искусев, Вуефаст были первыми помощниками и друзьями княгини; это они построили церковь на Почайне, привозили из Константинополя вместе с другими товарами иконы, серебряные, золотые и простые крестики, церковные сосуды.

Впрочем, христианская вера пробивала себе пути на Русь не только из Константинополя. Еще раньше, чем патриарх Фотий учредил русскую епархию, в Киеве появились христиане-болгары; они пришли сюда еще при князе Игоре, который был побратимом болгарского кагана Симеона, а позже, когда в Болгарии правили Петр и Борис, продав-

шиеся ромеям, многие болгарские священники бежали на Русь, они были духовниками княгини Ольги и ее внуков, священниками в первых киевских церквях.

Разумеется, болгарских священников в Киеве лучше знали и больше почитали, чем греческих, — они говорили на славянском языке, правили церковную службу понятными словами, привозили с собой славянские книги. Боярство, мужи, купцы Горы постепенно принимали христианство, следом за ними шли волостелины и посадники в городах и землях.

Мало было христиан только среди воевод и тысяцких, и это не удивительно: непрерывно воюя с Византией, они не видели все греческое, в том числе и христианство, но все же некоторые из воевод, например Волчий Хвост, Слуда, тайком посещали церковь на Почайне.

Когда же на Горе появилась царица Юлия, а вслед за нею двинулись в Киев священники, и бояре и мужи все больше и больше стали говорить о чудесном Константинополе, о богоспасенной Византии.

Князь Ярополк, конечно, знал обо всем, но не только не ссорился с боярами Горы, а, наоборот, потакал им или же молчал.

Он молчал, потому что в душе был согласен утвердить епархию Фотия, пустить на Русь тысячи греческих священников, сделать все, чего пожелают императоры ромеев, ибо ведь ныне он был их родичем, надеялся прославиться, как они.

Странно, правда, было то, что императоры молчали. С тех пор как в Киев приехала царица Юлия, они словно воды в рот набрали. Из Константинополя приезжали купцы и священники, монахи и снова купцы, не было только послов, с которыми Ярополк мог бы говорить о деле.

Впрочем, он понимал императоров: им, должно быть, и неудобно было вести переговоры с Ярополком: ведь на Руси было два князя, он в Киеве, и еще один, Владимир, в Новгороде.

На это ему не раз намекала и Юлия, а однажды вечером повела с ним разговор откровенный и жесткий.

Она приехала в Киев худощавой, тоненькой, стройной, темноглазой и темнобровой, живой, как ласточка, — такой ее полюбил Ярополк.

За короткое время, живя на Горе, Юлия изменилась: исчез южный загар, она слегка пополнела, округлились ее грудь, стан, бедра, — Киев и Гора пошли впрок Юлии, она расцвела, как чудесный цветок.

Одно тревожило князя Ярополка: проходили месяц за месяцем, Ярополк, думая о будущем, хотел иметь сына царской крови, но Юлия не признавалась, не говорила, что собирается стать матерью.

— Ты поистине великий князь, — начала говорить Юлия, — в Константинополе я представляла тебя красивым, нежным, милым, а ты оказался гораздо лучше, чем я думала.

Положив руки ей на плечи, он смотрел в глубину темных глаз гречанки.

— Чем же я лучше? Скажи, Юлия!

— Ты не только красивый, нежный, милый, но и смелый, сильный, непоколебимый, у тебя есть надежная опора — твои воеводы и бояре, мужи, дружина. Киев — это маленький Константинополь, ты тоже похож на императоров.

— Почему только похож?

Юлия, как видно, давно готовилась к этому разговору и теперь не торопилась. Ярополк подумал, что она не хочет его обидеть.

— В Византии есть только один император, он наместник бога на земле и единый властелин, василевс всей Империи.

Юлия поразила Ярополка в самое сердце — сравнение с императором было не в его пользу. Ярополку слишком далеко до бога, он не властелин всей Русской земли.

— В Константинополе, — ответил на это Ярополк, и Юлия заметила, что его лицо сразу стало злым и хищным, — ныне два императора, Василий и Константин, а на Руси два князя...

Она поняла, что затеяла опасную игру, но не отступила.

— В Константинополе ныне, — с усмешкою сказала Юлия, — действительно два императора, но они сидят в одной Золотой палате, Империей правит только Василий, и к тому же оба они порфирородные.

Ярополк усмехнулся, понял намек Юлии.

— Да, — согласился он, — князь новгородский Владимир — мой брат, но мы сыновья не одной матери, меня родила угорская княжна Предслава, а он — сын рабыни.

— А разве сын рабыни может быть князем? — спросила Юлия.

— Отец мой Святослав посадил меня князем в Киеве, брата Олега — в земле Древлянской, а Владимира — в Нов-

городе. Но сейчас уже Олега нет, нас осталось двое, я и сын рабыни Владимир.

— До каких же пор ты будешь терпеть на земле Русской еще одного князя, сына рабыни? И не боишься ли ты, что этот... твой брат объединится с какой-нибудь другой империей, пойдет против тебя?

Ярополк понимает, на что намекает Юлия. От Новгорода и впрямь близко до Свеарике, не так далеко и до Германии, а уж они-то с радостью помогут Владимиру.

— А Византия мне поможет? — спросил Ярополк Юлию.

Долгое молчание. Юлия думает — будущее висит на острие меча.

— Императоры ромеев тебе помогут.

На Ярополка смотрят глаза, напоминающие глаза богородицы на византийской иконе.

5

Толпа изможденных людей с длинными волосами, в черных рясах, подпоясанных веревками, двигалась по Червенскому гостинцу. Сменяясь, по очереди они несли на носилках большую вырезанную из кипарисового дерева корсту, сзади в крытом возке, запряженном четверкой лошадей, ехали два священнослужителя — епископ Лев и священник Рейнберн. Время от времени они выглядывали через оконце возка, равнодушными глазами смотрели на бесконечный гостинец, там же в возке ели и пили вино, временами погружались в блаженный сон. Еще дальше за возком гарцевали на резвых конях десятка два вооруженных всадников.

Так достигли они города Киева через Щекавицу, куда упирался гостинец, проехали на Подол, поговорили с градскими мужами, добываясь свидания с князем Ярополком.

Узнав, что это за люди, князь Ярополк принял их в Золотой палате, выслушал.

— Мы пришли к тебе, князь, из священного города Рима, от папы Бенедикта, побывали у императора Оттона, а потом у польского князя Мешко. И папа Бенедикт, и император Оттон, и князь Мешко велели тебе кланяться, княже Ярополк.

— Спасибо папе римскому, что помнит о нас, спасибо и императору Оттону, и князю Мешко, — ответил на это князь Ярополк. — Будете у них, передайте им мой поклон. Что вас привело, святые отцы, в нашу землю?

— Как слуги господни, печемся не только о своей пастве, думаем о людях, повсюду сущих. Уже вера католическая просветила всю Германскую империю, твои соседи — поляки, княже Ярополк, тоже имеют епископов от папы. Хотели бы мы, с тем и приехали, просветить Русь, привезли с собой нетленные мощи Климента Римского, священные книги.

Князь Ярополк ответил на это:

— Я христианин.

Епископ Лев и священник Рейнберн удивлены и встревожены.

— Неужели князь принял эту веру от константинопольских патриархов?

— Нет, я принял ее от болгарских священников.

— На болгарских священниках нет благодати божьей, они суть сами собой поставлены, даже патриарха своего ныне не имеют.

— Я принял от них не церковь, а веру, множество людей на Руси молятся разным богам, каждый волен верить по душе.

— Но ведь истинная, христианская вера должна наконец прийти на Русь, она ныне охватила весь мир. — Ярополк долго думал. — Думаю, что вера христианская придет на Русь, — медленно произнес он. — Сам хочу этого, но сейчас не могу дать ее всем своим людям. На все свое время...

— Князь Ярополк, — завопили священники, — когда придет это время, ты возьмешь ее от нас. Папа римский благословит людей русских и даст им церковь, император германский и князь польский, как слуги одного престола, будут друзьями киевских князей.

Ярополк понимал, почему эти священники появились в Киеве, — ведь не только вера, но и оружие было в их руках.

— Святые отцы, — ответил он, — о вере должен я думать не один, а со всеми людьми своими. Скажут люди и дружина, сам пошлю послов к папе и императору. Но разве различная вера мешает нам днесть быть друзьями? Передайте мой поклон папе, императору, князю!

6

И тогда Ярополку показалось, что он достиг того, о чем только мечтали, чего добивались, за что платили великой кровью отцы и деды... Они сражались и костями ложились в боях с ордами, которые надвигались и надвигались с востока, — он, Ярополк, сумел заключить мир с каганом Илдеей и всеми печенежскими племенами. Предки его сотни лет

боролись с ромеями, проливали кровь русских людей на Русском море и на Дунае, — он, Ярополк, не брал в руки меча и щита, наоборот, сами ромеи прибыли к нему в Киев и заключили с ним мир и дружбу. Веками отцы и деды со страхом взирали на Запад, боясь поляков, германцев, римского папы, — вот послы германского императора Оттона и епископ папы римского сидят у него в Киеве; захочет князь Ярополк — Русь навеки побратается с Византией, изменит Византия — вместе с германским императором он покарает ромеев...

— А если, — думал Ярополк, — послы германского императора и епископ римского папы поедут из Киева в Новгород и Владимир заключит любовь и дружбу с ними?"

— Не можем мы терпеть, чтобы на земле Русской, в городе Новгороде был еще один князь, — говорит Ярополк на рассвете в Золотой палате. — Зову Владимира в Киев, пускай в Новгороде останется один посадник!

— Хорошо деешь, князь! — кричат бояре и мужики. — Мы тебе опора в этом деле.

Брань?! Кто знает? Князь Ярополк думает, что, может, он избежит брани. Владимир побоится, приедет в Киев, а уж тут его покарает, уничтожит Гора.

— Посылай гонцов в Новгород, княже! Зовем Владимира в Киев!..

Разумеется, если бы князь Ярополк прислушался к голосу Русской земли, он услышал бы много такого, о чем не думал и не гадал, увидел бы измену, обман, ложь вокруг себя, ужаснулся бы того, что творит.

Ярополк не видел этого и не слышал, советниками его были Блюд и бояре, воеводы и тысяцкие.

— Я шлю гонцов в Новгород, — говорит князь Ярополк, — но думаю послать посольство и в Византию, к императорам Василию и Константину, к печенежскому кагану Илдее, — пусть они по уговору с нами дадут помощь.

Бояре и воеводы думают: сил ныне на Горе мало, дружина малочисленна, на земское воинство мало надежды, — и в самом деле, им должны помочь и помогут ромеи, печенеги!

— Хорошо задумал, князь! Пойдем за тобой! — гудит Золотая палата.

Они единодушны в замыслах своих: ослепленный ненавистью к брату, князь Ярополк хочет стать единственным властелином Руси, ненасытная Гора хочет получать дань со всех городов и земель.

Впустить на Русь ромеев и печенегов, воевать чужими мечами, что ж, и с этим согласна Гора. Ведь князь не верит в свое боярство, а боярство — в князя.

В Золотой палате жарко горят свечи. Душно, трудно дышать. Теремные дворяне ходят вдоль стен с корчагами, наполненными холодным медом, подносят боярам и воеводам кубки, с которых падают хлопья желтоватой густой пены. Пьют шумно, смакуя, отдуваются...

Они напоминают святых на иконах: суровые лики, буйные гривы на голове, темная одежда, на которой блестят серебряные и золотые цепи, скрещенные на груди узловатые руки.

— Пойдем за тобой, княже. Вели ехать послам. Мы с тобой заодно.

Княгиня Юлия сидит в кресле на помосте рядом с Ярополком. Она необычайно бледна, заметно утомлена, время от времени усмешка пробегает по ее тонким губам. Но она спокойна, глаза ее искрятся, играют.

В ближайшие дни гонцы выезжают в Новгород, а вниз по Днепру отправляются в путь послы — к печенегам и ромеям. Над землей Русской нависает туча, будет гроза, кровавый дождь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I



Вот о том, что творится в Киеве, быстро через Волок докатилась до Новгорода. О недобрых делах Ярополка услышал и князь Владимир.

Он еще с детских лет хорошо знал Ярополка. Оба сына угорской княжны, Ярополк и Олег, с малых лет презирали брата, кичились тем, что сами они, мол, князья, а Владимир — робищ, сын ключницы.

Особенно много оскорблений наносил Владимиру Ярополк, порой слезы закипали на глазах у юноши, когда он слышал злые, насмешливые слова сына княжны. Сколько раз ему хотелось броситься на него с мечом!

Но Владимир никогда не выдавал своих чувств, становился только молчаливым, неразговорчивым, лишь блеск глаз временами говорил о том, как ему больно, трудно.

Понимал он и то, что ему тяжело, но, может быть, еще тяжелее отцу... Ведь все, все, что касалось сына, растревало

острую рану в сердце Святослава. Сын рабыни, а отец, кто же он? Не муж, не возлюбленный, отец даже не знал, жива ли Малуша?

Отец ведь так любил Малушу, мечтал о ней, искал! Владимир помнил каждое слово, сказанное о ней, и полюбил ее, мать свою, которую никогда в жизни не видел.

Держаться, только держаться, терпеть, ждать. Вот ведь отец держался, молчал, а снаряжая Владимира в Новгород, велел:

— Со братьями своими, князьями земель, ты должен быть единомышлен. Если братья станут творить по покону отцов, будь заодно с ними...

Он говорил это, зная, что едет, быть может, на последнюю кровавую сечу, на смерть, понимая, как тяжело будет жить без него Владимиру, сыну Малуши.

И Владимир старался выполнить отцовский наказ. По пути в Новгород и уже там он вначале боялся этой северной земли, часто с великой болью вспоминал Киев: там была его родина, там жил его отец, где-то там находилась и его мать Малуша.

Юный Владимир после разговора с отцом очень часто думал о ней. Однажды ночью мать даже приснилась ему. Это было странно, ведь он ни разу в жизни не видел ее. Но она ему приснилась, когда ему было очень тяжело и когда он перед самым рассветом забылся сном, — мать тихо, чтобы никто не услышал ее шагов, вошла во дворец, остановилась у его ложа, склонилась так низко, что он услышал ее дыхание и стон, сорвавшийся с ее уст, положила руку, такую теплую и нежную, на его голову...

Проснувшись, Владимир сел на холодном ложе, смотрел в серое окно, думал, какая же она, его мать?

Позднее он уже меньше и не с такой болью думал о Киеве: велика земля Новгородская, на юге упирается в Полоцкую землю, на запад тянется до Еми и Чуди, на востоке до Мезени и Печоры, об ее северные берега бьется суровый Ледовый океан, много языков и племен живет в ней, княжеские и боярские погосты стоят повсюду — на Води, Нево, Онеге, в племенах саамских, ненецких, коми; большую дань собирает с них князь и бояре, две тысячи гривен по ряду должен давать Новгород только киевскому князю.

И беспокойная эта земля за морем Варяжским: точат и точат мечи против Руси свионы, на Итиль-реке за Унжою сидят черные булгары, с севера, с Ледового океана, того и гляди, налетят германцы, варяги, а то и английцы.

И уже несколько раз объезжал на конях с дружиной князь Владимир землю Новгородскую, собирая дань на погостах и давая суд и правду людям. Полюбилась ему суровая, холодная земля, молчаливые, работающие, необычайно сильные люди ее, полюбил он и Новгород: ведь это они, лучшие мужи, бояре, воеводы новгородские, позвали его сюда, нарекли, хоть и был он сыном рабыни, своим князем, обещали вспоить и вскормить, и все исполнили — твердо сидел князь Владимир в Новгороде, его надежно подпирали бояре и воеводы, слушались и любили люди всех верхних земель, рядом с ним был человек, которому он доверял и который любил его, воевода Добрыня, его вуй.

И богат был новгородский князь Владимир, сокровищ имел, должно быть, не меньше, чем киевский князь; знамена Владимира стояли во многих лесах, на землях, над реками, до самого Белого моря.

Богатый Владимир и знатное его боярство и воеводство надежно берегли северные окраины Руси. Правда, не раз и не два они роптали, сам Владимир был недоволен Ярополком, который старался побольше взять, поменьше дать.

Как-то в Новгороде побывал князь древлянский Олег. Несколько вечеров провели они вместе, говорили о Киеве, о брате Ярополке.

Ясно стало Владимиру, что и Олег недолгобливает Ярополка. Сидя в Древлянской земле, знает его черные замыслы, ждет случая объединиться с Владимиром.

Тем временем они не пренебрегали Ярополком: из года в год посылали ему уроки, Новгород при надобности давал Ярополку дружину, купцы новгородские вольно ходили на торг в Киев, а у себя на Волхове принимали полян, Владимир отдавал Ярополку, как киевскому князю, честь и славу.

Когда до Новгорода дошла весть о гибели князя Святослава, Владимир, по уговору с Олегом, принес присягу Ярополку, как великому князю Руси, обещал хранить с ним мир и дружбу. Отец Святослав знал, что делает, когда посадил Ярополка в Киеве, Олега на Древлянской земле, его, Владимира, в Новгороде, так и должно быть, пускай душа его покоится в садах Перуна.

Но что задумал и что творит князь Ярополк? Долетела до Новгорода новая весть, что он послал дружину в Древлянскую землю, убил князя Олега.

Владимир ужаснулся, услышав об этом. Значит, Ярополк делает то, что задумал, поднял меч и убил брата, чтобы двинуться потом и на Владимира.

Вся Новгородская земля осуждала убийцу-князя, новгородское вече призывало Владимира, как велел закон и обычай, идти и отомстить за убийство брата.

Князь Владимир не пошел на Ярополка, ибо знал, что тот опирается на могущественную киевскую Гору, имеет большую дружину, может быстро собрать многочисленное земское войско из полян, древлян, сиверцев. Не верилось ему, что Ярополк так быстро, сразу начнет брань против него и Новгорода.

А из Киева доходили все новые и новые, все более страшные вести. Князь Ярополк принимает в Золотой палате печенежского кагана Илдею, заключает с ним мир, дает ему города и земли у Днестра, — Новгород бурлит, воеводы и бояре в ярости: как может киевский Ярополк мириться с убийцами князя Святослава, да еще давать им пожалованья?

В Киеве князь Ярополк принимает послов Византии, заключает с ними мир, обещает помогать оружием, позволяет распространять богопротивную христианскую веру, да еще и жениться на греческой царевне... Новгород в ярости. Тревожится, скорбит и князь новгородский Владимир.

2

Вместе с князем Владимиром тревожится и вуй его, воевода Добрыня. Горе молодого князя — его горе, княжеская доля — его доля. Он не только воевода: Малуша, мать Владимира, — сестра Добрыни, он его родной дядя.

Никто этого не знал, не знал и Владимир. Князь Святослав, узнав от Малуши, что Добрыня ее брат, назначил его сотенным, но самому ему знака не подал. Узнав, что мать Ольга изгнала вместе с Малушей и Добрыню и что потом Добрыня по ее приказу привез Владимира на Гору, он против воли матери поставил воем своего сына не кого-либо, а Добрыню, только ему самому ничего не стал объяснять; отправляя Владимира в Новгород, Святослав рассказал ему правду о матери Малуше, но про Добрыню умолчал. Кто знает, какие чувства владели князем, — страдая всю жизнь от глубокой раны в сердце, он, должно быть, хотел облегчить жизнь своего сына...

Добрыня же думал об этом иначе. Владимир — сын Святослава, и кто бы ни была его мать, он князь — ныне и во веки. Добрыня, если понадобится, и жизнь свою отдаст за него. Но что дозволено князю, то пагубно для смерда. Малуша согрешила с князем Святославом, за что и понесла кару. Добрыня же был нужен князю, он охранял на берегу Руси его плод, по приказу княгини оторвал от груди Малуши дитя и привез его в Киев, он нужен и как вуй молодого княжича, ибо кто же лучше него способен был выпестовать сына рабыни?!

Впрочем, на Горе, в отчем тереме, Владимир был не сыном рабыни, а княжичем, позднее в далеком Новгороде стал он князем. И никто, даже сам Владимир, не знает, что Добрыня, сын убогого любечанина Микулы, его дядя.

И не нужно, не нужно! Добрыня позабыл прошлое, ныне он воевода, правая рука князя, живет в согласии с воеводами и боярами новгородскими, добывает князю — княжью, себе — свое.

А уж тут, в Новгороде, Добрыне было что взять. У князя был свой терем и двор в Ракоме, перевесища, ловы, леса и земли; Добрыня получил от князя пожалованье — терем с клетями и подклетьями и дворище над Волховом; у князя в руках была казна Новгородской земли; у Добрыни в тереме лежало несколько мехов с золотом и серебром.

Так и жил Добрыня в любви и дружбе с князем Владимиром, в полном согласии с новгородским боярством и воеводством, которые сами искали дружбы с ним, потому что Добрыня — правая рука князя Владимира.

А боярам и воеводам есть о чем заботиться — в Киеве была Гора, где сидели и откуда правили землями князь с боярами и воеводами, в Новгороде тоже был свой град над Волховом, где за рвами и валами, за высокой стеной сидели в теремах и хорамах лучшие мужи новгородские — бояре, воеводы, купцы.

Добрыня быстро освоился и увидел силу этих мужей — боярина Волдугу, у которого был терем над Волховом, погост возле Онежского озера и еще один у самого Ледового океана, воевод Тудора, Ивана, Чудина, Спирки, терема которых высились в Новгороде, а погосты в пятинах, воевод Михала, Векши, Вихтуя, что рьяно воевали за землю Новгородскую мечом, но не забывали и о серебре с золотом.

И больше того, если у бояр или воевод возникала какая-нибудь надобность, если начиналась междоусобица или смута в верхних землях, угрожал враг из-за моря и даже когда свары происходили между самими боярами и воевода-

ми или в доме одного из них — обо всем этом они первым делом советовались с Добрыней; заступался он за них и перед князем.

А потом случилось еще одно, неизбежное и желанное для Добрыни. Давно на него, уже не молодого, но статного, широкоплечего, украшенного небольшой русой бородкой и такими же усами, охотно поглядывал лукавый женский род. Когда шел он в красных сапожках, в зеленом с соболиной опушкой корзине, с мечом у пояса, в высокой, расшитой камнями-самоцветами шапке на голове, из-за оконных занавесок, из-за плетней и просто на улице заглядывались на Добрыню девушки, молодницы, вдовы.

Но женские чары, казалось, совсем не касались его. Добрыня никогда не впадал в соблазн, прелюбодеяние, никогда не трогал, как это делали другие воеводы, мужних жен, не растлевал девушек, — безгрешен был Добрыня.

И никто не знал, что у Добрыни иное, свое на уме. Заходил он раза два в терем старого боярина Волдуды, жившего с ним рядом, там увидел дочь его Руту, темной ночью, как велел обычай, умыкнул ее и запер в своем тереме, а потом сумел поладить со старым Волдудой. Так поравнялся Добрыня с самым богатым человеком в Новгороде, а князь Владимир дал ему от себя пожалованье — земли на опоках, повесил ему на шею вторую золотую гривну.

3

В Новгород прибыли гонцы из Киева. Они привезли с собой грамоту князя Ярополка, которую им велено было отдать только Владимиру в руки.

Он принял гонцов, взял у них грамоту, прочел ее и, сказав, что ответ князю Ярополку пришлет позднее со своими гонцами, отпустил их.

В тот же день гонцы князя Ярополка отбыли обратно, в город Киев, а князь Владимир велел Добрыне собрать в Большой палате своего терема все боярство и воевод Новгорода.

Большая палата княжеского терема над Волховом-рекой мрачная, темная, сырая. Сквозь узкие, забранные решетками окна сюда и днем едва пробивается свет. Сейчас его и вовсе нет — за стенами терема уже ночь.

Но князь Владимир торопится. Невзирая на позднее время, велел он собраться всем воеводам и боярам, старцам градским, посадникам с пятин, если они окажутся в Новго-

роде. И они пришли сюда — стоят, отдыхают на лавках, сидят на корточках вдоль стен.

Горят, колышутся, завиваются языками огни свестильников, в их желтом свете выступают из темноты смуглые бородатые лица, золотые гривны и цепи на груди, серебряные ручки посохов, узловатые руки, стены, сложенные из толстых бревен, серая конопать между ними.

В палате терпко пахнет овчиной, смолой, от человеческого дыхания на стенах выступили серебристые капли росы. Гудит пол, по нему топают непрерывно тяжелые, кованые сапоги, в руках у волхва Емца глухо скрипнул бубен и зазвенели золотые подвески.

— Челом тебе, княже! — прокатывается по палате.

Князь стоит возле тяжелого, вырезанного из черного дуба кресла на помосте, у стены ошую от него останавливается Добрыня и еще несколько бояр, вошедших в палату одновременно с князем, вечник Жигар устраивается у самого помоста со своими берестяными свитками, отточенными железцами; он запишет все, что скажет князь.

— Бояре мои, воеводы, мужи, посадники с пятин, — обращается ко всем князь Владимир. — Поздний час, спать пора, но не сплю я сам, позвал и вас. Получил я ныне грамоту от киевского князя Ярополка.

Он на мгновение останавливается, вынимает из-за отворота левого рукава грамоту, поднимает ее так, чтобы всем был виден пергамент, шнуры, золотая печать, — но не разворачивает и не читает грамоту: должно быть, каждое слово ее записано в его сердце. Недаром, как видно, новгородский князь не назвал ныне, впервые за все годы, князя киевского Ярополка своим братом.

— Князь киевский Ярополк, — продолжает Владимир, — пишет мне, чтобы я ехал в Киев. Негоже ныне, пишет он, иметь на Руси двух князей, уж мы, пишет Ярополк, сумеем править землей из города Киева...

— Кто же это “мы”? — вырывается из темного угла палаты.

— А Новгород, что же, не может иметь своего князя? — глухо звучит еще один голос.

Князь Владимир поднимает голову и вглядывается в полутьму, словно хочет знать, кто спрашивает. Но на него смотрит сотня глаз, и во всех тот же вопрос.

— О чем думает князь Ярополк, — отвечает он людям, — все вы, мужи мои, знаете. Я уже раньше рассказы-

вал вам, что заключил он любовь и дружбу с императорами ромсеев, вступил в мир с печенегами, теперь, как видно, думает опереться на них.

— Впускает ромейские мечи на нашу землю? На печенегов опирается? Да мы их сюда не пустим! Что он мыслит? Что пишет о Новгороде?

Крики в палате напоминают бурный поток, который кипит, бурлит среди камней, вырывается из берегов.

— Князь Ярополк пишет о нас, — отвечает Владимир, — “быть в Новгороде впредь, как и везде на Руси, посаднику моему...”.

Князь Владимир умолкает, молчат бояре и воеводы, в палате становится так тихо, что слышно, как потрескивают фитили в светильниках, как за стенами дует порывистый ветер.

И вдруг все сборище взрывается. Первым встает волхв Емец, он вскидывает вверх свой бубен, несколько раз ударяет в него, бренчит золотыми подвесками, за ним вскакивают с лавок, ударяют посохами об пол старцы градские и мужи, пораженные тем, что услышали, хватаются за рукояти мечей воеводы.

— Не бывать тому, что задумал Ярополк, — раздается множество голосов. — Говорить хотим, княже! Княже Владимир, скажи свое слово, послушай нас, не хотим, не волим!

Среди шума голосов, наполнившего палату, трудно что-либо разобрать. Сердца людей горят, слова рвутся, как разбушевавшиеся волны. Князь Владимир выше поднимает руку с грамотой, вот он что-то говорит.

— Мужи новгородчи! — обращается он к ним. — Я позвал вас, все сказал, теперь слушаю вас, мужи новгородчи!..

Тогда протискивается вперед, прокладывая себе путь руками, а то и кулаками воевода Михало. Никто не сердится. Михало таков — кто-кто, а он скажет нужное слово, блюдет Новгород и пятины, сам ездил в Киев просить князя, он-то и привез сюда Владимира.

— А я уже скажу, — начинает Михало, встав так, чтобы его слышали и князь и мужи. — Уже я скажу, — сурово и грозно продолжает он, — и за вас, новгородчи, и за тебя, Владимир-княже! Что же это такое? — вдруг взрывается он. — Где мы живем? Кто мы суть?

Воевода спрашивает, но не ждет ответа, он обращается, как видно, к душе своей, к себе самому и как-то вдохновенно, торжественно продолжает:

— Мы, новгородчи, блюдем закон и покон отцов наших, сами устроили земли свои, дошли до Варяжского моря на заход солнца, до Ледового океана на полуночь, а когда враги нападали на нас, то боролись с ними, гнали... Помните, новгородчи, как было со свионами: их Рюрик хвалился, что возьмет Новгород, ярлом объявил себя нашей земли, а мы его разбили под Ладогой! Ярл Трувор изменой взял Изборск, а удирал оттуда, аки волк... Так было со свионами, так будет и с другими! Но мы от рода люди русские, знаем, что князья Олег и Игорь, княгиня Ольга, вся Русь пеклась и о Киеве и о Новгороде. Когда княгиня приехала сюда, мы ряд с ней уложили. Когда Святослав шел на брань противу ромеев и посадил в Киеве сына Ярополка, а Олега у древлян, мы просили его и нам дать князя. Так, новгородчи?

— Так, Михало! — зашумели все вокруг. — Правду говоришь, дело, слушаем...

— Сейчас услышите! Все услышите! — продолжал Михало. — Ужо я скажу...

Не так-то легко и просто было ему говорить, потому что хотел он, чтобы его поняли и поддержали все мужи новгородские, но не хотелось ему обидеть и Владимира-князя. По этой причине повел он такую речь:

— Должен рассказать вам, люди, и тебе, княже наш, что прежде чем прийти в Золотую палату в Киеве, виделся я и говорил с князем Святославом. "Новгородская земля хочет иметь князя", — сказал я ему. "Знаю и сам хочу дать, — отвечал мне покойный князь, — иду далеко на сечу в чужие земли, хочу, чтобы мир был на родной земле. Кого вы просите дать вам князем? Ярополка сажаю в городе Киеве, Олега шлю в землю Древлянскую". — "Владимира", — отвечал я. "А вы знаете, кто он?" — "Все знаю, и Новгород знает, — сказал я князю Святославу, — потому-то и просим его". — "Даю вам Владимира, — говорил князь Святослав, — это мой любимый сын, полагаюсь на него, как на себя..." — "Спасибо, — поблагодарил я князя, — не беспокойся, вспоим, вскормим..."

Потупив глаза, стоял и слушал этот рассказ Михалы князь Владимир. Говорил не один Михало, в палате вздымались руки, звучали встревоженные голоса:

— Нельзя тебе, княже, в Киев ехать, убил Ярополк Олега и тебя хочет погубить...

— Мы тебя поили и кормили, жизнь за тебя отдадим!

— Коли так, не покоримся Ярополку... Не примем его посадника... Сзывай, княже, вече!

— На Киев, княже, на Киев!..

Владимир молчал и ждал, когда в палате настанет тишина.

— Так, люди мои, — произнес он. — Я должен идти на Киев, чтобы отомстить за смерть брата моего Олега, должен идти, ибо Ярополк нарушил завет отца моего Святослава, а отец говорил: "С братьями своими, князьями земель, должен жить в одну душу и тело. Аще братья твои будут десять по закону отцов — будь заодно с ними. Аще предадут закон — быть им в татя место..."

— Быть Ярополку в татя место! — закричали все.

— На Киев! На Киев! Смерть Ярополку-братоубийце!

— Сзывай, княже, вече! Веди нас на Киев!

Князь Владимир взмахом руки остановил их.

— Как же поведу вас, люди мои? Куда поведу? Слышали сами: уже печенеги — братья Ярополковы, ромеи — его друзья, он поведет за собой полян, древлян, Чернигов, Переяслав, города червенские... А мы, новгородчи, с кем пойдем?

— Все полунощные земли пойдут с нами — весь, и мера, и чудь... Пойдем на брань — и от Ярополка отпадут его земли. Русь чует, где правда, а где зло...

Князь Владимир смотрит на бояр и воевод.

— Так, — медленно говорит он. — В трудную годину Русь и люди ее всегда разберут, где правда, где зло. Верю в это, верю русским людям, верю и вам. Но не сразу познаются правда и лжа, много крови пролили уже люди наши, великое море крови придется пролить еще. Как же избежать этой крови, где взять силы, как идти?

Владимир задумался. За стенами палаты без умолку воет северный ветер, он пробивается даже сквозь стены, холодные порывы пронизывают палату.

— Смотрю на восток, — продолжает Владимир, — вижу дикие орды и племена, что охотно пойдут с нами на Киев...

— Не зови их, княже!

— Смотрю на запад — вижу Германскую империю, уже послы их вместе со священниками папства римского побывали у нас.

— Не верим императорам и папству, не верь и ты, княже!

— Не верю, — твердо произносит Владимир. — Верю токмо в Русь, токмо русские люди должны утвердить лад в своих землях.

— Пойдем, княже! — встают все в палате.

— Веду вас! — решительно говорит Владимир. — А на подмогу покличу варягов — они веры своей не навязывают, новых поконов не дают, воюют за золото.

— Делай, княже, как задумал. Все мы с тобой, где ты, там и мы.

4

Холодный, серый, неприветливый город Упсала. Чтобы туда добраться, надо пройти студеное Варяжское море, долго блуждать среди высоких, острых скал, где на каждом шагу морехода подстерегает смерть. Сурова эта каменная земля, суровы там люди, страшны и мстительны также и боги их: одетый в броню и шлем с острыми рогами бог ветров и бурь Один, жена его Фригт, а самый свирепый из них — сын их громовержец Тор, притаившийся в темной пещере где-то на островах Варяжского моря, мечущий стрелы-молнии в купцов и воинов, которые едут в Упсалу.

Но ни суровое Варяжское море, ни острые скалы у берегов не остановили новгородских мореходов: на нескольких учанах прошли они сквозь непогоду и бури и остановили свои лодии у крутых скалистых берегов Упсалы.

Окруженный ярами, воинами и толмачами, князь Владимир поднимался к крепости свионских конунгов. Они шли между двумя высокими стенами, на которых были выбиты неведомые им письмена, кое-где встречались высеченные из камня статуи уродливых, внушающих страх богов. Дорога вела все выше и выше в гору, наконец они очутились перед запертыми воротами крепости.

— Ведем князя новгородского Владимира к высокому конунгу Олафу! — закричали ярлы.

Кто-то долго и пристально смотрел в бойницы крепостной стены. Заскрипели и открылись железные ворота.

— Конунг Олаф ждет новгородского князя...

Из камня сложены стены во дворце свионских конунгов, свет пробивается в длинные переходы и покои через узкие окна с решетками. Всюду горят светильники, стоит охрана, по стенам развешаны и тускло блестят алебарды, бердыши, односторонние франкские мечи, темнеют рога туров.

Из светлицы конунга Олафа видны серые берега, волны на море, тучи, плывущие без устали вдаль.

Олаф Скетконунг — немолодой уже муж с седыми, ровно подрезанными у шеи волосами, с густыми бровями, из-под которых блестят серые глаза; у него острый птичий взгляд, длинный крючковатый нос, поджатые губы.

Он стоит у стола в углу светлицы, одетый, как мореход: на нем узкий, в обтяжку, кафтан, короткие — до колен — штаны, на ногах высокие кованые сапоги.

— Челом тебе бью, Олаф Скетконунг, — начинает князь Владимир, — прими дары от меня и от Новгорода.

Воины князя Владимира кладут перед конунгом дары: соболиные меха, нитки горячего камня, обоюдоострый меч, щит, кованный из серебра, золотой пояс работы новгородских кузнецов — для конунга, эмали — для его жены, лунницы из филиграни — для дочерей.

— Славные дары ты привез, гардский княже, — отвечает Олаф Скетконунг, пальцем пробуя лезвие меча, — благодарю тебя за них. Щедр Гардарик, богатая земля твоя, княже. А теперь скажи, что привело тебя в Свеварике?

Они садятся за стол друг против друга. Воины князя бесшумно выходят, ярлы отступают в глубину светлицы, молчаливые слуги ставят на стол наполненные крепким медом серебряные кубки, толмачи говорят тихими голосами.

— Я прибыл к тебе, Олаф, памятуя о том, что тебя называют Скетконунгом*, хочу напомнить и укрепить то доброе, что было между людьми наших земель. Ты сказал, что богата моя земля, — это правда. Но в великом роде не без свары, при великом богатстве не без урона. Идет у меня, конунг, свара с братом Ярополком, что сидит в Киеве-граде...

— Киев-град, — прищуривает глаза конунг Олаф. — О, я много слышал о нем.

— Поэтому я и прибыл в Свеварике, — продолжает князь Владимир. — Много у меня воинов из северных земель, но хочу тебя просить дать мне в помощь тысячи две воинов. Воины-свеи, — добавляет князь, — храбры, их знает весь мир.

— Да, везде знают наших воинов, — соглашается конунг Олаф. — Да и сами мои воины любят дальние походы. Но они, — усмехается конунг, — очень любят города, земли, дань.

* Скетконунг — хороший, добрый конунг (швед.).

— Городов и земель я дать не могу, — отвечает князь Владимир, — то не мои города, а люди мои, они, знаешь сам, не терпят иноземцев. А золото твоим воинам дам.

— Это будет долго?

— До Киева-града и обратно год. А, может, воины твои поплывут и дальше, до Византии.

— Две тысячи воинов... год, — шепчет конунг. — Что ж, князь, будем совет держать, приглашаю и тебя на этот совет.

Как только стемнело, в ущелье за Упсалою, которое выходит к бурному морю, в священной дубраве зажигается множество огней, зарождается песня, слышатся человеческие голоса.

Дорогой, которая вьется вдоль моря, к этому ущелью на колеснице, запряженной четверкой коней, окруженный гирдманами, едет с ярлами и лагманами Олаф Скетконунг.

За первой колесницей едет вторая, в ней сидит князь Владимир, воеводы новгородские, они внимательно оглядываются по сторонам.

Горят факелы, их отблески разорванными ожерельями отражаются в пене прибоя, ржут встревоженные темнотой и огнями кони.

В священной дубраве, в храме, колонны которого подпирают железную крышу, все уже готово для тинга и священной жертвы. Слуги покрыли коврами и расставили в храме перед высоким дубовым троном конунга скамьи, на которых сидят старшины; за скалами вздымается до неба высокое пламя огнища, оно освещает большие, высеченные из камня и дерева статуи богов Одина, Тора, Глера, Ниорда. На широкой площадке перед идолами в кругу, обнесенном камнями, стоят сверкающие медные чаши, лежат кропила из щетины, расхаживают дротты; еще дальше в темноте за загородкой пялятся своими большими глазами, топчутся кони, коровы, возбужденно хрюкают кабаны.

Раздаются протяжные звуки бил, все приглашенные пришли на тинг, ярлы и лагманы занимают свои места на скамьях, слуги становятся вокруг.

Олаф Скетконунг сидит на троне. Он слушает, как постепенно затихает шум, разговоры, — слышно только, как неподалеку внизу шумит море; на небосклоне между колоннами видны крупные красноватые звезды.

— Ярлы и лагманы! — начинает Олаф Скетконунг. — Я повелел ныне созвать тинг, чтобы посоветоваться с вами. К нам из Гардарика прибыл князь гольмгардский Вольдемар,

он просит дать помощь, чтобы пойти северными реками на юг в Киев-град, покарать брата, который убил князя Олега, хочет отвоевать трон отца. Дадим мы ему помощь?

— Сколько нужно воинов? — поднимается со скамьи ярл Фулнер.

— Две тысячи.

— А какую награду даст князь Вольдемар? — раздаются голоса со всех сторон.

Начинается торг, который вскоре заканчивается успешно. Тогда старший гирдман наливает и подает с низким поклоном сперва конунгу, а затем князю Владимиру два рога с медом. Это не обычные роги, из которых пьют все, а братафулы: чтобы очистить налитый в них мед от земной лжи и смут, гирдман подает их конунгу и князю через разложенный на земле костер — огонь очищает все, он очистит и мед в рогах.

Конунг Свионии и князь Владимир выпивают до дна свои роги. Тем временем дротты уже убили девять животных мужеска пола, как велит закон, собрали их кровь в медную чашу и теперь глаутейнами кропили воинов, а служки подавали им жареное мясо.

Поздняя ночь. В Упсале, в горах, на берегу — повсюду тишина, только море расходилось, беспокойные волны бьются и бьются о скалы, ворочая камни, словно жернова, стонут, режут.

В углу большой светлицы Олафа Скетконунга под балдахином из темного бархата слуги уже приготовили пуховую постель, застелили ее чистыми простынями, покрыли светло-синим, затканым золотом одеялом.

Но конунг не спит. Он стоит у открытого окна, смотрит на решетку, перечеркнувшую звездное небо, слушает шум беспокойного моря, жадно ловит свежий воздух.

За конунгом пристально следит ярл Фулнер. Его не зря назвали этим именем: * правый глаз ярла прикрыт черной повязкой, нос напоминает клюв коршуна, верхние острые зубы — настоящие кабаньи клыки, у ярла большие, похожие на грибы, уши.

О чем думает Олаф Скетконунг? О, встреча с конунгом Гольгарда, речи на тинге, священная жертва и простертый над огнем кубок с вином — все это вызвало в нем целый рой мыслей.

* Фулнер — мерзкий, отвратительный (швед.).

Конунг думает о Свионии, Норвегии, Дании — трех землях, которые охватывают весь север за Варяжским морем. Это прекрасные земли, сам Олаф Скетконунг очень любит моря и горы, ущелья, заливы, леса.

Близки, родственны конунгу Олафу и соседние земли — Датская, Норвежская, конунг Дании свен Твескегг и конунг Норвегии Эрик — близкие родичи Олафа Скетконунга, Эрик и сейчас сватает его дочь Астриду.

Казалось бы, жить в мире и любви этим северным землям, велики в них одалы, есть леса и реки, моря кишат морским зверем.

Но не сидится на родных землях свионам, норвегам, данам. Как и давние их предки, мечтают они о далеких походах, набегах на чужие города и земли, о золоте и серебре, которые можно оттуда привезти с собой.

И они уже избороздили все моря и океаны, варягов страшатся Париж и Рим, конунг Канут много лет заливал кровью Англию, король Эдгар за десятки тысяч фунтов покупал у него ежегодно мир, от великого отчаяния он даже умер, а сын его Этельред все равно платит дегенельд Кануту.

В то же время корабли варягов идут все дальше и дальше, достигли южных морей, уже в их реках Кариати, Росано, Герачи, Ория, Козенда, Торенто, Брундузиум, перед ними трепещет Сицилия, Калабрия, Апулия, они завоевали Ломбардию, Канито, Салерно, Неаполь, Амальфи, Беновенто...

В то время как конунги Дании и Норвегии победно проходили моря и океаны на западе и далеком юге, конунги Свионии думали о землях на восток от Варяжского моря, о Руси.

Кто-кто, а они уж точно знали, какими неисчислимыми богатствами владеют князья Руси и их люди. Богатства эти, должно быть, были не меньше, чем все сокровища Парижа, Лондона и еще многих городов, вместе взятых.

И викинги из Свионии пересекали Варяжское море. Туда ходил ярл Рюрик, его братья Синеус и Трувор, они вели с собой дружины, перед которыми содрогнулся бы любой народ в Англии, Франции, Римской земле.

Но с Гардариком викинги Свионии ничего поделаться не могли, Рюрик побывал в Гольмгарде, объявил себя ярлом этой земли, но непокорные новгородцы не приняли его в

свой город, и он вынужден был сидеть год за годом у Ладоги.

Не посчастливилось и другим ярлам: желая хоть чем-нибудь поживиться, ярл Синеус бежал до самого Белого озера в землю веси, ярл Трувор захватил Изборск, но вынужден был удирать и оттуда.

Викинги Свионии прибегали к хитростям: пользуясь тем, что Русь позволяла северным купцам ходить на лодиях из Варяжского в Русское море, а оттуда и в греки, они клали в свои лодии оружие, прикрывали его сверху мехами, добирались до далеких городов на Днепре, а там, устроив ночью штрангуг, пытались захватить эти города.

И вот князь Гольмгарда Владимир обращается к Олафу Скетконунгу за помощью, просит дать две тысячи воинов, чтобы отомстить за кровь брата, установить лад на своей земле.

— Послушай, Фулнер! — отворачивается наконец от окна и обращается к ярлу конунг. — Ты с двумя тысячами наших воинов идешь в Гардарик. Но помогать новгородскому князю убить своего брата и утвердиться в Киеве — этого мало для свена. В походе смотри, ярл! Пускай Владимир убивает Ярополка, а Ярополк — Владимира, ты береги кровь своих воинов. Между Новгородом и Киевом лежит Полоцкая земля, князем там сидит Регволд, — это свен, князь нашего рода. Следи, если Регволд объединится с Ярополком и они станут одолевать Владимира, помоги им; если не удастся в Полоцке, может посчастливиться в Киеве.

Фулнер слушает, и усмешка играет на его отталкивающим лице. Нет, не напрасно старого ярла прозвали жестоким!

5

Князь Владимир благополучно возвратился из Свионии, вместе с ним приехали и две тысячи воинов Олафа Скетконунга.

В Новгороде недолюбливали свионов, и поэтому князь Владимир не впустил их в город. Лодии ярла Фулнера стояли там, где Волхов вливается в Ильмень-озеро.

Но что могли сделать эти две тысячи воинов? В Новгороде уже собралось видимо-невидимо людей из северных земель; на Волхове покачивались лодии со всех пятин Новгородской земли, они волоком добрались сюда через

озеро Невы из Карелии, через озеро Онего и по реке Свири от погостов с берегов Студеного моря, с Белоозера, Мезени и даже Печоры.

Всех их должен был снарядить в путь Великий Новгород. Клетки на торжище и на княжьем дворе над Волховом были открыты, каждый конец и улица давали на рать все, что велел князь. С кузнецкой улицы везли день и ночь разную кузнь, с Плотницкой — катки для волоков, с Щитной — щиты и мечи, с Кожевницкой — сбрую, седла, с Гончарского конца — корчаги, гарнцы, разную утварь.

Да и сами новгородцы шли на брань, люди прибывали и прибывали со всех концов — Нарвского, Словенского, Загородского, отцы прощались с сыновьями, жены плакали на груди у своих мужей, девушки проливали слезы о своих милых.

Но князь Владимир не давал приказа поднимать паруса. Вернувшись из Свиронии, он отправил своих послов во главе с воеводой Михалом в Полоцк, к князю Рогволоду.

Все бояре и воеводы слышали, как князь сказал:

— Ты, воевода Михало, едешь к полоцкому князю Рогволоду. Скажи, что я не хочу напрасно проливать кровь, предлагаю ему мир и любовь, прошу вместе со мной идти на Киев, утверждать Русь.

— Князь Рогволд вельми лжив и хитер, — отвечал на это Михало. — Как можем мы верить его слову?

— Ладно, — повел речь дальше Владимир, — коли так, скажи ему, что я хочу в знак нашего мира взять в жены дочь его Рогнеду...

— Хорошо рассудил, князь! — зашумели воеводы и бояре.

— Так и говори! И мы волим, чтобы у нашего князя была достойная жена.

Позднее князь Владимир часто думал о том, почему он дал такой наказ своим послам. Он слышал раньше о княжне Рогнеде, которую все называли красавицей, но сам никогда ее не видел. Любовь? Нет, он не мог полюбить Рогнеду, сидя в Новгороде. Дерзость?

Нет, Владимир и в мыслях этого не имел. Сын рабыни хотел почувствовать себя человеком, князем, да еще хотел добра родной земле.

Много времени прошло с тех пор, как Михало с другими послами отправился на лодях в озеро Ильмень, чтобы там волоком добраться до Двины, а оттуда в город Полоцк, — а все не было ни их самих, ни вестей. Над Ильменем и на вы-

сокой Перинь-горе день и ночь стояли дозорные, воины смотрели на юг — не маячат ли в тумане ветрила и мачты; но издалека только катились волны, над ними кружились птицы-чайки и плыли белые, похожие на паруса, облака, — лодий новгородских все не было и не было.

И вот как-то на рассвете с Перинь-горы примчались гонцы: вдали на Ильмень-озере показались острые ветрила новгородцев, должно быть, воевода Михало возвращается из Полоцка. Князь Владимир с воеводами сразу же бросились на Перинь. В прозрачном, ослепительно голубом воздухе далеко над небосклоном они увидели знакомые ветрила.

Но вскоре ветер стих, ветрила опали, воины, как видно, сели на весла, но плыть по изменчивой, изрезанной волнами поверхности Ильменя было трудно. Только к вечеру новгородские лодии пристали на Волхове против крепостных стен, и Михало с остальными послами сошли на берег.

Князь Владимир принял своих послов в Большой палате крепости. Там же собрались в темных длинных платнах и высоких шапках бобрового меха, с посохами в жилистых руках бояре, мужи лучшие и нарочитые. Они уселись в круг на скамьях вдоль черных рубленых стен — молчаливые, погруженные в думы; посредине палаты встали, опираясь на мечи, воеводы и тысяцкие; молодые бояре старались стать поближе к княжьему месту; позже всех торжественно, с бубном в руках, вошел волхв Емец, и все расступились перед ним. А потом уже из-за завесы в углу появился и князь.

— Челом тебе, княже! Будь здоров, княже! — прокатилось по палате, воеводы и тысяцкие забряцали мечами, мужи лучшие и нарочитые, дремавшие вдоль стен, подняли головы. Емец провел пальцем по кожаному бубну, сухой, скрипучий звук влился в общий шум, поднявшийся в палате.

— Будьте здоровы и вы, мужи новгородчи! — ответил на их приветствие князь Владимир, снял с головы меховую, усыпанную самоцветами шапку, отстегнул меч и сел в свое кресло.

В палате наступила тишина. В круглые слюдяные оконца светили багрянцем вечерние лучи. Грядни раскаживали со светильнями, зажигали толстые восковые свечи в тяжелых подсвечниках. В трепетном сиянии свечей яснее стал виден князь Владимир, его светлое, затканное серебром

платно, широкий зеленый пояс, красное корзно. За его спиной виднелась голова воеводы Добрыни и еще несколько старших воевод, которые всегда становились позади князя, за его креслом.

Потом в дверях палаты послышались тяжелые шаги, между рядами мужей к князю шли послы, ездившие в землю Полоцкую. Вот вышел вперед воевода Михало, бояре Зринь, Волдуг, Тудор, тысяцкие Спирка и Чудин.

— Челом тебе бьем, княже, и всему Новгороду, — начал Михало, низко кланяясь Владимиру, а потом и мужам на все стороны. То же самое проделали и остальные послы.

— Будь здоров и ты, боярин Михало, и вы, послы! — отвечал на это князь. — Ждали давно новгородчи вас из-за Волока. Почему задержались?

— Супротивный ветер рвал наши ветрила, — вырваюсь у Михала, — а паче ветра задержали нас обман, кривда и лжа.

— Кто смел сотворить с людьми нашими обман и кривду? — нахмурился Владимир.

— Лучше бы нам было не ездить в Полоцк, княже наш, а ударить на него всей силой, — только того и заслужил клытый Регволд, сыны его и вся его песья свора.

Но тут же тысяцкий Михало понял, что говорит не те слова, какие подобает говорить княжескому послу, и, остановившись на мгновение, повел речь тихо, сурово, с достоинством:

— По приказу твоему, княже, прибыли мы в полнолуние в город Полоцк и сказали страже, что хотим говорить с Регволдом как послы новгородского князя.

— Вы видели его? — спросил Владимир.

— Видели, — заторопился Михало, — сказали, как ты велел, что не хотим мятежа и усобицы, бережем и будем беречь мир и любовь в землях Руси, хотим жить по закону и покону отцов наших, установленным князьями Олегом и Игорем, княгиней Ольгой и сыном ее Святославом, да еще так, как велят наши боги.

И тут Михало умолк. В палате стояла такая тишина, что все слышали, как кипит воск в подсвечниках, как тяжело дышат мужи на скамьях.

— Почему ты замолчал?

— Я сказал, — тотчас заговорил снова Михало, — что ты, князь новгородский Владимир, блюдя мир на Руси, предлагаешь князю Регволду вместе с ним идти против князя Ярополка, который убил брата своего Олега и задумал идти на тебя.

— Что же ответил Регволд?

— Он взял нашу грамоту, прочитал и порвал, бросил на землю...

Воеводы и бояре на скамьях сердито зашумели, ударили о землю посохами.

— Зло содеял Регволд! Супостат он, враг! — кричали все и уже вскакивали, топали ногами.

Только князь Владимир твердо сидел в кресле, глядя на Михала, на послов.

— Что же еще сказал Регволд? — так громко, что услышала вся палата, спросил он.

— Он сказал непотребные, дурные слова, — произнес в наступившей тишине Михало, — и мне негоже их повторять.

— Нет, говори! — приказал Владимир.

— Князь Регволд, — решительно начал Михало, — сказал, что ему на диво грамота новгородского князя с боярством, ибо Новгород и Полоцк одинаково древние земли, одинаково древние в них князья и боярство, и ежели Новгород хочет Полоцк поучать, то Полоцк может Новгород проучить... Гордыню нес князь Регволд, похвалялся родичем Рюриком, сказал, что волен выбирать, с кем ему идти, с Новгородом или Киевом.

— И он уже выбрал?

— Так, княже, выбрал, ибо деет заодно с Ярополком-князем.

Михало умолк, но князь, пристально следивший за его лицом, заметил, что воевода странно моргает глазами.

— Что же ты умолк?

— Они выводили нас по одному из терема полоцкого князя, а там обиду нам чинили — стригли бороды.

Михало показал князю и мужам свою гораздо более короткую, чем прежде, бороду.

— И тебя они оскорбили, — закончил Михало. — Князь Регволд велел нам передать, что дочь его Рогнедь не хочет разувать робичича...

Бледный сидел на своем сиденье Владимир, и только лежащие на поручнях кресла пальцы рук, сжавшихся в кулаки, говорили о том, как поразили его слова воеводы. Но он ничем больше не выдал своего волнения. Глядя на воевод и бояр, Владимир ждал их слова.

И он дождался. Вот один из бояр поднял посох, давая знак, что хочет говорить, потом встал, вышел вперед, и все увидели старого Скордяту — с перерезанным шрамом лбом, слепого на один глаз.

— Не токмо тебя, сына Святослава, внука Волги, оскорбил Рогволд, — произнес Скордята, — но также и боярство, всю Новгородскую землю. Михало сказал, что он деет заодно с Ярополком-князем... Что ж, зане так, мы пойдем на Ярополка и Рогволда...

— Правда, правда! — зашумели все в палате.

Хмурое, изрубленное лицо Скордяты перекопилось, единственный глаз хищно сверкал.

— А еще скажу я, — добавил он, — что мы заставим эту Рогнедь разуть нашего князя. Мы тебя выкормили и выпестовали, княже, — обратился он к Владимиру, — так теперь ведем же нас за собой.

— Пойдем! Веди нас, княже! За Русь! — кричали воеводы и бояре.

В палату донеслись протяжные звуки колокола. Собиралось вече. Князь Владимир встал, чтобы идти на площадь. Лютая обида, жажда мести еще бушевали в его груди, но к лицу уже прилила кровь, сердце билось ровно, сильно.

После веча Владимир беседовал в своей светлице на верху терема с Добрыней.

Была ночь. Князь стоял у открытого окна, через которое доносился многоголосый крик, шум на лодях, далекое печальное пение.

— Вот все и готово, воевода мой, теперь и в путь, — начал Владимир. — Долго думал я о Киеве, рвался туда, хотел быть там, но не так, как ныне.

— Чего печалишься, княже? — подошел к нему поближе и остановился рядом с ним Добрыня. — Ты идешь на правое дело, защищаешь закон и покон отцов своих, ведешь за собой воинство бесчисленное, уверен я, что присоединятся, встанут под твоё знамя и полуденные земли.

— Все это так, Добрыня, если бы я не верил, то не пошел бы, но сколько крови придется нам пролить, зачем Ярополк начал уобицу в землях, зачем накликал тучи на Русь?

Оба они, стоя у окна, смотрели на южную сторону неба. Там собиралась гроза, должно быть, первая за лето. Где-то у самого небосклона пробегали тонкие, змеистые молнии, они все ударяли и ударяли в землю, в воды Ильменя, в леса.

Князь Владимир вытер ладонью лоб, на котором выступили капли пота.

— Я должен идти! — произнес он. — Пусть Перун благословит все мое воинство.

— Не печалься, княже, ты не один, я всегда с тобой.

Он взял руку Владимира и крепко сжал ее.

— Нет, Добрыня! — отозвался князь. — Тебя я не зову в эту дорогу.

Воеводе стало не по себе. Что случилось? Почему князь не хочет взять его с собой?

— Я люблю Киев, — медленно продолжал Владимир, — а за эти годы полюбил и Новгород... И как их не любить? Киев — родина моя, а вспоил меня и вскормил, как родного, принял Новгород. Люблю я этот город, все пятины земли, людей полунощных: у них суровые лица, но теплые сердца.

— Люди эти любят также и тебя, — сказал Добрыня.

— Вот потому-то и не хочу я, — словно не слыша его слов, продолжал Владимир, — оставлять их сиротами... Мы идем далеко, полунощная рать дойдет до самого Днепра, а тут каждый день могут надвинуться свионы, черные булгары.

— Хорошо деешь, княже, — согласился Добрыня, — что печешься о Новгороде. Полюбил и я его.

— Думаю, — посмотрел князь на Добрыню, — что нужно мне оставить в Новгороде посадника моего, которому верю.

— Так и сделай, княже!

— Так и делаю, Добрыня, а потому оставляю в Новгороде тебя.

— Меня?

— Да, мой вуй и воевода!

Добрыня долго молчал. Беспокойно вспыхивали на небосклоне зарницы. Тяжкие думы терзали сердце воеводы.

Он хотел бы идти с Владимиром — поход сулил ему честь и славу, в полуденных землях их ждала победа.

Правда, Добрыня тревожился, думая о Киеве. Владимир, он верил в это, победит Ярополка, сядет на стол отца своего. Гора, которая ныне склоняется перед Ярополком, очень скоро склонится перед Владимиром, станет ему служить.

Но примет ли Гора Добрыню? Он вспомнил годы, когда был гриднем в дружине князя Святослава, потом сотенным, стал, наконец, воеводой, воем Владимира. Что ждет его, если он приедет в Киев с Владимиром? Князь силен, он пошел в отца своего, он покорит Гору, но разве князя прежде, а ныне и подавно не склоняли голову перед всемогущей Го-

рой? А уж если даже князья должны остерегаться Горы, то что же говорить ему, Добрыне? Он и прежде чувствовал неприязнь, ненависть Горы, боялся и теперь тамошнего боярства и воеводства.

В Новгороде Добрыне вольготнее, тут он ровня всем боярам и воеводам, стоит над ними, потому что он правая рука Владимира, встанет еще выше, если останется его посадником.

— Очень скорблю я, князь, — тяжело вздохнув, промолвил Добрыня, — что не берешь меня с собой, ибо там я ни сил, ни самой жизни своей не пощадил бы для тебя. Но знаю, вижу, что нужно тебе иметь свою твердую руку и в Новгороде.... Помни, княже, что аки воин твой сидеть буду тут, блюсти стол, все стану делать по твоему слову.

Добрыня подумал, что, может, именно в эту минуту ему следует сказать князю правду о себе и сестре своей Малуше — князю легче будет, если он узнает, что в Новгороде останется не просто посадник, а брат его матери, родной дядя; Добрыне же достанется больше чести и славы...

Но это длилось только одно мгновение. А что подумает и что скажет Владимир, так поздно узнав правду? Может, — Добрыня совсем растерялся, — князь тогда не оставит его в Новгороде, а возьмет с собой?

Нет, лучше молчать, быть посадником в Новгороде, где у него есть терем, дворце, земля, жена, отныне он станет и хозяином княжьего двора в Ракоме. И Добрыня не произнес нужного сердечного слова.

— Прощай, княже! Счастливого пути! — только и прошептал он пересохшими губами.

6

За Новгородом, там, где Волхов-река сливается с Ильмень-озером, есть гора, которая за тысячу лет слегка осела на макушке и осыпалась по склонам, но высится еще и доселе.

А в те времена на вершине горы Перинь было утрамбовано, словно ток, широкое требище, посередине него на каменном основании высился дубовый идол Перун, вокруг боги пятин новгородских, а на восьми концах по сторонам от них, словно лепестки чудовищного цветка, день и ночь пылали кострища.

Выступая на рать с Ярополком, князь Владимир повелел воинству собраться на берегу Ильменя, сам прибыл туда и с воеводами стал подниматься на гору.

Чем выше поднимались они, тем более широкий простор открывался перед ними. Князь и воеводы видели в заливах Ильменя сотни лодий и учанов из Новгорода и пятин, дальше покачивались на волнах варяжские лойвы и шнеки.

С горы был виден и путь, по которому им предстояло двигаться к Волоку, — сверкающая водная гладь озера Ильмень, густые зеленые леса на его берегах; с другой стороны темнел над Волховом Новгород, за ним расстилалась безграничная, полускрытая седым маревом равнина.

На требище уже все было приготовлено для жертвы: высоко в небо упирались восемь длинных огненных языков кострищ, жрецы что есть силы били в бубны и гремели медными колокольчиками, ревел скот.

Перинь-гора не могла вместить всех воинов, а потому князь велел приносить жертвы по всему берегу. Емь, водь, саами и коми, схавшие на рать со своими богами и шаманами, развели там отдельные кострища, выставили перед ними богов — деревянные чурбаны с вытесанными на них глазами, женскими грудями и срамными местами; под стук бубнов, оскалая зубы, они плясали возле них, над чем новгородцы даже посмеивались втихомолку.

На вершине Перинь-горы князь остановился. Прямо перед ним вырисовывался на голубом небе шероховатый от солнца и ветров, потемневший от дыма требищ Перун с блестящими позолоченными глазами; за ним и вокруг него стояли такие же темные, вырезанные из дерева или высеченные из камня боги пятин Святovit, Билбог, Триглав — подобие мужчины и женщины одновременно, с головой на плечах, головой на груди и еще одной головой в детородном месте, и Чернобог, у которого был вид большого пса, — это были те боги, которым веками молились люди в Новгороде, в землях води, еми, саами, коми, а за ними стояла северная, языческая Русь.

В этот день и час за князя Владимира и всех воинов, за победу над Ярополком молились еще в одном месте, в самом городе: там, в небольшой деревянной церкви Иоанн на опоках, от жаркого горения свечей дважды начинался пожар.

Князь Владимир в глубоком раздумье стоял перед богами, сосредоточенно молчали воеводы вокруг него, тихо было по всей горе и внизу у Ильменя.

А потом загремели бубны и колокольчики, раздались дикие крики волхвов, хрипели и рыли землю ногами воли и кони, кровь жертвенных животных пролилась на землю,

над всеми огнищами заклубился темно-серый дым, он окутал требища, пополз вниз по склонам.

Князя Владимира захватил и взволновал этот обряд. Он стоял перед Перуном, вынув из ножен меч и положив его на землю. Волны дыма то надвигались на него, то расступались, искры долетали до его лица, и в эти мгновения красный отсвет костров заливал его лоб, прищуренные, прикованные к далеким водам Ильменя глаза, жесткие, сжатые губы.

— За Русь! За богов наших! За покой и закон отцов! — раздавалось повсюду на горе и у озера, гремели копья, звенели щиты. Великая, страшная, непобедимая сила стояла за Владимиром, князем новгородским, он готов был вести людей в Киев, до самых далеких украин Руси.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1



Константинополь было известно, что происходит на Руси. Греческие купцы, которые непрерывно сзидли по Днепру и пересекали Русское море, возвращаясь из Киева, рассказывали о распре между братьями-князьями, а позднее и о том, что началась между ними сеча.

В Большом дворце знали обо всем этом еще лучше: готовясь к брани с Владимиром, князь Ярополк снарядил в Константинополь своих послов, просил императоров Василия и Константина помочь ему в борьбе с братом, за что соглашался признать епархию константинопольского патриарха на Руси, давая понять, что мог бы поступиться кое-какими землями на север от Климатов и в Тмутаракани. Ярополк не скупился на обещания, изменял законам и обычаям отцов своих, продавал императорам ромесв русские земли.

Разумеется, не императоры Василий и Константин решали дело: первый из них проводил дни и ночи со своими монахами, второй пьянствовал в кабаках на Перу и развлекался с гулящими девками. С послами князя Ярополка разговаривал проздр Василий.

Если бы он мог, то с радостью послал бы на Русь легионы, о которых просил Ярополк, и хеландии с греческим огнем. Ромеи не столько бы помогли киевскому князю, сколько,

воспользовавшись усобицей на русской земле, нанесли бы Руси огромный вред. Византийские легионы по Днепру и в Киеве — да разве не об этом мечтали прежние императоры?!

Но Византия не могла послать легионов на Русь: над нею нависла смертельная угроза, жизнь самой Империи была в опасности.

Проздр Василий знал, что делает, когда выслал в Малую Азию перед кончиной императора Иоанна Варда Склира. В Константинополе этот полководец был опасен, у него было много приспешников среди членов сената и синклита, они готовились и, несомненно, провозгласили бы Варда Склира после смерти Иоанна императором-регентом Василия и Константина.

Проздр Василий действовал решительно: угнав в Малую Азию Склира, он вслед за ним стал высылать туда же его единомышленников и друзей. Таким образом в различные фемы Малой Азии попали Дельфины, Куркуасы.

Боясь мстительного проэдра, некоторые полководцы и патрикии сами бежали из Константинополя. Они забирали с собой семьи, все свои сокровища, селились в Армении, Грузии, где беглецов из Константинополя принимали гостеприимно.

Проздр Василий понимал, какая сила стекается в Малую Азию, до него доходили известия о том, что изгнанники и беглецы из Константинополя собираются вокруг доместика схол Варда Склира. Проздр делает последний шаг: именем императоров устраняет Варда Склира с высокого поста доместика и назначает его дукой Антиохии.

Но было уже поздно. У Варда Склира под рукой были легионы, которые дал ему сам проэдр Василий, он опирался на лучших полководцев Империи, бежавших из Константинополя, его окружала византийская знать, располагавшая бесчисленными богатствами.

Варда Склира хорошо знали и в Кавказских землях, к которым Византия давно протягивала лапу; эмиры Багдадского халифата, мечтавшие о власти в Малой Азии и даже в Европе, также поддерживали его.

Поэтому и случилось так, что Вард Склир провозгласил себя императором Византии; его признали армяне, эмиры Мартирополя и Амиды, властвовавшие над реками Тигром и Ефратом, властелин Багдада Азуд-ад-Доула — все они поддерживали Склира, обещали ему помощь.

Не одна только Азия заботила проэдра Василия. Он знал об убийстве кесаря Бориса, которого сам послал в Болга-

рию, и нисколько о нем не жалел: одним кесарем больше или меньше, что за дело до этого Византии? Продолжая рассуждать, проэдр приходил к выводу: может быть, и лучше, что не стало Бориса; если он не сумел сразу собрать силы, то не собрал бы их и потом.

Но проэдра беспокоила судьба брата Бориса Романа. В Константинополе одни говорили, что он попал в плен к комитопулу Самуилу Шишману и тот будто бы нарек его царем Болгарии, другие утверждали, что Самуил назначил Романа начальником всего своего войска.

Но что имели происходило в Западной Болгарии, никто не знал, комитопулы сидели в горах, между ними и Византией высилась Родопы — загадочный мир, страшные люди, западные болгары.

Там, за Родопами, уже собирается и движется на Византию гроза: на перевалах, в клисурах, а вот уже и в долине на юг от Родопов стало появляться все больше и больше болгарских отрядов, они наносили большой урон акритам, комитопулы переходили в наступление — Империи угрожает смертельная опасность.

Поэтому проэдр Василий весьма радушно и гостеприимно принимал мужей нарочитых из Киева. Их, как это всегда делалось в Большом дворце, водили в Святую Софию и во Влахери, показывали им в Магнавре разные диковины — золотых львов рыкающих, птиц поющих, для них устраивались пиры.

Одного только, ответа на просьбу князя Ярополка, мужи нарочитые не получали, императоры велели им ждать и ждать.

2

В лесах над Западной Двиной, в которую справа вливаются тиховодные Полоть и Оболь, а слева Улла и Ушач, стоял на горе древний город Полоцк.

Холодная, влажная тут земля, вокруг трясины и болота, после короткого лета наступают долгая осень, суровая зима, гнилая весна; но смелому человеку эта земля сторицей возмещает труды: вокруг непроходимые леса, в них стаи зверья, реки и озера полны рыбой, в песках голыми руками можно собирать дорогой горячий камень. Западная Двина доходит до самого Варяжского моря, а там открыт путь в широкий свет.

С давних времен тут, на просторах Двины, селились племена летгалов, земгалов и куршей, у которых были свои обычаи и боги; сюда же приходили и русские племена, которые братались с местными людьми, оседали тут, выжигали лес и пахали землю, били дикого зверя в лесах, ловили рыбу в реках.

На этих давних туземцев налетали орды из-за Двины. Как и ко всем землям на восток от Лабы, сюда протягивали свои когти короли, а позднее императоры германские. Много крови пролили они, а особенно Генрих I Птицелов и сын его император Оттон I; они слали в различные города, в том числе и в Полоцк, свои отряды, мечтали захватить Полоцкую землю, выйти на верховья Днепра и отрезать верхние земли Руси от полян и Киева.

Потому-то люди Полоцкой земли, чтобы бороться с врагами, строили у рек города с высокими деревянными стенами, копали вокруг них рвы, насыпали валы — так выросли Минск, Усвят, Лукомоль, Друцк, а на стрежне Полоти и Двины город Полоцк.

Правили Полоцком и всей этой землей свои князья. Породнились они с древлянами, полянами, кривичами. Когда же рвался к Новгороду и засел на Ладоге ярл Рюрик, его побратимы Тур и Регволд двинулись на север. Регволд обманом взял город Полоцк, Тур дошел до самой Припяти и захватил там на время древний русский город, который позднее стал называться Туровом.

И уж, разумеется, не Полоцкой земле служил князь Регволд. Лодии с его дружинами все время разъезжали по Двине до моря и дальше в Свеарике, на поклон к конунгам, иные его дружины доходили до Щецина и Шлезвига, там их гостеприимно встречал император Оттон. Перуном и Русью клялся Регволд, но служил многим и разным богам.

Тут в городе над Полотью, за высокими стенами, окруженный своей дружиной, и сидел князь Регволд. Было у него два сына, Роальд и Свен, да еще дочь, сероокая красавица, гибкая и стройная Рогнедь.

О ней мечтали многие викинги, просить ее руки приезжали рыцари из Свеонии, Датской земли и даже из Англии, но Рогнедь, которой было тогда лишь восемнадцать лет, говорила отцу, что ей не нравится ни один из них; кто знает, может, она поджидала сватов от германского императора?!

Сгорая от нетерпения, ждал и князь Регволд вместе со своими сыновьями большего, чем имел. Ему, жадному, ненасытному, было тесно в городе Полоцке, он мечтал о землях с множеством городов, власти жаждал, богатства.

Поэтому и послал он сразу же, как только на Киевский стол сел Ярополк, своих послов к нему, поэтому Регволд с

радостью услышал весть о том, что Ярополк убил брата Олега. Когда же киевский князь предложил полоцкому волостелину вместе с ним идти на Новгород против князя Владимира, Рогволд ответил согласием и принялся собирать воинов со всей своей земли. Поэтому он и встретил так послов новгородских: они предлагали от имени Владимира мир, Рогволд же давно поднял над Полоцкой землей черное знамя войны.

3

Быстро продвигались вперед по рекам и озерам воины князя Владимира. Впереди плыли лодии Новгородской земли, следом за ними тяжелые лойвы и шнеки варягов, позади, куда ни глянь, — учаны, бусы, однодеревки земель заволжских и северных.

По озеру Ильмень, широкому, как море, где даже не видно было берегов, северный ветер быстро гнал лодии с волны на волну. В устье Ловати они вошли, построившись ключами, и долго плыли так среди зеленых берегов и высоких лесов. Первые лодии уже приближались к Пархону, а в устье еще входили однодеревки, охранявшие воинство сзади.

Множество своих воинов князь Владимир послал также пешком и конными вдоль Ловати, они продвигались по обоим берегам: великая непобедимая сила неумолимо шла с севера на юг. Остерегаясь коварного врага, воины вглядывались вперед, в окутанную весенними туманами даль, обходили изменчивые леса, оглядывались назад, где за озером Ильмень скрылся Новгород.

Все, казалось, было спокойно на лодиях, воины на веслах не разгибались день и ночь, восход солнца встречали посреди широкой водной глади. Пряталось солнце за леса, но и в ночной тишине весла гремели в уключинах, соловьи пели в ивовых зарослях и кустах, а люди слушали и молчали. Они предчувствовали битву, смерть ходила там, где над небосклоном висели большие, яркие звезды.

Битва эта все приближалась. Воины, которые на конях мчались впереди воинства, временами возвращались, поджидали князя, рассказывали, что творится на берегах и в поле.

— Князь спит? — слышал Владимир голос тысяцкого Чудина.

— Слышу, тысяцкий, с чем приехал? Две лодии сходятся на воде. Князь и тысяцкий сидят рука об руку; воины

опускают в воду весла и не гребут, чтобы не мешать беседе; лодии плывут по течению, на быстрине дрожат их черные отражения; вокруг журчит вода, отблески звезд играют за кормой.

— Есть вести, княже! — тихо говорит Чудин. — Вон на берегу светится огонек, до того места дошли наши воины лесами и полем. Они говорят, княже, что повсюду на погостах и в весях только и слышно, что о походе Ярополка на Новгород.

— А здешние люди?

— Люди бегут в леса, прячутся в болотах, чтобы только не идти с Ярополком, не хотят его. А теперь, когда услышали, что ты, княже, идешь на Ярополка в Киев, выходят из лесов, ищут нас, стоят тут повсюду, по обоим берегам! — Чудин широко разводит руки, словно обнимая все вокруг.

— А Ярополк где?

— И об этом спрашивал, княже. Говорят люди, что здесь, на северных реках, его воинов еще не было, собираются они за Волоком, стоят их лодии далеко за Смоленском. Люди просятся к нам, у иных есть мечи и копья, брать ли их с собой?

— Будем брать, тысяцкий! Пусть идет на него вся земля, вся Русь!

Когда лодии доплыли до устья Ловати, их через озера и мелкие реки волоком потащили к Днестру. Водну из темных ночей воины увидели на западе багровое зарево, которое постепенно светлело.

То не месяц всходил за лесами — не на западе его родина. Где-то за лесами, где стоит город Полоцк, что-то горело, и этот огромный пожар не угасал всю ночь, даже перед восходом солнца на западной стороне неба видна была широкая багровая полоса.

В эту ночь князя Владимира уже не было на лодиях. Он и тысяча его воинов мчались на конях, которые давно стояли наготове на ближних погостах, мчались на запад, где буйствовал пожар: там горели леса, и это было знаком, что им надо спешить на помощь передовым отрядам своего войска.

Ярл Фулнер, узнав об этом, был очень недоволен и, сверкая своим единственным глазом, долго всматривался в даль, куда отправился с дружиной Владимир.

“Хитер новгородский князь, — думал он, — боится иметь меня союзником в борьбе с Регволдом. Что ж, пусть сражается один, я подожду конца битвы...”

Князь Владимир достиг Полоцка, когда его воины уже захватили посады у Полоти и Двины, подступили к городу и повели там сечу.

Дружина Регволда, выйдя из посадов, заперла ворота, подняла мосты, быстро встала на городницах. Женщины и смерды уже готовили там горячую смолу и камни, повсюду лежали охапки стрел.

Началась лютая сеча. Новгородцы с великим трудом пробились к ограде из кольев и разметали ее, миновали вал и рвы, добрались до самых стен, лезли на них, начали разбивать ворота.

Сверху лилась смола, летели камни; стоя за крепостной стеной, дружина Регволда метала тысячи стрел; земля вокруг была красной от крови; за стенами слышались крики, ржали кони: отбив первый приступ, полочане готовились, как видно, опустить мост, открыть ворота, чтобы скопом выехать оттуда и рассеять новгородцев в поле.

И в эти минуты на гостинце, который вел из Полоцка на восток, поднялось облако пыли, земля загудела там от конских копыт, послышались крики.

У полочан, разумеется, и мысль исчезла высовываться за ворота. Перекликаясь, они поспешно стали готовить на стенах смолу и стрелы, многие из них бросились к воротам, забросали их изнутри бревнами, засыпали землей.

Но полочане смотрели не туда, куда следовало, ибо, в то время как всадники мчались с востока, неведомым путем совсем с другой стороны, с запада, от берегов Двины, незаметно подступились к стене и вылезли на городницы несколько сот воинов-изборцев. Держа в руках мечи и щиты, они стали переходить с городницы на городницу, рубя и сбрасывая вниз дружинников Регволда, а тем временем всадники были уж под стенами, они разбили и повалили ворота.

Князь Владимир вместе с первыми воинами влетел внутрь. Он увидел страшное зрелище: на земле посреди двора лежал мертвый Регволд, изборцы подняли на копья двух его сыновей, повсюду вопили искалеченные воины, ржали кони, слышался стук щитов и мечей, двери трещали в теремах, разъяренные воины выбивали окна.

— Довольно! — крикнул князь Владимир. — Прекратить сечу! Негоже глумиться над мертвыми.

Когда солнце склонилось совсем низко над Двиной, от берега за Полоцком оторвалась, прошла широкий полукруг по воде и поплыла на запад вниз по течению большая лодия. На ней не видно было ни рулевого, ни гребцов, ни весел в уключинах, только широкое черное знамя реяло на высокой мачте.

В середине лодии на досках лежали мертвецы: князь Регволд и два его сына, Роальд и Свен, снаряженные в дальний путь: волосы их были старательно расчесаны, руки вымыты, ногти подстрижены, грудь присыпана землей.

Так повелевал древний обычай свионов, так и сделала дочь Регволда Рогнедь; князь Владимир позволил ей похоронить отца и братьев, как велит обычай, а дворянам помочь ей.

Когда лодия отплыла, Рогнедь, с распущенными волосами, с мокрыми от слез щеками, долго стояла на берегу, над головой ее с шумом летали ласточки, но она ничего не слышала, смотрела и смотрела, как лодия плывет по воде, исчезает вдаль.

Так она и будет плыть, потому что, если где-нибудь и пристанет к берегу, ее оттолкнут полочане; у них свой обычай: пускай лодия с мертвыми князьями плывет до Варяжского моря. А если и там волны не примут ее, то поплывет она и дальше, до далеких, скалистых берегов Свеварике.

Близился вечер. Лодия была уже не видна. Рогнедь долго стояла на берегу, а потом поднялась по крутой тропинке на гору и скрылась за городскими воротами.

5

В большой трапезной князя Регволда был главный вход с юга от Полоти для хозяина и его дружины, второй, с севера, для дворян. Посередине трапезной стоял большой стол, на широких дубовых скамьях вокруг стола можно было не только сесть, но и положить меч и щит. Тут после боя у стен города и в крепости князь Владимир собрал свою старшую дружину, чтобы передохнуть, попить и поесть, посоветоваться о предстоящем походе.

На дворе уже стемнело. Дворяне зажгли на столах наполненные медвежьим салом светильни, фитили которых нестерпимо чадили, поставили горшки и деревянные миски с мясом, рыбой, различной зеленью, корчаги с медом и олом.

Это был обычный ужин воинов после ратного труда, пища для усталого тела, улада покалеченным в жестокой сече.

В то же время в городе и на погостах, как повелевал суровый закон войны, воины добрались до медуш, выкатывали бочки с медом и олом, приносили жертвы и правили тризну по тем, кто погиб под Полоцком.

Огни пылали и далеко за Полоцком, на берегах Двины, над Дриссою и на Поозерье, — то полочане, услышав весть о том, что не стало князя Регволда, жгли костры, гнали среди ночной тьмы коней, чтобы присоединиться к воинам князя Владимира.

— Слава Владимиру! — гремело в трапезной, где так недавно сидел и пировал князь Регволд.

— Слава Владимиру! — неслоь отовсюду в городе и в долине.

Однако он не пил, разговаривал с полоцким тысяцким Свидом, который в решающую минуту велел воинам в крепости обернуть мечи против Регволда, советовался с новгородским воеводой Путятю, которого хотел оставить своим посланником в Полоцке.

— Оставляю тебе небольшую дружину, а ты завтра созови людей, скажи, что мир и тишина должны царить в Полоцкой земле, блюди их законы и поконы, гляди на запад, — оттуда непрерывно угрожает враг, гляди и на восток, посылай нам подмогу.

— А как быть с дочерью Регволда? — спросил Путята.

— Полочане почитают Рогнедь, — вставил свое слово тысяцкий Свид. — Она девушка справедливая, смелая, на ловы ходит плечом к плечу с мужами, к убогим щедра, не чета своему отцу.

— Сдается, и мы ее не обидели? — обратился Владимир к Путяте.

— Так, княже. Рогнедь с твоего дозволения похоронила своего отца и братьев по обычаю, положила их в лодию, которая поплыла к морю.

— Мертвым прощение и тлен, живым жизнь, — произнес князь Владимир. — Но что это? — встревожился он, глядя на затянутые прозрачной кожей окошки трапезной, которые покраснели, словно налились кровью.

Дальше все произошло необычайно быстро. Трапезную начал наполнять едкий запах смолы, воеводы бросились к дверям, но те оказались подпертыми снаружи, кожаные окошки начали гореть и лопаться. Через окошки донеслись

голоса множества людей, звон мечей, крики. По всему было ясно, что кто-то поджег трапезную.

И вдруг двери распахнулись. Их высадили снаружи. Воины и князь опрометью выбежали во двор, где увидели воинов, которые гасили огонь, одновременно сражаясь с неизвестными людьми.

— Измена! — кричали воины. — Вас хотели сжечь живьем, княже! Они облили стены смолой, заперли все выходы. Мы изловили их, одних порубили, других схватили, все они свионы, слуги Регволда, а вела их змея — дочь князя. Вот их гонят, мы все очевидцы того что случилось. Позвольте покарать их, и ее, убийцу, вместе с ними.

Воинов возле трапезной становилось все больше и больше, одни рассказывали другим о поджоге, отовсюду неслись голоса:

— Покарать головников! Смерть убийце! Смерть!

Привели и поджигателей. При свете факелов князь Владимир увидел нескольких окровавленных воинов-свенов, которых толкали в спины, и женщину в темном одеянии со связанными за спиной руками.

— Смерть им, смерть! — ревели воины, и уже острые мечи засверкали над головами поджигателей и дочери полоцкого князя.

Но в эту минуту прозвучал сильный, решительный голос князя Владимира:

— Пошто торопитесь, дружинники мои? Аще враг устроил ловушку, будем судить его по закону и покону нашему... Всех поджигателей велю посадить в темницу. С княжною поговорю отдельно...Отведите ее в терем и стерегите. Завтра будет суд!

6

Князь Владимир хорошо разглядел Рогнедь. Она стояла на середине светлицы, высокая, стройная, темное платно облегалo ее тонкий стан и высокую грудь, обруч на голове туго стягивал волосы, напоминавшие нити золота и словно светившиеся. У Рогнеди, как у большинства северянок, были голубые глаза цвета морской волны, ее мелкие зубы были ослепительно белыми; вся она казалась сильной, крепкой, загорелой, но в то же время сказочно красивой, и Владимир на какое-то мгновение даже залюбовался ею, такой дерзкой, смелой.

— Ты велел привести меня сюда, — сказала Рогнедь, — говори, я слушаю.

— Да, я велел привести тебя сюда, — ответил ей Владимир, — потому что не хотел, чтобы мои воины убили тебя. — Он мгновение помолчал и добавил: — Не думай, однако, что воины мои убийцы и разбойники, они хотели и должны были тебя убить, ибо ты подняла руку на их князя... Древний наш закон говорит: око за око, зуб за зуб.

— Зачем же тогда, — дерзко крикнула она, — ты вырвал меня из их рук? Законы у вас и у нас одинаковы. Око за око, зуб за зуб! И я хотела отомстить врагам, которые убили моего отца, и уж если боги не помогли мне, лучше бы я умерла под вашими мечами... Ладно, князь, не будем много говорить — убей меня сам...

Князь Владимир усмехнулся.

— Я выслушал тебя, Рогнедь, но не понимаю, почему должен убить?

— Ты упился кровью и пришел за данью, — заговорила она. — Ты сын рабыни и сам трел, ты уже раньше присылал своих послов и требовал, чтобы отец мой покорился тебе, а я стала твоей женой. Отец мой поднял меч против тебя, а я не пожелала разувать и не разую робичича, слышишь? А дальше ты знаешь все: это Один велел мне мстить, потому что ты убил моего отца и братьев, но я не сумела этого сделать... Что ж, так решила судьба, ты имеешь право и должен меня убить — око за око и зуб за зуб.

То, что Рогнедь говорила Владимиру, было оскорблением для него, она считала себя высокой особой, княжной, а его называла трелом, но ему не хотелось оскорблять ее, девушку, и он сдержался.

— Ты дерзка и горда, Рогнедь, — сказал ей Владимир и добавил презрительно: — Но только руки твои слишком слабы для того, чтобы уничтожать русских князей и их воинов.

Она побледнела, сжала зубы, заскрежетала ими.

— Если ты поставишь меня под дубом смерти, я сама себе накинута петлю на шею...

— Я вижу, ты смелая...

Полоцкая княжна молчала. Князь Владимир сделал шаг вперед, остановился около нее.

— Послушай, Рогнедь, — после долгого молчания сказал он. — У нас, русских людей, есть древний обычай: когда мы побеждаем врага, мы заключаем с ним мир и тогда уж храним его. Там, в Новгороде, отправляя послов к твоему отцу, я говорил, что хочу жить с ним в мире и любви, а тебя

в знак этого желаю назвать своей женой... Когда же послы мои возвратились и рассказали, что князь Рогволд порвал и ногами растоптал мою грамоту, я дал слово Новгороду и поклялся перед богами, что Полоцк будет нашим, а ты моей женой... А потом что случилось, Рогнедь? Твой отец и братья убиты, — зачем мне враждовать с мертвыми? Полоцкая земля покорилась, отныне тут будет мир. Только ты не покорилась, хотела меня убить, месть живет в твоём сердце.

— Я не понимаю, зачем ты это говоришь и чего хочешь от меня...

— Слушай, Рогнедь, — громко продолжал он, — я мог бы потребовать от тебя дань, но теперь не хочу этого, ибо не был бы я князем, если бы стал мстить женам, вдовицам, сиротам, да и тебе, полоцкая княжна... Я свершу над тобою княжий и справедливый русский суд. Ты деяла, как велел твой закон, — не виню тебя, но больше, слышишь, больше ты ничего сделать не можешь. Потому я тебя и не караю... Будь, Рогнедь, такой, как велит разум, сердце, только не твори зла, ибо погибнешь. Слово же мое будет таково: если хочешь жить в городе или где-нибудь в земле Полоцкой, живи тут, слово князя — закон для его людей. Если хочешь вернуться в землю своих предков, дам тебе грамоту, воинов, проведут тебя повсюду, хоть за Варяжское море... Ты, дочь князя Рогволда, вольна делать что хочешь... Иди, Рогнедь!

Она не уходила, стояла неподвижно, потом с уст ее сорвалось:

— Скажи мне одно, княже! Почему ты так деешь, почему желаешь так судить? Закон? Какой закон? Я не понимаю того, что ты творишь...

Владимир пристально посмотрел на нее.

— Так, закон допрежде всего, — ответил он, — но, видать, есть еще и другое, что заставляет меня так деять...

— Очевидно, ты, — сурово произнесла она, — убив моего отца и братьев, теперь хочешь поглумиться и надо мной.

— Глумиться? О нет! — быстро и резко отозвался он. — Ты должна знать и знаешь: не моя десница убила отца и братьев твоих, а русские люди. Опять же, не моя десница, а они хотели убить и тебя, я же не дал мечу упасть на твою голову.

— Значит, ты... — начала она и умолкла. — Скажи мне правду, русский княже. Ты пожалел меня, как пленницу, но не хочешь, чтобы я оставалась в Полоцке, гонишь за Варяжское море, потому что я не мила тебе?

— Напрасно, — возразил он, — говоришь так, Рогнедь, ибо еще в Новгороде нарек я тебя своей женой. Не я, а ты, дерзкая, гордая, считала, что в тебе течет княжеская кровь, а я только раб, это ты оттолкнула мою руку, сказала, что не станешь женой сына рабыни, ибо не любила и не любишь меня... Как ты смеешь спрашивать теперь, мила ты мне или нет?!

Она молчала, и это была уже не та дерзкая, высокомерная полочанка, которая недавно злым словом поносила князя. Рогнедь опустила очи долу, упали и ее руки, бесильные, вялые.

— Я жду, Рогнедь, говори: если хочешь уйти в земли своих предков — открою двери, дам грамоту, людей; хочешь жить в Полоцке — оставайся... А теперь ступай! Я очень устал, а завтра в поход... Иди, Рогнедь! Прощай!

Не поднимая глаз, она повернулась, двинулась к дверям, вышла...

Кто знает, долго ли отдыхал князь Владимир?! Может, как воин, что спит и все слышит, он смежил веки на одно мгновение и сразу проснулся, а может, и это вероятнее, отдыхал он больше, до поздней ночной поры, — но только вдруг князь вскочил, сел на ложе, сразу обулся.

За окном стояла ночь, в палате было темно, через раскрытую дверь струился желтоватый свет с переходов, а на пороге смутно вырисовывались чьи-то тени, оттуда доносились приглушенные голоса.

— Кто там? — спросил князь, и рука его непроизвольно потянулась к лавке, на которой лежал меч.

— Это я, — послышался голос Рогнеди. — Хочу с тобой сейчас же поговорить. А твои воины не пускают...

Он понял, что княжна пришла к нему по какому-то важному делу, хочет сообщить то, чего откладывать нельзя... Только одного не мог понять Владимир: что заставило ее прийти так поздно, глубокой ночью.

— Грядни, — приказал он, — я буду говорить с княжной... Зажгите свет.

Они вошли и, поставив на стол свечу, поспешно вышли.

Владимир и Рогнедь остались в палате вдвоем. Бледная, уже без обруча на голове, с распущенными волосами, достигавшими колен, в том же темном платне, только с зеленым камнем на груди, она стояла, опустив руки, у порога.

— Конунг Вольдемар, — неслышно ступив на шаг вперед, начала она.

— Я не конунг, я князь, — перебил он ее сразу, — и не Вольдемар, а Владимир.

— Прости, князь.

— Я слушаю тебя.

Снова молчание и невысказанные колебания.

— В эту ночь, — продолжала она, — мне было очень тяжело... Я совсем не спала... попросила воинов... пришла к твоей палате... долго уговаривала разбудить тебя... Они даже, — Рогнедь усмехнулась с обидой, — обыскивали, нет ли у меня оружия... Я пришла... я должна была прийти... так надо... так судили боги...

Она на мгновение умолкла, глядя на огонь свечи, который жарко, как жертвенный, горел на столе, и Владимир заметил, как на ее глаза навернулись слезы.

— Я пришла сюда, чтобы разуть тебя, княже, — закончила Рогнедь, и яркий румянец выступил на ее щеках.

Он был глубоко поражен, припомнив разговор с Рогнедью в этой же палате несколько часов тому назад.

— Ты отказалась меня разуть, когда я этого желал, — сурово сказал он. — Нынче ночью ты собиралась даже меня убить, говорила, что ненавидишь. Я простил тебя, даровал тебе жизнь, позволил уехать, куда пожелаешь... Почему же ты пришла теперь?

— Княже Владимир, — искренне ответила она, — ты смелый, храбрый витязь, умеешь ненавидеть и прощать, посему я пришла и должна разуть тебя, княже!

Рогнедь умолкла, румянец на ее щеках поблек.

Чувство победы! О, в этот поздний ночной час князь Владимир испытал его, и, должно быть, сильнее, чем накануне в битве, — девушка, дочь князя Регволда, которая недавно оскорбила его, отказалась от него, пришла сюда, отдает самое дорогое — свое тело, душу...

— Я был и остаюсь сыном рабыни, — не сдержавшись, вызывающе сказал князь Владимир.

Рогнедь на мгновение смутилась, но овладела собой и ответила:

— Очень жалею, что прежде назвала тебя робиичем, проклиная час, когда говорила так. Если бы тогда я поступила иначе, — заломила она руки, — может быть, не было бы этого ужаса, живы были бы мои отец и братья... Княже Владимир, мне очень жаль, что прошлого не воротить. Нынче я увидела, что сын рабыни может сделать больше и умест быть справедливее, чем князь... и я полюбила тебя. Ты веришь мне? Скажи правду...

Владимир не ждал таких слов Рогнеды, трудно было ему и ответить на ее откровенный вопрос.

— Ты очень смела и ты по душе мне, Рогнедь! — произнес он.

Словно борясь с волнами, налетавшими на нее, Рогнедь протянула руки.

— И ты больше ничего не скажешь? — вырвалось у нее сквозь стиснутые зубы.

Владимир понял ее. О, эти женщины, как видно, все они таковы, чуть что — клянись им в любви. А знает ли она, эта дерзкая девчонка, как много уже стоит ему?..

— Я еще из Новгорода отправлял послов, — ответил Владимир, — предлагал тебе стать моей женой...

— Ты смеешься надо мной, княже, — сурово произнесла Рогнедь. — Тогда я отказала твоим послам, а только что, как ты слышал, прокляла час, когда поступила так... То, что было, прошло, то, что происходит сейчас, — ох, как все это страшно, княже. Однако, говорю, я жду твоего слова, ибо хочу, чтобы нам с тобой было хорошо...

— Нам и будет хорошо! Ты справедливая, смелая, добрая. Я, слышишь, Рогнедь, тоже буду справедливым, хорошим, добрым с тобой...

Он двинулся вперед, все больше приближаясь к ней, охватил руками ее стан.

— Хорошая моя! Чудесная! — вырвалось у него.

— Что я делаю! Боги! — воскликнула она, порывисто вскинула руки и обняла его за шею. Он поцеловал ее раз, и второй, и третий, она отвечала неслесными, какими-то ищущими поцелуями.

Это была, как видно, последняя капля, переполнившая сердце Рогнеды. Владимир сел на ложе, она опустилась перед ним на колени — так повелевал древний обычай — и разула его.

И тогда Владимир склонился к Рогнеде, поднял ее сильными руками, посадил на ложе, долгим поцелуем поблагодарил за муки и страдания.

— Рогнедь — хорошее имя, — властно сказал он, — но я хотел бы называть тебя русским именем — Рогнедой. Позволишь, Рогнеда?

О, любовь — первая в жизни, неповторимая, манящая! Ты словно цветок, распустившийся ночью, свежий, душистый, яркий, содрогающийся от тяжелых капель росы, полный животворных соков, дрожащий в томной надежде и напряжении, отдающий нектар, всю таинственную силу

преlestному мотыльку, труженице-пчеле и целующий теплую щеку, которая склонилась над ним.

У нее было сильное, но нежное и гибкое тело, ее поцелуи напоминали солнечное тепло, ласки были похожи на морские волны; и разве же молодой, мужественный Владимир не походил на нее?

Только на рассвете лодия их любви прекратила свое плавание в море беззаботного счастья. В призрачном свете нового дня Владимир посмотрел на нее усталым, счастливым взглядом. Она поверила — новгородский князь умест быть суровым, но еще больше, должно быть, умеет быть ласковым, страстным, нежным...

— Теперь ты уедешь, княже Владимир? — тихо и очень грустно спросила она.

Положив руку ей на плечо, он долго всматривался в ее лицо, видел голубые глаза, необычайно длинные и словно даже тяжелые ресницы, бледный лоб, темные полосы под глазами.

— Да, Рогнеда, я сейчас уеду. Земля зовет, люди... Впереди тяжкая брань.

— Я знаю, всего дороже тебе брань, Киев, слава... Там ты забудешь меня.

— Нет, не забуду. Слово русского князя твердо и непоколебимо. Еще не зная тебя, я нарек тебя женой, сегодня ночью я стал твоим мужем, так и будет.

Он поцеловал ее в губы, они были уже холодными, потом теплой щекой коснулся ее лба.

Рогнеда задумалась и сказала твердо, решительно:

— Нет, княже, после всего, что случилось, и за одну только ночь ты не мог меня полюбить. Я ждала, всю ночь ждала твоего слова, но ты его не сказал. Что ж, когда будешь уже в Киеве, напиши мне в грамоте, что велит сердце, пришли гонца, чтобы я знала все... А я не забуду этой ночи. Прости еще раз за то, что называла тебя робичичем, — ты истинный князь Руси. А теперь все, княже. Поезжай счастливо! Я буду молиться за тебя так же, как молилась за своего отца и братьев...

— Рогнеда! — воскликнул он. — Я сказал тебе все, что думал.

— Если же ты, — продолжала она грустно, — не полюбишь или же уедешь и забудешь меня, я останусь одинокой и не буду тебя проклинять... Слышишь, мой единственный, любимый! Так, выходит, судили боги...

Она поцеловала его. О, каким искренним и страстным был последний поцелуй Рогнеды!

Князь Владимир вышел из палаты, миновал несколько переходов, где стояли вооруженные воины, и направился в трапезную. Там уже приготовили завтрак, старшая дружина была в сборе. Но никто не садился за стол, все приветствовали князя, и только когда он сел, разместились по лавкам, бряцая мечами.

— Не будем мешкать, дружина! — сказал Владимир. — Путь перед нами дальний.

Они поели досыта, изрядно выпили. Самому Владимиру есть не хотелось, он взял лишь несколько кусочков вяленой конины, запил ее медом.

Настало время время покинуть Полоцк. Князь и воеводы вышли во двор, чтобы сесть на коней, направиться к реке, а там пересечь на лодии и двигаться дальше.

Но им не так-то скоро удалось выехать. Во дворе возле терема, где стояли разбитые возы, валялись пробитые шлемы, сломанные копья, топоры, столпилось много бородастых, одетых в длинные темные платна и высокие сыромятные сапоги людей. Как только князь появился на крыльце, они стали ему низко кланяться, зашумели:

— Выслушай нас, княже Владимир! Не покидай без своего слова!

— Слушаю! — остановился Владимир на ступеньках и подал знак, чтобы кто-нибудь из старших полочаи подошел к нему ближе.

Вперед вышел седобородый мужчина, на лице которого темнел широкий шрам.

— Княже Владимир! — начал он. — Мы собрались тут — полоцкие воеводы и бояре, а множество людей стоят за стенами града, чтобы сказать тебе, как много мы перенесли от свиоиских конунгов, как много зла видели от князя Регволда... Правое дело свершил ты, покарав его. Но доведи, княже, дело до конца. Испокон века были мы с Русью, имели своих русских князей, вели дружбу с Киевом-градом. Просим тебя, княже, прими нас к себе, хотим быть с Русью, множество наших людей желают идти с тобой. А нас не оставляй сиротами, дай своего князя! — Окончив речь, седобородый человек еще раз низко поклонился князю, вслед за ним склонили головы бояре и воеводы, стоявшие во дворе.

— А еще волим, — заговорили уже в дружине самого князя, — сверши суд над головниками, что хотели вчера убить тебя, княже, и нас, вели десницею своей покарать их.

— Добро! Будет так, как просите, — отвечал князь Владимир. — Русь примет к себе Полоцк и всю землю. Когда позднее побываем у вас, поговорим о князе. Сейчас оставляю у вас посадника своего, воеводу новгородского Путятю. Он будет десять по слову моему и вместе с вами стоять будет за Русь.

— Спасибо, княже Владимир! — раздалось вокруг голоса.

— А головников покарай! Сверши суд, княже! — не хотела уgomониться дружина.

Князь Владимир снял шлем с головы, оглядел людей, заполнивших двор, равнину за городом, голубое небо, солнце.

— Много смертей вокруг, — произнес он, — и не хочу их умножать... Пусть будет не смерть, а жизнь, велю я всех головников выпустить, пускай идут и рассказывают о справедливости русских людей. А дочь князя Рогволода Рогнеду, что творила так, как подсказывал ей закон, хотела отомстить за отца и братьев, но не смогла этого сделать, а ныне ночью разула меня, я милую, оставляю в тереме как жену свою и княгиню.

На высокой стене Полоцка, у заборолы, опершись на поручни, стояла и смотрела на освещенную утренними розовыми лучами долину женщина в темном платне — то была Рогнеда.

Она видела, как из ворот города выехала многочисленная дружина, а за нею двинулись полочане, видела, как на берегу воины сели в лодии и поплыли к слиянию рек Полоти и Двины, а полочане стояли и напутственно махали им руками.

Но среди всех этих людей Рогнеда видела только князя Владимира. Он выделялся среди остальных своей одеждой, оружием, но Рогнеде казалось, что он выше всех, красивее, стройнее. Вот он выехал во главе своей дружины за ворота, обернулся и долго смотрел на стены Полоцка, вот двинулся вперед, остановил коня на высокой круче и еще раз посмотрел на город, вот он шагнул в лодию, сел.

Глубокие и сложные чувства волновали душу Рогнеды в эти минуты. Она вспоминала недавнее прошлое, когда в палате отца своего осуждала новгородского князя-трела,

вспоминала бой у стен города и в крепости, когда погибли отец ее и братья, их трупы под черным знаменем в лодии на Двине...

И, наконец, еще одна, прошлая ночь, когда Рогнеда пыталась отомстить князю-трелу, убившему ее отца и братьев, а потом сама пришла к нему в палату, разула, ответила поцелуем на поцелуй, всю ночь принадлежала ему...

— Я его полюбила, полюбила навсегда, — сорвалось с ее уст. — Как же, как это могло случиться? Мой любимый — убийца отца и братьев. Он уехал и никогда больше не вернется. А что ждет меня здесь, в Полоцке, кроме позора? Какую кару должна я принять? Нет, смерть, только смерть. Боги, боги, помогите же мне, примите мою измученную душу.

Высока и крута стена Полоцка, острые камни чернеют внизу, на дне и на склонах глубокого рва. Броситься туда — и конец, оборвутся тяжкие думы, прекратятся невыразимые муки, она уйдет к предкам своим, окажется с ними. Один шаг!

Но полоцкая княжна не сделала этого шага. Она качнулась над пропастью, но тут же замерла, впилась пальцами в забороло, стояла, смотрела.

Рогнеда видела, как русские лодии остановились у полуострова, где воды Полоти сливаются с могучим течением Двины, видела, как там, на высокой круче, воины собрались под голубым знаменем, надувшимся, как парус, под утренним ветром, еще раз увидела на коне Владимира, и ей показалось, — нет, она была уверена в том, что это так, — он махнул ей рукой на прощание.

И это незаметное, неуловимое движение, которого, быть может, и не было, но которое уловила Рогнеда, вызвало еще одну и, должно быть, последнюю бурю в ее душе, заставило ее остановиться, отступить от края крепостной стены.

Палаты Валгалла! О, придет время, и она полетит туда, на пир Одина, присоединится к валькириям, поднесет рог с медом отцу и братьям, погибшим как герои...

Это случится позже, гораздо позже. Зачем Рогнеде думать о смерти и небесах теперь, когда здесь, на земле, так чарующе пахнет весенний воздух, тело еще трепещет от ласк, поцелуев, в ушах звенит голос:

“Прощай, Рогнеда. Я позову тебя из Киева-града...”

— Трел! — еще раз, уже в последний, промолвила Рогнеда. — Нет, князь новгородский, который взял неприступный Полоцк, скоро станет великим князем Руси, не трел...

Рогнеда тоже будет не ти, а жена князя Владимира, великая княгиня Руси...

Рогнеда поступала и рассуждала так же, как отец ее и все далекие предки, которые превыше всего на свете почитали силу, силою добывали власть, но покорялись и становились верными слугами, когда сталкивались с кем-либо, кто был сильнее.

И еще подумала Рогнеда о том, что минувшая ночь не пройдет бесследно, что семя любви, посеянное в эту ночь, даст свой плод, и родит она сына...

Князь Владимир, выезжая из Полоцка, видел, конечно, Рогнеду. В темном платне она четко вырисовывалась на крепостной стене, когда он медленно спускался с дружиной к Полоти; рассмотреть Рогнеду можно было и из лодии, когда под сильными ударами гребцов лодия пересекала зеленоватые воды реки, с полуострова, где Полоть сливается с Двиной. Все это время Владимир видел одинокую Рогнеду на городской стене.

Терзала ли его сердце жалость и тоска по полоцкой княжне, с которой так неожиданно свела его судьба, а теперь разлучала надолго, хотел ли он вернуться и быть с ней, встретить еще и еще одну ночь в этом глухом лесном городе, плыть и плыть в чарах любви?

Нет! Тоска и жалость не мучили в этот утренний весенний час молодого новгородского князя, радость, гордость и счастье переполняли его душу. Окруженный дружиной, подъехал он на ретивом коне к реке, переплыл Полоть, вышел на берег, чтобы осмотреть перед дальней дорогой всадников, собравшихся здесь, и построить лодии.

Полки стояли, ждали его слова. Гребцы на лодиях готовились к дальнему походу, подняли весла. Над ними висело прозрачное до самых глубин голубое небо, по нему катилось, как огненное колесо, теплое манящее солнце; рядом текли и звенели, жемчугом рассыпаясь по крутым берегам, весенние воды Полоти и Двины; на лугах зеленели травы, на них желтыми и голубыми озерками мерцали цветы; где-то закуковала кукушка; в неоглядной высоте зазвенел жаворонок, — как же мог не радоваться и не любоваться миром князь Владимир!

Все это волновало, вдохновляло, тешило его сердце, новый день был совсем не похож на вчерашний: лишь вчера земля здесь гудела под конскими копытами, лилась кровь, умирали люди, судьба Полоцка решала успех всего его де-

ла — великого похода на Киев. И теперь еще перед ним лежал далекий путь, в голубом небе неслись на юг черные вороны. Много, о, как много придется пролить крови русским людям, пока мир и покой снизойдут на землю!

Первая победа всегда окрыляет человека. Одолев князя Регволда и покорив Полоцкую землю, князь Владимир верил в свою победу, был уверен, что поход на Киев завершится счастливо — черные вороны улетели далеко вперед, жаворонки звенели над полками.

А сердце? Что поделаешь, молодому сердцу (да разве только молодому) свойственны порывы и дерзания, молодое сердце — голубь, что ищет себе голубицу; победа и любовь, радость и счастье, утоленные желания и неудержимое стремление вперед — кто не был молод, кто этого не испытал!

Князь Владимир был горд, что покорил своевольную полоцкую княжну, счастлив, что она отдала ему ласки и жар свой, уверен, что полюбит ее со временем, позовет в город Киев.

Вот почему, оставляя древний Полоцк, князь Владимир остановился на круче, поднял руку и послал Рогнеде, все еще продолжавшей стоять на стене, ласковый привет.

И двинулись воины князя Владимира в лодиях по тиховодной Полоти, верхами и пешим порядком через леса и поля, чтобы выйти к городу Смоленску, соединиться с северными воинами, ожидавшими их там, и поплыть дальше по Днепру на сечу с Ярополком. Навстречу им, вверх от Киева по Днепру, шло воинство Ярополка. Гроза нависла над Русью, брат шел на брата, земля на землю.

8

И никто из них не знал того, что именно в это время к украинам Руси, к мирным городам и селам на западе подступает враг, который давно уже отточил свой нож и ждет только случая, чтобы напасть.

— *Drang nach Osten!**

Этот клич угрожал славянским землям уже не впервые. За всем, что творилось на Руси, пристально следили германские императоры, за спиной которых стоял римский папа.

* Поход на восток (нем.).

На юге империи расположены были земли Венгрии, Болгарии, Византии, с которыми императоры Оттон I и сын его Оттон II не раз сражались, но одолеть не могли. Поэтому они все свои силы направляли на восток.

“*Draug nach Osten!*” — то был первый клич, прозвучавший в новообразованной Германской империи, и уже тогда полчища германских рыцарей устремились на восток.

Однако восток оказался не таким податливым и слабым, как предполагали германские императоры. Долго, очень долго пришлось им бороться с Польшей. Трудной была для империи борьба с Чехией, пока им ценой огромных потерь, по колена в крови удалось покорить властителей этих земель... Славяне яростно, не щадя своих сил, боролись за жизнь и свободу.

Вражда между Владимиром и Ярополком, усобица на Русской земле придали сил германским императорам. Но они хотят загребать жар чужими руками: польский князь Мешко I, их покорный слуга, услышав о брани на Руси, велит своим полкам выступать на восток, захватывать русские города и земли.

И в то время как воины князя Владимира сражались у Полоцка с дружиной Регволда и победили ее, в то время как князь Владимир идет на Смоленск и дальше на юг против Ярополка, в это время к Русской земле тайком подбираются враги с запада. Темной ночью остановились они на горных склонах вокруг Перемышля, взобрались на его стены. Свершилась великая сеча, погибло множество людей русских, запылал город и окрестности.

Отсюда вражеское войско двинулось на Червен, окружило его, три дня разрушало и жгло стены, прорвалось, залило город кровью.

Вместе с ним шли епископ Лев и священник Рейнберн — им не повезло в Киеве с крестом, теперь римский папа действовал мечом.

Слух идет по Руси о ссоре князей-братьев, волнуются дальние ее земли; волжские булгары собирают воинов, шлют послов в степи за Итиль-рекой, чтобы найти там орды, которые выходят из глубин Азии, объединиться с ними и двинуться на Русь.

Горе дому, в котором нет согласия и мира, горе земле, на которой враждуют племена, страшно, когда брат поднимает оружие против брата, сын против отца.

Много зла причинил земле Русской князь Ярополк, большие и трудные дела выпали на долю Владимира, сына Святослава.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1



Князь Владимир понимал, что Ярополк не подпустит его к Киеву, а постарается встретить и разбить северную рать в верховьях Днепра. Позднее от купцов, беглых смердов и убогих людей он узнал, что Ярополк действительно собрал немалое воинство, часть людей посадил на лодии, а многие идут конным и пешим строем вдоль берегов. Уже в поле передовая стража находила следы и видела не раз вдалеке воинов; неизвестно было только, где остановится и примет сечу Ярополк.

И вот наконец в один из первых дней изока лета 980-го, на рассвете, примчались воины передовой стражи, соскочили с взмысленных коней, рассказали, что выше Любеча по Днепру и в заливах пешее войско Ярополка прячется в лесах над кручами, а всадники растянулись полукругом в поле.

Князь Владимир спал в лодии, услышал топот коней, проснулся, сошел на берег и выслушал стражу, потом созвал старшую дружину, уселся с ней под вербами и стал обдумывать, как начать сечу с полками Ярополка.

То был очень важный и ответственный час — рать приближалась к рати, решалась судьба Руси, все зависело от того, как вести дальше северных воинов, чтобы разбить полки убийцы-князя.

Князю Владимиру было на кого опереться: вокруг него стояли и сидели на уступах днепровской кручи бывалые, старые воеводы, исходившие русские земли вдоль и поперек, пересекавшие на лодиях моря, разбившие многих и многих врагов.

Владимир ловил на себе прищуренный взгляд то одного, то другого воеводы. Каждый из них умеет и готов сражаться с врагами, каждый поступит так, как велит князь.

Но ему не хотелось торопиться высказывать свои мысли. Лучше послушать, что скажут бывалые люди.

— Вы знаете, воеводы мои, — начал Владимир, — рать Ярополка остановилась и стоит возле Любеча. Хочу послушать, что думаете. Говорите, воеводы.

Вверху над ними трепетала листва на вербах и осокорях; откуда-то с лодий донеслись звуки грустной песни; вокруг, куда ни глянь, голубел широкий Днепр.

Князь Владимир ждал. Он сидел в белых ноговицах и длинной белой сорочке с расстегнутым воротом, подпоясанный широким поясом, в зеленых сафьяновых сапогах, с непокрытой головой. Ветерок с Днепра перебирал русые волосы, карие глаза пытливо смотрели на воевод.

И воеводы заговорили — им понравилось такое начало разговора: князь Владимир не отрицает, что молод, он, должно быть, поступит так, как посоветует старшая дружина.

Одни из воевод считали, что лучше всего конным воинам обойти далеко в поле полки Ярополка, ударить им в спину, а всем пешим воинам продвигаться по Днепру в лодиях и ударить в лоб Ярополковой рати.

Другие советовали задержать лодии на месте, ночью послать часть пешего и конного войска вперед, чтобы приблизиться и ударить, как гром, на воинов Ярополка, а из лодий уметь добывать их.

Третьи думали, что лучше всего оставаться на месте, перегородить Днепр лодиями, насыпать валы на берегах и ждать, когда Ярополк подойдет ближе и первый ударит по ним.

Это было, пожалуй, и все — князю Владимиру оставалось подумать над словами бывалых воевод, выбрать лучшее из того, что они говорили, да и кончать совет, отдать приказ воеводам и воинам.

Но князь не спешил с последним словом, он смотрел на водную гладь Днепра, высокие кручи правого берега, зеленые, подернутые голубым маревом дальние луга.

Потом он обернулся к воеводам, и им показалось, что за эти короткие минуты лицо его изменилось, стало суровым и решительным, глаза потемнели, и говорить он начал не так, как ожидали воеводы.

— Я слушал вас со вниманием, дружина моя, — сказал князь Владимир, — и благодарю за советы. Однако, — обратился он к воеводам, — послать далеко в поле конное войско, а пешим воинам продвигаться вперед на лодиях и ударить в лоб Ярополку не могу, ибо как оторвать руки и

ноги от тела? Ты, воевода, — обратился он к одному из них, — советуешь нам подкрасться ночью к войску Ярополка, но мы же не печенеги и не хазары, чтобы деять, как ты, мы, русские люди, мир утверждаем в честном бою... Еще советовали мне, — добавил Владимир, — встать на месте и ждать тут Ярополка. А можем ли мы верить ему, не обойдет ли он нас, как вы советовали сделать мне, со всех сторон? Нет, воеводы, мы должны деять не так, должны поступить, как поступали отцы и деды наши.

И сам он, как заметили воеводы, был в эту минуту очень похож на отца своего Святослава.

— Я не боюсь Ярополка и его рати, полагаюсь на вас, воеводы, и на воинство мое, думаю, — он обвел рукой округ, — что северяне, древляне, люди Полянской и других земель пойдут также с нами. Мы должны идти вперед открыто и прямо, пеше и конно берегами, на лодиях по Днепру. Хочу еще раз сказать Ярополку: "Иду на вы", а тогда пусть решает прю нашу меч, а помогают боги.

То говорил уже не молодой новгородский князь, устами Владимира вещал отец его Святослав, славные деды и прадеды, русские люди.

2

Ссора между князьями Ярополком и Владимиром не миновала Любеча. Еще зимой, когда укатали путь от Днепра до Десны, посадник Бразд много раз ездил в Остер, советовался с волостелином Кожемой, а возвращаясь обратно, обходил терема, беседовал со своими верными людьми.

Много дела было теперь у Сварга: посадник разрешил ему брать руду на княжьих землях, и он день и ночь варил сталь, ковал мечи, наконечники для стрел, топоры, копья, вилы, а Бразд забирал всю эту кузнь, отвозил в Остер, а кое-что оставлял себе.

Да и у всех людей в Любече прибавилось работы: одни валили лес и возили колоды к Днепру, другие, дереводелы, строили на берегу десятки лодий, — Бразд платил щедро: не свое, княжье.

Весной же, когда растаял лед и вверх по Днепру поплыли лодии из Киева, Бразд собрал всех жителей у старого городища.

Собрались они не так, как в старину, когда все городище сходилось у могил своих отцов и дедов, поминало их добрым словом, а уж потом говорило о насущных делах своих, слушая старшего в роде, думая о судьбе всех.

Ныне вышло иначе: Бразд и другие, у кого были терема и дворы, Сварг и мастера-дереводелы, скудельники, кожевники, работавшие на князя, — все они взобрались на пригорок, а убогие любечане столпились внизу.

— Князь иаш Ярополк идет на сечу с воинами верхних земель, которых ведет робичич Владимир, — начал Бразд.

Сказав это, он сразу же понял, что начал неудачно, — убогие люди, стоявшие под городищем, всколыхнулись, зашумели.

— Какой же он робичич, раз отец его Святослав — Игорев сын и сам посадил его в Новгороде? — спросил кто-то из толпы.

Посадник так налился кровью, что даже посинел.

— Правда, что князь Святослав посадил Ярополка в Кисве, Олега в Деревых, а Владимира в Новгороде, но сталося так, что не все его сыны одинаковы — токмо Ярополк бережет мир и покой в родной земле...

— Посадник Бразд! С кем у нас мир и покой? С печенегам да ромеями? Так ведь деды и отцы наши веками воевали с ними...

— Князь Ярополк мудр! — отвечал Бразд. — Доколе будем ковать мечи, а не рала?! Вот они — земля, леса, реки, — токмо бы мир.

И правда! Вокруг были земля, леса, реки, когда-то они принадлежали их роду, а ныне все это чужое, приаадежит посадику, волостелину, князю. Однако Днепра не повернуть вспять, того, что было, не возватить, лишь бы мир, мир!

— Но ведь сам князь Ярополк не бережет мира, а идет супротив братьев своих!

Бразд был в ярости:

— Как же ему не идти супротив братьев, коли Олег не захотел платить Киеву дани, за что и погиб, Владимир также не принял посадника княжьего, ныне поднял против него все северные земли, идет сюда, на Киев, чтобы захватить стол отца своего.

— Так пусть князь Ярополк идет со своей дружиной на про супротив брата своего Владимира, пусть меч скажет, кому из них в Кисве сидеть, — прозвучало в толпе.

— Кто это говорит? — завопил Бразд. — Почему молчите?

Никто не ответил. Бразд начал говорить:

— Князь Ярополк кличет всех на брань с Владимиром. Как и отцы наши, пойдем на сечу сукупно. Вас, любечан, поведу я, присоединимся к волости Остерской, ее поведет

волостелин Кожема... И не мешкайте, люди, князь Ярополк кличет нас идти ему на помощь поскорее. Как только волостелин Кожема дойдет до Любеча, сразу с ним вместе должны выступить и мы.

О, посадник Бразд говорил теперь не так, как в те дни, когда звал людей на брань князь Святослав. Теперь он был посадником княжым и не только Ярополка, но и сам себя хотел защитить.

А люди молчали. Над ними сияло теплое солнце, за Любечем, куда ни кинь оком, зеленели луга, из земли, словно из воды, буйно вздымались хлеба, на огородах цвели всевозможные овощи... Брани бывали прежде, до них, сколько пролито человеческой крови, чтобы защитить Русь, зачем же опять окроплять кровью родную землю, зачем брату идти на брата?

Но идти приходилось. Плывут и плывут по Днепру лодии из Киева навстречу Владимиру, дошел черед и до них; не пожалеет князь Ярополк любечан, что повелел, то и сделают посадник его Бразд и Кожема, княжьи мужи. Они словно искры огненные, где бы ты ни был — найдут, не покоришься — сожгут.

— Славен князь Ярополк! — закричал Бразд.

— Славен! Славен! — вынуждены были люди поддерживать его.

И пошли они все по своим дворам. Затужили, как водится, матери и жены, заплакали дети, у которых отнимали отцов. О земля Русская, доколе ты будешь сеять не зерна, а слезы, доколе будешь умыться не водой из Днепра, а кровью, доколе будешь ковать не рала, а мечи?! Солнце плывет над землей — почему же не спалишь ты врагов, ветры веют в поле — так повейте же, ударьте в очи врагам! О земля Русская, как ты богата и как ты несчастна!

Где-то в низовьях родился и понесся среди берегов перестук весел, потом на течении Днепра показалось множество лодий: одна стая, вторая, они направлялись со стороны низкого берега к горам налево, им не было конца, а Микула все стоял и стоял на валу городища, смотрел на Днепр.

Не только Микулу встревожил этот шум среди ночи, он увидел, что неподалеку на серой земле чернеет несколько теней, вот кто-то полез по склону, за ним еще и еще.

— Плывут лодии Ярополка. Князь идет на князя... Прежде сечи бывали на Итиле и на Дунае — ныне будет сеча и тут... Ой, горе нам, горе!

Микула узнал говоривших, это были убогие любечане, люди его рода.

— Неладно, что князь идет на князя... Мир и покой должны быть на земле.

— А коли князь идет на князя, пусть ополчаются друг против друга, выходят в поле, да и решают спор поединком.

— Не те ныне времена, теперь что ни князь, то и закон.

— Да что там княжий закон, у земли нашей свой закон и покон.

— Молчите, люди, ныне повсюду есть княжьи уши.

И люди на городище в самом деле притихли, повели дальше беседу вполголоса, осторожно.

— За что же сражается Ярополк, зачем зовет нас с собой?

Несколько человек, перебивая друг друга, задыхаясь, шепчут:

— Заключил постыдный мир с ромеями — нам на шею жажели кладет... Не мстит печенегам за кровь, обиды, слезы, побратимами их назвал, наши земли отдает... Сел в Киве, аки коршун, братьев-князей убивает, волю у земель отобрал, вместе с Горой своей хочет нас сделать рабами...

Слов немного, а горькие они, как полынь, тяжелые, как осенний дождь, ранят нестерпимо.

— Но у нас ведь старый закон и покон, множество людей идет против Ярополка, ромеев, печенегов... — звучит в полутьме глухой голос.

Кто это сказал? Все оборачиваются в ту сторону, откуда донеслись слова, смотрят, слушают.

Микула сидел на выступе кручи, смотрел на Днепр, по которому плыли и плыли лодии.

— Был князь Святослав, и мы знали, куда идем, ради чего, с кем...

— Началось это, Микула, еще при Святославе, это его обступила Гора, он сам посадил трех сынов в землях...

— Так, — вздыхает Микула. — Гора была при Святославе и еще при Ольге, бояре и воеводы были и при них, но допрежде всего Святослав берег честь отчизны, боролся не с землями, а с врагами Руси.

Микула никогда еще не говорил так, как в эту ночь, но, может быть, он и прожил свой век, чтобы сказать это людям.

— Была ночь над Днепром, на острове Хортица, и мы с ним сидели так, как вот с вами. Я спросил, а князь Святослав ответил, что не напрасно в дальних землях умирали люди, мир и покой должны быть на нашей земле. Ярополк не бережет мира. Чего он не может поделить с братом сво-

им?...И не Ярополку должны мы помогать — Владимир наш князь, он бережет старый закон и покон.

— А ты поведешь нас, Микула?

Сын старейшины долго думал. Но теперь он был уже не сыном старейшины: в этот трудный час он должен занять его место, взять дедовский меч.

— Поведу, люди!

— И куда ты идешь, Микула? — говорила Виста. — Добра или богатства ищешь? Так ты ж их уже искал, котомку гречихи принес...

Микула стоял и смотрел на зеленые луга, буйную поросль хлебов за Любечем, на свою ниву, уже начавшую зацветать.

— Как цветет, даже голова кружится, — он приложил руку к шраму на голове. — А что ты думаешь, может, из-за той горсти гречихи стоило мне когда-то идти на брань?! И не добра, не богатства ищу я, есть они у меня, отец Ант оставил мне сокровище, велел беречь его.

— Что за сокровище? Всю жизнь ты твердишь о нем, только не вижу его, где оно, не знаю.

Микула усмехнулся. Такая уж у него привычка: когда он говорил от всего сердца, мягкая усмешка играла в уголках его губ под седыми, длинными усами.

— Правда — вот мое сокровище, — отвечал он Висте. — Хочу жить, как отцы мои и деды... Верю в богов отцовских, будем жить так, как велят наши боги... Перун, Дажьбог, Стрибог, помогите мне. Вот только оружие отца Анта достану.

Убогие люди вышли из Любеча ночью.

— Ты уж и веда нас, Микула, — сказали они. — Ты сын Анта, ходил с князем Святославом, побывал во многих землях, а уж на родной земле все пути знаешь.

И оказалось, что вышли не одни они. Из всех городищ выше Любеча, из разных волостей и сел шли и шли простые люди, они собирались в камышах над озерами, в кустах у отмелей, в лесах, на кручах.

— За Владимира-князя! За старый закон и покон! За родную землю и нашу веру!

Одного, правда, они не знали. Утром, когда по приказу Бразда у городища начали собираться воины, сам он на коне подъехал к ним, осмотрелся, сказал:

— Что-то многих из наших жителей не хватает. Где они? Люди молчали.

Бразд рассвирепел:

— Мы их найдем и поведем с собой... Аще кто прячется от нас, задумал бежать к Владимиру и всем, кто с ними, — всем уготована смерть, поток, разграбление.

3

Поздняя ночь. Где-то в поле быются птичьи крылья, слышно зловещее: “Ка-ар... ка-ар...”, низко над землей нависли тучи, между ними часто пробегают сухие зарницы без грома, пахнет гарью.

Кто отважится в такую ночь схватиться с полем, где стан расползся против стана, где на шаг вперед ничего не видно, где каждую минуту можно наскочить во тьме на копье, меч, нож?!

Два всадника едут все вперед и вперед, иногда останавливаются, тоскливое “пу-у-гу... пу-у-гу...” тревожит воздух, несется к стану Владимира, всадники стоят, прислушиваются, едут все дальше, дальше.

Наконец где-то в темноте зарождается, доносится:

— Пу-у-гу... Пу-у-гу!

Всадники берут направление на этот крик, въезжают на холм, видят огнище перед собой.

— Пу-у-гу! Пу-у-гу!

Князь Владимир не спит. Склонившись в шатре над столом, на котором горит светильник, он, разбирая букву за буквой, читает грамоту, написанную на бересте. Это была странная грамота. В сумерках передовая стража захватила воина из лагеря Ярополка, который, прячась по кустам и оврагам, направлялся вверх по Днепру, все ближе и ближе к стану Владимира.

Стража долго следила за этим воином, окружила со всех сторон. Однако он вовсе и не думал бежать, а наоборот, сказал, что сам искал передовую стражу, пробирается в стан Владимира, несет ему грамоту от одного человека из лагеря князя Ярополка.

Эту-то грамоту и читал поздней ночью князь Владимир, стараясь понять, кто и почему ее написал.

“Ныне, когда настанет полночь, слушай пугача, к тебе с поля прибудет воевода из Киева...”

Уже полночь, стража следит в поле, ждет знака. А может, это заговор? Нет, вот слышен топот коней, всадники

все ближе и ближе, они останавливаются у шатра, слышны приглушенные голоса.

Стража, во главе с тысяцким Векшей, ввела в шатер человека в темном опашне, в платне с золотыми застежками и мечом у широкого пояса, с шлемом на голове, бармицы и личина которого так закрывали лоб, щеки, нос, что видны были только глаза, беспокойные, тревожные.

— Челом бью князю Владимиру, — прохрипел незнакомец.

— Будь здоров. Кто ты такой?

— Я назову себя, когда останусь с тобой с глазу на глаз.

— Выйдите! — приказал Владимир.

Тысяцкий Векша со стражниками вышли из шатра. Тогда незнакомец расстегнул бармицы и поднял личину своего шлема. Князь Владимир увидел лицо костлявого, рыжего, с торчащими скулами и слегка косоватыми темными глазами воеводы.

— Ты — Блюд, вуй Ярополка-князя?

— Так, князь Владимир. У тебя хорошая память. Я был воем Ярополка, когда он был княжичем, ныне я воевода княжий. Ты прочел мою грамоту?

— Прочел, но не понимаю... Что же скажешь, воевода?

Блюд прижал руки к груди.

— Думаю токмо о киевском столе, добра хочу Руси и ее людям...

— Пока что князь Ярополк убил брата своего Олега, обидел меня, второго брата, созвал рать и готовится к брани со мной. А ты его вуй, самый близкий воевода. Не тебя ли он слушался?

— Не я один у князя Ярополка, множество бояр и воевод обступили его, есть еще у него и жена, гречанка Юлия, — это они заставили Ярополка идти против тебя... Я же, князь Владимир, помня отца твоего Святослава, неустанно советую ему не враждовать с тобой, а помириться.

Воевода умолк, его темные глаза пристально всматривались в лицо князя.

— И ныне я, — прошептал Блюд, — не пощадил жизни своей, пришел к тебе, чтобы все сказать.

— А что ты можешь сказать, воевода? — резко спросил его князь. — Завтра я шлю своих послов к Ярополку, скажу еще раз: "Иду на вы", предложу ему мир... Вот и посоветуй князю, чтобы он сложил оружие.

— Я ему это говорил.

— Воеводам, мужам киевским скажи.

— Они не только не послушают меня, но и убьют.

— Тогда пусть честная брань рассудит меня с братом и принесет мир Руси.

— Княже Владимир! — умоляюще произнес Блюд. — Зачем же проливать кровь стольких людей, когда достаточно сделать одно...

Широко раскрытыми глазами Владимир внимательно смотрел на воеводу.

— Что ты задумал?

Блюд выдержал его взгляд.

— Я хочу честно и верно служить тебе, а потому скажу правду... Уже давно на Горе многие воеводы враждуют с Ярополком, замышляют изменить ему. И ныне я видел их, говорил, — одно твоё слово, княже, и к утру Ярополка не станет, и не будет ни сечи, ни крови, а тебя ждет честь и слава...

— Довольно! — крикнул князь Владимир. — Слышишь, воевода?! Я не хочу чести, к которой нужно идти обманно, не любя мне слава, окропленная кровью. Хочешь верно служить Руси — уговори, приведи брата, а мы уж помиримся.

— С великим страхом, — начал Блюд, чувствуя, что в горле у него пересохло, — с мукою за кровь и жизнь людей русских сказал я тебе все это, княже Владимир. Вижу твою правду: не должен брат убивать брата, убить Ярополка — зло. Клянусь, не допущу этого. А если я приведу к тебе Ярополка?

— Даю клятву, аще приведешь ко мне Ярополка, честь тебе воздам великую, приязнь будет меж нами.

— Княже мой, княже! — воскликнул Блюд. — Не ведаю, когда это будет, утро недалеко, и уже поздно остановить сечу, но я уверен, что прозреет брат твой Ярополк и приведу его к тебе для мира и любви. Дозволишь ли мне теперь уйти, княже, ночь коротка, врагов много, я должен еще пожить для тебя и Ярополка, для всех русских людей.

— Ступай, воевода! Мои вои проводят тебя. А придет утро, пошлю к Ярополку послов.

Воевода Блюд завязал бармицы, опустил личину.

Скоро рассвет — высоко на востоке пылает заря, в ее сиянии в поле видно все лучше, дальше.

Два черных всадника, воевода Блюд и рында Згар, медленно движутся от оврага к оврагу, прячутся в зарослях у Днепра, в верболах.

Недалеко уже должен быть и стан Ярополка. Воевода соскикивает с коня, тихо шепчет:

— Мы не заблудились?

— Нет, не заблудились, воевода, — Згар тоже спешил-ся. — Проедем вон туда два поприща, — в темноте видна длинная протянутая рука, — свернем налево и окажемся в нашем стане... Будь спокоен, воевода, Згар видит ночью, как днем.

Воевода молчит, прислушивается и вдруг говорит:

— Мне кажется, я слышу конский топот.

— Нет, воевода, то лодия на Днестре. Я ничего не слышу.

— Мне кажется, я слышу конский топот.

Воевода вытаскивает из ножен свой меч.

— Нет, — спокойно произносит Згар, — у меня ухо чуткое, но я ничего не слышу.

Тогда в одно мгновение воевода заносит меч, срубает голову Згару.

В поле тихо. Воевода Блюд вытирает меч о траву, вкладывает его в ножны, вскакивает в седло, едет дальше.

Добравшись тропинкой, которую ему указал рында Згар, до стана, он останавливает коня у одного из шатров, спешивается, говорит воеводам, стоящим в охране:

— Непокойно там... Я выезжал с рындой Згаром послушать, наскочил на стражу Владимира. Они убили рынду... северные волки бродят возле самого нашего стана...

Послы князя Владимира, как он приказал, верхом доехали до стана Ярополка повыше Любеча, остановились на круче. Оттуда видна была долина, полки, лодии на Днестре, княжеский шатер вдалеке. Они прокричали один раз и второй:

— От князя Владимира мы... Желаем говорить с Ярополком-князем.

Навстречу им выехали несколько воевод, а среди них старший воевода Блюд, спросили, о чем хотят говорить послы.

— Князь Владимир послал нас к князю Ярополку, — ответили послы, — как к брату своему и как брату говорит: "Не должно быть вражды меж нами, брань между русскими людьми — пагуба, хочу утвердить мир и дружбу".

Воеводы киевские выслушали послов Владимира, велели им ждать, сами же помчались к княжескому стану.

Князь Ярополк ждал их, одетый в затканное серебром голубое платно, с красным корзном на плечах, с позолоченным мечом у пояса. Он стоял неподалеку от своего шатра,

вокруг него толпились мужи с Горы, тиуны ратные, тысяцкие.

— Кто это прибыл? — спросил он.

— Послы Владимира.

— Что говорят?

Воеводы, встретившие послов, слово в слово повторили, что сказали послы Владимира, от себя добавили:

— Мы велели им ждать твоего слова.

Князя Ярополка, как видно, поразили слова Владимира. Он стоял бледный у шатра, смотрел на лагерь, на лодии на Днепре, на послов Владимира, которые продолжали сидеть верхом и ждали его слова далеко в поле.

То был час, когда решалась судьба его самого, Киевского стола, всей Руси. Еще не было поздно — если бы Ярополк в эту минуту согласился заключить мир со своим братом, может быть, в веках прогремела бы слава Владимира и его — Ярополка, может быть, множество людей не пролили бы крови, не сложили бы головы, а засеяли землю хлебами. Слова Владимира были так просты, понятны, искренни, что даже у Ярополка содрогнулось сердце. Что-то властно говорило ему: "Не иди на брань, послушайся своего брата". И именно в эту минуту один из воевод, вуй Ярополка Блюд, коснулся его рукава, прищурил глаза, делая знак, что хочет с ним говорить, отвел его в сторону, тихо сказал:

— То есть лжа и обман, не может против тебя выстоять брат твой меньшой Владимир, не может синица против орла брань сотворить. Не бойся, княже, Владимира, сына рабыни, наше воинство достойно встретит его воинов, ждет тебя победа на поле брани.

Князь Ярополк уже не слышит голоса сердца, быстрым шагом возвращается к своему шатру, останавливается, говорит воеводам, которые встретили послов князя Владимира:

— Передайте им, что я не хочу говорить с сыном рабыни.

4

До сих пор на кручах и в песках выше Любеча, на крутом правом берегу, когда отшумят весенние воды, когда из глубин днепровских вынырнут глинистые обрывы и желтые пески, — повсюду там белеют человеческие кости, пробитые черепа, ржавые мечи и копья, сломанные вилы.

Воины князя Ярополка и князя Владимира встретились на высокой круче, которую много позже, словно стараясь

смыть человеческую кровь, прорвала, разрыла, размыва вода. Там, на Старике, как называли это место люди, ныне голубеют озера, растет осока, одинокие чайки тоскуют над водой и прибрежными зарослями.

То была лютая, кровавая сеча, ибо тут скопились все лодии Ярополка, сюда же прибыло множество войска пешего и конного из Киева и всех земель, — князь Ярополк понимал, что если он не остановит северное войско у Любеча, оно быстро растечется по Днепру, перебросится на Десну — и тогда ему трудно придется в Киеве.

Сеча началась поприщ за десять от Любеча, в самом узком месте Днепра. Князь Ярополк велел поставить на якоря и связать вместе веревками и лыком больше пятисот лодий, — так образовался на Днепре заслон, сквозь который, казалось, не могли прорваться лодии Владимира.

Ярополк придумал еще одно: он велел перекинуть с лодии на лодию доски, и на Днепре образовался мост, по которому воины могли переходить с берега на берег.

А тем временем на берегу рать встала против рати: впереди, щит к щиту, выставив вперед щетину копий, бывалые бородатые воины, готовые принять первый удар, за ними прашники и лучники, они должны были выпустить в голубой воздух перед собой тысячи стрел и острые камни, дальше воины с короткими вилами и мечами, сзади всех тьма вооруженных мечами, топорами, деревянными молотами с привязанными к ним камнями или железными крюками на концах и просто дубинами из дуба и граба убогих людей, воинов.

Было у Ярополка в запасе и конное войско, — оно ожидало в оврагах у Днепра, в поле, в лесах и рощах, готовое лететь вперед, как только понадобится.

И еще раз, когда обе рати остановились, выехали вперед с рогами кликуны князя Владимира, предлагали русским людям-братьям бросить оружие... Никто из стана Ярополка им не ответил, вместо этого лучники и прашники выпустили первую тучу стрел и камней, тысяцкие и воеводы приказали воинам идти вперед.

Люди эти хотели жить, еще вчера, быть может, шли они за ралом в поле, — и вот под их ногами загорелась земля, на небосклоне поднялись черные тучи, безжалостный князь и еще более безжалостные старшины велели им идти вперед, уничтожать других, ибо только там, говорили они, за человеческими трупами, лежали мирная жизнь их самих и их семей.

А стрелы и камни летели уже с обеих сторон, вот двинулись вперед, как гигантская змея, воины Ярополка, вот столкнулись они с войском Владимира: глухо гудели щиты, кричали умирающие, звенели конья и вилы, свистели молоты, дубины.

Много раз сходились и расходились воины, рати то отступали, то стремительно бросались вперед, земля была усеяна трупами, залита кровью... Одновременно бой шел и в поле, туда вырвались из лесов всадники.

Ярополк и его старшины ошиблись: их всадников ждали в лесах всадники Владимира, они приняли бой и сами ударили на врага. Теперь кипели и берега и поле, нигде не было спасения...

И даже на Днепре уже загорелся бой: на этот раз начали его свионы, их лойвы и шнеки медленно подплыли к лодиям Ярополка, вот они приблизились, на борта высыпали закованные в броню воины, алая кровь залила лодии, струилась в голубую воду...

Варяги не смогли прорвать мост на Днепре, северные полки исходили кровью, а воины Ярополка прятались за валами, насыпанными заранее, к ним все подходила и подходила подмога.

Уже вечерело, когда рать Ярополка с неистовым криком рванулась вперед. Напрягая все силы, обливаясь кровью, сдерживали удар и стояли на месте воины Владимира. Казалось, еще одна минута — и смелые ратники верхних земель обратятся в бегство...

Внезапно позади Ярополковых полков раздались крики воинов, в спину им ударила какая-то неведомая сила, из лесов и зарослей по обоим берегам вырвались толпы людей, многие из них бросились в воды Днепра и поплыли к лодиям.

— Что случилось? — пересохшими губами спросил князь Ярополк, стоявший со своей старшей дружиной на круче.

— Проклятье! — завопил Блюд. — Нам ударили в спину. Что творится?! Княже! Нам нужно думать, как пробиться в Киев.

В вечерний час, когда у воинов Владимира не хватало уже сил, когда начали одолевать и могли одолеть их воины Ярополка, множество людей из Любеча, всей Остерской волости и других волостей бросились с мечами, луками и про-

сто кольями в спину Ярополку. Спереди этих людей был и Микула.

Сперва Микула не узнал Бразда, как не узнал и Бразд его. Но вот воины встали друг против друга.

— Вы за кого? — громко крикнул Микула.

— Ярополковы мы! — ответил Бразд и тут узнал Микулу.

— А мы за Владимира, за старый закон и покон! — заревел Микула, тоже узнав Бразда.

И брат пошел против брата, простые люди из Любеча — против княжьих людей, но Микула ничего не боялся, а у Бразда была неуверенная, слабая рука. И Микула скоро угодил Бразду в голову. Простые люди одолели княжьих людей и по их костям пошли дальше, дальше, против самого Ярополка-князя.

Как ликовала душа Микулы, как радовался он, когда увидел, что на Днепре пылают лодии Ярополка, а воины его бегут, удирают в поле... Победа была так близко, она, наверное, пришла, уже, должно быть, князь Владимир плывет по Днепру в Любеч, чтобы двинуться на Киев.

Но Микула этого не видел — копье какого-то воина пришло по старому шраму на лбу, он потерял память, свалился, как мертвец, на поле.

Но Микула был сильного, антовского рода, тело его выдержало. Поздней ночью он пришел в себя и сел на песке, недалеко от берега Днепра.

Ночь была холодная, земля влажная, вверху висели крупные звезды, они отражались в воде. Где-то в поле горел костер, невдалеке, бряцая оружием, расхаживали воины. Чьи они были, Владимира или Ярополка, Микула не знал.

И он пополз: если победу одержал Владимир, он узнает об этом позже, если же утром на берегах Днепра начнется новая сеча, он будет тут лишним, потому что не может даже ходить.

Микула полз вдоль днепровского берега, часто останавливался, отдыхал, глотал воду, снова полз, порой ложился, закрывал глаза, некоторое время лежал, потом пробирался дальше.

Утро застало его возле Любеча. Пошатываясь на непослушных ногах, хватаясь руками за лозняк, вылез Микула на кручу, прополз песками, добрался до своей нивы, до родной гречихи.

О, какая то была чудесная гречиха, как сладко она пахла, как тихо, заманчиво гудели пчелы, а где-то в вышине висел и лил на землю свою песню труженик-жаворонок.

Нужно было спешить, пока не проснулся Любеч, к своему дворищу, в отцовскую хижину, к очагу предков. Если

уж умирать, так только там — да нет, он будет жить, должен жить наперекор врагам, во славу Владимира.

И он дополз до родного дворища, лег у ступенек, ведущих в хижину.

— Виста! Виста! — позвал Микула.

В хижине никто не отзывался.

— Виста! Жена! Иди сюда, я немощен, не влезу.

Снова молчание.

Тогда Микула, опираясь на руки, пополз со ступеньки на ступеньку, волоча за собой ноги, такие непослушные, тяжелые.

Наконец он очутился перед дверью, обеими руками толкнул ее, напрягая последние силы, перебрался через порог.

В хижине давно уже истлели угли в очаге, там было холодно, в углах и на помосте таилась темнота. Через распахнутую дверь волнами хлынул со двора свет. Микула увидел ведра, стоявшие сразу за порогом, старое оружие, висевшее на колышках, вытертый до блеска множеством ног каменный пол.

— Боги! — крикнул он. — Что это?

На полу, головой к дверям, широко раскинув руки, лежала окровавленная, изрубленная мечами мертвая жена его Виста.

Идя по пятам за ратью Ярополка, князь Владимир велел воинам на лодиях поспешать в Киев, а сам с дружиной двинулся на коне берегом Днепра и вскоре оказался в Любече.

Тут он разрешил дружине остановиться, сам сошел с коня, чтобы отдохнуть.

Воеводы советовали ему пойти в один из теремов, высившихся в лесу, но до них было далеко, и Владимир направился в старое городище.

Так попал он во двор, где стояла хижина Микулы. Гридни его хотели бежать вперед, но князь подал знак, что хочет войти туда сам, воеводы и гридни пошли за ним.

Дверь была открыта. Пройдя по нескольким каменным ступенькам, которые в середине вытерлись за долгие годы, а по бокам поросли травой и бурьяном, князь Владимир вошел в хижину.

Там, посередине, в яме, выложенной камнями, был очаг, над ним темнел своим жерлом, похожим на ухо ка-

кого-то животного, что притаилось и прислушивается, дымоход, сплетенный из ивовых прутьев и обмазанный глиной. Виднелись темные стены, на которых висело на колышках оружие — меч, щит, копье, да еще помост в углу.

Князь Владимир, переступив через порог, осмотрел хижину, очаг, стены и оружие, помост, и если бы кто-нибудь мог в эту минуту видеть его лицо, то заметил бы, что на нем отразилось какое-то необычайное изумление, сильное любопытство и еще что-то, похожее на радость.

Может, князь Владимир простыл на ветру, а в хижине было тихо, может, после длинного, шумного, яростного боя его поразила тишина в этом уголке? Сам князь Владимир не знал, что с ним, не понимал, почему остановился и стоит у порога, но не мог сдвинуться с места: странное, непонятное чувство охватило его.

— Кто там? — прозвучал внезапно в хижине голос.

Вздвогнувшись, словно очнувшись от видений, князь Владимир посмотрел на остывший очаг и увидел за ним лицо старого седого человека, удивленные, словно испуганные глаза, прикованные к нему.

— Владимир, сын Святослава, — ответил князь.

И еще увидел князь Владимир, как вдруг старик, лежащий на соломе за очагом, поднимается, встает, страшно бледный, с глубокой раной на лбу, босой, в белых ноговицах и белой сорочке, смотрит воспаленными, блестящими глазами на князя Владимира, и несколько крупных слез выступают на его глазах, быстро текут по щекам и, как единственная и последняя жертва, какую он еще мог принести, падают на очаг его предков.

— Такой же, как и отец твой Святослав! Люб ты мне, князь Владимир!.. Кланяюсь тебе! — произнес Микула.

— Но кто ты еси? — громко спросил князь Владимир. — И почему ты весь в крови, раненый?

— Я Микула, сын Анта, внук старейшины Воика и сам старейшина по слову моего отца, — отвечал старик. — Только ныне уж старейшин нет, Ярополк нарушил старый закон и покон, меня ранили его воины, когда мы их преследовали, чтобы помочь тебе, Владимир-княже. Но теперь мне не больно, не бойся, не бойся меня, княже.

Он и в самом деле не чувствовал боли, у него прибыло сил, он твердо стоял на ногах.

— А отца твоего, князя Святослава, я знаю, помню, — говорил Микула. — Мы с ним вместе восвали, на самом Дунае были... Ромеи, о, они и доселе, должно быть, помнят наши мечи! На острове Хортица мы с твоим отцом в последнюю ночь беседовали, и умер он на моих глазах...

Микула умолк, потому что ему было трудно дышать, у него подкашивались ноги, но он хотел выстоять и сказать все, о чем думал.

— Потому-то я и против Ярополка пошел... Ты, княже, слышишь наше слово, мы с тобой, против Ярополка. Вот только горе у меня, жены не стало, Висты, убили ее люди Ярополка...

Князь Владимир посмотрел туда, куда был направлен взгляд Микулы, и увидел у стены тело мертвой женщины, посаженной по обычаю лицом к порогу.

— Я похороню ее, — сдерживая слезы, говорил Микула, — до захода солнца, чтобы душа ее еще засветло попала на Перуновы луга... А сам? Что у меня осталось? Нет жены, дочь моя Малуша...

Он не договорил, умолк, схватился вдруг за сердце.

— Малуша! — крикнул князь. — Обожди, человек, поживи, поживи еще, Микула! Что за дочь у тебя Малуша, где она?

Микула не ответил Владимиру. Казалось, он хотел что-то сказать, но не мог, кровь сразу отхлынула от его лица, глаза устремились за дверь, на Днепри и луга... Вытянув вперед руки, он пошатнулся, рухнул на пол, замер.

Князь Владимир молчал. В хижине настала невероятная тишина, стало холодно, пусто, как бывает, если человек внезапно теряет самое дорогое.

В тишине князь Владимир шагнул вперед, остановился над умершим, снял со своей шеи золотую гривну и положил ее на грудь Микулы.

— Мужик мой! — обратился он к старшине и гридням, вошедшим в хижину. — Вот лежит воин Микула, сын старейшины Анта, а вот жена его Виста. Мы похороним их тут за городищем, где лежат наши предки, по старому покону, его, как вонна и старейшину, с мечом, щитом и золотой гривной.

Там, в белых песках под Любечем, лежат поныне кости вонна Микулы, рядом с ним меч и щит, в ногах верная жена, что носила в мире имя Висты... Вечная им память!



се быстрее бежал после любечского побоища в Киев князь Ярополк с дружиной. По обоим берегам и в поле шли его пешие полки. Лодии с воинством, которых все время настигали варяги, нанося им большой урон, днем и ночью неслись по Днепру, конное войско прикрывало тыл.

Воеводы советовали Ярополку остановить свое воинство, принять бой сначала в устье Припяти, потом — Тетерева, наконец, возле Вышгорода, но он, раздраженный, сердитый, поглядывая на голые песчаные отмели, прибрежный лозняк, лодии, плывущие по Днепру, велел войску отступать все дальше и дальше, сам мчался на коне впереди старшей дружины.

Рядом с князем все время скакал воевода Блюд.

— Воевода мой! — говорил Ярополк, когда они, отстав от дружины, медленно ехали зеленым лугом вдоль берега Днепра. — Скажи мне, почему и как случилось все под Любечем? Мы собрали лучших воинов земель, их вели самые опытные воеводы, победа должна была быть на нашей стороне, мы побеждали, полки Владимира уже дрогнули, близок был и конец сечи. Я, только я должен был победить.

— Сын рабыни вельми хитер, — остановив коня, отвечал Блюд. — Он ведет за собой языческую полунощную силу, она стоит за старый закон, ему, робиичу, помогают смерды...

— Послушай, воевода! Но ведь смерды суть повсюду... Я боюсь уже и за Киев...

— О нет, княже, — возражал Блюд. — За Киев беспокоить не приходится. Против Владимира встанет вся Гора, Подол и Оболонь нам тоже помогут. Уверен я, что на помощь нам идут уже и печенеги, а княгиня Юлия, надеюсь, не напрасно сидит в Киеве — нам должны помочь и, без сомнения, помогут императоры ромеев.

— И то правда, — соглашается Ярополк. — Сидеть на одном столе, находиться под рукой Владимира вовек не буду. Скорей же в Киев, воевода, встанем там, отобьем набег с полунощи. А когда одолею Владимира, о, тогда я наведу по-

рядок по всей земле, я покажу робичичам старый закон и покон...

Свирепый, разъяренный князь Ярополк бьет коня, вместе с воеводой мчится все дальше и дальше.

К вечеру третьего дня князь Ярополк со старшей дружиной доскакал до Киева и остановился на опушке леса у Щекавицы.

В этот предвечерний час здесь, на Щекавице, было необычайно тихо, изредка только в лесу перекликались удода и кукушки, тишина великая стояла по всей широкой долине, на Подоле и Оболони, где, куда ни кинь глазом, рассыпались хижины и землянки смердов.

Над Подолом высилась твердыня киевских князей — Гора, с черной деревянной стеной, кленами, взлетавшими к темно-синему небу, крышами теремов, сиявшими в лучах вечернего солнца, — там тоже было тихо.

С каждым часом все больше приближались войска Ярополка. За ними поспешали воины князя Владимира. Тут, на подступах к городу, они остановятся, тут скоро започнут тоскливо стрелы, зазвонят мечи, раздастся стук щитов, тут будет жестокая сеча, реками потечет кровь...

Должно быть, поэтому побледнело лицо князя Ярополка, тревожно забилося сердце в груди, рука сжала и туго натянула конский повод...

— Вот здесь, княже, — шепчет воевода Блюд, удерживая своего коня рядом с Ярополком, — нужно остановиться... Город Киев готов к брани, наши воины опрокинут полки Владимировы...

Князь Ярополк поворачивает лицо к воеводе, который пристально смотрит на него косоватыми темными глазами... Это, видать, те слова, которых ждал князь, а потому лицо его розовеет, на губах появляется усмешка.

— Тут становиться! — приказывает он.

Хлестнув коней, князь и Блюд спускаются на Подол, осматривают рвы, валы, частоколы.

Воеводы Ярополка хорошо подготовились к сече с войсками князя Владимира в Киеве. С самой ранней весны тууны, ябедники и мечники с Горы каждым утром гнали робых людей с Подола и Оболони к Глубочицкому ручью, на его берегах они копали глубокие рвы, насыпали два высоких

вала: верхний на правом берегу ручья, нижний — вдоль левого, до самой Оболони.

Вместе с робьими людьми работали и мостники, древоделы, кузнецы: они густо забивали на валах колья, плели заграждения из лозы, закапывали в землю бороны зубьями вверх, рыли и прикрывали ветвями ямы-костоломки.

Стиснув зубы, с утра до поздней ночи гнули спины эти люди — Киев знавал набеги разных орд, вторжение многих захватчиков, но никогда еще не бывало, чтобы русские люди шли против таких же русских людей.

Но они не могли разговаривать: за ними наблюдали княжьи мужи, то тут, то там появлялись воеводы; киевляне молча рыли, продолжали насыпать землю.

По тем временам то была надежная преграда для самого лучшего воинства: валы тянулись не только по Глубочице, но и по склонам Щекавицы до Воздыхальницы, вдоль дороги с Подола до самых стен Горы.

Не только валами загородился князь Ярополк с севера: на верхнем валу Глубочицы были выкопаны землянки, канавы, рвы, в которых могли прятаться его пращники, лучники и все остальные воины.

И теперь, когда князь Ярополк со своей старшей дружиной ехал по дороге в Киев, воины столпились на валах и даже высовывались из канав и рвов; они смотрели на всадников, которые, вздымая желтую пыль, летели к Горе.

Княгиня Юлия видела, как Ярополк со старшей дружиной примчался на Гору, соскочил с коня, переступил порог терема.

Он не зашел сразу, как делал обычно, к ней. Юлия знала почему, — воевода Блюд, которого она настигла в переходах, рассказал ей о неудачной сече под Любечем, об отступлении воинства Ярополка. Рать Владимира стоит уже недалеко от Киева, князь Ярополк советуется со старшей дружиной, как их остановить, к терему подъезжают гонцы, поворачивают назад, исчезают у Боричева взвоза.

Но княгиня знает, что Ярополк придет. Она убрала в светлице, зажгла свечи. Их желтый свет заливает стол, накрытый к ужину, корчагу с вином, кубки.

Была уже поздняя ночь, когда Ярополк вошел к ней.

— Я тебя давно жду, любимый...

— Мне нужно было посоветоваться со старшинами, как быть дальше, что делать. Впрочем, ты ничего не знаешь.

— Напротив, я все знаю. Мне рассказали твои воеводы. Но ведь это не конец! Что Любеч! Киев — здесь, под его стенами, ты должен разбить сына рабыни. Я слыхала, что никто и никогда еще не брал этого города. Но почему ты стоишь, иди сюда, к столу, дорогой мой, выпей вина, вот твоё любимое, греческое...

Взяв Ярополка под руку, княгиня Юлия ведет его к столу, усаживает, сама садится рядом, наполняет кубки. Он жадно осушает один кубок, второй... Княгиня Юлия тоже пьет вино, только маленькими глоточками, медленно.

— Ты победишь, непременно победишь робичича.

Юлия прекрасна в этот ночной час, трепетный свет освещает ее лицо, князь Ярополк видит ее темные волосы, высокий лоб, тонкий нос, губы, глаза.

Но он не может забыть того, что произошло, ужасы битвы под Любечем еще стоят перед его глазами, страх перед грядущим терзает душу.

— Юлия, — спрашивает он, — почему нет никаких вестей из Константинополя? Может, надо отправить новых послов? Ведь, когда ты приехала в Киев, послы императора обещали мне все.

Ярополк слегка опьянел, вино туманит его голову, но именно поэтому он смотрит на нее испытующе и остро, в его словах слышатся недоверие, угроза.

Юлия несколько мгновений молчит: она достоверно знает, что помощи из Византии Ярополку ждать нечего... Но говорить ему об этом нельзя — князь, проигравший сечу под Любечем, проиграет тогда все. Впрочем, Юлия не верит, что все потеряно; она хорошо знает воевод, бояр: не за князя борются они, а за самих себя, это страшные люди, такие же, как константинопольские патрикии, сенаторы.

— Мой княже! — шепчет она. — У тебя хватит сил, чтобы победить Владимира. Я говорила с твоими боярами и воеводами, в их руках большая сила, с ними ты победишь. Уверена я, что скоро возвратятся твои послы из Византии и печенеги дадут помощь.

Он наклоняется, обнимает ее стан, в его руках содрогается, трепещет нежное тело.

Княгиня Юлия сама гасит свечи. На прохладной простыне так вольготно уставшему в походе телу. А рядом — тепло щек, горячие губы.

В палате тихо. Тишина по всей Горе. В эту ночь городская стража не бьет в била, она пристально смотрит на огни, горящие вдалеке у Вышгорода и на Черторое.

Каждый человек за свою долгую жизнь узнает увлечение и разочарование, горе и утешение, любовь и ненависть, несчастье и счастье — такова жизнь, таков человек.

Гридю Туру суждено было познать в жизни только одно — горе. В раннем детстве остался он сиротой и пошел искать счастья в город Киев, где и стал служить отроком в княжесей дружине. Двадцать лет был гриднем у князя, не имел за это ни благодарности, ни доброго слова. Наконец выгнали его ярополковцы из дружины, и остался он, аки пес, голодный и убогий, не имея своего уголка на земле.

Впрочем, гридю Туру суждена была любовь — такая глубокая, какой, должно быть, никто не испытал, но и несчастная, горькая, как ни у кого на свете.

Он полюбил ее — робкую, простую, бедную уютку, в тот день, когда увидел впервые, и, видать, потому, что сам был бедным, простым и еще более робким, — не сказал ей об этом.

А позднее Тур уже ничего не мог сказать уютке: на его глазах зародилась и расцвела любовь Малуши и княжича Святослава, а он, бедный гридень Святослава, ужаснулся, отступил, думал даже, что ему и жить не стоит.

Оказалось, что жить ему было нужно, потому что любовь Малуши принесла ей только горе, а княжичу Святославу несчастье — княгиня Ольга выгнала ее непраздную в далекий Будутин, ни у Святослава, ни у нее не было даже надежды свидеться... Как же мог гридень Тур уйти со своим горем из жизни, когда такое же горе, а может, и более страшное, было у Малуши, его любимой?!

Так он и жил дальше, — любовь оставила незаживающую рану в его сердце, и в нем родилось желание спасти Малушу, помочь ей во что бы то ни стало. И он спасал, помогал ей, вместе с Добрыней отвез в Будутин, узнавал у Добрыни, как она там живет, знал, когда Малуша родила сына Владимира, видел ее дитя на Горе и любовался им; узнав, что князь Святослав посылает Добрыню искать Малушу, поехал с ним до самой Роси, в Будутин, но только они не нашли ее там — умерла, должно быть, Малуша.

Именно поэтому решился тогда Тур на один шаг, немила ему стала княжеская дружина, у него ничего уже не оставалось на свете... И он, часто встречая на Подоле христиан, задумался над тем, что они говорили: у человека нет и не может быть счастья на земле, счастье может прийти только после смерти. Счастье после смерти, рай небесный, где не будет ни богатых, ни бедных, — все это впервые согрело измученную душу человека, у которого ничего и никогда в

жизни не было. И гридень Тур пошел и принял крещение в церкви над Почайной.

Облегчило ли это душу Тура? Кто знает, он и сам, должно быть, не смог бы ответить на этот вопрос. В иные часы, слушая пламенные слова священника, погружаясь в пение молитв, отбивая поклоны тому, которого он не знал, но которому хотел верить, Тур забывал о своем горе, о мирской суете сует.

Как же он обрадовался, когда туда вскоре пришла и Малуша, — значит, и у нее ничего не осталось в жизни, раз она попала сюда, в церковь над Почайной! Так сплелись две разбитые судьбы, все утратившие на земле и уповавшие только на небо.

Но пока Тур был жив, он продолжал любить Малушу, и не только ее — он любил князя Святослава, а когда думал о сыне Святослава и Малуши Владимире, Туру, который уже поспедел и сторбился, казалось, что это словно его сын...

А думать о Владимире приходилось все больше и больше. Встречаясь в церкви над Почайной либо где-нибудь на работе, они редко говорили о Владимире и Святославе — то была глубокая и наболевшая рана обоих сердец.

На Горе, в дружине, особенно же на Подоле, в Оболони, в городах и селах, где часто вместе с другими гриднями бывал Тур, он видел, как люди ненавидят Ярополка, часто слышал добрые слова о князе Владимире, которого люди называли сыном рабыни, только не знали, кто его мать и где она.

Тур радовался, слыша такие слова, — нет, не напрасно жила милая его сердцу Малуша. Он гордился, что в великом своем горе нашел силы поддержать ее, гордился, что один на всем свете знает и хранит ее тайну, великую тайну Русской земли.

Когда же Тур узнал, что Ярополк убил своего брата Олега, потом стал собирать новую дружину, а отцовских гридней выгнал с Горы, то понял, какое зло тот замыслил.

Он рассказал об этом Малуше в ту ночь, когда она разговаривала со своим отцом Микулой, и видел, какая ненависть к Ярополку засверкала в ее глазах, как задрожала она всем телом. С этой минуты он возненавидел Ярополка вместе с нею. Но что мог сделать бывший гридень, у которого отняли даже меч и щит, могущественному князю?

Однако выходило, что человек с поля, ненависть которого закалена любовью, может сделать очень много. Тур был не одинок.

В городе Киеве множество людей ненавидело князя Ярополка так же, как гридень Тур. Человек с поля, не знавший,

где провести ближайшую ночь, он ходил теперь по Подолу, по Оболони — там поможет срубить дерево, там поработает у какого-нибудь скудельника, там помнет кожу за кусок хлеба, за скудный ночлег.

И во время этих странствий Тур узнал много такого, о чем даже не мог и думать, когда был в княжьей дружине, имея каждый день борщ, кашу, кус мяса да еще и жбан меда.

Темная ночь. На Подоле и Оболони не видно ни огонька, на сером небе высится черная, похожая на каменную скалу Гора, все в Киеве спит, отдыхает, только где-то вдалеке, у Вышгорода, горят огни — там стоит со своими воинами князь Владимир. На эти огни смотрят Тур и еще несколько человек, что сидят у хижин на Подоле.

— Уже Ярополк со своими боярами наложили жажели на выи наши великую пагубу и гнесь нам творят. Мрем от глада, не токмо говядины, давленины не видим, рубища носим на чересах, на пепле спим, яригой укрываемся, — говорит человек с глубоко запавшими глазами, скулы его напоминают высохшие кости, руки похожи на узловатые корни.

Тур знает этого человека: это Давило, убогий смерд, жил он много лет за Горой в хижине, имел там клочок земли, тяжело трудился, кормил жену и детей.

Ныне воины Ярополка снесли его хижину, на земле Давилы выкопали ров. Вот и пошел он с женой и детьми на Подол, вырыл землянку на склоне у Днепра — задушный человек.

Из темноты доносится другой, хриплый голос, то и дело прерывающийся от сухого кашля:

— И что уж они сотворили? Подойдешь к реке — остановят: давай побережное, перевезут через реку — возьмут перевозное, дойдешь до города — остановят у заставы, перейдешь мост — берут мостовщину, впустят в ворота — возьмут мыто, на Гору — возьмут явленное, на весы положат — померное...

— Разбойник грабит крадучись, а они хвалятся своей татьбой, умножают и умножают скотницы, силой все у нас отбирают...

Догорают огнища в стане князя Владимира. Низко под небосклоном висит, но уже скоро спрячется за тучу вечернее солнце. Где-то далеко за левым берегом в поле прорезы-

вают небо слепящие зарницы. Вверху переливается, мерцает Волосинь.

У стены хижины тихо. Люди говорят шепотом — может, где-нибудь близко стоит в темноте тиун, ябедник, а то и наушник княжий.

— И уж добра нам от Ярополка не ждать, — говорит все тот же Давило. — Зла Гора, а он еще злее, с Владимиром, видать, нам лучше будет, наш это князь.

— Почему же наш? — вырывается у Тура.

— Уж кто-кто, а ты, как гридень, должен знать... — насмешливо говорит Давило.

— Был гриднем, а ныне человек с поля, — тоже насмешливо отвечает Тур. — Не нужен я Ярополку.

— Вот и хорошо, Тур... — говорит Давило. — Князь Владимир родился не от какой-то угорской княжны, а от простой русской унотки.

— От какой? Где же она? — Горло у Тура сразу пересыхает.

— Вот этого, человеке, я и не знаю. Что была она, ведомо, что от нее князь родился — и то правда, но где она, ни я и никто не знает... А может, и не нужно нам знать, пускай живет в поле, пока не придет сюда ее сын.

Глядя на солнце, которое в эту минуту погружается в тучу, разливая вокруг золотое сияние, Давило говорит:

— Болит мое сердце, страдает душа за землю Русскую... Жестокостью, лжой, а наипаче татьбой правды никогда не сотворить. За все Ярополка и бояр его постигнет суд, горе пришло на землю нашу и в Киев, но мы кровью смоем кровь, будем охранять закон отцов наших, беречь будем Русь...

Люди молчат. Темно. Где-то неподалеку кто-то закашлялся. В глухом переулке лают собаки. Все умолкло, но люди не спят, они не хотят умирать, советуются, действуют, — берегитесь, люди, враг ходит рядом, он притаился на Горе!

И вот все расходятся, возле хижины остаются только Давило и Тур.

— Не знал я, что тебя прогнали из Ярополковой дружины, — шепчет Давило, — давно бы уже поговорил с тобой. И ты, выходит, такой же, как и мы...

— А вы кто?

— Такие, как и ты, задушные люди.

— Говори со мной открыто. — Тур ловит в темноте узловатую руку Давилы. — Я ненавижу, слышишь, Давило, не-

навижу Гору, Ярополка, они у меня все, даже жизнь, отняли.

— Тогда пойдем! — поднимается Давило. — Вон там мы соберемся сейчас, — он указывает рукой в темноту, — там, на кручах. Пойдем, Тур!

3

Воины верхних земель продвигались к Киеву, растянувшись полукругом от Остра до самого Белгорода. Порой на них нападали Ярополковы дружины, но они уже не сражались открыто, как под Любечем, избегали встреч в чистом поле, прятались в лесах и налетали темными ночами, стараясь ударить по воинам Владимира сзади.

Но ничто не могло удержать воинство князя Владимира, оно растекалось вокруг над Днепром и Десной, как весенние воды. Пал Остер, Вышгород, Белгород, передовые отряды уже видели Киев, за ними шли и шли полки.

Князь Владимир велит поставить свой шатер на горе за Щекавицей, а полкам остановиться между Дорогожичами и Оболонью. День и второй Владимир старается пробить копьями валы на Глубочице, его воины спускаются с нижнего вала в овраг, где пенится ручей, переходят его, взбираются на верхний вал, рубят колья, уничтожают воинов Ярополка.

Это страшные дни, ибо, когда начинается сеча и воины сходятся грудь с грудью, кровь течет по земле, стекает в Ситомлю и Глубочицу, вливается в Почайну.

Это страшные дни, ибо Ярополк, не надеясь на дружину, поднимает земское войско, князьи гридни гонят с Подола, из предградья, с Оболони всех мужей — стариков, молодых и совсем юных — на валы, во рвы, на верную смерть.

А на самой Горе день и ночь подняты мосты, заперты ворота. Если кто-нибудь приезжает на Гору, стража долго смотрит с высоких башен и через бойницы в стенах и только после этого опускает мосты, открывает ворота. Если кто-нибудь выходит с Горы, за ним сразу запираются ворота.

Гора шумит, гудит, как раздраженный улей, сюда съехались не только киевские, но из многих земель и городов волостелины, посадники, воеводы, тиуны, мужи лучшие и нарочитые. Гора напоминает большой лагерь: повсюду стоят нагруженные всяческим добром возы, ржут кони, режут воны, суетятся смерды, кормят и поят скот, а по ночам стегут добро. Особенно тяжело на Горе по ночам. Ворота за-

перты, мосты подняты, стража стоит на стенах, вглядывается в темноту, но каждому чудится, что там, внизу, поднимается и нарастает шум. Может, коварный враг уже ползет на городницу? Кто там крикнул у Перевесищанских ворот? Почему скрипят жеравцы на воротах с Подола? Князь Ярополк тоже не спит. Он беспокойно ходит в темноте — то посидит в Золотой палате, то выйдет в палату Людскую, спускается в сени, выглядывает в окна, прислушивается к малейшему шуму снаружи, к каждому голосу в переходах терема.

Шаги слышны на лестнице. Кто-то зовет князя. Что случилось поздней ночью на Горе?

То возвратился с Подола Блюд, он находит князя, они идут вместе темными переходами, входит в палату. Блюд высекает огонь, зажигает свечу и ставит ее в уголке на пол.

— Что скажешь, воевода? — спрашивает Ярополк.

Блюд тяжело вздыхает и медленно говорит:

— Печальные вести на сей раз у меня, княже.

— Они прорвали валы?

— Нет, княже, они еще не прорвали валов, боюсь, что прорывать их будут с двух сторон...

— Я не понимаю, что ты говоришь, воевода.

Блюд понижает голос, наклоняется к самому уху князя, шепчет:

— Непокойно на Подоле и в предградьи, говорят, киевляне собираются по ночам, уже имеют оружие.

— Так ловить их, уничтожать, аки псов.

— Ой, княже, княже! Коли бы сила, я уже давно б всех их выловил. Мои люди ходят повсюду по Подолу, Оболини, предградьи, но никого не могут поймать.

— Сжечь! — вырывается у Ярополка. — Слышишь, воевода, ох, как бы хотел я сжечь весь Подол, предградьи и даже Гору, только бы все это не досталось Владимиру.

— Так-то так! Сыну рабыни лучше всего было бы оставить только угли да пепел, только сами мы как же?

Воевода долго молчит, глядя в окно, сквозь которое видны огни за Щекавицей в стане Владимира, потом говорит:

— Думаю, князь, что нам нужно покинуть Киев. Мы пойдем в Родню, там Владимир нас не одолеет, там встретим печенегов, дождемся помощи от ромеев.

— Бежать в Родню? Оставить стол предков, Гору?

— Не думай, княже, что Гора так радостно встретит Владимира. Кто он? Язычник, сын рабыни!.. Еще покойный князь Святослав хотел посадить его на Киевский стол, но Гора не его, а тебя попросила княжить. И он ушел к лопат-

никам, к новгородцам. И теперь Гора встретит его как сына рабыни...

Худое, измученное лицо Ярополка болезненно дергалось. Он сделал несколько шагов по светлице, и в тишине терема шаги его отдавались громом.

Бежать в Родню?

4

Воинство Ярополка несколько дней и ночей бежало из Киева. Полк за полком, тысяча за тысячей воины, собранные из земель Северской, Древлянской, Полянской, князь гридни выходили из Киева тайком, по ночам, пробирались лесами и оврагами вдоль Днепра до Триполья, там собирались, ждали князя с дружиной.

Уходили из Киева не только воины — вместе с ними на возах, запряженных лошадьми и волами, нагрузив туда всяческое добро, удирали из города воеводы, мужи лучшие и нарочитые, тиуны и ябедники, купцы.

В одну из ночей Ярополк отправил из Киева жену свою Юлию, она ехала в закрытом возке, ее охраняло несколько сот всадников, гридней князя.

Это было очень опасное, рискованное бегство: в городе и на волах у Щекавицы оставалось совсем немного полков, воины князя Владимира легко теперь могли прорвать оборону, копьём взять Киев.

Но князь Ярополк и его старшая дружина были к этому готовы, они не жалели людей, сидевших во рвах над Щекавицей, вокруг города на холмах, на берегу Почайны и на самой Горе, — то были обреченные люди, они должны были умереть ради того, чтобы жив остался князь.

Сам же Ярополк и его дружина делали все для того, чтобы спасти собственную жизнь: на берегу Почайны стояли снаряженные в путь лодии, на них день и ночь с веслами в руках сидели гребцы, в конюшнях на Горе все время стояли оседланные кони, несколько сот гридней ждали у ворот, чтобы сопровождать князя на лодиях или верхом.

Так наступила последняя ночь. Князь не спал. В тереме царила тишина, нигде не горели огни, одинокий светильник мигал в сенях, где столпилась старшая дружина и куда непрестанно прибывали гонцы с Подола. Они сообщали, что на валах тихо, в стане Владимира ничего не слышно...

Много, очень много хлопот было у воеводы Блюда. Вывезти бояр, мужей лучших Горы, снять с валов в предградье и послать вдоль Днепра воинов, — хорошо, что Блюд заранее обо всем позаботился, все подготовил. Но досталось ему и в эту ночь...

Всю свою жизнь Блюд заботился, так думали люди, о ком-то: о князьях, княжичах, Горе. На самом же деле думал он только о себе.

Даже жену свою Блюд не любил, а детей у него не было, о ком же мог беспокоиться и заботиться воевода?

В его доме всего было вдоволь, имел Блюд много золота и серебра и при всяком случае любой ценой старался приумножить свое добро.

В эту ночь Блюд забрал из княжеского терема, нагрузил на лодию и отправил в Родню под охраной гридней всю сокровищницу Ярополка — так велел князь, как раз там она будет нужна.

Но не забывал Блюд и о себе: сгибаясь под тяжестью, отнес домой и закопал под грушей, что росла на меже между его дворцом и усадьбой воеводы Воротислава, мех с золотом и серебром...

Стоял поздний ночной час, когда князь Ярополк вместе с Блюдом, воеводами и несколькими десятками гридней миновали ворота Горы, переехали мост и стали спускаться Боричевым взвозом.

Ворот за ними никто не запирает, мост никто не поднимает — на Горе некому было это сделать: пустая, холодная, темная Гора оставалась после князя Ярополка и его дружины.

Пусто, холодно, темно было и там, куда они направлялись, — в предградье и на Боричевом взвозе.

Но что случилось? Почему внезапно Блюд остановил князя, куда он смотрит, что видит в ночной тьме?!

— Ой, княже, лихо! — закричал Блюд.

Все они на мгновение остановились и прислушались. Со стороны Подола несся крик множества людей, глухие удары, в темноте вспыхнули огни.

Несколько всадников мчались на конях вверх по Боричевому взвозу. Воеводы и гридни вытащили мечи.

— За Подолом идет сеча! — остановился возле князя Ярополка тысяцкий Путша. — Смерды объединились с воинами Владимира и бьют дружину на валах.

Блюд и воеводы окружили Путшу.

— Откуда они зашли? Где стоят? Есть ли войско на берегу Почайны? Свободен ли еще Боричев взвоз?

Путша еще раз ответил, что сеча идет на волах, а на берегах Почайны тихо, Боричев взвоз пока свободен.

Впрочем, им и самим было видно: огни — их становились все больше и больше — горели на валах, на Подоле возле торжища.

— Скорее! К Почайне! — завопил Блюд.

И все они, окружив Ярополка, стали спускаться Боричевым взвозом к Почайне. В призрачном багряном отсвете огней с Подола было видно, как, осторожно перебирая передними ногами и приседая на задние, бредут в черную пустоту ночи кони, как встревоженный князь, воеводы и гридни не отрываясь всматриваются в Подол.

Когда они доехали до Боричевого взвоза, огни факелов были уже близко; неподалеку раздавались крики, шум стоял над всем Подолом, врвался в предградье.

Только тут, в конце Боричева взвоза, над берегом Почайны, было еще тихо, темным-темно, и они, как в спасательные ворота, бросились в эту темноту, в одну минуту оказались на берегу.

Трудно сказать, что творилось тогда здесь, на лодиях. И князь Ярополк, и воеводы его, и гридни двигались как во сне. У них была теперь единственная цель — попасть на лодии, оторваться от берега и бежать.

Одни из них успели вскочить на лодии по доскам, переброшенным на берег; другие стремглав катились с обрыва, входили в воду и оттуда карабкались на насады; сам князь Ярополк, спускаясь к лодии, поскользнулся, едва не упал в воду, промочил ноги.

И они все же вырвались: князь Ярополк со старшей дружиной сел в большой насад, который оттолкнулся от берега и быстро поплыл по течению, вслед за ним поплыло еще множество лодий, на которых сидели, вглядываясь в темноту и держа копыя наготове, гридни.

— Вовремя мы покинули Гору, — прошептал князю Блюд, сидевший рядом с ним.

Ярополк молчал. Он удирает, как волк, из города Києва, его дружина, сидевшая рядом с ним, напоминала взбесившихся, голодных псов. Может быть, теперь раскаяние и сожаление о прошедшем разрывали его сердце, может быть, хоть теперь, единственный раз в жизни, он понял, что жил не по правде, жалел о содеянном и укорял себя за напрасно пролитую кровь?

Нет, не о том думал князь Ярополк. Пылающий Киев отступал все дальше, черные берега бежали за обшивкой насада, и такие же черные мысли проносились в его голове: он ненавидел весь мир, проклинал брата Владимира, мечтал о лютой мести.

Ярополк был уверен, что вернется сюда. О, он будет безжалостен, беспощаден к своему брату, он снесет головы тысячам людей, пришедшим с верхних земель и ныне одолевшим Киев, о, как задрожит, содрогнется Русская земля, когда он вернется сюда!

— Они идут Боричевым взвозом! — говорит Блюд.

С Днепра было видно, как люди с факелами в руках торопятся вверх, даже сюда, на водную гладь, долетали их крики; вот огни остановились у ворот, там что-то вспыхнуло, загорелось.

— Хорошо, что мы вырвались, княже! — хищно шептал Блюд. — Пока они одолеют Гору, мы будем уже далеко, войско идет берегом. Нет, теперь Владимиру нас не достать! А мы еще сюда вернемся!

5

Около полуночи князь Владимир вышел из своего шатра. Было темно. Вблизи стояла, переговариваясь, старшая дружина, князь узнал голоса воевод Кирсы, Спирки, Чудина. Он подошел к ним.

— Должно быть, скоро начнем.

— Полки готовы, княже. Ждем знака из Киева.

— Кажется, они уже двинулись...

Все прислушались. Где-то в темноте и тишине, окутавших Подол, предградье и Гору, послышался шум.

— Замолчите! — крикнул воевода Кирса на воинов, гомонивших невдалеке на валу.

Все замолчали. И тогда совсем ясно из ночной глубины, сначала глухо, потом все громче, до них донесся шум и многоголосный крик. Еще минута — и они увидели огни, в темноте в разных местах пылали факелы, их становилось все больше и больше, казалось, что вдалеке пылает пожар.

Это была минута, которой ждали все. С нескольких сторон Киев окружили воины князя Владимира, а им на помощь поднималась еще одна сила — перед ними кипел, бурлил, переливался огнями Подол.

И уже через рвы бежали робьи люди, они кричали, что на верхнем валу и по всему Подолу нет Ярополковой рати — все они удрали ночью; вскоре прибежали смерды из предградья. “И на Горе, — говорили они, — нет воинов, на городницах не видно стражи, князь Ярополк с воеводами и мужами удрали ночью к низовьям”.

Полки князя Владимира двинулись одновременно от Дорогожичей, с лугов за Оболонью, из Перевесищанского леса вырвались всадники, земля загудела от шагов тысяч ног, от топота конских копыт, шум неся и с той стороны Днепра: воины переплывали на лодиях и на конях через реку.

Город Киев пал.

Князь Владимир въезжал в Киев во главе старшей дружины под знаменем отца своего Святослава, на котором были вышиты два перекрещенных золотых копыя. За ним ехали рынды, гридни.

С трепетом смотрел Владимир на город, который покинул много лет назад, и не узнавал его. На Оболони, где когда-то хижины были разбросаны по лугу на расстоянии поприща друг от друга, вся земля была вспахана и раскопана, усеяна домами, хибарками, землянками. На Подоле вокруг торжища и вдоль берега Почайны выросло много новых теремов с клетями и подклетьями, погребам и сараями, эти терема и дворища, отгороженные высокими тынами, тянулись до самых гор, образуя улицы.

Изменилось и в предградье. Владимир помнил, что раньше тут прямо в землянках жили кузнецы, гончары, скульники и кожевики, неподалеку от ворот Горы стоял только один каменный терем княгини Ольги и несколько деревянных — боярских. Теперь новые, добротные терема, каменные и деревянные, окружали всю Гору, они, казалось, наступали на землянки кузнецов, ремесленников, давили их.

Повсюду, где проезжали воины Владимира, их радостно приветствовали киевляне. В одном конце Подола новгородские воеводы встречались с земляками — купцами из Новгорода, в другом перепуганные хазары угощали воинов медом и олом, в третьем свион обнимал свиона. Посреди торжища пылал высокий костер перед деревянным Волосом, стоявшим уже без серебряных усов — их ночью, словно тати, вырубили из дерева воины Ярополка.

А вокруг повсюду, на крутых склонах над Глубочицей, вливавшейся в Почайну, над быстрой Ситомлей, струившейся из Щекавицкого леса, на концах Гончарском, Кожемяцком, толпились люди, раздавались оживленные голоса, крики.

На Подоле князя Владимира встретили и те люди, которые ночью ударили в спину полкам Ярополка.

Они ждали его неподалеку от торжища, на широкой, обсаженной липами площади. Их было несколько сот, одни верхом, с мечами и щитами, другие пешие, с копьями, а то и просто с долбнями в руках.

Владимира поразил один из них: старый, уже седой человек, слепой на левый глаз, сидевший на коне впереди всего земского войска.

— Челом тебе бьем, княже Владимир! — произнес он.

— Слава князю Владимиру! — закричали все.

— Кто ты еси? — спросил старика Владимир.

— Я воевода Рубач, — отвечал тот.

— Ты служил у Ярополка?

— Нет, княже Владимир! Я ходил с отцом твоим Святославом на ромеев и привез его меч и щит в Киев... Но я отдал оружие не в те руки, князь Ярополк повернул его против людей русских...

— А мне и русским людям ты будешь служить?

— Уже послужил и служить буду, сколько сил станет, княже! — отвечал воевода Рубач, и из его единственного глаза выкатилась слеза.

Внимание князя Владимира привлек еще один воин, лицо которого пересекал глубокий шрам; он стоял позади воеводы Рубача.

— А ты кто еси? — спросил князь Владимир.

— Тур, — кратко ответил тот.

— Но кто ты — ремесленник, смерд, робичич?

— Гриденъ...

— Значит, ты служил у князя Ярополка?

— Нет! Я гриденъ князя Святослава, Ярополк отнял у меня меч и щит.

— Спасибо тебе, Тур, что верно служил отцу моему и мне помог... Хочу пожаловать тебя.

Тур пожал плечами.

— Меня пожаловать? О нет, княже Владимир, не надо пожалованья... На что оно мне? Да и за что жаловать? Не я один, многие люди помогали тебе.

- Чудной ты человек, Тур! Разве от пожалованья отказываются? Скажи тогда, чего бы ты хотел?
- Верни мне меч и щит, что отобрал у меня Ярополк.
- Дайте гридню Туру меч и щит! — приказал князь.

6

Среди людей, встречавших князя Владимира в предградьи, стояла немолодая уже женщина с привлекательным, хотя немного суровым лицом, слегка выцветшими, но еще теплыми карими глазами и тонкими бровями, в темном платне и таком же платке на голове. Сжав губы, она смотрела вперед на Борисов взвоз, по которому двигалось войско князя Владимира.

В огромной толпе никто не знал этой женщины, никто не мог знать ее и среди дружины князя Владимира, а тем более он сам, но беспокойные глаза женщины, тревожное выражение лица, весь ее вид говорили о том, что она очень взволнована, словно боится чего-то.

И женщина эта действительно тревожилась, боялась, чтобы ее кто-нибудь не узнал, ибо когда-то была она ключницей княгини Ольги, тайной любовью покойного князя Святослава, матерью князя Владимира, который ныне с победой вступал в город Киев.

Малуша не видела своего сына много лет, да, впрочем, много ли довелось ей любоваться им и раньше?! Несколько счастливых месяцев в Будутине, где она родила и выкормила его, да еще одно, краткое мгновение, когда она не выдержала, босиком пришла из Роси в Киев, чтобы издали попрощаться с сыном, хотя бы взглянуть на него.

Если бы знал кто в Киеве, сколько раз и с какими горючими слезами молилась Малуша за сына своего Владимира-князя, сколько раз выходила на кручу над Днепром, откуда когда-то провожала своего сына, до боли в глазах вглядывалась в туманную даль — не покажутся ли там лодии князя Владимира.

И лодии поплыли по Днепру, только не Владимировы, а Ярополковы, князьки биричи кричали над спуском у Почайны, что Ярополк повел брань с Владимиром, что киевские воины разбили новгородцев и чуть не убили самого Владимира под Любечем. Позднее они стали кричать, что князь Владимир идет на Киев, где ждет его смерть.

А потом воины Владимира осадили Киев; уже на валах у Глубочицы началась великая сеча, а прошлой ночью мимо Берестого леса вниз, к Родне, двинулись воины Ярополка, лодии поплыли по Днепру; ночь была темная, но Малуша подошла к самому берегу и все видела. И вот воины князя Владимира вступают в Киев, они все ближе и ближе. О, что творилось с Малушей, как билось ее сердце, как пылало ли-

цо, когда она увидела сына. Еще издали узнала его Малуша — статный, красивый, сидел он в седле, опираясь на стремяна, и, держа повод в левой руке, правой приветствовал людей.

Ближе, еще ближе — вот Малуша увидела его лицо, немного утомленное и бледное, непокрытую голову, на которой ветерок играл русым чубом, карие глаза, тонкий нос, усы, улыбающиеся губы...

— Слава князю Владимиру! — гремело вокруг. — Слава, слава!

Одна только Малуша молчала, потому что слезы, горькие, но все же радостные слезы, сдавили ей горло. Она была счастлива, что видит наконец своего сына, в мыслях обнимает, целует его.

Нет, никому она не расскажет о своей радости и счастье, ибо Владимир-князь должен быть князем, ей же судила доля — и она благодарна богу за это — только стать матерью князя, а самой остаться рабыней навек.

Внезапно Малуша застыла: следом за князем, тоже верхом, с мечом у пояса, ехал Тур. "Что случилось, как он тут очутился?" — подумала она, ужасаясь при мысли, что Тур ее увидит. Но это длилось одно мгновение, гридень не смотрел в ее сторону.

— Слава! Слава Владимиру! — раздавалось вокруг.

Не кричала только мать, любившая его больше, чем все эти люди. Она жадно всматривалась в родное, столь милое ее сердцу лицо сына, следила за каждым его движением, ловила его взгляд, а когда Владимир проезжал мимо, ухватила за стремя, прошла, не известная никому, рядом, совсем близко, несколько шагов. И это было ей наградой за все слезы и муки.

7

У ворот Горы князь Владимир остановил коня и медленно сошел с седла. Спешились и воеводы, рынды, гридни, вся дружина.

Князь передал уздечку стремянному, медленно прошел вперед, вступил на мост, остановился у ворот, оглядел стены и башни, на которых не видно было стражи.

Он шел через ворота пешком, с непокрытой головой, внимательно оглядываясь вокруг. Все было ему так знакомо, он нсходил здесь когда-то каждый камень. За ним шагали воеводы и тысяцкие полунощных земель, гридни.

Гора поразила его. Безмолвие и тишина. На третище в конце Горы не пылал огонь. Никого не было видно у теремов бояр и воевод, тянувшихся справа и слева рядами, по-

всюду стояли брошенные на произвол судьбы возы, бродили волы, лошади...

Но не успели они дойти до ворот княжеского терема, как из дворов, то тут, то там, стали появляться старики бояре, тиуны, огнищане, на трестище появился главный жрец Перуна — все эти люди издали с опаской смотрели на князя и его дружину, удивлялись, что на Горе так тихо. Наконец они двинулись вперед, подступили, остановились напротив Владимира.

Владимир смотрел на них. Многих он знал... Однако знал он их давно, в юные годы, с того времени много воды утекло в Днепре, многое свершилось в землях русских и здесь, на Горе. Кто ныне эти люди, с кем они — с Ярополком или с ним? Темна была раньше, темна и ныне Гора.

— Челом тебе, княже! — раздались голоса.

Он поздоровался с ними, перекинулся словом кое с кем из бояр, теплой улыбкой подбодрил главного жреца и, окруженный своими воеводами, прошел в терем.

И сразу ожил, зашумел, загомонил терем. Князь и воеводы пришли наверх, остановились в Золотой палате перед доспехами прежних князей.

Тихо было в палате, князь и вся его старшая дружина стояли молча. Утренний свет вливался в узкие окна, согревал холодные доспехи, тускло играл золотом и серебром щитов, мечей, шлемов.

Тут было оружие не только давних князей. С самого края, почти у выхода, висел меч и щит, которые он сразу узнал, — меч и щит отца его Святослава. Владимир подошел к стене, снял с колышка меч, вынул его из ножен.

Блеснуло лезвие обоюдоострого меча, очень длинного — такие ковали родненские кузнецы; видны были на нем несколько щербинок — память о жестокой сече, может быть, последней битвы на Хортице.

Глубоко взволнованный, Владимир поднял меч обеими руками, прикоснулся губами к холодной стали, вложил меч в ножны, снова повесил на стену. А жизнь продолжалась, брань с Ярополком еще не была закончена! С городских стен было видно, как идут на юг полки, как по Днепру плывут и плывут лодии. На Гору один за другим приезжали гонцы, сообщавшие, что пешее войско и лодии Ярополка уже миновали Витичев, приближаются к Триполью.

Князь Владимир отсылал гонцов обратно, приказывал полкам гнать дальше войско Ярополка, а если оно остановится, окружить его и сообщить в Киев.

У князя Владимира и старшей дружины, оставшихся в Киеве, было много забот: гонцы сообщали, что Ярополк оставил Триполье и двинулся на Родню, полки Владимира шли все ниже и ниже берегом Днепра, туда же торопились и лодии, но в то же время приходилось держать стражу и в поле на восток и на запад от Киева, быть начеку везде: на Подоле, в предградьи, на Горе — враг был недалеко.

Лишь под вечер Владимир с несколькими воеводами вошел в трапезную, чтобы поесть. Там уже был накрыт стол, стояли различные яства, вино в корчагах, а встретила их, низко поклонившись, женщина в белом платне.

— Челом тебе, князь, — прозвучал тихий голос.

— Будь здрава, — ответил князь.

Женщина подняла голову, и он узнал ее: то была, теперь уже не молодая, та самая Пракседа, которая когда-то заняла здесь, в трапезной, место его матери, ключницы Малуши.

Он посмотрел на нее долгим, пристальным взглядом. Больно? Да. Владимиру было очень больно и грустно в эту минуту, женщина-ключница в белом платне напоминала ему многое.

— Есть ли у тебя, ключница, чем покормить нас?

— Есть, княже... Я давно все приготовила.

— Почему же не горит огонь?

Пракседа растерянно взглянула туда, куда смотрел князь, — на жертвенник, застеленный красным греческим ковром.

— Хочу принести жертву, — сурово произнес князь Владимир. — Приготовь все!

Ключница метнулась, сбросила ковер, подбежала к очагу, принесла оттуда жару.

Князь Владимир, не сядя за стол, ждал вместе с воеводами, когда она окончит, потом взял понемногу от разных блюд и бросил на угли. Легкий дымок поднялся над жертвенником, вспыхнул огонь, — молча, склонив голову, князь и воеводы поминали предков.

И если они тоже молча: ведь тут, в трапезной, витали души предков, они, в это верил князь Владимир и его воеводы, вкушали трапезу вместе с ними.

Когда все вышли из трапезной, ключница Пракседа долго смотрела вслед князю, который шел, окруженный воеводами, по длинным переходам.

“Похож на мать, — подумала она, — те же глаза”.

Пракседа засмеялась. То был невеселый смех. Она не любила, нет, больше того, ненавидела ключницу Малушу,

знала, хорошо помнила юного Владимира и его не любила так же, как его мать; но Малуши давно не было на Горе, сын ее Владимир сидел в Новгороде, прошлое, казалось, ушло навсегда.

А теперь Пракседа неизбежно должна была задуматься над этим. Владимир — киевский князь, она должна поить и кормить его, в ее руках пока что ключи от всех богатств княжеского терема.

Ненавидящими глазами смотрела Пракседа вслед князю, шедшему по переходам... Вот он исчез... Что же будет дальше?

Лишь вечером князь Владимир остался один, обошел терем, где провел свои юные годы, где все было ему так знакомо, близко; он миновал переходы, палаты, остановился в светлице, где жил когда-то и хотел жить теперь. Перед ним лежала молчаливая, темная Гора, за стеной видны были Подол, Оболюнь, Днепр. Где-то среди ночной тьмы, на Щекавице и ближе, на берегу Почайны, горело несколько огнищ: должно быть, воины готовили себе ужин.

Тихо... Да, вокруг было совсем тихо. Сюда, в светлицу, не долетало ни одного звука, тишина великая стояла на Горе, в Киеве, на Днепре. Пройдет немного времени, и мир, князь Владимир был теперь уверен в этом, придет на всю родную землю.

Но не только радость и гордость близкой победы наполняли душу Владимира. Ему было грустно, что так случилось.

Отправляясь на сечу, он думал об этом: обида, сердечное стремление выполнить завет отца, одолеть своего брата — вот какие чувства владели им в Новгороде и в далеком походе на Киев.

И вот он в Киеве, в княжьем тереме, где только вчера и еще прошлой ночью расхаживал, властвовал Ярополк, которого окружали бояре, воеводы, мужи, за ними стояли полки, земли, сила.

Сейчас в тереме тихо, не слышно человеческих голосов, нет ни Ярополка, ни бояр, ни воевод — сила сломила силу. Князь Владимир представил себе, как в темноте, в холоде плывут все они по Днепру, или бредут в поле, или продираются через лесную чащу. Куда, куда они идут?

Что дальше? Ведь дело идет к неизбежному: его воины настигнут лодии Ярополка, отрежут войску путь в поле, наконец, окружают в Родне, копьём возьмут крепость над

Днепром и не пощадят ни князя, ни мужей его... Это — смерть Ярополка.

Но ведь он не виноват в этом, он не раз протягивал Ярополку руку, был не только местником, но, прежде всего, братом, даже ныне отправил гонцов — призывает Ярополка прекратить сечу, заключить мир.

Князю Владимиру, как всегда после сечи, было невыразимо больно, что в Русской земле идет усобица, напрасно льются реки крови; долго еще после этого придется Руси залечивать раны, вырывать шипы из наболевшего тела.

Как хотелось ему, чтобы в этот поздний ночной час рядом с ним был родной человек, которому он мог бы высказать свои думы и страдания, который согрел бы его истомленную душу.

Отец! О, как рано он, еще молодой, сильный, пламенный, ушел из жизни. Лишь меч и щит его висят в Золотой палате, холодные, мертвые вещи, а отца нет, не будет.

Мать! Владимир вспомнил и о ней, но что мог он о ней знать, никогда не видел ее, не слыхав ее голоса?! Люди, земля, небо, скажите, какова его мать, где она?!

За окном палаты качаются ветви, ветердохнул с Днепра, может, мать где-то близко, может, — князь Владимир даже вздрогнул, — она стоит рядом в ночной тьме, смотрит на него.

Нет, матери нет, придет время, окончится сеча, он будет искать ее след, может, она и сама откликнется на его зов, но сейчас нет и ее.

Кто же есть у князя Владимира?

Он думает о Рогнеде, хочет припомнить ее глаза, лоб, лицо, всю, какой видел ее одну-единственную ночь. И полоцкая княжна возникает перед ним — неясно, вдалеке, словно в тумане. Это не удивительно, он видел ее так мало, одну ночь, в изменчивом сиянии свечи.

Но все равно ему приятно, радостно, тепло думать о Рогнеде. Она такая хорошая: внешне суровая — ласковая в душе, женщина севера — и такая нежная. "Рогнедь, Рогнеда!" — тихо шепчет Владимир, но ее туманные очертания тают, становятся прозрачными, потом исчезают вовсе. Нет Рогнеды, он в Киеве, она в Полоцке, как далеко-далеко до нее.



чем думал князь Ярополк во время своего бегства в Родню, понимал ли он, куда ведет его изменчивая судьба?

Тут, в Родне, в небольшой деревянной крепости на высокой горе над Днепром, обычно сидело несколько сот воинов. Полевая стража следила, не выплывают ли с низовьев чужие лодии, не поднимается ли пыль под копытами какой-нибудь орды на левом берегу. Если же это случалось, воины зажигали огни, пускали думы в небо, подавая знак в Триполье и дальше, что на Полянскую землю надвигается враг, и, приняв на себя первый удар, либо погибали с копьями в руках, либо, отбиваясь мечами и истекая кровью, отступали к Киеву. Кроме этих воинов в Родне и в землянках, выкопанных в склонах гор по Днепру, жило еще множество умельцев, которые, собирая руду на берегах и в болотах Днепра и Роси, варили сталь, лили золото и серебро, ковали добрые мечи, щиты, клепали шлемы и кольчуги, украшали их чудесной сканью, чернью, — изделия родненских кузнецов знали не только на Руси, но и в других, далеких землях.

Жизнь этих людей была очень тяжелой: работая на князя и переливая золото да серебро, они не имели не только золота и серебра, но даже хлеба насущного. Поэтому они выжигали леса, пахали землю, сеяли разные злаки, сажали сады, а когда с поля налетали орды, убегали в овраги и леса и, бывало, погибали там, надеясь, что, может быть, их дети возвратятся в родные землянки, будут мирно жить там, соберут урожай в поле, плоды в садах.

Здесь, возле крепости над Днепром, и остановилась дружина Ярополка, отступавшая из Киева. Сюда на лодиях прибыл князь с женой своей Юлией и Блюдом, сюда на возах и верхом добрались, обливаясь потом, почерневшие от пыли бояре, мужи лучшие и нарочитые, которые удрали с Горы.

Вся эта киевская знать, имевшая свои терема на Горе, пожалованья во многих землях и даже здесь, у Днепра и Роси, толком раньше не знала, что за город Родня. Теперь они ужаснулись: ведь это городище, а не крепость! Где, как, какие силы будут здесь за них сражаться?..

— Княже! — окружили они у ворот Родни Ярополка. — Страшно, погибнем, аки мыши!

Князь молчал. Да и что мог он теперь сказать? От ворот Родни им были видны необозримые дали, голубые воды Днепра, неустанно катившиеся к морю, на полях Роси поспевали хлеба, низовой ветерок доносил манящие, сладковатые запахи овощей древесных.

Но им было видно и другое: вот на Днепре из-за устья показались северные шнеки, бусы, учаны, они растянулись полукругом вдоль берега, бросали якоря — путь по Днепру был отрезан.

С горы им было видно, как по правому берегу Днепра движутся под знаменами Владимира пешие воины, с юга и запада по желтым песчаным холмам летят конные отряды.

— Скорее в крепость! Запирайте ворота! — приказал князь Ярополк.

И бояре, мужи лучшие и нарочитые, видя вокруг только смерть, бросились к воротам, за ними воины, сторожившие до сих пор крепость. Заскрипели блоки, черный мост, как крышка гроба, поднялся и прилип к деревянному срубу городицы.

Во дворе крепости началась страшная давка — бояре и мужи торопились занять под стенами лучшие уголки, ставили там свои возы, распрягали коней, воеводы и тысяцкие гнали воинов на стены.

Князь Ярополк с женой Юлией, окруженные гриднями, прошли по узким ступенькам в одну из башен, напоминавшую глубокий колодец, стали подниматься наверх крепости.

...День, два, три — все эти дни, а особенно по ночам, родненские беглецы ждали, что воины князя Владимира пойдут на приступ, попытаются копьём взять Родню.

Но воины Владимира медлили; шнеки и бусы его, остановившись на Днепре, отрезали Ярополка от Днепра, всадники остановились на холмах и в долине у Роси — так был отрезан путь на юг, в поле, еще множество полков на берегу Днепра и повсюду в оврагах и на горах замыкали круг. Не копьём думал Владимир взять Родню, а осадой.

Это начинало пугать беглецов. Открыть ворота, выйти на равнину и там принять бой с войском Владимира дружина Ярополка не могла, сидеть в Родне — как долго? И где взять для этого силы? Особенно беспокоились бояре. Удирая из Киева, они, как видно, не все взвесили, слишком по-

ложились на слова Ярополка. Ныне он был здесь, день и ночь сидел на верху терема. Бояре хотели и должны были с ним говорить. Осанистые, крутые на словах и на деле бояре и мужи лучшие Горы вечером пошли к князю в большую светлицу на верху крепости. Здесь одно узкое окно выходило на Днепр, другое, немного пошире, на Рось. Князь Ярополк стоял у окна, выходявшего на Днепр, тревожным взглядом смотрел на лодии, застывшие, словно сонные цапли, на водной глади. Юлия сидела в углу на простой деревянной лавке.

— Добрый вечер тебе и жене твоей, княже, — начал боярин Коницар, — пришли мы тебя проведать...

— Спасибо, — вяло отвечал Ярополк. — Садитесь, бояре и мужи.

— А мы и постоим, — зашумели бояре, которые наполнили светлицу и стояли ниже, на полутемной лестнице. — Дело у нас к тебе, княже.

Вперед вышел Коницар.

— Хотим спросить тебя, княже, долго ли будем тут сидеть?

Ярополк рассердился. Бояре спрашивают его, своего князя, словно он повинен в том, что произошло. Да разве не они виноваты во всем, они, на которых он опирался, которые год за годом заставляли его делать то, что им было угодно?!

Он стоял — истинный князь, каким и должен быть, — в затканном золотом и серебром платне, с мечом у пояса, напряженный, затаившийся, хищный; бояре, крепкие, высокие, жилистые, в темных опашнях, со смуглыми лицами и сверкающими глазами, пристально смотрели на него.

— Я поступил так, как говорилось об этом в Киеве, — резко ответил боярам князь, — и все будет так, как должно быть...

— Значит, погибать будем, княже?

— Нет! — крикнул он. — Погибать никто из нас не станет. Мы с вами сила, одолеем Владимира.

Бояре помолчали.

— Но, княже, — опять начал Коницар, — где наша подмога — печенег?

— Придут!

— А ромен?

— Будут и ромен.

— Княже! — раздалось сразу несколько голосов. — А ты послал гонцов к императорам?

— Гонцы поехали, они в Константинополе, сами знаете.

На этом и кончилась беседа бояр с князем. Молча они спустились во двор, принялись поднимать оглобли на своих возах, чтобы отгородиться друг от друга.

День приходит после ночи, ночь завершает день. Уже тонок, похожий на серебряный серп молодой месяц прорезался в голубых туманах над Росью.

Стражи на городницах всматривались в далекое поле и в низовье реки, за ними следили со двора сотни глаз. Каждому казалось, что он слышит топот коней в поле, всем чудились ветрила на дальнем плесе Днепра, таинственные огни на иочном небосклоне.

Но им только казалось: то не ветрила, а марево висело над далеким плесом Днепра, то не огни загорались на небосклоне — звезды.

А в самой Родне была беда. В двух колодцах, выкопанных у южной стены, за ночь набиралось на один-два локтя воды, за деиь — и того меньше. О, как мало было этого для нескольких тысяч воинов, запертых в крепости.

Не было в Родне и харчей. Запасы, которые были у стражи, и те, что привезли воинские обозы, быстро исчезали. Князь велел резать лошадей, но и этого было мало.

Трудно приходилось здоровым воинам и намного труднее — раненым. Голод бродил по Родне, болезни валили людей с ног. А тут еще жара — с утра до ночи в небе висело раскаленное солнце, с поля неся и все высушивал жгучий ветер; месяц в небе становился все больше, смотрел желтым ликом, словно издевался над людьми.

Разумеется, не все в Родне страдали от голода: на возах своих бояре и мужи привезли из Киева много соленой веприны, вяленой рыбы, — тайком от воинов они ели это сами, вдосталь кормили и князя с женой. Ходил слух, что знают воеводы и бояре к тому же и родник, который журчит где-то в крепостных подземельях.

А воины мечтали об одном: вырваться из Родни, напиться воды из Днепра, раздобыть плодов, зелени, кус хлеба в селах, где жили родичи. И по иочам воины спускались со стен, чтобы пробиться через стан Владимира, достать для себя и больных хлеба, воды. Эти попытки ничего не дали: многие воины смежили глаза в долине, многие с тяжкими ранами приползли обратно к стенам. И уже начало брать их сомнение — зачем они сидят в Родне, кого защищают, не лучше ли сдаться Владимиру на милость и суд праведный,

чем умирать здесь, в Родне? В одну из ночей несколько воинов спустились со стен и ушли в стан Владимира, через день опять исчезли ночью несколько человек.

Но была еще в Родне сила, державшая в повиновении тысячи воинов. Этой силой были воеводы, бояре, мужи, вместе с Ярополком бежавшие из Киева.

2

Темной ночью у ворот Горы остановился порядочный отряд всадников. Стража вынесла из тайника огонь, осветила лица прибывших.

То был тысяцкий Ивор, приехавший с небольшой дружиной и несколькими неизвестными людьми. Он хотел тотчас же говорить с князем Владимиром.

Стража пропустила тысяцкого. Вместе с дружиной и неизвестными Ивор подъехал к княжескому терему, поговорил и там со стражей.

Князь вышел в одну из верхних палат, позвал туда тысяцкого.

— Будь здоров, княже Владимир, я приехал к тебе из Родни, — низко поклонился Ивор.

— Будь здоров и ты. Что случилось в Родне?

— Стоим твердо, мышь не проскользнет из города, уже, говорят, пояса свои грызут люди Ярополка. Беда будто в Родне...

— Не мы повинны в том: копьём города брать не стану, не хочу проливать напрасно кровь.

— Крови, видать, и не будет, княже! Позапрошлой ночью пробился из Родни к нашему стану, как посол Ярополка, воевода Блюд, спросил тебя, и только с тобой хочет говорить.

— Где же он?

— Я привез его с собой, княже.

— Ступай приведи. Буду с ним говорить.

Когда тысяцкий Ивор с несколькими гриднями ввели воеводу Блюда в светлицу, он упал на колени, низко поклонился.

— Встань, воевода! — крикнул на него князь.

Блюд поднялся.

— Что ты хочешь мне сказать?

— Хочу говорить с глазу на глаз, — прошептал Блюд.

— Добро, — согласился Владимир и знаком руки велел тысяцкому и гридням покинуть светлицу.

— Спасибо тебе, княже, — сказал тогда Блюд, — челом тебе бью не токмо я, но и брат твой князь Ярополк.

— За поклон благодарю, — усмехнулся Владимир, — но, если ты только ради этого добивался видеть меня, не стоило трудиться. Киев — не Любеч...

— Знаю, княже. — Блюд понял, на что намекает князь Владимир. — О Любече и я и князь Ярополк, оба сожалеем... Я тогда уговаривал князя, он было соглашался, но не один князь: воеводы и бояре наседали на него, надеялись на помощь печенегов и ромеев...

— А ныне где же ваши печенеги и ромеи?

— Они предали князя Ярополка, и он проклинает их.

— Так кто же тогда не предал Ярополка?

— Я приехал, княже, сказать, что Ярополк протягивает тебе руку, как брату, согласен на твой суд и правду.

Князь Владимир долго молчал, глядя, как трепетно горят на столе свечи.

— Много зла содеял, — сурово произнес он наконец, — и много людской крови пролил князь Ярополк, ибо не его кто-то предал, а сам он предал людей русских, поправ закон и покон отцов своих, стал убийцей братьев своих, забыл о Руси, а за все это должно ему воздаться, как головнику и татю.

Князь Владимир умолк, и только глубокие морщины, прорезавшие его лоб, крепко сжатые губы, блеск глаз говорили, как ему тяжело в эти минуты.

— Но он брат мой, и кровь отца не велит мне его карать. Прощаю ему то, что он содеял против людей моих и против меня как князя.

Блюд шагнул вперед, поймал руку Владимира, хотел ее поцеловать.

— Ты великодушен, княже Владимир, ты ни с кем не сравним, и князь Ярополк будет служить тебе душой и сердцем.

Владимир раздраженно выдернул свою руку и произнес:

— Не мне должен служить брат Ярополк, а людям русским... Наша земля велика и обильна, не токмо двоим, а многим князьям найдется в ней дело.

— О княже, — выпрямился Блюд, — князь Ярополк будет служить людям денно и нощно, будет тебе верным сподвижником, я же обещаю быть твоим слугой.

Князю Владимиру хотелось, как видно, окончить разговор.

— Так и будет, — сказал он. — Поезжай в Родню и возвращайся в Киев с братом моим. Привезешь его — честь примешь от меня, аки другу воздам.

— Все сделаю, как велишь, только вот еще одно... Не я, бояре, что сидят с князем Ярополком в Родне, велели спросить: как им быть?

— Прощаю брата, прощаю и бояр. Даю грамоту, чтобы Ярополка пустили в Киев. С тобой пошлю дружину.

— Ты знаешь, княже, что многие бояре и воеводы Ярополка — христиане.

— Русские люди молятся разным богам, вон они стоят на требище за Горой. Аще христиане хотят поставить рядом с ним идолище Христа, не спорю. Не боги воюют на земле, а люди!

— Великий князь! — воскликнул Блюд. — Все сделаю, как велишь, скоро брат твой предстанет перед тобой, а за ним пойдет и все боярство. Прощай, княже!

Низко поклонившись, Блюд вышел, пятась, из палаты. В переходах слышались шаги множества ног: там Блюда ожидал тысяцкий Ивор. Потом все затихло. В наступившей тишине Владимир подошел к окну, распахнул его сильным толчком.

Начинался рассвет, таяла ночная тьма, внизу, под Горой, выступили берега Почайны, серебристо-серая, похожая на гигантский изогнутый меч полоса Днепра, а на небосклоне, за лесами и полем, уже затрепетали розовые нити.

“Так кончается брань, — думал князь Владимир. — Умолкнут мечи, я приму Ярополка, покой настанет в землях”

Однако в душе Владимира не было покоя, после краткой беседы с воеводой Блюдом он почувствовал, что тот говорил не только о Ярополке, а и об иных, грозных, непонятных силах, которые зреют, бушуют в Русской земле.

3

Седой туман полз от Днепра, клубился над озерами, наполнял долины, волнами подступал к Родненской горе. Быстро вечерело, с левого берега надвигалась тьма, только на западе, словно пасть огромной печи, небо играло багрянцем, и на нем черными пятнами выступали деревянная крепость и стая воронья, с криком носившаяся над башнями и стенами.

В этот час к стану, обложившему Родню, подъехало несколько всадников. Показав грамоту князя Владимира, они беспрепятственно проехали через весь стан, поднялись крутой, извилистой дорогой крепости и ударили в ворота. На стенах тотчас же раздались крики, стража и всадники переклинулись, заскрипели блоки, и опустился мост.

Так возвращался в Родню воевода Блюд. Во дворе он тяжело слез с коня, бросил поводья слугам, а сам через сени, потом по лестнице зашагал наверх в светлицу Ярополка.

Пошатываясь, Блюд остановился у порога. Желтые огни свечей осветили его лицо.

Князь Ярополк видел, как к крепости подъехал Блюд, слышал шаги на лестнице, нетерпеливо ждал воеводу.

— Добрый вечер, княже! — поздоровался Блюд.

— Добрый вечер и тебе, воевода! — отвечал князь из угла светлицы. — Что привез?

Блюд перевел дыхание, усмешка блуждала в уголках его губ.

— Я привез хорошие вести, княже.

Ярополк шагнул вперед, на его бледном лице появился румянец.

— Ты видел Владимира?

— С великим трудом пробрался я в Киев, но Владимира видел, говорил с ним, все сказал...

— Почему же ты умолк? Что сказал Владимир?

— Князь Владимир сказал, что ждет тебя в Киеве.

— Воевода Блюд, ты чего-то не договариваешь... Зачем он ждет меня в Киеве? Судить хочет?

Блюд бросил острый и какой-то хищный взгляд на Ярополка. Впрочем, это, должно быть, лишь показалось Ярополку, потому что на лице Блюда опять появилась улыбка.

— Нет, князь Владимир ждет тебя, как брата, все прощает и говорит о приязни и любви... Вот его грамота, мы свободно можем ехать в Киев.

Ярополк взял грамоту князя Владимира с золотой печатью — это было его спасение, выход.

— И о боярстве говорил Владимир, — продолжал тем временем Блюд, — и оно может без препон возвращаться в Киев; служить Владимиру.

— Служить Владимиру? — Ярополк поднял голову и теперь уже открыто со злостью посмотрел на Блюда. — Что ж, пускай едут; надеюсь, следом за ними.

— Так, княже, — тяжело вздохнул Блюд. — Мы поедем в Киев с тобой вдвоем, вместе.

Уже совсем стемнело, когда князь Ярополк вошел в светлицу, в которой жила во время осады Родни Юлия. Там было холодно, мрачно, на столе мигал светильник, через окно вливался и оседал росой на стенах ночной туман.

— Я принес с собой корчагу вина, — произнес Ярополк, переступив порог.

— Хочешь выпить накануне нашей смерти? — спросила Юлия. Кутаясь в теплую шаль, она сидела в углу.

— Нет, хочу выпить с тобой накануне новой жизни, — бодро и весело ответил Ярополк.

— Что случилось? — вскочила Юлия. — Ты получил вести с поля? Нам помогут печенеги?

Ярополк безнадежно махнул рукой.

— Что печенеги?! Я получил вести из города Киева и утром выезжаю туда.

— Сядь, Ярополк... — она бросилась к столу. — Сейчас я налью тебе вина.

Они уселись вместе за стол. Юлия поспешно наполнила кубок, пытливо вглядываясь в лицо Ярополка.

— Это наша последняя корчага, — медленно говорил он, — но ее не жаль осушить... Надеюсь, в Киеве удастся выпить не раз, и надо думать, вина получше... — и он до дна выпил свой кубок.

— Ты, кажется, опьянел, Ярополк... Говори же, говори, что случилось?

— Опьянел, да и как не опьянеть... Владимир предлагает мне мир.

— Он прислал своих гонцов? Но, может быть, это обман?

— Нет, я посылал к нему воеводу Блюда, нынче он вернулся. Владимир согласился говорить со мной.

— Берегись, Ярополк. В Византии, я знаю, так делают и убивают.

— Нет, Владимир никогда так не поступит — я знаю брата...

— Тогда за это и в самом деле стоит выпить. Теперь ты налей кубок мне. За что же мы выпьем?

— Пью за то, чтобы счастливо доехать до Киева, добиться согласия с Владимиром.

— Какого же согласия ты можешь добиться?

— Думаю, что и впредь останусь князем: такова была воля отца Святослава, а Владимир не нарушит его слова.

— Значит, тогда...

— Тогда я остаюсь, как и он, князем... Нам, разумеется, будет тесно вдвоем в Киеве... Что ж, я соглашусь, пойду князем в какую-нибудь землю.

— Где-нибудь на юге, поближе к Византии...

— Ты угадала мои мысли, но Владимир хитер и может послать меня не на юг, а на запад, в червенские города либо на Воынь.

— И это неплохо, Ярополк... Оттуда близко к Польше, Чехии, к германцам, а там Феофано, жена Оттона... Но ты не сказал мне, что будет со мною, когда ты уедешь в Киев.

— Воевода Блюд условился с Владимиром, что первыми завтра утром под охраной дружины выезжаем в Киев мы с ним, а потом вместе с воеводами выедешь и ты.

— За все это, Ярополк, можно выпить еще раз. О, как я рада, что нам наконец удастся вырваться из этой черной крепости у Днепра... Надеюсь, ты сегодня останешься у меня на ночь.

— Эту последнюю ночь я проведу только с тобой.

— Боже, какую чудесную новость ты мне принес! Нас с тобой, Ярополк, еще ждет счастливая жизнь.

— Мы будем счастливы только тогда, когда не станет Владимира.

— Вместе с тобой мы уничтожим когда-нибудь сына рабьни!..

Под высокой башней, в которой живет Ярополк в Родне, действительно есть подземелье, где с каменных глыб непрерывно капает и скапливается в ручеек родниковая вода.

Ночь. В подземелье нет света, через отдушину в стене едва проникает снаружи отблеск месяца. Трудно догадаться, кто стоит и сидит здесь, слышны только голоса.

— Каковы вести из Киева, что привез?

— Я говорил с Владимиром, он согласен принять Ярополка и заключить с ним мир, — отвечает Блюд.

— А про нас говорил?

— Разумеется, бояре, говорил. Владимир сказал: еще принимаю князя, приму и его бояр.

В подземелье царит молчание, но оно, как видно, красноречивее слов.

— А что в Киеве? — слышится сдавленный хриплый голос.

— Все как было.

— Стоят наши терема, дворы, клетки?

— Все по-прежнему.

— Любо в городе Киеве! Гора — терема, дворы, клетки, семьи...

Через отдушину струится свет месяца, он освещает лицо воеводы Воротислава, его большие, темные глаза, острый нос с горбинкой, длинные усы над тонкими, сжатыми губами.

— А насчет веры ты говорил, Блюд?

— Говорил... Смеется князь: у меня, говорит, за стеной города стоят боги всех земель, аще кто захочет, может поставить идолище Христа...

— Христос не идолище, — раздается в углу, — его не поставишь, он в сердце, без него ныне не проживет ни князь, ни смерд.

Воротислав смотрит, кто это сказал.

— И Владимир придет к тому, мы ему поможем. Так говорю?

— Так, боярин, поможем.

И тогда Блюд, притаившийся в уголке, спрашивает:

— Все так, бояре, и в Киеве я все сделаю. Но как быть с князем Ярополком?

В подземелье наступает такая тишина, что слышно, как звонко падают капли с каменных глыб в родничок... Подземелье, но даже в подземелье боярство Горы живет, думает, заботится только о себе.

— Мы уже сказали, Блюд... Будешь в Киеве, скажи князю Владимиру: мы лишь следом идем за князем Ярополком, ныне мы не его слуги.

Блюда не удовлетворяет такой ответ.

— Сами что делать будем, бояре?

— Ярополка мы уже знаем, обещал печенегов — нет их, сулил ромеев — обманул, знает себя, жену Юлию, а о нас забывает... И с Владимиром будет говорить только о себе. Что ему мы, бояре, воеводы... Вспоили, вскормили его себе на пагубу. Ныне, слышишь, Блюд, не верим ему. Приблизится к князю Владимиру, войдет в силу, много вреда нанесет нам, не поблагодарит за то, что спасли, а мстить станет.

— Чем двум князьям служить, лучше убить одного... — раздается в подземелье голос.

На рассвете поднялись на стены Родни глашатаи с рогами, затрубили в них так, что эхо понеслось над Днепром и Росью. Потом упал мост, распахнулись ворота крепости, вышла из них старшая дружина, вынесла знамена, опустила их долу — город Родня, где сидел со своей дружиной князь Ярополк, сдался.

Вышла старшая дружина и из стана Владимира, подняла с земли и поставила в один ряд со знаменами всех земель знамена Ярополка.

Бледный, с утомленным лицом, с глазами, перебегающими от старшин Владимира к воинам, без меча вышел из ворот и Ярополк. Скорбная усмешка лежала на его тонких губах.

Во дворе Родни в это время уже шумели бояре. Счастливы, сумевшие уберечь своих лошадей, запрягали их в возы, безлошадные напрашивались к своим соседям — всем хотелось поскорее очутиться в Киеве.

Сюда во двор спустилась и княгиня Юлия. Она не торопилась, для нее были приготовлены кони и дружина. Юлия надеялась, что попадет в Киев раньше бояр, а сейчас ей хотелось попрощаться с Ярополком и дружиной.

А из Родни все шли и шли черные от пыли, бородатые, изможденные воины; они с отвращением бросали на сухую землю у ворот свои копья, мечи, стрелы, благодарили богов, спасших им жизнь. Некоторые из них поворачивали в сторону войска Владимира, ибо там находились их отцы и братья, другие же кучками с нескрываемой радостью убегали прочь, к Днепру, к Роси, улетали, как птицы, которые осенью покидают опустошенную, холодную землю. От мрачных черных стен Родни они шли туда, где были вода, хлеб, родичи.

4

Два дня мчались на конях от Родни до Киева Ярополк и воевода Блюд.

Князь Владимир не напрасно велел дать им дружину — несколько десятков вооруженных воинов, ехавших впереди князя и сзади. И в городе Иване, и в Триполье, и везде, где проезжал Ярополк, на него недоброжелательно поглядывали поляне, воины, стоявшие в городах и селах, даже простые смерды. Не будь дружины, все могло случиться с князем на этом пути.

В первый день они скакали до захода солнца, переночевали в Иван-городе, встав очень рано, ехали весь день, но и после захода солнца больше не останавливались. Дружина, да и сам князь Ярополк хотели как можно скорее добраться до Киева. Всю ночь ехали они берегом вдоль Днепра.

Уже начинало светать, когда, миновав на усталых конях Боричев взвоз, князь с дружиной остановились у стен Горы,

Сменилась последняя ночная стража, заскрипели ворота, опустился и лег через ров мост. Воевода, который вышел из черной пасти ворот на мост, долго рассматривал прибывших, взял с собой старшину княжеской дружины и воеводу Блюда, ушел вместе с ними на Гору.

Прошло немало времени, а они все не возвращались. Светало, но утро было серое, пасмурное, с неба моросило, из-за Днепра дул холодный ветер. Голоса и звуки, зарождавшиеся где-то в тумане, казались непонятными и какими-то угрожающими.

Князь Ярополк чувствовал себя нехорошо. Он слез с коня, встал у стены возле ворот, где меньше капало, спрятал окоченевшие руки под корзном и то зажмуривал, то открывал отяжелевшие веки.

Что испытывал князь Ярополк в эти минуты? Неподалеку от него стояли бородатые, вконец утомленные, сердитые дружинники князя Владимира, они говорили о своих семьях, которых им никак не удастся повидать, два дружинника ссорились из-за какой-то черной собаки.

На князя смотрели с городниц стражи. Подняв голову, он увидел их любопытные лица, а один из них, рыжий, с выпученными глазами, оскалив зубы, смеялся.

Наконец воевода, встретивший их на мосту, возвратился. Дружине он разрешил ехать на Подол, а страже приказал впустить на Гору Ярополка.

— Иди за мной, княже! — сказал воевода. Ярополк с опаской прошел через ворота, где шаги гулко отдавались под сводом. Сразу же за воротами стоял Блюд.

— Иди прямо в терем, — обратился воевода к Блуду, а сам остался у ворот.

Так они и пошли — немного впереди Блюд, вслед за ним князь Ярополк.

— Странно! — произнес князь. — Идем без гридней и без дружины.

— А на что они нам? — тихо засмеялся Блюд. — Хорошо, что и так принимают.

И Ярополк подумал, что так, видать, лучше: все прошлое теперь напоминало сон, он жив, он будет жить, вот она — Гора, вокруг все еще спит; вон прошли и скрылись за углом терема два боярина в темных платнах, с черными шапками на головах, с длинными посохами в руках; вот женщина с ведром молока переходит двор, поскользнулась на мокром камне и разлила все молоко.

— Ты видел Владимира?

— Нет, я был с воеводой только в сенях.

— И что же?

— Князь не спит, он, должно быть, уже ждет тебя... Идем вот сюда. Смелее, князь, ступай первым!

Ярополк, миновав несколько каменных, до блеска вытертых тысячами ног ступенек, остановился в сенях. Вслед за ним медленно вошел Блюд и встал у дверей, плотно закрыв их за собой.

Ярополк обернулся и удивленно посмотрел на него. В сенях не было ни воевод, ни князя, только два воина стояли у стены. Воины пристально смотрели на князя Ярополка, взглянули на Блюда и внезапно, выхватив из ножен мечи, бросились вперед.

В сенях прозвучал встревоженный голос Ярополка:

— Что это? Что это?

Он хотел бежать по лестнице наверх. Но воины уже встали на его пути, подняли мечи, пронзили ему грудь... Воевода Блюд открыл двери, еще мгновение — и два воина, бросив мечи, выскочили из сеней... Ярополк некоторое время держался на ногах, потом пошатнулся, начал падать и неистово закричал.

Князь Владимир знал, когда придет Ярополк, — несколько воинов из его охраны сразу после Триполья помчались в Киев, ночью побывали на Горе.

Еще до рассвета Владимир встал, послал к воротам воеводу, велел, как только прибудет Ярополк, пропустить на Гору его самого и воеводу Блюда.

Владимир всей душой стремился теперь к миру с братом. Довольно крови напилась Русская земля, Ярополка покарала сама судьба. Ежели он согласился заключить мир — быть по сему, Русь велика, обоим братьям-князьям найдется в ней место.

Но он хотел поговорить обо всем только с Ярополком, разве еще при воеводе Блуде, поскольку тот приезжал посланцем брата. Пускай Блюд, который был свидетелем их вражды, станет свидетелем мира.

Поэтому когда на рассвете послышались голоса в сенях, а воевода, войдя в светлицу, сказал, что у ворот Горы стоят князь Ярополк, воевода Блюд и дружина, Владимир велел пропустить в терем только Ярополка и Блюда, а дружину отослать.

После этого князь Владимир быстро оделся, вышел в Золотую палату, пересек ее и остановился у лестницы, чтобы здесь встретить брата.

Он слышал, как отворились двери в сенях, слышал шаги двух человек, как видно, Ярополк и Блюда, слышал, как внезапно в сенях стало тихо, потом послышался шум, кто-то закричал.

Это был страшный, неистовый крик. Владимир узнал — кричал брат его Ярополк, крик зародился внизу, в сенях, но эхо вырвалось наверх, заполнило весь терем.

Князь Владимир побежал. Позднее он не мог припомнить, как все случилось. В одно мгновение он очутился в сенях, остановился, увидел распахнутые двери, испуганное лицо Блюда, стоявшего в углу, два меча на каменном полу, а у подножия лестницы князя Ярополка.

Тот лежал, закрыв глаза, на камне, с необычайно бледным, словно меловым, лицом, хотел что-то сказать и не мог — из его груди хлестала и растекалась по камням кровь.

— Что с князем? — крикнул Владимир, обращаясь к Блуду.

Выбросив вперед руки, дрожащие от волнения, Блюд упал перед Владимиром на колени и прохрипел:

— Я все сделал, как ты велел... Мы с князем приехали, пришли сюда... А два гридня накинудись на князя, убили...

Он подполз на коленях к князю Ярополку, принялся причитать:

— Княже Ярополк! Скажи хоть одно слово... О, горе мне, горе мне, как страшен свет, какие страшные люди!

— Встань! — крикнул Владимир Блуду. — Вставай же! Скорее! Скорее! Где убийцы? Где гридни? Ловите головников!

Со двора вбежало несколько воевод, бояр, проснувшись, забегали в тереме дворяне.

— Гридни! — прозвучали уже на дворе голоса. — Гей, стража, сюда! Головники убили князя Ярополка! Ищите их! Ловите их, ловите!

И, возможно, Ярополк услышал этот шум, а может, чувствуя смерть, захотел еще раз взглянуть на свет, попрощаться с ним.

Он открыл глаза, мутным, угасающим взором посмотрел на стены, Владимира, воевод, словно все они были где-то далеко от него.

— Где я? — спросил он, но и голос у него был какой-то чужой, далекий.

— Ты в Киеве, на Горе, это я, брат твой Владимир, стою возле тебя. Я ждал тебя, брат, хотел принять с миром и любовью... Почему ты молчишь? Брат Ярополк, открой глаза, отверзь уста свои!

Но Ярополк уже не говорил, закрыл глаза. Лицо его совсем побелело, еще раз поднялась грудь — и дыхание стихло, замерло навек. Смерть переступила порог княжеского терема.

5

Княжьи емцы и гридни ходили от двора ко двору на Подоле, по всем концам Киева, собирали людей и объявляли, что князь Владимир ищет гридней-головников, которые убили Ярополка, обещает награду тому, кто их найдет.

К вечеру головников нашли на Оболони, в хижине смерда Ражбы. Увидев издалека через отдушину княжьих емцов, идущих вслед за княжескими гриднями, убийцы бросились бежать в леса на склонах Щекавицы, надеясь, что, когда стемнеет, их никто там не найдет.

Но гридни знали, что их ждет награда, не щадили ног, продирались через заросли, настигли беглецов у самого леса, привели их в хижину Ражбы, велели вздуть огонь.

Тем временем пришли и свидетели, которые дали присягу, что эти гридни именно те, что убили князя Ярополка и убежали с Горы. Однако головники, хотя их били дубинами и кулаками, не признавались, заявив, что могут поведать правду только князю.

Так их и повели, уже в темноте, через Подол, мимо Воздыхальницы, через мост и ворота на Горе, а там бросили в темницу, поставили стражу, емцы побежали к тиунам, те разыскали воевод, а уж воеводы двинулись к князю.

Поздней ночью несколько человек сразу застучали в оконницы и двери терема Блюда. Он проснулся, вскочил с ложа, разбудил жену, велел зажечь огонь.

“Не иначе, как из-за Ярополка”, — роились мысли в его голове. Но он сразу же успокоил себя — мертвые голоса не имут, головников-гридней до самого вечера не разыскали, теперь они уже далеко от Киева.

“А может, — промелькнула мысль, — совсем и не в Ярополке дело, может, князю Владимиру что-нибудь понадобится”.

Жена зажгла огонь. Блюд бросился в сени.

— Кто там?

— По слову князя Владимира...

— Сейчас... Сейчас...

Он отодвинул два тяжелых железных засова, открыл дверь. Снаружи в теплый терем пахло ночной прохладой. На крыльце стояли воеводы Владимира, а среди них сосед-купец и боярин Воротислав.

“Что случилось? Почему Воротислав уже тут? Почему он стоит рядом с воеводами?” — думал Блюд.

— Одевайся, Блюд! Князь Владимир зовет!

— Послушай, Воротислав! — попытался отвести его в сторону Блюд. — Что случилось? Почему князь не спит?

— Одевайся и пойдем! Князь ждет тебя... — уклонился от ответа Воротислав. Это окончательно ошеломило Блюда. Почему Воротислав, который был его ближайшим другом, не хочет с ним разговаривать? Изменил, предал, выдал? Впрочем, Воротислав ничего не знает.

— Сейчас, сейчас, — только и нашел что ответить Блюд.

Он бросился в терем, оделся, подпоясался, но меча не пристегнул, вышел.

— Я уже собрался. Пойдем!

Они прошли двором, свернули к княжескому терему. Сзади долго виднелись раскрытые двери терема Блюда и огонек свечи...

Князь Владимир ждал Блюда в людской палате. Вокруг него стояли воеводы, которые пришли с ним в Киев из земель полуночных, но среди них было уже несколько воевод Ярополка. Были тут мужи, бояре, тиуны, емцы.

“О, горе, горе мне, — подумал Блюд, — за кого страдаю?”

— Челом тебе, княже... — начал, низко кланаясь, Блюд.

Князь не ответил на приветствие.

— Что же ты учинил, воевода Блюд? — спросил он. — Зачем так деял?

Блюд попытался улыбнуться, но лицо его сковал страх, ни челюсти, ни губы не шелохнулись.

— Не ведаю, о чем говоришь, — с огромным усилием вымолвил наконец он.

— Не ведаешь? — крикнул князь. — Неужто забыл, что я велел тебе не убивать, а помирить со мной брата?

— Великий княже! — прижал руки к груди Блюд. — Я твой наказ выполнил, я уговорил Ярополка ехать в Киев.

— Правда, ты уговорил его ехать в Киев, но зачем ты убил брата моего?

— Княже Владимир! — ужаснулся Блюд. — Я убил князя? Клянусь всеми богами, я без меча пришел сюда на Гору,

то воины-гридни в сених проткнули его мечами, потому они и бежали...

— Не послушествуй на гридней-воинов ложно и не клянись всеми богами, аще никакого бога в сердце не имеешь. Скажи лучше, за сколько золотников продал душу брата моего Ярополка? Молчишь? Воеводы, введите головников.

Двоих гридней, тех самых, что убили Ярополка, ввели в палату. Они упали на колени.

— Виновны, — говорили они. — Смилуйся, княже!

— Кто подговорил вас убить князя Ярополка? Сколько и кто заплатил вам за смертоубийство моего брата?

— Вот он... Воевода Блюд! — одновременно закричали убийцы. — Он уже раньше уговаривался, ныне опять пришел к нам, дал по сто гривен, сказал, что таков твой наказ. Мы бедные, убогие люди, смилуйся над нами.

— Слышишь, воевода, — обратился к Блуду князь. — Правда ли то, что говорят видоки?

Блюд молчал.

— Выведите их, — приказал князь.

Гридней вывели из палаты. Наступила тишина. Жарко горели свечи. Сквозь раскрытые двери дул ветер с Днепра.

— Видишь, — начал князь Владимир, — кому ты дал в руки меч? Я буду их судить по закону. Но как, по какому закону и покону судить мне тебя, убийцу брата моего Ярополка?

— Помилуй, княже! — завопил Блюд и ударился головой об пол. — То правда, правда, но, верь мне, Ярополк похвалялся, что убьет тебя, он бы и убил тебя...

— Молчи, воевода! — сердито крикнул князь Владимир. — Не тебе судить князей, каждое слово твое обман и лжа... Ты звался Блудом, по правде же ты Блуд, слышишь, Блуд, и только так будут звать тебя люди. По обету своему я тебе как приятелю думал честь воздать, а ныне сужу как предателя и убийцу князя-брата.

Князь Владимир с минуту молчал, потом обратился к воеводам и мужам:

— Возьмите этого головника, что убил брата моего Ярополка, и, как пса... казните палицами! А двор его на поток и разграбление, как велит закон.

Блюда казнили на рассвете в предградьи, над Боричевым взвозом, всенародно, как казнили головников и татей...

Его привели туда, одетого в рваную старую дерюгу, со связанными за спиной руками, поставили перед толпой.

Страшными, широко раскрытыми глазами смотрел на людей Блюд, ища помощи, вертел головой во все стороны.

Но помощи не было. Все в городе знали, что случилось на Горе, нынче бирич еще раз прокричал над взвозом приговор князя.

— Убить его! Во пса место! Убить! Как ^уголовника, как татя! — раздавались голоса.

Блюд упал на колени.

— Пощадите! Пощадите!

И почему-то в эту страшную минуту он вспомнил грушу, под которой был закопан мешок с золотом: погибает воевода Блюд, погибает и мешок с золотом.

— Смилуйтесь! Все отдам!

— Во пса место! Бейте его, бейте!

Гридни подняли палицы, ударили Блюда, и свершился суд. Мертвое тело воеводы покатилося по круче. В тот же день двор его был отдан на поток и разграбление.

6

Князя Ярополка похоронили по греческому обряду — со священником и певчими, на Воздыхальнице, недалеко от могилы княгини Ольги.

Отдать почести князю пришли многие воеводы и бояре, вся Гора, — они знали, как покарал князь Владимир убийцу Ярополка, знали, что он стоит у корсты, будет на погребении.

Из Родни прибыла в Киев и княгиня Юлия, за которой Владимир послал гонцов, — печальная, усталая после дальней дороги, стояла она в темном платне, с покрывалом на голове у тела своего мужа.

Владимир присутствовал на похоронах, шел за саними, на которых везли дубовую корсту, склонил голову, когда корсту ставили в каменную гробницу, первый бросил горсть земли на свежую могилу.

Потом справляли тризну. Так требовал обычай, так, Владимир слышал об этом, хотели бояре, так, чудилось ему самому, легче будет помириться если не с братом, то хоть с его душой.

Тризну справляли в гриднице, князь Владимир приказал ничего не жалеть, столы ломились от всевозможных яств, повсюду у стен стояли кадки с медом и олом, угощение расставили на Горе, в предградьи и на Подоле.

Много народу собралось в гриднице: тут были воеводы, которые пришли в Киев с Владимиром, но еще больше воевод, бояр и мужей, которые бежали с Ярополком в Родню, а нынче уже были тут — они потихоньку лезли, пробирались на тризну.

Никто из них, разумеется, не говорил о покойном князе: его уже не было на Горе, душа его витала в раю; те, кто недавно поддерживал Ярополка, славили теперь князя Владимира, пили за него мед и ол, желали ему счастья, здоровья, славы.

Князь Владимир тоже пил, выпил, пожалуй, не меньше других, но меды и ол не пьянили его, был он в этот вечер спокоен, встревожен.

О, кто-то, а уж он знал цену словам, рассыпавшимся, словно золото, перед ним. Тут сидели мужи, которые были врагами его отца, к нему подходили с лстивыми речами те, кто подстрекал Ярополка, — это пела на все голоса, славила князя та Гора, что выгнала за стены города его мать.

Пришла на тризну и Юлия. Она сидела с боярскими женами, те поддерживали ее, утешали. Было поздно, когда она встала из-за стола, незаметно отошла, исчезла в переходах.

Владимир чувствовал, что и он не в силах здесь больше сидеть: тризна справлена, душа Ярополка может успокоиться. Князю захотелось быть в своей светлице, остаться наедине со своими мыслями, просто отдохнуть.

Он встал из-за стола, попрощался с боярами и воеводами, прошел в конец гридницы, оттуда направился переходами в терем, прошел через сени, где стояла молчаливая стража, и стал подниматься наверх. Шум голосов в гриднице остался позади, наверху было тихо и темно, один только светильник горел в конце переходов, разливая вокруг желтоватый свет. В такой полутьме князь направлялся к своей светлице, звук его шагов глухо отзывался в длинных переходах.

И вдруг он остановился. У дверей Золотой палаты стоял кто-то в темном. Вот человек шевельнулся.

— Кто ты? — спросил князь.

Незачем было и спрашивать. Сделав еще один шаг вперед, Владимир узнал княгиню Юлию.

— Княгиня! — произнес он. — Почему ты здесь стоишь? Почему не идешь отдыхать?

— Я знала, что ты тут пройдешь, и ждала тебя, — тихо ответила она.

— Зачем же ты ждала меня?

— Я хотела поблагодарить тебя за то, что послал за мной гонцов и что сам отдал погребальную честь моему мужу, а твоему брату Ярополку.

— Зачем ты говоришь это, княгиня? Я не был и не мог быть врагом своего брата, токмо правды искал я в сваре, которая возникла между нами. Верю — злые, темные силы овладели его сердцем, те, кто называл себя его друзьями, были его врагами. Много крови пролил Ярополк, но понял свои заблуждения, шел ко мне, и я готов был принять его как князя и брата. Так бы и было, мы бы помирились, но враги, ты знаешь об этом, неожиданно убили его... Что ж, с живым Ярополком я ссорился и боролся, ныне же примирился с его душой... Да будет прощен твой муж, а мой брат, да успокоится душа его в высоком небе.

— За это и благодарю тебя, княже Владимир.

— Не нужно, княгиня Юлия, успокойся, иди в свою палату, отдохни, ты устала после дальней дороги, погребения и тризны. Пойдем, я провожу тебя, княгиня.

И он проводил ее от дверей Золотой палаты в конец переходов, где жила княгиня Юлия.

— Спасибо тебе за все заботы, княже. — Юлия остановилась у светильника, стоявшего у дверей ее палаты. — Только как могу я успокоиться и отдыхать? — в ее голосе слышались сдерживаемые рыдания. — Добро тебе, сущному князю, добро мужу моему Ярополку, ибо он уже в раю небесном, но каково мне? Нет у меня тут, в Киеве-городе, ни рода своего, ни племени, ни радости, ни счастья! Одна среди множества людей, всем чужая. Только одну вижу перед собой дорогу — такожде смерть.

Его сильно поразили ее слова, ибо, так повелось с детства, так было и сейчас, он сам чувствовал себя одиноким на свете. Но почему Юлия говорит об этом?

— Княгиня! — заговорил Владимир. — Как можешь ты так говорить? Почему смерть? Ты, как я слышал, знатного, царского рода, ты была женой брата моего Ярополка, а ныне — вдова; как ему воздавали честь и славу, так будут воздавать и тебе. Хочешь — тебя достойно проводят в Константинополь, к твоим родным, хочешь — терем на Горе будет навсегда твоим домом.

— Моим домом? — горько рассмеялась Юлия. — Какой же это мой дом? Не княгиня я нынче, а хуже рабыни. О, суетный и страшный свет! Я боюсь его, боюсь его, княже!

Владимир молчал. В кратких словах Юлии он почувствовал и угадал большое, настоящее горе женщины, у которой была отчизна, честь, слава в Константинополе, но

которая уехала в чужую землю, стала княгиней в Киеве, а теперь и в самом деле всем здесь чужая.

В эту минуту он ясно увидел лицо греческой царевны, освещенное огоньком светильника, прикрытый черным покрывалом лоб, темные, прямые, похожие на две стрелы брови, большие глаза, на дне которых играли голубые огоньки, прямой нос, упругие сжатые губы, а на щеках несколько сверкающих жемчужин — слез.

И что говорить, его поразила дивная, необычайная красота гречанки, в душе шевельнулась зависть к тому, кто обвинял это молодое, гибкое тело. Он тут же подавил это чувство, князю Владимиру хотелось только помочь овдовевшей женщине в ее большом горе, утешить ее ласковым словом.

— Напрасно ты говоришь так, княгиня, — сказал он ей. — Я знаю, у тебя большая, непоправимая утрата — смерть Ярополка, погребение и эта страшная ночь... Завтра все будет позади, начнется новый день, я, верь мне, помогу тебе во всем. Успокойся, ступай, отдохни, Юлия! — ласково закончил Владимир.

— Да, ты говоришь правду, — задрожав, сказала Юлия. — Прошедший день, эта ночь — о, они так страшны! И не утешай меня, княже, я знаю, тяжело, о, как тяжело мне будет жить. Ты говоришь, что поможешь мне, спасибо, спасибо за все, княже Владимир... Но что поделаешь, я слабая женщина, всего стала бояться, боюсь даже идти сюда, в палату, там мне чудятся тени, там страшно, слышишь?

— Что ты говоришь? — засмеялся он. — Какие тени, откуда?

— О, это так... Я боюсь, боюсь, княже...

Она протянула к нему руки, он взял их в свои и почувствовал, какие у нее холодные пальцы. Царевна сильно сжала его руки, он ответил таким же пожатием.

— Княже! Проводи меня, побудь немного со мной в палате.

Владимир отвел от нее взгляд, посмотрел в глубину переходов.

— Здесь нет никого, — совсем тихо прошептала она. — Никто не услышит, не увидит... Умоляю, сжался, проводи меня.

Она открыла дверь, переступила порог светлицы. Там горела свеча в подсвечнике. Через раскрытое окно с берега Днепра доносились голоса воинов, в углу водяные часы вели счет времени: "Ка-ап... ка-ап".

— Иди, княже, иди!

Владимир вошел в светлицу, остановился. Юлия задвинула засов на двери.

— Видишь, — с легким вздохом произнесла она. — Вот моя палата.

— А тени? — со смехом спросил Владимир.

— Княже Владимир! — едва усмехнулась и Юлия. — Какие могут быть тени, раз ты здесь?! Тени остались там, в переходах... Садись, княже, ты мой желанный гость, жаль только, что мне нечем тебя поподчевать.

— Я зашел не есть и пить, мы ведь после тризны.

— Да, тризна окончена, все теперь кончено, княже... — слезы блеснули на ее глазах.

— Не говори так, Юлия! И не плачь! Кончилось все злое, недоброе, у каждого из нас есть потери, у каждого болит сердце, но нам, живым, только жить и жить...

— Спасибо тебе, княже! Я уже не плачу и не стану плакать! Как хорошо, что ты зашел нынче ко мне!

Оба умолкают. Наступает тишина. Горит свеча. В палате покойно, тени исчезли. Жизнь так проста, обычна.

— Спи, княгиня!

— Прощай, княже! Но не забывай меня. Я так одинока тут, на Горе.

...На следующий день князь Владимир едет с дружиной в Белгород над рекой Ирпень, осматривает там древнюю крепость, советуется с воеводами, как ее перестроить, где соорудить новые стены, где насыпать валы, чтобы никто не мог подступить к Киеву с запада.

Но не только за этим ездил Владимир в Белгород. После всего, что случилось, перед великими делами, которые нужно было совершить, он хотел хотя бы один день побыть в одиночестве, в поле, над Ирпень-рекой, катившей среди зеленых лугов свои воды на восток к Днепру.

Он хотел даже заночевать в Белгороде, палатах, где под потолками гулко отдавались звуки шагов, деревянные стены терпко пахли смолой и воском, в подземельях однозвучно падали капли.

Однако Владимир так и не заночевал здесь. Вечером, взойдя на крепостную стену, он долго смотрел, как заходило, падало в небесную пропасть багряное солнце, а над Ирпенем и лугами начали подниматься; клубясь, белесые туманы, похожие на всадников, которые, наклонившись в седлах, погоняют своих коней; смотрел, как быстро посинело небо, а в нем загорелась вечерняя заря, как ей в ответ на

севере и востоке отозвались-запылали большие и малые звезды.

Почему же у князя Владимира стало так беспокойно, тревожно на душе в этот час? Нет, то были не беспокойство, не тревога. Глядя на небо и звезды, он почувствовал, что ему трудно ночевать в этой старой крепости. Едучи сюда, он хотел побыть один, а теперь, ощутив свое одиночество, уже боялся его.

Черные всадники гнали коней по прямой дороге, тянувшейся между двумя высокими стенами леса. Через какой-нибудь час вдали замигало несколько огоньков — то был Киев. Осадив коней, всадники проехали Подол, предградье, миновали ворота Горы.

В тереме было пусто и тихо. Внизу, в сених, горели два светильника, при свете которых виднелись неподвижные тени стоявших на страже гридней. Попрощавшись с ними, князь Владимир поднялся по лестнице наверх.

Там, в конце переходов, горела единственная свеча. Женщина в темном платне, увидев князя, хотела было исчезнуть в глубине переходов, но остановилась, оглянулась.

— Княгиня Юлия? Уже поздно. Почему ты не спишь?

Лицо ее было страшно бледно, в мерцающем свете глаза казались испуганными, растерянными, губы были сжаты, словно она старалась сдержать крик.

— Ты приехал, княже! О, как это хорошо... Я знала, верила, молилась, чтобы ты оказался здесь...

— Погоди, Юлия! Почему ты молилась?

— Мне страшно, княже...

— Почему?

Она двинулась вперед. Князь Владимир пошел за ней. У дверей своей палаты Юлия на мгновение остановилась.

— Ты зайдешь ко мне, княже?

— Да, зайду.

В палате Юлии все было так же, как накануне. Впрочем, не совсем. В эту ночь окно, выходившее к Днепру, было завешено, на столе стояла корчага вина, кубки, яства.

— Сегодня ты поужинаешь и выпьешь.

— Я ужинал в Белгороде.

— Неужели ты не выпьешь за добрую память брата Ярополка?

— За добрую память брата выпью. Налей!

— Вот так, — произнесла она другим, осмелевшим голосом. — Я сяду тут, возле тебя, княже... Ты позволишь?

— Почему же нет? Садись. Что ты дрожишь?

— Мне холодно, княже...

— Холодно? — он снял с себя корзно и накинул ей на плечи. — Но ведь тут у тебя так тепло.

— Спасибо, княже! У меня холод был в душе... Ты выпил? Сейчас и я выпью. Это хорошее вино, греческое... Вот я еще раз наполню кубки. Выпьем! Я хочу выпить за тебя, Владимир, а ты за кого пьешь?

— Я должен выпить за тебя!

— Должен?

— Нет, хочу!

— Спасибо, Владимир! О, как мне теперь стало тепло, покойно. Это потому, что я с тобой. Но только почему так темно?

— Это догорает свеча. Дай другую.

— Я ждала тебя очень долго, все свечи сгорели. Я пойду поищу.

— Нет, не нужно. Пусть гаснет. Посидим так. К тому же я скоро уйду.

Свеча мигнула еще раз и погасла. В это мгновение, последнее мгновение, когда вспыхнула свеча, Владимир увидел глаза Юлии, большие, темные, жгучие. Наступила темнота, а глаза эти все стояли перед ним.

— Темно и тихо, — произнес Владимир.

— Неужели ты оставишь меня? — слышался в темноте ее голос. — Княже, слышишь, мне будет страшно...

Она искала его руки, он почувствовал ее пальцы на плече, на шее.

— Так хорошо, — совсем близко слышался ее страстный голос. — Мне с тобой так покойно, тихо... Ты хороший, ты очень добрый, княже...

— Чем же я хороший? Ты знаешь обо мне все... Сын рабыни... Ярополк, должно быть, не раз говорил тебе об этом.

— Говорил, — подтвердила Юлия. — Но его уже нет, ты не сын рабыни, а великий князь.

— Все равно, тень моего брата стоит между мною и тобой.

— Нет, Владимир, теперь уже нет и тени. Признайся, ты любишь другую...

— В городе Полоцке я нарек женой княжну Рогнеду. И, может быть, я люблю ее.

— Может быть?! Нет, ты не любишь ее, раз так говоришь. Ты никогда никого не полюбишь. Твоя нареченная далеко, мы одни. Может, ты никогда не переступишь порога

моей светлицы, я никогда не напомним тебе о себе... только побудь со мной эту ночь...

Князь Владимир не знал, что с ним творится. Он боялся этой женщины — и очень желал ее. Он знал, что недавно ее обнимали руки его брата, но ничего не мог поделать: в его сильных объятиях трепетало тело Юлии...

7

В княжеском тереме тихо, молчаливая стража стоит в сенях, наверху не слышно ни голосов, ни шума, там все отдыхает, молчит.

Не спит только ключница Пракседа. Она допоздна прибирает трапезную, потом выходит в сени, поднимается по лестнице. Стража не обращает на нее внимания, такая уж у ключницы работа: когда князья спят, она должна думать о дне грядущем.

И Пракседа, словно привидение, ходит из палаты в палату, осматривает засовы у кладовых, где спрятаны княжеские одежды, ступает по переходам так тихо, что даже самое чуткое ухо не услышало бы ее шагов.

Она доходит до покоев, где живет княгиня Юлия. Тут Пракседа останавливается, — должно быть, в палате догорела свеча, нужно ее сменить. А может быть, княгине Юлии еще что-нибудь понадобится, греческая царевна привередлива, не дай бог не угодить ей чем-нибудь.

Пракседа не любит княгиню Юлию — слишком уж она горда, ни во что не ставит ключницу. Сейчас, правда, все изменилось, Юлия всего лишь вдова князя, скоро князь Владимир, и об этом слыхала Пракседа, привезет себе жену Рогнеду из города Полоцка. Служила ключница Юлии, будет служить и Рогнеде, а если понадобится, сумеет прислужиться к обеим. Ключница идет все дальше и дальше по переходам терема.

Но что это?! У дверей светлицы Юлии она останавливается, замирает, слушает, прикладывает ухом к двери.

И долго, настороженно, стараясь даже не дышать, прислушивается, прижавшись к дверям, Пракседа. Она слышит: вот голос князя Владимира, вот голос Юлии... Тишина, снова голос Юлии, опять голос Владимира, тихий шепот обоих...

Так проходит немало времени. Где-то внизу, в сенях, слышится топот ног и голоса. Пракседа отступает от двери, идет в полутьме обратно, медленно спускается в сени,

внешне спокойная, задумчивая, погруженная в хлопоты, и стража, как и прежде, не обращает на нее внимания. Ключница... Да, мало кто задумается над тем, что это за женщина расхаживает в темноте, позвякивая ключами, кое-кому кажется, что это даже не человек, а привидение, которое бродит и должно бродить в княжеском тереме. Такими и в самом деле бывали ключницы киевских князей — Ярина, а после нее Малуша. Они, как тени, появились в тереме, как тени, и ушли отсюда, в рубище, убогие, бедные. Для кого они жили? Для князей, их детей, внуков — только не для себя.

Нет, Пракседа не похожа на других ключниц — на Ярину и Малушу. Внешне она такая же, как они, — убогая, годами старая, она ведь служила еще княгине Ольге, помнит юного Святослава, Владимира, когда он был младенцем, — вся жизнь прошла в княжеском тереме, вся жизнь для князей, как и у Ярины, у Малуши.

Но у Пракседы душа совсем иная. Она заботится о князьях, но не забывает и о себе, стережет княжеское добро, но печется и о своем, живет не в убогой каморке, где когда-то бедствовала Ярина и где Малуша погубила свою молодость. Нет, у Пракседы свой дом в саду за княжеским теремом, в этом доме у нее немало всякого добра, в руках у нее ключи от княжеских богатств и от своих собственных.

А в эту ночь в ее руки попал ключ, какого она еще никогда не имела...

8

Через раскрытые окна в переходы вливается свежий, напоенный запахами цветов воздух; в темном небе еще мерцают, переливаются звезды, но далеко за Днепром уже окрасилась багрянцем туча, нависшая над небосклоном, — скоро рассвет.

Князь Владимир идет по переходам терема, не слышит запаха трав, не видит сияния звезд. Часто останавливаясь, он осторожно ступает по деревянным половицам, задерживается у лестницы, куда пробивается желтоватый свет из сеней. Слышны тихие голоса гридней, которые там, внизу, беседуют о своих делах.

Тише, тише, ему кажется, что половицы гремят под ногами, на лестнице ему чудится чья-то тень, он отчетливо

слышит шаги... Да, нет, никого, еще шаг, еще шаг — теперь открыть дверь.

Вот наконец Золотая палата. Князь открывает дверь. Тихо скрипят петли. Ему кажется, что гремит весь терем. Дверь закрыта, о, наконец он в тиши Золотой палаты, еще одна дверь, за ней опочивальня, ложе...

Немного, несколько минут хотя бы посидеть, закрыв глаза. В тереме тихо, князь Владимир один в опочивальне, нужно подумать, осознать, что случилось.

А случилось страшное. Тут, в тереме, где в сенях запеклась кровь брата и камень хранит ее следы, он провел ночь с его женой.

Вино? О нет, он был трезв, помнит каждое слово, которое сказала ему Юлия, твердо знает, что говорил сам.

Страсть, неукротимое безумие? Нет, не то, ибо и во время тризны, и когда он ушел из гридницы, и даже с Юлией в ее палате он был грустен, печален, думал о погибшем брате Ярополке.

А может, это лукавство, искушение темных сил мира? Какое же лукавство, он ни в чем не покривил душой, сказал о себе всю правду, и Юлия словно бы ничего не скрывала от него, говорила правду о себе, просила защиты, ласки, теплого слова на одну только ночь...

Одна ночь! Да, человеку порой кажется, что в долгой жизни одну ночь можно забыть, продолжать жить, как раньше.

Сможет ли князь Владимир забыть когда-нибудь эту ночь, сможет ли жить дальше так, как прежде, свободно, спокойно? Будет ли эта ночь единственной и последней? Ужас перед тем, что случилось, овладел им, сердце сжималось от невыразимой тревоги.

Где-то в тереме послышался шум, пришла новая смена стражи, в сенях собираются бояре и воеводы, мужи лучшие и нарочитые, тиуны и ябедьники. Вот ударили била на городницах, над Киевом встает новый день. Сейчас постучат в двери — князю пора выходить, спускаться в трапезную, принести жертву богам и вкусить от яств, а потом идти в Золотую палату, где уже собираются мужи градские.

Одиннадцатый день июля лета 6486*, да, в этот день князь Владимир должен сесть на стол своих отцов. В Киев

* 6486 год — год 978.

прибыли князя, бояре, мужи нарочитые со всех земель, от Студеного до Русского моря. Он остался один из Святославичей и должен выполнить завет отца, взять на свои плечи бремя тяжкое.

Близко в переходах слышны шаги, идут мужи... Князь Владимир вскакивает, надевает сорочку и ноговицы, белос платно, прикрепляет к поясу меч, набрасывает на плечи корзно и останавливается посреди палаты. Он суров и задумчив — начинается великий день. Шум в переходах нарастает, слышен гомон и во дворе — то шумит, кличет князя Владимира Русская земля.

Вот стучат в двери.

— Войдите, мужи! — громко произносит Владимир.

Двери раскрываются. Входят несколько воевод и бояр. Они пришли отдать честь князю, позвать его.

— Челом бьем тебе, Владимир-княже!

— Спасибо вам, мужи мои!

Светает. Уже сквозь узкие решетчатые оконца видно, как тускнеют звезды и синее небо, сияние нового дня смешивается с желтыми огоньками свечей.

В это утро в Золотой палате было гораздо больше людей, чем обычно. Тут стояла не только Гора, но и воеводы, бояре, мужи нарочитые со всех концов Руси; от тиверцев и уличей — с юга, родимичей и полочан — с запада, веси, мери, чуди — с северных земель. Посредине же стояли новгородцы: им принадлежали честь и слава, ибо с ними начинал поход князь Владимир, сражались они достойно, не щадили живота, многих из них не стало.

Тут, в Золотой палате, сошлись не единомышленники. Лишь вчера многие из них желали друг другу гибели, сходились в бою, рубились не на жизнь, а на смерть, да и в это утро не все еще перекипело в их сердцах, они не остыли еще от воинственного пыла, мужи каждой земли стояли отдельно, а мужи киевские разделились надвое: те, кто ждал Владимира, стояли впереди, бежавшие в Родню жались по углам.

Но никто из них не высказывал своих мыслей, в палате было тихо, и только слуги время от времени проходили вдоль стен, снимали нагар со свечей, разносили в чашах мед и воду.

В мерцающем, призрачном свете на темных рубленых стенах палаты ясно выступали, играя золотом и серебром,

доспехи и оружие прежних князей. В конце Золотой палаты на помосте стояли два кресла с резными поручнями и ножками, над ними сияло знамя князя Святослава — два перекрещенных копья. Но рядом с ним стояло еще одно знамя — князя Владимира: три скрещенных копья с зубцами, которые вырастали из одного древка. Так велел обычай: к копьям деда и отца новый князь добавлял свое копьё.

Пустые кресла на помосте! На них в свое время сидели древние князья, затем Олег и Игорь, княгиня Ольга и Святослав, совсем недавно здесь сидели Ярополк и Юлия. Ныне одно из кресел уготовлено было новому киевскому князю.

И вот в длинных переходах заблестели огни, послышались шаги, из дверей вышли несколько воевод, встали по обе стороны, а вслед за ними выступил из темноты князь Владимир.

— Здрав будь, княже! Челом князю! — закричали все.

Он остановился на помосте перед креслами, поклонился, отвечая на приветствия, оглядел наполненную людьми палату, взялся рукой за меч.

— Пошто кликали меня, мужи и дружина? — прозвучал его голос. — Я пришел и слушаю вас...

— Волим иметь князем на киевском столе, — слышался ответ. — Волим иметь великого князя и на всю Русскую землю.

Он помолчал немного и сказал:

— Дружина моя, князья, воеводы, бояре, люди Руси! Добро, что собрались вы тут из дальних и близких земель, со всех украин пришли сюда и покликали также меня, чтобы посадить в городе Киеве князя и говорить о потребах наших. Не зла хотя городу Киеву и земле Русской, шел я сюда из далекого Новгорода, люди. Не смуту и усобицу хотел учинить на Руси. Ведаете сами: брат мой Ярополк убил брата Олега, сидя на столе отца нашего в Киеве, восхотел пойти на Новгород и на всю Русь. Потому новгородчи и с ними земли полунощные, а на великом Днепре и другие земли пошли с нами сукупно, в честном бою разбили дружину Ярополкову, а потом уж не мы, а убийцы и изменники мечами пронзили его грудь.

— Не ты, княже, убил Ярополка, боги и земля его покарали, — кричали в палате.

— Что Ярополк, что его дружина — одинаковы. Отступники они от веры отцов наших! Нехорош Ярополк, сын Святослава.

Но не все были единодушны. В палате было много людей, знавших происхождение князя Владимира. Да и сам он не мог забыть, что в давние трудные дни, когда отец отправлялся на брань к Дунаю, он, зная хищные мысли Горы, посадил в Киеве князем не его, старшего сына, а Ярополка, ибо он, Владимир, был сыном рабыни. А разве теперь Владимир переменялся, разве иной стала кровь в его жилах, разве перестал он быть сыном рабыни?

— Спасибо вам, — сказал он, — за такие слова. Хорошо, что в Киеве утверждаются старые законы и поконы и вы согласны их защищать... На том и будем стоять, мужи, на том от века стояла Русь. Должны мы, мужи, подумать и о другом: я сделал свое дело, вместе с воями новгородскими пришел сюда, вы пошли за нами. Но я новгородский князь, кличет меня Новгород и вся полунощная земля, жизнь там нелегка — многие враги идут на нас с полуночи.

— Быть тебе, княже Владимир, в Киеве-граде, на столе отца.

— Просим тебя, Владимир, быть нам князем.

— Владимира! Владимира!

Поддержали и новгородцы. Тысяцкий Михайло выступил вперед, перекричал всех:

— Сидеть Владимиру в Киеве... Голос его мы услышим, будет надобность — вече решать будет. Посадник твой у нас есть, княже.

И еще громче в палате зашумели, закричали:

— Просим Владимира! Быть тебе князем! Стол отца Святослава кличет тебя, княже!

Стол отца! В самое сердце молодого Святославича врезались эти слова, припомнил он последний разговор с отцом, его спокойный голос:

“Запомни, что мать твоя — роба, но никогда не стыдись этого, сила не в том, что один — князь, а другой — робиич, сила в том, кто из них любит Русь, людей наших, землю... Люби и ты ее”.

Он сделал шаг вперед, воеводы взяли его под руки и посадили на кресло.

— Сел на столе великий князь Владимир!

Все в палате закричали:

— Славен князь Владимир!

Нужно было выполнить еще один древний обычай: воеводы взяли с пола заранее приготовленный кусок дерна, положили его на голову князю, от него отрывались и сыпались

на шею, спину, грудь комочки земли — той родной земли, которая всему дарует жизнь, но которая и карает.

— Где еси, княже?

— Под землею и людьми моими.

— Будешь ли верно служить людям?

— Даю роту.

— А если отступишь?

— Пусть меня поглотит земля...

Кусок дерна развалился на голове, комья земли сыпались и сыпались на пол.

9

С тех пор как ушел Владимир, Юлия не спала, она лежала в темноте с открытыми глазами, слышала, как постепенно в тереме разрастался гул, как на стенах Горы ударили в била и шумно спускалась по лестнице ночная стража, как из водяных часов вытекали последние капли.

Какая длинная и вместе с тем короткая ночь осталась позади, как много событий свершилось под ее покровом, как быстро ушел в небытие мертвый Ярополк, а место его занял другой, живой, князь Владимир.

Мертвый. А был ли живым для Юлии Ярополк при жизни, когда предложил ей стать его женой, а потом делал для нее все, что она хотела, обнимал ее, целовал, ласкал?

Да, она отвечала на его ласковые слова, принимала, как должное, подарки, обнимала и целовала, отдавала жар своего молодого тела, но никогда не любила и не могла любить.

И как, почему Юлия должна была любить? Она ехала сюда, в Киев, никогда не видев ранее князя Ярополка, она вступила с ним в брак, думая, что будет сидеть рядом с ним на столе киевских князей и выполнять волю императоров Византии. Это она и делала — сев на стол, подстрекала Ярополка идти войной на брата Владимира, убить его и стать единственным великим князем Руси.

Но Ярополк оказался беспомощным и жалким, он не сумел совершить то, чего от него ждали императоры ромеев, он не сделал того, на что надеялась, чего хотела Юлия. Вот почему теперь он сразу стал ей далек, перестал существовать для нее...

А потом свершилось то, о чем думала Юлия, идя за корстой Ярополка. Была тризна — и это было последнее напоминание о Ярополке. Во время похорон и позже, в

гряднице, она увидела Владимира, потом ушла в терем, стояла, ждала его...

Кто-то постучал в дверь.

— Это ты... Пракседа?

— Я, княгиня...

— Входи!

Со свечой в руке Пракседа тихими, неслышными шагами вошла в палату.

— Я приходила к тебе, княгиня, ночью, думала, что догорела свеча... Но в палате было тихо...

— Да, ключница. Я очень устала дорогой, а потом похороны, тризна... и вчера я, как только вошла сюда, упала на ложе и заснула.

— Оно и лучше, княгиня, во сне человек забывает свое горе...

Пракседа поставила на стол рядом с корчагой и кубками свечу.

— А что слышно сегодня в тереме?

— Князь Владимир вокняжается, уже собрались в Золотой палате все бояре и воеводы, присягают ему, а скоро пойдут на требище. Уж, как видно, идут туда. Слышишь, как шумит Гора?

Княгиня Юлия быстро поднялась с ложа, надела легкое платно, шагнула к окну. Следом за нею подошла и Пракседа.

— Вот, княгиня, он вышел из терема, спускается по ступенькам, идет к требищу.

Княгиня стояла у окна. У нее было слегка усталое, очень бледное лицо. Чтобы удержаться на ногах, она опиралась руками на подоконник.

Ключница Пракседа, остановившись сзади, пристально следила за княгиней, за каждым ее движением, особенно же за лицом, — от нее не скрывались беспокойство, тревога Юлии.

Юлия не отрывала глаз от многочисленной толпы, которая с факелами в руках двигалась по двору. Она смотрела на князя Владимира, который шел, окруженный своей дружиной, ждала, посмотрит ли он на окно той палаты, где был прошлой ночью?

Князь Владимир не взглянул на окно. Задумавшись, склонив голову, шел он под знаменем, смешался с толпой, шедшей через ворота за Гору.

На губах Пракседы промелькнула хищная усмешка.

Князь Владимир сел на столе своего отца. Настороженная Гора, разбушевавшиеся предграды и Подол ждали, что скажет новый князь, на кого обопрется, кто станет его поддерживать, какой закон станет охранять — старый или новый, каким богам будет поклоняться.

И не только Киев — с князем Владимиром пришли сюда воины северных земель, в пути и во время браней к ним присоединились полочане, северяне, древляне, поляне, они тоже хотели знать, на кого ныне будет опираться князь, кому будет служить?

Владимир сделал то, чего желали дружина и люди, — в Золотой палате поведал, что будет беречь старые обычаи и законы, защищать будет Русь.

А вера? Да, князь Владимир должен был ответить и на этот вопрос, потому что здесь, в Киеве, на Горе, жили люди старой веры, но многие, а возможно, и большинство, уже приняли христианство; за стенами на Подоле тоже было много христиан, в разных землях молились многим и разным богам.

Взять христианство? У кого его взять, откуда? Нет, и сам Владимир, и дружина его, да и весь народ еще не были готовы к этому, христианство ныне — знамя Византии, лютых врагов Руси.

Молиться Перуну? Вот он стоит на третище за теремом, суровый бог Руси, которого Гора сделала когда-то своим богом, которому она, возможно, и ныне готова поклоняться.

Нет, Владимир не будет молиться старым и новым богам Горы, которая вспоила и вскормила убийц Ярополка, он будет служить Руси, которая поддержала, грудью встала за него в этот многотрудный час.

— Хочу, — сказал он, — чтобы богам нашим молились все люди.

И несколько дней и ночей до того на холме, недалеко от Воздыхальницы, рыли землю, готовили третище. Множество древоделов, камнетесов, золотых и серебряных дел мастеров тесали дерево, вырезали статуи, украшали их, расставляли полукругом, перед ними соорудили каменный жертвенник.

В самой середине высился вырубленный из старого, покрытого узлами и прожилками дуба Перун. Мастера-древodelы, которые вытесали его, сделали из дерева длинные,

опущенные вниз руки, широкие плечи и высокую, похожую на жеинскую, грудь, вырезали на его туловище подобие брони, широкий пояс, меч, тул со стрелами, а кузнецы выковали богу большую серебряную голову в шлеме, приделали золотые усы.

По правую руку от Перуна стоял Дажьбог, он был гораздо ниже, толстый, с большим животом, со сложенными впереди руками; слева — Стрибог, сделанный из четырехугольного камня, в большой шапке, из-под которой смотрели на все стороны света четыре лица. За ними стояли добрый Белобог, злой Чернобог, Волос.

На требище были боги не только Полянской земли. С князем Владимиром пришли воины верхних земель, у которых свои боги. Отныне Киев будет защищать все племена и языки, у каждого из них свои обычаи и боги. На требище стоял бог далекого севера Микоша, у которого было человеческое туловище и бычья голова, Смарагл, которому молились гости из-за Итиль-реки, различные чудища, на которые страшно было смотреть. Суровые, немые, непонятные стояли эти кумиры, вокруг них на высоких кольях белели черепа животных, в воздухе над требищем, чуя добычу, кружилось воронье.

Когда князь Владимир с воеводами, тысяцкими, боярами вышел из ворот Горы и направился вниз, до него донесся крик множества людей, толпой стоявших возле нового требища, сгрудившихся на холмах. Многие даже влезли на деревья.

— Слава, слава князю Владимиру!

На требище уже пылали костры, ржали кони, ревели быки, которых должны были принести в жертву. Жрецы, надев страшные личины, били в бубны и расхаживали среди богов, отсветы костров озаряли суровые лики кумиров.

Крики огромной толпы не умолкали, и Владимир, дойдя до требища, обернулся к своим людям.

— Слава, слава Владимиру! — разносилось в воздухе.

Душа молодого князя взыграла, он был доволен. Кого хотел покорить Ярополк, на кого он надеялся? Вот стоят тысячи ремесленников, кузнецов, древоделов из предградья, простых робких людей с Подола и Оболены, воины со всех земель Руси, они охраняли и будут охранять старые обычаи, пролили за это много крови и вот собрались здесь, чтобы молиться старым богам, дали роту блюсти старые законы и обычаи.

Он высоко поднял правую руку, и его движение поняли все — князь Владимир с ними, сейчас он будет вместе с ними молиться, сын Святослава Владимир никогда не изменит законам и обычаям отцов своих.

А потом он посмотрел по правую и левую руку, где должны были стоять князья земель, посадники, мужи лучшие и нарочитые, воеводы и бояре, дружина — еще одна сила.

Их было много: тут были воеводы и тысяцкие, которые пришли с ним с севера, множество воевод, посадников, мужей нарочитых, присоединившихся к ним в дальнем пути, князья земель и мужи, которых прислали в Киев Древлянская, Черниговская, Переяславская земли.

Но князь увидел здесь мало бояр и мужей лучших и нарочитых с Горы, они смело шагали рядом с ним до ворот, а там, как видно, отстали.

“Не хотят молиться Перуну, — подумал Владимир, — что ж, мои люди заставят их уважать старый закон и покон!”

И не было тревоги в душе Владимира — ему казалось, что он выполнил завет отцов своих, что мир и лад снова вернулись в город над Днепром, что властвует ныне и вовеки будет властвовать старый закон и обычай, что умиротворил он не только людей, но и богов их.

— Боги, — обратился он к кумирам, как всегда обращались к ним перед тяжким трудом и после него люди, и поднял руки.

— Боги! Я просил вас помочь людям моим.

Благодарю вас, боги, что услышали молитву нашу.

Благодарю вас, что даровали нам победу над врагами.

Боги! Утвердите и впредь труды наши.

Даруйте нам победу на брани и мир на земле!

Главный жрец Перуна закричал неистовым голосом, ударил изо всех сил в бубен, вместе с ним закричали, завопили и забили в бубны еще десятки волхвов; мужи, женщины и дети, которые пришли на жертвоприношение, завопили вслед за ними, воины угрожающе забряцали мечами, ударили в щиты.

Князь Владимир снял с себя оружие, начал приносить благодарственную жертву. Древняя языческая Русь, по закону и обычаю, такому же древнему, как горы и Днепр, молилась богам своим.



ак и прежде, живет древний город Киев над Днепром. Отшумели Гора, предградье, Подол; взвились дымки на склонах гор — там кузнецы варят железо и куют не мечи, а рала; над Глубочицей засыпают рвы, но оставляют валы — так и будут стоять они, Верхний и Нижний валы, вовеки. На торжище у Почайны пылает огонь перед богом Волосом, а из лодий уже выходят заморские гости.

Как и прежде живет Гора. На стенах ее день и ночь стоит стража, время от времени несутся над городом протяжные звуки медных бил. На Днепре и в поле спокойно; перед заходом солнца зажигаются огни во дворищах и в тереме князя; рано на рассвете он спускается в сени, идет со старшей дружиной в трапезную, потом чинит суд и правду в Людской палате, беседует с послами, купцами, восводами и боярами в Золотой палате.

Сеча окончена, мир пришел в город Киев, но сколько еще нужно сделать, чтобы залечить раны, чтобы ратай свободно вышел в поле пахать.

Когда князь Владимир был у Олафа Скетконунга и нанимал у него дружину, они твердо условились, что свионские воины помогут ему дойти до Киева, а там князь даст каждому воину золота и отпустит их.

Брань с Ярополком окончена, не свионы, а русские воины решили ее успех, это они честно проливали свою кровь за Русскую землю, княжеский стол, за Владимира-князя. Но, одержав победу, князь Владимир выполнил условие — дал свионам золота, якоря, новые ветрила.

Однако они не торопятся оставлять Киев, лодии их стоят в Витичеве, сами воины каждый день приезжают в город, бродят по Подолу, продают на торге всякие заморские диковины, пьют вино, затевают свары, а чуть что — хватаются за мечи.

Князь Владимир зовет к себе ярла Фулнера, и тот рано утром входит в Золотую палату. Князь ждет ярла, в палате сидят воеводы и бояре.

— Я думал, — начинает Владимир, — что ты со своими воинами уже в Русском море.

— Мы выйдем в Русское море, когда рассчитаемся с тобой, княже, — дерзко отвечает ярл.

— Но ведь я дал тебе, Фулнер, золото, якоря, ветрила.

— Мы пробыли в походе дольше, чем ты условился с конунгом Олафом, а скоро уже и осень — мы не сможем вернуться в Свеарике.

— Припоминаю, — говорит князь Владимир, — что ты и не собирался возвращаться в Свеарике по Днепру, а думал выйти в Русское море.

— Викинг гуляет где хочет, могу поехать и в Русское море.

— Чего же ты хочешь?

— Еще по десять золотых на каждого воина.

Князь молчит. Фулнер — наглый, лживый, дерзкий ярл. Ссориться с ним, силой гнать с Днепра — конунг Олаф может причинить беды в землях.

— Хорошо, — соглашается князь Владимир. — Я дам твоим воинам по десять золотых, но, надеюсь, завтра ты покинешь Битичев, а мои воины проводят тебя до низовьев.

Ярл сверкает своим единственным глазом: он хотел взять дерзостью — князь Владимир угрожает ему силой.

Низко поклонившись, он выходит из палаты.

Золото! Владимир обещает и дает свионам награду. Золота требуют и собственная дружина, тиуны, емцы — вся Гора.

Но после Ярополка княжеская скотница осталась почти пустой: князь раздавал свои сокровища слишком щедрой рукой, много поглотила и брань.

Выручают бояре Горы — брань не только разорила, а, наоборот, обогатила их, они дадут князю необходимое золото. Вот в Золотой палате встает боярин Воротислав, за ним поднимаются Коницар, Вуефаст, Слуда.

— Мы поможем тебе, княже.

О, с какой радостью отказался бы князь Владимир от этой помощи, за которую ему потом придется расплачиваться и давать пожалованья. Ему хотелось бы, чтобы воеводы, бояре, мужи лучшие и нарочитые не были так богаты и сильны.

— Спасибо, — отвечает он им. — Ты, Воротислав, дашь дань Фулнеру и проводишь его до порогов.

Но не только свионов должен остерегаться князь Владимир: где-то там, в поле, блуждают печенежские орды; путь по Итиль-реке отрезали и не пускают купцов из верхних земель к Джурджанскому морю черные булгары; на берегах Русского моря точат ножи ромей, что-то замышляют их им-

ператоры Василий и Константин; снова лезут на Дон вместе с недобитыми хазарами херсониты.

— Мыслью я, что мы не должны ждать вражеских ударов в городе Киеве, — говорит Владимир, — надо опередить их в поле, на Днепре, подальше отсюда.

Воеводы и бояре слушают каждое слово князя, глухо стучат посохами, одобрительно шепчутся. Князь Владимир смотрит в окно, за Днепр, где уже занялась заря, продолжает:

— Хочу выкопать рвы и насыпать валы от западных украин до самой Итиль-реки, а возле них построить города.

Бояр привлекает замысел князя. Разумеется, лучше положиться не на полевую стражу, которая бродит за Днепром и за милую душу может пропустить вражескую орду, а насыпать вдоль Полянской земли высокие валы, поставить у них города, оттородиться от предательского юга, в полной безопасности сидеть в городе Киеве.

Однако боярство думает по-своему, оно знает, как трудно выкопать ров и насыпать вал вокруг своего дворища, — как же думает князь Владимир огородить всю землю, кто выкопает эти рвы и насыплет валы, кто за это заплатит?

— Хорошо задумал, княже, — раздаются голоса в палате, — но как это выполнить?

— Скоро осень, — отвечает Владимир, — и вои верхних земель уже не смогут попасть на Волок. Что ж, я пошлю их в поле, там они и пробудут, станут копать рвы, насыпать валы.

Новгородские воеводы, сидящие тут же, в палате, поддерживают князя — лучше уж перезимовать в Полянской стороне, чем пробираться по осенним рекам и болотам на север. Они и не помышляют о том, что воинам верхних земель, да и им самим придется, как то случилось позднее, сидеть в поле за Киевом долгие годы...

А мужи Горы молчат: им не жаль воинов верхних земель, из которых многие полягут на валах и во рвах в поле, но они знают, что эту большую полунощную рать придется одевать и кормить, — мужи Горы молчат, им жаль одежды и хлеба.

Князь Владимир понимает, почему молчит Гора, ему невыразимо тяжело оттого, что мужи, над которыми висит постоянная опасность с юга и востока, не думают о том, как избежать брани и защитить всю землю, а пекутся только о своем богатстве.

— Дружина моя! — с болью говорит князь. — Не об одном городе Киеве думаю, а обо всей Руси... По закону отцов все земли платят Киеву дань, валы вдоль земли воздвигать станут все племена.

— Мы, княже, не против того, — сразу веселеют лица, — пускай все земли строят валы, копают рвы, пошлем и рать в поле.

Трудно приходится Владимиру: ненадежна, не сплочена не только Гора — нет ладу во всех землях Руси.

И молодой Святославич не скрывает этого.

— Воеводы и бояре, мужи мои! — обращается князь Владимир к дружине. — В то время, когда шла усобица на Руси, вы сами знаете, польские князья взяли города наши Перемышль и Червень, захватили много русских земель. Ныне были у меня мужи нарочитые — радимичи и вятичи отказались платить дань городу Киеву...

О, как сразу зашумела Золотая палата, какой гул и рев поднялись в ней! Отказались платить дань? Откуда же князь Владимир возьмет золото, серебро, хлеб, меха, чтобы давать все это Горе, воеводству, гридням?

Князь Владимир встал, поднял руку.

— Потому думаю я, мужи мои, что должен весной идти в земли радимичей, вятичей, а там — до Итиль-реки, к черным булгарам, и дальше на Тмутаракань, чтобы устроить землю, беречь Русь.

Палата молчит: тут сидят мужи, которые помнят князей Игоря, Ольгу, Святослава, они знают, как трудно приходилось, когда устроилась Русь.

А князь Владимир, который тоже знает, какая гроза надвигается на Русь, видит, как много еще надо пролить крови, стоит спокойный, только слишком бледный, и говорит:

— Должен идти стезей отца моего Святослава, должен устоять, защитить, сделать единой Русь.

2

Князь Владимир не только велит строить валы в поле, в один из ближайших дней он с небольшой дружиной выезжает из Киева, переправляется через Днепр, оставляет по правую руку Соляной путь и едет прямо через погосты в Басане, Бобровицких гонах и Носовом на Нежатые Нивы.

Он не спешит. Стоит предосенняя пора, доцветают травы, седые нити ковыля обвивают все вокруг, под самыми ногами испуганно кричит и удирает, заманивая все дальше и дальше, коростель, далеко в поле гордо выступают, пасутся драхвы. У небосклона, словно облачко, пробегает табун диких коз, — любо ехать в такое время по степному приволью, вдыхать сладкие, слегка терпкие запахи цветов и трав...

Воины поют:

Гей, в поле, гостинец темнеет,
Гостинец темнеет, могила чернеет,
А на той могиле да кости белеют...
Гей, да гей!

За Нежатыми Нивами князь Владимир сворачивает к Сейму, долго едет вдоль его крутых берегов, густо поросших вековыми дубами, высокими соснами, а у самой воды — вербами, лозой.

Тут уже стоят воины, пришедшие из-за Волока, их воеводы и тысяцкие ждут князя, вместе с ним идут по берегу Сейма, советуются, где и как насыпать валы, где гатить болота, где срезывать косогоры, где ставить города.

Впрочем, выбирать места для городов не приходится. Повсюду над Сеймом городища: Рыльское, Путивль, Хоробор, а дальше на Десне новый город Северский — давно стоят, как крепости, в поле. Князь Владимир велит насыпать валы между этими городищами, а города ставить там, где когда-то сидели каждый со своим родом старейшины.

Люди радостно встречают Владимира, давно уже они не видели здесь князей, хорошо делает киевский князь, что насыпает валы в поле, а городища превращает в города — житья уже не стало от орд, налетают без конца из степей. Все встанут рядом с полками, будут копать рвы, гатить болота, насыпать валы, не кого-нибудь, а себя охранять станут. Слава князю Владимиру!

Воины поют:

Гей, из поля, поля туча налетает,
То не черная туча — орда наступает,
Бросил рало ратай, а меч вынимает,
Гей, да гей!

Останавливается князь Владимир и на крутой излучине реки Удай, где издавна купцы, едущие с Днепра на Итиль-реку, перетаскивают свои лодии, велит строить город

Переволок, потом едет в Пирятин, заезжает в Переяслав, вдоль Супоя направляется к Мажевому, останавливается на высоких холмах за Песоченем.

Днепр! Тут окончится вал, начавшийся от нового города Северского, он защитит Киев с востока; здесь уже роют пещи воины, стоявшие под Родней, на той стороне Днепра видна на высокой горе крепость.

Князь Владимир с дружиной прямо на конях переплывают Днепр, но не сворачивают в Родню — князю неохота видеть черные обгорелые стены, двор, где закончил свой бесславный путь князь Ярополк, он сворачивает налево от родненских гор, едет вверх по реке Роси; тут вырастет еще один вал, который защитит город Киев с юга.

Кони тихо брели по высокой траве вдоль Роси. Широкая, тихая, спокойная, вырвавшись из узких каменных берегов, катила она воды свои к старшему своему брату Днепру; тут, в ее устье, после долгого пути от порогов, всегда отдыхали киевские купцы, заморские гости; на правом берегу давно поселились, построили свои городища мирные ордынцы — черные клобуки.

Князь Владимир ехал впереди дружины и любовался Росью, лугами, голубым бездонным небом. Позади него, сдерживая коней, воины допевали песню:

Гей, в поле, поле гостинец темнеет,
Гостинец темнеет, могила чернеет,
А на той могиле да кости белеют...
Гей, да гей, да гей!!!

3

Но не только землю свою оглядывал и жаждал защитить князь Владимир — он ехал туда, куда звало его сердце.

Теперь едучи вдоль берега Роси, он вспоминал давнюю, последнюю беседу с отцом, князем Святославом, который говорил ему:

“Запомни, что мать твоя Малуша, Малка — рабыня, но никогда не стыдись этого, сын. То не клеймо, а любовь и честь моя. — Отче, где теперь мать моя Малуша? — спросил тогда Владимир. Отец ответил: — Малуша жила в селе Будутине, куда выслала ее княгиня Ольга. Там она родила

тебя, я не мог вернуть ее, привезти в Киев, пока была жива княгиня... Но, умирая, мать позволила привезти ее.

— Привези, дай мне мать, отче! — попросил тогда юный Владимир.

— Ладно, сын, все сделаю, привезу твою мать, — пообещал князь Святослав.

А еще через несколько дней, прощаясь с сыном на берегу Почайны, князь Святослав сказал:

— Я искал свою любовь, а твою мать — Малушу, но не нашел ее. Прощай, сын, и прости меня, отца твоего!"

Как давно-давно миновал день, когда князь Святослав прощался с ним на берегу Почайны: ветер надувал ветрила на лодиях, снаряженных плыть до далекого Новгорода, на Горе ржали кони, князь Святослав собирался в последний поход на Дунай.

И вот, спустя долгие годы, князь Владимир, миновав Родню и побывав в Хмельной, Гуте, Межречье, выехал из лесу, остановил коня, увидел снова Рось, плескавшуюся среди высоких серокаменных берегов, долину, разостлавшуюся справа, село, что раскинулось среди скал, косогоров, лесов.

Будутин! Таким и представлял себе княжеское село Владимир: несколько десятков хижин в долине, а повыше, на холме, два терема — там, должно быть, живут посадник княжий и воевода; десяток землянок поближе к Роси, старая, полуразвалившаяся хижина в кустах у самой реки — все было в Будутине, как и в других княжеских селах.

Но это село было князю Владимиру милее всех, которые он видел на далеком пути от Киева. Он радовался, что наконец очутился тут, хотел осмотреть каждый куст, камешек и даже песчинку — здесь когда-то жила, а может, и ныне живет его мать, тут он сам впервые увидел свет, — боги, боги, как радостно и вместе с тем как грустно было в этот час князю Владимиру!

Он свернул влево, к скалистому берегу Роси, откуда мог видеть все вокруг, где после дальней дороги могла отдохнуть и попасть коней дружина, где так хотелось отдохнуть и самому князю.

Уже вечерело, на западе еще пылал багрянец, а на востоке небо покрылось густой синевой. И, как всегда в такой час, тихо было вокруг, не шевелилась листва на деревьях,

умолкли птицы, только плескалась и плескалась среди скал Рось, где-то журчали по склонам ручьи.

Князь спешился.

— Тут и будем ночевать! — сказал он дружине.

Воины торопливо соскакивали с коней, спешили к реке, смывали с себя пыль, отпускали коней пастись. Вскоре на берегу, отражаясь в черной глубокой воде, затрещал костер.

Один только князь Владимир не пошел к реке. Сев на камень, он оперся головой на руку, смотрел, как быстро угасает багрянец на западе, а с востока надвигается ночь; вот низко над небосклоном загорелась большая лучистая звезда.

Невдалеке на тропинке послышались шаги, — в вечерних сумерках возникли две тени. Когда пламя костра осветило их, князь увидел двух старых, седоусых, одетых в такие же старые темные платна мужей с мечами у пояса.

— Челом тебе, княже! — низко склонили они перед ним головы.

— Добрый вечер, люди! — ласково ответил им князь. — Кто есте?

— Посадник Тедь, — отозвался один из них, костлявый, с торчащими скулами, с удивительно светлыми, должно быть, голубыми глазами.

— А я, княже, воевода твой Радко, — глухим, простуженным голосом прохрипел второй, очень высокий, еще более худой, чем Тедь, с седыми усами, свисавшими до пояса.

— Садитесь, мужи мои, — князь указал им на камни.

— Мы, княже, хотели просить тебя заночевать в селе, в тереме, — смущенно сказал Тедь.

— А чем, мужи мои, тут плохо? — улыбнулся Владимир. — Ляжем на траве, укроемся небом, да еще Рось нам песню споет. Любо мне здесь, мужи мои...

— И вправду любо, — все еще смущенно, но уже смелее сказал Тедь. — Так, может, велишь принести тебе и воям твоим, княже, поесть, выпить?

— Спасибо, мужи, — ответил Владимир, — есть у нас и еда и питье.

Тедь и Радко сели на камень напротив князя, рассказали о неурожаях, об ордынцах, что крадут скот в табунах.

Князь Владимир поведал им, что думает насыпать у Роси и дальше в поле до самого Киева валы, построить тут, где стоит Будутин, город. Тедь и Радко очень обрадовались.

— Хорошо, дюже хорошо, князь, так лучше убережем землю.

Воины принесли князю жаренной на углях, нарезанной тонкими ломтями конины, приятно пахнувшей дымком, хлеба, корчагу с вином. Он выпил и закусил сам, попотчевал посадника и воеводу, которые сразу разомлели.

— А что, в Будутине живут свои, местные люди, — любопытствовал князь, — или есть тут кто из Киева?

— Живем, княже, много лет одинаково, словно одним родом, — ответил посадник, — на князей работаем, коли кто кликнет за Росью, бросаем рала, беремся за мечи, тут родились, тут нам и кончина. Из Киева-города никто не едет, да и кому, княже, охота сидеть тут, на краю земли.

Князь Владимир смотрел на закат, светившийся уже совсем низко над небосклоном. Его малиновое пламя тонуло в тумане.

— Один только раз приехала к нам из Киева жена, — вспоминая прошлое, продолжал Тедь. — Давно, ой, давно то было, княже... Привезли ее гридни, тут и стерегли ее...

— Как звали ту жену? — совсем тихо и словно равнодушно спросил Владимир.

— Малуша, княже, — сразу припомнил Тедь. — Тут она жила, в этой хижине, у бабы Желани, тут и дитя народила.

Тедь указал на старую хижину в кустах, которая уже разваливалась, вращала в землю.

— А потом?

— Потом, княже, приехали гридни и забрали у нее дитя.

— А жена?

— Померла Желань, — сжимая голову, припоминал Тедь, — жена Малуша долго еще жила одна в хижине, а потом и ее не стало.

— Умерла?

Тедь долго не отвечал.

— Не знаю, княже, — глухо и очень печально закончил Тедь. — Может, ушла из села, может, лежит где-нибудь под камнем в Роси, но только не стало ее, хижина стоит пустая, мы уж ее и не трогаем, — очень хорошая была жена Малуша, очень любили мы ее.

На том беседа и окончилась. Тедь и Радко заметили, что князь Владимир сидит, низко склонив голову на руки, он, видать, устал с дороги. Мужики встали, попрощались, пошли по тропинке к селу.

Но Владимир не спал. Когда Тедь и Радко исчезли, он поднял голову, посмотрел вокруг: на скалы над Росью, на черную воду, в которой отражался огонь, на хижину — без дверей, с дырявой крышей, посеревшими стенами стояла она у кустов, — и глубокий, невыразимо горестный стон вырвался из его груди.

Рогнеда думала о князе Владимире. Прошло три месяца с тех пор, как он был в Полоцке, а она уже прислала через гоицов посадника Путяты грамоту Владимиру, написанную железным острием на бересте.

“Я, княже мой Владимир, — писала Рогнеда, — живу, как и раньше, в тереме отцов. Воевода Путята хорошо заботится обо мне, во всем у меня достаток. Одио только больно, что не ведаю, как ты живешь, княже, сильно беспокоюсь, ибо ходишь ты, о земле заботясь, под мечом... И не токмо о тебе думаю, иошу под сердцем твое дитя, — и ему и мне ты нужен, княже. Напиши же грамоту, хоть одио слово через гонца Путяты, может, легче будет мне здесь, в лесах полоцких...”

Прочитав эти строки берестяной грамоты, Владимир выпустил ее из рук и долго сидел, глядя на огонь свечи, который от дыхания ветерка из окна то склонялся набок, то резко выпрямлялся.

Он вспомнил другую ночь, когда свеча горела в палате в городе Полоцке, когда гордая дочь Регволда пришла к нему, разула его, стала женой.

“Я тебя полюбила, княже, — говорила тогда Рогнеда, — а ты подумай, подай мне весточку из города Киева”.

Он не смог до сих пор подать весточку и находил для этого причины... Жестокая брань с Ярополком поглощала все его время и силы, закончилась брань — начались заботы о земле, с дружиной своей князь Владимир объехал все поле на восток и на юг от Киева, каждую ночь спал в другом тереме, хижине, а то и прямо на земле, подложив седло под голову, — нет, не мог он в это время думать о далеком Полоцке, не мог послать грамоту княжне Рогнеде.

Но только ли по этой причине не послал князь Владимир грамоты, которой так ждала Рогнеда? Все осталось бы так, как было в Полоцке; окончив брань, он сердечию, открыто написал бы Рогнеде: “Я жду тебя в городе Киеве...”

Но князь Владимир не мог так написать, ибо в жизнь его ворвалось то, чего он не ждал и не искал. Ночь, проведенная им в палате Юлии, внесла смятение в его душу.

За окном висит полная луна, шумит, затихает Гора; вот прошли, топая, гридии; на столе горит, истекая воском, свеча, она освещает берестяную грамоту, а вот в переходах терема слышатся шаги — он узиает их. То прошла из сеней наверх княгиня Юлия, сегодня утром в трапезной она ска-

зала, что хочет с ним поговорить и ждет его ночью в своей палате.

Что ж, он пойдет сейчас к ней. Князь Владимир долго смотрит на берестяную грамоту, лежащую на столе. "Напиши хоть одно слово, может, легче будет мне тут, в городе Полоцке..." Он гасит свечу. Не нынешней ночью писать ему ответ Рогнеде.

Несколько мгновений князь Владимир стоит у раскрытого окна. На Горе тихо, где-то на отмелях Днепра пронзительно кричат птицы, над небосклоном и по всему небу висят огромные мерцающие звезды, снаружи вливается душистый горячий воздух — скоро, скоро уже начнутся грозы и дожди.

Он идет к дверям, открывает их, выходит в Золотую палату, на мгновение лунный свет озаряет его непокрытую голову, княжеский знак — чуб, воспаленные глаза, напряженно сжатые губы.

Где-то в переходах словно слышались шаги. Он переступает через лунный луч на полу, прячется в тени у стены, где висят доспехи отца Святослава.

Нет, то лишь почудилось: в тереме тихо, нигде не слышать ни человеческого голоса, ни шагов, все спят наверху, в сенях стоит стража.

Переходы, темные знамена у стен, косые лучи из высоких узких окон, тихие, неслышные шаги по половицам — все дальше и дальше идет князь Владимир, останавливается, стучит в дверь, ждет, слышит напряженные удары своего сердца.

Юлия открывает дверь палаты. За ее спиной полутьма, лунный свет едва коснулся окна, блуждает по стенам, столу, ложу.

— Как я рада, что ты пришел, — шепчет она. — Только что вот молилась, чтобы так случилось.

Владимир проходит вперед, садится у окна.

— Что молитва? — говорит он. — Ты меня звала, вот я здесь.

— Я знала, что ты придешь, спасибо тебе, княже.

— Сядь, Юлия, — произносит Владимир. — Ты хотела мне что-то сказать?

— Да, — отвечает она, — я хотела многое тебе сказать.

Юлия садится на скамью так, что ее плечо касается его плеча. В лунном свете он видит близко перед собой ее лицо, черные волосы, разделенные надвое, словно перерезанные ниткой, тонкий нос, вздрагивающий от напряженного ды-

хания, губы, глаза — большис, темные глаза, в которых дрожит отсвет месяца. О, он знает эти губы и глаза.

— Ты спрашиваешь, княже, что я хотела тебе сказать? Неужели ты сам не знаешь, не чувствуешь?

Она кладет руку ему на плечо, и он ощущает, как дрожат, прикасаясь к нему, ее пальцы.

— Ты знаешь, — отвечает Владимир, — что меня не было в Киеве, я ездил в земли.

— Но ты давно вернулся оттуда.

— Давно... Я уже три дня здесь, на Горе.

— Вот видишь! Три дня — это очень много, неужели ты все эти дни не хотел меня видеть?

— Я скажу правду, Юлия. Я хотел тебя видеть, но не смел, я ведь говорил тебе — в городе Полоцке ждет моего слова Рогнеда.

Пальцы Юлии сжимают плечо Владимира.

— Скажи правду, княже! Ты любишь ее? Молчишь? Почему?

— Напрасно ты меня спрашиваешь об этом, Юлия, ты знаешь, что я давно, еще в Новгороде, а потом в Полоцке, нарек Рогнеду своей женой. Ныне я получил от нее грамоту.

— Знаю, — вырывается у Юлии, — слышала, что приехали гонцы из Полоцкой земли.

— Хорошо, — усмехается Владимир, — что ты знаешь про полоцких гонцов, то правда, они привезли грамоту от Рогнеды. Но ты не знаешь, Юлия, что она мне пишет. Рогнеда носит под сердцем мое, родное мне дитя...

— Так, — Юлия рывком снимает с плеча Владимира свою руку, — понимаю, почему ты не приходил ко мне... А мне что теперь делать?

— Юлия! — говорит он. — В ту ночь ты меня спрашивала, что тебе делать, и я сказал: ты жена моего брата Ярополка, я воздаю ему честь как князю, тебе тоже надлежит честь и слава как княгине.

— Ты щедр, воздавая мне честь и славу, — засмеялась Юлия. — Но только я...жена твоего брата, ныне...

— Почему ты умолкла? — спросил Владимир, ощущая горечь ее смеха.

— И я непраздна, княже Владимир, я также ношу дитя под сердцем...

Он встал из-за стола, остановился перед нею.

— Чье же это дитя? — он смотрел на нее — в ее глаза, в которых, как две голубоватые жемчужины, блестели отражения луны, похожие на закушенные губы.

— Я не знаю, чье оно! — вырвалось у Юлии.

Владимир отвел от нее взгляд, осмотрелся вокруг, взглянул на стол, на котором стояли корчага с вином и два кубка, на ложе...

— Нет, нет, — долетает до него шепот Юлии, — это дитя — плод нашей любви.

Владимир словно не слышал ее последних слов. Ужас перед тем, что произошло, охватил его душу, сжал сердце. Он тяжело опустился на лавку, оперся головой на руки, долго сидел так, погружившись в свои мысли. Юлия стояла, ждала.

— Когда-то, — подняв голову, начал Владимир, — ты сказала, что боишься идти сюда, в эту палату, ибо тебе чудилась тень мужа твоего Ярополка, я же сказал, что это лишь чудится, и сам вошел с тобой, потому что тогда тени не было.

Он помолчал немного, вспоминая, как видно, все, что тогда произошло.

— Позднее, в другую ночь, — говорит Владимир, — уже я сказал, что тень Ярополка стоит между мной и тобой, но тогда ты не согласилась и сказала, что тени не было и нет... Но она была, есть, будет, тень Ярополка стояла и стоит между нами, теперь-то уже даже не тень, а его дитя — кровь, голос, сердце... Если же дитя мое — тем страшнее мне будет жить на свете, тень брата Ярополка вовеки будет стоять передо мной...

— Владимир! — крикнула Юлия. — И таково твое последнее слово?

Повернувшись к ней, он долго смотрел в ее лицо так, словно раньше никогда его не видел. И в самом деле — той Юлии, которую он знал, целовал, ласкал, уже не было, — на него смотрело красивое, но чужое лицо, прекрасные, но далекие глаза...

— Я тебя не виню, — обхватив голову руками, сказал Владимир. — Виноват я сам, только я виноват во всем. Тяжко, ох, как тяжело будет мне теперь жить на свете, не знаю, когда и как искуплю я вину свою. Тебе, Юлия, будет легче, у тебя родится дитя, может, то будет сын, ты, как княгиня, будешь жить здесь, на Горе, — ради себя и сына. Я стану заботиться о тебе и о нем...

— Ты говоришь, что станешь заботиться обо мне и о своем сыне? — усмехается Юлия перекошенным ртом. — Что ж, княже, спасибо. Только обо мне тебе не придется заботиться, меня ты скоро не увидишь больше в Киеве.

— Ты хочешь возвратиться в Константинополь, к своей царственной родне?

Юлия некоторое время молчала, потом встряхнула головой и произнесла решительно, злобно:

— Слушай, Владимир, прощаясь с тобой, скажу правду: я такая же племянница василевса Романа и сестра Василия, как ты император. Ты сын рабыни, а я была просто рабыней.

Эти слова поразили Владимира в самое сердце, и он, забыв о собственной боли и отчаянии, воскликнул:

— Боги! Какой же несчастный и бесталанный был брат мой Ярополк! Кому он поверил — тебе, императорам, Византии?!

— Наступит время, — дерзко сказала Юлия, — и тебе тоже придется поверить Византии. А теперь прощай! Я поступлю не так, как ты хочешь, я сама о себе подумаю. О сыне же тебе придется позаботиться, он отомстит за себя и за меня...

Темно не только в княжеском тереме, не видно ни одного огонька и в других теремах. Воеводы, мужи, все боярство Горы любит рано вечером как следует поест и выпить, а как только стемнеет, взгромоздиться на пуховые ложа и непробудно спать до рассвета.

Недалеко от княжеского двора темнеет терем боярина Воротислава. Рядом с ним стоял за частоколом терем воеводы Блюда, но его разнесли дотла — так велел князь. Боярин Воротислав разрушил и частокол между дворами, теперь это один двор. Посчастливилось боярину: разбирая частокол, он нашел под грушей мех с золотом, закопанный Блюдом. Мертвому ничего не нужно, живому пригодится.

Ночь. На большом дворе Воротислава тихо, из окон не пробивается свет, спит, как видно, боярин, жена его, дети, а в клетях и каморках — дворяне.

Да нет! Только окна завешены в тереме, в большой светлице горят свечи, жена Воротислава Яруна достает из погребца корчаги, ставит на стол соленую веприну, квашеные яблоки, грибы.

Вокруг стола сидят бояре Коницар, Вуефаст, Искусев, воеводы Волчий Хвост, Слуда. Все они здорово выпили, на раскормленном лице Коницара блестят капли пота. Слуда уже незаметно распустил пояс на животе.

— Тишина, — говорит Коницар. — Тишина великая в городе Киеве. Служили Ярополку, служим Владимиру.

Боярин Выефаст бьет Коницара по плечу, говорит:

— Ты же сам, Коницар, даешь ему золото.

— Не я, все мы даем золото, — злобно перебивает Коницар. — Но разве мы простим ему хотя бы один золотник? Нет, княже Владимир, не таково теперь боярство, мы служили Ольге, Святославу и Ярополку, получали от них земли, реки, леса... Слышите, бояре, ради этого мы и веру Христову приняли: богу — богово, князю — княжье, а нам — то, что даст князь. Так говорю?

За столом раздаются одобрительные голоса — правду говорит Коницар, единодушно боярство Горы.

— Посмотрим, — говорит захмелевший боярин, — что даст нам Владимир? Пришел, убил Ярополка. Что ж, не посчастливилось с нашим князем — присягнули служить Владимиру, надеемся, что он будет нам давать. Однако пока что робичич ни о чем не думает, твердит — дай, дай, дай... Ладно, даю, дам ему еще и еще, но ведь моя земля должна давать прирост, скотина — приплод, а золото — новое золото.

Коницар умолкает. В светлице наступает тишина. На дворе лают псы. Воротислав, который не садится за стол, а прислуживает поздним гостям, выходит в сени, осторожно отодвигает засов на дверях и, прячась у темной стены, стоит, прислушивается.

Собаки умолкают, на Горе тихо, темно, огонек светится только в сенях княжеского терема, где стоят гридни. Воротислав возвращается в светлицу, говорит, что на дворе спокойно.

Встревоженные лаем собак, бояре и воеводы продолжают говорить уже тише.

— А скажи-ка мне, воевода, — обращается к Волчьему Хвосту воевода Слуда, — разве можно валами и городами загородить всю нашу землю?

— Не валами и городами охраняется земля, — хитро отвечает Волчий Хвост, — а воинством, мечами...

— Где же Владимир возьмет то воинство? — продолжает Слуда.

— Не ведаю... Знаю, что земли откалываются от Киева, радимичи и вятичи не платят дани, черные булгары собирают рать, червенские города под властью Польши, а есть еще и Византия.

— Так для чего же те валы и города? — смеется Слуда.

— Не ведаю, — повторяет Волчий Хвост. — Владимир думает от врага загородиться валами, а чем он загородится от нас?

Долгое, напряженное молчание наступает в светлице. Бояре и воеводы наелись, напились, собираются скоро расходиться.

— Много берет на себя последний Святославич, — говорит Слуда, незаметно застегивая под столом пояс. — Хочет он, опираясь на земли, одолеть нас, всю Гору... Да куда ему? Робичич, ключницы сын, и сам такой же, как она...

Слуда говорит совсем тихо, воеводы и бояре наклоняются низко над столом.

— Есть у него, говорят, жена в городе Полоцке — Рогнеда, а тут, соблазненный прелестью женской, мужних жен растлевает, женолюбец он, как Соломон...

Все смеются, знают, на что намекает Слуда, — в княжеском тереме толстые стены, но Гора знает, что творится за ними.

5

Всю эту ночь князь Владимир не спал. Он не зажигал свечи; луна спустилась на Щекавицу перед самым рассветом, в ее призрачном свете князь сидел у стола, смотрел на стены Горы, небо, звезды, которые плыли своим извечным путем.

Глубокие и смутные чувства волновали в эту ночь душу князя; до сих пор он поступал, как полководец и князь: устоял и давал лад Новгороду, вел полунощные полки против братоубийцы Ярополка; победив его, начал заботиться о родной земле, знал и победы и поражения, но шел непрестанно вперед, верил, что в конце концов одолеет все.

И даже то, что в городе Полоцке он встретил и нарек своей женой Рогнеду, а в Киеве провел одну ночь с женой погибшего брата Ярополка Юлией, поразило, глубоко взволновало, воодушевило, но не задело его души. Он принял это как улыбки судьбы, дары молодости. Однако оказалось, что это были не дары молодости, не улыбки судьбы: ночь в Полоцке и еще одна ночь в Киеве нанесли глубокую рану сердцу Владимира.

Собственно, ночь в Полоцке не беспокоила князя Владимира — на это он шел, так и случилось. Он бросил дерзкий вызов судьбе — и судьба одарила его. Что ж, Рогнеда будет ему доброй женой, а он ей мужем и князем.

А Юлия? Он не думал и не хотел думать о ней плохо. И в ночь тризны по Ярополку, и нынче, поздней ночью, он глу-

боко жалел ее. Его, всю жизнь одинокого, влекло к такой же одинокой княгине Юлии, и к тому же она, наконец, была такой красивой, нежной, страстной. В ту ночь они слились с ней воедино.

Но не ушла та ночь в небытие. Судьба расплатилась за нее с князем Владимиром. До сих пор он знал порой жестокую правду жизни, сейчас же он не понимал, где любовь, где ненависть, где правда, где лжа. Князю Руси отныне было трудно жить. Сын двух отцов — таким родится и таким станет жить дитя Юлии. Ярополк и Владимир — о, в какой страшный узел связала судьба их имена. Ужас перед тем, что случилось, все больше охватывал душу Владимира, сердце его истекало кровью неизлечимой раны.

А ночь длилась, проходила: луна спряталась за стеной Горы, на небе ярче засверкали звезды. Где-то на Подоле, а потом и в предградьи начали перекликаться петухи. За Днепром рассвет уже ткал первые розовые нити, стража на городницах ударила в била. Лучи рассвета ворвались и в светлицу, где сидел Владимир, осветили его бледное лицо, глаза, под которыми за ночь легли глубокие темные тени, обтянутые скулы, синеватые губы.

Взяв в руку острое лебединое перо, он писал в далекий Полоцк Рогнеде: "Я получил твою грамоту, жена моя, и благодарю тебя за нее... Прости, Рогнеда, что не писал так долго, — много горя и муки перенес я за это время, многие сомнения, раздумья и мысли тревожат меня еще и ныне. Но я верю, надеюсь, что переборю их, и покой наполнит мою душу, а ты поможешь мне в том, Рогнеда..."

6

Наступила осень — вначале сухая, золотая, сияющая, потом дождливая, серая, длинная, с последним неожиданным громом, как то и раньше случалось в городе Киеве. Когда осень медленно, словно тоскливая песня, окончилась, начались веселые, звонкие заморозки, потом морозы, первый снег, метели, вьюги, бураны...

Князь Владимир тяжело переносил осень и зиму. Одиноким, совсем одиноким в своих покоях, не с кем перемолвиться искренним словом, не с кем посоветоваться, некому открыть свою наболевшую, истомленную душу. Он просы-

пался, как и все в городе, задолго до рассвета, приносил жертву и завтракал с несколькими воеводами в холодной трапезной, чинил суд и правду в Людской палате, в Золотой палате слушал тиунов, гонцов из земель Руси, послов.

И хотя на дворе были осень, зима, тиуны и гонцы каждый день сообщали, как растут валы, строятся города на Ирпене, Стугне, вдоль правого берега Роси, на Десне, Супое, Пселе и Сейме, в поле за Днестром. Князь приказывал слать туда как можно больше людей, везти харчи, дерево, кузнь, камень.

Днепр замерз, но продолжали гудеть под конскими копытами Соляной, Залозный и Червенский пути. В Киев приезжали послы от польского князя Мешко, приносили клятвы в любви и дружбе, но князь Владимир отвечал им, что примет эту любовь и дружбу, только когда Мешко освободит захваченные им червенские города. На западе собиралась гроза.

Чуя ее приближение, князь Владимир начинает уже ранней зимой собирать пешее и конное воинство, готовит для него припасы, отдельные полки заранее посылает поближе к Червенской земле.

Побывали в эту зиму в Киеве послы и угорского князя — с ними Владимир утвердил дружбу и любовь, как с родичами отца своего Святослава, отправил князю щедрые дары.

Не было всю зиму ни послов, ни гостей из Болгарии. Это беспокоило князя Владимира. Думая о будущем, он хотел знать, что происходит за Дунаем.

Началась весна, а с нею пришла и новость. Половодьем прибыли из Полоцка гонцы, привезли весть, что у княгини Рогнеды родился сын.

Князь Владимир написал жене грамоту, просил ее, как только потеплеет, приехать в Киев, он, мол, только и ждал весны.

Но весна — это не всегда голубое небо, синие воды, яркое солнце. В одну из ночей месяца цветения, в поздний час, почти на рассвете, князь Владимир услышал шум в покоях княгини Юлии, далекий, знакомый, усиленный ночной тишиной крик ее, потом топот ног, опять крик княгини Юлии и внезапно иной крик — младенческий.

Утром он узнал, что княгиня Юлия родила сына и нарекла его Святополком.

Когда вода в Днепре поднялась, купец-патрикий Феодор стал собираться в дальний путь.

Так поступал он ежегодно: зимой и ранней весной скупал в Киеве и у людей, приезжавших сюда со всех концов Руси, меха, мед, воск, горячий камень, бобровые благовония, зерно — все это за бесценок, за прелые и гнилые константинопольские ткани и украшения, за неполную меру хлеба, потому что зимой бывало голодно в Киеве и на Руси.

Весной Феодор нагружал добром хеландии, спускался к устью Днепра, пересекал под парусами Русское море и приставал в Константинополе, на Суде, где продавал свои товары вдвое и втрое дороже, чем купил сам; потом нагружал хеландии винами, тканями, золотыми и серебряными изделиями и осенью возвращался в Киев, начинал куплю-продажу.

Во время брани между Владимиром и Ярополком Феодор не пострадал, мало кто и знал, что он в какой-то мере к ней причастен. Собственно, кто и в чем мог обвинять купца: он приехал в Киев с василиками императоров, тогда же приехала с ними и царица Юлия, но не Феодор, а василики уложили ряд с Ярополком; опять же не он, а василики были сватами Юлии.

Купец стоял в стороне. Имея свой двор в Киеве, на Подоле возле торжища, он продавал сукна, бархат, альтабас, вина, благовония, скань, золотые и серебряные украшения Ярополку и его боярам да воеводам; пока князь проливали кровь людей своих под Любечем, в Киеве и в Родне, он успел съездить в Константинополь и привезти оттуда новые товары; когда вокняжился Владимир, купец стал продавать то, что привез с собой, и даже то, что гнило в его склепниках, новому князю, его боярам и воеводам. Кто и в чем мог упрекнуть купца Феодора? Киев не Константинополь, русские люди всегда уважали и не трогали заморских гостей. И сейчас он действовал, как всегда. Осенью и зимой киевские древоделы подняли на крутые берега, законопатили и просмолили его хеландии, а ранней весной спустили их на воду. Недели две после того смерды возили из склепников на торге и грузили на хеландии накупленное им русское добро. Наступил день,

когда повеял верхний ветер, и купец, трижды перекрестившись на восток, велел рабам-грекам трогаться в путь.

То было на рассвете. Никто в Киеве не провожал купца — занимался своим делом, город просыпался, думая о наступающем дне. Хеландии сделали полукруг на Почайне, выплыли на середину Днепра, пошли под парусами к скрывавшимся в тумане низовьям.

Купец Феодор стоял на носу одной из передних лодий, вглядывался в даль.

Когда же хеландии отъехали уже далеко от Киева и поплыли мимо безлюдных, одетых молодой зеленой порослью берегов, он спустился вниз и вернулся на палубу вместе с женщиной в темной тунике, с покрывалом на голове.

— Тут нет никого из русов? — спросила женщина.

— О нет, — отвечал купец Феодор, — у меня все рабы — греки, на сей раз я даже не брал у князя дружины.

Женщина подняла покрывало — то была жена князя Ярополка Юлия.

— А скоро мы будем в устье Днепра?

— Нет, княгиня, не скоро, путь туда продлится не меньше двух недель.

Княгиня Юлия, уставшая, должно быть, сидеть в тесной каморке под настилом, жадно вдыхала свежий речной воздух, всматривалась вдаль, где на голубом небе вырисовывались горы, стены города Киева.

— Так лучше, — произнесла она, отвечая, как видно, собственным мыслям. — Нет, я не могла больше оставаться в Киеве... Да и зачем? Очень хорошо, патрикий Феодор, что ты взял меня с собой, они никогда не узнают, где я.

— И все же, княгиня, — сказал купец, — лучше было бы тебе ехать в Константинополь. Я уверен, что тебя достойно встретят и примут в Большом дворце.

— Нет, нет! — решительно возразила она. — Я не хочу быть в Константинополе и не поеду туда... Мы условились, патрикий, ты дашь мне в устье Днепра хеландию, на которую я сложу свое добро, дашь надежную охрану, и меня отвезут в город Херсонес.

— Воля твоя, княгиня, — промолвил Феодор. — Я сделаю все, как мы условились. Через две недели ты со своим добром будешь в Херсонесе.

Встер крепчал, хеландии быстро неслись вперед.

Позади уже едва виден был город Киев.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1



вот купец Феодор опять в Константинополе. Его нагруженные всяческим добром хеландии остановились на Суде, несколько дней рабы выгружали из них и возили в константинопольское подворье купца Феодора меха, меда, горючий камень.

Но дома он уже не только купец. Узнав о его возвращении, проэдр сразу же приглашает патрикия Борея в Большой дворец, долго беседует с ним.

Проэдр Василий очень интересуется Русью, расспрашивает о Киеве, о землях, городах, князьях.

— Между двумя князьями Руси — киевским Ярополком и новгородским Владимиром — была великая война. Князь Ярополк убит, ныне в Киеве и на всей Руси один князь — Владимир.

— Он сын Святослава?

— Да, сын Святослава и рабыни...

Проэдр вздрагивает.

— И пошел, должно быть, в своего отца?

— Очевидно, так... В Киеве христиане молятся тайком, князь Владимир устроил под городом требище всех богов.

— И ему теперь подвластны все земли?

— Нет, проэдр! Война на Руси привела к тому, что некоторые земли отказались платить Киеву дань, и одновременно, как ты, возможно, знаешь, Польша захватила немало русских городов. Там, я слышал, есть и германские рыцари, проповедники папы римского.

— Папа Бенедикт и император Оттон торопятся, — недовольно бормочет проэдр. — Чего мы не смогли сделать, то они уже успели... А что делает Владимир?

— Он собирается идти войной на Польшу, а земли, что отпали, тоже хочет вернуть.

Проэдртирает шелковым платком потный лоб.

— Наше счастье в том, что они еще будут грызться между собой. О, если бы они ссорились подольше, в этом наше спасенье.

Но он тут же умолкает — не стоит рассказывать купцу обо всем, лучше узнать у него побольше новостей о Руси.

— А как наша девица Юлия? — спрашивает проэдр.

— Царевна? — смеется Феодор.

— Да, царевна с Перу, — смеется и проэдр.

— Девица Юлия сделала все, что должна была сделать, — отвечает Феодор, — и, как видно, может еще кое-что сделать.

— А именно?

— Она родила сына.

— От князя Ярополка?

По лицу Феодора блуждает таинственная усмешка.

— В Киеве по-разному говорят об этом ребенке: одни называют его сыном князя Ярополка, другие говорят, что он от Владимира. Сын двух отцов.

— Погоди, патрикий! Юлия была женой князя Ярополка, а князь Владимир...

— У князя Владимира другая жена, но после смерти Ярополка он полюбил Юлию.

— Значит, теперь его жена — Юлия?

— Нет, к нему скоро приедет первая жена, а Юлия покинула Киев.

— Надеюсь, ты не привез ее в Константинополь?

— О нет, проэдр, если бы она даже просила, я не повез бы ее сюда... На одной из моих хеландий Юлия направилась в Херсонес.

— Это хорошо, пускай сидит там... А сын ее с нею?

— Нет, он остался в Киеве и живет при дворе князя Владимира.

— Сын гречанки Юлии живет при дворе князя Владимира? Это хорошо, патрикий Феодор. За это дитя нам стоит побороться. И о Юлии не надо забывать. Ты, Феодор, скоро возвращаешься в Киев?

— Скоро, проэдр.

— Помни о сыне Юлии. И о Владимире мы должны знать все... Я надеюсь, очень надеюсь на тебя, патрикий...

2

Проэдр Василий не напрасно так подробно расспрашивал патрикия-купца Феодора про Русь: положение в Империи становилось все более трудным, проэдр опасался за собственную участь, за жизнь.

Темная, грозная туча поднималась с юга, где в Малой Азии провозгласил себя императором Вард Склизр.

Проэдр Василий знал этого полководца — он никогда не действовал без оглядки, а постепенно собирал силы, под-

крадывался к врагу, умел выбрать наиболее выгодный случай и налетал, как буря.

Теперь, провозгласив себя императором, Вард Склир не появлялся на берегах Босфора, но проэдр Василий знал, что он собирает в Малой Азии силы, рано или поздно пойдет на столицу Империи.

Тревожила Василия и ближайшая соседка — Болгария. Византии приходилось теперь расплачиваться за то, что император Никифор Фока разорвал мир с Болгарией и объявил ей войну, за то, что он же призвал русского князя Святослава покорять болгар. Русов и болгар он не поссорил, наоборот, их общий гнев обрушился на Византию, императору Иоанну Цимисхию слишком дорогой ценой пришлось покупать мир с князем Святославом.

Единственным, пожалуй, достижением Византии было то, что Болгария ныне рассечена пополам: ее земли у Русского моря до Дуная и у Эгейского моря до Лариссы захватила Империя. Болгарам остались только горы и равнины — Западная Болгария.

Но именно эти-то горы и были угрозой для Византии: туда уходили все болгары, которым невыносимо было жить под ярмом Империи, там пастух бросал пастбища и брал в руки лук, там пахарь оставлял в борозде рало и обнажал меч...

Их вели против Византии Охридский комит Николай Шишмаи и сыновья его Давид и Моисей. Их не стало, но были живы и возглавляли непокоренных болгар остальные два сына Николая — Самуил и Аарон.

Войска Самуила и Аарона выступили, во главе их шел Самуил, победно захвативший всю Фессалию, он взял Солунь, Лариссу, уже близится к берегам Эгейского моря; Аарон же уничтожает отряды акритов Македонии, угрожает Филиппополю.

3

В Константинополе начался переполох. Далеко до Малой Азии, но всем известно, что там поднял восстание и объявил себя императором Вард Склир.

Константинополь знает Склира: это один из лучших, а возможно, и самый лучший полководец Империи, который после смерти Цимисхия стал domestиком школ в Малой Азии, а позднее властителем Антиохии. Одного его имени боялись враги, ныне перед ним, как перед новым императо-

ром, который идет откуда-то из Азии и скоро появится на Босфоре, трепещет, содрогается вся столица.

О Болгарии нечего и говорить: войско Самуила и Аарона стоит в Пелопоннесе, блуждает по Фракии и Македонии, подступает к самому Константинополю.

Константинополь дрожит, растерянный синклит сегодня требует, чтобы императоры Василий и Константин отозвали легионы из Малой Азии и послали их против Самуила и Аарона, а завтра тот же синклит вопит, что нужно снять легионы во Фракии и Македонии и бросить их как можно скорее против Варда Склира.

Синклит идет на последнее средство — приказывает стратигам фем собирать земское войско, тагмы фем, но стратиги боятся за свои фемы: враг угрожает непосредственно им, и они не шлют войска.

В Константинополе размещено много полков бессмертных, их можно было бросить и в Малую Азию, и против болгар, но дрожит не только столица, больше всего перепуган Большой дворец, вся надежда только на бессмертных.

Кроме того, в столице голод, вспыхнула тяжелая моровая болезнь, в Галате, на Перу и в самом городе начинаются грабежи, разбой, убийства, чья-то неведомая рука пишет на базиликах и даже на гробнице Никифора Фоки: "Встань, божественный император, взгляни, как орды диких болгар топчут могилы твоих воинов, идут на Константинополь..."

Разумеется, если бы во главе Империи в это время стоял василевс-деспот либо же полководец, подобный Никифору Фоке или Иоанну Цимисхию, он мог бы повести легионы в бой — не впервые в Византии вспыхивает восстание, всю жизнь она существовала на вулкане.

Но такого императора, такого полководца не было; на престоле сидели Василий и Константин, а подле них был и все вершил за них проэдр Василий.

Это было невероятно и удивительно: Василию минуло двадцать лет, Константин был на три года моложе него. Оба они, а уж во всяком случае старший, Василий, должны были взять в свои руки всю полноту власти, управлять Империей.

Проэдр Василий не мог этого допустить, ибо знал, что, если Василий и Константин возьмут в свои руки управление Империей, ему навсегда придется распрощаться с мечтами о короне, а может быть, и покинуть Большой дворец.

И проэдр действует — синклит и сенат делают лишь то, чего хочет проэдр Василий. Василий и Константин сидят на троне, но Империей правит регент, проэдр Василий.

Для этого словно бы есть причины: император Василий не женат и не собирается жениться, не ест мяса, не пьет вина, а непрерывно соблюдает пост, молится вместе со своими монахами, священниками, клиром... Где уж ему править Империей.

Константин, младший из императоров, полная противоположность своему брату, — этот дни и ночи пьет, проводит время исключительно с гулящими девками. Не в Большом дворце, а в кабаках на Перу искали императора, если он бывал нужен.

Проздр Василий, имея за своей спиной таких императоров, всячески потворствовал первому в молитвах, второму в разгуле, сам же упорно шел к своей цели: сын императора Романа I Лекапина и славянки-рабыни, оскотленный своим же отцом, мечтал сесть на Соломонов трон.

Однако кольцо вокруг Константинополя стягивалось. Это понял наконец и проздр.

После смерти Цимисхия и провозглашения императорами Василия и Константина Феофано жила, как вдовствующая василисса, во Влахерне, часто навещалась к своим сыновьям в Большой дворец, иногда проздр даже советовался с нею, считая, что она ему не опасна.

На самом же деле Феофано не могла простить проздру Василию измены, мечтала отомстить ему, выгнать его из Большого дворца, уничтожить. Она упорно, хитро, коварно шла к этому.

Проздр ошибался, думая, что Феофано успокоилась и удовлетворилась участью вдовствующей василиссы. Феофано в то время еще не было полных сорока лет, она была красива и знала цену своей красоте; кровь бушевала в ней, как в каждой женщине, которая переступает последнюю ступень своего расцвета и уже ощущает суховей близящейся старости. Феофано была способна на самый отчаянный, пускай последний, но решительный шаг.

И Феофано его делает: среди множества людей, встречавшихся ей в жизни, она умела выбирать самого смелого и самого сильного — впрочем, возможно, ее несравненная, божественная красота делала ее избранников смелыми, сильными, безумными в их порывах!

Так, опираясь на чужую силу, она и шла дорогами жизни, вместе с избранными ею любовниками побеждала, всегда достигала своей цели, чтобы расплатиться за это изменой, а потом начинать снова и снова...

Теперь Феофано предпринимает последнюю, страшную попытку. Как женщина она не могла жаловаться — и в Арменин, и ныне в Константинополе неистовая вдова удовлетворяла свою страсть: этериот, охранявший по иочам ее палату, не был скопцом и умер бы, не выдав тайны Влахерна.

Феофано тонко ведет игру, — всем известно, что сразу же после смерти Никифора Иоанн выслал ее на Прот, потом в Армению. Теперь, когда не стало Цимисхия, Феофано все чаще и чаще называет его врагом, а Никифора своим верным другом, время от времени ходит в храм Апостолов, где в склепе рядом с телом великого Константина лежит обезглавленный труп Никифора, — и в этом ничего удивительного нет, она была его женой до последнего дня жизни.

Не забывает она и о сыновьях — Василии и Константине. Ей дозволено посещать Большой дворец, Феофано часто бывает там, заходит к старшему сыну, Василию. Он молится со своими монахами, Феофано же слово за слово постепенно разжигает в нем жажду власти и славы, вызывает ненависть к проэдру Василию.

Феофано не ошибается: ее сын Василий не тот, за которого его принимают, он, как и мать, ненавидит проэдра, хочет его уничтожить, молится Христу, но точит нож. Наступит день — и Византия содрогнется, увидев истинное лицо этого императора.

Феофано смотрит Василию в глаза, уговаривает его, думает о том, кто ей поможет снова сесть на трон в Магнавре — Вард Фока или сын Василий? Если победит Василий, она сядет рядом с ним, победит Фока, что ж, Феофано не содрогнется, Василий должен будет умереть... а пока мать теплой, нежной рукой гладит голову сына.

Есть у Феофано и еще одна надежда — дочь Анна, родившаяся за два дня до смерти ее первого мужа, императора Романа. Кто знает ныне, от чего умер император Роман? Кубок вина — и его не стало, на престол тогда взшел Никифор Фока...

Анне исполняется пятнадцать лет, на ее детском лице уже появились признаки красоты, очарования Феофано, и глаза у нее такие же, как у матери... Душа... да, и душа у Анны будет материнская — об этом неустанно печется Феофано!

Проэдр Василий идет к Феофано. Она ненавидит его, проэдр это знает, он всю жизнь использовал и обманывал Феофано, ей это тоже прекрасно известно, но такова уж

горькая насмешка судьбы: ворон никогда не летает один, где он появился, туда прилетит и другой, будет трудно — они выключают друг другу глаза...

Впрочем, к кому еще мог пойти проэдр? Он сам выслал из Константинополя тех, кто мог, хотя бы спасая собственную шкуру, помочь ему в этот час. Другие — полководцы, знатные люди, родственники и друзья Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, которые теперь неизбежно боролись бы за себя и тем самым за проэдра, — бежали, опасаясь мести, в Малую Азию и ныне были его врагами. Проэдра ненавидели в Большом дворце, во всем Константинополе.

— Я пришел к тебе, как к своему старому другу, — начал проэдр, перешагнув порог палаты во Влахерне, где жила Феофано.

— Неужели я так же стара, как ты? — насмешливо ответила на это Феофано.

— Нет, — со вздохом ответил проэдр, — ты еще молода и красива, это я стар и немощен, я говорю о давности нашей дружбы.

— Что ж, — процедила Феофано, — дружба наша и в самом деле стара и даже дала трещину, проверим ее еще раз.

— И ты поможешь мне?

— Я с радостью помогу тебе и себе! — нагло заявила Феофано. — Садись, старый и вечно молодой проэдр.

Он сел.

— Давно уже Империя не переживала такого трудного времени, как сейчас. — Проэдр тяжело дышит, вытирая потное лицо. — Малая Азия и Склир, Болгария и Русь, Кведлинбург и Рим — впрочем, ты сама все знаешь, Феофано.

— Да, это все я знаю, — резко отвечает она, — только не понимаю, почему ты сейчас пришел ко мне?

— Я пришел к тебе потому, что узнал еще одну и самую страшную новость... Из Малой Азии прибыл гонец, который сообщил, что Вард Склир объявил себя императором, надел багряницу и красные сандалии...

— Очень жаль, проэдр, что ты не думал об этом, когда не стало Иоанна. Тогда ты, насколько я помню, устранил меня, потому что захотел править Византией только с моими сыновьями. Ты неблагодарен, проэдр!

— Но ведь Василий и Константин — твои сыновья!

— Ты оторвал их от меня, но не сумел стать им отцом. Не так ли, проэдр? Что же ты молчишь, говори!

Феофано, прищурив глаза, смотрела на бледное, высохшее лицо скопца; он внимательно следил за нею.

— Василий и Константин не способны спасти Империю, — невыразительным голосом произнес проэдр.

— Я это знала и раньше, — осторожно ответила Феофано. — А кто же может это сделать? Опять молчишь? Почему?

— Спасти Империю можешь только ты, Феофано.

— Наконец-то я услышала от тебя откровенное слово... Но ты не договорил... Спасти Империю могу я вместе с тобой. Так ведь ты думаешь?

— Мне поздно об этом думать. Кто я? Только проэдр, тень императоров, постельничий. Одно лишь помни, Феофано, отныне проэдр станет служить только тебе.

— Спасибо, проэдр, ты знаешь, что встать теперь во главе Империи я не могу. Да, Василий, и мне и тебе уже поздно.

— Так что же делать?

— А ты скажи, проэдр... Раз ты пришел ко мне, значит, знаешь, что делать.

— Я действительно думал об этом... Василий и Константин не способны, их нужно устранить...

— Ты считаешь, что их нужно устранить силой и выслать?

Проэдр на мгновение замялся.

— Императоров не устраняют, а уничтожают, — тихо произнес он. — Ты хорошо это знаешь, Феофано...

— Так, — сказала Феофано, и проэдр увидел слезы на ее глазах. — Тяжко, очень тяжело... И кто же это может сделать?

Проэдр долго смотрел на нее.

— Придется мне...

— А на кого же опереться? — спросила Феофано. — Кто взойдет на трон?

— Я думал долго и об этом... Считаю, что положиться можно только на одного человека — на Варда Фоку.

Феофано даже вздрогнула. Оказывается, проэдр еще разбирается в людях, хорошо знает, к кому тяготеет константинопольская знать, выехавшая в Малую Азию. Одно лишь он не знает и не должен знать: Феофано гораздо раньше, чем проэдр, остановила свой выбор на Варде Фоке.

— Это, пожалуй, правда, — согласилась Феофано. — Варда Фоку поддерживает вся знать и даже синклит.

— Я хотел бы, чтобы Варда поддержала ты, Феофано, ты ведь его самая близкая родственница, жена Никифора.

— Да, я была женой Никифора, а теперь его несчастная вдова.

— Ты можешь еще стать счастливой, Феофано.

— С Вардом? Что ж, юношей он когда-то любил меня, но теперь уже поздно.

— Нет, Феофано, тебе никогда не поздно, это только я никогда не знал и не узнаю счастья любви.

— Твое счастье в том, что ты был проэдром нескольких императоров, а повезет — и еще одного.

— Думаю, что повезет нам обоим, — дай мне два порошка из тех, что, я знаю, остались у тебя еще с давних времен.

Феофано, очевидно, уже овладела собой, пошла в соседнюю палату, быстро вернулась оттуда и дала проэдру два порошка. У нее дрожали руки, ей было страшно — и это порадовало проэдра.

И тогда случилось то, чего никто в Большом дворце не ожидал. В одно утро в покоях императора Василия не прозвучали, как это всегда бывало, молитвы, а когда он через некоторое время вышел из своих покоев, то окружали его не монахи и священники, а этериоты с обнаженными мечами в руках. И шел Василий не так, как обычно, не со скорбными глазами, опустив голову, не медленными шагами, а с высоко поднятой головой, быстро, уверенно, глаза его пылали гневом.

Очутившись в Золотой палате, двери которой распахнул перепуганный папия Лев, император Василий приказал логофету, упавшему перед ним на колени, привести проэдра Василия.

Ждать ему не пришлось. Проэдр Василий уже был здесь, в Золотой палате. Не добежав нескольких шагов до трона, он упал ниц.

— Ты меня звал, василевс... я пришел, — произнес проэдр, но так тихо, что сам не услышал своего голоса.

— Да, я велел привести тебя сюда, в Золотую палату.

Император долго смотрел на проэдра.

— Мерзкий, никчемный скопец! — громко крикнул он. — Неужели ты за всю свою жизнь еще не напился крови?

— Я никогда не пил ничьей крови... Я не знаю, о чем говорит император... — пробормотал проэдр, стараясь понять, что произошло.

— Ты хотел меня убить! — неожиданно вскочил с кресла и сделал шаг вперед император.

“Ложь! Все это ложь! Я не думал, не хотел тебя убивать, император!” — готово было вырваться у проэдра.

Но он не сказал этого, а, задрожав от страха, смотрел, как из дверей, которые вели из катихумения, вышла Феофано, начальник этерии Лев, еще несколько этериотов.

Проэдр понял, что произошло, — как же он был неосторожен, поверив на один час Феофано. Непонятно как, но она пришла в Большой дворец в этот утренний час, рядом с нею стоят начальник этерии Лев, великий папия — все, кто ненавидит его лютой ненавистью, а сейчас, плененные Феофано, стоят позади императора.

Но лукавая его душа не могла смириться с тем, что случилось, в одно мгновение он решил бороться, только бороться, и если уж на то пошло — не шадить Феофано.

— Великий василевс! — тихим и, казалось, совсем спокойным голосом произнес он. — Тебя ввели в заблуждение. Да, великий василевс, тебя хотели убить, тут, в Большом дворце, есть человек, который собирался тебя отравить, человек этот дал мне два порошка яда для тебя, василевс, и для императора Константина.

— Где эти порошки? — крикнул Василий.

— Они здесь, со мной. — Проэдр выхватил из-за пояса склянку с ядом.

— Дай их мне...

Проэдр быстро шагнул вперед, подал императору склянку. Василий взял ее и долго смотрел на серый порошок, пересыпавшийся на дне.

— Кто дал тебе этот яд? — спросил Василий.

И проэдр Василий решился. Собственно, у него не было выбора: император узнал о покушении на него, за его спиной стоит Феофано, которая дала яд, она же и выдала его — пусть же погибает Феофано!

— Эту отраву для тебя и императора Константина дала мне твоя мать Феофано...

Император молчал. Бледная, широко раскрыв глаза, стояла неподалеку от него Феофано, перед престолом на коленях распростерся проэдр Василий.

То была страшная минута: тут, в Золотой палате, решалась судьба двух хищников, которые всю жизнь ненавидели друг друга, но свои злодеяния совершали вместе.

— Сын, — произнесла Феофано, — дай мне эту отраву.

Безжалостный Василий, не оборачиваясь, протянул руку и подал матери приготовленный для него яд.

Но что это? Феофано взяла склянку, посмотрела, есть ли там порошок, вытащила пробку и, высыпав в рот, проглотила отраву. Потом она твердо шагнула вперед, положила руку на плечо Василию, сказала:

— Не бойся, сын! То не отравы, а мел... Теперь ты видишь, что замышлял проэдр Василий.

— Этот никчемный скопец больше не проэдр! Гнать его из Большого дворца, Константинополя, Империи! Гоните его!

Император Василий жестоко отомстил проэдру Василию. То была не только его месть — он мстил за своего отца Романа, отравленного проэдром, за императоров Константина, Никифора, Иоанна, погибших от руки проэдра.

Не знал император Василий только того, что соучастницей, помощницей, а чаще всего и вдохновительницей всех этих убийств была также и его мать Феофано... Развенчанный проэдр, спасая свою жизнь, не мог теперь сказать этого, ибо тогда к мести Василия прибавилась бы еще и месть Феофано; сама же Феофано, стремясь обелить себя, просила, чтобы сын ее Василий жестоко покарал бывшего проэдра.

Василий покарал проэдра. Одетого в черную тунику, с непокрытой, лысой, безбородой головой, в сандалиях на босу ногу, его провели под охраной этериотов по улицам и площадям Большого дворца, вытолкнули через северо-западные ворота за Ипподромом, гнали по середине улицы Месы под крики огромной толпы, собравшейся к этому времени, затем свернули на Среднюю Месу, там довели его до западной стены города, вывели через старые Золотые ворота, где начиналась дорога на Евдом, и там оставили.

И тогда Василий, который был накануне правителем Империи, владел бесчисленными богатствами, теперь потеряв все, ничего не имея, даже куска хлеба на нынешний день, побрел, как нищий, по дороге...

Дорога эта не имела для него ни начала, ни конца. Кто мог теперь помочь ему? В Империи знали проэдра, когда он был всемогущим, а теперь боялись как врага императоров; его ненавидели и поносили; если бы он остановился где-нибудь на своей бесконечной дороге и попросил хлеба, ему бы протянули лишь камень.

Так брел по длинной дороге бездомный Василий, чтобы упасть где-нибудь у обочины и умереть.

Император Василий стал на долгое время единственным и полноправным вершителем судеб Византии. Брат Константин сидел рядом с Василием на престоле, но имени его не вспоминали и при жизни, а после смерти прозвали Константином Пьяницей. Один Василий, Василий Жестокий, Василий Убийца сидел на Соломоновом троне.

Откуда появились эти свойства — решительность, беспоощадность, бессердечие у человека, который с юных лет отдавал себя постам, молитвам, богу?

Священники и монахи, которые денно и нощно окружали императора Василия, христианская мораль, которую они ему прививали, — именно они были плодородной почвой, на которой вырос и воспитался император-деспот.

Святые отцы, научившие его говорить о мирской суете, бренности человеческого существования, потусторонней жизни, сами рвались к власти в Империи и обладали этой властью, держали в руках бесчисленные богатства и неустанно их умножали.

Император Василий за всю свою жизнь никого не полюбил и умер бездетным, он не ел мяса, не пил вина, ходил во власянице и спал на твердом деревянном ложе... Монах!

Как раз в это время войска комитопула Самуила, достигшие Лариссы, и войска Аарона, вышедшие к Адрианополю, останавливаются.

Одни в Константинополе говорят, что император Василий послал против ненавистных болгар новые легионы, другие утверждают, что произошло чудо.

На самом же деле император не посылал против болгар новых легионов, ибо тут, в Европе, у него их и не было, не произошло у Лариссы и никакого чуда, — нет, комитопулы Самуил и Аарон, захватив Пелопоннесс до Лариссы и дойдя со своим войском до Адрианополя, тем самым освободили от гнета Византии все земли Болгарии, принадлежавшие ей на западе, встали на границах Византии и взяли города, откуда могли угрожать самому Константинополю.

Мог ли Самуил, одним ударом свергнув власть Византии в Западной Болгарии, идти дальше на Константинополь, мог ли он вступить в решительную брань с Византией, державшей в своих руках всю Восточную Болгарию до самых берегов Дуная и Русского моря?

Нет, Самуил поступает осторожно и мудро: он останавливает свои войска в Лариссе, в Солуни, под Адрианополем. Отныне Западная Болгария освободилась из-под ярма Византии, много лет будет он укреплять ее, наводить в ней порядок, чтобы потом собрать все силы, освободить Восточную Болгарию и воссоединить родную страну от Дуная до Эгейского моря.

Взяв Лариссу, Самуил на некоторое время останавливается в ней. То было, должно быть, лучшее и неповторимое, но очень непродолжительное время в его жизни. Весна цве-

да на берегах чудесного Эгейского моря, цвела весна и в сердце Самуила.

Он был молод, победа над Византией казалась ему недалекой. На улицах Лариссы, прекрасного города, очень напоминавшего Константинополь, Самуил встречает прелестную гречанку Ирину, пылко влюбляется в нее.

Когда весна отцвела, Самуил велит своему войску возвращаться в горы. С собой он везет большие сокровища, мощи святого Ахиллея, жену Ирину.

Самуил направляется в Преспу, куда после Водена он решает перенести столицу. Тут, на острове, который высится посреди озера, Самуил закладывает город, возводит стены, тут рождается его сын Иоанн-Владислав.

Позднее Самуил переносит столицу в Охриду. Это город, где жил и был комитом его отец Николай, где родился и он сам, но не только это влечет его в Охриду: отсюда ему удобнее будет бороться с Византией.

Эта борьба приближалась. Если бы не восстание в Малой Азии, император Василий давно бы бросил против Болгарии свои легионы. Но восстание в Малой Азии продолжалось, и Василий свой основной удар направлял туда.

Именно в это время комитопул Самуил, получивший от своего отца и брата Давида корону кесаря, совершает странный шаг: собирает бояр и боилов со всей Западной Болгарии, и те выбирают своим кесарем Романа.

Ничего странного в этом нет: Самуил чувствовал, что близится решающий час, когда на глазах всего света Болгария сразится с Византией и ее императорами. Самуил не ищет личной славы, он, заботясь лишь об отчизне, хочет, чтобы кто-нибудь возглавил эту борьбу. Роман — скопец, последний и несчастный сын Петра, но он кесарь родом, внук прославленного Симеона.

Иные говорят, что Самуил поступил так потому, что кесарь обещал усыновить его, Самуила, благодаря чему сын Самуила Иоанн-Владислав станет законным наследником бездетного кесаря из рода Симеона.

Вряд ли это было так; нарекая кесарем скопца Романа, комитопул Самуил заботился не о себе, а о Болгарии, хотел, чтобы болгарские кесари, как прежде, стояли наравне с императорами ромеев, а послы их сидели по правую руку василевсов.

Но больше всего Самуил полагался на самого себя да еще на брата Аарона, сидевшего в Средеце. Аарон был желанным гостем в Охриде, Самуил часто ездил в Средец и там советовался с братом. Когда у Аарона родился сын Иоанн, Самуил стал его крестным отцом.

Так действует комитопул Самуил, так печется он о будущем, на самом же деле совершает ошибки, за которые потом ему самому придется расплачиваться.

Император Василий использует передышку, которую дал ему Самуил для того, чтобы уладить дела в Малой Азии. На помощь ему приходит мать, Феофано.

В первые же дни после изгнания проэдра Василия василевс собирает синклит, назначает не проэдром, а паракимоменом Игнатия, который был до того стратигом Фракии, мужа сурового, трезвого, такого же, как и он, аскета.

Греческие епископы, съехавшиеся в Константинополь на похороны патриарха Антония, который занимал кафедру в Святой Софии только четыре года, неожиданно выбирают новым патриархом Николая II Хризверга, хотя он был женат и только несколько лет тому назад похоронил жену. Такова воля императора, который хочет иметь патриарха послушного, покорного, но жестокого и безжалостного к другим.

Эти особы — паракимомен Игнатий, патриарх Николай Хризверг, а вместе с ними сотни епископов, священников и монахов будут отныне слугами Василия; назначает он также новых стратигов, полководцев — и это весьма мудро: в Константинополь начинает возвращаться из Малой Азии знать, которая во время владычества проэдра бежала из столицы и служила Варду Склиру.

Этого мало: новому императору нужен рядом с ним кто-то, кто поможет ему распутать клубок заговоров в Малой Азии, а если понадобится, сплести новый, нужный уже ему самому клубок, — это и будет Феофано.

Любил ли император Василий свою мать, Феофано, уважал ли ее, верил ли ей? Нет, он вырос в стенах Большого дворца, с самого детства не видел и не мог любить мать; зная от чиновников и, должно быть, от самого проэдра Василия ее прошлое, не мог уважать ее, не мог ей и верить.

Но обойтись без нее новый император тоже не мог, ибо она хорошо знала константинопольскую знать, имела друзей и любовников в Европе, Малой Азии, Армении, Грузии.

Феофано сама дала понять Василию, что хочет ему помочь, каждый день приезжала в Большой дворец, наконец совсем переехала и поселилась здесь. И она помогала сыну!

Император Василий ничего не скрывал от нее. Да и что он мог скрывать — она, безусловно, знала больше, чем он.

— Проклятые Шишманы, видно, не скоро пойдут против Византии, — говорил он, — нету сил у них, мало сил у ме-

ня... Готовится Самуил, я приготовлюсь быстрее, чем он... Если бы только не скопец Роман.

Феофано несколько мгновений раздумывала, — она искусно умела завязывать узлы лжи и обмана.

— Насколько я понимаю, — сказала она, — Роман, которого Самуил назвал царем, все же никогда не будет царем Болгарии, и это, прежде всех, знает он сам... Нужно, сын, найти людей, которые окружали его здесь, в Большом дворце, и послать их к нему в Болгарию...

— Его духовником тут был митрополит Севастийский Флавиан.

— Пошли его в Болгарию.

— Я подумаю, мать. Время у меня есть. Только бы подавить восстание Варда Склира в Малой Азии, тогда я соберу все легионы, пошлю их против мисян.

— Пока что пошли их против Склира.

— Мне нечего послать. Склир ведет мои же легионы.

Феофано задумалась.

— Воевать со Склиром, не имея силы, тебе действительно трудно. Но почему ты сам должен идти против него?

— А кто же пойдет?

Мать засмеялась.

— Поступай, как прежние императоры: не можешь идти сам — поссорь врагов, они натворят больше, чем ты сам.

— С кем же я могу поссорить Склира?

Феофано говорит тихим, спокойным голосом, она словно думает вслух, еще словно колеблется, пытается советовать-ся, хотя заранее все продумала, все решила.

— Император Иоанн и его проэдр были несправедливы к богатым людям, несправедливы были они и ко мне, а также ко всем родным моего мужа Никифора Фоки.

— Чем нам могут помочь теперь Фоки? Лев Фока ослеплен, его сын Вард — монах в монастыре на Хиосе.

Феофано знает куда метит.

— Слепой Лев, — отвечает она, — действительно ничем нам помочь не может, а вот Вард Фока прошел суровую школу монашества в монастыре. Если сделать его домашником схол в Малой Азии, он спасет Империю. Не забудь, Василий, что Фоки известны всему Константинополю и Малой Азии.

Император Василий долго думает. Мать дает ему совет от всего сердца, искренне, в ее словах, как видно, правда.

— Где же взять легионы для Варда Фоки?

— Если ты сделаешь его домашником, я дам ему необходимые легионы, — говорит Феофано.

Теперь они действуют сообща. Император Василий пишет письмо к Варду Фоке, в котором признает, что Иоанн Цимисхий поступил несправедливо, лишив его всех почестей, богатства и заставив постричься в монахи на острове Хиос. Император Василий дарует Варду Фоке свободу, возвращает все имения и ценности, назначает domestиком схол и приказывает возглавить войско, разбить Варда Склира.

А Феофано пишет письмо властелину, мепет-мепе Грузии Давиду, с которым она наладила добрые отношения, когда жила в Армении. От имени своего сына императора Василия и от себя лично Феофано просит Давида помочь Империи в трудный час, дать новому domestiku схол в Малой Азии, Варду Фоке, десять тысяч воинов, чтобы он мог разбить самозванца-императора Варда Склира.

Эти два письма Василий и Феофано поручают отвезти на остров Хиос и в город Тбилиси константинопольскому патрикию Торникию, который незадолго до того постригся в монахи на Афоне. Патрикий-монах, сам по происхождению грузин, Торнийкий вполне подходящий человек для далекой поездки на Хиос и в Грузию.

Пройдет немного времени, и Торнийкий доберется через пустыни Малой Азии до Тбилиси, падет ниц перед престолом мепет-мепе Давида, от имени императора Василия и матери его Феофано будет просить помощи и солдат.

Пройдет еще некоторое время, и мепет-мепе Давид, посоветовавшись со своими визирами, пошлет императору Василию целый легион — десять тысяч воинов, а во главе поставит чернеца Торнийкия.

Пройдет еще время, и в пустынях Малой Азии начнется посидинок между Склиром и Фокой, запыхают города, кровь хлынет на песок, люди будут умирать — тем жила и живет Византийская империя.

Трижды грудь с грудью будут сходиться в пустыне Вард Фока и Вард Склир, в решительном бою над рекой Галис полководец в монашеской рясе, с крестом на груди и мечом в руке поведет против воинства Варда Склира десять тысяч всадников-грузин — и вот уже разбитый навсегда Вард Склир оставляет на поле боя свое войско и свой меч, бежит к арабам, а халиф ввергает его в темницу.

С богатой добычей возвращаются на родину грузинские воины, в память об этих битвах они строят на Афоне свой иверский монастырь Портантиссы.

Печальный возвращается в Константинополь полководец-монах Торнийкий, на этот раз он везет императору Василию письмо от царя Давида: мепет-мепе требует за свою военную помощь большую дань.

На костях побежденного воинства Склира стоит Вард Фока. Он давно сбросил свою рясу, на нем шитая золотом и серебром бархатная одежда, тугой пояс перехватывает его тонкий стан, храбрый полководец думает о Феофане.

А тем временем в Константинополе твердо сидит на Солюмоновом троне император в монашеской рясе, мечтающий покорить и держать в повиновении Малую Азию, собрать силы и двинуться на Болгарию, а победив ее, идти и на Русь!

4

Владимир утвердился, сел на стол своих предков в городе Киеве, стал великим князем Руси.

Русь не была островом среди моря-океана. Со всех сторон ее окружали другие земли, племена, народы. Многих из них, особенно соседей, русы знали, держали и старались держать с ними мир и дружбу — так было с ромеями, болгарями, чехами, поляками; на севере со свионами; с аланами и касогами на далеком юге; с народами Кавказа.

Но это был не весь мир! Неведомые и грозные народы жили на севере от Руси, за Варяжским морем; словно волны огромного сурового океана, из-за степей за Итиль-рекой накатывали без конца все новые и новые, незнакомые, страшные своей силой орды; таинственные, неизвестные люди жили за Джурджанским и Русским морями.

Далекий и странный мир! Как мало тогда знали люди друг друга, и как это было трудно им сделать. Чтобы добраться от Киева до Константинополя, нужно было ехать два-три месяца; путь до Итиль-реки измерялся полугодием; чтобы переплыть Джурджанское море и побывать в Шемахе или Ургенче, приходилось потратить несколько лет.

И все же люди шли. Что там Шемаха или Ургенч? Русские люди в то время — купцы, послы, часто просто искатели счастья — доходили не только до них, но бывали и в далеком Багдаде, Мерве, Баласагуне, Кашгаре и даже за реками Хуанхэ и Янцзыцзян в государстве Суне, на берегу океана, из-за которого встает солнце.

То были не завоеватели, не поработители других народов, не разбойники, искавшие добычи, подобно свионам, печенегам, половцам, татарам, нет, у русских людей было вдосталь земли, лесов, рек, богатств — они шли прославлять родину, утверждать мир.

Трудно представить себе нашего далекого предка, путешественника того времени, прокладывавшего впервые до-

рогу среди буйных трав дикого поля, шедшего по истропанной и бесконечной целине, прорубавшего тропу в лесу. Он спал на земле, питался злаками и мясом птиц и зверей, убитых стрелой из лука, топором, рогатиной, остерегался врага, который мог притаиться за каждым деревом и кустом, шел все вперед, познавал свет, жаждал мира.

Но как узнать этот странный свет, как найти, закрепить свое место в нем, жить в мире с остальными людьми, землями?

Ночь. В степи под курганом горит костер, возле него сидит бородатый, загорелый, светлоглазый человек. Он жарит на рожне на углях кусок ароматного мяса драхвы или сайги, ужинает, ложится спать, положив голову на луку седла.

Костер догорает. В поле тишина. Слышно только, как вблизи переступил спутанный на ночь конь, он грызет острыми зубами сочную свежую траву. Вокруг темно; поле напоминает черный ковер; над ним нависло небо, похожее на огромную, перевернутую вверх дном чашу.

Земля и небо! Да, только они существуют на свете. Земля — гладкая равнина, которую пересекают леса, горы, реки, моря, а вся она неподвижно стоит на столбах, и вокруг со всех сторон бушует океан...

Небо, на которое смотрел тысячу лет назад наш далекий пращур, тоже не беспокоило его: этот безбрежный, голубой океан — мир, которого человек не знает и не может узнать, там живут неведомые существа — боги, там есть сады, реки, рай, где летают и порхают, как птицы, души предков. Днем по небу катится солнце, оно ночует в подземных кладовых; по ночам небесная стража зажигает на небе множество звезд; вон они мерцают, переливаются, тускло освещают темную землю.

Костер догорел. Путешественник не спит. Он сидит в темноте, опираясь сильными руками о землю, задумчивый, спокойный; земля — твердь среди безбрежного океана, где-то медленно колышутся волны, порой всколыхнется и земля...

Далекий и странный мир! Человек, обитавший в нем, — дитя, которое блуждало в темном лесу, пробиралось через буреломы и чащи, неустанно шло вперед.

Князю Владимиру нелегко было жить в незнакомом, таинственном, полном опасностей мире. Но в двадцать лет, когда он сел на отцовский стол в Киеве, он уже хорошо знал Русь, любил ее людей и просто жаждал жить.

Он видел, что над Русью со всех сторон нависли черные тучи: на западе захватила много городов червенских Поль-

ша, за спиной которой стоял Оттон Германский, отрезали путь к Джурджанскому морю и становились все более наглыми черные болгары, ниже от них по Итиль-реке копошились недобитые хазары.

Беспокоил князя Владимира и юг, там находился извечный, злой и хищный враг Руси — Византия. Греческие купцы из Константинополя утверждали, что там на престоле твердо сидят императоры Василий и Константин, — русские купцы говорили, что против императоров восстала Малая Азия, что на Константинополь идет Болгария.

В Киев пробирались многие беглецы-болгары, они рассказывали, что в Западной Болгарии, в горах, утвердились и идут против императоров братья-комитопулы Шишманы, а у Дуная и Русского моря засели ромеи.

Были бы силы, князь Владимир поступил бы так, как его отец: двинулся на конях, пешим порядком, на лодиях к Дунаю, поднял бы непокорившихся болгар, поломал бы крылья императорам ромеев.

Но он не мог этого сделать. Ныне не вся Русь покорялась Киеву, Русская земля содрогалась. Когда войны скрещивали мечи и когда лилась кровь под Любечем, в Киеве и Родине, когда Владимир сел на отчий стол, радимичи, вятичи и некоторые другие земли отказались признать его киевским князем и платить дань.

Он понимал и знал, почему это произошло. За свою недолгую жизнь князь Владимир видел, как быстро меняется Русская земля и люди ее. Русь, какой он видел и изучил ее в юные годы в Киеве, позднее в Новгороде, Полоцке, повсюду, куда ни кинь глазом, — эта Русь была уже не та, что прежде.

Если бы кто-либо спросил его, что же изменилось и что меняется на Руси, князь Владимир, должно быть, не смог бы, не сумел объяснить, потому что сам не знал, а если знал — не соглашался, не соглашаясь — размышлял, как поступить.

Он верил в исконную, древнюю и вечную Русь, раскинувшуюся от Русского до Ледового моря, от Карпатских гор до Итиль-реки и Урала. Он бесконечно любил эту Русь с ее законами и обычаями, с деревянными богами, с людьми, охранявшими все это и готовыми умереть за свою землю.

Но князь Владимир видел и чувствовал, что на этой земле, по всей Руси, возникает нечто новое, непонятное, порой странное, но вместе с тем неизбежное, неумолимое, нужное.

У древней Руси были свои закон и обычай, но ведь не по одному руслу течет Днепр, он каждой весной срезает кру-

чи, размывает и насыпает новые берега; над землей ежедневно проплывают без конца облака, облако, плывущее сегодня, уже не то, что было вчера; вечно бьется о скалистые берега Русское море, но и оно меняется, и его берега...

Было время, когда Киев почитался градом всех городов и земель Руси, когда киевский князь, как старейшина большого рода, как могучий дуб, стоял на днепровских холмах, а племена Руси, как члены одной семьи, поддерживали его.

Князь киевский знал, что должен охранять земли всей Руси, у него была дружина, воеводы, тысяцкие, сотенные — своя Гора, а чтобы их одевать, поить, кормить, брал дань от земель Руси.

Теперь киевская Гора была не та, что раньше. Не только дружина с воеводами, тысяцкими, сотенными поддерживала князя. Еще живы были воеводы, тысяцкие, которых водили на брань Игорь, Святослав, они назывались боярами, мужами лучшими и нарочитыми, а самые преклонные годами — градскими старцами.

Волостелины, воеводы, тысяцкие, старшая дружина, поддерживающая ныне князя, бояре, мужи, старцы, когда-то державшие в руках мечи, теперь владели гораздо большим: на груди и шее гривны и цепи, в домах скотницы с золотом и серебром, вокруг пожалованные им земли, леса, реки... О, князей теперь не поддерживала, возле них сидела, как пиявка, страшная, неумолимая, ненасытная сила — Гора.

Так было не только в Киеве. Поросль, которая когда-то росла и развивалась под защитой могучего дуба — Киева, уже сама становилась дубами: Новгород, Полоцк, Смоленск, Туров, Муром, Ростов, Тмутаракань — эти города, как богатыри, стоят по всей Руси.

И в каждом из этих городов, в землях, им принадлежавших, была своя Гора, свои волостелины, воеводы, бояре, мужи, старцы, сами вершившие дела своей земли. И хорошо, что там сидят волостелины, воеводы, бояре, у них должны быть свои дружины, они должны беречь и множить богатства земель, никогда не забывая о Киеве, о киевском князе.

Однако земли забывают о Киеве. Могучее когда-то дерево словно стареет, становится дуллистым, трухлявым, — никогда еще не бывало, чтобы дети одного князя-отца шли друг против друга. Что ж, он пойдет, как отец его Святослав, в эти земли бороться за старые законы и обычаи, за старых богов.

На украинских Руси — повсюду над Русью и Стугной, над Пселом и Сулой — в два-три ряда высятся валы, они изви-

ваются в поле, как гигантские змеи, поэтому люди и называют их Змиевыми валами. Между ними зияют глубокие черные рвы, через каждые двадцать, пятьдесят, сто поприщ посреди степи стоят деревянные города с высокими стенами, башнями, заборами — Русская земля отгородилась от юга. Ни печенег, ни половец, ни какой-либо другой ордынец не подкрадется теперь к Киеву.

Князь Владимир смотрит на запад — туда направит он свой первый удар. Уже в городе, на Подоле и Оболони, стоит многочисленная дружина, всю зиму из Чернигова, Переяслава и других ближних земель стекается в Киев земское войско.

5

Князь Владимир знал, что Рогнеда выедет из Полоцка, как только вскрыется Двина, а потому еще в конце апреля двинулся вверх по Днепру в Вышгород — ему хотелось встретить ее после долгой разлуки не на Горе, а в ином, безлюдном, тихом уголке.

Княжий двор в Вышгороде был для этого очень удобен. Здесь, на высоких холмах, круто обрывавшихся над Днепром, с давних времен стояла построенная на каменном основании деревянная крепость, обнесенная стеной, рвом и валами. Прекрасен был Днепр, протекавший под самыми кручами; повсюду на горах и вдоль берегов чернели густые леса; вдали переливались голубые воды Десны; далеко на юге виднелся Киев.

Владимир выскал из Киева не один. Полоцкую княжну надо было встретить достойно, воздать ей честь как жене. Он берет с собой в Вышгород многих мужей лучших и нарочитых, воевод и бояр, их жен. Еще раньше туда выехали тигуны и дворяне, которым надлежало всех поить и кормить. Вышгородская крепость, десятки лет стоявшая в безмолвии над Днепром, охраняя северные окраины Киева, ожила, по вечерам в ее окнах заблестели манящие огоньки.

Недолго пришлось князю Владимиру ждать княгиню. В первый день он отправился на ловы в перевесища, наутро переплыл Днепр и до захода солнца травил в поле сайгаков, а на третий день ранним утром в голубом мареве в верховье Днепра показалась лодия. Полноводный Днепр катил свои воды быстро, вскоре стали видны черные, украшенные резными птицами, морскими чудовищами и пучеглазыми водяными остроносые учаны. На одном из них развевалось знамя земли Полоцкой.

Как только учаны пристали к кручам, на них перекинули доски. На берегу стояли и ожидали княгиню одетые в наилучшие платна и шитые золотом и серебром корзна мужи, бояре и воеводы; их жены, обвешанные украшениями, с тяжелыми сверкающими серьгами в ушах, золотыми обручами на руках и ногах, перешептывались.

Княгиня Рогнеда стояла в учане с младенцем на руках, рядом с нею — воевода Путята, за ними — несколько женщин и темноглазая суровая свионка Амма — кормилица княгини. Рогнеда была одета очень просто: в белом платне и темно-синем опашне, с черной повязкой на голове; лицо ее было очень бледно — лицо матери, много ночей не спавшей у колыбели, уставшей в далеком пути.

— Волосы светлые! Шу-шу-шу! — шептались жены.

— Глаза голубые! Шу-шу-шу!

— Молчите! Замолчите же! Вон она идет! — сердились бояре.

Держа ребенка на руках, княгиня Рогнеда сошла по шаткой доске на берег. Князь Владимир шагнул вперед, поцеловал жену, взял у нее ребенка.

К Рогнеде тут же бросились жены, окружили ее, обнимали и целовали, одна из жен, по старинному обычаю, посыпала путь княгини зерном.

— О, какой красивый княжич! — поднимаясь на цыпочки, разглядывали младенца жены.

— Светлый!

— На отца похож!

— Жены! Боярыни! Тише, тише! — сдерживали их мужи.

Рогнеда улыбнулась Владимиру.

— То Ярл... Так мы называли его в Полоцке... — промолвила она.

Владимир не желал обидеть жену, которая решила назвать сына по-свионски, Ярлом, и ответил:

— Пусть будет и по-твоему и по-моему... Ярл — от тебя, слава — от меня. Назовем наше дитя Ярославом.

— Ярослав! Ярослав! — зашумели мужи и жены. — Челом княгине Рогнеде, кланяемся такожде и княжичу Ярославу.

Княгиня Рогнеда была рада, что ее так тепло и радушно встретили. Она, разумеется, согласилась назвать сына Ярославом: это имя напоминает ей и далекую родину, и славу киевского стола.

А дитя спало. Мог ли тогда кто-либо подумать, что пройдет семьдесят пять лет — и дряхлый, немощный Ярослав

убежит сюда, в Вышгород, и умрет здесь, в мрачной темной крепости, где так радостно начиналась ныне его жизнь?*

Загомонил, зашумел Вышгород, начался пир. Много зверей и птиц завезли сюда тиуны, три ночи не спали, готовя яства, дворяне; немало медов, вина и ола было выпито во славу Владимира, в честь Рогнеды, за здоровье сына их Ярослава.

Только вечером остались они вдвоем в палате, окнами выходившей на Днепр.

— Неужели я тут? — говорила Рогнеда, глядя на Владимира. — Сколько времени прошло, как долго я ждала весточки от тебя, а как только она пришла, ласточкой полетела...

— Знаю, что тебе пришлось трудно, Рогнеда! Но путь мой в Киев был залит кровью, и тут много крови пролилось, долго длилась осада Родни, немало мук испытал я сам...

— Не говори, не говори о своих муках, Владимир, — перебила его Рогнеда. — Ведь все это уже миновало. — Помолчав, она добавила: — Я рада, что ты встретил меня не в Киеве, а здесь, в Вышгороде. Я боюсь Киева.

— Бойшься Кисва? — Князь Владимир улыбнулся. — Послушай, Рогнеда, я не узнаю тебя. В Полоцке я знал тебя смелой.

— Да, я была смелой, — задумалась она, — потому что родилась и жила в Полоцке, в лесах, в семье отца-воина, сама боролась за жизнь и не боялась даже смерти. — Она на мгновение запнулась и заговорила опять. — Так было до тех пор, пока я не встретила тебя, да и тогда, после встречи, не боялась... Ты оказался справедливым, добрым, самым лучшим. А теперь у нас есть сын, Ярослав. Ведь я люблю тебя, как сына, а сына своего, как тебя... Не смейся, не смейся, Владимир! Как я рвалась сюда, как хотела тебя увидеть... Боялась, не знала, как живешь ты в Киеве, позовешь ли меня. А теперь все думаю о том, что меня здесь ждет!

Обвив руками шею князя, Рогнеда стояла перед ним, заглядывала ему в глаза, в самую их глубину.

Он смотрел на нее таким же ласковым взглядом, но в этом взгляде было то, чего не было в глазах Рогнеды, — какая-то грусть, печаль.

— Чего же ты боялась? Ведь я сказал тебе еще в Полоцке, что позову тебя, там нарек своей женой, а теперь вот и позвал в Кисв, рад, что вижу тебя...

— Княже мой, Владимир! — ответила на это Рогнеда. — Я тебя видела в Полоцке, знала — княжьего слова не нару-

* Князь Ярослав (Мудрый) умер в Вышгороде в 1054 году.

шишь, верила — позовешь меня... Боялась я только за сердце твое, ибо люблю тебя всей душой.

Он понимал, о чем говорит Рогнеда. О, если бы она знала, что творилось в эту минуту в его душе! Он собирался, едучи в Вышгород, открыто сказать Рогнеде, что совершил в Киеве грех, который теперь искупает и, должно быть, еще долго будет искупать. Если бы он сделал это, сказал бы все Рогнеде, тогда истинная любовь, наверное, озарила их души.

Но она смотрела на него такими чистыми глазами, любовь ее была так безгрешна, что он не мог, не находил в себе сил замутить ее.

— Моя дорогая, родная, — ласково проговорил Владимир. — Ты меня видела и знала в Полоцке, ныне я такой же, как был, верь мне, я счастлив, что ты приехала, благодарю тебя за то, что родила мне сына.

Он обнял ее, подвел к окну.

— Погляди, — сказал он, — как прекрасен мир, как хорошо здесь!

И действительно, было чудесно. Буйствовала весна; под самой стеной Вышгорода зеленел, звенел молодой листвою лес; повсюду цвели травы; могучие воды Днепра катились на юг, слева голубела Десна; за нею расстилалось без края широкое поле — с курганами на небосклоне, с каменными богатырями на них — они, казалось, стояли на страже, охраняли землю. Вдалеке виднелся Киев.

— Разве не счастье, — говорил князь Владимир, — что мы с тобой вдвоем? Я тебе говорил, что много трудных дел уже содеял, а еще более предстоит совершить, но я верю, знаю — свершу их, ибо так велит Русь... В этой жизни, во всех моих трудах ты поможешь мне, Рогнеда, и я никогда, слышишь, никогда не забуду тебя...

Князь Владимир говорил так уверенно, потому что думал, что грозовая туча, нависшая над ними, прошла и развеялась, верил, что они будут счастливы. Людям, в том числе и князьям, часто кажется, что для счастья нужно так мало...

6

В Полоцке, в суровой крепости, рано потеряв мать, Рогнеда с юных лет стала хозяйкой двора. Ей подчинялись и выполняли все ее приказания дворяне, она хранила ключи от клетей, медуш, от всего добра. Так и должно было быть: отец и братья Рогнеды — воины, ей, по обычаю и праву, как единственной женщине в семье, надлежало вести хозяйство, поить и кормить их.

Разумеется, богатства киевских князей трудно было сравнивать с достатком Регволда в Полоцке. Князю Владимиру принадлежал большой терем на Горе, новый терем, построенный княгиней Ольгой в предградьи; киевские князья владели Вышгородом, Белгородом, дворами у берегов Роси, Стугны, Лыбеди; множество земель, лесов, перевесищ, бобровых гонов, пчелиных ухажеев по обоим берегам Днепра и Десны принадлежали им.

Как и на Горе, повсюду там властвовал старый обычай. Княгиня Ольга, устроая землю, устроая и свои владения: на своих землях, в лесах и над реками она велела поставить знамена, посылала туда волостелинов, посадников, тиунов, которые ее именем назначали уроки и уставы, собирали и отвозили в Киев оброк.

Тут, на Горе, княгиня Ольга сама принимала дань из земель, оброки от собственных дворов, под ее недремлющим оком в засеки засыпалось зерно, в бретяницы складывались борти, в медуши — кади с воском и медом, в клетки — меха, горячий камень, рыбий зуб, бобровые благовония.

Лишь в старости, став немощной, княгиня доверила ключи от княжеского добра Ярине, потом Малуше, а после нее Пракседе. Как было при Ольге, так велось и теперь — в городах и весях сидели волостелины, посадники, тиуны или их сыновья, за княжым теремом досматривала и хранила у себя ключи от всего добра на Горе Пракседа.

Прибыв в Киев, Рогнеда несколько дней принимала в тереме боярских и воеводских жен, которые приходили без устали поглядеть на северную княгиню; вместе с Владимиром объехала она Подол, предградьи, побывала в Белгороде на Ирпене, заезжала на некоторые дворы.

Осмотрела она и терема на Горе и в предградьи, клетки, медуши, бретяницы — отныне княгиня Рогнеда становилась хозяйкой княжеского двора, должна была бережливо расходовать все по надобности.

Княгиню водила по всему хозяйству ключница Пракседа, она открывала одну за другой двери в клетях, подробно поясняя, где и сколько у нее лежит зерна, мехов, где и какие стоят в медушах вина и меда.

Вместе с княгиней в Киев приехали и жены-дворянки, служившие ей в Полоцке: кормилица Амма, когда-то кормившая Рогнеду, несколько полочанок — Кумба, Эрна.

У Рогнеды даже и в мыслях не было доверять богатства Горы этим женам — у них будет своя работа, они станут помогать ей в палатах, пестовать княжича Ярослава.

Поэтому княгиня Рогнеда осталась очень довольна, осмотрев добро с Пракседой. Возвратившись в терем, она сказала ей:

— Ты зорко стерегла княжье добро, ключница, после такой брани даже удивительно, что у нас всего вдосталь. Спасибо тебе, Пракседа!

Ключница в пояс поклонилась княгине.

— Теперь ступай, — сказала Рогнеда, устав после долгого осмотра. — А ключи, — она ничего плохого не хотела сказать, а просто считала, что отныне должна сама заботиться о княжьем добре, — ключи положи сюда. — И она указала на скамью у двери.

Ключница сердито посмотрела на молодую княгиню. И при княгине Ольге, и при жене Ярополка Юлии ключи всегда доверялись только ей, Праксede. Неужто же полунощная княгиня думает сразу все взять в свои руки, а Пракседу сделать простой дворянкой?

Но Рогнеда ничего этого не подозревала, она заботилась только о князе и его добре.

— Ключи, Пракседа, — сказала она, — будут лежать здесь вот, на лавке. Когда понадобится, я отопру клетки и выдам тебе все, что ты скажешь, для дома и двора.

— Добро, княгиня, — пересохшими губами прошептала Пракседа, дрожащими пальцами отцепила связку ключей от пояса, швырнула их на лавку так, что они зазвенели.

После этого Пракседа, пряча глаза, еще раз поклонилась княгине, попятилась к дверям и вышла из покоев.

В переходе она остановилась. Там было темно, фигура ключницы сливалась с бревенчатой стеной, высокое узкое окно освещало одно лишь ее лицо. Оно было очень бледно, глаза прищурены, губы сжаты.

— Проклятая полочанка, — прошептала Пракседа, но тут же спохватилась, испуганно осмотрелась, нет ли кого-нибудь в переходах, и лишь после этого двинулась дальше.

7

Тихо было в опочивальне, ночь спокойно плыла за открытым окном, издалека со стороны Днепра долетела и медленно стихла грустная песня.

После трудов князь Владимир очень хотел отдохнуть: день выдался трудный, с самого утра он чинил суд и правду людям, беседовал с мужами и тиунами в Золотой палате, после обеда осматривал войско, собиравшееся на Подоле.

Княгиня Рогнеда тоже устала. Она вставала затемно, сразу спускалась в трапезную, ходила с Пракседой в клетки, сама кормила сына, готовила все для гостей и послов. Неусыпной была Рогнеда в Полоцке, а в Киеве и вовсе стала бессонной.

Но на душе у княгини было спокойно, ей придавала сил ее любовь к Владимиру. И в этот вечер она приготовила ложе для князя, легла рядом с ним, нежная, теплая, ласковая.

— Отдохни, мой княже, отдохни! — шептала Рогнеда. — Тихо в тереме. Спит наш сын, спит весь Киев-город, усни и ты...

Было тихо, совсем тихо, князь Владимир засыпал; положив руку на его плечо, задремала и Рогнеда. Тихо, как тихо!

И вдруг среди этой тишины где-то недалеко за стеной терема послышался плач, сначала едва слышно, потом все громче, сильнее.

Рогнеда не хотела будить князя, она хотела встать, закрыть окно — пускай спит князь!

Но князь уже проснулся — в серой полумгле Рогнеда увидела, как он поднял голову с подушки, прислушивается.

— Владимир! — промолвила тогда Рогнеда. — Мне кажется, что плачет дитя...

Он вслушивался.

— Да, то плачет дитя.

— А откуда оно здесь, в нашем дворе?

Владимир молча поднялся с ложа и прошел босиком несколько шагов до окна. Его темный стан вырисовывался на сером полотне неба.

— Зачем ты встал, Владимир?

Ребенок все плакал и плакал — теперь еще громче, словно у него что-то сильно болело.

— Владимир!

Было слышно, как он захрустел пальцами.

— Что это за ребенок? — совсем растревожившись, спросила Рогнеда. — Почему он плачет? Почему ты молчишь, Владимир?

Он обернулся в ее сторону и ответил:

— То плачет сын убитого брата моего Ярополка.

— Дитя твоего брата? Почему же ты не говорил мне о нем?

— А что мне о нем говорить? — раздраженно произнес Владимир. — Брата Ярополка нет в живых — не все ли равно, есть у него дитя или нет?!

— Ой, нет, Владимир! Не все равно! Выходит, здесь на Горе есть еще один княжич...

— Этот княжич не помешает ни мне, ни моему сыну.

— Я не о том, не о том говорю, Владимир... Но если есть княжич, значит, есть у него и мать — княгиня?

— Рогнеда! — уже сурово отозвался Владимир. — Неужто ты боишься еще одной какой-то княгини?

— Нет, Владимир, — в ее голосе послышались слезы. — Ты меня не хочешь понять, не понял. Я не боюсь никаких княгинь, но знать, что здесь, на Горе, есть еще одна княгиня, я должна...

— Что ж, — сказал Владимир, — к сожалению, знать тебе нечего. У этого дитяти была мать — жена князя Ярополка Юлия, теперь ее нет на Горе.

— Она умерла?

Владимир молчал.

— Скажи, Владимир... Мне страшно подумать, неужто ее убили вместе с мужем Ярополком?

— Нет, нет, нет! Ее никто не убивал, не умирала она и своей смертью, она умерла для Горы и города Киева, потому что после смерти мужа своего уехала из Киева.

— Уехала из Киева? Почему? Куда?

— Ни я, ни другие на Горе этого не знают. Княгиня Юлия взяла с собой все, что имела, и уехала, может, со слугами своими, может, с греческими купцами...

— Как страшно! — вырвалось у Рогнеды. — И я не пойму, Владимир, для чего ей нужно было так поступать? Ты ведь сам говорил мне, что перед смертью помирился с братом Ярополком, похоронил его, как князя, она могла и должна была жить, как княгиня, на Горе... Ты сам, княже Владимир, помнишь: после гибели моего отца ты, хоть и был он твоим врагом, позволил мне жить в Полоцке, как княжне... Ты — справедливый князь. Что же случилось с Юлией? А может... может, кто-нибудь поднял на нее руку, убил?

— Нет, никто из русских людей не поднимал и не мог поднять руку на княгиню Юлию. Я ничего не знаю, Рогнеда. На свете есть много такого, чего нельзя ни понять, ни объяснить.

— Тебе очень тяжело...

— Очень тяжело, Рогнеда... Ярополк был моим братом, Святополк его чадо...

Рогнеда долго молчала, потом спросила:

— Скажи мне, дитя это, Святополк, родилось при жизни брата твоего Ярополка?

— Нет, Святополк родился после смерти брата, этой весной. Он не знает своего отца.

— Он не знает своего отца... А когда его мать исчезла из Киева?

— Княгиня Юлия исчезла недавно... Но разве не все равно, Рогнеда? Ее нету, слышишь, нету!

— Так, — согласилась она, — и в самом деле все равно... Но только мне не все равно, что ты тревожишься, Владимир.

— Как же мне быть спокойным? Дитя кричит среди ночи, его крик, как призрак брата, вползает мне в душу... Мне кажется, что это кровь Ярополка стучит в мое сердце...

Рогнеде стало невыносимо тяжело — с этим криком младенца сюда, в терем, и в ее душу ворвалась тревога, крик этот был предвестником чего-то страшного и непоправимого для нее.

Но она понимала, что сейчас, в эту минуту, Владимиру должно быть тяжелее, чем ей, а потому она в темноте вскочила с ложа, в одной длинной сорочке, как была, с распущенной косой, подошла к Владимиру, обняла его за плечи.

— Ну, не печалься, не печалься, муж мой! Вот видишь, дитя уже и умолкло... Тихо! Слышишь, как тихо стало, мой любимый.

Он видел в сумерках ее светлое лицо, глаза, в которых слабо отсвечивали лучи большой звезды, висевшей низко на небосклоне.

— Правда, тихо. — Он прижался лицом к ее теплой щеке. — И не потому тихо, что дитя замолчало. Нет, мне почему-то всегда покойно возле тебя.

— Спасибо, — ласково промолвила Рогнеда. — Ты знаешь, как я тебя люблю, тебе всегда будет со мной тихо, покойно...

8

Пракседа работает в княжеском тереме, делает все, что делала и раньше. Когда нужно, княгиня Рогнеда дает ей ключи, поручает взять то одно, то другое в клетях, медушах, бретяницах. Все идет, как и прежде, только княгиня Рогнеда слишком много взяла на свои плечи, Пракседе, казалось бы, должно быть легче, свободнее.

Но ключница затаила злобу в своем сердце, ей кажется, что полунощная княгиня кровно обидела ее. Ключи, раньше висевшие у пояса, теперь лежат на лавке в светлице княгини Рогнеды. О, как мучат эти ключи Пракседу!

И вот сердце Пракседы не выдержало, изменило.

— Славное у тебя дитя, княгиня, — заговорила Пракседа, когда находилась с Рогнедой с глазу на глаз в опочивальне. — Красивое дитя, тихое, смирное, никто в тереме и не слышал, чтобы оно плакало.

— С чего бы ему плакать? — стоя над колыбелью, отзывалась княгиня. — Сейчас ему только спать, расти дитяти...

— Ой, не говори, княгиня, — зашептала Пракседа. — Не все дети такие, как Ярослав. Вон дитя греческой княгини Юлии, Святополк: днем и ночью кричит без умолку.

— Хорошую кормилицу надо ему дать, накормит, присмотрит — он и заснет.

— Что, княгиня, кормилица? Она сердца своего дитяти не отдаст... Какова мать, таково и дитя. Вельми злая была княгиня Юлия, и дитя у нее такое же.

— Не говори, чего не след. Княгиня Юлия была женой князя Ярополка, ты не смеешь говорить о ней плохо.

— Не смею! — не сдержалась и громко засмеялась Пракседа. — Такой никто, даже бог не простит того, что она творила. От греховного корня зол плод бывает... Какова княгиня, таков и ее сын...

— Ключница! — прикрикнула Рогнеда. — Не говори зла всуе, не лги.

— А я не лгу, — вся вспыхнула Пракседа. — Я говорю тебе токмо правду... У княгини Юлии был не один муж, когда убили Ярополка, я сама видела, кто ходил ночью в ее палаты...

— О чем ты говоришь, Пракседа?

— Да что говорить? — зашептала Пракседа. — Услышит князь Владимир, убьет меня.

И вдруг Пракседа поняла, что натворила. Она умолкла, окаменела, кровь отхлынула от ее лица.

— Мати-княгиня! — испуганно вырвалось у нее.

Но княгиня Рогнеда успела понять все, на что намекала Пракседа. Бледная, без кровинки в лице, она все же совладала с собой, произнесла, насколько хватило сил, тихо, спокойно:

— Ты всуе сказала так, ключница... Знаю, о чем думаешь, но только напрасно, негоже было так думать. Запомни — я жена князя Владимира, и жен у него допрежде не было и не могло быть. Ты должна знать и знаешь также и то, что Святополк — сын токмо князя Ярополка...

— Мати-княгиня! — Пракседа попыталась опуститься на колени. — Понимаю, все понимаю. Прости меня, убогую, сирую, ошиблась я...

— На колени не становись, — сурово и холодно ответила княгиня Рогнеда. — И не ошиблась ты, а забыла, что ключница княгини должна быть нелукавой, честной и прежде всего должна любить князя и его княгиню. Теперь ступай, я тебе все сказала.

Княгиня Рогнеда сразу поняла все, о чем проговорила ключница Пракседа. Для этого и не нужно было многих слов: тайна младенца, которого держали не в тереме, а где-то в саду, постоянное беспокойство и тревога Владимира, которых он не мог скрыть от Рогнеды, а теперь и слова Пракседы — этого было достаточно для того, чтобы понять все, что случилось тут, на Горе, прошедшим летом.

Разумеется, гордой полоцкой княжне, выросшей в семье, где согласно суровому северному закону измену же не карали осуждением и презрением, ей, которая после тяжких мук и страданий полюбила того, кто убил ее отца и братьев, было очень трудно не зарыдать, не закричать после слов Пракседы. Сначала она думала даже собраться, когда Владимира не будет в городе, взять сына на руки, уехать — хотя бы за море, только бы не видеть князя никогда больше.

Но были причины, заставившие Рогнеду не делать этого. Любовь к Владимиру зародилась и окрепла в ее душе в слишком страшный час, с великими муками; должно было случиться нечто гораздо более важное и страшное, чтобы вырвать теперь эту любовь из ее сердца.

Она вспоминала день в Полоцке, когда впервые увидела северного князя, ужасную ночь, когда месть заставила ее взять в руки факел, чтобы сжечь, уничтожить ненавистного убийцу, и конец той ночи, когда она опустилась перед ним на колени, как перед мужем справедливым и сильным, раз-ула, сказала, что будет верной женой...

Была ли она ему верна? О да, она оставалась верна ему, иначе и быть не могло. После ночи в Полоцке она верила, что Владимир ее не забудет, и к тому же носила под сердцем его дитя.

Что же случилось с ним? Рогнеда никогда не видела Юлии, но слыхала о ее красоте: здесь, на Горе, все говорили об этом. Что же удивительного в том, что князь Владимир не устоял перед Юлией, ведь он молодой, сильный, красивый, знал Рогнеду одну только ночь, уехал в Киев, не видел ее долго, долго... Конечно, он встретил Юлию, наступил час, может быть, одна только ночь, которые затуманили и победили его разум, заставили забыть стыд и честь...

Но что же произошло после того? Почему Владимир, полюбив Юлию, и как раз когда она была непраждна, пишет ей, Рогнеде, любовную грамоту, почему именно когда Рогнеда должна была приехать в Киев, княгиня Юлия покидает Гору и уезжает из Киева, почему, наконец, князь Владимир встречает Рогнеду с сыном ласково и нежно и

только потом, услышав среди ночи крик младенца, становится беспокойным, встревоженным?

Княгиня Рогнеда понимала, что Владимир за это время много передумал и пережил, нелегко далась ему кратковременная любовь к Юлии, не такой, как он думал, оказалась обольстительница-княгиня. Тяжкой была для него расплата за свой грех, но он выстоял, все преодолел. Княгиня Юлия никогда не вернется в Киев, на Горе живет и будет жить сын токмо Ярополка... Ревность постепенно отступала, ей было очень больно, обида тяготила душу, но она все-таки жалела Владимира, потому что любила, а значит, и прощала его.

Рогнеда ни единым словом не проговорилась Владимиру о своих муках и страданиях, любовь и гордость не позволили ей этого. Но она не могла больше видеть в тереме коварную предательницу-ключницу, хотя та после разговора с ней стала лстивой, послушной, покорной.

И потому в один из ближайших дней Рогнеда открыто сказала князю Владимиру:

— Мне, муж мой, не нравится ключница наша Пракседа.

— Она нечестна, берет что-нибудь из клетей? — сразу вспыхнул князь Владимир.

— О нет, — сурово ответила Рогнеда. — Пракседа не из тех ключниц, что крадут кожу и сало, она злой свидетель нашей жизни и способна очернить княжью славу и честь.

Князь Владимир посмотрел на лицо Рогнеды. Оно было залито багряным светом вечерней зари, но оставалось, несмотря на это, страшно бледным. Владимир, должно быть, понял, на что намекает княгиня.

— Хорошо! — тихо промолвил он. — Я с юных лет не люблю эту женщину, она причинила много зла матери моей Малуше и заняла ее место. И она не любит меня, я терпел ее, потому что поставила Пракседу бабка Ольга, а я не хотел нарушать ее слово. Но теперь я согласен с тобой — она злой свидетель нашей жизни, не стоит оставлять ее в тереме.

Утром после еды, когда в трапезной оставались только княгиня и Пракседа, князь Владимир сделал ключнице знак подойти к столу, пристально посмотрел на нее, потом сказал:

— Ты много лет хорошо служила бабке моей княгине Ольге, отцу моему князю Святославу, хорошо служишь и нам... Но ты уже стара и немощна, ключница, и мне тебя очень жаль. Трудно тебе управляться тут, в трапезной, в тереме, ненароком можешь что-нибудь забыть, перепутать...

Она упала на колени, смотрела на князя Владимира широко открытыми глазами, из которых катились слезы.

— Не плачь, ключница, — сурово продолжал князь Владимир. — За твою службу пожалую тебя, дам тебе землю в Будутине-веси, там будешь доживать свой век.

В эту ночь княгиня Рогнеда сказала Владимиру:

— Я долго думала о сыне Ярополка. Почему он живет не тут, а в другом тереме, в саду? Ведь он — княжье чадо, ты помирился с его отцом. Святополк есть и будет княжичем.

— Так, — вздохнул он, — Святополк есть и будет княжичем, когда-нибудь он станет и князем.

Рогнеда долго молчала.

— Вот я и думаю, — слышался в темноте ее голос. — Негоже ему расти в саду, он должен быть с нашим сыном здесь, в тереме. Ты согласен, Владимир?

На южной стороне неба прочертила огненный след и угасла звезда.

— Спасибо тебе, Рогнеда! — отозвался Владимир.

Клеочут высоко в небе, оглядывая землю от края до края, орлы, длинными темными тучами с шумом-криком понесли над полем вороны, — рано на рассвете выходит из города Киева рать князя Владимира.

То было могучее, грозное воинство. Далеко в поле, рассыпавшись широким полукругом, ехала по буеракам, от кургана к кургану, на низкорослых, но выносливых конях передовая стража. Впереди войска под разноцветными стягами, на резвых конях, в позолоченных и серебряных доспехах, с яркими еловцами на островерхих шлемах, в мелкокованных кольчугах, величаво и стройно ехала старшая дружина. А уж вслед за ней — куда ни кинь оком — на конях, пешим строем, на возах, запряженных круторогими огромными волами, vzdымаемая высокие столбы рыжей пыли, двигались воины князя Владимира.

Сам он ехал во главе старшей дружины под двумя знаменами: белым отцовским с двумя перекрещенными золотыми копьями и длинным голубым, развевавшимся на ветру, на котором был его новый знак — три серебряных копья, перевязанных золотым пояском. Он ехал на ослепительно белом широкогрудом жеребце-скакуне с тонкими, точно выточенными, ногами. Меч у пояса, на шлеме зеленый еловец; красные сапоги с подошвами, прошитыми медными жилами, упираются в родненские литые стремяна, на плечах огнем пыласт багряное корзно.

В первую же ночь, отъехав далеко от Киева, уже на Древлянской земле, князь Владимир остановился среди поля, пересеченного реками и лесами, чтобы обождать, пока подтянется войско. Вместе с несколькими воеводами он ужинал на склоне кургана.

Поев и выпив, воеводы разговорились. Рядом горел костер, освещавший их лица и доспехи. Воеводы начали, как водится, вспоминать давние походы, князя Игоря, который проходил этим путем, когда примучивал древлян, и погиб где-то здесь недалеко, княгиню Ольгу, которая ходила отомстить за своего мужа, сожгла Искоростень, но достойно наказала древлян.

— Так было, так есть, так и будет, — говорили воеводы, — аще кто отколется от Киева — ждет его кара.

— На том стояла и стоит Русь, — начал один из них.

— Хорошо деешь, князь, что ведешь нас вызволять Червенскую землю, — запальчиво произнес воевода Волчий Хвост, — все мы тебе в том опора.

— Потом пойдем с тобой и на вятичей, радимичей, примучим их к Киеву, — поддержал и воевода Слуда.

Все они были возбуждены, воинственный пыл уже, видать, распалил их сердца, ибо знали они: объединив Русь, князь Владимир получит от земель дань, а им даст пожалованья — земли, реки, леса.

Только Рубач, старый длинноусый воевода, который привез с порогов меч и щит Святослава, молчал, смотрел грустно своим единственным глазом на дотлевавший костер.

Тем временем воины приготовили на вершине кургана ложе для князя: прокосили траву, разостлали попону, положили в изголовье седло. Поужинав, князь Владимир попрощался с воеводами, взошел на курган, сел на попону, снял и положил рядом меч.

Была тихая спокойная ночь; где-то далеко в поле перекликалась стража; птица хлопала крыльями над головой; высоко вверху паслись на темно-синих лугах над Перуновым шляхом целые стада искристых звезд — зеленоватых, голубых, желтых, переливчатых, как жемчужины. Порой где-то на юге небосклон прорезывала ослепительно белая молния, но было то очень далеко, где-то, должно быть, за Днепром, потому что отголосок грома не долетал до кургана.

Но поле и так было наполнено шумом. Где-то скрипели колеса возов, непрестанно слышался глухой топот копыт, время от времени совсем близко из темноты, как из воды, вырывались человеческие голоса — то под шатром ночи подходило, стягивалось к передовым отрядам русское войнство.

И князь Владимир поневоле задумался над судьбой людей, которые шли и шли среди этой темной ночи. Их крики, голоса, а порой громкие песни долетали до него.

Он не только думал, но и слушал, слушал напряженно и чутко, словно хотел угадать, услышать, о чем думают эти люди, куда их ведут сердца.

О, теперь князь Владимир знал, что люди эти не одинаковы, что у них разные души, разные сердца. Только что он разговаривал с воеводами. Недавно некоторые из них служили Ярополку, ныне служат ему; слава, золото и пожалованья — вот о чем они думают, вот почему рвутся вперед.

Молчал только Рубач — есть такие воеводы, на них вся надежда князя, они охраняют честь земли, славу Руси, понадобятся — голову сложат на поле брани.

Поле шумело, били копытами кони, отовсюду доносились голоса, все ближе и ближе лилась песня:

Гей, в поле, поле гостинец темнеет,
Гостинец темнеет, могила чернеет,
А на той могиле да кости белеют...
Гей, да гей, да гей!

То идет множество людей из Києва, Чернигова, Переяслава, Турова, Полоцка, Новгорода — им несть числа, им несть имени, они не ищут ни золота, ни пожалованья, но, если будет нужно, победят либо умрут, — да нет, не умрут, ибо даже смерть их — слава и победа.

Поле шумит, поле гремит, среди ночи звучит все громче:

Гей, с поля, поля туча налетает,
То не черная туча — орда наступает,
Бросил рало ратай, а меч вынимает,
Гей, да гей!

Недалеко от князя на фоне неба показался человек — гридень с копьем в руках. Князь окликнул его, и гридень, не выпуская копья, подошел к князю.

— На страже стоишь? — спросил Владимир.

— Так, князь, всю ночь буду тебя стеречь, спи спокойно.

— Мне не хочется спать, гридень... Поле шумит, поют где-то...

— То добрая песня, княже, старинная.

— Как тебя звать?

— Тур, княже...

— Тур? погоди! Так то же ты с воеводой Рубачем встречал меня в Києве?

— Встречал...

— Давно служишь в гриднях?

— Давно, княже, я еще у отца твоего Святослава служил, да будет он прощен.

И умолк гридень Тур. Молчал и князь Владимир, он смотрел на воина, который в давние времена служил у его отца.

— Ты часто его видал? — совсем тихо спросил князь.

— Часто, княже, каждый день, каждый час. Такое уж дело у гридня: радость князя — его радость, горе князя — его горе...

Было что-то необычайно теплое, сердечное в этих простых словах гридня Тура.

— А много горя было у князя и у тебя?

— Ой, много, княже, вся земля наша кровью полита.

Тур замолчал. В эту минуту он, как видно, и не мог больше говорить.

— А ты спи, спи, княже, — помолчав, добавил он. — Я буду до утра стоять на страже. Спи спокойно!

Гридень отошел. На темном небе виден был он весь, с копьем в руке. Владимир опустил голову на седло, закрыл глаза и вскоре уснул.

10

Вот-вот рассветет. Слабый огонек свечи выхватывает из полутьмы выкопанную прямо в плотном песке пещеру, ложе в одном из ее углов, стену, икону, а перед нею столик, темную фигуру женщины, стоящей на коленях на посыпанной увядшей травой земле.

Когда женщина поднимает голову, видно ее лицо. Это Малуша. Она всегда встает до рассвета, чтобы прибрать в пещере, успеть в церковь, а там — до самой ночи работать.

Но нынче Малуша хочет еще помолиться — не там, в церкви, а здесь, в пещере, где никто ее не видит и не слышит.

Вчера она видела Тура. Он рассказал ей все, что было за последнее время: как вместе с киевскими людьми помогал князю Владимиру бить Ярополка и брать Киев, как Владимир хотел дать ему пожалованье и как он отказался от него, а взял только меч и щит.

— Хорошо сделал, Тур, — сказала Малуша. — Ты же не воевода и не боярин, что он тебе может дать?

Потом Тур рассказал, что будет служить в дружине князя, идет с ним сейчас в Червенскую землю.

— Иди, охраняй его! — попросила Малуша. — Только не проговорись как-нибудь обо мне... Хищные бояре и воеводы окружают Владимира, не дай бог узнают, что тут, в Киеве, живет его мать-рабыня.

Тур будет молчать, будет охранять в походе князя, хорошо, что судьба выпала ему идти с Владимиром. А Малуша станет здесь молиться за него.

— Боже, боже! — шепчет она. — Помоги рабу своему, а моему сыну Владимиру, защити от злого глаза, лукавства, измены, вражеского меча, поставь щит между ним и супо-

статом, пошли ему победу на брани, даруй здоровья и счастья на многие, многие лета.

Очень проста молитва, сложенная самой Малушей, так она молилась простыми материнскими словами за своего сына, еще когда лежал он в люльке в хижине у Роси, когда сидел князем в Новгороде, боролся с Ярополком, — так молится и теперь.

Достаточно ли таких слов? Малуша смотрит на суровый лик Христа — обыкновенное лицо, синие глаза, рыжие усы и бородка, благословляющие, но такие слабые руки... И, по правде сказать, простая женщина полянского рода не знает, может ли она в своих молитвах положиться на одного Христа.

И тогда она делает то, что всегда: направляется к ложу, находит под ним скрыню, что-то достает оттуда, возвращается к иконе.

Рядом с иконой Христа стоит темная бронзовая фигурка женщины с маленькой головой, сложенными на животе руками — то защитница их рода, милосердная, но могущественная богиня Роженица.

— И ты помоги мне, — шепчет Малуша, — защити моего сына от злого глаза, лукавства, измены, вражеского меча.

Малуша уверена, что Христос и богиня рода вместе помогут ей, что князь Владимир благополучно вернется из похода.

А потом она творит еще одну молитву за убогого гридня Тура, который всю жизнь идет рядом с ней, помогает ей в горе, а ныне охраняет ее сына Владимира.

Свеча догорает. Малуша поднимает голову. Светает. Скоро начнется новый день, можно бы еще отдохнуть немного. Но Малуша больше не ложится. Она прячет в скрыне шод ложем Роженицу, гасит свечу, выходит из пещеры, останавливается у порога.

Здесь все прекрасно. За Днепром словно насквозь просвечивает багряное небо; вверху гаснут последние звезды; напоенный запахами цветов воздух напоминает вино; где-то за Днепром кричат многоголосые птицы.

Малуша стоит, любит миром, и душа ее радуется. По-езжай спокойно, сын мой, княже Владимир, мать твоя благословляет и молится за тебя!





КНИГА ВТОРАЯ

ВАСИЛЕВС



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I



ано на заре в поле, где-то между двумя рядами высоких курганов, на вытоптанном несметным количеством ног и копыт гостинце, послышался глухой шум.

Прошло немного времени, и солнце, выглянувшее из-за небосклона, осветило продвигавшиеся один за другим многочисленные загоны, поле загудело, как туго натянутый бубен, далеко прокатилось эхо от конского топота, голосов воинов, лязга щитов.

Полки шли за полками, тысячи за тысячью, под знаменами, на которых были намалеваны или вышиты страшные лики богов, богини-девы, священное дерево береза, огромные петухи. Впереди неслись комонники, за ними в тучах рыжей пыли шло пешее войско; позади — на возах, запряженных шестью — восемью лошадьми, а порой и десятком сильных волов, тянулся обоз.

Впереди извивавшегося, точно исполинский полоз, бесконечного потока под длинным, слегка уже выцветшим голубым стягом с тремя скрещенными золотыми копьями ехала старшая дружина, а во главе ее витязь.

Был это уже не молодой муж с загорелым и обветренным лицом. Из-под позолоченного, увенчанного зеленым словцом шлема выбивался седоватый чуб — знак княжеской власти, чело прорезали глубокие морщины, длинные, тронутые сединой усы спадали на багряное корзно.

Однако прищуренные глаза, усталые, но ясные и светлые, руки, крепко державшие повод, пружинистые ноги в литых роднянских стременах — все это говорило, что лет князю не так много, а состарился он в походах.

Впереди войска, продвигавшегося на рассвете в поле, ехал сын Святослава, великий князь Руси Владимир.

Подобно отцу, провел он много лет в походах, спал прямо на земле, постелив попону и подложив под голову седло, ел вяленую конину с сухарями и запивал водой.

Однако между походами сына и отца была большая разница. Князь Святослав весь свой век боролся и голову сложил на брани с врагами Руси — печенегами, хазарами, ромеями, а Владимиру, хоть он жил окруженный теми же врагами, пришлось поначалу идти с мечом в родные земли, которые были покорены врагами во время его усобицы с Ярополком или откололись по своей воле и не желали платить Киеву дань.

Этим он напоминал свою бабу, княгиню Ольгу, которая собирала и устроила землю Русскую, ездила на санях из Киева в далекий Новгород, полагала с землями ряд, устанавливала уроки и уставы, а Древлянскую землю примучивала оружием.

Но гораздо больше, чем княгине Ольге и князю Святославу вместе, приходилось теперь деять их внуку и сыну Владимиру. На его долю выпало тяжкое бремя — брани, походы.

На заре своей жизни (а у жизни, как известно, есть свое утро, день и вечер), всего двадцати лет от роду, молодой, сильный Владимир идет на запад, чтобы вызволить и защитить червенские города и русские земли, захваченные польским князем Мешко.

Овладев Перемышлем, Червеню и еще множеством городов и весей и, наконец, всю Червенскую землю, князь Владимир узнал много того, о чем в Киеве до того не имели понятия. Князь Мешко шел на Русь не один. За его воинством, зачастую и плечом к плечу с ним, двигались охочие конные полки немцев, наемные дружины варягов, все с немецкими мечами, в крепких латах, с высокими щитами. Хорошо еще, что у русских воинов были обоюдоострые мечи, и люди Червенской земли, помогая воинам Владимира, били врагов в лоб и со спины.

Однако не всех врагов можно было рубить и гнать мечом. С воинами Мешка и германского императора Оттона в землю Червенскую, подобно саранче, двинулось множество священников во главе с Калобрезским епископом, благовестником папы Рейнберном. И покуда польские воины захватывали червенские города и веси, священники низвергали древних богов, хватали людей и крестили их именем наместника бога на земле — римского папы.

Освободив Червенскую землю, князь Владимир велит ставить снова в городах и весях деревянных богов и со всеми жителями первый воздаст им благодарственную жертву.

Он движется далее на запад; проходит по землям, где испокон веку сидят русские люди; переваливает через высокие Карпаты, спускается в долину, где над быстрою рекой раскинулся Ужгород; идет вдоль Тиссы, по правому берегу которой живут угры, обходит гору Говерлу и замыкает круг в Карпатах.

Возвращаясь в Киев, князь Владимир проходит земли радимичей, живших в междуречье Днепра и Десны, вдоль Сожи и Ипуты, — во время усобицы с Ярополком эта земля откололась от киевского стола.

С радимичами проливать кровь не пришлось. На реке Пищане, где встретились они с передовыми полками Владимира, которые вел воевода Волчий Хвост, радимичи тут же показали спины.

— Радимичи от волчьего хвоста бежаша, — смеясь, говорил Владимир, когда узнал об их бегстве.

Князь Владимир держал совет с воеводами и боярами радимичей. Отколе стоит город Киев и земля радимичей, всегда прибывал между ними мир и согласие, но смута вошла в русские земли и пошатнула древние обычаи. Пусть же отныне и довеку живет мир в городах и племенах Руси!

Возвратясь ненадолго в Киев, Владимир идет затем в землю вятичей, которые тоже перестали платить дань киевскому столу со времени усобицы с Ярополком.

В ту пору это был поход на край света — в северные земли, к рекам Оке и Угре, к городам Неринску, Колтеску, Тешилкову.

Идет князь Владимир не один, на помощь киевскому князю поспешает из Новгорода с большим войском воевода, посадник князя Добрыня, который ведет с собой воинов северных земель, Новгорода, веси, чуди — вместе они и покоряют вятичей.

Князь Владимир собирает в Неринске воевод, бояр, мужей лучших, старейшин и спрашивает их:

— Почто, люди, отступились, не платите Киеву дань?

Одетые в темные кожухи и опашни, в лыковых лаптях, бородатые мужи молчат, тяжело вздыхают.

— Думаете ли, люди, про Русь?

— Были и навсегда остаемся с Русью, — выступая вперед, говорит наконец один из мужей и кланяется Владимиру, — иначе живем мы на украине, враги тут, враги там — черные булгары, хазары, Киев далеко, помощи мало.

Горькую правду слышит в словах вятича Владимир. И княгиня Ольга и князь Святослав — все князья прежде радели об украинах, помнили и про Вятскую землю, — Ярополк забыл о них — не до того было честолюбивому князю!

А северным и восточным землям Руси и в самом деле тяжело: под боком — черные булгары, хазары, печенег, за Итиль-рекой кочуют неведомые орды. Сурова Вятская земля, тяжело жить в ней людям.

— Мужа вятские! — держит речь князь Владимир. — Подобно князьям древним, буду беречь землю вашу, не допущу в нее ни черного булгарина, ни хазара и дань назначу померную.

— Великий княже! — отвечают вятичи. — Отныне будем служить тебе верой и правдой.

А Владимир уже помышляет двинуться на булгар и хазар, чтобы и с ними договориться, заключить мир.

Однако в это время прибывают из Киева гонцы с вестью, что рубежи Руси перешли ятвяги.

Князь Владимир возвращается в Киев, пополняет свою дружину, идет на ятвягов и наголову разбивает их войско.

— Почто пошли на Русь, воеводы! — спрашивает он.

Долго молча стояли, опустив головы, воеводы и бояре ятвяжские. А что спрашивать? Опоясаны они германскими мечами, с ними вместе шли на Русь рыцари императора Оттона, варяжские дружины, а следом тянулись папские священники.

— Люди Руси не ищут и не станут искать чужих земель — своей довольно, — говорит князь Владимир. — Что лучше, воеводы; война или мир между соседями?

Они кладут на землю мечи и клянутся своими суровыми богами. И только тогда князь Владимир идет к Итиль-реке, останавливается неподалеку от Булгара и заключает мир с булгарами, их каган со всеми боилами клянется:

— Толи не будет между нами мира, елико камень начнет плавать, а хмель почне тонуть...

Князь Владимир спускается по Итиль-реке, доходит до разрушенного Святославом города Саркела. Здесь его встречает множество хазар, которые, вложив мечи в ножны, пасут скот и торгуют.

В степях над Итиль-рекой князь Владимир видел в раскаленном песке следы множества конских копыт: там, поведая ему теперешние купцы-хазары, ходившие на Джурджанское море, вдоль рек Иртыша, Яика и Эмбы, среди раздолья степей и долин собрались огромные орды по-

ловцев, огузов, кимаков. Впрочем, покуда с соседями они не враждуют и за оружие не берутся.

— Полагаюсь на вас, — говорит хазарам князь Владимир, — стойте у Итиль-реки на страже, будьте добрыми соседями Руси.

— Княже Владимир, — низко кланяясь, отвечают хазары, — во веки веков были и будем друзьями русов, волим торговать с вами.

Миновав Хазарию, князь Владимир подходит к берегам Джурджанского моря, останавливается в предгорье Кавказа — там Ширван, Иверия, Абхазия, Армен-шахи отбивали нашествия сельджуков, которые выходили из глубин Азии, угрожая их землям и даже халифам Багдада. В предгорье между Кавказом и Сурожским морем жили аланы и касоги, с которыми заключил мир еще князь Святослав.

Не как завоеватель, а как рачительный хозяин проделал Владимир с дружиной сей трудный путь.

Над Итиль-рекой, Джурджанским и Сурожским морями спокойно. Никто оттуда не угрожает Руси. Отдохнув с дружиной в русском городе Тмутаракани, князь Владимир переправляется с дружиной на лодиях через Боспор Киммерийский, снова садится на коня и направляется в дикое поле.

Тут-то князя Владимира и поджидал враг. Здесь-то и довелось воинам Руси, да и самому князю Владимиру пролить кровь.

Враг тот — четыре орды печенегов, во главе которых стояли хан Родман, его сын и каганы Куры и Кучук, — долго следил за походом князя Владимира на булгар, к хазарам, на Кавказ; теперь печенеги поджидали его у порогов — в поле и вдоль Днепра.

Уверенные, что воинство князя Владимира пролило немало крови и обессилело, они задумали, как это делали всегда, внезапно напасть на него.

Однако князь Владимир их опередил. Далеко в поле его дозор обнаружил следы печенегов. Растянувшись широким полукольцом, рать двинулась по полю, чтобы взять их в клещи у порогов.

Русские воины увидели на рассвете у глубокой в то время реки*, которая, пробивая себе путь к Днепру, пересекала поле, как печенеги на своих низкорослых, но очень быстрых и выносливых лошадях появились на окоме и помчались на русскую рать, стараясь ее окружить.

* Теперь этой реки уже нет, русло же ее называют Сухим бродом.

Печенегі совсем не подозревали, что сами давно уже окружены; русские воины остановились, спешили, сдвинули вместе щиты и наставили, подобно колючей стене, свои копья и мечи... В этот миг где-то далеко позади печенегов слышались громкие крики, загудела земля: туча русских конников летела на них, лязгая мечами о щиты.

Бой над речкой длился недолго, хан Родман с сыном и ордами едва-едва пробился долиной на север и скакал день и ночь, спасаясь от смерти.

Немало печенегов сложили свои головы на поле боя, погиб и старый каган Куря, убивший когда-то на острове Хортица князя Святослава.

Это была справедливая месть: поднявший меч против русских воинов и их князя погиб от него сам. Никто не похоронил Курю, никто не помянул добрым словом, — вороны склевали его тело, оставив лишь кости.

Немало русских воинов погибло в бою над Сухим бродом, и поныне еще высятся там шесть курганов, где они покоятся.

Ранен был в бою и князь Владимир, в грудь, чуть пониже сердца, рынды едва успели подхватить его на руки, когда он падал с коня... Целую неделю стояли русские воины после сечи у порогов, целую неделю сильное тело князя боролось со смертью.

2

В Киеве нетерпеливо ждали воинов, ходивших в далекие земли. От гонцов, прилетавших на взмысленных конях с поля и спешивших на Гору, люди киевские знали, когда князь стоял над Итиль-рекою, когда двинулся на Кавказ, вернулся в устье Днепра, миновал Белый город, Переволок на Суле, Переяслав...

И вот поползли в небо дымы уже недалеко от Киева, а погода на небосклоне встали столбы рыжей пыли — это шла, приближаясь к Днепру, рать князя Владимира.

Киев радостно встречал своих воинов. Когда же от левого берега Днепра отчалили заранее приготовленные лодии, у Почайны собралась вся Гора, предградье, Подол, Оболонь, на городнищах громко застонали медные била, и далеко по Днепру понесся многоголосый шум.

Впереди всех в платнах, шитых золотом и серебром, с гривнами и цепями на шеях и груди стояли бояре, мужи лучшие и нарочитые, тиуны и огнищане, вся знать Горы —

с женами и детьми, а среди них жена Владимира Рогнеда с сыновьями и дочерью.

Далее за ними и повсюду на днепровских кручах толпились, тесня друг друга и толкаясь, кузнецы, гончары, кожемяки и простые, убогие люди, смерды.

— Едут, едут! — кричали в толпе. — Вон всадники на конях переплывают Днепр. Вон наши отроки с Оболены! Вон плывет в лодии и сам князь!

— Слава! Слава князю Владимиру! Слава! — громко кричали бояре и мужи. Звенели, надрываясь, била на городских стенах, белым облаком в ясном небе летали вспугнутые голуби.

Когда князь соскочил с лодии на берег, его сразу же окружили бояре, приблизилась с детьми и Рогнеда, обняла, поцеловала и тотчас отошла — вся Гора приветствовала князя.

Но Киев встречал не только князя. Из лодий выходили воины — отцы, братья, сыновья собравшихся здесь людей, и повсюду на песчаном берегу, в раkitнике слышались взволнованные голоса, радостные и счастливые восклицания.

Тем временем князь, в сопровождении старшей дружины, двинулся Боричевым взвозом наверх, а над ними реяли развернутые красочные знамена земель Руси, звенели цимбалы, пищали свирели, глухо били накрыв; с князем шла его семья, бояре, мужи, воины, за ними, поднимая пыль, валил киевский люд.

Шествие остановилось у требища, недалеко от стены; там уже пылали огнища, стояли в темных одеждах волхвы, ревел скот.

Князь вышел вперед, снял с пояса и положил на землю меч, поглядел на деревянных, потемневших от времени богов земель, на которых играли отсветы огня. Вслед за князем положила на землю свое оружие и старшая дружина.

На какое-то мгновение князь обернулся к людям, от имени которых он должен был принести жертву, и удивился. Стояла его семья, вся старшая дружина, тысяцкие, несколько городских старцев, но бояр, мужей лучших и нарочитых, было мало, все они, встречавшие рать у Почайны, отошли дальше, к старым стенам Горы.

“Чудно себя держит боярство, — мелькнула у князя мысль, — встречают ласково, а стоят с опаской...”

Однако об этом сейчас задумываться не приходилось. Люди, воины, старшины ждали, перед идолами уже по-лыхали огнища, волхвы вели священных животных.

Князь Владимир высоко поднял руки и начал молитву прашуров:

— Боги! Вы даровали нам победу на брани, благодарим вас, боги, за великую вашу помощь, даруйте нам, боги, мир в землях Руси, за что славим вас и молимся вам, боги!

И все люди за ним повторяли:

— Славим вас и молимся вам, боги!

3

Теплый очаг родного дома... В вечернюю пору вернувшиеся из похода воины сидят в тесном кругу своих родных, поминают мертвых, молятся за живых.

Князь Владимир встретился с семьей у очага в трапезной, где ждали его Рогнеда и дети, у очага, где — как он верил — незримо витали души прашуров.

Переступив порог трапезной, он приблизился к Рогнеде. Протекшие с тех пор, как она приехала из города Полоцка в Киев, годы сделали свое дело: лицо ее сохранило мягкость и привлекательность, но седина уже прошивала лен волос, лоб пересекали морщины, а когда-то голубые глаза подернулись грустью.

— Ты что плачешь, Рогнеда?

— От радости, что вижу тебя, княже... — Она касалась руками его плечей, груди. — Слышала, знаю, что на сече был ранен.

— Что вспоминать? — Лицо его озарилось улыбкой. — Задело слегка. Нынче уже здоров...

— Не говори так, не говори, Владимир! Твои же воеводы рассказывали, что ты был тяжело ранен, под самое сердце. Душой чуяла, как ты страдал. Почто ты, муж мой, всегда первым идешь в бой, прямо на копья?!

Князь Владимир даже рассердился.

— Зря слушаешь воевод, Рогнеда! Рана уже зажила, нет ее больше... Не горюй, не печалься, цел я и невредим.

Поглядывая на сыновей, он добавил:

— А идти впереди воинов должен. Так делали отцы мои, так буду делать и я. На брани я не токмо князь, но и воин.

К нему подошли дети: невысокий, белокурый, глазами и обликом похожий на мать Вышеслав; сильный, коренастый, неразговорчивый Ярослав; стройный, с черными волосами, остроносый красавец Мстислав; братья-близнецы Всеволод и Изяслав и самые младшие, совсем юные Святослав и Брючеслав.

Вместе с детьми подошел к Владимиру и Святополк, сын Ярополка — жилистый юноша с нахмуренным лицом и черными быстрыми глазами. Князь Владимир и Рогнеда растили его наравне со всеми детьми. Однако приручить его, вызвать в сердце приемыша привязанность было трудно. Подойдя к князю, он поклонился, глянул исподлобья и тотчас отошел.

Не было среди сыновей Позведа. Князь знал, что в прошлую зиму в городе свирепствовал мор, от которого и умер сын. Однако, согласно обычаю, мертвых поминать не следовало — души их витали тут же, в трапезной, над очагом.

Последней подошла к отцу дочь Предслава, белокурая красавица с голубыми глазами. Она плакала — одновременно с братом Позведом умерла ее сестра Горислава.

— Не тужи, не плачь, Предслава! — целуя дочь, прошептал ей на ухо Владимир. — Я привез тебе подарок — зеленое монисто из Тмутаракани.

Кормилица Амма, которая за эти годы превратилась в настоящую старуху и даже сторбилась, тоже приблизилась к князю и низко ему поклонилась.

Над очагом вился дымок и уходил в широкогорлую трубу, на жарких золотистых углях догорала жертва, — князь Владимир с семьей молча стоял и ждал, когда прашуры получат свою долю.

Потом все уселись за стол — князь и княгиня в красном углу, дети по сторонам. Как приятно после далекой дороги положить усталые, тяжелые руки на стол, видеть перед собой знакомые, но сейчас какие-то непривычные родные лица, взволнованные, ласковые взгляды жены и детей, погрузиться в тишину отчего дома, нарушаемую лишь стрекотанием сверчка.

В этот вечер князь Владимир был доволен, счастлив. В трапезной становилось тепло. Амма внесла и поставила на стол серебряные подсвечники с прозрачными восковыми свечами. Ужинали, согласно обычаю, молча.

И никому из них не хотелось покидать этот уголок, где на жертвеннике дотлевали угли, где было тепло и уютно и после долгих дней и лет собралась наконец вся семья... Князь Владимир подумал и начал рассказывать жене и детям о далеких походах.

Затем наступила ночь — не под мерцающими звездами в поле, где дует резкий ветер, а под попоной твердая холодная земля, — нет, князь Владимир сидел в теплой опочивальне, рядом была Рогнеда, а за раскрытым окном в лунном свете поблескивал плес Днепра откуда-то издале-

ка-издалека доносилась грустная, спокойная, как днепровская волна, песня.

— Даже не верится, что я здесь, дома, вижу Киев, Днепр, тебя, детей, — вырвалось у Владимира.

— Дома, дома, дома! — прошептала Рогнеда, положив ему руки на плечи.

— Как выросли и возмужали дети! Ярослав и Мстислав — богатыри. Святослав, Всеволод и Брячеслав — хороши лицом, а Предслава — красавица: вспомнились Полоцк и ты, Рогнеда!

Тепло стало у нее на сердце от слов Владимира при напоминании о далеком Полоцке, минувших днях.

— Хорошие у нас, Владимир, дети, все я делала, как ты повелел, были у них наставники, учили их ездить на коне, владеть мечом... Мстислав день и ночь не сходил бы с коня, Святополк первый в Киеве мечебитец...

— Хорошо, очень хорошо! — с довольной улыбкой заметил Владимир.

— И книжную мудрость кое-кто из детей постигает, читают харатии древних князей, написанные русскими словами. Есть и заморские книжки. Вот Ярослав знает грамоту славянскую, болгарскую, франкскую, греческую и еще одну, которой даже названия не выговорю.

— Вельми ученые у меня сыновья, видать, отцу не чета, — нахмурившись, промолвил Владимир, — меня бабка Ольга учила только русским резам да еще греческой грамоте чуть-чуть... Только бы не завезли нам в терем какую латинскую хворь.

— О нет, не завезут, — возразила Рогнеда, — за всеми смотрю, глаз не спускаю...

— Да я уж твой нрав знаю, — сказал Владимир. — Ты и впрямь всегда была рачительной хозяйкой в доме, доброй матерью и княгиней на киевском столе.

Она ждала от мужа, как и много лет до этого, еще какого-то сердечного, заветного слова, но Владимир так его и не сказал.

— Спасибо тебе, муж мой, — поблагодарила Рогнеда. — Да, я берегла наш дом, глядела за детьми, думала и о том, что делается на Горе. Тяжко мне было порою, Владимир, очень тяжело...

— Тяжко? — Он положил ей руку на плечо. — Ты чего-то не договариваешь? Почему было тебе тяжело?

За окном вырисовывались залитые зеленоватым лунным светом терема и строения, черная стена, воины ночной

стражи, которые, опершись на копья, стояли у блестящих медных бил.

— Ты молчишь, Рогнеда! Что, опять какая хула?

— Муж мой, Владимир, — сказала она. — Жалею, что начала беседу. Недобрая молва — ничто, ежели мы живем душа в душу, народили сыновей, тишина у нас в доме, мир между нами... Не слушала я, не хочу и знать о том, что говорят лихие люди. Ты творишь правое дело, Владимир, ты богатырь, витязь, князь князей, великий государь Руси, все о том ведают.

Владимира растрогали и воодушевили слова Рогнеды.

— Так что для меня ныне Гора? — вырвалось у него.

— Ты могучий и сильный, — ответила Рогнеда, — ио сильна и могуча также и Гора.

— А в чем, в чем ее сила?

— Когда ты покидал Киев, они радели не о Руси, а о себе, только о себе...

— Знал я это, Рогнеда, но не боялся: в Киеве сидит моя жена — княгиня.

— Ты проливал кровь со своими воями в землях Руси, а они только и ждут, чтобы ты дал им земли.

Владимир засмеялся.

— Да разве я не знаю Горы? Что делать — без нее не проживешь. Она меня поддерживает, но я должен также печься о землях, там свои князья, воеводы, бояре. И тем землям приходится не легко, Рогнеда. За многие годы прошел я Русь из конца в конец. Все земли тянуться к Киеву, у всех свои враги, все земли дают мне, что могут, но хотят удержать что-то и себе. В каждой земле свой суд и правда, свои законы и покои, каждая молится своим богам. Вон, — он кивнул в сторону требища, — стоят боги всех земель, я молюсь им, они берегут меня...

— Я лишь твоя жена, Владимир, и не все разумею. Скажи только, почему Гора да и, пожалуй, весь Киев не молятся теперь нашим богам?

Лицо Владимира стало суровым.

— Видел днесь, так, Гора не молится моим богам, богам Руси.

— Христиане они.

— Знаю, вижу, — сердито крикнул Владимир. — Христиане веруют в бога отца, сына и святого духа... Слушай, Рогнеда, ныне вся Русь Христа не примет. Я позволил людям земель молиться тем богам, каким сами пожелают. Перун или Христос — не все ли равно?

— Они не токмо молятся. Я много теперь знаю о христианах. Они проповедуют, будто бог освящает добро богатых, а бедняку дает рай на небе... В Киеве немало христиан и не среди бояр... Не понимаю, не понимаю, но у христиан есть какая-то сила.

Владимир с любопытством, насмешливо посмотрел на нее.

— И впрямь я много лет провел в походах и не ведаю, что творится у меня дома. Может, и ты христианка?

Видно было при свете месяца, как лицо Рогнеды стало суровым, а ее большие глаза сверкнули.

— Верую, — твердо промолвила она, — в богов моих отцов — Одина и Тора, верю и в твоих богов — Перуна и Дажьбога... Ты мое сердце, душа и вера...

— Прости. — Владимир положил ей руку на плечо. — Мне очень больно, Рогнеда, потому так и говорю. Я знаю тебя, верю в тебя. Наша вера, наш закон, наша сила победят все.

— Однако они нам не верят, они ездят в Константинополь, а ромен — сюда, ты враждуешь с Горой, а Гора ищет друзей и поддержки за морем, у Византии.

— Теперь я услышал то, что больше всего меня беспокоит, — промолвил Владимир. — Ты сказала правду, Рогнеда.

Он встал и подошел к окну. Поднявшись с кресла, пошла следом и Рогнеда. За окном виднелись дворы, темные терема, стена, а за нею Подол, воды Днепра, луга и леса по ту сторону реки, небо во всей его красе, с полной золотистой луной и россыпью звезд.

— Я не боюсь Горы, — промолвил Владимир. — Желая добра и счастья людям, я прошел Русь из конца в конец, воссоединял, устраивал ее.

Глядя вдаль, он, видимо, вспоминал далекие походы, гостинцы в поле, огни на курганах, конский топот.

— Я берегу старый закон и покон, почитаю веру отцов, но нет ничего нерушимого на свете. Наступит время, я заменю старый закон новым. Я поклоняюсь старым богам, но душа жаждет новой, иной веры.

Прижавшись к плечу Владимира, Рогнеда слушала его слова, и в ее душу вливался покой. Она любила мужа — сурового, решительного, сильного, только не умела выразить свою любовь словами. Впрочем, что слова, только сердце может откликнуться сердцу!

— Вот почему, — продолжал Владимир, — чую брань, вижу реки крови, горе великого множества людей. Не

здесь, не на Горе и не на поле решится будущее Руси. Мы, люди Руси, такие, какие есть, хоть и ссоримся, но и умеем дружить, мы сильны и выносливы. О, мы очень сильны, Рогнеда... Однако Русь окружает множество врагов, я прошел, прошел ее всю, делал, что мог, скоро новый поход...

— Новый поход?

— Так, новый, последний поход, Рогнеда, против врагов Руси.

4

Волчий Хвост — правая рука Владимира, главный его воевода. Возвратившись из далекого похода, он не может, как все прочие, тотчас пойти домой; до позднего вечера он встречает из-за Днепра дружину и уже в полной темноте советуется с князем.

И вот наконец терем за высоким частоколом: воеводу встречает жена Павма, дети; в светлицах пахнет медом и смолкой. Волчий Хвост становится на колени перед образом Христа.

Он привез подарки: жене оксамиты и атласы, золотой пояс из Тмутаракани; дочерям узорочья, украшения; сыновьям пояса с набором, кривые ножи, сапоги.

Однако, чем был наполнен мех, который Волчий Хвост самолично снял с воза, внес в терем и спрятал под кроватью, — касалось только воеводы.

И вот уже ночью в терем стали сходить гости: соседи-бояре, несколько мужей, далеких родственников воеводы, ключар Горы Воротислав.

Сели за стол, где жарко горели свечи. Павма поставила мед, ол, всякие яства. Выпили, закусили, помянув мертвых и пожелав счастья и здоровья живым.

— Далеко ли ходили, воевода? — спросил Воротислав. — Мы уж тут все глаза проглядели, уши прослушали, вас поджидаючи.

— Земля наша, бояре, велика. Солнце, однако, всходит над всеми нами и снова заходит, где Итиль-река, где Тмутаракань! А наш неумемный князь сказал, что всю Русь хочет пройти от края до края.

— Что князь, что княгиня — все едино, — засмеявшись, сказал Воротислав. — Вы в походах за стремя Владимирово держались, а мы тут натерпелись вдосталь от Рогнеды.

— А что? — заинтересовался Волчий Хвост. — Сурова, грозна?

— Не то слово сказал, — ответил Воротислав, — токмо о князем столе и печется, о муже, детях, а о нас нисколько, самим приходится брать, вырывать... Одначе днесь тому конец — вернулся князь, с ним будем дело иметь. Скажи лучше, как там в землях?

— Все по-прежнему: Червенская земля наша, с радимирами и вятичами положили ряд, в Тмутаракани тишина...

— Воевода Волчий Хвост! — от лица всех сказал Воротислав. — Не о том речь, мы хотим знать, какой ряд уложил Владимир?

— Весь в отца. В землях древний закон и покон утверждает, молится всем богам, сулит защищать их княжьей дружиной, дань назначает легкую, померную.

— А с лесами, землями, реками, иже владеем там?

— Волю даст князь землям. Вы, говорит, сами хозяева, сами и чините суд, расправу да правду...

— Щедр наш князь, да не для нас, — зашумели за столом. — Древний закон и покон, куда ни шло, крепко земли за своих богов держатся, но ряд писать надобно по закону новому. Вы, воеводы, небось взяли свое в землях...

— Ни шеляга! — Волчий Хвост даже перекрестился.

— Молчи! — ухмыльнувшись, сказал Воротислав. — Где брань, там и дань, и мы не против: ходили, бились, примучивали, ваше — вам... А нам, боярству, что?! Неужто теперь и не сунуться уже ни в червенские города, ни к радимичам, ни к вятичам, где Ольга и Святослав дали нам города и земли в пожалованье... Знаешь, Волчий Хвост, мы тоже когда-то были воеводами, сотруждались, мечи носили. Ныне же боярами стали, старцами. Что, значит, так и отдать наше добро? Опять же, аще Владимир наложил на землю легкую дань, то чем думает платить дружине? На какие деньги будет ковать щиты и мечи? Пожалованье наше идет во пса место, сами должны содержать дружину... Ой, забывает князь Владимир, кто его подпирает, на чем стоит киевский стол... Боярство и воеводы — это сила!

Все уже изрядно выпили. Только Волчий Хвост, который почти не пил, понимал и видел, что бояре лишь высказывают свои думы и чаяния.

Он спросил: *

— А как у вас, бояре? Что слышать на Горе? Давненько не бывал дома, в далеких походах только и дум, что о Киеве, об этих стенах, о тереме... Любо тут, вельми любо, воеводы!

За столом весело, со смешком кто-то сказал:

— А уж что любо, то любо... Чуден город наш Киев, а коли князь о нас забывает, сами о себе радеем. В Полянской,

Северской, Древлянской, да и в Угличской и Тиверской землях хозяева мы. Бога не забываем, вот он и печется о нас...

— За море ездите?

— И сами ездим, и гостей в Киеве тьма. Иди на Почайну, на Подол — грек на греке сидит. Мы — им, они — нам. Христиане и они и мы... Может, Христос благословит и осветит наше добро?!

Волчий Хвост во все глаза смотрел на опьяневших бояр.

— И здесь, в Киеве, — говорили за столом, — и в землях вокруг — христиан тьма, молимся, ждем, утверждать будем на Руси свою веру, таков закон и покон... Ты, воевода, пойдешь с нами?

— Думает князь Владимир идти на Дунай, — промолвил Волчий Хвост.

Как ни были пьяны бояре, но задумались, зашипели:

— Неужто снова затевает брань с ромеями? Эй, воевода, ныне не те времена. Византии нам не одолеть.

Все взволновалось, закипело.

— Уж очень быстро стареет наш князь. Впрочем, и не диво: кто старого держится, сам стариком станет. И пусть! Есть князья сызнова в городе Киеве, не робичичи, а истинно княжьего рода...

— Тихо, бояре, — промолвил Волчий Хвост, — шум большой подняли, еще кто услышит.

Воротислав обнаглел и не тайлся.

— А ежели кто и услышит, то разве мы не можем помолиться за князя Владимира со чадами, а также и за сына Ярополка, истинного князя Святополка?

Поздно разошлись гости от воеводы, во дворе зацокали посохи по твердой земле, и все утихло.

В светлице опустело. Павма убрала со стола и погасила свечи.

У постели стоял воевода: вытащив мех, привезенный с далекого похода, он перебирал диргеи, динары, драхмы — золото, точно желтый ручеек, струилось в его руках.

5

Теперь никто никогда бы не узнал Малушу. Шестьдесят лет для человека, пожалуй, не так уж много, однако на долю девушки из Любеча выпала тяжелая жизнь, слишком дорогой ценой пришлось платить за нее.

Тоненькая, сухоиькая, с поседевшими на висках волосами, со смуглым, высохшим лицом, изрытым глубокими морщинами — только выразительные карие глаза еще напоминали о молодости, — кто бы подумал, что эта женщина когда-то была проворной, живой, веселой девушкой, ключницей Малушей?! Старые люди поумирали, молодые ее не знали. Она давно умерла для всего мира.

Однако мир не умер для Малуши. Ей хотелось знать, что делается в Киеве, в землях Руси, и она допытывалась у всех и каждого, кто живет, что делает, в каких землях бывает ее сын Владимир?!

Малуша знала, когда пошел он с дружиной в червенские города, в земли радимичей и вятичей, на черных булгар, а оттуда к Джурджанскому морю, на самый край Руси. Знала Малуша и о том, что повсюду судьба даровала сыну победу. Впрочем, кто же этого в городе Киеве не знал?!

Материнское сердце всегда одинаково. Того, о чем рассказывали люди, Малуше было мало. Ей хотелось знать, как воюет князь, не задела ли его вражья стрела, что ест, как спит? Будь только возможно, она поздней ночью пошла бы босая по колючей степной траве к кургану, у которого ночует Владимир, села бы тайком у его изголовья и сидела до самого рассвета, а там легким облачком поднялась и летела бы следом за ним и всем его войском.

И она, действительно, знала о сыне гораздо больше других. Ведь ходил с Владимиром в походы, оберегал его и, возвращаясь время от времени в Киев, рассказывал ей о князе тот, кому не выпало на долю разделить с Малушей радости и счастье в жизни, — а их у Малуши было так мало, — но который сам болел и мучился ее болью, ее страданием и обидой, — княжий гридень Тур.

И вот она снова, собирая иад Почайной хворост, увидела воина, который брел по траве. Заметив Малушу, он направился к ней.

— Добрый вечер тебе, Малуша! До чего же ты изменилась!

— Добрый вечер и тебе, Тур, — ответила Малуша, — оба мы изменились.

Они сели у обрыва иад Почайной, позади них синий туман окутывал луга, в нем плавали кусты ивняка, перед глазами меркли днепровские воды.

— Чудно! — воскликнула Малуша и вся вздрогнула, словно у нее по спине пробежал холодок. — Ведь сегодня вечер Купалы, а сидим мы на том месте, где когда-то встре-

тила я Святослава... Впрочем, нет, Днепр режет и режет кручу.. Это место вон там, под водою.

— Не только Днепр режет кручи, все прошлое давно под водою.

И это было все, что сказали о себе Тур и Малуша. Да, собственно, что они могли еще сказать? Старик и старуха. Их жизнь заканчивалась. Седоусый гридень Тур и почтенная женщина в монашеской одежде — счастье их обошло, и они его более не ждали.

Одно их объединяло — Тур служил гриднем у сына Малушин, князя Владимира, и мог рассказывать о нем день и ночь, Малуша готова была слушать о сыне до скончания века.

— Твердо ныне сидит Владимир на киевском столе, — уверенно и гордо рассказывал Тур. — Все земли ему покоряются, дают дань городу Кнсву. Богат ныне князь киевский, сильна его дружина, не бедны и его воеводы...

— А верно ли они служат ему? — задумалась Малуша. — Ведь Гора...

— Он знает, — тихо ответил Тур, — и не всем верит... Тяжко ему жить, но что поделаешь?!

Быстро смеркалось. В долине зажигались костры, донеслась древняя песня:

Идет Купало, десет немало,
Меду и жита, прироста, приемыа.
Славим Купала, не спим до утра,
Не спи, уютка, юнак — не спит!..

— Напали на наше войско у порогов печенеги, был среди них и каган Куря, убийца князя Святослава, — вспомнил вдруг Тур.

— Ох, боже! Вы ему отомстили? — тотчас прозвучал вопрос, и глаза Малушин хищно сверкнули; зов предков, жажда справедливой мести проснулись в ней: око за око, смерть за смерть.

— Вои наши отомстили, убили кагана Курю.

— Слава богу! Теперь душе Святослава будет легче. — Малуша перекрестилась.

— В том бою был ранен и Владимир! В грудь, чуть ниже сердца.

Схватившись руками за голову, Малуша молча ждала.

— Целую неделю лежал без памяти, и я ни на шаг не отходил от него, поил, кормил, прикладывал к ране травы... Однажды ночью ему стало особенно тяжело. Он весь горел, метался, бился, а я держал его за руки и смачивал то и дело чело...

Костров на лугу появлялось все больше. Песни звучали уже повсюду, в рощах и в кустах над Почайной слышались веселые, возбужденные голоса.

— Ночь стояла лунная, было светло, как днем, — продолжал Тур. — Князь Владимир лежал беспокойно, с закрытыми глазами. И вдруг приподнялся, огляделся, точно о чем-то думал, чего-то ждал... "Мама! — услышал я вдруг его голос. — Мама! Где же ты?"

Тур умолк.

— И что? — спросила Малуша дрожащим от волнения голосом.

— Что же еще? — ответил Тур. — Думает он про тебя, вспоминает, любит, а в ту ночь, когда звал, должно быть, во сне увидел, потом успокоился, заснул...

Счастье матери! Да, этого краткого рассказа Тура было довольно, чтобы сердце Малуши наполнилось блаженством.

— А ты, Тур, — спросила она, — не ранен, не искалечен?

— Что я? — Гридень усмешился. — Меня ни меч, ни копье не берет... Защищая князя, потерял два пальца правой руки.

И при свете месяца она увидела его правую руку, на которой не хватало двух пальцев.

— Боже, боже! Калека! А ты принес что с похода?

— Я?! — Он искренне удивился. — О нет, Малуша, не малые сокровища привезли ходившие на брань воеводы. Слышал я, будто князь дает им и боярам, что стерегли Киев, пожалованья... Воеводы и бояре на Руси стоят, как утесы. Нас же, воев, множество. Мы песок на берегу Днепра.

— Так что же тебе?.. — вырвалось с отчаянием у Малуши.

— А что же мне делать?! — спокойно и с каким-то безразличием ответил Тур. — Гридень-калека князю не нужен... Осталось ждать рая, но и до него еще далеко...

На глазах у Малуши заблестели слезы.

— Ведь это я во всем виновата, Тур!

— Нет, — возразил он тотчас. — Ни ты, ни я: никто в том не повинен. Мы делали только то, что должны были делать. И не так уж я беден, как ты думаешь! Я больше не гридень, но князь Владимир мне поможет. По велению князя, могу, как все старые вои, взять клочок земли под двор и леса на хижину... Так, пожалуй, и сделаю, — он указал на

крутой склон горы, — выкопаю тут землянку, покрою крышей и буду молиться...

Тур засмеялся, но смех его был невеселым.

— Заживу небось лучше самого князя, ведь не придавит же меня эта приднепровская гора, а сидя здесь, смогу еще долго, до самой смерти, оберегать Владимира, да и тебя тоже... Не так ли, Малуша?!

ГЛАВА ВТОРАЯ

I



е напрасно князь Владимир делился своей тревогой с Рогнедой, Русь он устроил. Ныне его взор устремляется на запад, две империи, думает он, угрожают родной земле — Византия и Германия.

Впрочем, Владимир не только раздумывает, но и действует. Не дав отдохнуть дружине, не отдохнув толком и сам, садится на коня, движется с воинством на юг, в земли тиверцев и уличей и останавливается на берегу Дуная.

Это были дни, когда, собственно говоря, решалась судьба русского и болгарского народов. С высокой кручи князь Владимир глядел на правый берег Дуная, где от устья и до самого Доростола и Тутракана стояли отряды акритов, а за ними лежала разорванная пополам, поработанная ромеями Болгария.

Слух о том, что русские воины стоят на берегах Дуная, разносится далеко. Знают об этом и на болгарской земле — в Переяславце, Доростоле, Тутракане, Розградье.

Многие ночи над Дунаем слышатся всплески весел, приглушенные голоса.

— Кто вы, люди? — спрашивает стража на берегу.

— Болгары... К русскому князю Владимиру.

Князь Владимир беседует с этими людьми.

— Нет больше сил терпеть, княже. Не ведаем, чья Болгария: наша или греческая. Все разграбили у нас акриты. забирают жен, детей... Прими нас на русскую землю, княже.

И обездоленные люди идут на русскую землю, к русским людям, которые во веки веков были и останутся им братьями.

Через Дунай переплывают на челнах и добираются до князя Владимира люди в длинных черных рясах, с клобуками на головах. Ночь, на столе горит свеча. Владимир принимает их в своем шатре.

— Зачем пожаловали, болгары?

— Епископ есмь доростольский, Неофит, — говорит старый седобородый, необычайно бледный человек, с серебряной цепью и крестом на груди. — Прибыл к тебе со всем клиром.

Князь Владимир смотрит на епископа.

— Не разумею тебя, отче, — откровенно признается он. — Я русский князь, язычник. Ты христианин, епископ болгарский...

— Но ты и я также, княже, человек... Была Болгария, — он указал через откинутый полог шатра в сторону видневшегося Дуная, на берегах которого мерцали огоньки на далеких кручах, — днесь ее нет, ромейская неволя...

По бледному лицу епископа пробежала слабая улыбка.

— Князь русский! Некогда к отцу твоему в Доростол бежал от ромеев и кесаря Бориса патриарх Дамиан. Я был священником у него, и мы вместе молились за болгар, за князя Святослава и его воев... Русские люди справедливы. Днесь я молюсь о вечном покое князя Святослава...

Станные теплые чувства вызывают эти слова в сердце Владимира.

— Когда князь Святослав ушел отсюда, совсем не стало житья болгарам... Императоры ромеев проклинали патриарха Дамиана — так он и умер. Ныне прокляты мы, все нас гонят...

— У вас есть другой патриарх, своя церковь.

— Митрополит Севастийский, что сидит в Средеце, у комита Аарона, служит патриарху константинопольскому, он не отец нам!

— А митрополит кесаря Романа?

Епископ Неофит не ответил на вопрос князя Владимира, а грустно покачал головой.

— Кесарь Роман — недостойный внук Симеона, прибывший к нам из Большого дворца. Нет Болгарии, нет кесаря — сироты мы, княже, потому и просим: возьми нас на Русь!

Нет, князю Владимиру в Болгарии не к кому идти, не на кого опереться, и он велит тиверцам и уличам твердо стоять на берегах Дуная, стеречь землю, а сам возвращается в Киев.

2

Из года в год, изо дня в день комит Самуил готовился к битве с Византией.

Он знал, что битва эта будет последней, решительной, и что последнее Болгария либо, объединив все свои племена и роды, станет великой, сильной, как при Симеоне, либо будет расчленена и очутится в рабстве.

Впрочем, сильный, свободолюбивый Самуил не верил, не допускал даже мысли, что Болгария может пасть в этой борьбе. Тысячи и тысячи болгар готовы были по первому же его зову взяться за луки и мечи, к Самуилу шли и шли тысячи славян — беженцев из Пелопоннеса, Фракии, Македонии, придунайской низменности, к нему бежали армяне, грузины, арабы, которых императоры гнали из родных земель и поселяли в фемах Византии.

О готовящейся борьбе знали и поддерживали Болгарию немало государств того времени: Угорщина посылала в Болгарию своих послов и охотно принимала болгарских послов у себя, германский император обещал Болгарии помощь в борьбе с императорами ромеев. И не удивительно — взаимоотношения между двумя империями, которые в равной мере стремились господствовать над всем миром, все больше обострялись. Болгария через бежавших из Византии знатных армян была связана с далекой Арменией; в Охриду наведывались и благовестники — епископы римского папы.

Единственным местом, куда не обращал своих взглядов Самуил, была, видимо, Русь, задунайские земли, но к тому были свои веские причины.

В Болгарии достоверно знали, почему, с какой целью приходил к ним князь Святослав. Он не порабощал болгар, не брал с них дани, не лишил кесаря Бориса короны и пальцем не коснулся древних сокровищ каганов. Напротив, он оставил Борису корону и сокровища, вместе с болгарами пошел против Византии, бился с Иоанном Цимисхием в долине за Родопами. Ради счастливого будущего Руси и Болгарии сидел осажденный в Доростоле и, заключив с Цимисхием мир, погиб по пути на Русь, у порогов Днепра...

Но в те времена границы между Болгарией и Русью сходились на Дунае, а теперь вся придунайская низменность и вся Южная Болгария до самого Русского моря была покорена ромеями; между Болгарией и Русью выросла стена.

На севере от Охриды, среди гор, высится скала, которую до сих пор еще называют горою Симеона. Там, по преданию, знаменитый каган-император собирал своих бояр и боилов, когда держал совет перед новым походом.

Это чудесный уголок. Там с высоких плоскогорий видны на севере Пологи, Овче Поле раскинулось за Вардаром на востоке, Преспа высится на юге, Гомор на западе — горы, бесконечные горы, ущелья, реки, темные леса, тучи ползут и ползут по скатам.

Самуил любил эту гору. Не раз, покинув Охриду, он направлялся с небольшой дружиной по ущелью Черного Дрина на север, у Струга сворачивал направо, поднимался по крутым тропам, над которыми склонялись сосны и пихты, все выше и выше и доезжал до верховья горы Симеона.

В вечернюю пору здесь царили тишина и покой; воздух был так прозрачен, что, казалось, светился; вокруг, словно на страже, стояли горы; огромное багряное солнце опускалось за Гомор, а за ним где-то далеко пламенели воды Адриатического моря.

— Гляди! Гляди! — говорил Самуил сыну Гавриилу. — До чего хороша наша Болгария... Клянись, что всегда будешь ее любить, а понадобится — и отдашь за нее жизнь.

Император Василий понимает, какая угроза нависла над Византией. Если Империя не выдержит натиска Самуила, на Византию двинется Русь, следом за ней Угорщина, Чехия, Польша, Германская империя, Малая Азия.

И Василий гонит все мужское население фем в свои легионы, затрачивает последние динары, чтобы вооружить их, одеть и накормить. Он готов на любую жертву, только бы заключить мир с прочими землями. Опустошив свой Большой дворец, он собирает дары и посылает василиков в Кведлинбург, в Грузию, Армению, в города Италии, чтобы обмануть, усыпить соседей.

Не веря своим полководцам, император объявляет, что самолично поведет войска против Самуила. Закончив все приготовления, он велит позвать к себе диакона Льва, известного в Константинополе историка, который записывал подвиги Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, за что и получил от последнего серебряную чернильницу.

— Ты, диакон, поедешь со мной в поход против мисян и, надеюсь, достойно опишешь победу ромейского воинства.

Диакон Лев — немолодой уже, седой, горбоносый человек в темном монашеском одеянии, с длинными черными

усами, низко кланяется императору Василию. Сидя на коне, он следовал по пятам ныне уже мертвых императоров. Что ж, он готов сопровождать и императора Василия.

Император Василий вел свои легионы не туда, где сидели комит Самуил и кесарь Роман, не к Охриде и Скопле — нет. По ровной дороге, идущей из Константинополя в Аркадиополь и Адрианополь, через родопские клисуры и далее к древней столице Симеона Средецу движутся его легионы.

Казалось, император делает безумный ход — по левую руку у него остаются все главные силы Самуила, которые могут ворваться во Фракию и подойти к самому Константинополю. Впереди встает неприступная горная цепь, где лишь в одном месте, сквозь Трояновы ворота, можно пробиться на север, но у ворот и далее стоит, как достоверно известно Василию, рать Аарона.

Император Василий ведет свое воинство дальше и дальше. Он обходит разрушенную Цимисхию Преславу, идет по долине реки Топольницы и приближается к Трояновым воротам.

Что же случилось? Тяжелая поступь легионов пробуждает в горах эхо. Полки императора Василия, которые то поднимались по крутым тропам, то спускались в долину, заметны со всех гор и плоскогорий, с высоких стен Трояна, что перерезывают горы и долины, с ворот, охраняемых войсками комита Аарона...

Стены молчат, Трояновы ворота раскрыты настежь, возле них нет воинов, и легионы императора Василия бурным потоком вливаются в них и поворачивают на Средец.

Непонятно как, но войска императора Василия победоносно идут на север. Средец уже близко, а когда он падет, легионам Василия откроется путь на запад, они спустятся в долину, где течет Морава и Дрин, ударят с севера на Скопле и Охриду, а с моря от Солуны и Лариссы уже движутся другие, свежие легионы.

Однако затишье на войне коварно и обманчиво. Если в воздухе не свистят вражеские стрелы — воины готовы их где-то пустить; не звенят мечи — но они уже, наверное, вынуты из ножен; легионы императора продвигаются в полном безмолвии все дальше и дальше на север, и тишина эта даже пугает.

Не тревожится лишь император Василий — впереди и позади слышна тяжелая поступь таксиархий пехоты, идут банды фем, его самого окружают полки бессмертных — корона, честь, слава императора в полной безопасности.

После нескольких дней марша император даже решил дать своим воинам передышку, хотелось отдохнуть после долгого пребывания в седле и самому.

Чтобы отыскать подходящее место и разбить лагерь, вперед выехали меисураторы: лагерь надлежало раскинуть в таком месте, где бы божественной особе императора не могла угрожать опасность. Надлежало позаботиться и о том, чтобы кругом были пастбища для коней, вода для питья, — таким местом оказалась долина возле крепости Стопониона.

Едва лишь меисураторы остановились в этой долине, как стали подходить тысячи оплитов, копьеносцев, стрелков, чтобы копать рвы, насыпать валы, рыть ямы-костоломки, натягивать вокруг лагеря веревки со звонками.

К вечеру лагерь был готов, шатер императора с реющими над ним знаменами Империи окружали полки бессмертных, за ними стояли банды фем, таксиархии.

Император Василий отлично провел эту ночь: пил, ел, беседовал с полководцами, слушал записи диакона Льва, развлекался.

Поздней ночью, правда, случилось нечто необычное: из глубины темного неба вырвалась, пролетела, упала и рассыпалась перед самым станом ослепительно белая звезда.

Диакона Льва, находившегося в это время в шатре императора, напугало небесное знамение до смерти, но, быстро взяв в себя в руки, он сказал:

— Звезда предвещает тебе победу, подобно звезде, которая упала на троянское войско в тот миг, когда Пандар целился из лука в Меиелая.

Диакон Лев врал, уверенный в том, что император Василий не знал истории греков, потому что в тот день, когда упала упомянутая звезда, ахейцы разбили и погнали троянскую рать.

Именно потому, что Василий не знал этого, диакон Лев закончил так:

— Подобно сей звезде, к твоим ногам, божественный василевс, падут Болгария и ее комиты.

Император улыбнулся — ему нравились речи диакона Льва.

Ночь прошла спокойно, керкетонны и виглы, охранявшие лагерь, не слышали в долине и в горах ни голосов, ни шума, поутру после сытного завтрака легионы двинулись дальше.

И едва лишь, растянувшись, воинство заполило ущелье, тишину леса нарушил зов оружия, свист стрел и крики людей. Никто не видел и не знал, как это произошло, но

со всех сторон на них надвинулись тучи воинов с мечами, копьями и дубинами в руках, таксиархии и банды кинулись врассыпную, бессмертные превратились внезапно в смертных и мертвых; к счастью, несколько полков этерии — и то не греков, а армян, — сделав "quadratum"* , окружили божественную особу императора и дали ему возможность бежать.

И, пожалуй, лучше всех поступил знаменитый диакон Лев: вскочив на неоседланного коня, он вцепился в его гриву, замолотил ногами по брюху, и конь умчал диакона куда-то высоко в горы.

Там, на вершине, под открытым небом, диакон Лев соскочил с коня, пустил его пастись, а сам осмотрел свое платье, пошарил по глубоким карманам.

"Слава богу, — подумал он, вытаскивая несколько сшитых вместе листов пергамента, серебряную чернильницу и перо, подаренные ему еще Цимисхием, — слава богу, что мое оружие уцелело, а я еще жив..."

Почувствовав себя на вершине горы в полной безопасности, диакон Лев уселся на сваленном бурей дереве, задумался и написал: "Мисяне напали на наше войско, многих побили, захватили царский шатер со всеми сокровищами и обоз. В то время я, описывающий это несчастье, к сожалению, был подле особы государя, как диакон..."

Диакон Лев на какой-то миг перестал писать, рука его задрожала, потому что снизу долетел шум битвы.

"Ибо онемели тогда стопы мои, — вспомнил он и записал неясную строфу из Псалтыря, — и стал бы я жертвой скифского меча, но божий промысел вывел меня из опасности, повелев ехать елико возможно скорей по склону горы, через овраги, на самую вершину, не занятую противником. Прочее же войско едва успевало бежать от наседающего врага через непроходимые горы, теряя лошадей и обоз..."

Это были, видимо, последние написанные им строчки, а потому искренние, правдивые, которыми Лев-диакон закончил свою историю... Мы, по крайней мере, не знаем, писал ли он что-нибудь после этого.

* Quadratum — построение четырехугольником (каре) (лат.)

Двадцать лет боролся комит Самуил Шишман с Византией, водил против ромейских легионов своих воинов, которые еще вчера пахали землю, пасли овец на горных пастбищах. Он видел муки, смерть этих людей и все-таки, не покоряясь судьбе, сзывал и вел на брань с врагом новые отряды.

Болгары шли за ним, они называли и считали его царем, хотя он и был лишь сыном комита, не стремился к славе, жил, как простой воин, и всю жизнь провел в седле.

У него на глазах погиб отец. Вражеской рукой были убиты братья Давид и Моисей, однако Самуил не покорился судьбе; протянув руку брату Аарону, он полагался на него, верил, что вместе с ним победит ромеев.

И они побеждали ромеев. Сидя в Охриде, Самуил боролся с Византией на западе; Аарон, сидя в Средеце, мог угрожать ромеям на востоке, — вместе они были сильны, вместе они могли защитить родную землю...

Самуил знал, когда император Василий двинулся со своими легионами в Родопы, когда оставил за собой Преславу и приблизился к Трояновым воротам, и был уверен, что ромеи не пройдут через ворота потому, что там поджидали их лучшие полки Аарона, Самуил же со своими полками стоял в это время у реки Струмы на перевалах, возле Рылы и Радомира, чтобы преградить путь ромеям, если они повернут от ворот Трояна.

Однако случилось что-то невероятное: легионы императора Василия прошли Трояновы ворота, двинулись вдоль Искера на Средец и подошли к Стопонионовой крепости.

Самуил, не понимая, как это произошло, опасался, что полки Аарона, не удержав вражеского натиска, отступили, истекая кровью, и потому поспешили на помощь брату.

Страшным и безжалостным был удар Самуила у крепости Стопониона, разъяренные болгары перебили множество конного и пешего войска и захватили даже шатер императора Василия, в котором находились все его регалии.

Самуил постоял в императорском шатре, разглядывая регалии, взял со стола письмо к императору Василию, написанное знакомой рукой, и принялся его читать... Сначала Самуил даже не поверил своим глазам — нет, все же это не его рука...

Как вихрь летел Самуил через Родопские горы, высокие скалы; темные ущелья встречали и провожали его, мрачным было лицо Шишмана.

Вместе с ним мчались бояре и боилы, по правую руку скакал на коне сын Гавриил, впереди и следом за ними еха-

ла многочисленная дружина, — и так, далеко обойдя Витош, они очутились у околицы Средеца. Однако в Средецком дворце Самуил застал лишь братового сына, Иоанна, сам же Аарон с женой находился якобы в новом дворце в Розметанице.

Самуил Шишман знал, что должно произойти в Розметанице, и не хотел, чтобы сын Гавриил присутствовал при их разговоре с Аароном, кроме того, нужно было, чтобы кто-нибудь из близких ему людей стерег в Средеце сына Аарона Иоанна.

Поэтому он и сказал сыну:

— Ты останешься в Средеце вместе с моими воинами, жди меня здесь и береги как зеницу ока Иоанна.

— А почему беречь? — спросил Гавриил.

— Я расскажу тебе потом, сынок!

В Розметанице Самуил, едва застал брата — Аарон собирался якобы в Средец, однако уже запряженные груженные всяким добром колымаги, которые стояли во дворе, свидетельствовали, что он намеревался уехать совсем в другую сторону.

Бледный, без кровинки в лице, Самуил спросил Аарона:

— Что ты, брат, задумал? И брат ли ты мне после этого?

— Не ведаю, о чем говоришь, — притворяясь, будто ничего не понимает, сказал Аарон.

— Не ведаешь? Тогда читай!

Самуил извлек из кармана и протянул Аарону грамоту на пергаменте...

Аарон взял, начал было читать, но тут же выронил свиток из рук... Это была написанная им самим грамота к Василию, где он благодарил императора за то, что тот признал его царем Болгарии и согласен выдать замуж за сына Аарона Иоанна свою сестру Анну, в конце грамоты Аарон писал, что откроет легионам Трояновы ворота...

— Прочитал? — спросил Самуил.

— Не понимаю! — крикнул Аарон.

Самуил горько усмехнулся.

— Не понимаешь, как эта грамота попала ко мне... Отвечу: ты задумал стать сватом императора ромеев и царем болгар, но ты позабыл, что болгары не желают ни императоров-ромеев, ни тебя своим царем... Горе Болгарии и горе нам, Шишманам, ибо ты, старший из сыновей Шишмана, опозорил честное имя отца своего Николы, матери Ренсамы и братьев своих...

— Брат Самуил! — Аарон упал на колени. — Это правда, я написал грамоту, не ведал, что творю, повинна жена

моя, митрополит Севастийский, который приезжал ко мне от императоров... Я и так уже наказан, императоры и митрополит меня обманули, солгали...

— Как же тебя обманули император и митрополит?

— Митрополит привез в жены моему сыну Иоанну не сестру императора Анну, а гулящую константинопольскую девушку, се мы просто убили, а митрополита сожгли... Смилуйся, брат!

— Нет, отныне ты мне больше не брат, — сурово промолвил Самуил и, обернувшись к своим боярам и боилам, спросил: — Как будете судить изменников Болгарии Аарона, жену его и сына?

— Да примут смерть! — прозвучал единогласный ответ.

Воины схватили Аарона и повели во двор, где уже стояла, со связанными руками, жена его Варвара.

А тем временем в Средеце Гавриил вел долгую беседу со своим двоюродным братом Иоанном, который все опасался, как бы не покарали его отца; пожалев брата, Гавриил велел оседлать двух лошадей и выехал с Иоанном за город...

Бледный, перепуганный, Иоанн попрощался с Гавриилом, как с братом, обнял, поцеловал.

— Поезжай быстрее! — сказал Гавриил.

Иоанн ударил коня и умчался в горы.

Гавриил не знал и не мог знать, что через много лет брат в злобе своей убьет его, жену и ослепит сына...

4

Император Василий едва опомнился после поражения в Родопах. Черный от страха вернулся он в Константинополь и бродил, точно тень, весь высох, а по ночам ему все снились и снились ущелье в горах, мечи болгар и кровь.

Однако не одних болгар страшился теперь василевс Византии, он напоминал зверя, загнанного в клетку, — вокруг империи затягивалась петля.

В Малой Азии был разбит Вард Склир, он сидел в темнице у арабских эмиров. Победил Вард Фока.

Вард Фока ждал... Теперь это был уже не монах из Хиоса, а назначенный самим императором Василием domestik, полководец, победивший лютого врага Империи Склира. Племянник убитого императора Никифора Фоки — теперь он имел право на высшую награду: Вард Фока хотел вернуться в Константинополь, стать во главе всех войск Империи, занять место в синклите.

Может быть, Вард Фока и ограничился бы этим, может, верно служил бы императору Василию, стал бы любовником Феофаио, матери императора: ведь это она, как было известно Варду, вырвала его из монастырской кельи. Она, как предчувствовал Вард, ждала его в столице.

Но надежды Варда Фоки были напрасны: понимая, кого выпустил из темницы, император Василий не только не разрешает Варду приехать в Константинополь, а настойчиво и не раз повелевает оставаться в Малой Азии, зорко следить за непокорными землями, заистеи меч над Арменией и Грузией, грозить арабским эмирам, багдадскому халифату.

И произошло то, что должно было произойти: Варда Фоку окружают бежавшие из Константинополя богатейшие люди Империи, которые прежде служили Склиру, а сейчас служат ему; жажда отомстить Василию, они подбивают Варда идти с легионами на Константинополь, и он устанавливает добрые отношения с Грузией и Арменией, с арабскими эмирами Мартирополя, Амиды и Харбота, с багдадскими халифами.

В Армении, в доме Евстафия Меланира, родственника Никифора Фоки, собираются византийские дияконы, армянские ишханы, — они торжественно провозглашают Варда Фоку императором Византии, возлагают на него корону, облачают в пурпуровое корзно.

Под командой Варда лучшие легионы Империи, десять тысяч грузин, которых мепет-мепе Давид по просьбе императора Василия и его матери Феофаио послал в свое время Варду Фоке, чтобы разбить Склира и тем помочь императору Василию, — эти самые десять тысяч грузин, по приказу Давида, готовы к услугам Варда Фоки, чтобы идти на Константинополь и свергнуть с трона Василия...

Вард Фока знает, что борьба с Константинополем будет нелегкой, понимает, что полагаться на союзников — арабов, грузин и армян — не приходится: как только он станет императором, они тотчас перейдут в стан врагов, за спиной остается еще один самозванный император — Вард Склир, хоть он и сидит в темнице.

Фока договаривается с эмирами, будто хочет назначить Склира полководцем, приглашает его к себе, иачиает с ним переговоры, но, так и не закончив их, бросает Варда Склира и его брата, патрикия Петра, в темницу.

Затем Вард Фока выступает на север, к столице, перед ним Сирия и Месопотамия, Коломея и Каппадокия, Пафлагония и Оптиматы — много фем Империи, но там никто не поднимается против Фоки, напротив, к нему присоеди-

няются новые легионы, с юга на Константинополь наступает грозная, страшная, палящая, как аравийский ветер, сила...

Потеряв отца, двух братьев, покарав собственным мечом изменника Аарона, комит Самуил уже никому не верит и полагается только на себя и на свое воинство.

Он знает, что Империя переживает тяжелые дни, ему известно, что Вард Фока провозгласил себя в далекой Арменин императором и собирается в поход на Константинополь.

И Самуил выступает против Византии; после разгрома легионов императора Василия близ Средеца болгары спускаются с Родопов, останавливаются под Адрианополем и угрожают столице Империи; Самуил ведет свои полки на запад, берет города Драч и Леш на Адриатическом побережье, потом поворачивает на юг, захватывает Вер, переходит Вардар и появляется на подступах Солуны, у Эгейского моря.

И таким образом над Константинополем занесен еще один меч, меч с севера; вал с юга идет против вала с севера, а когда валы сольются — падет Константинополь, погибнет Византия.

По ночам на небе видна комета, она висит в небе, напоминая острое копье с длинным, широким хвостом.

В Константинополе на стенах домов и гробницах чья-то неведомая рука пишет: "Сверху комета свет зажигает, снизу ромеев комит истребляет..."

Черная туча собирается и на западе: в Южной Италии Византия владеет небольшими землями на Средиземном побережье — Апулией и Калабрией, однако с севера им угрожает германский император Оттон, с юга на эти фемы без конца нападают арабы с острова Сицилия.

Кольцо замыкается. Византия со всех сторон окружена врагами, они наступают на нее; никогда еще империя не переживала таких дней, жизнь, существование, будущее висит на волоске.

Тревога, волнение, страх охватывают Константинополь. Малая Азия начинается сразу же за Босфором — там движется со своими легионами Вард Фока; отряды болгар рыскают у северных окраин города; в Средиземном море — на Сицилии, Крите, Кипре подстерегают арабы.

Оттого что Малая Азия и южные фемы Византии в Италии отрезаны от столицы, а Эллада, Пелопоннес, Фракия и

Македония захвачены болгарами, задерживается подвоз хлеба в Константинополь, начинается голод, а следом за ним мор, болезни.

Население столицы доведено до отчаяния — кражи, грабежи, убийства свершаются среди бела дня. Император Василий упорно сидит в Большом дворце. Бессмертные день и ночь охраняют его.

Единственным спокойным уголком в империи в то время оставались Климаты, лишь оттуда подвозят в столицу хлеб, соль, рыбу, вино. Но за Климатами раскинулась Русь, и не дай боже, она объединится с болгарами.

Комета все еще висит в небе, над Константинополем бушуют удушливые, знойные ветры, на кладбища везут и везут покойников. Живые не знают, что случится с ними завтра.

Неведомая рука пишет и далее на памятниках и гробницах:

“Увы, меч разделяет единую некогда семью, отец порывается убить своих сыновей, и сын обагрят десницу отчей кровью, горе нам, горе, брат поднимает секиру против груди братней... А ты, город василевсов, Византион, скажи, до чего ты дошел — город счастья в прошлом, город несчастья в настоящем?! Не дрожишь ли ты ежедневно? Не рушатся ли твои стены? Ведь дети твои, выраставшие в твоих объятиях, одни стали добычей меча в битвах, другие покинули свои жилища и принуждены весь свой век жить, затаив дыхание, на пустынных островах, в ущельях и среди скал... Затмилось солнце, поник блеск месяца...

...Вижу обезумевшую толпу сынов Амалика, останавливающих безвременно путников, вырывающих у голодного последний кусок хлеба и все имущество, слышу стоны и плач мужей, жен и детей, простирающих к небу свои руки...

...Вижу дело, достойное воздыханий и плача, — нивы, треснувшие до глубин, зияющие от засухи, поникли колосья, поблекшие и увядшие, точно мертвые. А пахари склонились в трудах над землей и говорят: “Умерла надежда, напрасен наш труд, все гибнет, все горит... Кто уплатит лежащие на нас тягости долгов? Кто накормит наших жен и детей? Кто внесет подати и прочие повинности в казну кесарева? Нет, никто! Так чего же ты ждешь, земля, возьми уж лучше вместе с пустым колосом и нас — мы не можем далее терпеть голод, мы готовы, лучше уж скорее конец...”*

* Стихи Иоанна Геометра (греческий поэт X столетия).

Послы императора Василия в Киеве? Это трудно было понять — Днепр скован льдом, все дороги на запад и на юг, в Византию, занесло снегом, и все-таки, несмотря ни на что, василики пробились, преодолевая морозы и метели, в Киев и остановились на Подоле в доме купца-грека Феодора и теперь просят Владимира их принять.

Князь назначил время встречи. На второй день недели, на рассвете, велено было прийти в Золотую палату несколькими боярам, воеводам, мужам лучшим и старцам — князь не хотел оказывать послам какую-нибудь особую честь: большая, видать, нужда у императоров, коли послали василиков зимою, от ромеев можно ждать всего.

Так оно и было. Во вторник, задолго до рассвета, князь вышел из своих покоев в Золотую палату, там уже собрались воеводы, бояре, мужи; в тереме было холодно, потому все надели сапоги на меху, кожушки, когда вошел князь, они низко поклонились.

Князь сел на свой стол под знаменами, мужи стали вдоль стен, дворяне ходили и поправляли свечи.

Василики вошли в палату опасно: в Константинополе им наговорили много ужасов о неведомой Русской земле; но, увидав небольшое число людей, князя, сидевшего в простом темном платне на помосте, осмелели и направились один за другим к помосту, там они стали в ряд и земно поклонились.

— От императоров Василия и Константина, василики, — повели они речь через толмачей, — прибыли, дабы удостоверить любовь и дружбу меж нами... В добром ли здравии князь Владимир и его семья?

— Спасибо императорам Василию и Константину за любовь и дружбу, — ответил Владимир, — передайте, что я и семья моя здоровы. А как схалось вам, василики, в далекой дороге?

— Благодарим, княже, ехали мы быстро, и в твоих землях принимали нас гостинно, однако холодно ныне на Руси, мерзли вельми...

Мерзли они, правда, не только в дороге. Явившись сюда, в Золотую палату, в легких одеждах — темных, шелковых рясах, хламидах, сандалиях, — они даже посинели от холода и дрожали всем телом.

— Что делать? — князь взглянул на замерзшие окна. — Зима на Руси суровая, злая... В Константинополе небось и сейчас тепло?

— Верно, князь, тепло, очень тепло, жарко...

Тем временем слуги, прибывшие с василиками, внесли и сложили на скамьи дары императоров: богатое оружие, оксамиты, узорочья.

Князь Владимир поблагодарил за дары, понимая, что не только это привело в зимнюю пору в Киев ромейских послов.

Впрочем, они начали сами:

— Императоры велели передать, что, утверждая давние ряды, желают жить в любви и дружбе с Русью.

— Мы также хотим лишь мира и дружбы с Византией.

— Но в старых рядах, княже Владимир, сказано, что коли в земле Корсунской либо в иных каких городах над Понтом Евксинским начнется брань и русский князь попросит у нас воинов, то императоры дадут ему, сколько потребуется, и пусть воюет*.

— Читал я ряды князей наших, Русь никогда не просила помощи у императоров ромеев.

— Зато император Василий просит днесь эту помощь у русского князя.

— Император Василий просит дать воев?

— Так, княже, император Василий просит дать ему в помощь шесть тысяч воннов.

— Для чего?

Василики повсестили, что в Империи неспокойно, что в Малой Азии подняли восстание и провозгласили себя императорами племянник покойного императора Никифора Вард и полководец Склир.

— Эти самозванцы-императоры, опираясь на армян и арабов, ведут на Константинополь тысячи грузин, а когда переправятся через Геллеспонт, трудно придется Византии, страшная угроза повиснет и над Русью.

— Я выслушал вас, василики, тотчас ответить не могу, должен держать совет со своей дружиной, — сказал Владимир.

Поверил ли на этот раз князь Владимир василикам ромеев? Нет, не поверил, не мог поверить.

Владимир понимал, что над Византией нависла смертельная опасность, — поражение императора Василия в Малой Азии было бы равносильно гибели. Рядом с Константинополем Болгария: достаточно искры в Малой Азии — и

* Василики ссылались на договор князя Игоря 945 года.

тотчас, собрав последние силы, она поднимется и ударит на Византию.

Нет согласия у императора Василия и с германскими императорами, коли бы он хоть немного рассчитывал на Оттона, то не посылал бы своих василиков в Киев; Германская империя притаилась и ждет, и достаточно императору Василию проиграть битву в Малой Азии, Оттон пойдет на Константинополь. Вместе с ним двинутся и раздерут в ключья Византию Угорщина, Чехия, Польша.

Если бы князь Владимир знал, что Болгария уже поднимается, собирает силы и начинает последнюю битву с Византией, если бы он знал, что Германия после поражений в битвах со славянскими племенами у Варяжского моря и после жестоких сеч в Южной Италии истекает кровью, если бы он имел понятие о том, что Польша, Чехия, Угорщина только и мечтают сбросить ярмо Германской империи, Владимир, имея большую дружину и подмогу всех земель Руси, смело двинулся бы к берегам Дуная, отомстил бы за отца и за кровь многих русских людей и нанес бы последний и решительный удар Византии.

Достаточно ему было кликнуть клич по землям, — Русь поднялась бы против Византии, встала под его знамена, двинулась бы на ромеев, разгромила их...

Слушая василиков императора Василия, князь Владимир стоял перед таинственным, неведомым миром, в котором нарождались и исчезали племена, земли, империи. В равной мере он ненавидел и Восточно-Римскую империю, и новую Германскую империю. Ему угрожали с востока, с юга и с запада, в этом беспокойном, бушующем море он думал и радел о Руси.

Поэтому князь Владимир решил утвердить мир и дружбу Руси и Византии, но помощи оказывать ей не хотел.

Василики ушли. Оставшиеся в Золотой палате бояре и воеводы, прильнув к окнам, долго наблюдали за тем, как выходили они из терема, пересекали двор и скрывались за воротами.

— Тугонько пришлось императорам, коли среди зимы посылают василиков на Русь, — с хищной усмешкой заметил Воротислав, вертлявый, смуглый, похожий на хазара, боярин, не раз ездивший в молодости торговать в Византию. — Точно журавли, вытаскивают ноги из снега. Завязали. Беда в зимнюю пору! Ха-ха-ха!

Князь Владимир улыбнулся — суров смех боярина, но справедлив: ромей завязли не только в Киеве, но и у себя на родине.

В палате постепенно надышали; из-за Днепра поднялось солнце, и хотя на улице морозно, но лучи его ласково греют.

— Так что же скажем василикам, дружина моя? — спросил князь.

Первым вышел вперед и остановился перед князем тот же Воротислав.

— Из каждого дела пользу надо извлекать, — сказал он. — Императоры о своей выгоде помышляют. Русские люди такожде о себе пекутся... Крови на бранях с ромеями мы, княже, море пролили, ратоборствовали немало, а ничего мечом не добились.

Воевода Волчий Хвост поддержал Воротислава.

— И не можем, не можем, княже, идти нынче на брань...

Золотая палата шумела, потоки розовых лучей бились о стены, играли на знаменах, княжьих доспехах.

— Значит, не дадим помощи императорам? — спросил князь.

— Почему не дать? — лицо Воротислава стало суровым. — Не сказывал я, княже, такого. Говорил про мир с императорами, а не про брань.

— Не разумею, мужи мои, — удивился Владимир. — Что мир, а что брань?

И тогда уже несколько бояр и воевод, перебивая друг друга, закричали:

— На брань ходили князья Олег, Игорь, Святослав, множество людей полегло, лилась кровь и все все, напрасно...

— Мудра была княгиня Ольга, не с дружиной ездил в Царьград, а с мужами, послами да купцами, о купле и продаже говорила, посвонься с императорами хотела.

Эти слова больно задел Владимира: верно, его бабка Ольга, он точно это знал, будучи в Константинополе, хотела и домогалась, чтобы император дал в жены его отцу Святославу порфирородную дочь, однако, хвала богам, этого не случилось, — он, Владимир, родился не от царевны, а от рабыни Малуши.

Владимир ответил боярам сердито, зло:

— Княгиня Ольга, мир праху ее, ничего не достигла с куплей-продажей, да и с императорами не породнилась.

— Вот и худо, худо, княже... — слышались голоса.

— А почему? Говорите, мужи!

И бояре, воеводы, мужи говорили:

— Княгиня Ольга не договорилась о купле и продаже, но мы торгуем и будем торговать, без того не проживешь.

— Не договори́лась она и о вере, а погляди, княже, и в городе Кieve, и повсюду на Руси полно христиан...

— Наши боги больше не помогают нам, княже, не можем более жити по старому закону и покону, кто заступится за нас и за тебя?

— Жизнь многотрудная стала, княже, земли нмамо, а идут они супротив нас, достатки нмамо, а кругом татьба.

— Не токмо мы, но и убогие люди ко Христу обращаются — аще не на земле, то на небе будет лучше... Христос утверждает богатого и бедного, перед ним все равны, а после смерти уготован рай.

— Видел я икону греческую, — промолвил, горько улыбувшись, Владимир, — добро тем, кто сидит одесную бога, но горе тем, кто в гесне огненной.

— Суди справедливо, княже...

Собственно, такие беседы с боярами и воеводами были не впервые — князь Владимир сам видел и знал, что старые законы и обычаи умирают. На требищах перед древними богами угасают огни, жертв не приносят, на Горе, в городе Кieve и повсюду на Руси люди мечутся в понсках новой веры: богатый, чтобы утвердить свои права, бедный, чтобы верить во что-нибудь, хотя бы в рай...

А разве сам он не думал о том же, когда ходил в далекие походы, обозревал земли, спал под открытым небом, вглядывался в его таинственную глубь, думал о себе и о всей Руси?!

К нему приходили благовестники, проповедники, учителя иных вер: священники папы римского, муллы черных булгар, веривших в Магомета, на развалинах Саркела князь Владимир долго беседовал с реби Ийохонаном Бен-Закаем, который всячески расхваливал и называл единственно справедливой свою веру.

Однако князь Владимир в своем воображении связывал непосредственно веру с жизнью: нелюбы были ему благовестники папы римского, утверждавшие неминуемую победу католичества во всем мире; отвратительны болгарские ропаты, омовения и намазы, когда падают ниц перед неведомым богом; хрупка вера и у хазар, что рассыпаны по всему свету.

“Христос освящает державу князя, боярина и низкого, благословляет всех, обещает праведникам рай, злым ад”, — недаром грядет эта вера в мир, властно вступает и на Русь.

— Я и дружина моя, — говорит князь Владимир, — думали над тем, о чем просят нас императоры ромеев, и порешили дать им помощь — шесть тысяч воев.

Воеводы Горы довольны: это они обещали князю собрать и снарядить воинов, дать им коней и оружие.

— Однако, — продолжает князь, — помогая Византии, мы хотим говорить и о нуждах наших и еще о том, дабы между нами с Византией мир, любовь, дружбу имати, дондеже светит солнце.

Василики, взволнованные и окрыленные таким началом, слушают толмачей, которые переводят слова князя.

— Мы утверждаем и требуем, чтобы императоры утвердили и нерушимо блюли древние ряды.

— Императоры утверждают, — в один голос сказали василики.

— За нашу помощь, ныне оказываемую, Византия заплатит дань: по десять гривен за каждого воина и тысячу гривен городу Киеву.

— Императоры согласны дать дань за воинов и городу Киеву.

— Мой отец, князь Святослав, — продолжал Владимир, — положил в Доростоле с императором Цимисхием ряд, по которому и русские и ромейские вои должны были покинуть Болгарию. Князь Святослав ушел, почему же ваши акриты и поныне стоят на Дунае?

— Воям Византии пришлось остаться в Болгарии, ибо там восстание, земля с землей воюет...

— Не будем мешать другим землям и лучше порадеем о своей.

— Воины Византии покинут Болгарию, — торжественно промолвили василики.

Князь Владимир тем временем советовался о чем-то с боярами и купцами, которые внимательно слушали толмачей.

— И о нашей купле-продаже будем говорить, — продолжал князь Владимир, — купцам Руси надо дозволить ходити в город Константинополь, подобно вашим, что ходят в Киев и прочие города Руси... Вы не пускаете их в город, замыкаете в Маме, водите в город не более как по пятьдесят человек, устанавливаете на их товары свои цены, а нам продаете, что вздумаете и по своей цене. Почему так? Нет, пишите: русским купцам в Византии, как и греческим на Руси, дозволяется ездить свободно, пошлину не платить,

устанавливать свои цены, покупать, что пожелают, и буде везде помощь, приязнь имати да месячину.

Писцы скрипели гусиными перьями, василики молчанием подтверждали свое согласие.

— И еще хочу, — закончил князь Владимир, — чтобы Византия говорила с Русью, как равная с равной, а ее императоры с русским князем* такожде... Мы за мир, любовь, дружбу...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1



князь Владимир сдержал слово: собрал воинов, посадил их на коней, снарядил обоз и оружие.

Киев обливался слезами. Не хотелось, очень не хотелось людям, уже пролившим немало крови, снова идти на брань, да еще в чужую землю, прислуживать императорам ромеев.

Но что знали эти люди? Все вершит Гора, а они хотят мира, помышляют о детях и внуках. Князь Владимир велит воинам идти в далекий Константинополь, и они пойдут, чтобы вернуться с честью и славой.

В эти дни купец грек Феодор точно взбесился. Старый, немощный, едва волооча ноги, он все же ходил и ходил к князю, в терема воевод и бояр и являлся туда не с пустыми руками...

Особенно усердствовал его сын Иоанн: кормил и поил тысяцких да сотенных, а порой напаивал медом и олом и простых воннов.

В Киеве даже поговаривали, что не Византия снаряжает в дорогу русских воннов, а купец Феодор. И это была правда — он ничего не жалел для русского воинства, но свое ли он тратил или императорово, кто знает?!

Долго раздумывал князь над тем, кого поставить воеводой, кому вести тысячи? Воеводы и бояре Горы называли нескольких тысяцких. Слуду, Дария, Нежила, которые, по их мнению, смело и достойно повели бы русское войско в Византию.

Владимир внимательно их выслушал, велел побыстрее снаряжать в поход дружину, а когда все было готово объявил, что поведет ее воевода Рубач.

Это удивило воевод и бояр: Рубач, как это все достоверно знали, был лютым врагом Византии, ходил против ромсеев еще с князем Святославом, привез в Киев его щит и меч, да и старый он был и кривой на один глаз. Обо всем этом воеводы и бояре, конечно, сказали Владимиру.

Однако он слову не изменил, и старый Рубач остался главным воеводой воинства, которое выступало в Византию. Чем руководствовался князь, никто не ведал: и раз и другой Рубач приходил вечером в княжий терем, сидел до поздней ночи у Владимира, о чем-то беседовал с ним и выходил задумчивый, суровый...

В конце месяца сеченя отправлявшаяся в Византию дружина собралась у Перевесищанских ворот. Перед нею был далекий и трудный путь, лучшие воины Руси покидали родную землю, где оставались их жены и дети.

Рать двинулась, затопали копыта, заскрипели по снегу полозья саней, — долго, долго придется им ехать Червешским гостинцем, миновать поле над Русским морем, земли тиверцев и уличей, всю Болгарию.

Князь Владимир провожал воинов в окружении бояр и воевод; он долго стоял на опушке леса, где начиналось поле, среди которого ровной лентой тянулась дорога на юг.

Много тяжелых дум тревожило душу князя Владимира. В извечной борьбе с Византией он, как и древние князья, блюдя Русь, по-новому утверждал любовь и дружбу, посылал людей... Что готовит им судьба?

2

Полки воеводы Рубача быстро преодолели расстояние между Киевом и землей уличей, переправились под Переяславцем через Дунай и, оставляя позади преграждавшие им путь горные реки Болгарии, вскоре увидели стены Константинополя.

Но, кроме стен, воины так ничего и не увидели, ибо едва лишь они остановились в Перу, у Золотого Рога, там уже ждали их стратиги, которые велели тотчас садиться в стоявшие у берега хеландии.

Торопили их не напрасно: Вард Фока стоял уже на малоазиатском берегу, против Константинополя, с могучей силой — легионами, служившими раньше Варду Склиру,

отрядами грузинского царя Давида, ратью армян — конным и пешим войском.

Вард Фока разделил его на две части, одну из них под командой брата Никифора и патрикия Калокира Дельфина Вард поставил в Хрисополе, сам же, опираясь на легионы, возглавляемые Львом Парсакутинским, остановился на высотах Абидоса.

Были у Фоки и морские силы — немало кораблей перешло к нему из Средиземного моря. Узнав о его приближении, уплыли из Золотого Рога и примкнули к нему еще несколько кораблей, — все они стояли в проливах между Мраморным и Средиземным морями, готовые напасть оттуда на Константинополь.

Поздним вечером русские воины погрузились с навьюченными лошадьми на корабли и, быстро обогнув полуостров, поплыли к противоположному берегу Босфора.

В эту же ночь переправился и занял Абидосскую равнину император Василий со своими легионами. Другие легионы остановились в долине у Хрисополя, — так император Василий, собрав на скалистых берегах Малой Азии все свои силы, столкнулся лицом к лицу с Вардом Фокой.

Ночью воевода Рубач виделся с императором Византии Василием. Это была их первая и последняя встреча. Добраться до императора было нелегко, его стан окружало множество полков, у шатра плечом к плечу стояли этериоты, бессмертные, в шатре толпились немало войсковых начальников.

Воевода Рубач, старшины которого остались за станом, вошел к императору один и, поклонившись, приветствовал его.

— Я слышал о тебе, храбрый воевода, — начал Василий, — и хотел бы поговорить с тобой подольше... Но время сейчас не терпит. Внезапно появился самозванец Вард Фока, хочу и должен с помощью бога как можно скорее его покарать.

Воевода внимательно смотрел своим единственным глазом на императора: бледное, изможденное лицо, сухие, стиснутые губы, длинная острая бородка, темная одежда делали его похожим на священника или монаха.

— Я уверен, что битва с Фокой продлится недолго, — продолжал Василий, — мы начнем ее сами, собственными силами, здесь — пешими и конными; в море — кораблями... Ты же, воевода, останешься в лесу за нашим станом в засаде и двинешься на поле боя со своими всадниками, когда я подам знак. Полководцы сейчас покажут тебе, где поста-

вить твои тысячи, они же объяснят, куда и как нацелить удар. Ты понял, воевода?

Многое хотел сказать воевода Рубач императору ромеев — и о том, как тяжело было ему с полками добираться сюда, к берегам Малой Азии, и какие надежды возлагают ныне на Византию князь Владимир и русские люди...

— Я хотел говорить с тобою, василевс, от имени русского князя, про ряд, про мир, про дружбу, — сказал воевода.

Но императору, видно, не до разговоров — время горячее; воевода заметил, что у василевса дрожат руки.

— Когда закончится битва, я приглашу тебя, воевода, в Константинополь, там, в Большом дворце, поговорим о ряде, мире и дружбе, я щедро вознагражу твоих воинов.

Апрельское утро! Из-за леса за Абидосом поблескивают голубые воды Мраморного моря, на его лоне застыли острова Проты, словно стайка перелетных чаек; далее зеленый полуостров, со сверкающим золотом Софийских куполов, с высокими стенами, крышами теремов, садами.

Повсюду тишина — на земле, в море, только стая ворон, каркая и с шумом рассекая воздух, перелетела Босфор и потянулась за Абидос к равнинам Хрисополя.

Вороны летели не зря — там, под Абидосом, уже стояли легионы, те, что переправились из Константинополя, и те, что пришли из пустынь Малой Азии, стан стоял против стана, а возле Хрисополя две темные армады кораблей притаились у берегов Мраморного моря: одна в устье пролива, другая при выходе из Золотого Рога и у черных теснин Босфора.

Бой начался, едва лишь солнце выплыло из-за далекого Перу, он начался у Абидоса, перекинулся быстро к Хрисополю, а из-за Золотого Рога и Босфора тотчас показались, будто морские чудовища, и поплыли по голубым водам Мраморного моря корабли ромеев.

Войско императора Василия наступало, его полководцы руководствовались старым и неизменным правилом: бросить вперед на врага небольшие силы и, оглушив первым ударом, начать отходить, чтобы заманить полки в засады, а там уж с большими силами и не только с чела, но и с флангов, с тыла ударить и уничтожить их.

Однако полководцы императора забывали, что малоазийские войска возглавляют такие же, как и они, ромейские полководцы, которые бежали из Константинополя и теперь поддерживали Варда Фоку; преследуя легионеров Василия, воины не бросались за ними враспынную, а шли единой фалангой, плечо к плечу и не давали возможности войскам

Василия бить их с боков или зайти со спины; не раз и не два они сами, отступая, заманивали противника в засады.

Прошло несколько часов, кровь щедро оросила землю близ Абидоса, поле боя вокруг Хрисополя усеяли трупы, корабли, вышедшие из Золотого Рога и Босфора, столкнулись с кораблями Варда Фоки и стали поливать их греческим огнем, но и на них самих обрушилась лавина такого же огня.

И тогда, как это обычно бывает, началось безумство: легионы Империи и Варда Фоки, их полководцы, оба императора: и тот, кто сидел на Соломоновом троне в Константинополе, и другой, который недавно надел корону в Армении, в доме Евстафия Мелайна, поняли, что осталось одно — либо жизнь, либо смерть, и потому, собрав все силы, двинулись к гибели или победе.

В этом последнем бою счастье изменило императору Василию, коренастый, широкоплечий Вард Фока, сидя на коне, самолично повел легионы; ехал во главе легионов и Василий, но воины Фоки сломили сопротивление войск Империи, император Василий повернул коня — сила победила силу, Малая Азия мстила Империи; само небо, казалось, не могло уже спасти императора Василия.

Однако помощь Империи пришла — в самую страшную минуту битвы под Абидосом из леса вырвалось на равнину множество всадников, их вел одноглазый, седоусый и уже немолодой воевода Рубач.

Все произошло чрезвычайно быстро. Несколько мгновений — и русские воины очутились совсем близко от легионов Варда Фоки, а еще через несколько мгновений врезались в неприятеля, — это была буря, налетевшая среди бела дня, гром с ясного неба. В одночасье на поле боя под Абидосом победители стали побежденными, побежденные неоспоримыми господами поля...

Увы, победа далась русским воинам нелегко — легионы Фоки защищались отчаянно, — почти две тысячи русских воинов сложили свои головы на чужой, знойной земле, сам воевода Рубач, раненный в грудь, обливаясь кровью, упал с коня.

Но разве император Василий думал об этом? Опьянев от крови, окрыленный победой, он объезжал поле боя; долго простояв над телом Варда Фоки, отрубленная голова которого, с устремленными в небо глазами, лежала в прахе и крови, император повелел зарыть тело Фоки, а голову отвезти в Константинополь, надев ее на копье. Затем Василий приказал заковать в кандалы и бросить в темницу брата

Варда, Никифора, а полководца Калокира Дельфина посадить на кол...

А русские войны? Ведь это они же на этот раз спасли Византию! Их, только их должен благодарить император-чернец за то, что сохранилась корона и красные сандалии, что избежал смерти, что он жив.

О, император Василий не мог забыть о русских воинах, ему сообщили, что русский воевода тяжело, а может, и смертельно ранен, что здесь, на поле боя, полегло их две тысячи.

Но он вдруг забывает об уложенном с князем Руси ряде, о том, что сам пригласил воеводу Рубача в Константинополь, забывает обо всем...

— Я не хочу видеть русских воинов в Константинополе, — кривя губы, цедит император Василий, — мне не о чем говорить с их воеводами... Переправьте их через Босфор и пошлите в Болгарию... Я все сказал. В Константинополь!

Темной ночью воевода Рубач пришел в себя, долго смотрел на звезды, слабо тлевшие в глубине неба, слушал топот коней, голоса воинов, долго думал, но никак не мог понять, что с ним произошло?

— Люди, вой, где я? — хотел он крикнуть, но с уст сорвался лишь едва слышный шепот.

Как раз, видимо, кто-то и ждал этого шепота, потому что сразу же до уха Рубача долетело:

— Мы здесь, воевода...

— Кто вы?

— Безрук... Щадило...

— Слава богу! Где же мы? Что случилось?

— Мы, воевода, честно и славно бились под Хрисополем и победили войско Варда Фоки...

— Сколько полегло наших воев?

— Две тысячи!

— О боже, боже!...

Долгое молчание.

— Тогда... я хочу говорить с императором Василием... Мы сделали, что могли, пусть император пообещает... Везите меня в Константинополь.

— Тебя, воевода, ранили в грудь месяц тому назад, нас в Константинополь не пустили, а переправили через Босфор и послали в Болгарию.

Грудь Рубача горела, бешено колотилось сердце, нечем было дышать, и все-таки, преодолевая все, он промолвил:

— Се лжа, измена... На Константинополь... Сейчас же!

— Мы далеко от него, — прозвучал ответ, — ныне ночью миновали Адрианополь, утром двинемся на север, в Родопы.

— Погодите! — промолвил воевода. — Молчите.. дайте мне только воды и вина... Я подумаю...

Но воевода уже не колебался. Узнав о случившемся, он решил, что следует делать, Рубач хотел лишь тихо полежать, передохнуть, собраться с силами.

На рассвете воевода сделал вид, что проснулся.

— Мужи мои, вои! Посадите меня! — велел Рубач.

— Не след, воевода, сейчас мы в дорогу пустимся, а ты лежи, отдыхай!

— Нет, я отдохнул, хватит, и вам в дорогу пора... Потому, посадите!

Его посадили, воевода тяжело дышал, с минуту глядел перед собою. В поле светало, вдали виднелись стены города, а перед ними простерлись две дороги, одна к темным горам, другая в долину.

— Узнаю, — промолвил Рубач. — Здесь бились мы когда-то с князем Святославом против ромеев и победили их.

Он помолчал, дышать становилось ему все трудней.

— А теперь слушайте, — продолжал Рубач. — Мы сделали все, что могли... Ромеи нас обманули, потому именем князей Святослава и Владимира повелеваю: поворачивайте от Родопов, идите не против болгар, а ступайте к Дунаю и расскажите обо всем князю Владимиру... Вот так и приходит смерть... Прощайте!

Он пошатнулся и, мертвый, пал на землю... Воины положили его тело на телегу и в серых утренних туманах повернули направо, к Дунаю...

3

На многие брани, защищая родную землю и ее людей, ходила Русь; летописец временных тех лет, оглядываясь на прошлое, созерцая быстротечный, современный ему мир и стараясь поднять завесу будущего, писал на пергаменте: "Брани были прежде дедов наших и при отцах наших, мир стоит до брани, брань стояла до мира..."

Однако тому же летописцу, да и нам тоже ведомо, что, защищая земли, враждуя с захватчиками, люди русские

всегда возвращались с поля боя победителями и никогда не склоняли голов перед врагами.

Потому-то события, происшедшие у далекого Абидоса в Византии, так всколыхнули Русь да и весь тогдашний мир — ведь это русские воины спасли Византию, это они оказались победителями на ратном поле, но как поступила с ними Византия?

Город Киев ждал из похода своих воинов. Отцы, сыновья, братья многих и многих киевлян: воевод и бояр, ремесленного предграды, земляночного Подола, холопской Оболони — много их ушло на брань, все они были отважными, сильными, всех их вела вперед надежда на победу.

И в Киеве все глаза прогляделн, поджидаячи из похода своих воинов, — шли дни, недели, месяцы, а их все нет да нет. Со стен наблюдала стража, далеко за город выходили люди и ждали н, кто бы ни ехал Червенским гостинцем, спрашивали: где, где же замешкались наши вои?

Наконец в Киев стали доходить слухи, что воины идут домой, виделн их в земле уличей и тивёрцев, что за городом Пересечешом они переправились через Днестр, что позади них уже остался Гнилой Тискот и Торческ, они все ближе, ближе — уже на Роси.

Одно лишь удивляло киевлян — о возвращавшихся из Византии в Киев воинах рассказывают случайные путники, купцы, заезжие гости, но почему они сами не дают о себе знать, не посылают вперед гонцов?

Когда воины миновали Стугну н вот-вот должны были появиться на околице, весь Киев вышел за стены, стал вдоль Червенского гостинца н ждал...

Знойный, душливый день. В небе ни облачка. Поле искрится, сливаясь с небосводом. Тишина. В небе звенят жаворонки, в травах стрекочут кузнечики.

На юге поднялось рыжее облако пыли, оно все росло и росло. Что случилось? Русских воинов в поход отправилось множество, гарцевали они на борзых конях, сильные, молодцеватые. Теперь по полю шло пешее воинство в убогих рубищах, за ними на долгие поприща растянулся обоз и движутся они так медленно!

Вперед вышли градские старцы.

— Стойте!

Воины остановились и стояли, опустив головы.

— Кто вы? Зачем пожаловали в город Киев?

— Мы вои русские, идем из города Константинополя с похода...

— С похода? А почему же вы такие? Неужто посрамили честь земли Русской? Где воеводы ваши и тысяцкие? Где ваше знамя?

Вышли вперед тысяцкие и сотенные, неся на плечах своих выдолбленную из дерева корсту, покрытую знаменем князя Владимира. Подойдя к толпе, старшины остановились.

— Не посрамили мы земли Русской, несем с собою прах воеводы нашего Рубача, вот и знамя. Слушайте, отцы, братья, сестры, жены: мы честно сражались, как велел князь и наказали вы, но греки нас обманули, после брани за Константинополем хотели послать нас на болгар, не дали дани, переступили ряд...

Люди молчали. Из немногих слов, сказанных над гробом воеводы Рубача, все поняли, что произошло в далекой Византии, и не стыд, а обида, гнев, отчаяние зажгли сердца людей — плач, великий плач стоял над полем, отцы кинулись к сыновьям, жены к мужьям, дети к отцам.

А далее свершилось неминуемое — унижение, гнев, отчаяние и тяжелое человеческое горе прорвались и разразились подобно грозе и буре, которая пронесется вдруг среди ясного неба знойным летом, как пробуждается вдруг скованная льдом река, что рвет берега и препоны...

Воины, ходившие в чужую далекую землю и люди киевские, так долго и нетерпеливо их ожидавшие, двинулись к городу, дошли до стен Горы, обогнули их и стали подниматься по дорожке, которая вела к Боричеву взвозу. Шаг их ускорялся, из толпы вырывались стоны, плач, проклятья. Над головами, колыхаясь, плыла, покрытая знаменем, корста с прахом воеводы Рубача.

Вот они остановились напротив терема греческого купца Феодора. Оттуда выскочили, но, увидев толпу, тотчас спрятались за частокол слуги. В верхних окнах терема на миг показались и исчезли лица купца Феодора и его сына Иоанна.

— Выходи, купчина, хотим говорить с тобой! — слышались возбужденные голоса.

— Спускайся, отвечай за смерть людей наших!

— Не прячься, слуга императоров! Ведь это ты подговаривал нас, потчевал медом, посылал в Константинополь!

— Идите, идите сюда, ромейские псы!..

Разноголосая толпа шумела, кричала, взывала, сердца людей пылали местью. Одна искра, один удар — и разразится гроза; люди киевские стояли у терема купца Феодора, но видели перед собой всех ромеев, всех императоров, всю

Византию, которая веками причиняла им зло, а нынче еще раз нанесла кровную обиду, взяв жизни родных, близких людей.

— Выходи, грек, отвечай за дела Византии!

И кто знает, если бы старый Феодор вышел бы вместе с сыном Иоанном из терема, стал перед людьми, повинился в своих злых деяниях, опустился на колени перед гробом воеводы Рубача, может быть, все кончилось бы иначе.

Но купец с сыном не вышли к людям, а велели слугам брать рогатины, сами же схватились за топоры...

Гнев людской был исудержим, свиреп, но справедлив. Око за око, зуб за зуб — нет, и этого было мало, чтобы погасить в сердце месть, обиду, душевную боль, — люди ринулись к стенам терема, навалились плечами на дубовые бревна — стены развалились, как гнилая паутина, терем затрещал, рассыпался, поднимая столбы пыли, а под его развалинами исчезли купец Феодор и его сын Иоанн.

— Смерть грекам! — звучало отовсюду. — На Византию! К князю, к князю Владимиру!

4

Князя Владимира не было в это время в Киеве — уже целую неделю он сидел в Родне, где вокруг старой крепости между Днепром и Росью копали рвы, насыпали валы, воздвигали стены, башни. Родня была последним звеном в цепи сооружений и валов, которые воздвигались с севера на юг. Полянская земля, вся Русь теперь накрепко отгородилась от дикого поля и Русского моря, откуда все чаще делали набеги новые и новые орды, где, притаившись, подстерегала Византия.

Там, в Родне, князь Владимир получил через гонцов весть о том, что произошло с русским воинством в Византии. Весть эта ошеломила его. Велев дружине седлать коней, Владимир двинулся домой.

Дорогой, которая вилась у самого берега Днепра, Владимир к вечеру вернулся в Киев. Город встретил его тишиной и безмолвием, на концах не видно было людей, нигде не курились дымки, в предградьи чернели угасшие домины.

Коня поднялись среди этой тишины по Боричеву взвозу и миновали ворота. Заскрипели жеравцы, мост медленно опустился и лег на край вала, ворота тотчас затворились, вся стража стояла на городнищах.

Возле терема князя ждали бояре, воеводы, тиуны, лучшие и нарочитые мужи Горы. Они поднялись вслед за князем в терем и заполнили Золотую палату.

Боярство и мужи тотчас зашумели:

— Погибло наше воинство в Византии, княже! Великое горе постигло Киев.

— Слышал уже, бояре и мужи. Воистину горе велико, болит мое сердце, стонет душа.

— Не только вои. Их нет, они, приняв смерть, почивают. Мы ведь — живые, в городе беспокойно, ждали тебя. Что было, что только было! Весь Киев вышел на стены встретить воев и, узнав правду, застонал, заплакал. Терема купца словно и не бывало, его самого и сына убили... Душа у нас не на месте, ведь не купец, а мы сами послали воев к Константинополю.

— Вельми жалею, — сказал князь Владимир, — что не был в Кневе. Правда и то, что не купец Феодор, а вы василиков ромеев с почетом встречали, ряд с императором полагали и в Константинополь-град посылали наших воев.

— И ты, княже!

— Так, н я, — глубоко вздохнув, подтвердил Владимир.

Наступила тишина. В палате, окна которой были закрыты, жарко горели свечи и набилось полно людей, трудно было дышать.

— Что же будем делать, княже? — прозвучал испуганный голос.

Князь Владимир, который сидел, склонив голову, точно проснувшись, окнул взглядом палату.

— Отворите окна! — сказал он.

Несколько дворян кинулись к окнам и распахнули их. Где-то на Горе выл пес. Пахнуло свежим воздухом.

— Спрашиваете, что делать? — глубоко вздохнув, промолвил князь. — А что же? Завтра велю похоронить тело воеводы Рубача... на Воздыхальнице, где покоятся князья, — он не посрамил Руси.

— Пойдем все, похороним, княже! — зашумели в палате.

— Всем воям, что были в походе, — продолжал князь, — велю дать пожалование: живым надо жить, у мертвых есть жены, дети.

— Не пожалеем, дадим, — поддержали князя бояре и мужи.

— И еще скажу: не дозволю, не припущу императорам ромеев так говорить с Русью и со мной — вороги они нам отныне.

Тогда поднялся боярин Воротислав.

— Ты сказал правду, княже, — начал он тихо, — срам, что императоры так говорили с тобою и с нами, это правда — враги они нам... Но почему, почему так ведется, княже? С польскими и чешскими князьями императоры ромеев говорят, как с равными, немцы, варяги, угры им друзья, а с Русью и ее князем ведут себя, как с варварами, с рабами.

— Все оттого, — вставил боярин Искусев, — что польские, чешские и угорские князья, германские императоры — христиане-латиняне и законы у них новые, совершеннее наших, освящающие права князя и боярина, дающие что-то и бедняку, наши же люди молятся деревянным богам, живем мы по старому закону и покону, давно пора их сменить.

— Кто мы? — шумела палата. — Кому поклоняемся? По какому закону должны жить? Почему вокруг нас враги, а в землях смута и смута?

Князь Владимир смотрел и видел перед собой множество глаз, но ему казалось, что он видит перед собой одни глаза, глаза Горы — суровые, безжалостные, мрачные.

В неверном мерцании свечей ему на минуту представились еще глаза, которые также слагались из глаз множества людей Руси, — воинов, гридней, ремесленников, смердов — грустные, встревоженные, пытливые, светло-серые глаза.

Не только боярство, мужи Горы спрашивали нынче князя Владимира, ждали ответа, Русь обращалась к нему, и он спрашивал самого себя:

“Кто мы? Кому поклоняемся? По какому закону должны жить?”

Владимир поднялся. Суровый, решительный, походивший лицом, всем обликом, каждым движением на отца Святослава, а карими глазами на мать, князь протянул вперед правую руку и, глядя на палату, устремив взор на мужей Горы, видел, казалось, далекое будущее.

— Слышу вас! — сказал князь. — Вижу прошлое, нынешнее, хочу прозреть и в наше грядущее... Родная земля, я прошел тебя от края до края, чтобы устроить, утвердить. Великая, вечная Русь, в веках вижу твою славу!

Владимир умолк, от необычайного волнения у него перехватило дух, какое-то мгновение он молчал.

— И мы, — продолжал он дальше, — ныне вижу я, знаю, не остров в безбрежном море-океане; много земель, народов, племен, подобно вековым волнам, бьются о наши берега, вместе со всеми должны мы жить.

— Правда, княже, правда! — зашумела палата.

— Но как жить далее, как блюсти с народами мир? — спросил князь. — Днесь возникла у нас ссора с Византией, и не новая то ссора: с той поры, как стоит Русь, не было мира у нас с Византией. Много крови пролили мы на бранях с нею, и конца-краю им не видно... Вы не сказали всего, мужи, я скажу за вас и за всю Русь. Не потерпим, не можем простить поношения, учиненного нам императорами Византии, ныне говорю им — иду на вы!

— Пойдем, княже, за тобой! — кричали бояре и мужи.

— Веди, княже! Где ты, там и мы! — восклицали воины, хватаясь за крыжн мечей.

Великое, священное чувство мести владело ими, русские люди были сейчас непоколебимы, грозны, суровы к своим врагам, как встарь, во дни князя Олега, Игоря, Святослава...

Однако не одна лишь месть стучалась сегодня в их сердца, в жизнь властно входило новое. По-новому следовало заканчивать спор с Византией.

И это новое неизбежно должно было прорваться в Золотой палате; снова выступил вперед боярин Воротислав, возглавлявший многих бояр, воевод, которые давно уже приняли христианство.

— Ты сказал правду, княже, — тихо промолвил Воротислав, — и мы с тобой единодушны! Но ради чего мы пойдем на Византию?... Мертвых не воскресить, людей наших не вернуть вовек! Взять дань? Нет, греческие золотники нам не нужны, у самих золота, серебра, всякого добра хватает. Отобрать у Византии земли, так и земель у нас, и лесов, и рек предовольно.

Резко говорил боярин, но с достоинством, мудро — такова ныне Гора, такова и вся Русь.

— Мы пойдем за тобой, — продолжал Воротислав, — есть на свете Византия, но есть и Русь; в Константинополе сидит император, а в городе Киеве ты князь и наш василевс; они похваляются своими законами, а у нас свой, русский покон; но, видно, надо утверждать и новые законы. Не так ли я говорю, бояре и воеводы? — обернулся Воротислав к стоявшим в Золотой палате мужам.

— Так, боярин Воротислав, так! — подтвердила палата. — И о вере, о христианах скажи...

— И о вере скажу, мужи, — закончил Воротислав. — Впрочем, о чем говорить? Мы уже христиане, княже!

В эту ночь князь Владимир спать не ложился. На какую-то минуту он зашел к Рогнеде — ей, своей жене, он хотел поведать думы, тревожившие душу и не дававшие спать.

Однако беседа длилась недолго. Трудно ей было понять, что требовало от князя боярство, какие помыслы тревожили Владимира — Рогнеда опять, в который уже раз, столкнулась с собственным горем, разрывавшим на части ее сердце...

— Снова брань, — жаловалась она. — Как быстро миновали мир и покой, как внезапно все это случилось.

Склонив голову мужу на грудь, она тихо, беззвучно заплакала.

— Перестань, Рогнеда, — сказал он сурово, даже черство. — Не плачь, к чему тут слезы? Императоры ромсеев оскорбили киевского князя, обидели и унизили всю Русь...

О, княгиня Рогнеда тотчас подняла голову. Честь мужа Владимира — ее честь, поношение Руси — одновременно и ее поношение.

— Коли так, — промолвила Рогнеда и утерла на щеках слезы, — поезжай, муж мой...

— Я должен стать равным императорам, — говорил Владимир, — а Русь поставить наравне с Византией.

— Иди, супруг мой!

— Должен утвердить в Руси новый закон!

— Утверждай, княже!

— Ты не плачь, не горюй, каким уезжаю, таким и вернусь, Рогнеда!

— Верю, Владимир! Этим и живу! Благословляю и молюсь за тебя...

Звезды плыли за окнами по своим извечным орбитам, ветви деревьев стояли на страже за стенами; у самой груди Владимира билось родное ему сердце, в эту пору ночи, в такую минуту, оставшись наедине, они должны были говорить откровенно, искренне, и Рогнеда сказала все, что думала.

И князь Владимир, казалось, сказал ей все — да, снова поход, снова брань, разлука...

У Перевесипчанских ворот поджидал князя Владимира воевода Волчий Хвост.

— Я сделал все, как ты повелел, княже... Коня готовы, во дворе над Стугной нас ждут, можем ехать.

— Воевода! О том, что мы делаем, никто не должен знать.

— Я твой слуга, княже.

— Вот и поедем.

Воевода мчался вперед, он хорошо знал дорогу к Стугне, на берегу которой был княжий, а рядом и его собственный двор. Князь, глубоко задумавшись, молча скакал за ним.

“Жаль, — думал князь, — что не поговорил с Рогнедой. Впрочем, что может она мне посоветовать — где нужен разум, на сердце полагаться опасно...”

Ни боярам, ни воеводам не могу о том поведать, ибо поступаю так не потому, что они желают, а сама жизнь принуждает меня”.

Кони мчались среди черной ночи все быстрее и быстрее.

“Не ради себя это делаю, ради всех...”

Прискакали они к княжьему двору над Стугной незадолго до рассвета, когда там все, казалось, должны были спать.

Но кто-то, видимо, ждал там князя и воеводу, потому что в одном из окон терема, который стоял на высокой круче у самой воды, светился огонек, когда же топот коней раздался во дворе, кто-то сразу же вышел на крыльцо и приветствовал поздних гостей.

В просторной палате, где горел трисвечник, князя встретил старый священник Григорий, который еще в давние времена служил княгине Ольге; привез его сюда Волчий Хвост. Григорий сидел за столом, на котором лежали пергаменты, и поднялся только, когда князь переступил порог покоя.

— Поклон тебе, княже! Что привело тебя сюда в этот поздний час, и зачем я тебе нужен?

Князь Владимир ответил на приветствие и сел на лавку. Священник вернулся к своему креслу за столом.

Вся обстановка — желтые огни трисвечника, пергаменты на столе, спокойное лицо седовласого священника, а более всего его глаза успокаивали князя и побуждали к чистосердечной, искренней беседе.

— Хочу вести речь с тобой о душе и вере, отче, — сказал князь.

— Всяк, кто приходит ко мне, — ответил священник, — глаголет о душе и вере, и я охотно помогаю им. И ты, княже, говори откровенно — тут лишь ты, да я, да еще бог.

— Сказать хочу и про Русь, — князь Владимир поднял руку и указал на темное окно. — Вон она стоит тут, и далее, далее, повсюду вокруг... Люблю ее, отче, вспоила она меня

и вскормила, потому никогда не жалел я ради нее ни сил, ни крови, ни жизни, молился и верил ее богам, как отец мой, деда и прадеды-князя.

— Ведаю, княже, все ведаю, все знаю, — согласился священник.

— Но что случилось? — продолжал князь Владимир. — Почему беспокойна моя земля и ее люди? Почему раздрают их усобицы и страсти, нет согласия в землях, в городе Киеве, на Горе? И нет такожде покоя в моей душе, нет веры... Куда иду, куда должен вести людей своих?

Он умолк, видимо, вспоминая минувшую вереницу лет.

— Я искал, верь мне, долго и упорно искал веру, ко мне приходили болгары с Волги, которые молятся Бахмуту, иудеи из Хазарии, благовестники римского папы... Я сказал им прямо — не верю, не могу верить в богов ваших.

— Ведомы мне все твои сомнения и дерзания, — священник поднял голову, — и я долго, терпеливо тебя ждал, ибо знал, что нигде ты не обретишь и ни у кого не примешь веры: она давно пришла и утвердилась на Руси, княже...

И священник, словно силясь что-то вспомнить, продолжал:

— Давно знаю тебя, княже, еще с того времени, когда ты младенцем лежал в покоях княгини Ольги, а мы стояли с нею над тобой, уже в ту пору она хотела крестить тебя, готова была и купель, лежали Евангелие, крест, но твой отец Святослав не позволил.

Князь Владимир ловил каждое слово священника, а сам вспоминал другую, тоже давно прошедшую минуту, когда он стоял перед отцом и слушал его слова:

“А если, сын, придет время, когда отомрет покон отцов наших и люди отречатся от Перуна и захотят Христа, ты не перече им...”

— Так оно и пошло, — продолжал ровным, спокойным голосом священник. — Отец твой Святослав так, держась старой веры, и погиб. Ты всю свою жизнь исповедовал ту же веру...

— Ты осуждаешь меня, отче?

— Нет, — ответил не задумываясь священник и ласково улыбнулся, — ты делал, что мог, поступал согласно заветам отца, именно так ты должен был жить и трудиться... Я любил, — закончил священник, — твою бабу христианку Ольгу, веротерпимого отца твоего Святослава. Как же мне не любить тебя — их внука и сына?!

— Спасибо, отче! — искренне поблагодарил Владимир.

— Нынче ты пришел ко мне с алчущей душой... Знаю, понимаю, вижу, княже! Хочешь, скажу... Не токмо тебе, всем людям Руси тяжело, не таков ныне мир, как прежде, не так живут люди, как встарь, многотрудной стала жизнь. Богатый радеет о своем гобине, бедный терпит голод и холод, но каждый хочет во что-то верить — в одной семье отец молится Перуну, а дети иному богу. И ты сам, имея богатство и власть, опору бояр, воевод, дружину, ты боишься жизни, не знаешь, как жить... Говори, княже, правда ли это?

Князь Владимир долго думал и наконец сказал:

— Так, отче, ныне мне страшно жить...

— А почему? — спросил священник и тут же ответил: — Жизнь изменилась и меняется, ее не остановишь, княже. Того, что было когда-то, уже нет, то, что существует ныне, таким уж останется во веки веков. И каждый человек хочет быть уверен, что здесь, на земле, все останется так, как есть: князю — свое, боярину — что положено, а убогому такожде бог дал все — тело, руки, душу...

Широко раскрыв глаза, князь Владимир смотрел на священника.

— И все это не пришло само по себе, — тихим голосом продолжал Григорий, — создавая деревянных богов, человек уже боролся с ними, сии деревянные боги помогали издревле людям, однако ничего не могут сделать ныне, один Христос стоит на страже новой жизни, ибо он учит: нет на земле власти, аще не от бога. Христос говорит — не укради, живи своим, бойся бога, почитай князя.

Священник своими ясными глазами, казалось, заглядывал в самую душу князя.

— Аще человек принимает крещение, — не спеша говорил он, — господь отпустит все грехи, содеянные им прежде, через купель человек вступает в новую жизнь... Аще нет жизни на земле, есть жизнь вечная, в раю на небе.

Глубокий вздох, точно стон, вырвался из груди Владимира.

— Затем и пришел к тебе, отче! — попросту сказал князь. — Не верую... Помогите моему неверию!

— Разумно делаешь, княже Владимир... Кабы вера христианская была худой, не приняла бы ее твоя бабка Ольга и множество людей русских.

Он накинуд на шею спитрахиль, взял в руки Евангелие и крест.

— Купель готова, — промолвил священник. — Раздевайся, княже, ступай в исс...

Князь Владимир оглянулся на окна, на распахнутую дверь, за которой темнела фигура Волчьего Хвоста.

— Погоди, я погашу свечи, — прошептал священник, — довольно и одной.

В палате воцарился полумрак. Князь Владимир быстро разделся и стал в купель.

— Крещается во имя бога отца, сына и святого духа...

На рассвете князь Владимир остановился у ворот Горы, слез с коня и отдал поводья Волчьему Хвосту.

Подождав у ворот, покуда Волчий Хвост не скрылся на Горе, князь двинулся вдоль стены и остановился на краю вала, который высился над днепровскими кручами.

Высоко в небе полыхала ярким светом денница, гасли звезды, восток бледнел; на Горе, Подоле, внизу вдоль берегов, где катил свои воды Днепр, — повсюду, как это бывает перед рассветом, царила необычная тишина, ночь прощалась с землею.

Эта ночь не прошла напрасно для князя Владимира. Произошло то, к чему он неизбежно шел. Языческая, древняя Русь жила еще вокруг него; совсем близко, рядом, чернели на третище деревянные идола, которых он собрал со всех земель и велел поставить туда, но сам он — князь Руси — был уже не язычником, а христианином.

Князь задумался над тем, хорошо ли он поступил, приняв христианство, которого еще не приняли его люди? Он стоял с непокрытой головой, с неба падала роса на платно, на корзно, делая их жесткими и тяжелыми, ноги ощущали шедший от земли холодок.

“Правильно ли я поступил? — спросил себя князь. — Что скажут люди, ныне сущи на Руси и те, что придут на эти горы после меня?”

Он не знал, что ответить на вопрос, который так мучил его все это время. Но, конечно, понимал, что все это не зависит от него самого. На свете и на Руси есть сила, которая заставила его так сделать. Если бы он не крестился сегодня, пришлось бы это сделать завтра, а не сделал бы и завтра, то уже не по собственной воле, а силой заставили бы его креститься.

Кто же этот Христос? Знает ли его князь Владимир или нет? Он поглядел вверх на звездное небо и вздрогнул — нет, он не увидел Христа. Не было Христа и здесь, на земле, — на днепровских кручах, в долине, за плесом, где все больше и больше алело небо.

Кто же он, откуда грядет, что несет? Нет, князь Владимир того еще не постигает разумом, хотя давно уже не верит деревянным богам, которые все отчетливее и отчетливее вырисовываются на трестище в лучах еще одного для них рассвета, он чувствует, как отмирает с каждым днем старый мир, трухлеют и скоро рассыплются в прах старые боги, и видит, что грядет новый мир, который на своем знамени начертал лик Христа...

Так что же, покориться, упасть на колени перед новым, что разрушает старое, отдаться на милость Византии, германского императора, римского папы?!

— Нет, — сорвалось с уст князя Владимира, — я не покорюсь Византии, не признаю главою германского императора, я проклиная римского папу... Христос! — прохрипел он. — Вот я, князь Руси, стою над Днепром, сойди же и ты со своего небесного престола, стань тут и помоги мне!

Небо молчало. Безмолвствовала земля. Это был последний предрассветный миг — за Днепром запылал сноп буйнозолотистых лучей, в серой бездне внизу вырисовался темно-синий плес, со всех сторон — из-за Днепра, с островов, берегов, лесов — поплыл многоголосый птичий гомон.

Светало. Князь Владимир стоял на горе, смотрел вдаль и ждал восхода солнца.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1



сю осень и зиму готовилось воинство к походу на Византию. Дружина обучалась на Подоле и над Почайной.

Наука давалась нелегко. Кто знает, какие препоны встретятся в далеком походе, с каким врагом и в каких условиях придется сражаться русским людям?

В конце Щекавицы, над обрывом, построили высокую каменную стену, соорудили несколько башен, выкопали рвы, насыпали валы с частоколом. Воины в полном вооружении, со щитами, с копьями или топорами идут на приступ стены, их отбивают, сталкивают, они нападают и даже получают увечья. Всякое ученье может пригодиться в далеком походе.

На Оболони идет стрельба — там среди песков ставят огромные щиты, на них нарисованы кони и люди; с раннего утра до поздней ночи воины стреляют из луков в воображаемого врага — на тридцать, сорок, пятьдесят и сто шагов.

Всю осень, пока не сковало Днепр, воины роями и сотнями с большим грузом бросаются в ледяные волны, переплывают Днепр, греются на косах у костров и снова плывут к городу.

Над Почайной, в Вышгороде и Витичеве тем временем строят лодии, долбят из толстых стволов однопалубки, разводят их борта, устанавливают на днища упруги, к бортам нашивают насады, стелют палубы. Со всех сторон к Киеву гонят табуны лошадей, тысячи волов. Гонцы едут в ближайшие земли собирать земское войско, побывали они и в Остре и в Любече.

Могила Микулы к тому времени поросла травой, которая въелась корнями в землю и так зеленела, что уже трудно было заметить небольшой бугорок, под которым вместе со своей женой спал вечным сном сын последнего старейшины любечского рода.

Не одного Микулу приняла земля — в песках за Любечем полегло немало воинов, боровшихся против Ярополка; в этом же песке, порою совсем рядом, тлели кости и тех, кто защищал Ярополка и шел против Владимира; смерть уравнивает и мирит самых лютых врагов.

Когда князь Владимир со своим воинством погнал рать Ярополка к Киеву, в Любече на какое-то время воцарилась тишина, жизнь замерла, люди присмирели, выжидая, что будет дальше.

Они надеялись, что после окончания войны князь-победитель даст им послабление и, может, вернет людям земли, которые забрал Бразд, уменьшит уроки, освободит от холопства, пришлет посадника — мужа справедливого и доброго.

Пустое! Не стало Бразда, но остались три его сына — Гордей, Самсон и Вавила, к ним по закону, установленному Ярополком и утвержденному Владимиром, перешел весь озадок после отца: терем в Любече, земли над Днепром, леса, бобровые гоны — все, на чем стояли его знамена с изображением месяца под солнцем, от которого во все стороны стрелами расходились лучи.

Под этим знаменом сыновья Бразда нарисовали еще и волны: солнце — князь; месяц — покойный отец; а сыновья — волны в море, которые ширятся и ширятся без конца.

И так не только у Бразда — в руках у его брата Сварга остались леса, днепровские берега, где добывалась руда, корчийница. Любечские богачи, которым во времена Ольги, и Святослава, и Ярополка жаловались земли, леса, ухажен, так их владетелями при Владимире и остались. Князь ссорился с князем. Воеводы, бояре, волостелины, посадники служили одному князю, потом переходили и давали роту новому. Они боролись за свою честь, славу, добро и добывались их, а тяжкое бремя брани, пот, слезы, кровь ложились на людей убогих — они ничего не получали, а все больше и больше теряли.

Однажды в Любеч приехал и волостелин Кожема. Он, как было всем известно, в брани князей-братьев поддерживал Ярополка и киевское боярство, однако, лишь только воины Ярополка показали спины, велел своей дружине сложить оружие и дал роту служить Владимиру.

Так он и остался волостелином в Остре, объезжал от имени князя Владимира города и веси над Днепром и Десною, ставил на землях, в лесах, на бобровых гонах, раньше принадлежавших Ярополку, знамена князя Владимира, назначал от его имени новые уроки: само собой, князю — княжево.

Радел Кожема и о своем господаре — князе черниговском Осколе. Он тоже было примкнул к Ярополку, бился у Любеча и в Киеве, бежал в Родню, а там вместе с князьями других земель сложил оружие, дал роту верно служить и служил ныне князю Владимиру и, как был, так и остался князем черниговским.

И о себе не забывал Кожема. — если куда едет, то уж не преминет заглянуть, не уничтожил ли кто в лесах, на землях, на бобровых гонах его знамен, на которых красовался глаз с тремя полосами: волостелину — свое.

Но на сей раз волостелин Кожема приехал в Любеч посоветоваться с богатыми, кого назначить княжым посадником. Собственно, тут и думать было нечего — новый, властно врывающийся в жизнь закон не только защищал добро богатых, но и давал им еще больше прав: место посадника в Любече занял старший сын Бразда — Гордей, молодой еще человек, обликом и нравом как две капли воды походивший на отца.

Впрочем, что нрав! Силой, жестокостью, тупостью, которые унес с собой в могилу Бразд, в новые времена мало

что, пожалуй, можно было сделать. Гордей — сын Бразда, тоже христианин, знал грамоту, хитрый, лживый, он влезал в душу каждого.

Подыскивая себе жену, Гордей поступил не так, как отец. Гордей не взял приглянувшуюся ему девушку — нет, он долго ездил в Остер, засиживался до поздней ночи у волостелина Кожемы, прогуливался по саду с его дочерью Лименой.

Лимена была на редкость уродлива: рыжая, курносая, с большими рачьими глазами, — чтобы с ней не встретиться, ее обходили стороной, через три улицы.

А Гордей делал свое дело, условился с девушкой, поговорил с Кожемой и отвез ее как жену в Любеч.

Гордей, сын Бразда, стал посадином еще и потому, что был самым богатым человеком в древнем селении, которое становилось городом. Рядовичи, учинившие когда-то ряд с его отцом, или их дети служили по закону уже ему; закупы выплачивали купу только ему; кто не мог погасить свой долг, становился обельным холопом старшего сына покойного Бразда.

А рядовичей, заупов, холопов чем дальше, тем становилось в Любече больше и больше. Новый город, выраставший над Днепром, не походил вовсе на древнее селение, родовое гнездо: в нем была своя Гора — терема за высокими тынами на лучшей земле вдоль леса; Посад — хижини ремесленников, скудельников, рыбаков на глинищах и в оврагах вокруг Горы; Оболонь — землянки на песке и над затоками Днепра, где ютились со своими многочисленными семействами рядовичи и закупы, у которых оставалось два выхода — либо в Днепр, либо в холопы.

Впрочем, у бедных людей, появилась еще одна надежда. Как в городе Киеве, так и в Любече были крещеные; два священника — Ксенофон-грек и Кузьма-болгарин, жившие на любечской Горе, обещали убогим рай и тем больше блаженства на небе, чем больше они страдали на земле...

После смерти Микулы в его хижине долго никто не жил — люди по-всякому говорили о смерти Микулы и Висты, всех удивляло, что князь Владимир велел воздать ему погребальные почести, как сыну старейшины. Травкою перосла могила Микулы, бурьяном переплело двориче древнего рода.

По ночам, сказывали люди, там слышались стоны и плач, кто-то видел мигавший в душниках землянки огонек.

Кому охота идти туда, где живут чурь, домовые да плачут навы?!

И все-таки в Любече нашелся человек, не побоявшийся домовых, чуров и навов, видимо предпочитая бежать к ним от живых, но жестоких и страшных людей, — иский Антип, племянник Микулы, внук Анта.

Антип, единственный сын Гапона — двоюродного брата Микулы, рано потеряв родителей, жил недолгое время под отчим кровом, выплачивая взятую отцом у Бразда купу сыну его Гордею, потом отдал за долги двор и хижину и ютился, как птица, на днепровских кручах, питаясь рыбою, зимой зайчатиной, белками и всякой давленщиной.

Осталась у Антипа одна лишь воля. Ни рядович, ни закуп, ни холоп — над ним не было хозяина. Задутным человеком его называли.

Этот Антип и поселился в Микулином дворце, в древней родовой хижине, спал на полатах в том месте, где почивали старейшины Улеб, Воик, Ант, сын его Микула, и, хотел того или не хотел, был последним в роде старейшин, потому что оберегал их очаг и жил там, куда по ночам прилетали их души.

И это были счастливые для Антипа дни. — над головой крыша, в очаге тлеет жар, по ночам слышны тихие беседы чуров под углями.

Только недолго довелось пожить ему в Микулиной землянке — в Любече знали, что достаточно кому-либо пожить какое-то время в нечистом месте, как оно становится чистым, — знал о том и Гордей, сын Бразда, посадник Любеча.

Гордей вошел во дворец Микулы, за ним два холопа несли деревянное знамено нового, знатного рода.

— Кто ты еси? — спросил Гордей Антипа, который стоял босой, в старом рубище с длинными, спадающими до плеч, космами.

— Я Антип, неть Микулы и твой родич, посадник, — ответил задутный человек.

— Не о том спрашиваю, — загремел Гордей, — и мне все едино, кому ты нетем приходишься. По какому праву ты тут живешь, забрал чужую хижину и двор?

— Ничего я не забирал, — Антип покачал головой, — и ничего мне не нужно — живу, и все...

— Живу, и все! — передразнил Гордей и засмеялся. — Разве теперь кто так живет на свете? Хижина и двор принадлежали Микуле.

— Так, Микуле, — согласился Антип, — мир праху его.

— Еще живешь тут, — продолжал Гордей, — должен знать, что Микула имал от князя купу и ты должен ее погасить... Еще живешь тут, должен платить подать князю от дыма, от рала, от каждого злака.

— Тут нету дыма, нет у меня рала, не сажил и злаков.

— Тогда уходи, Антип, отсюда! — крикнул Гордей. — Ставьте знамено! — велел он холопам.

Ночью Антип сидел над Днепром. Начиналась зима. Он замерз, но приютиться было теперь негде.

Внук старейшины — да и, вероятно, последний внук, помнивший своих предков, — и этот последний в роду, проклинал Любеч, всю землю.

А тем временем в Любеч приехал волостелин Кожема. Вместе с посадником Гордеем он собрал любечан и звал их на брань с ромеями.

И люди, надо сказать, как ни трудно им было жить, как ни голодали, ни бедствовали, но и они содрогнулись, замерли от ужаса, услышав страшную весть...

— Императоры ромеев — наши враги, они загубили множество русских воев, готовятся идти на Русь, надевать ярма на наши выи! — кричал Гордей.

Ромейские ярма на выях русских людей? Нет, трудно живется ныне на родной земле, тяжело гнуть спины на князей, волостелинов, посадников, но во много крат тяжелей, страшней, нестерпимей носить ярмо Византии, видеть, как гибнет родная земля.

— За Русь! Мы пойдем, отдадим за нее жизнь и силы!

Вдоль берегов прозвучала песня:

Широкий Днепр наш, Дунай далеко,
Мосты поставим через все море,
Главу отрубим царю ромеев,
Доставим дому и честь и славу...

Лишь Антип, внук старейшины, не пошел с воинами. И не потому, что не хотел. О, сердце его пылало неугасимой любовью к родной земле и ненавистью к ромеям...

Он не мог идти с воинами: не было у него коня, не мог он купить у Сварга щита и меча, а воин без оружия — не воин. Такого князь не возьмет.

Поутру Антип зашагал вниз по Днепру — все дальше и дальше; он пройдет всю Русь, пересечет Русское море, доберется до горы Афон, станет монахом Антонием, вернется обратно в город Киев, а после смерти его назовут святым...

Никто в Киеве, даже воеводы, не знают, каким путем поведет князь Владимир свою рать: Днепром ли до устья, а

там Русским морем к Дунаю, или, может, сухоходом, через земли тиверцев и уличей, а далее, как ходил некогда князь Святослав, через Болгарию.

Владимир не идет по стезе отца: он не может двинуться на Византию через земли болгар — Болгария покорена, там повсюду вдоль Дуная и до самого Русского моря стоят легионы Империи, Владимир не может затеять прю с императорами на чужой земле.

“Когда-нибудь, — думает князь Владимир, — кто знает, снова сольются пути болгар и русов, ныне же разъединены мы, каждая из наших земель собственными силами борется за свое будущее, за счастье, приходится стать против Византии одному, наша победа придаст силы и болгарам...”

Поэтому Владимир решает дать ромеям бой на древней славянской земле, на берегах родного Русского моря он готовится нанести удар городу Херсонесу в Климатах.

2

Ранней весной, едва лишь прошел лед и Днепр наполнился до краев, как чаша, с берегов Почайны отплыли двести лодий-насадов с тридцатью — сорока воинами на каждой. Впереди со старшей дружиной князь Владимир; ведет он с собой в поход сына Мстислава.

Князь посылает загодя в поле за Днепр, по Солянному гостинцу на юг дружину из четырех тысяч всадников во главе с воеводой Волчьим Хвостом и велит им ждать его у порогов.

Среди воинов были и те, кто недавно вернулся из Византии после битвы под Абидосом, они жаждут отомстить, расшлатиться за кровь и обиды.

С воинством на этот раз следовало немало безоружных людей: бояре с Горы, мужи нарочитые с земель, купцы — князь Владимир думал не только ратоборствовать, но и вести с ромеями переговоры о купле-продаже, о вере, и потому он хотел иметь подле себя советников, силу, которая подпи-рала княжий стол.

Лодии быстро плыли по Днепру, еще быстрее мчались по Солянному пути всадники. Подождав князя у Ненасыти, они помогли перетащить волоком самые большие насады.

Оставив воинов на левом берегу Днепра отдыхать, князь Владимир со старшей дружиной переправился на остров Григория, где в давно ушедшие времена воины, плывшие вниз по Днепру и далее в Русское море, приносили под свя-

щенным дубом жертву богам и просили даровать им победу. Окруженный вождями и тысяцкими, Владимир поднялся по крутой тропе на скалу и остановился перед дубом, посаженным руками предков лет триста, а может, и пятьсот тому назад.

На дубе поблескивала свежая зеленая листва, однако немало ветвей, опаленных молниями, засохло — ведь все на этом свете растет, развивается, а потом стареет и умирает. Священный дуб на острове Григория после многих лет, казалось, засыпал среди моря молодых, буйнозеленых деревьев над извечно голубым Днепром и бездонным небом.

И, может быть, потому, что умирал многовековый дуб, а может, — и это, пожалуй, вернее — потому, что умирало в людях старое и нарождалось новое, зарастала и тропка, ведущая от Днепра к дубу; на ветвях его еще висели истлевшие убрusy, ржавые изогнутые мечи, у ствола, в густой траве, белели кости животных — следы старых жертвоприношений, однако новых уже не было.

Князь Владимир тоже приехал на остров не для того, чтобы принести жертву. Постояв под дубом, он прошел в конец острова, где возвышался насыпанный многими руками курган, — здесь, как сказали Владимиру, отец его Святослав в темную ночь рубился с печенегамы, здесь сложил голову, здесь же отдали ему последние погребальные почести — сожгли в лодии его тело.

Сняв шлемы и низко склонив головы, стояли князь Владимир с сыном Мстиславом и вождями перед курганом, на нем зеленела трава и всеми красками рдели цветы. Все молчали, тихо было кругом, лишь где-то высоко в небе жаворонки разливали бесконечную и немного грустную песню.

— Будет так! — молвил князь Владимир, стоя над могилой своего отца. — Мы идем на правый бой с Византией, отомстить за тех, кто погиб от руки ромеев, утвердить новый закон и новую жизнь. Ты, вождь Волчий Хвост, веди всадников полем до Хазарской переправы, оттуда в Климаты и подступай к городу Херсонесу с востока, а мы, вожди, поплывем по Днепру, потом Русским морем и налетим на Херсонес с севера и запада.

Однако это было еще не все, о чем думал сейчас Владимир. Стоя на высоких кручах Хортицы, князь и его дружина смотрят на Днепр, на его левый берег. Перед их глазами стелется безграничное поле, по нему вьется гостинец — сухоходом до Сурожского моря и на Дон, а по обе стороны, сколько может видеть око, курганы.

И так было всюду, куда бы они ни шли, — над полуденными дорогами, где русские люди бились со множеством орд и отбивали набеги, с давних пор высились, со временем снижаясь, а то и сравниваясь с землею, могилы наших предков, сложивших головы за Русь.

Глядя на эти курганы, князь Владимир думал о прошлом, своем настоящем и будущем, что в его представлении казалось чем-то нераздельным; ведь будущее всегда превращается в настоящее, а настоящее неминуемо и очень быстро, подобно жизни человеческой, становится прошлым, только прошлое вечно — мертво, но всегда живо, чтобы стоять на страже быстротекущей жизни...

— Родная земля! — говорит князь Владимир. — Будем беречь ее всегда и всюду.

Опустив руку на плечо Мстислава, он продолжает:

— Мы идем на Херсонес и не знаем, что нас ждет. Верю, мы возьмем город и тогда поговорим с императорами. Однако, сидя в Херсонесе, хочу чувствовать опору. Ты отправляйся сухоходом в Тмутаракань, сын мой Мстислав, — это Русская земля, откуда там сидим — греки в Климатах как в мешке. Быть тебе, Мстислав, князем Тмутараканским, защищай оттуда мое войско в Климатах, а будет потреба — поκληчу, иди на помощь.

— Спасибо, отче! — поблагодарил новый князь Тмутаракани Мстислав. — Сидя в Тмутаракани, буду защищать тебя, войско, всю Русь.

Он извлек из ножен меч. Поцеловал его холодный клинок, на котором играли лучи солнца.

Князь обнял сына и ласково поглядел на его юное лицо, с пробивающимися темными усиками и пушком на подбородке. Вот и пришло время расставаться с одним из сыновей — придется ли еще когда-нибудь свидеться?

В тот же день князь Мстислав с дружиной умчался на восток, к Сурожскому морю.

Весь день воины осматривали лодки, конопатили днища, готовили ветрила, снасти, укоты.

Ранним вечером, едва лишь смерклось, легли спать — наступала последняя ночь, когда можно было безмятежно отдохнуть перед далеким тяжким походом: Днепром до Олешья и далее морем.

Ночь стояла тихая, теплая. С вечера небо затянуло тучами. Перед самым заходом солнца над Днепром заморосил дождик, но как внезапно начался, так внезапно и прекратился. Тучи развеялись, и темная их гряда повисла над низовьем.

На лодиях слышался говор, где-то родилась в темноте и поплыла над плесом грустная песня, вдоль берега и выше на кручах угасали костры. В поле — на конях, а по реке выше и ниже стана на насадах стали дозоры.

И вдруг в тишине прозвучал голос, к которому присоединился другой, третий:

— Глядите, глядите на небо!

Все взоры обратились к низовью, где раньше висела, а теперь уже разошлась цепь облаков, — там, опершись широким хвостом на Волосины и протянув почти до самого небосклона острое копьё, серебром переливалась в небе необычная звезда.

Впрочем, это была не звезда. Высоко в небе среди звёзд, затмевая их, висела комета и сверкала так ослепительно, что тотчас же выступили Днепр, темные очертания лодий на воде, берега, кручи, люди, которые стояли там и смотрели в небо.

Никогда ничего подобного не видел, эти люди — и простые воины, и все старейшины — были крайне взволнованы, потрясены. На лодиях, на берегу и на круче, где у шатра со старшей дружиной стоял князь Владимир, в эту минуту молчали все, но каждый спрашивал себя, что вещает Руси и всем людям это знамение, на кого направлено висящее в небе копьё?

— Небо благословляет нас, — промолвил, обращаясь к старейшинам, князь Владимир. — Копьё направлено на Херсонес. Мы победим!

И тотчас всюду вдоль берега задвигались, зашумели, заговорили возбужденными, бодрыми голосами воины:

— Копьё направлено на Херсонес! Нашей рати сопутствует удача...

Далекie забытые предки, как были они беспомощны и бессильны, видя таинственные звезды и становясь свидетелями рождения и гибели далеких миров, движения дивных, невиданных светил!

Зато, хоть и не зная и не понимая извечных сил природы, неба, светил, они твердо стояли на этой земле, где судьба предназначила им жить, берегли ее и были добрыми ее хозяевами.

Через неделю лодии князя Владимира, доплыв до устья Днепра, подняли ветрила, обогнули длинную косу, которая, подобно стреле, уходила в море, и помчались на юг, к Климатам.

Счастье сопутствовало им. На море стояла погода; днем дул легкий северный ветер, а ночью восточный — с раскаленной солнцем земли Климатов; иногда он совсем утихал, и тогда воины брались за весла.

Воинам помогало, казалось, само небо — ночью на небе, покуда они плыли по Днепру и далее по морю, высоко над ними все время висела хвостатая звезда, которую они впервые увидели за порогами, она сияла в небе и освещала им путь...*

Лодии плыли по широкому, безбрежному морю, дважды встречались им несколько хеландий херсонитов; на рассвете третьего дня далеко на горизонте воины увидели узенькую полоску земли — вероятно, мыс Парфения. Князь Владимир тотчас велел повернуть в открытое море — за мысом была Керкентида, защищавшая Херсонес с севера, там постоянно стояли корабли ромеев. Очутившись вскоре в открытом море, лодии поплыли теперь прямо к берегам Херсонеса.

А с наступлением ночи воины увидели далеко на востоке огни — там в нескольких местах высоко, до самого неба, освещая снизу тучи, полыхали огненные столбы. Это был сигнал, что всадники, пробившись через Хазарскую переправу, движутся по Климатам и подходят с востока к Херсонесу.

На рассвете с моря подул и наполнил паруса на лодиях свежий ветерок, и вскоре воины князя Владимира увидели Херсонес — его желтые стены, башни, позолоченные купола церквей, которые высились у самого моря, в заливе Символов с восточной стороны города виднелись мачты множества ромейских кораблей.

Князю Владимиру было известно, что в древние времена вход в залив Символов преграждался на ночь железными цепями. Теперь эти цепи лежали на дне залива, и потому он велел сотне лодий остаться в море, сам же с другой сотней устремился по высоким волнам прямо в залив.

Это был дерзкий, смелый наскок. В тихом заливе все спали на хеландиях, когда к ним приблизились и стали рядом русские лодии. А когда из них выскочили воины с мечами в руках, было уже поздно обороняться, ромеям оставалось только звать о помощи.

* Комета 989 года.

Крики с залива достигли города. Уже рассвело, стража на стене увидела несметное число вражеских лодий в море, немало их стояло и в заливе Символов, а русские воины с копьями и мечами в руках уже бежали к стенам Херсонеса.

Однако взять приступом город не удалось — на его стены высыпала и стала метать стрелы стража, а перед воинами, которые успели уже подбежать к воротам, направо от башни Зенона, упал со страшным грохотом и треском катакт — город Херсонес заперся.

В то время город Херсонес считался сильной, почти неприступной крепостью. Занимая небольшую площадь — два поприща в длину и намного меньше в ширину, город теснился между двумя заливами на мысе, который выступал далеко в море. В разные времена Херсонес был обнесен двумя стенами из больших тесаных каменных глыб — главной и передней, называвшейся протейхизмой. На ее углах высились башни, одна из них у самых ворот города — башня Зенона. Все ворота, выходившие к заливу Символов, к морю и на запад, в некрополь, были сделаны из дуба, обиты медью и железом, а позади них опускались еще и катакты.

Жить в городе было тесновато, в кварталах, разделенных прямыми узкими улицами, дома лепились, точно ячеи в сотах, один к другому; западная и южная часть, где в хижинах, землянках и прямо под открытым небом ютились ремесленники, рыбаки, грузчики, напоминала муравейник.

Только в северной части города, выходившей к морю, жить было просторно и привольно — там стояли вплотную друг к другу большие двухэтажные дома богатей, термы, гимназии, огромные храмы, а на высокой скале, над самым морем, базилика — длинное открытое строение; крышу его подпирали колонны, полы были выложены великолепной мозаикой, повсюду ласкали взор мраморные статуи, которые стояли также по бокам спускавшейся к морю лестницы.

Город-крепость, да, но крепостью казался и каждый дом богатого херсонита: окна выходили не на улицу, а во двор, во дворах вырыты погреба, где стояли пифосы с вином, бочки с соленой рыбой, а в углу, под землей, обычно помещалась цистерна, в которую херсонит собирал дождевую воду.

Бедное население города обходилось без цистерн, с древних времен в Херсонесе существовал водопровод — на востоке от города под землей находились цистерны, куда

собиралась вода из речек, источников и дождевая, оттуда она текла по каменным подземным трубам в город и во все дома.

В древние времена, когда город был греческим, в Херсонесе кипела жизнь. Воздвигались храмы и великолепные здания, повсюду стояли памятники и мраморные плиты с надписями, прославлявшими подвиги херсонитов, — но когда хозяевами города стали византийцы-ромеи, они разрушили храмы, повергли в прах памятники, а мраморными плитами с надписями устлали полы своих жилищ, — они грабили Климаты, раскрадывали богатства, прибыльно торговали с Русью, а Керкентиду и Херсонес сделали своими торговыми центрами.

Особенно пришел в упадок Херсонес во времена императора Василия, который побаивался не только малоазиатских фем, но и Климатов. Прошло время, когда во главе Херсонеса стояли протевон и стратиг, которых избирали богатые херсониты; император Василий послал своего стратига и запретил городу чеканить свои деньги.

Империю в то время интересовало одно: чтобы Херсонес давал побольше зерна, меда, скота, чтобы оттуда в Константинополь текло побольше золота и серебра; поэтому в Херсонесе сидел коммеркарий, следил за сбором податей и пошлин и был настолько важной персоной, что имел даже свою печать.

Когда воинство князя Владимира внезапно появилось под Херсонесом, горожане, разумеется, перепугались, полагая, что русы со всеми силами пойдут на приступ.

Владимир этого не сделал, — горожане наблюдали со стен, как одни лодии русов собираются в заливе Символов, другие бросают укоты против северной городской стены, отрезая Херсонес от моря, а на суше, в двух-трех стадиях от города, полукругом, протянувшимся от залива Символов на юг, а затем на запад до залива Парфения, вырастал стан князя Владимира — воины копали на скатах пригорков землянки, складывали из глыб серого камня убежища, возводили шатры для старшин и большой княжеский шатер, над которым зареяло голубое знамя с тремя перекрещенными копьями — знаком князя Руси Владимира.

Теперь херсониты видели, с какой силой им придется столкнуться: русы прибыли не менее, как на двухстах лодиях, на каждой из них тридцать — сорок воинов, пять или шесть тысяч воинов высадилось у Херсонеса с моря — для города с десятью тысячами жителей это была страшная сила.

Выяснилось, что рать киевского князя прибыла не только по морю. К вечеру первого же дня осады стража со стен города заметила, что в долине, по дороге к Неаполю, поднимаются столбы пыли. Прошло немного времени — и стало видно, как к Херсонесу скачут множество всадников, — это были воины князя Владимира. Подъехав к стану, они спешились и присоединились к воинству.

Перед заходом солнца, когда на суше и на море все утихло, из стана прибывшей с севера рати выехали на конях воины князя Руси, остановились напротив главных ворот и затрубили в большие туры рога.

На стенах и в городе все замерло; затаив дыхание, жители ждали и слушали, о чем трубят в рога кликуны.

В наступившей тишине воины русского князя закричали:

— Князь киевский Владимир, прибыв сюда, стал под Херсонесом, зане императоры Василий и Константин, уложившие любовь и дружбу, нарушили мир и причинили Руси зло... Слушайте, херсониты!

— Слушайте, херсониты! — возглашали далее в предвечерней тишине кликуны. — Киевский князь прибыл сюда, дабы говорить с императорами ромеев...

— Слушайте, херсониты! Князь Владимир предлагает вам, не оказывая сопротивления, сдать Херсонес, за что обещает не трогать ни города, ни его людей...

Закончив, кликуны долго неподвижно стояли на высоком пригорке, и в лучах заходящего солнца их фигуры напоминали каких-то каменных великанов. Князь Владимир велел ждать ответа херсонитов, он, как и отец его Святослав, поступал открыто и честно — сказал врагам, зачем пришел, объявил, чего хочет, предостерег херсонитов от пролития крови, напрасных жертв, и в эту предвечернюю пору Херсонес мог еще спастись.

Однако херсониты этого не сделали. Кликуны князя стояли и ждали. Солнце зашло, берег и море окутали сумерки, фигуры кликунов стали черными, сверху над ними висело темно-синее небо, а в нем вспыхнула, точно зарница, вечерняя звезда.

И вдруг в этом темно-синем небе раздался шум, свист, один из кликунов закричал и упал с коня, крик этот долетел до стана русских воинов.

В ответ на слово князя-воина со стен полетели стрелы, а баллисты начали метать острые камни.

Так началась война князя Владимира с Херсонесом и Византией.

Воину, который час тому назад сражался на поле брани, трудно рассказать, что именно он видел, что пережил. Чем больше воинов-рассказчиков, тем противоречивей, невероятней будут их рассказы. Каждая война, в какие бы времена она ни происходила, — это дикий, кровавый бред, безумная сумятица, которых никто ни передать, ни описать не в силах. Будь прокляты все войны, вместе взятые! Да будут благословенны люди, устрояющие мир!

Летописец весьма коротко рассказывает о битве князя Владимира под Херсонесом: "Идет Володимир с вои на Корсунь, град греческий, и затворишася корусяне в граде, и ста Володимир об он пол города в лимени, дали града стрелище едино, и боряхуся крепко из гра, Володимир же обстоя град..."

Если бы говорили камни, а кровь на песках не выцветала на солнце, если бы морские воды не разъедали, не разбавляли бы человеческих слез, — о чем только не могли бы повествовать Русское море, его скалистые берега и омытое водами Днепра широкое, неоглядное поле!

Это была великая сеча. Земля вокруг Херсонеса щедро поливалась русской кровью. На стенах крепости, которые теперь неустанно раскапывают и они вырастают, точно в сказке, из-под разрытой земли видны щербинны и пробоины — это шрамы каменной твердыни у моря, плуг выпаживает из земли людские черепа, шелома, сломанные копья, мечи — это кости русских людей и оружие, с которым они полегли.

В первые дни князь Владимир — в те времена всегда так воевали — думал взять город копьём. С раннего утра до позднего вечера его воины, неся за собой лестницы и веревки с крюками, покинув стан, подступали к стенам города и лезли наверх по горе трупов...

Но взять Херсонесскую твердыню было трудно: высокие кручи, каменные стены были неприступны. Когда русские воины, подтянув наконец пороки, пробили протейхизму — первую тонкую стену, за ней оказалась еще одна, древняя, очень толстая, которую пробить было невозможно.

А покуда русские воины, стремясь копьём взять город, лезли на стены, обливаясь кровью, и разбивали пороками ворота, ромен, стоя за забороллами, посылали вниз тысячи стрел, лили горящую смолу, засыпали вонючим песком глаза, а их баллисты неустанно метали и метали острые камни.

Тогда князь Владимир велел делать присыпь, — войны его днем, а зачастую и ночью копали землю и насыпали вал, который тянулся от залива Символов до городских ворот и поднимался все выше и выше, — чтобы войны могли по нему взбежать на башню Зеиона, а оттуда по стенам попасть в город.

Однако, когда этот широкий вал, воздвигнутый ценой больших жертв, доходил уже почти до ворот и башни Зеиона, он начал вдруг оседать — угадав намерение русских, херсониты сделали подземный ход из города, дорылись, как кроты, до вала, и откуда русские войны насыпали землю, они относили ее в город, где и поныне среди скал высятся насыпанный ими кургаи.

Время шло, миновала весна, начались сушь и безветрие, на скалистых берегах уже выгорела и пожухла трава, а русские войны все еще стояли под Херсонесом не в силах его взять.

— Три года буду стоять, но от Херсонеса не уйду, — промолвил в гневе князь Владимир.

Но князь Владимир вовсе не думал стоять в Климатах три года. Война стоила много крови, его ждала Русь. Надо было поскорей взять Херсонес, чтобы вести переговоры с императорами Византии.

Владимир знал, что силы ромеев в Херсонесе тают с каждым днем. У него тоже были немалые потери. Однако за спиной князя, хоть это и были Климаты, находились русские города Сугдея и Корчев, через Климаты подспевала также подмога из Тмутаракани от сына Мстислава. Тотчас за станом начинались и тянулись далеко к горам клеры херсонитов — господа удрали, но остались сотни рабов, — со всех концов к воинству князя Владимира шли русские люди и рабы ромеев.

И в самом Херсонесе нашлись люди, неимевшие ромеев и ждавшие лишь случая, чтобы помочь князю Владимиру или бежать в его стан.

Стояла душная червенская ночь. Низко над землей еще с вечера нависла тяжелая туча, после захода солнца она поползла дальше и закрыла море. Под покровом этой ночи спал стан русских воинов, спал Херсонес; в нескольких шагах ничего не было видно, в поле и в городе царил мертвая тишина.

Но вот раздался тихий скрип у стены Херсонеса против залива Символов, и в образовавшемся щелем отверстия стены появились две тени, двое людей остановились снаружи и прислушивались, ждали...

Потом они пошли вперед, прямо к стану Владимира, и замерли, подняв руки, когда увидели перед собой поднявшихся с земли русских воинов.

— Кто вы?

— Мы из города... Хотим видеть князя.

Копья русских воинов были направлены на неизвестных — где война, там ловушки, ложь, измена!

Князь Владимир смотрел на людей, которых привели к нему воины стражи, лежавшие этой ночью плечом к плечу в поле.

Воины сразу же вышли, в шатре остался князь с несколькими воеводами и два неизвестных ромея.

— Кто вы и почему здесь ночью в поле? — спросил князь.

— Я, княже Владимир, — сказал один из них в одежде воина, — свион, по имени Жадбори, служил в дружине ярла Фулнера, которая шла с тобой из Новгорода в Киев.

— Кому же ты служишь ныне? Херсонесу? — усмехнувшись, спросил Владимир.

— Будь проклят Херсонес, ромеи и вся Византия! — прорычал Жадбори. — Мы служили им, не жалея крови. Нет моей дружины, не стало и ярла Фулнера, а что проку от них? Я пришел и буду служить тебе, княже.

Владимир ничего не ответил свиону, предававшему ради золота своих хозяев.

— А ты, — обернулся Владимир к другому беглецу, — почему оставил Херсонес и пришел в мой стан?

Старик в черной рясе с длинными волосами, усатый, с большой окладистой бородой, заметив воливался и ответил не сразу.

— Я священник Анастас, — вырвалось наконец у него.

— Ты священник?! — искренне удивился Владимир. — Зачем же ты тогда явился сюда, в стан воинов?

— Я — болгарский священник, — ответил Анастас, — именно потому и пришел к тебе... Так, княже, когда-то я жил в Болгарии, был настоятелем Доростольской церкви, служил своему болгарскому патриарху Дамиану, видел там и отца твоего, князя Святослава... А потом Доростол взяли ромеи, ныне престол болгарского патриарха в Охриде, но я не могу ему служить, ибо константинопольский патриарх Николай выгнал нас из Болгарии. И я со многими болгарскими священниками попал в Херсонес, в город, где молятся золоту, а не богу... Я отрекаюсь от ромеев, от патриарха Николая Хризотерга, жить в Херсонесе не в си-

лах, лучше идти к язычникам, сеять там божье слово... Поэтому и пришел к тебе...

На столе горела свеча, в желтых лучах ясно видно было лицо Анастаса. Можно ли верить священнику, правду ли он говорит?!

— Как же вы прошли? — спросил князь.

— В стене Херсонеса есть потайной ход, через него и прошли, — сказал Жадборн.

— Вы его нам покажете?

— Коли твоя воля, покажем и можем через него вернуться в Херсонес, — промолвил свион, — но ход очень узкий, человек с большим трудом может проползти, а по ту сторону стены всегда стоит стража... Ныне — темная ночь, ромеи перепились и спят, этим мы и воспользовались.

— Добро, — промолвил Владимир. — С чем же вы пришли?

— Я могу рассказать тебе все о Херсонесе, — ответил Жадборн, — и помогу разорить это гнездо над морем... Я знаю, где проложен в Херсонес водопровод, знаю, где в твоём стане лежит закопанный греческий огонь, я умеем обращаться с этим огнем...

— Добро, — прервал Владимир свиона. — Завтра утром расскажешь обо всем моим воеводам. А сейчас ступай с воями и покажи, где потайной ход в город.

В шатер вошли воины и увели Жадборна. Князь и священник остались вдвоем.

— Я тоже должен идти? — спросил Анастас.

— Нет, — ответил князь. — Хочу говорить с тобой про веру и Христа. Ты не устал, отче?

— О нет — о вере могу говорить без конца, я верно буду служить тебе, княже...

Херсонес держался и, вероятно, еще долгое время мог выдерживать осаду — в его домах от залива Символов до самого моря было достаточно муки для печения хлеба, запасов соленого мяса и рыбы, в погребах стояли пифосы с вином.

Далеко за городом, в горах, были скрыты цистерны, откуда глубоко под землей по трубам беспрестанно текла вода, в городе все пили вдоволь и надеялись пить так и в будущем. Шла война, однако работали городские термы, у богатых же херсонитов были собственные термы и цистерны с водой.

Хуже обстояло дело на западной окраине города, где жили бедняки, — все бремя войны ложилось на них, они рыли рвы, насыпали валы, стояли на стенах, но хлеба им не хватало, а о вкусе мяса и рыбы они вовсе позабыли, вволю пили только воду...

И вдруг вода в водопроводных трубах стала убывать — до сих пор она постоянно текла сильной струей, но однажды, неизвестно почему, струя стала ослабевать, через несколько часов текла, замирая, лишь тоненькая струйка, потом из труб городского водопровода еще какое-то время сбегали капли, а вскоре упали и последние.

— Русы перекопали водопровод... Нам нечего пить! — катилось в Херсонесе из дома в дом, весь город охватил страх и отчаяние.

Многие херсониты кинулись запираť ворота дворов — отныне они будут стеречь, как псы, свои цистерны, жаль только, что им не пришлось в голову залить заблаговременно доверху пифосы, термы, погреба, дворы...

Беднякам стало трудней, гораздо трудней! Богачи выдавали им по ломтю хлеба, а вот теперь не стало воды... Когда на горячую землю упали из труб последние капли, людям уже хотелось пить, в хижинах, халупах, землянках сразу запричитали, заплакали жены и дети.

День, другой, третий... как быстро они проходят, когда есть у человека хлеб и вода, и как бесконечно тянутся, когда нет ни глотка воды.

Страшно, очень страшно было в эти дни в городе Херсонесе. Вода! Только за воду служили теперь бедняки богатым. Кружка воды — впрочем, нет, она была дороже золота, кружка воды стала мерилom жизни... А тут — жара, безжалостное солнце висит, как раскаленная сковорода, в небе. Горят камни, земля, горят и души людей!

Тогда князь Владимир и повел свою рать к стенам Херсонеса... Предвидя это, стратиг города велел поднять ночью на стены побольше бочек с водой, а начальникам открыть эти бочки, когда русские воины начнут приступ. Воины князя Владимира подходили к городу, а ромеи на стенах пили воду, готовые отбить русов и снова напиться... Вода — обычная и даже застоявшаяся, затхлая была на стенах, но действовала она на воинов, как крепкое вино, — в бешенстве кинулись они, чтобы отбивать приступ, — лучше умереть, но пить еще и еще!..

Но почему воины князя Владимира остановились, не лезут, как прежде, на стены?! Что случилось, откуда это, неужели само небо помогает на сей раз русским воинам?!

В долине перед Херсонесом стоят сифоны и бросают на город страшный палящий греческий огонь, а у машины стоит варяг Жадборн...

Воины стояли на стене, но им не нужно было отбивать приступ русов, позади них над городом вставали столбы черного дыма — это пылали дома северной и восточной частей города, вот за клубился дым и над западной частью.

Но не только огонь уничтожал и испепелял город — с западных его окраин к приморским дворцам бежал люд с почерневшими, запекшимися от жажды губами: ремесленники, рыбаки, гончары, рабы из многих частей света; теперь они искали не воды, их сердцами владела месть, это они убили стратига Льва, открыли русским воинам ворота, и те ворвались в пылающий город.

И как раз в это время — горькая насмешка судьбы: на далеком небосклоне замаячили ветрила, а погода на лоно вод выплыло несколько лодий — на помощь Херсонесу поспешали греческие хеландии, подмога из Константинополя.

Однако кому и чем помогать? Над Херсонесом висела туча темно-рыжего дыма, многие дома пылали, победители, как водится, радовались победе, побежденные, позабыв о сопротивлении, кинулись к водопроводу, откуда сначала по капле, а затем сильной струей ударила свежая, холодная вода.

Князь Владимир, взойдя на башню Зсиона, долго смотрел на корабли ромеев, которые, не доплыв на какое-нибудь попрще до залива Символов, бросили якоря. Нет, эти величавые дромоны пришли не на помощь херсонитам — иная цель привела их сюда. Князь велел нескольким воеводам выехать к дромонам и узнать, зачем они приплыли, а сам, спустившись с башни, пошел в город.

Для него уже был приготовлен дворец стратига — чудесный дом в два этажа, смотревший окнами на море. У дверей висела мраморная доска с надписью:

“Этот дом над Понтом, где тебя
всегда ждет чара вина,
Протеон Иоани Калокир, сын Романа,
воздвиг,
Заходи, путник, на ложе
в доме отдохни,
И помини добрым словом того, кто
когда-то владел этим домом”.

Когда князю Владимиру прочитали и перевели надпись, он засмеялся. Калокир, сын протевона Херсонеса, — ведь так звали того ромея, который когда-то приезжал в Киев уговаривать князя Святослава идти войной на болгар... Станный мир — нет уже князя Святослава, нет ромея Калокира, дом же стоит у моря в побежденном Херсонесе, а тень Иоанна Калокира приглашает:

“Заходи, путник, на ложе
в доме отдохни...”

Узкий двор, в углу цистерна для воды, посредине — чудесные южные цветы, два высоких дерева, направо — дверь на галерею с мраморными колоннами, за ней — сени, службы, лестница наверх, узкие открытые переходы, покои.

Тут и в самом деле можно отдохнуть, утомленное за много дней тело требовало отдыха, но было не до того — в покои уже входили воеводы, они спрашивали, что делать в побежденном городе, докладывали, где поставят стражу на стенах и в поле.

Потом явились воеводы, ходившие на лодиях к дромам ромеев. В Константинополе, сказали они, узнали, что князь Владимир с большим войском вступил в Климаты, потому император Василий и прислал сюда дромы со своими василками.

— Василики императора Василия немного опоздали, — промолвил, смеясь, князь Владимир, — впрочем, пожалуй, в самую пору с ними толковать. Что ж, поговорим с ними завтра поутру. А сейчас, сейчас, воеводы, я хочу только одного — спать.

3

Василики императоров Василия и Константина шли к князю Владимиру.

Это было невеселое зрелище — всем этим патрикиям, протоспафариям, спафарокандидатам не раз, видимо, приходилось бывать в Херсонесе раньше; спускались они с кораблей, окруженные нижними чинами, в великолепных, расшитых золотом и серебром одеждах, их встречали здесь и раболепствовали перед ними стратиги, протевоны, местная знать, по дороге от залива до самого дворца стратига стояли люди, славившие божественных императоров, гостей из Константинополя, Византию...

Теперь базилики императоров — патрикии-восначальники Фригий и Сисиний, магистр Лев, митрополит халкидонский Роман и пресвитор влахернский Феофил — сошли с кораблей в заливе Символов, как и надлежало, в серебряных скарамангиях, красных, с золотыми фибулами хламидах — знаками их высокого звания, — однако на берегу их никто не встречал, сотня молчаливых русских воинов во главе с двумя воеводами окружила базиликов и повела в город.

Так они и шли среди развалин и пожарищ, мимо обгорелых домов, поваленных статуй и колонн; во многих местах базилики видели, как русские воины и городская беднота подбирают трупы, чтобы похоронить их на кладбище.

Дом протевона Иоанна Калокира, перешедший после его смерти к стратигу Льву, базилики знали: не раз кто-нибудь из них проводил здесь вечер за чарой вина в дружеской беседе с его хозяевами.

Но протевона Иоанна давно уже нет, а вчера, как повели базиликам, был убит голодным населением города стратиг Лев; вот в сенях уже стоят толмачи и ждут базиликов, сейчас с ними будет говорить русский князь Владимир.

Он принял их в большом покое, с выходившими на море окнами. За распахнутой дверью тянулась широкая и длинная терраса с колоннами, на ней в больших кадках зеленели пальмы, цвели олеандры, а недалеко за ступенями билась о берег прозрачная волна.

Впрочем, базилики не смотрели на террасу и на море — в углу покоя стояло несколько усатых русских воевод — в синих, зеленых, червленых кафтанах с мечами на боку, и какие-то бородатые мужи в длинных черных платках с золотыми гривнами на шее и цепями на груди.

Раньше этого никогда не бывало — после брани говорила свое слово старшая дружина, вместе с князем она укладывала мир; ныне же возле Владимира стояли не только воеводы — бородатые мужи с гривнами и цепями, были и бояре, мужи нарочитые земель Руси, купцы — они поддерживали теперь князя, он опирался на них.

Князь Владимир стоял впереди и, казалось, ничем не выделялся; напротив, он был даже проще, чем они, одет: в белом платке, подпоясанный широким кожаным поясом, без всяких украшений — ни гривсы, ни цепей.

Единственно, что сто отличало и указывало на высокое положение, — был позолоченный меч да еще красное корзно на плечах, перехваченное серебряной застежкой у шеи. Впрочем, не это поразило базиликов, поражало лицо кня-

зя — суровое, задумчивое, его темные глаза, длинный седой чуб на бритой голове, усы, спускавшиеся волнами до груди.

Василики низко поклонились князю и мужам, но с их уст не сорвалось ни единого из тех заученных слов, которыми обычно они раньше сыпали, — тут было не до того.

— Садитесь! — коротко сказал князь Владимир. Он опустился в кресло за стол, заваленный какими-то свитками древних харатий с печатями, по бокам расположились русские воеводы и мужи, а напротив стали усаживаться и василики.

Между тем еще одна мелочь привлекла внимание василиков — перед тем как сесть за стол, князь Владимир отцепил от пояса меч и положил его на стоявшую у стены скамью.

— Так что скажете, мужи константинопольские, — начал князь Владимир, — с чем пожаловали?

Один из василиков, патрикий Сисиний, прежде чем сесть, промолвил:

— Мы, василики императоров Василия и Константина, прибыли сюда по их наказу — патрикий Фригий, магистр Лев, митрополит Роман, пресвитор Феофил и я — патрикий Сисиний... — называя имена, он указывал поочередно на каждого из василиков.

— Вот и отлично, — сказал Владимир, — будем знать... А это, — он указал на воевод, — моя старшая дружина... Так с чем же вы, василики, прибыли сюда?

Патрикий Сисиний запнулся.

— Мы прибыли сюда, — промолвил он наконец, — чтобы спросить, почему ты, князь Руси, прибыл в Херсонес?

Сисиний снова умолк и закончил:

— Почему ты, князь Руси, пошел войной на Херсонес и взял его?

Князь Владимир засмеялся, засмеялись и воеводы и мужи.

— Дивно мне, — загремел он, обрывая смех, и опустил на стол ладонь с такой силой, что запрыгали свитки, а рука точно вросла в стол, — почему вы, василики, спрашиваете меня об этом? Ведь императоры ваши, посылая вас, доподлинно знали, почему я сюда пришел и так учинил, — он указал на окна, сквозь которые чернели обгорелые стены и видно было, как легкий ветер разгонял тучи дыма, а в море на укатах покачивались на волнах русские лодки.

— Добро, — продолжал он, — коли императоры ваши забыли, напомним... Скажите василевсам так: отцы мои и

деды много браней провели и множество крови пролили, ра-
тоборствуя с Византией. Почему? Не наша в том вина и не
на наших руках запеклась та кровь, ибо мы никогда чужих
земель не искали, племен инаких не порабощали, токмо
обороняли Русь, ее людей. Земель у императоров ромеев
видимо-невидимо на западе и на юге, у них богатства и нау-
ка, а они все лезли и лезли к нам, ставили свои города тут,
на берегу нашего Русского моря, вечно лезли на Дон, на
Итиль — русские реки, насылали на нас печенегов и другие
орды.

Покуда толмачи переводили василикам, князь Влади-
мир молча глядел на них.

— Русские люди терпеливы, — продолжал он, — мы ис-
кали не брани, а токмо мира, имамо ряды с Византией, по-
ложенные князьями нашими Олегом, Игорем и отцом моим
Святославом, а со стороны земли вашей подписанные импе-
раторами Львом, Александром, Константином, потом Ро-
маном, Константином и Стефаном, а еще позднее
Иоанном. И мы писали сии ряды не по божьему промыслу,
русские люди платили за них кровью, каждая их буква —
это тысячи мертвых уже ныне наших людей, горе Руси...

Василики молчали — они поняли, что за харатии желте-
ют на столе перед Владимиром, почему он опустил рядом с
ними свою тяжелую руку.

— Ныне же я пошел на Херсонес, взял его и сию тут
потому, что прошлым летом еще раз хотел положить ряд
с Византией и по просьбе императоров Василия и Кон-
стантина послал в Константинополь шесть тысяч воев,
они, вы также сие знаете, спасли императоров ваших,
две тысячи моих воев сложили головы под Абидосом... А
императоры не дали воям дани, переступили с нами ряд.
Вот я и пришел в Херсонес. Не договорюсь с импера-
торами здесь — пойду в Болгарию, будем брати новый ряд под
стенами Константинополя... А теперь, — закончил князь
Владимир, — оставляю вас с мужами, — вон на столе на-
ши харатии — почитайте.

На другое утро князь Владимир ждал василиков в том же
доме и в той же палате. Все оставалось в ней по-прежнему,
на столе так же лежали свитки, однако ночь не прошла да-
ром — василикам пришлось припомнить все, что писали
когда-то императоры в своих рядах; князь Владимир в эту

ночь советовался с воеводами, боярами, мужами земель и купцами — что сказать василикам.

И он начал:

— Надеюсь, василики прочитали харатии и знают теперь, что должны выполнить императоры?

— Императоры Василий и Константин, еще когда мы собирались сюда, сказали, что они утверждают все ряды прежних императоров.

— Мы также их утверждаем, — сказал князь Владимир, — однако после всего того, что произошло, я должен к ним кое-что добавить.

Василики слушали.

— За нас императоры Василий и Константин переступили ряд, положенный василиками позапрошлым летом в городе Киеве, то должны дать нам дань по двадцати гривен за всех живых и мертвых воев, иже были в Абидосе, — живым на прожитие, за погибших получают родичи. Городу же Киеву — две тысячи гривен.

— Мы нашим императорам доложим, — забормотали василики и тотчас поправились: — Мы согласны дать дань за живых и убитых русских воев.

— Дань сия будет по правде, однако это еще не все, — продолжал князь Владимир. — Прошлым летом нашим воям не только не дали дани, а хотели послать их в Болгарию. Почему? Еще в Адрианополе, а затем и в Доростоле мой отец Святослав, договариваясь с Цимисхием, требовал, чтобы Империя покинула и больше не трогала землю болгар, которая им не принадлежит. Я также напомнил о сем вашему василикам в Киеве. Почему же император Василий снова и снова идет в Болгарию?

— Не Империя ныне нападает на болгар, — искренне признались василики, — болгарский комит Самуил идет против Византии.

Князь Владимир засмеялся.

— Комит Самуил борется с императором Василием в горах Болгарии, во Фракии, в Македонии — там и решайте свой спор. Но легионы Империи стоят днесь на Дунае. Против кого нацелены их копья? Против болгар? Нет, супротив Руси... Пишите: Византия пусть не поработщает соседние земли и вовек не угрожает Руси на Дунае...

— А Корсунская земля? — вскипев, спросили василики. — Князь Владимир не только нам угрожает, но и вступил на нашу землю, взял Херсонес, что скажем мы императорам про сей город?

Князь Владимир не торопился с ответом.

— Правда, — промолвил он наконец. — Корсунская земля, сиречь Климаты, — ваша фема, и князья русские писали, что не имеют власти на сей земле, что Климаты не покоряются им. От сего не отрекаюсь. Про землю Корсунскую пишем по старому ряду. И Херсонес был вашим городом. Однако о городе давайте поговорим позднее, когда кончим весь ряд... Обещаю — вашего не возьму.

Сказанные о Херсонесе слова сбили с толку и обеспокоили василиков императоров — почему князь Владимир, учиня ряд про Климаты, не хочет одновременно говорить о Херсонесе, неужто он задумал оставить город себе?.. Ведь Климаты без Херсонеса — тело без головы! Впрочем, нет, он сказал: вашего не возьму, значит, не возьмет и Херсонеса.

Вмешались купцы:

— И про куплю-продажу скажи им, князь!

— Верно! — согласился князь Владимир. — Мы говорили с василиками в Киеве — не можем так, как ныне, торговать с Византией.

— Императоры согласны принять в Константинополе купцов, сколько пожелает Русь, пусть они сами назначают цены.

Заговорили и бояре.

— А про челядь, княже?

Владимир понял бояр с одного слова — на Руси, особенно же в боярских вотчинах над Днестром и Дунаем, порою челядь и смерды, ставшие обельными холопами, покидают земли, идут в леса, бегут куда глаза глядят, попадают и в Византию.

— Мои бояре говорят, — продолжал Владимир, обращаясь к василикам, — будто порой челядь из Византии бежит на Русь, а наша в Византию... Напишем про челядь, еще побегнет на Русь из Византии, и про ту, что ускочит с Руси к вам, — надлежит воспятити.

— Про татьбу и разбой, — тихонько подсказывали уже купцы.

И в самом деле — в Константинополе не раз случалось, что у купцов Руси выкрадывали товары; что говорить, — в Киеве, на Подольском торге, тоже было немало татей среди голодных смердов.

— Добро, — согласился князь, — и про то надлежит написать: еще грек что украдет у русина либо русин у грека — карать по закону греческому и уставу русскому; еще убьет грек русина или русин грека — да убиенны будут.

Василики тотчас спохватились.

— Мы согласны, — сказали они, — запишем и про татьбу и разбой, как писали о том и прежде. Однако, княже Владимир, ты должен покарать смертью и тех, кто убил в городе Киеве купца грека Феодора с сыном, а за двор его и все достояние пусть тать заплатит.

Князь Владимир долго и пристально смотрел на василиков и потом сурово промолвил:

— Будь Феодор токмо вашим купцом, я покарал бы головников и вернул бы Византии все его добро, но он — не купец, а послух Византии, что продавал Русь, и карали его с сыном все люди Руси... Хотите выкуп за него получить — говорите со всей Русской землей, мой совет вам такой: разговор не вести... Запомните, василики, и передайте императорам: ежели будете присылать к нам послухов, предателей, татей — смертью будем карать их, как и патрикия Феодора... Только о том не станем писать в нашем ряде: жаль вас!

Если бы это происходило не в павшем Херсонесе, а в Константинополе или в другом каком городе Византии, василики, вероятно, яростно спорили бы за каждую букву ряда, сейчас же они не смели раскрыть и рта.

Тем не менее, соглашаясь со всем, что предлагал князь Владимир, они хотели добиться и своего — если не в бою и не силой, то хитростью.

Поднялся старый седобородый Роман, митрополит Халкидонский.

— Мы, василики, — сказал он, — принимаем твой ряд, княже, будем молить бога и уверены, что божественные василевсы его подпишут. Однако сие — ряд великий, такой, как и с Германской империей, могущественными державами мира...

— Чего же хочет митрополит?

— Мы несем Руси то, что уравнивает ее с иными, могущественными державами мира... христианство, которое даст Руси истинную веру, грамоту, книги, храмы и соборы, утвердит князя пастырем, а его людям даст жизнь безначальную, выведет из стана варваров.

Князь Владимир улыбнулся.

— Напрасно вы, ромен, думаете, что русские люди — варвары. Вы говорите, что у нас нет грамоты, что мы — темные. Нет, это не правда, издавна русские люди зарубали резы и ныне, подобно ромеям, пишут харатии, имают книжицы, славянскими знаками писанные... Вы говорите, будто у нас на Руси нету истинной веры, мы-де язычники, молимся деревянным богам! Нет, не так, много людей у нас

молятся деревянным богам, но немало христиан молятся иконам в своих храмах, читают письма из книжиц.

— Патриарх Фотий сто лет тому назад утвердил в Киеве епархию, которая подчинялась Константинополю, — подхватили греки.

— Слышал о сем, — бросил с улыбкой Владимир, — вельми жаль только, что тот патриарх, сидя в Константинополе, не побывав в Руси, без спроса записал себе епархию, ибо в Киеве сего не признали. Первых священников в Русскую землю прислали болгары; бабка моя, княгиня Ольга, которую хотел крестить император Константин, была уже крещена. Вы же, василики, знаете...

— Да, — подтвердил тотчас митрополит Роман, — мы сие знаем и потому хотим, чтобы ныне епархия была утверждена и Русская земля приняла крещение от константинопольского патриарха.

Князь Владимир ответил:

— Слушайте, василики, и передайте императору Василию — верно, настал час, и мы думаем о крещении Руси.

Василики впервые за все время радостно и с облегчением вздохнули.

— Боже всемогущий, — вырвалось у митрополита Романа, — благодарю тебя, что просветил русского князя...

Владимир, казалось, не слышал его слов.

— Поведаю вам правду про Русь, — продолжал он. — Так, пришло время, когда мы, русские люди, готовы принять христианскую веру. Древние боги некогда зело помогали людям нашим, ныне мы живем в ином мире и хотим жить, как все... У нас во многом не достача: мы не порабощали земель, не забирали их богатства, мы защищались с мечом и щитом и не преуспели, подобно Византии. Что ж, мы примем это у вас.

— Мы окрестим тебя, княже! — воскликнули василики, а громче всех митрополит Роман и священник Феофил.

— Не о себе думаю, — с улыбкой ответил Владимир. — Бог просветил меня. Я есмь христианин.

Если бы с ясного неба ударил гром, василики были бы поражены меньше, чем от этих слов.

— Христианин? — Они переглянулись. — Но каким образом, откуда?!

— Крестил меня болгарский священник, что живет в Киеве.

В палате наступила необычайная тишина, сквозь открытое окно долетал лишь шум волн разбушевавшегося Русского моря.

Что было делать василикам?

— Понеже так, — сказали они, — то мы будем крестить всю Русь.

— Император Византии, — возразил Владимир, — глава державы и церкви. Понеже я крестился, то, как князь, сам крещу и Русь.

— Тогда ты, княже, утверди днесь епархию, основанную Фотием!

— О епархии Фотия я уже сказал, — промолвил Владимир. — Ее не было, это лишь ваша выдумка. И почему вы хотите, чтобы киевская христианская епархия подчинялась константинопольскому патриарху? Ваш патриарх, как нам ведомо, подчиняется василевсу. Так кому же подчиняться киевской епархии, а за ней и всей Руси? Все тому же василевсу Империи? Нет, мы принимаем христианскую веру. Множество людей на Руси, а с ними и я — уже крещенные. Отныне у нас будет своя русская епархия и, должно быть, не одна, а во многих землях, вас же прошу — помогите мне крестить Русь — дайте священников, божественные книги, иконы, а также науку.

В эту минуту князя Владимира невозможно было узнать — гордый, сильный, смелый, он говорил о том, что уже давно волновало русских людей.

— Вы говорите, что Империя ромеев всемогуща, что ее земли простираются на север, запад, восток и юг от Константинополя, что ей покоряются бесчисленные народы... Однако вам не покоряется запад, где сидит папа, вы дрожите перед императором Германии. Малая Азия восстает против вас, Болгария — горе людям Болгарии! — обливается кровью и все-таки не покоряется Империи, и ее патриарх в Охриде не признает вашего патриарха.

Василики растерянно переглядывались; киевский князь, оказываясь, владеет не только оружием, он начинает жечь их словом, режет ту правду, о которой ромен боятся не только говорить, но и подумать.

Владимир далеко еще не кончил, напротив, он до конца высказывает свою, русскую, правду, взволнованный, разгневанный и все-таки сдержанный и гордый в своем гневе.

— И почему Империя забывает, что ей не подчинена Русь? Вы называете нас худородными жителями севера, варварами — почему? Коли хотите знать — Русь тянется от Русского и Джурджанского морей до Ледового океана, от Дуная до самых Уральских гор. Русь владеет такими богатствами, которые вам и не снились. Ее люди никогда не хо-

дили и не ходят в чужие земли, да и на что они нам — вся ваша Империя меньше нашего поля над Русским морем.

Это были крайне обидные слова. Воеводы и мужи русские смеялись, василики сидели, точно воды в рот набрали.

— Мы долго молчали и терпели! — горячо продолжал Владимир. — Назовите мне хоть одного императора, который побывал бы в Киеве, чтобы узнать нас — русских людей, чтобы по-человечески поговорить с нами... Нет, такого императора не было, Империя говорит с нами, как с каkami-нибудь печенегами или хазарами через василиков, а то и купцов... Что ж, каковы василики и купцы — таков и разговор. А мы не стыдимся — ходили к вам и говорили с вашими императорами в самом Константинополе и у его стен князя Кий, Олег, Игорь, княгиня Ольга и мой отец Святослав... Беседа, само собой, велась по-всякому: как встречаются, так и провожают...

Воеводы и мужи хохотали во все горло, василикам казалось, что их терзает бешеный гиперборейский ветер, — и те и другие поняли, на какие беседы под стенами Константинополя намекал князь Владимир.

— Скажите императорам Василию и Константину, — закончил Владимир, — что я хочу и буду отныне говорить с ними как равный с равными и того же требует от него вся Русь, не токмо я.

— Божественные императоры подумают, позаботятся об этом, — забормотали перепуганные василики.

— Нет, — прервал их Владимир, — тут думать и гадать императорам нечего. Русские люди терпеливы, но всякому терпению приходит конец...

Василики переглянулись.

— Князь Владимир хочет получить от императоров высокий чин куропалата?

Князь усмехнулся.

— Божественные императоры не станут возражать и согласятся дать князю Руси венец кесаря...

Князь Владимир вскипел.

— Императоры ромеев, как мне известно, давали венец кесаря каганам Болгарии, а потом били и кесарей и болгар. Я не возьму от них ни цепи куропалата, ни кесарева венца. Хочу, должен иметь корону василевса.

Василики бесновались. Они просто кипели от возмущения.

— Но корону василевса может носить только порфиородный.

Это было оскорбление, вызов дерзкому киевскому князю, на которое он мог ответить тоже оскорблением. Владимир и в самом деле был оскорблен — за себя, за всю Русь. Однако он сдержался и продолжал, словно и не слышал слов василиков:

— Короны василевсов требует Русь... А дабы императоры ромеев в будущем никогда нам не изменили и дабы Русь воистину была равна с Византией, императоры Василий и Константин должны дать мне в жены свою сестру Анну.

Василики могли ждать чего угодно, только не этого.

— По божественным установлениям, императоры не могут с кем-нибудь родниться, а тем паче с неверными обитателями севера...

— Мне известно, что императоры отдали одну дочь за хазарского кагана, другую за сына короля Гуго, рожденного рабыней.

— Сын короля Гуго — внук императора Карла Великого, а за то, что император породнился с хазарами, церковь предала его анафеме...

— Скажите императорам вашим, что вы говорили с князем Владимиром — внуком князя Игоря, который стоял когда-то под стенами Константинополя, с сыном Святослава, который ратовал с Иоанном Цимисхием на Дунае. И если ныне я не сталкиюсь здесь, в Херсонесе, то продолжу разговор вместе с болгарами под стенами Константинополя. Вот и все! На том, стало быть, василики, и кончим!

Поднявшись, патрикий Сисиний сказал:

— Мы договорились с тобой, княже Владимире, обо всем и нынче же уезжаем беседовать с императорами. Мы будем молить бога скорее прибыть в Константинополь и так же точно поскорее вернуться назад. Но у нас остался еще один вопрос — о Херсонесе. Ты обещал сказать о нем, когда положим ряд.

Князь Владимир усмехнулся.

— Это правда, — промолвил он. — Я обещал говорить о Херсонесе после того, как положим ряд. Что ж, скажите императорам, что я верну им Херсонес, как вину за царевну Анну.

После этого василикам, конечно, не о чем больше было спрашивать.

Князь Владимир протянул руку к окну и указал на белые гребни, которые начинали бороздить морскую синь.

— Гиперборейский вестер быстро погонит ваши кубари к Константинополю, — закончил он, — а тем временем под-

нимется теплый полуденный ветер и пригонит их обратно с рядом, данью и всем, о чем мы договаривались. Счастливого пути!

В тот же день василики ромеев отбыли в Византию.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1



Константинополе очень скоро узнали о том, что ранней весной к Херсонесу приплыло около двух сотен киевских лодий с воинами под знаменами князя Владимира.

Война? Да, император Василий понял, что киевский князь решил отомстить за своих воинов, погибших под Абидосом, за то, что Византия переступила ряд с Русью, за все содеянное им, Василием, и всеми прежними императорами.

Воевать с киевским князем? О нет, Византия едва сдерживала натиск болгар во Фракии, в Македонии и на Пелопоннесе; в Малой Азии не стало Варда Фоки, и все-таки то в одной, то в другой феме вспыхивали восстания. Империя обессилена, она не может воевать и на своей земле, а тем более в далеких Климатах.

Мало того, поход князя Владимира на Климаты имел, пожалуй, большее значение, чем в любое другое место, — в Византии из года в год вспыхивал голод. Ее житница — Климаты — оказалась отрезанной от Константинополя.

Потому император Василий, узнав о походе князя Владимира, так спешно послал василиков в Херсонес и теперь с таким нетерпением ждал их в своем Большом дворце обратно.

И не только он — василиков из Херсонеса ждал весь Константинополь, ждала вся Империя, жизнь и будущее которой висели на волоске.

И вот наконец между темными босфорскими берегами обрисовались очертания хеландий — василики императора Василия возвращались в столицу.

Вид у хеландий был весьма жалкий — в Русском море у гирла Дуная они попали в жестокую бурю. Они плыли с разорванными ветрилами, некоторые со сломанными мачтами. Чтобы не погибнуть, рабам на хеландиях да и самим

василикам, несмотря на высокое звание, пришлось вычерпывать воду, грести, и они едва вырвались из лап смерти.

Обессиленные, изможденные, едва держась на ногах после морской качки, стояли теперь василики перед императором. Василий принимал их не в Золотой палате, а в одном из покоев. Уже много ночей его мучила бессонница, он очень волновался, страдал от сердечного недуга, да и не хотел, чтобы беседу с василиками слышали посторонние лица.

То, что услышал император, было страшным, невероятным...

— Херсонес пал... Князь Владимир сидит в городе.

— Он принял вас? Говорил с вами?

— Говорил, василевс! Он предлагает положить ряд...

Ряд! О, как утешило и сразу же подбодрило императора одно это слово.

— Что же хочет русский князь?

Василики сказали, что князь Владимир требует уплаты дани за всех воинов — живых и мертвых, которые боролись под Абидосом, — что ж, император согласен!

Правда, уплатить такую дань сейчас нелегко. Скарбница Империи давно уже опорожнена на жалованье сенаторам, сановникам, всем чинам. Уже не раз продавались сокровища Большого дворца, придется, видимо, снова торговать серебряными паникадилами, а может, и одеяниями покойных императоров — хорошо, что в Италии и Германии охотно все это покупают.

Когда василики сказали, что русский князь утверждает старые договоры о Климатах, у него словно тяжелый камень свалился с сердца; купля-продажа, льготы для русских купцов в Константинополе, их свободное передвижение, зимовья в устьях Днепра и на острове Эльферия — это все не страшило императора Василия. Правильно поступили василики, согласившись с русским князем: императоры умеют заключать договоры, но еще лучше они умеют их обходить...

Князь Владимир говорит о Болгарии — не он первый, все русские князья вечно беспокоятся об этих мисьях. Хорошо, Империя обещает их не трогать. Ныне же не Византия, а Болгария наступает на Константинополь, император Василий после поражения в Родопах долгие годы будет собирать силы.

Весьма утешило императора Василия известие о том, что Русь принимает христианство. Жаль, конечно, что князь

Владимир уже крестился. Болгары, только они, это их рука...

А впрочем, легче разговаривать с князем-христианином, чем с варваром; правда, Владимир не желает подчиняться константинопольскому патриарху — тоже рука Болгарии, их церковь уже сто лет не признает константинопольского владыку.

Тем не менее князь Владимир просит дать ему священников, церковную утварь, книги, иконы. Византия даст все это, пошлет и священников, только бы их пустили на Русь — и они сделают все, что пожелает Константинополь!

— Все? — спросил император Василий. — А Климаты, он уходит из Херсонеса?

Василики замаялись — качка, далекая дорога...

— Князь Владимир согласен положить ряд, если ты, василевс, пришьешь ему венец...

— Венец императоров ходоходному князю?

— А Климаты и Херсонес он покинет после того, как ты дашь ему в жены сестру свою царевну Анну...

Император вскочил с кресла, лицо его налилось кровью, глаза метали молнии — это был уже не чернец, а необузданный василевс... Василики молчали.

2

Рано утром, когда ветер дул к вратам Босфора, из Золотого Рога, мимо Сотенной башни, прошел на веслах в голубые воды Пропонтиды большой дромон, на самой высокой мачте которого реяло знамя Империи, за ним следовало несколько памфил, кумварий и хеландий.

Против мыса полуострова, где высились стены Юстиниана, дворцы, Софийский собор, корабли остановились, на них стали поднимать ветрила.

На палубе дромона стояла Анна:

Прошел всего лишь день с тех пор, как она кричала брату Василию, что не выйдет замуж за киевского князя и не поедет в Киев. А наутро Анна говорила со своей матерью Феофаном.

И чего не сумел добиться Василий, очень быстро удалось Феофану. Суровая, погруженная в собственные думы, но спокойная, в серебристой тунике, с красным корзном на плечах, в красных сандалиях, с украшенной жемчугом диадемой на голове, Анна стояла на палубе дромона.

Она смотрела на дворцы и терема, на собор Святой Софии, позолоченный купол которого сиял в лучах солнца и слепил глаза, на сады, высокие стены, на тополя у моря — там оставалось ее детство, братья, мать.

Теперь ей уже ничего не было жаль, Анне казалось, что у нее никогда тут не было и нет ничего родного, презрительная усмешка заиграла на ее устах, когда она вспомнила брата Василия, мать... Ей ничего теперь не было жаль!

Суда развернулись, ветер надувал все больше паруса, и дромон, пеня голубые воды, а за ним и остальные корабли стали отходить от полуострова.

Перед собой Анна видела врата Босфора, — там вставали высокие волны, густой синевой отливала вода, а сверху плыли, точно неповоротливые, тяжелые дельфины, темно-серые тучи.

Анну не путала хмурая темная даль. В Константинополе, от которого они удалялись, ей терять было нечего. Там Анна оставалась бы только родственницей, сестрой василевса. Не ей, а императору принадлежали там и слава и честь.

За дромоном поспешает целая флотилия кораблей, везут венцы князю Владимиру и царевне Анне — и он и она станут василевсами русской империи, с ней едут много священников, они везут с собой царские одеяния, церковные сосуды, иконы, ризы... Это надежное оружие, Анна очень рассчитывает на него.

И Анна совсем не думает о том, кто в далеком Херсонесе назовет ее своей женой. Не все ли равно, каков собой князь Владимир? Хочется только поскорей стать рядом с ним, надеть венец, быть василиссою.

Из Константинополя наблюдали, как корабли с василиками, данью и царевной Анной вышли из Золотого Рога, развернулись у мыса полуострова и поплыли к вратам Босфора, — все в городе молили бога послать им попутный ветер и желали счастливой дороги.

Доволен был и император Василий. В легком дивитисии, в сандалиях на босу ногу, он стоял после выхода в Золотую палату у окна своих покоев, подставляя лицо, шею и грудь свежему ветерку, веющему с заливов Пропонтиды.

Дорогой ценой покупал он на этот раз мир с русским князем. Чтобы собрать дань, пришлось снова продать венецианским и амальфинским купцам немало драгоценностей из Большого дворца, в их числе даже шлем императора Кон-

стантина Великого; пришлось Василию собрать еще и приданое сестре Анне — одеяния для нее и князя Владимира, иконы, ризы, немало греческих книг, — ищающая Византия становится еще беднее.

Однако мир выигран — Климаты с городом Херсонесом остаются фемой Византии. Как выкуп за Херсонес Василий дает Владимиру корону и сестру Анию. Василики везут в Херсонес харатию императоров, в которой золотыми буквами написано, что Византия не притязает на земли Руси над Поном Евксиным и выведет свои войска из Болгарии.

О нет, выводить легионы из Болгарии император Василий не намерен — то, что написано в харатиях, он соблюдать не собирается, пусть греческие корабли поскорее плывут в Херсонес — а император Василий повелит своим воинам идти в Родопы! Так борется император Василий за мир, так он уничтожит Болгарию... А Русь? Что для императора Василия Русь — покуда в Киеве сидели князья, Византия боролась с князьями, ныне Русь — империя, и он будет бороться с ней.

Из окон Влахерна тоже виден Золотой Рог, Пропонтида, корабли, направляющиеся к Босфору. Оттуда смотрит на них Феофано.

Это уже не та красавица, василисса Феофано, покорявшая императоров красотой, а Империю — хитростью, интригами, изменой.

Когда-то у нее были силы и здоровье — она растратила их в бешеном вихре жизни.

Была когда-то и красота — Феофано называли, не без оснований, красивейшей женщиной мира. За один ее поцелуй готовы были умереть — теперь она лишь никому не нужный, увядший цветок, брошенный на обочину дороги.

Сильную, здоровую, красивую Феофано окружали друзья, клялись ей в верности и в любви, но один не стало — она убила их собственными руками, другим Феофано уже не нужна.

Пожалуй, первый раз в жизни она была искренна, сказав дочери Ани:

— Нехорошо ты поступаешь, Ани, что не выполняешь волю брата Василия и не желаешь ехать на Русь.

— Но ведь ты сама говорила, да и я наверняка знаю, что Василий не делал и никогда не сделает добра ни тебе, ни мне.

Феофано вздохнула. То был, должно быть, первый в ее жизни искренний вздох.

— Верно, — согласилась она, — говорила и знаю, что мой сын, а твой брат Василий — нам недруг, враг... Дело сейчас, Анна, не в нем, я помню Империю и Константинополь в ту пору, — Феофано закрыла глаза и погрузилась в воспоминания, — когда во главе ее стояли жестокие, сильные люди — Константин, Никифор, Иоанн, — в то время мир боялся Империи... Василий тоже жесток, но бессилён, он окружил себя такими же слабыми, бездарными людьми. У него нет даже полководцев. Его войско — священники да монахи.

— Это страшно! — промолвила Анна.

— Да, это страшно, — согласилась Феофано, — потому что Василий — он приходил ко мне ночью — может залить кровью Болгарию, может еще раз обмануть Русь, но, верь мне, я вижу ясно, что наша Империя распадается. Мы гибнем — ты и я, гибнет Империя. Потому говорю тебе, Анна, уезжай на Русь, там ты будешь в безопасности. Там ждут тебя честь и слава.

Анна поступила, как ей советовала мать. Из окон Влахерна было видно, как греческие корабли один за другим входят в ворота Босфора и, поворачивая, исчезают за высокими скалами.

Феофано вздохнула — теперь она остается одна, совсем одна во Влахернском замке и скоро умрет.

А смерть уже близка — уже целый год Феофано болеет, не может есть, худеет, у нее часто бывает сердцебиение, кружится голова, немеют руки, ноги и беспрестанно жжет и жжет под ложечкой... Студенца — так называли врачи эту болезнь, а от нее, Феофано знает достоверно, спасения нет.

И Феофано понимает, что это конец, все и всегда побеждавшая, она не может бороться со студеницей, на этот раз немощь ее все-таки одолевает.

3

Тишина и безветрие. Русское море, казалось, уснуло: у берегов Херсонеса чуть-чуть плескалась волна, лоно вод не тревожила ни одна лодия.

Но вот на далеком небосклоне появились корабли — множество хеландий, памфил, кумварий полукругом шли вперед, за ними, на сотне длинных весел, разрывая тупым

носом воду и оставляя после себя широкий след, плыл дромон со знаменем Империи на высокой мачте.

На стены города и на ближайшие скалы высыпали все жители Херсонеса и русские воины, они смотрели, как корабли из Константинополя, обогнув узкий полуостров, плывут вдоль скалистого северного берега, круто сворачивают на юг и заходят в тихий залив Символов.

Гостей из Константинополя встречали новый херсонесский протевон и стратиг. Русские воеводы и воины стояли поодаль, на главной улице города, на ступенях у базилики Акрополя.

Едва лишь корабли остановились в заливе и на берег спустили деревянные сходни, с памфил и хеландий сошли вернувшиеся обратно василики, несколько епископов и священников в ярких ризах, монахи в черных рясах, различные чиновники со знаками отличия и орденами, писари с чернильницами у поясов.

Потом все на берегу расступились, рабы снесли по гнущимся сходням с дромона тяжелые, завешенные голубой тканью, крытые носилки, в которых, видимо, кто-то сидел.

Никто не видел, кого именно несли рабы. Колыхаясь на их плечах, носилки проплыли между рядами священников, монахов, чиновников. Вот рабы уже за стенами города; повернув налево, они направились к дому на холме, где жил стратиг, и скрылись за колоннами.

Только после этого рабы стали носить с кораблей тяжелые тюки, сундуки, огромные корчаги, мешки — множество всякого добра было на кораблях, на берегу выростала целая гора подарков.

В ризнице князя Владимира ждали прибывшие из Константинополя спафарии и китониты, знавшие досконально, как следует обрядовать императора. Тут же присутствовало и несколько священников из Киева, которые должны были усвоить эту науку.

Китониты приготавливались. На скамьях вдоль стен стояли длинные, узкие деревянные сундуки, в которых хранилось одеяние, на столе стояла сердоликовая крабница с венцом и со всеми знаками царского достоинства.

Когда князь вошел, китониты низко склонили головы.

Они надели на него длинную сорочку, натянули через голову похожий на мешок, с прорезом сверху, белый, шитый серебряной нитью крестиком скарамантий, опоясали широким поясом из черного шелка, обули в красные остро-

носые сандални, накинули на плечи пурпурную, с золотой каймой хламиду, на шею надели лоры.

Это было весьма неудобное одеяние. Если раньше князю Владимиру в его собственной одежде было просторно и удобно, то теперь он чувствовал себя, как в тесном деревянном ящике, двигаться было трудно, а воротник хламиды впивался в шею.

Князь Владимир вошел в собор, к нему присоединились бояре и доеводы, ожидавшие его выхода, и спафарин с сердоликовой крабницей.

В собор ввели царевну Анну — серебристое одеяние облегалo ее стройный стан, лицо было скрыто густым, накинутым на голову покрывалом, которое спадало на плечи и грудь.

Князь Владимир поступил так, как ему сказали, — вышел вперед, остановился перед царевной и откинул с ее головы покрывало.

Первое, что он увидел, были большие испуганные глаза Анны, темневшие на белом, подкрашенном лице, тонкий нос со вздрагивающими от напряженного дыхания ноздрями, крепко сжатые губы.

Однако все это — не только лицо царевны, но и тысячная толпа, наполнившая собор, торжественное пение хора, огни свечей — казалось Владимиру сном. Взяв за руку царевну Анну, он повел ее вперед, к алтарю, где уже стоял епископ, а на столике направо от него лежали веицы.

Епископ поднял венцы и надел их на головы Владимира и Анны, соединил их руки красным шелковым платком и благословил — отныне Анна стала царицей, женой князя Владимира, его же увенчала корона византийских императоров.

— Исполайте, деспоте!* — гремело в соборе, тысячи людей величали его, василевса, становились на колени.

И странные, доселе неизвестные чувства овладели душой князя Владимира. Он смотрел на этих людей, видел множество блестящих восторженных глаз, слышал многоголосную песню хора, который желал многия лета василевсу Владимиру и василиссе Анне, и ему трудно становилось дышать от лада и смиры.

“Отныне никто и никогда не назовет его больше сыном рабыни. Он император, подобно Василию и Константину в Византии, подобно Оттону в Германии... Отныне никто и никогда не назовет также и Русь землей варваров, языч-

* Многие лета, государь!

ников. Она стоит наравне с Византией, Германской империей, — самыми могущественными державами мира...”

Князь Владимир поднял руки и устремил взгляд к небу.

— Воззри, боже, на мя, смиренного раба твоего, прими, боже, молитву мою...

Позади остался пир, многоголосый говор, пение, словословия — в спальне, куда они вошли, долго и старательно трудилось множество рук, чтобы приготовить все для радости, счастья, любви. В серебряном подсвечнике горели семь свечей, их лучи освещали красные греческие ковры на стенах, мраморную статую Амура и Психеи, слившихся в вечном поцелуе, белоснежное широкое ложе, цветы в высоких вазах.

За распахнутыми окнами плыла ночь — чудесная, величавая, полная луна заливала голубоватым сиянием горы на мысе Парфения, тихие воды Русского моря, стены, церкви, колонны, базилики и тесно стоящие дома Херсонеса, которые теперь казались пепельно-серебристыми.

Опьяневший от вина и всего в этот день пережитого, Владимир смотрел на Анну, в ее большие черные глаза, которые, казалось, с необычайной прямоотой и покорностью заглядывали ему в душу, на белое лицо, пылавшее румянцем, полуоткрытые уста, за которыми сверкали точно две нити жемчуга, два ряда стиснутых зубов.

И вся она — с ее прекрасной, словно точеной, шеей, округлыми плечами, высокой грудью, необычайно тонким станом, крутыми стройными бедрами — по красоте была достойной дочерью своей матери Феофано. Но та уже догорала, точно вечерняя звезда, в Константинополе, а эта восходила, подобно утренней, в Херсонесе, над морем Русским.

Пораженный красотой Анны, князь, а ныне василевс Владимир робко коснулся руками ее плеч, потом обнял трепещущее тело царицы и поцеловал в горячие, жаждущие губы...

— Божественная василисса! Украшение мира! — сказал он.

— О Владимир, гиперборейский витязь! — ответила Анна.

Русских слов, выученных Анной за время путешествия из Константинополя в Климаты, и греческих, которым научился Владимир в Херсонесе, так не хватало... Но к чему слова, если само небо, луна, природа, казалось, благословляют любовь, а совсем поблизости, набегая на берег, что-то нашептывают теплые морские волны?!

Начинало светать, а князь Владимир уже за городом стоял на скале, у подножья которой глухо бились волны.

Кто знает, почему он очутился здесь в такую раннюю пору; позади осталась бессонная ночь, лишь перед самым рассветом Анна, положив ему руку на плечо, спокойно уснула, сам он тоже хотел и должен был уснуть.

Однако сон бежал от него; сняв осторожно с плеча теплую руку Анны, он встал, опустил на окне завесу, тихонько оделся и еще тише, чтобы не трещали половицы и не скрипнула дверь, вышел из опочивальни, спустился в сени, где стояла стража, и, очутившись на тихой, безлюдной улице, миновал северные городские ворота, вышел на прибрежную скалу.

За несколько прошедших от полночи часов на небе и в море все переменялось — с востока из-за гор свирепый ветер гнал разорванные серые тучи, море разбушевало; на нем повсюду вздымались волны.

Но буря гуляла не только по морю, что-то творилось в этот предрассветный час и в душе князя Владимира. Ему казалось, что он много дней шел все вперед и вперед к цели, которая лишь этой ночью была чистой, ясной, заманчивой, как месяц, небо, звезды, как вся земля.

Так почему же беспокоится Владимир — все произошло так, как он хотел, с императорами Византии заключен почетный, твердый, нерушимый ряд. Корабли привезли уже из Константинополя дань для живых и мертвых воинов. Вчера на него возложили венец, и он стал императором, взял в жены василиссу Анну, он может смело и победоносно возвращаться на Русь.

На Русь... Как раз об этом и думал князь Владимир, стоя на скале у моря... О родная земля, как была она мила, желанна, когда князь Владимир с победой возвращался в нее!

В этой земле у него был свой уголок, свой дом, своя семья, жена, дети... Но где сейчас его дом, что скажет он своей жене Рогнеде, что скажут ему дети? Заботясь о благе родной земли, что причинил он своему дому?

Он пошел вдоль моря все дальше и дальше от города и остановился под кипарисами. Обвеваемые ветром, они низко склонялись и жалобно шумели. Здесь был некрополь, заложенный в давно минувшие годы, — город мертвых.

Здесь стояли великолепные гробницы, величественные памятники, колонны, мраморные статуи; над некоторыми могилами были высечены из серого херсонесского камня надгробья, а кое-где покой мертвых охраняли лишь песчаные бугорки, покрытые высохшей жесткой травой.

Князь Владимир шел от могилы к могиле, с трудом вчитываясь в греческие буквы надписей, словно прислушиваясь к голосам тех, кто давно уже покинул этот мир.

У одной из могил он остановился надолго, разбирая письмена, и наконец все-таки понял.

На мраморной плите было высечено:

“О Юлия, радуйся! -
Ты рождена у теплого южного моря,
И стала княгиней холодной полуночной земли.
Была ты женою Тигра и Льва,
А от них родила Леопарда.
Спи же спокойно в земле Херсонесской,
Пусть Леопард идет и идет суходолом.
Ты мертвая жива на земле, желанная небу стала!”

Прочитав надпись, князь Владимир вздрогнул, холодок пробежал по телу. Кто похоронен под этим надгробьем, о какой Юлии, о каком тигре, льве и леопарде говорится в эпитафии?

Волны, все сильнее и сильнее катая камни, бились о берега, угрожающий голос прошлого, неизбежность вместе со страхом перед завтрашним днем вползали в душу василевса Владимира.

Когда князь Владимир вернулся в дом стратига, уже рассвело. Дневная стража, увидев, что князь выходил из дому, очень удивилась. Еще больше диву давались восводы, бояре, свита Анны, священники.

Низко поклонившись князю, когда он вошел в сени, все они растерянно и взволнованно посмотрели на него, но никто не промолвил ни слова. Он ответил на их приветствия и поднялся по лестнице наверх.

Царица Анна уже встала, в коридорах бегали ее слуги, в самой спальне несколько женщин заканчивали ее наряд.

Когда князь Владимир переступил порог, все они быстро вышли из опочивальни. Владимир остался с Анной наедине.

Его удивило, что, несмотря на раннюю пору, Анна была уже в своем царском одеянии — серебристой, с золотыми пальметтами тунике, на голове ее сверкала легкая диадема из драгоценных камней, плечи покрывала пурпуровая хламиды.

— Сегодня у нас большой или средний выход? — спросила Анна.

Владимир даже не понял ее вопроса.

— В Константинополе, в Большом дворце, — объяснила она, — василевсы ежедневно устраивают большие, средние и малые выходы: большие — в храм Софии, средние — в другие храмы, малые — в первый день великого поста, и соответственно с этим надевают белые, пурпурные или черные одежды, показываются или не показываются народу...

Князь Владимир улыбнулся.

— Я буду выходить к воеводам, боярам и прочим людям своим, — ответил он Анне, — по-прежнему и днесь поступлю, как всегда. С Херсонесом покончено, надо собираться в Киев.

— Но ведь ты выйдешь к своим сановникам, полководцам, воям?

— Я был уже в городе, ходил далеко, к морю.

— Ты был в городе, ходил к морю? — Анна широко раскрыла глаза. — И с тобой были твои сановники, полководцы, вои?

— Нет, — Владимир тяжело вздохнул. — Я ходил в город, потом к морю и долго там стоял...

— Один?

— Так.

Глаза, лицо, весь вид, движения Анны говорили, что она не понимает, как ее муж — князь Руси и василевс Владимир — может выйти один из дому, пойти к морю, долго там стоять — ведь в Константинополе, в Большом дворце все делалось иначе, василевсы и василиссы жили, окруженные этерией, не смели шагу ступить без сановников и точно соблюдали церемониал.

— Значит, ты сделаешь выход сейчас? — все попыталась Анна.

— Так, — торопливо бросил Владимир, — сейчас мы выйдем вместе с тобой, сойдем вниз и позавтракаем, потом я уйду в город, чтобы осмотреть лодии, на которых мы поплывем в Киев.

— А что я должна делать? — спросила Анна, пожав плечами.

— Тебе тоже надо собираться: дорога далекая и трудная.

— Хорошо! — процедила Анна. Теперь она поняла своего мужа.

— Пойдем! — сказал Владимир.

— Я готова, — ответила Анна, оглядывая тунику и хламиду... Потом на какой-то миг задержалась, сняла с головы диадему и положила ее в стоявшую у постели крабицу.

За дверью опочивальни их ждали воеводы, бояре, василики, свита царицы, китониты, державшие в руках длинные ящики с одеждами князя.

Все они низко поклонились Владимиру и Анне, а воевода Волчий Хвост, подойдя к князю, прошептал:

— Эти греки хотят надеть на тебя царское одеяние и венец.

Но князь Владимир и без того понял, зачем они собрались.

— У нас на Руси, — сказал он, — люди привыкли одеваться сами, и князья русские — также. Царские одеяния, бояре мои, возьмите и спрячьте, я буду надевать их при разговоре с императорами, с моими же людьми буду, аки князь.

Вперед выступили василики.

— Василевс, князь Владимир! — начал патрикий Фригий. — Наступил день нашего прощанья, мы сделали все, днесь надеемся отплыть в Константинополь.

— Я тоже сделал все, тоже собираюсь покинуть Херсонес. Что ж, значит, пожелаем друг другу счастливой дороги.

— От всей души желаем тебе и царице счастливой дороги.

— Счастливого плавания и вам, василики, желаю здоровья, счастья, многих лет и шурьям моим, вашим императорам.

— Спасибо, княже-василевс, желаем и тебе с царицей здоровья, счастья, многих лет жизни. Однако дозволь просить, василевс, как будем мы блюсти ряд с Русью. Кто из нас поедет с тобою в город Киев?

— А зачем вам ехать в Киев?

— Не о нас речь, мы уезжаем в Константинополь, но мы полагаем, что с тобой в Киев поедет наш епископ и священники.

— А епископу зачем ехать?

Василики растерялись.

— Императоры наши держали совет с патриархом Николаем ХризOVERгом, он посылает епископом на Русь Михаила...

— Напрасно молодые императоры, — со злой усмешкой промолвил Владимир, — беспокоили старого патриарха Николая... Я сказал вам, василики, до вашего отъезда, ког-

да посылал вас в Константинополь, что на Руси будет не епархия византийского патриарха, а наша, русская, епархия.

— Но ведь и для русской епархии необходим епископ! — воскликнули василики.

— У меня уже есть епископ, я избрал его сам.

— Кто же он?

— Священник Анастас станет отныне епископом на Руси.

— Анастасий вероотступник, патриарх Николай предал его анафеме! — закричали василики во главе с епископом Михаилом.

— Патриарх Николай, — сказал князь Владимир, — может предавать анафеме только тех своих пастырей, иже суть в Византии. Я же властью, данной мне императорами, благословляю и назначаю епископом Руси Анастаса Корсунина.

Василики и епископ начали перешептываться.

— Перехитрил нас князь Владимир, как и его бабка Ольга.

— Я выслушал вас и сам сказал, что думал, — закончил князь Владимир. — Будем собираться в дорогу, со мной в Киев поедут ваши зодчие, учителя, и если кто из священников пожелает ехать в Киев — милости просим... А теперь, гости дорогие, прошу вас разделить со мною трапезу.

Князь Владимир с Анной впереди, за ними бояре и воеводы, потом греческие василики, священники направились в трапезную, где для них был приготовлен русскими воинами обильный завтрак: жареные журавли, лебеди, соленая свинина, копченые медвежьи окорока, утки, гуси, отсвечивающая янтарем вяленая рыба из устья Днепра, сочиво, горох, фасоль, всякие ухи, сырники, кисели, меды, вина, ол, квасы...

Было что поесть, что выпить. Не успели и оглянуться, как обиды, ссоры, свары потонули на дне чар, корчаг, братин, а из окон вскоре полилась и зазвучала над морем величавая песня.

5

В тот же день князь Владимир в белом платне, с непокрытой головой, с мечом у пояса вместе с воеводами и боярами объехал стоявшие за городом конные полки, которые

готовы были двинуться в дальнюю дорогу, и спустился к заливу Символов, где снаряжались к отплытию лодии.

Работа на берегу залива кипела: на лодии грузили дань, привезенную из Константинополя, и ту, которую князь Владимир решил взять с побежденного Херсонеса.

Многое что хотелось ему увезти из Херсонеса: и чудесную мозаику из забытых храмов, привезенную еще из городов Эллады, и мраморные статуи тех же времен, что лежали сваленные за стенами на берегу моря, и дивные иконы старого письма, на которых боги изображались, как живые люди, — в столице Климатов можно было найти немало диковинок для того времени.

Но на лодию, да и на десяток лодий не возьмешь всего, что манит взор и тешит душу князя Владимира, пройдет много лет, прежде чем богатства, созданные лучшими мастерами мира, широкой рекой потекут на Русь, а еще через десятилетия мир удивится и обомлеет перед богатством души русского человека...

Тем временем на одну из лодий с громкими криками воины тащили вылитых из бронзы диких коней, которых укрощали смелые наездники, на другую грузили мраморные статуи — далекие воспоминания об Элладе. Трудились и священники, бережно укладывая в лодии иконы и церковную утварь.

Епископ Анастас настаивал на том, чтобы взять с собой в Киев мощи святого, которые покоились в Херсонесском соборе.

— Но святой — папа римский?! — диву давался князь Владимир.

— Святой Климент воистину был римским папой, но его выгнали из Рима, и всю жизнь свою он провел в Херсонесе, тут и умер.

Мощи папы Климента положили на одну из лодий.

Долго беседовал князь Владимир и с зодчими Херсонеса, у которых давно уже не было работы в родном городе, — одни из них соглашались ехать в Киев сразу, чтобы строить храмы и дворцы, другие обещали прибыть на Русь позже.

— Нам сопутствует удача, — поглядывая на небо, облака и море, говорил своей старшей дружине Владимир. — Подул восточный ветер, а тутошние люди сказывают, коли он уж поднялся, то будет дуть и быстро погонит наши лодии к устью Днепра. Завтра на рассвете выйдем в море. Комонное войско может выступить нынче к вечеру, чтобы поскорее миновать Хазарскую переправу и выехать в

поле. Там, — князь Владимир протянул руку на север, — у острова Григория, пусть комонники ждут, чтобы помочь нам, лодии наши днесь, — указал на воинов, которые вта-скивали бронзовых коней, — тяжелы суть. Выше порогов будем рядить, как рушати к Киеву-городу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1



окинув Херсонес, лодийное воинство князя Владимира, туго натянув паруса, подгоняемое восточным ветром, миновало Климаты, Керкентиду, собралось на белых берегах лукоморья и медленно стало подниматься вверх по Днепру.

Среди лодий плыл и княжеский насад с двенадцатью гребцами. На корме поверх настила был выстроен настоящий теремок о двух прокоях; гребцы же и слуги жили под настилом и спали вповалку прямо на днище.

Покуда лодийное воинство шло по морю и Днепру, комонники, быстро миновав Хазарскую переправу, вихрем промчались по дикому полю и, остановившись на левом берегу Днепра напротив острова Григория, стали поджидать князя.

Почти неделю, работая с утра до поздней ночи, волокли они лодии вдоль порогов, подкладывая под днища катки, толкали руками, плечами, грудью, обливаясь потом, преодолевая с величайшим трудом каждую пядь.

Наконец пороги остались позади — теперь до самого Киева стелилась торная дорога через поле для комонного войска и спокойная гладь Днепра — для лодий, на которых плыло воинство и князь Владимир с женой Анной.

Князь Владимир рассказал царице Анне, какова будет дальнейшая дорога.

— Мы миновали пороги и теперь направляемся прямо в Киев — часть воинства на конях, другая — в лодиях.

— Надеюсь, мы с тобой в лодии? — спросила Анна.

— Ты поедешь, как и до сих пор, в лодии, — ответил ей князь, — а я отправлюсь с комонным войском.

— Ты оставляешь меня одну?

— О нет, теперь я тебя не оставляю, — улыбнувшись, сказал Владимир, — но я должен быть в Киеве раньше, чем придут туда лодии.

— Зачем трястись тебе на коне, если гораздо удобней плыть в лодии?

— Я привык на коне, — ответил Владимир, — и в Киеве должен быть раньше, чтобы подготовиться и достойно встретить тебя.

— Тогда поезжай — готовься, встречай... И помни, мысли мои с тобой, день и ночь молюсь за тебя!

Она обняла его, поцеловала. За то короткое время, что они прожили, Анна уже раскусила суровый и решительный нрав Владимира и знала, что лучше ни в чем ему не перечить.

Ей не приходилось насиловать себя: воспитываясь среди знати в Армении, потом в Константинополе и имея перед собой такой пример, как мать — Феофано, Анна неизменно была приветлива, ласкова, мила даже с людьми, которых в душе ненавидела.

Так поступала она и тут, на Руси, путешествуя из Херсонеса в Киев: обнимала Владимира, целовала, шептала нежные слова, а в то же время присматривалась к нему и размышляла, как ей быть.

Тем более что князь Владимир делал правильно, собираясь достойно встретить ее в Киеве. Здесь, на лодии, Анна не останется одинокой — с ней едут ее придворные женщины, послы, священники, слуги...

Было утро. Лодии отчаливали одна за другой от берега и выстраивались на широком полноводном плесе Днепра в ключи. Князь Владимир, сидя на коне перед старшей дружиной, долго смотрел, как они плывут по голубой, точно бирюза, глади и медленно исчезают вдаль, потом ударил коня и помчался во главе войска в поле.

Князь покинул лодийное воинство и царицу Анну не случайно. После всего, что произошло, ему хотелось на какое-то время остаться одному среди тишины дикого поля с дружиной, которая ни о чем не спрашивает.

Это напоминало давно минувшие годы, когда он — мятежный, трепетный, смятенный, — покинув Киев, отправлялся с дружиной за Днепр, в поле, ехал под размеренный

глухой конский топот многочисленного воинства и слушал возникавшую внезапно где-нибудь далеко позади песню, которая катилась и катилась по полю:

Гей, во поле, во поле гостинец темнеет,
Гостинец темнеет, могила чернеет,
Могила чернеет, а кости белеют...
Гей, да гей, да гей!

И его душу охватывал дивный покой, дышалось легко, свободно, он видел перед собой ясную цель, хозяйским оком оглядывал землю, знал и верил, что если встретит вражескую орду, то победит ее и со славой вернется назад, — о, какие чудесные, порой трудные, но исполненные спокойной суровостью были те дни.

И сейчас все было так же, как и раньше, — высоко, точно бездонная чаша, простерлось теплое голубое небо; вокруг, сколько ни смотри, стелется покрытое серым ковылем поле, всюду по нему, точно крепости славы, высятся рядами, кое-где и порознь, курганы, а на них стоят вытесанные из дикого серого камня русские богатыри — они опустили руки и смотрят мертвыми, но вечно живыми глазами на восток, на запад, на юг — во все стороны, откуда шли и идут вражеские орды...

И все-таки князю Владимиру грустно, — всю жизнь душа его была мятежной, неусмиримой, всю жизнь ее тревожили сомнения и колебания, но сейчас и сомнений этих стало больше, и жизнь стала трудней — еще трудней.

Конечно, победа в Херсонесе — честь и слава для Руси, вечно унижаемая и попираемая отчизна стала равной империям, люди русские, жившие по древнему закону и обычаю, присоединят к своим богатствам сокровища и достояния всего мира.

Примет ли все это Русь сразу, как насущную потребность, как суровую необходимость, будут ли единодушны в новом законе земли и города, низвергнут ли люди старых богов, с которыми жить далее уже нельзя?!

Нет, князь Владимир понимал, что победа на брани с ромеями — только начало великой уособицы на Руси; как и некогда, душа его предчувствовала впереди страшные грозы, единственное, что поддерживало его в этот час, была уверенность, что он, стоя на распутье, правильно рассудил и глубоко уловил в будущее.

Великой ценой далась эта первая победа! Сколько горя, мук испытают еще русские люди, сколько прольют они слез, как тяжело, невыразимо тяжело сейчас и самому князю Владимиру.

Глухо бьют и бьют копытами кони, высоко в небе висят и звенят-звенят жаворонки, перед глазами стелется безграничное поле, поросшее серым ковылем, мелькают курганы, стоят на них каменные богатыри.

А где-то по левую руку широким Днепром от берега к берегу, от излучины к излуцине плывет лодийное воинство и насад с теремом, а из его оконца поглядывает на Днепр и голубой плес царица Анна.

Она чудесная, удивительно красивая. Может быть, как говорят греки, она и в самом деле одна из красивейших женщин мира, но князю Владимиру не нужна ее красота, не о ней он грезил, не ему, с любящей, верной женой Рогнедой и многочисленной семьей, не ему, который, обольстившись невесткой Юлней, до сих пор расканваается в любовном грехе, добиваться любви греческой царевны.

Однако все это произошло, ничего уже изменить нельзя. Сегодня, когда князь Владимир едет в поле далеко от царицы Анны, ему легче, потому что он не любил, не любит и никогда ее не полюбит, но Киев все ближе и ближе, там жена Рогнеда, боги, люди. О, какой дорогой ценой заплатил он за победу! Неизлечимая рана зияет в его сердце!..

Ехали день за днем, миновали Гадяцкое на Псле, Переволуку над Сулою, а вскоре после Переяслава перед их взорами открылся и город Киев.

2

В первый же вечер по прибытии в Киев князь Владимир пошел к Рогнеде — не в силах больше мучиться и страдать, он хотел поговорить с ней откровенно, как им теперь быть.

Рогнеда знала, что произошло в Херсонесе. Она ни о чем не допытывалась, но жены бояр, воевод и даже слуги говорили, что князь заключил с ромеями в Херсонесе мир, взял себе в жены царевну и стал василевсом.

И вот князь прнехал с комонным воннством в Киев, а царица Анна следует на лодии.

Рогнеда поняла, едва лишь Владимир переступил порог светлицы, зачем он пришел в этот вечерний час, она знала,

что рано или поздно между ними состоится разговор, не думала только, что все произойдет так быстро.

Беспокоило княгиню и то, что о событиях в Херсонесе стало известно детям, несколько дней они избегали ее, и не потому, что не хотели с ней говорить. Нет, не знали, что сказать матери, как помочь ей в большом семейном горе.

Особенно волновался Ярослав, раз и другой заходил он к ней, но так ничего и не сказал. Как-то мать заметила у него на глазах слезы; три дня тому назад Ярослав поехал от отчаяния на ловы за Днепр и там повредил ногу и теперь лежал тут же, в тереме, в соседней светлице.

Однако думать о том сейчас не приходилось — князь Владимир стоял на пороге в темном платне, в котором обычно ходил на брань, с мечом у пояса, с непокрытой головой — только усталый, худой.

— Добрый вечер тебе, Рогнеда!

— Добрый вечер и тебе, Владимир...

Он не подошел, не обнял ее, не поцеловал, как бывало, а медленно пройдя вперед, тяжело опустился на скамью, даже меч загремел по полу, и склонил голову на руки.

— Я пришел к тебе поговорить...

— Что ж, говори, Владимир, я давно этого ждала.

— Буду откровенен, Рогнеда... Случилось то, чего не хотел, о чем не думал...

— Дивлюсь, что так говоришь, — ответила Рогнеда. — Ты, помнится, хотел победить Византию — и вот победил. Ты хотел стать наравне с императорами — и ныне ты называешься василевсом. Ты задумал окрестить Русь — и окрестишь ее...

— Тебе, вижу, — промолвил Владимир, пытаясь улыбнуться, — точно известно, что произошло в Херсонесе, лишь одного ты не знаешь...

— Нет, Владимир, — сказала Рогнеда, — и то единое я знаю. Ты — василевс, поелику стал мужем царевны Анны... Спасибо тебе, Владимир, что не привез ее сюда сразу, а приехал один — велика Гора, но тебе с двумя женами тут было бы тесно... Боже мой, — воскликнула Рогнеда, и в ее голосе звучала великая боль, — когда-то тоже ты приехал на Гору один, меня же позвал позднее, ныне царица Анна плывет где-то в лодии, ты же решаешь здесь мою судьбу.

— Ты смеешься надо мной, Рогнеда?..

— Нет, никогда, верь мне, не смеялась я над тобой, просто говорю о суетном мире — какой он безжалостный и жестокий.

— Неужто ты думаешь, что мне было легко жить в этом мире?

— Нет, василевс Владимир, не думаю, чтобы тебе было легко жить, если когда-нибудь люди узнают твою жизнь, они содрогнутся...

— И проклянут? — спросил Владимир.

— Нет, не проклянут, ведь ты любишь Русь более себя, а за это можно все простить, все забыть... И я, Владимир, понимаю, знаю, ты долго мучился и страдал. Ты должен был идти против ромсеев, положить новый ряд, принять христианство...

Она умолкла.

— Должен был ты, Владимир, и стать василевсом, надеть корону, ты достоин этого, иначе не был бы и русским князем... Помнишь, когда ты шел на брань с ромеями, мы говорили с тобой об этом...

— Помню, — тихо промолвил Владимир.

— Одного не разумею, — закончила Рогнеда, — как мог ты, имея жену, думать о другой и, ничего мне не сказав, обвенчаться с нею?

— Рогнеда! — приложив руку к сердцу, сказал Владимир. — Когда я шел на брань, ни о какой царевне не думал, полагая с императорами ряд, о том и не помышлял, но греческие императоры суть лживы и хитры, не верил им и не верю, вот и потребовал у них руки царевны Анны...

— Видать, очень боятся тебя императоры, коли согласились выдать за тебя свою сестру... Но Анне ты веришь?

Нахмуренный и суровый, Владимир коротко отрезал:

— Назвав ее своей женой, не могу и не хочу о ней говорить...

Рогнеда поняла боль Владимира, который не изменял своему слову.

— Прости, Владимир, — промолвила она. — Я словно и позабыла, что все уже свершилось. Добро, не будем о ней говорить... Но про себя самого скажешь?

— Про себя? Скажу...

— Только всю правду, не бойся, какой бы она ни была для меня горькой: ты любишь царевну Анну?

Владимир закрыл глаза и, стиснув губы, долго молчал, потом посмотрел на Рогнеду и промолвил:

— Видишь, я долго думал, прежде чем ответить тебе, ведь... о таких вещах обычно не спрашивают. Но нет, ты, Рогнеда, имеешь право и должна была спросить...

Он снова умолк, ему трудно было сказать правду так, чтобы она поняла его и не так сурово осудила, ей эти слова были необходимы, они облегчали страдания раненого сердца.

— Добро, — промолвил Владимир, продумав все до конца, — тревожила меня не ее красота, до той поры я никогда и не видел Анны, но, увидав, был поражен. Однако, верь мне, не любил и сейчас не люблю ее. Ужасаюсь тому, что случилось, будь моя воля — повернул бы все вспять... Вот и поведал тебе всю правду.

— Нет! — решительно ответила Рогнеда. — Как не повернуть вспять Днепра, так не повернуть нам жизни и счастья. Ты создал империю Русь, сам стал василевсом, женился на греческой царевне, но... — она помолчала, — мне жаль тебя.

— Рогнеда! — крикнул он. — Ты можешь днесь поведать все, в твоих речах одна правда... Но не говори, что жалеешь меня, я не токмо василевс, но и человек.

— Больше и не скажу, я все сказала...

— Как все? Что же мне делать?

— Почто меня спрашиваешь? Ты сам выбрал свой путь в жизни, не стану поперек, уйду с Горы.

— Так, — Владимир вздохнул, — теперь понимаю, что произошло — отныне я один должен здесь мучиться и страдать, ты покидаешь меня...

— Не я это сделала, а ты, Владимир.

— И это понимаю...

Воцарилось молчание — тяжелое, томительное. Двум совсем еще недавно родным, близким людям хотелось многое сказать, поделиться, их души в последнем порыве тянулись одна к другой, как, наверно, еще никогда не бывало. Но сказать они уже ничего не могли — суровая жизнь воздвигла между ними стену и разъединила навеки...

Князь Владимир первый нарушил нестерпимое молчание.

— Рогнеда! — промолвил он в отчаянии от всего наболевшего сердца. — Прости, я виноват, один отвечаю за все. Но позволь мне одно — позаботиться, чтобы ты не мучилась, не страдала...

— Чем же теперь можешь мне помочь?

— Поезжай, Рогнеда, в город отца своего, в Полоцк, я дарю тебе всю эту землю.

— Ты очень щедр, Владимир, — промолвила Рогнеда и с горечью посмотрела на мужа. — Как пойду я в город отца своего, что скажут тамошние люди?.. Когда-то в Полоцке мне было так хорошо, так спокойно, а ныне будет тяжело, как нигде.

— Тогда, молю, возьми себе один из городов, выбери из бояр моих, кого хочешь, дам тебе золота, серебра...

— Нет, — решительно ответила Рогнеда, — взять у тебя город, быть твоей рабой, рабой земного василевса, не могу. Видеть перед глазами твоих бояр такожде не в силах, будут убо они рабами мне. Золота и серебра — не надо, ими не купишь душевного покоя. Коли ты, Владимир, хочешь царство земное и небесное восприять, то я на земле царства не ищу, но стать Христовой невестой жажду, — может, хоть после смерти, душа моя обретет покой, успокоение, любовь...

— Что ты задумала?

— Неужто не понимаешь, Владимир? Хочу постричься, принять монашеский чин.

— Монашеский чин? — вырвалось у Владимира. — Нет, ты не можешь, не смеешь так делать...

Рогнеда вдруг изменилась в лице, глаза стали суровыми, даже грозными, лицо очень бледным, просто белым.

— Почему ты этого не хочешь?

— Моя жена — черница в городе Киеве, где я сижу князем?! Нет, это выше моих сил, Рогнеда!

— Напрасно ты боишься, Владимир! Я ведь больше тебе не жена, стать же черницей хочу не для людей, а ради своей души; все делаю лишь для того, чтобы легче тебе было, жажду покоя и тишины, а ты не хочешь мне их дать? Жестокый ты, несправедливый василевс! Тогда... тогда убей мое тело, как убил душу...

Это была последняя капля, переполнившая чашу горькой обиды, Рогнеда упала на колени, схватилась за голову и простонала:

— Вынь из ножен меч и убей меня, убей!

В это мгновение внезапно распахнулась дверь соседней светлицы, и на пороге появился княжич Ярослав.

Необычайно бледный, в одной длинной белой сорочке, он опирался на меч.

— Мати! — крикнул Ярослав. — Кто хочет убить тебя, почему ты на коленях?

Несдержанный и решительный, он выхватил меч из ножен.

— Ярослав! Сын! — взмолилась Рогнеда, поднимаясь с колен. — Как ты встал с поломанной ногой?.. Дай руку, я отведу тебя на ложе.

— Я слышал крик, вижу тебя поверженной на коленях, отец хочет тебя убить...

— Нет, сын, нет, — ответила она. — Он не хотел, не хочет убить... Мы только говорили с ним, слышишь, говорили. Иди, сын, молю тебя... — Она схватила его под руки и силой оттащила к двери.

Владимир стоял все это время у окна, смотрел на Днепр, его косы, но ничего не видел. Когда он обернулся, Ярослава в светлице уже не было, а Рогнеда, склонив голову на руки, сидела на скамье у стола.

Владимир подошел к ней. Он знал Рогнедин нрав, — решив что-либо, она никогда не меняла решения. А разве он мог что-либо изменить?! Значит, наступила минута прощания, уже вовек им не встретиться, не свидеться...

— Прощай, Рогнеда! — тихо промолвил Владимир. — Прости и делай, как знаешь.

С ее уст сорвалось одно лишь слово:

— Прощай!

Когда Владимир вышел, Рогнеда еще долго-долго в глубокой задумчивости сидела у стола. Она не плакала, нет, слезы иссякли, уста не шевелились, им нечего уже сказать, все тело стало неподвижным, бесчувственным.

Потом она встала и направилась в соседнюю светлицу. Там, на ложе в углу, лежал, уткнувшись головой в подушку, Ярослав.

— Сын мой! — спросила она, сев возле него. — Что с тобой?

На нее смотрели грустные, подернутые тоской, совсем не детские, суровые глаза.

— Что с тобой? Зачем ты встал? Нога болит?

Он потряс головой, словно хотел отогнать не дающие ему покоя мысли.

— Нет, нога у меня не болит. Что нога, болит сердце, душа... Я все слышал, знаю, как он тебя обидел и не токмо тебя — всех нас, детей, меня...

— Храни тебя боже думать об этом! — воскликнула Рогнеда. — Он меня не обижал, сынок. Он ничего со мной не сделал и не сделает, Ярослав... И не мне он причинил зло, а себе...

Она задумалась, приложила руку ко лбу, стараясь собраться с мыслями.

— Он не такой, как ты думаешь, — продолжала она. — Он добрый, хочет блага всем людям. Но где оно — это благо? Еще нет любви в сердце, нет и добра, нет жизни...

— Ты не все говоришь мне, мати, — но я понимаю, — сказал Ярослав. — Слушай! Ты поступила достойно, что отказалась от отца-василевса, ты воистину царица царицам и госпожа господам, еще славу жизни сменила во славу грядущего, но я...

— Ты не кончил, Ярослав...

— Но я все сказал о тебе... А о себе только добавлю: я никогда не прошу это своему отцу...

3

В эту ночь княгиня Рогнеда не ложилась. На Горе погасли огни, из-за Днепра, отражаясь желтым кругом на плесе, выплыла луна. Киев, предградье, Подол охватила глубокая тишина, время от времени прерываемая голосами стражей на городнищах да криками испугнутых птиц у несчастных днепровских кос и мелей; все, казалось, спало — земля, вода, небо.

Не спала лишь княгиня Рогнеда: сидя у раскрытого окна опочивальни, она смотрела на городские стены, днепровские кручи, далекие леса и луга — и ничего не видела; слушала приглушенные шумы и голоса ночи — и ничего не слышала; бесконечные думы наплывали одна за другой — нерадостные, тоскливые, безнадежные.

Рогнеда вспоминала, как в далекие дни молодости искренне полюбила князя Владимира и, словно драгоценный дар, пронесла эту любовь в своем сердце через всю жизнь.

Разная на свете бывает любовь — одни отдаются ей целиком, но очень скоро убеждаются, что все лишь ложь и обман; другие любят так бурно, с таким сердечным жаром, что сгорают в этом огне; счастливы те, кому судьба даровала внешне спокойную, но неугасимую любовь — она, точно солнечный луч, согревает сердца живущих...

Рогнеда полюбила князя Владимира внезапно, после страшной бури, которая смела все дорогое, что у нее было на свете, когда, как ей казалось, лучше уж не жить, — и вдруг перед ней явился тот, кого она еще накануне ненавидела и проклинала, кто убил ее отца и братьев, но кто оказался намного лучше, справедливее, сильнее, чем все люди.

Она отдала ему все: девичью честь, красоту, сердце — полюбила так, что позабыла горечь утраты отца, братьев, покинула отчий дом, пошла за любимым и готова была идти с ним рука об руку, кем бы он ни был — князем или рабом, куда бы он ни повел ее — на жизнь или смерть, и это не было безумством, нет, это была настоящая любовь.

Недоставало в их любви лишь одного, что позднее всегда болезненно задевало сердце Рогнеды. Она не сказала тогда о своей безмерной страстной любви, а Владимир — суровый воин и князь — не сумел сказать о своей. Но разве люди должны неизменно об этом говорить? Любовь освящает жизнь, жизнь утверждает любовь!

И разве жизнь не утвердила их любовь? Двадцать пять лет — о, как это много, и все эти годы они прожили в заботах, в неустанном труде, князь Владимир ходил без конца в походы, она была ему верной женой, княгиней, хозяйкой большого, богатого дома, матерью живых и умерших детей...

Этого, казалось, было довольно, чтобы доживать жизнь, князь Владимир достиг всего, чего хотел. Рогнеда была ему достойной помощницей. Они вместе выпестовали крепкую семью, в недалеком времени их ждала тихая, спокойная старость...

Что же случилось? Поздняя ночь, княгиня Рогнеда сидит у раскрытого окна, видит в небе месяц, днепровский плес, на нем рябит, отливая серебром, дорожка... Все, как прежде, все совсем не так, ибо не спит она, а рядом в тереме не спит, наверно, и князь Владимир, но они не могут пойти друг к другу, Рогнеда не смеет больше склонить усталую голову на его сильное плечо, они мучаются и страдают, а где-то далеко-далеко, там, где кончается лунная дорожка, плывет лодия, она доставит в Киев царицу Анну.

Что же это — любовь?! Нет, Рогнеда верит Владимиру, не любил и не любит он царицу Анну... Измена? Нет, Рогнеда боится даже вымолвить это слово, ибо изменяют, только если до этого любят по-настоящему... Тогда — неправда, ложь, обман?!

Но что обида, легкомысленная измена и даже неправда для любящего сердца? В эту позднюю ночную пору, несмотря на все, что случилось, невзирая на боль, горечь, отчаяние, Рогнеда чувствовала, что любит Владимира так же точно, как любила когда-то, на заре своей молодости, а может быть, даже больше, ибо все проходит, все кончается, только настоящая любовь не умирает, подобно дивному камню измарагду, что вечно излучает свет. Она — звезда, которая тем ярче светит, чем ночь вокруг темнее.

Впрочем, что значит ее, Рогнедина, любовь, горько то, что он — князь Владимир — не любил и уже не полюбит и никогда-никогда не узнает цену ее любви.

А ночь шла... Среди тишины Рогнеда услышала, как на Горе застучали копыта и затихли у терема... Очнувшись от раздумья, княгиня вспомнила, что она сама велела ровно в полночь запрячь в возок пару лошадей. Велела! — это звучало теперь странно, но последний наказ княгини Рогнеды выполнен — лошади стоят у терема.

Что ж — так тому и быть! Сейчас Рогнеда навеки оставит терем, светлицы, все вещи, к которым так привыкла, и эту опочивальню, в углу которой стоят два ложа... Два ложа, окно, из которого виден Днепр, ветви, к которым можно дотянуться рукой, цветы, — о, сколько хорошего, нежного, ласкового пережито за долгие годы в этой опочивальне. Прощай, прощайте!

На миг мелькнула мысль — переходами отправиться к князю Владимиру и попрощаться с ним? Нет, они уже попрощались. Ни она ему, ни он ей ничего уже не смогут сказать...

“А может, — подумала Рогнеда, — он устал с далекой дороги и спит? Нет, я не смею и не стану его беспокоить...”

Однако она покидала не только мужа — оставались дети, с ними она хочет и должна попрощаться.

Рогнеда зажгла свечу и направилась в переходы, где было безлюдно и очень тихо, зашла в опочивальню Предславы и в соседнюю опочивальню сыновей.

Все они спали: при свете месяца и желтоватого сияния свечи Рогнеда смотрела на их спокойные лица...

“Прощайте! — не смея сказать громко, чтобы не разбудить детей, подумала мать. — Прощайте, мои дети, не забывайте лхном свою мать, не осуждайте ее, может, когда-нибудь вы поймете и будете мне благодарны...”

И все-таки Рогнеда не удержалась — если нельзя уже всех, то она поцелует хоть одного ребенка. Тихо склонившись к дочери Предславы, поцеловала...

Предслава проснулась, раскрыла глаза, увидела перед собой лицо матери, щеки, по которым катились слезы.

— Мати! — прозвучало в опочивальне.

Рогнеда погасила свечу — ложе, дочь, обстановку освещал теперь лишь лунный свет...

— Ты чего, мати?

— Спи, спи, дочка...

“Это только сон”, — подумала Предслава и снова смежила веки...

В переходах Рогнеду ждала ключница Амма, одетая по дорожному: на голове шаль, на плечах опашень.

— Так что же теперь будет? — спросила Амма у Рогнеды.

— Ты о чем говоришь? — удивленно спросила Рогнеда.

— Ведь ты, княгиня, уезжаешь отсюда?

— Да, уезжаю...

— И я еду с тобой... Что нам брать?

Старая ключница, кормилица Рогнеды, растившая и нянчившая ее, смотрела сейчас любящими глазами на княгиню и готова была идти за ней хоть на край света.

Но Рогнеда была уже не такой, какой знала ее Амма, — на ключницу смотрели несказанно грустные, задумчивые, отсутствующие глаза, и голос у Рогнеды был иной — решительный, твердый, холодный...

— Я уезжаю отсюда, Амма, навеки...

— Куда? Куда, княгиня?

— Не спрашивай! Я буду недалеко, но никогда не приду сюда, и никто с Горы не должен приходить ко мне.

— Уйдем вместе, княгиня?

— Нет. Ты останешься тут, будешь кормить и присматривать за детьми, ты должна заботиться и о князе... Слышишь? Так и делай — и прощай, Амма! Ты заменила мне когда-то мать — и я этого никогда не забуду, так замени же теперь меня.

Княгиня обняла и поцеловала Амму. Они вместе вышли во двор. Там, у крыльца, стоял запряженный парой лошадей крытый возок. Княгиня Рогнеда села. Коня тронулись. В оконце возка проплыло ее бледное лицо...

4

Рогнеда ошибалась, думая, что князь Владимир спит, — нет, он даже не ложился и слышал, когда она прошла по переходам, видел, как села в возок и скрылась за воротами Горы.

Боль терзала его душу и сердце. Он понимал, что Рогнеда поступает правильно, покидая Гору, что они должны разлучиться и чем быстрее это произойдет, тем лучше будет им обоим...

Ему хотелось одного — попрощаться с Рогнедой как-то более человечно, искренне, душевно. Увидав возок, а затем Рогнеду, он порывался выбежать во двор, подойти к ней, может, обнять, поцеловать, — пусть все знают, как им тяжело!..

Но вокруг притаилась Гора, с виду сонная, в действительности — недремлющая, настороженная, денно и ночно следящая за тем, что делается в княжьем тереме; Владимир не вышел, он смотрел, как возок покати к воротам, повернул и скрылся...

И князю стало легче — не он, а сама Рогнеда рассудила, как следовало сделать, она избрала свой путь... Пересуды, нет, даже пересудов на Горе не будет — княгиня вольна поступать, как велит ей сердце и разум.

— Но князь Владимир все же не мог понять, почему Рогнеда, которой он жаловал лучший город Руси и которая владела большими сокровищами тут, на Горе, оставила все свое богатство и, ничего с собой не взяв, уехала в темную ночь?

На рассвете, когда к нему пришел воевода Волчий Хвост, князь узнал, что делала Рогнеда ночью.

— За воротами Горы, — рассказал воевода, — княгиня велела ехать в церковь, что над Почайной. Там ждал ее священник, окрестивший и постригший ее в черницы. И она тотчас уехала на Предславинский двор. Нет больше княгини Рогнеды, есть монахиня Анастасия.

— Нет княгини Рогнеды... есть монахиня Анастасия, — тихо повторил князь Владимир и неторопливо подошел к окну.

Там медленно нарождался рассвет, за стеной Горы уже виднелся голубоватый, весь словно светящийся изнутри, плес Днепра, желтые, чуть порозовевшие косы, темно-синие леса на левом берегу.

— Монахиня Анастасия! — глухо повторил князь Владимир, коснувшись руками холодного подоконника.

Ему стало легче — слова его прозвучали как-то странно, словно из глубины палаты, куда врвался новый день, рас-

свет. Теперь Владимир волен поступать так, как требует жизнь...

Однако поступать так, как требовала жизнь, быть свободным и не отвечать за содеянное, князю Владимиру было очень трудно, просто невозможно.

Одевшись в свое обычное темное платно и накинув на плечи багряное корзно, он спустился в сени, где уже стояли восводы и бояре, велел им идти в Золотую палату, а сам направился в трапезную, где обычно собиралась перед рассветом вся княжеская семья.

В трапезной горели еще свечи. Семья собралась: в углу стояла дочь Предслава, ближе у стены — сыновья; все они приветствовали отца; едва лишь он переступил порог, из-за двери вышла и поклонилась ключница Амма.

Не было лишь одного сына — Ярослава. Но князь знал, что он болен, лежит и, должно быть, еще долго пролежит со своей поврежденной ногой.

В трапезной завтрак был уже накрыт — на столе дымились блюда, лежал нарезанный хлеб, приятно пахло жареным мясом, рыбой, — оставалось лишь сесть и вкушать от каждого блюда...

Но все было не так, как раньше. Когда князь Владимир подошел к столу, чтобы опуститься в свое кресло, а сыновья и дочь хотели сесть на скамьи, тотчас стало видно, что одно кресло рядом с местом князя не занято — это было место княгини Рогнеды.

Конечно, в этом был виноват князь Владимир — следовало предупредить ключницу и незаметно убрать кресло, но сейчас было уже поздно что-то делать.

— Давайте есть, — стараясь скрыть волнение, промолвил князь Владимир.

Все уселись за стол и молча принялись за еду, однако никому пища не шла в горло. Холодно, сумрачно было в трапезной, холод и пустота охватили их души, князь Владимир чувствовал на себе взгляды детей, удивленными, испуганными глазами смотрела на него и ключница Амма...

Князь Владимир знал, что так и должно было случиться — жить им по-прежнему невозможно. Знал и то, что всем будет больно, горько, страшно...

Но все оказалось еще страшней, особенно ужасным казалось царившее в трапезной молчание. Безмолвствовал князь, помалкивали дети, ключница Амма вышла из трапезной так тихо, что никто и не услышал ее шагов.

— Дети мои, — промолвил князь Владимир, когда завтрак кончился, и не узнал собственного голоса. — Я думал... хотел вам сказать, что жена моя, а ваша мать, ушла отсюда навсегда...

Глаза детей тревожно уставились на него, конечно; до них дошла молва о том, что произошло, но они ждали, хотели знать, что же скажет им отец?

— Мы с княгиней Рогнедой разлучились, — продолжал князь, — ибо я, победив ромеев, потребовал у них, зная их лукавство и хитрость, венец василевса и руку царевны Анны — сестры василевса... Ныне на меня возложен венец, и я взял в жены царевну Анну...

Он рассказал все о себе и Рогнеде, и каждое его слово было искренне, честно, правдиво, но вдруг оборвал речь, что-то сдавило ему горло, и какое-то время князь Владимир, закрыв глаза, молчал, словно собирался с мыслями.

— Я не хотел оскорбить и ничем не оскорбил вашу мать, княгиню Рогнеду, — хрипло продолжал он, — когда мы расставались, я предлагал ей земли, города, какие хочет, но она отказалась от всего. Ныне ночью, приняв христианство, она постриглась в монахини и наречена Анастасией, никогда уже не вернется она сюда, на Гору, а будет, как монахиня, жить в обители Предславиной...

Дети молчали. Из скупых слов отца-князя явствовало, что дороги его и матери Рогнеды разошлись, они теперь друг другу чужие, но как быть им, когда у них один отец и одна мать?

— Вот я все вам и сказал, — тихо закончил князь. — Русь победила Византию, я был князем, ныне стал василевсом наравне с императором ромеев и германцев, я христианин, скоро окрещу Русь. Вас, дети мои, тоже прошу креститься вместе со всеми...

Однако все это было не то, что он хотел сказать, но он не мог говорить о своем горе, своих муках. Дети склонили головы, — они уже не смотрели на отца, ужас случившегося неумолимо и грозно вставал перед ними.

— И еще прошу вас, дети мои, — каким-то умоляющим голосом промолвил он, — когда в Киев прибудет из города Константинополя сестра императора ромеев, моя жена Анна, уважайте ее, хотя бы как царицу... Прошу вас об этом!

И в этот же миг в трапезной прозвучал тихий, но страшный стон — это, склонив голову на руки, зарыдала Предслава, она вспомнила прошлую ночь, залитое слезами лицо матери. Все, что казалось ей тогда сном, — был не сон, это плакала и где-то плачет до сих пор их мать Рогнеда, а здесь, в трапезной, рыдала, стонала, надрывалась ее любимая родная дочь.

— Молчи, Предслава! — оборвал этот стон-плач князь Владимир. — Я все вам сказал, дети мои. Не судите, не кляните, трудно вам, еще труднее мне, но ничего, ничего уже не могу изменить.

Он быстро направился к двери — там ждали его мужи, ждала Русь!

5

Светает. В Золотой палате еще горят светильники с медвежьим жиром и восковые свечи, но сквозь узкие окна уже врываются розовые лучи зари, дневной и ночной свет, смешиваясь, отчетливо очерчивает деревянный сруб палаты, доспехи покойных князей, людей, стоящих у стен, в углах и посреди палаты.

В это утро никто не садится. Все стоят, переступают с ноги на ногу, переходят с места на место, перешептываются, оживленно разговаривают — бояре, воеводы, мужи; забившись в угол, испуганно высматривает оттуда главный волхв Перуна Вихтуй.

— Идет князь! Князь идет! — пронеслось внезапно по палате. — Тише, тише, князь Владимир.

Князь Владимир появляется в переходах, переступает порог палаты, выходит на помост — он один, без жены, в обычном темном платне, усталый и очень бледный, видно, чем-то расстроен, встревожен либо опечален.

Но длится это мгновение. Остановившись на помосте, он устремляет взор в глубь палаты, видит перед собой множество людей, сотни огней, блестящие доспехи, розовый расцвет в окнах.

— Челом князю Владимиру... Кланяемся тебе, — внезапно заполняет палату множество голосов.

— Слава василевсу Владимиру!

Он поднимает руку — и тотчас все утихает. Снаружи вливается дневной свет; вещи, люди видны все отчетливей, тени уходят все глубже.

— День вам добрый, мужи, бояре, воеводы мои, — говорит Владимир. — Вот мы и снова свиделись...

Собираясь с мыслями, которые пролетают в мозгу, словно молнии, он умолкает на минуту и затем продолжает:

— Я созвал вас ныне, мужи мои, дабы поведать вам, что наше воинство доблестно взяло греческий город Херсонес, там принял я послов Византии и через них говорил с императорами Василием и Константином, с ними навек положен ряд. Мы имамо дань, купцам нашим льготы, отныне люди наши могут свободно жить в устье Днепра, на белых берегах и повсюду над Русским морем...

— Добро, вельми добро сделал ты, княже, — звучат в палате голоса.

— Памятуя, однако, что ромеи постоянно переступали с нами ряд, — продолжает Владимир, — я потребовал через послов, дабы их императоры говорили с нами, деяли и заключали мир, как равные с равными. Посему пожелал венец, какой носят и они; ведая, что императоры лживы и хитры, я потребовал, подобно германскому императору Оттону или хазарскому кагану, себе в жены царевну. Говоря о всем том, видел за собой вас и Русь.

— Достоинство говорил ты, княже, с василиками и императорами, — добавил боярин Воротислав, побывавший вместе с Владимиром в Херсонесе, — правильно им сказал. — Он широко развел руками и, казалось, хотел обнять всю палату. — Мы — Русь. Пусть императоры помнят, кто мы, а не соблюдут мира — дойдем до самого Константинополя.

— И насчет жены, сестры императора, — слышался голос какого-то боярина, — тоже правильно. Чем мы хуже германского императора или хазарского кагана?.. Нет, только так и должно быть ныне. Ты, княже, стал императором, мы твои верные слуги.

— Императоры исполнили все, что я потребовал, — промолвил Владимир, — дали венец...

— Слава василевсу!.. — закричали бояре.

— ...они отдали мне в жены царевну Анну, с которой и венчался в Херсонесе...

— Примем твою жену, а нашу царицу достойно, — звенело в палате.

— ...и еще решил я учинить так, как желаете вы, мужи мои, — окрестить людей Русн.

— Добро, княже, добро!

— Но крестить вас будет не патриарх константинопольский и не его епископы и священники. В городе Киеве истари живут священники, иже пришли из Болгарии. Днесь приехали с нами из Херсонеса Анастас и Иоани — они и окрестят Русь.

Это была настоящая победа бояр и мужей — христиан, они добились того, что хотели, и теперь не могли да и не желали скрывать свою радость.

— Славен наш князь! — звучали в палате возбужденные голоса. В потоках света народившегося дня было видно, как бояре целуют воевод, воеводы — бояр, как обнимаются мужи лучшие и нарочитые.

Но не все думали одинаково. Когда в палате на минуту улегся шум и утихли голоса, откуда-то из угла прозвучало:

— А как быть, княже, со старыми богами, требищами и такожде с нашими волхвами?

Это была очень ответственная, страшная минута — князь спрашивал не один человек, а Русская земля: как быть с идолищами, которые стоят по всей Руси, с требищами в городах, весях и на погостах, где до сих пор приносились жертвы, с волхвами, что служат тем богам, и, наконец, со всеми людьми, которые верят еще старым богам?

Просить у кого-то совета, обратиться к боярам, воеводам, мужам, стоящим тут в палате, — нет, прошли те времена, когда князь, идучи на брань или устроая земли, обращался к ним и вкупе решал все дела; ныне он должен думать и решать сам, ибо се не брань, не дань, дело идет о самом главном — о душах, сердцах людей, о вере.

Да и что, что могут сказать бояре, воеводы, мужи? У каждого из них свое сердце, своя душа, тут много христиан, но есть еще и язычники, которые не скоро, а может, до самой смерти не отрекутся от старого закона. И не только тут, а повсюду — во всех землях, городах, весях Руси — старое живет бок о бок с молодым; молодое плодovито, а старое живуче, оно цепко ухватилось за отчую землю...

Что же делать? Сказать, что все должно оставаться по-старому, что новце может жить рядом со старым, тогда кто знает, не заглохнет ли в гуще старого молодая поросль? Сказать, что старое должно умереть и что лишь новое имеет право на жизнь?

Император, — да в этом слове было все, он глава Руси, владыка земель, отныне ему как императору и пастырю, покоряются и души людей. Гляди, император Владимир, какой вершины власти ты достиг, гляди и ужасайся!

Отстудать Владимир уже не мог. Твердо, уверенно и властно император Владимир промолвил:

— Велю повергнуть всех идолов земель, уничтожить требища, окрестить Русь...

— Слава, слава князю Владимиру!

Главный волхв Перуна, стоявший в углу палаты, отступил и скрылся за дверью.

6

Спустя несколько дней в Киев прибыло вместе с царицей Анной лодийное воинство.

На берегу Почайны собрался весь город — Гора, предградье, Подол, Оболонь... — ведь приплывавшие воины проливали свою кровь, победили ромеев, прибили щит над вратами Херсонеса, заставили императоров заключить почетный мир; многих недосчитаются киевляне, многие жизнью своей заплатили за победу Руси.

Над Почайной об этом не говорили; впереди всех стояли бояре Горы, воеводы, мужи лучшие и нарочитые, множество одетых в дорогие одежды, обвешанных украшениями их жен и дочерей, а впереди всех князь Владимир — все они пришли встретить в городе Киеве сестру императоров василиссу Анну, ныне жену князя.

Не было тут детей князя Владимира — он их не просил и, конечно, не хотел, чтобы они встречали василиссу, детям же было слишком тяжело видеть в славе не мать, а мачеху...

Город Киев встречал Анну достойно. Кто помышлял о жене, которая, не дождавшись из похода мужа, рыдала в то утро, заломив руки над Почайной? Какое кому дело было до отца, который, потеряв единственного сына, стоял и смотрел безумными глазами на плес, где навеки утонула его радость? Кто, кто из них вспомнил о детях, которые в то утро стали сиротами?!

Окруженная епископами, священниками, на берег сходила василисса Анна. Чтобы в ее пурпуровые сандалии не попал песок, постелены были красные ковры. Под ноги ей боярыни и жены воевод бросали цветы из киевских садов.

Привезенный из Херсонеса хор пел василевсам величание, а Гора, — сильная, непобедимая Гора, множеством голосов ревела непонятные и новые для киевлян слова:

— Слава василевсам! Слава! Слава!

Князь Владимир встретил, обнял и поцеловал одетую в серебристую тунику с красным корзном на плечах василиссу Анну... Может быть, он и не сделал бы этого, если бы не знал, что у окна палаты на Горе стоят и смотрят на них его сыновья и дочь — тени жены Рогнеды. Впрочем, сейчас он не думал и не мог уже думать о них и о Рогнеде — на берег сошла его новая жена, василисса Анна.

Позади остались лодии со стоявшими на них здоровыми и увечными воинами, на берегу остались жены-вдовы, дети сироты... Торжественное шествие очень медленно под голубым киевским небом, среди зеленых деревьев и множества цветов, с громкими криками, пением, поднималось по Боричевому взвозу, потом остановилось у ворот, где висели знамена земель Руси, — и скрылось за стенами, на городницах которых медленно звонили била...

И тогда на Горе в княжьем тереме началось такое, чего никогда не было: в палатах, покоях, светлицах, переходах зазвучали чужие, незнакомые и непонятные слова — несколько покоев предоставили царице Анне и женщинам, которые ей прислуживали; повсюду — наверху, внизу, в комнатах по обе стороны сеней разместились патрикии, посылы, священники, слуги и византийские гости.

Впрочем, здесь они не были гостями — василисса Анна и все, иже с нею, поселились в Киеве надолго, навсегда, — теперь она и они стали хозяевами княжьего терема, раз уж суждено им в нем жить.

И сразу все в тереме изменилось: исчезла извечная суровость покоев и палат, в старорубленном доме Кия, где раньше говорили приглушенными голосами, странно зазвучал иноземный язык, чужие голоса; и уже не в трапезной, а повсюду — наверху и внизу — звенела посуда; в палатах, где раньше пахло липой и воском, теперь разлило жареным мясом и вином.

Шум и крик в тереме нарастали еще и потому, что сразу же явились, забегали, заприседали жены горянских бояр и воевод и зачастую красивые, но смешные в своей простоте их дочери — не терпелось им поскорей познакомиться, удостоиться разговора с василиссой или хотя бы коснуться ее серебристого одеяния кончиками пальцев.

Князь Владимир торопился. Он напоминал человека, который, провалившись на тонком, еще хрупком льду, бросается из стороны в сторону, выбиваясь из сил, но лишь ломает вокруг себя лед, увеличивает и увеличивает пролубь, чувствует под собой глубину, тонет...

Однако сам Владимир не понимал этого: ему казалось, что достаточно сделать еще одно-два усилия, и все успокоится, станет на место — нужно окрестить наконец Киев, принять в тереме жену Анну и всех, прибывших с нею, а там в городе и в его душе наступит покой и тишина.

Он велит на другой же день собрать над Почайной всех людей Киева — бояре, мужи, тиуны спешат выполнить его волю.

Согласно русскому обычаю князь велит задать пир в честь прибывших гостей и жены Ании, советуется с воеводами, где и как его устроить.

Многие из бояр и воевод ездили в Константинополь, кое-кто побывал и на торжественных приемах у императоров, и все они уверяли, что пир следует задать не в гриднице, где обычно раньше пировали с дружиной, а в Золотой палате, как и делается в Константинополе...

Князь Владимир согласен, и не потому, что так делается в Константинополе, — пировать в широкой, просторной Золотой палате гораздо вольготней, чем в тесной душной гриднице.

Вместе с несколькими боярами и воеводами он заходит в Золотую палату, чтобы посоветоваться, где и как усадить гостей, куда поставить столы, по каким переходам носить блюда... Это не мелочи, нет, в Византии — как утверждают бояре и воеводы — сидят по чинам, василевсы же словно возносятся над всеми...

— И о княжьих доспехах следует подумать, — говорят бояре. — Негоже князь, чтобы там, где идет пир, висели бы щиты да мечи.

Князь Владимир согласен с боярами, в самом деле негоже, чтобы там, где утверждается мир с Византией, висели бы мечи и щиты.

— Что ж, мы их уберем, — говорит князь Владимир.

Воеводы сразу же идут к стенам, снимают доспехи прежних князей и сваливают их прямо на пол.

— Но сохраним, — продолжает князь, — возьмите воеводы доспехи и повесьте их в других покоях.

Теперь Золотая палата готова, вечером тут состоится пир.

Зашумела, забурила Гора — впервые за много лет, а может, и за столетие, князь киевский справлял в Золотой палате пир.

Конечно, не все бояре и воеводы, а тем паче мужи Горы смогли попасть на этот пир. Князь Владимир приглашал в Золотую палату через своих тиунов и емцов далеко не всех, а потому многие горяне, не попав в терем, толпились во дворе перед крыльцом, чтобы если не увидеть, то хотя бы услышать, как пирует с греческими гостями князь Владимир.

Об одном смельчаке — боярине Куксе — потом рассказывали, будто он в неудержимом своем желании видеть пирующих влез на высокую липу против окон Золотой палаты, устроившись на ветке, воскликнул: “Зрю!” — и тут же сорвался и полетел с липы, сломав себе три ребра и обе ключицы... “Гляди, чтобы не было, как с Куксой”, — говорили с тех пор о завистливых и любопытных людях на Горе.

А кто все-таки попал в Золотую палату, долго потом рассказывал, как византийские гости вместе с боярами и воеводами Горы сидели за столами, ломившимися от всего, чего душа ни пожелает, как по обоим концам палаты перекликались величальными песнями хоры русский и греческий, как вышли на помост и сели в кресла князь Владимир и греческая василисса Анна, как все кричали по-русски: “Слава князю Владимиру и василиссе Анне” и по-гречески: “Исполайте деспоте!”, как василевс и василисса благословляли людей, яства, напитки, после чего начался пир...

Тем временем на Борицевом взвозе, над Почайной, на Подоле возле торгового и даже в далекой Оболони ходили биричи, собирали людей и кричали:

— Князь Владимир повелел всем собраться завтра у реки Почайны, там будет креститься Русь...

Над Днепром стояло безветрие, тяжелые багряные тучи отражались в воде, голоса биричей слышались все дальше и дальше...

Пир на Горе продолжался и ночью, а когда сплошной мрак поглотил Днепр и берега, к реке из оврагов, кустов, крадучись на сером фоне песков, задвигались и поползли какие-то тени.

Неизвестные сошлись у лодий, сели на них, положили в уключины весла, стали у рулей, оттолкнулись и поплыли, чтобы никто не слышал, вниз по течению.

Тучи все больше заволокли небо, темные, они теперь нависали над самой водой, все окутала тьма; только на Горе светились, точно волчьи глаза, огоньки — там пировал с боярами, воеводами и византийскими гостями Владимир-князь.

— Не станем слушати, заткнем уши свои, уйдем в пустыни и леса, — говорил на лодии главный волхв Перуна Вихтуй.

— А они да погибнут в своем зловерии, — отозвались жрецы бога Волоса из Подола.

Лодии уплывали под темными сводами тяжелых туч все дальше и дальше, в днепровские просторы, в ночь.

7

Утром вся Гора была готова к крещению — воеводы, бояре, их жены и дети, вся княжья семья — дочь и сыновья, дворяне, холопы; по велению священников никто ничего не ел и не пил. Биричи громко возвещали о наказе князя Владимира на краю взвоза над Почайной, с высоких пней на торжище, повсюду на Щекавице, в Дорогожищах, Оболини; кликуны-глашатаи разъезжали по всему городу верхами, трубили в рога и пересказывали слова князя.

На рассвете князь Владимир вышел из своих покоев и направился в Золотую палату, где к тому времени собрались все бояре, воеводы, мужи.

Нет, это уже был не сын рабыни — в искращемся, шитом серебром дивитиссии прошел василевс к помосту, на его голове сверкала золотая корона, в правой руке он держал скипетр, рядом шествовала в порфире нарумяненная, красивая василисса Анна, за ними, как это можно видеть и сейчас на иконах, в новых царских ризах, с молитвенниками в руках шли со скорбными лицами дети.

В глубине Золотой палаты протяжно и потому, казалось, заунывно, но в сущности величально, запел хор; сначала греческие гости, а за ними воеводы и бояре закричали:

— Исполайте деспоте!

— Слава василевсу Владимиру, василиссе Анне!..

Владимир опустился в кресло, по левую руку от него села василисса Анна, за ними полукругом стали сыновья и дочь Предслава.

— Начнем, мужи! — промолвил Владимир. — Готовы ли люди?

Бояре и восводы смешались, потом, переступая с ноги на ногу, робко начали:

— Мы все готовы, ждем твоего слова, но у Почайны людей нет...

— Кликуны поведали всем и обо всем? — спросил князь.

— Не только кликуны, тиуны и емцы также собирают людей, гонят их к Почайне.

— И что?

— Люди бегут, княже, прячутся по лесам, по дубравам.

Бояре и воеводы, конечно, знали, что так именно и произойдет, — Гора почти уже вся крестилась, что ж, днесь она признает новую веру явно.

Но Подол, предградье еще не созрели к принятию христианства. Они крепко придерживаются старой веры, древних законов и обычаев.

— Не ведают люди, что творят, — гомонит Золотая палата. — Твоя, княже, власть, твой и суд.

Воеводы и бояре могли бы поступить иначе. В их руках сила, которой можно окрестить город Киев, — золото, серебро, всякое добро, стоит им кликнуть клич — и на Киев двинутся полки, гридни, дружины.

Но зачем тратить собственные силы и средства — на Руси у них есть великий князь и василевс Владимир, который отныне будет утверждать новые законы, царь земной и владыка душ человеческих, наместник бога.

— Исполайте деспоте! — горланит Золотая палата.

И князь Владимир понимает, какая в его руках страшная сила и что значат корона на голове и скипетр в деснице.

О, корона эта тяжела, а скипетр подобен огненному мечу, который может уничтожить, испепелить все; приняв их, Владимир теперь должен носить до смерти, теперь уже ему не на кого полагаться — только на себя.

Князь Владимир встает, скипетр покачнулся и замер в его высоко поднятой руке; бледный, с тревогой в глазах, но решительный и грозный, он говорит:

— Повелеваю окрестить город Киев и всю Русь... Аще кто не обрящется — богатый ли, убогий, нищий или раб,

противен мне да будет, имения своего лишится, а сам да примет казнь...

Воеводы, бояре, мужи молчали, и только эхо среди темных сводов палаты глухо откликнулось:

— Да примет казнь!..

И тогда уже бояре и воеводы двинули на город Киев силу — с Горы спустилась к Подолу на сытых, борзых конях гридьба; из Белгорода, Вышгорода, с левого берега налетела, как сараича, дружина; по слову князьему, они рассыпались по всем концам, заходя во все дома, хижины, землянки, шатры.

“Аще кто не обрящется, мненя лишится и да примет казнь...”

Молчаливые, суровые, почериевшие от горя, тяжелой поступью шли люди к Днепру, за ними, словно чайки, у которых разорили гнезда, тянулись их жены, и лишь дети, не понимая, что творится, спешили впереди взрослых.

Однако что значит невыраженная печаль, невысказанный гнев? В последующие дни и годы люди поймут, что то был торжественный незабываемый час, и он действительно был таким — это крестился город Киев, это крестилась Русь.

Солнце величаво поднималось над Днепром, отражаясь на широком плесе, слепило глаза, раскаляло воздух; над скопищем людским вставал тяжелый дух. Люди стояли голые, прикрывая вретщами, ветками или просто руками срамные места, только женщинам гридни позволяли остаться в сорочках либо повязать тело убрусами или дерюгой, — люди стыдились друг друга, а более всего горя и потому толпились, прятались.

Привольней и просторней было выше над ручьем, на пригорке, откуда обычно биричи оглашали веления князя, — накануне древоделы положили там тяжелый дубовый помост, построили на нем скамьи, покрыли коврами.

Рядом натянули шатры, в них стояли лавки, кадки, чаны, ношвы, — в одном шатре должны были раздеваться и креститься княжи сыновья, воеводы, бояре со своими сыновьями, а в другом, среди кустов, — их жены, дочери и княжна.

На лавках сидели князь Владимир, василисса Аниа, княжичи и княжна, а по обе стороны полукругом стояли в дорогих одеяниях епископы Анастас и Иоанн Корсунянины, священники, воеводы и бояре, мужи Горы.

Князь Владимир поднялся со скамьи и долго стоял, глядя на толпу перед собой. Сурово и задумчиво было его чело в этот утренний час. Вот князь поднял правую руку, подавая тем знак, что хочет говорить с людьми.

— Люди мои! — начал князь Владимир, и его голос отчетливо зазвучал по всему берегу. — Испокон веку по закону отцов наших верили мы и молились богам Перуну и Дажьбогу, Волосу и Стрибогу, однако днесь боги сии более не пристанище в трудах и ратях наших. Иной бог даст нам спасение, бог — заступник богатого и убогого, князя и смерда, бог, дарующий после бренного житья на земле жизнь вечную, радость и счастье на небе. Имя тому богу Христос!

— Кирие элейсон! Кирие элейсон! Кирие элейсон!* — заголосили и запели священники.

— Посему почтили мы за благо, — громко продолжал князь Владимир, когда они умолкли, — утвердить в городе Киеве, в землях Руси истинную веру, сиречь христианство. Креститесь, люди, во имя бога отца, сына, святого духа. Аз первый положил на себя святой крест, потягните, люди за мной...

И в этот миг на городницах ударили в била. Люди, повернув головы к Горе, увидели, как на требище перед стеной появилось много княжьих гридней, они что-то тащили веревками с Горы.

И вот на склоне между деревьями и оврагами появился стоявший до сих пор на требище Перун, громоздкий, деревянный идол, которого волочили гридни, он подпрыгивал, поднимался, падал; над взвозом Перун покачнулся, перевернулся и вниз головой, стремглав, ломая деревья, раздирая кусты, взрывая землю, с шумом, свистом и треском полетел с горы и, поверженный, упал в обрыв недалеко от ручья и толпы, которая в ужасе онемела при виде этого зрелища.

Но Перун пролежал там недолго, в тот же миг его окружили гридни, отроки, дворяне, которые на конях примчались с Горы, ремнями и толстыми веревками зацепили лежащего бога, его голову, руки, ноги; тиуны, прибежавшие с дворянами, секирами вырубили золото и серебро, потом все разом ударили по коням, закричали и потащили Перуна по оврагу.

Идол прыгал на выбоинах.

— Гой-ла! Гой-ла! — надрываясь, кричали погоньчи.

* Кирие элейсон! — Господи помилуй!

— Кирие элейсон! Кирие элейсон! — пели священники.

В огромной толпе поднялись шум и крик, стонали женщины, плакали дети.

Перуна доволокли до берега и столкнули в воду. Тяжелая дубовая колода завязала и неподвижно лежала на косе. Тогда вперед кинулись тиуны, дворяне, отроки — в одежде, постолах, а кто и босиком, лезли они в воду, отталкивали шестами и прямо руками колоду от берега.

А на толпу тем временем напирали гридни, княжья дружина; размахивая кольями, позвякивая мечами, они теснили людей к воде.

— Креститесь во имя отца, сына и святого духа, — провозглашали священники; люди заходили в воду все глубже и глубже.

Наконец Перуна сдвинули с места, и он поплыл, за ним вплавь бросились дети и окружили идола, а многие люди, потрясенные всем происшедшим, стоя в воде, кричали:

— Выдыбай, боже! Выдыбай, боже!

— Кирие элейсон! Кирие элейсон! — пели священники.

Перун плыл. С деревянного помоста на высоком пригорке смотрели на него князь Владимир, княгиня Анна, воеводы, бояре.

— Выдыбай, боже! Кирие элейсон! — смешивалось в раскаленном воздухе.

А идол плыл все дальше и дальше. По берегу вслед за ним бежали люди.

— Выдыбай, выдыбай, боже!

Князь Владимир видел, как разбегаются во все стороны от священников киевляне, какие насилия учиняют гридни и дружина, но не сочувствие, не жалость к людям терзали ему душу.

Он стоял, весь напрягшись, безмолвный, сведя на переносице брови, стиснув губы, отчего лицо его стало суровым, хищным, и смотрел на толпу холодно и грозно.

Нет, это был уже не тот князь Владимир, который когда-то вел ласковые, сердечные беседы с дружиной, с своими и всеми людьми Руси.

“Убогие, темные люди, — думал он, — ведаете ли вы, что весь мир называет вас варварами, язычниками, ведаете ли вы, какую муку мне пришлось принять на себя, чтобы спасти вас, защитить Русь?!”

Сейчас, как недавно в Херсонесе, но еще отчетливей, еще острее ему показалось, что он имел на это право, дол-

жен был и уже стал выше всех этих людей. Ему одному ведомо больше, чем всем им. Они должны радоваться, быть ему благодарны, что он сам крестился и ныне крестит их.

— Крестить! — вытянув вперед правую руку, хрипло промолвил он. — Крестить, а кто не обрящется — карать...

— Многие лета василевсу Владимиру! — гремел хор.

— Исполайте деспоте! — тянули греческие священники.

Князь Владимир был милостив и щедр к новообращенным христианам города Киева. В этот день он велел поставить на всех концах перевары с медами и олом, дать убогим людям хлеба, говядины...

Однако, как ни кричали биричи, никто не отвесал в городе медов и ола, голодные люди не кинулись к хлебу и говядине. До позднего вечера в предградье, на Подоле и даже на Оболони разъезжали на конях и ходили пешком княжьи мужи, тиуны и гридни. Приблизившись к какому-нибудь двору, они смотрели, есть ли на доме, хижине или на двери землянки отес — знак креста...

Впрочем, если он и был, то княжьи мужи все равно заходили во двор: ведь там наряду с крещеными могли жить и язычники — люди старой веры.

Княжьи мужи были очень суровы и безжалостны — тут слышался крик, там гридень таскал за седую бороду какого-нибудь кузнеца. По концам от Облони и Подола к церкви над ручьем вели людей, там крестили...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1



есть о победе в Херсонесе быстро разнеслась по Руси, — правильно учинил князь Владимир, пойдя на ромеев, исстари наносили они много зла людям Руси, и, зная, уж не такая у них сила, коли так скоро сдали город; хватит налетать на города и земли русские да науськивать печенегов и хазар!

Однако и другие вести ширятся на Руси — от погоста к погосту мчатся мужи нарочитые, останавливаясь в городах и селах, собирают бояр, восвод, тысяцких, кличут волостелинов и посадников, оглашают, что произошло в Херсонесе,

что делается в городе Киеве, рассказывают, что князь Владимир принял христианство и велит крестить всю Русь.

В летописях далеких дней говорится о тех событиях много и вдохновенно. Строки, написанные древним уставом в тиши монастырей, осуждают князя Владимира, как язычника, и возвеличивают, как христианина, обличают и русских людей-язычников, а русов-христиан благословляют.

Где правда, а где вымысел в тех древних сказаниях? Неужто люди русские были варварами, дикарями до крещения и стали добрыми и богоугодными, приняв христианство?!

Жития утверждают, что киевский князь в язычестве назывался Владимиром, а после крещения принял новое имя — Василий. Допустим, что это правда, что язычник Владимир стал христианином Василием! Так почему же христианин-летописец и вся церковь, возвеличивая первого князя-христианина, упорно именуют его не Василием, а Владимиром и позже провозглашают его святым и равноапостольным, воздвигают в его честь церкви, соборы, памятники, — и все это не христианину Василию, а язычнику Владимиру?!

Князь Владимир, которого в житиях именуют Василием, никогда так не назывался. Всю свою жизнь он был и в веках остался Владимиром. Однако на Руси знали, что, взяв корону у василевсов Византии и их сестру Анну — в жены, которую сам же летописец называет царицей*, князь Владимир стал василевсом Владимиром, а для монаха-летописца — Василием-Владимиром.

Летописец, правда, ищет и находит другого первого василевса-императора Руси — Владимира Мономаха. Ему, якобы, дал царские регалии византийский император Константин Мономах. Но Владимир Мономах никогда не получал, да и не мог получить царских регалий от Константина Мономаха, потому что родился в 1053 году, то есть за два года до кончины императора Константина IX Мономаха (умер 11 января 1055), который и сам опять-таки не был порфирородным, а стал императором только благодаря бракосочетанию с Зоей — дочерью Константина VIII, а после смерти Константина IX оставалась еще жива сестра Зои — Феодора, которая и унаследовала все царские регалии, дабы потом передать их Михаилу Стратимотику.

* Летопись, год 6519, — "преставися царица Володимирова Анна".

Нет, первым василевсом Руси был только киевский князь Владимир, но он не называл себя ни царем, ни василевсом. Тайна? Нет, для людей его времени это не была тайна. Скромность? Вряд ли это причина тайны Владимира-Василия, василевса, который в дальнейшем остается и живет в веках как князь.

Князь Владимир достиг того, к чему стремился, — разговаривая с василевсами ромеев или с императором Германии, он был василевсом, царем. К нам дошли деньги — гривны Владимира, на которых он изображен в царской короне, скарамаигии и хламиде. На древних мусиях, на иконах изображают Владимира, его сыновей, всю семью как василевсов и царей. Иноземные послы, купцы, путешественники, посещавшие в те времена Русь, тоже называют его царем, василевсом.

Было ли это делом одного князя Владимира? Нет, не только сын рабыни, князь Руси стал василевсом, — начиная с Владимира, Русь, которую до того называли языческой, варварской, рабской, становится наравне с Византией, с Германской империей. Никто и никогда уже не посмеет называть ее так. То, чего достиг Владимир, завоевала Русь, ее люди!

Одиак сколько еще пройдет времени, покуда мир поймет, как выросла и какою стала в ту пору Русь. Сколько еще пройдет лет, покуда сами русские люди поймут, какими они были, какими стали, какими могут и должны быть!

А в ту пору, о которой ведется повесть, на Руси смертельно ненавидели Империю, ее императоров, которые доставили столько горя и мук русским людям; многие алчные бояре и воеводы, владевшие землями, лесами, всяким добром, не полагаясь на собственные силы, молили Христа защитить их, а убогие, голодные зывали к своим деревянным богам, к небу, к земле: куда идти, где искать помощи? Деревянные боги молчали, Христос обещал рай на небе.

О том же помышлял и черноризец-летописец, когда в тиши своей кельи, вдали от людской суеты, при свете восковой свечи, капли которой стекали и расплывались, как слезы, на пергаменте, писал:

“Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первые княжити и откуда Русская земля стала есть”.

Победа, слава, честь — да, они наконец пришли на Русь, витали над Владимиром.

Никогда еще не сидел киевский князь так твердо на своем столе.

Корона императора! О, как много, оказывается, значили золотой венец с наверхшьем и бармицами, в гнездах-очках которого были вставлены красные гранаты и голубая бирюза, багряное корзю на плечах да красного сафьяна черевьи!

В Киев ехали и ехали, как и раньше, константинопольские купцы, везли вина, узорочья, паволоки, церковные сосуды, смирну, ладан, всевозможные иконы: дорогие — на кипарисовых досках, в золотых и серебряных окладах, и дешевые — литые из меди, бронзы, писанные на простом дереве, о которых говорили: “Пригодится — помолимся, не пригодится — гориец с молоком покроем”.

Вместе с купцами приезжали послы с высокими чинами магистров, спафарокаандидатов, все — патрикии. Одни являлись пред очи князя Владимира с грамотами и золотыми печатями, богатыми дарами. Другие василики, тоже патрикии, иногда священнослужители, а то и знатные константинопольские жены, направлялись в покои василиссы Ании, подолгу там гостили, вели на чужом языке беседы, советовались, пировали — по греческому чину.

Теперь император Василий держал себя и вел переговоры с великим киевским князем, как равный с равным и породственному, — раз и другой он просил Владимира дать ему в заставу золота и серебра и упорно добивался, чтобы Русь продавала Византии больше хлеба, меда, воска, шкур. Империя поглощала все, чем были богаты земли Руси.

Однако император Василий нуждался не только в этом. Он просил князя Владимира дать тысячу воинов, которые охраняли бы его особу и Большой дворец. Видно, худо приходилось императорам, если они теперь не полагались на полки бессмертных и верили русам больше, чем ромеям.

Примеру Византии следовали и другие. К Киеву, казалось, были прикованы взоры всего мира. За короткое время в нем побывали послы германского императора Оттона III, свиоиского коиунга Олафа, датского — Свеиа Твескетта.

Князь Владимир знал цену этим послам: хоть они и клялись в вечной любви и дружбе к Руси, подкрепляя клятвы привезенными императорскими и коиунгскими дарами, — он разговаривал с ними осторожно и больше расспрашивал, чем рассказывал.

Сердечнее, душевнее беседовал Владимир с послами польского князя Болеслава, чешского князя Андриха, угорского князя Стефана — соседями Руси, с ними русские люди водили любовь и дружбу.

Кое-кто из послов намекал на то, что их князь не прочь и породниться с киевским князем — о том разговаривал с князем Владимиром епископ калобрезский Рейберн, приехавший посланцем от польского князя Болеслава.

— Есть у нашего князя дочь Марнна, — говорил епископ, — сватают ее короли Норвегии, Дании и даже Англии... Однако князь Болеслав не хочет отдавать дочь за море, лучше, говорит, породниться с соседями. Подумай, княже Владимир, сыновей у тебя много, кто-нибудь из них, наверно, полюбит княжну Марнну.

Князь Владимир обещал подумать, но в сваты Болеславу не навязывался, не в силах забыть и простить недавнюю его попытку силой взять червеицкие города.

Поначалу заморские, иноземные послы и гости дивили киевлян, где они появлялись, сбегалась толпа; но, как всегда бывает, люди вскоре привыкли и к этой диковинке, и на Подоле, Оболони, в предградьях свободно, без помех разгуливали варяг и грек, хазарин и поляк, угорец и даже желтокожие из-за Итиль-реки, Джурджаинского моря, из города Чаньяна.

Послам, василикам, купцам и священникам, приехавшим в Киев, приходилось где-то останавливаться, некоторые из них поселялись навсегда, получали от князя дворы, строили на них дома — не только деревянные, но и каменные, — в Киеве образовались целые концы — Угорский, Лядский, Чешский, Варяжский, Хазарский.

Князь Владимир принимал послов и гостей на Горе с достоинством. Он сидел в той же Золотой палате в старом, источенном шашелью кресле своих отцов, позади стояли выцветшие знамена древних князей и его новое, из белого оксамита, шитое золотом, знамя...

Князь Владимир обладал тем, о чем предки и не помышляли: голову его венчала сверкавшая золотом и драгоценными камнями корона. Одет он был в серебристый с крестами скарамангий, плечи его прикрывала багряная хламида, на ногах — черевьи из красного сафьяна; рядом сидела в великолепных одеяниях его жена, василисса Анна...

Воеводы и бояре, мужи, стоявшие во время присмов вдоль стен палаты, тоже обряжались по-новому: не в темные простые платна, а в оксамитные или барлатные свиты, кафтаны, напоминающие греческие коловии, не надевали больше на шею тяжелые золотые или серебряные гривны, мешавшие поворачивать или наклонять голову, князь Владимир стал награждать их своими, похожими на печать, золотыми или серебряными знаками, которые они носили на золотых или серебряных цепях или оксамитных лентах на груди.

И вообще собрания в Палате теперь не походили на те прежние, когда на деревянных скамьях сидели и дремали почтенных лет бояре, седоусые воеводы, старцы, — кое-кто из этих преклонного возраста и немощных мужей доживал свой век на Горе, другие уехали в пожалованные им города и земли — там, среди принадлежавших им лесов, полей и рек, они чувствовали себя вольготней, лучше: не им теперь приходилось служить, а множество смердов, закупов, рядовичей и просто холопов работали на них, принадлежали только им; на Горе же, в Золотой палате стояли в ожидании наказа князя Владимира их сыновья, а то и внуки, которые получали от дедов и отцов в наследство знамена, а от князя добивались пожалований.

Впрочем, это были уже не пожалования — молодые бояре, послы, мужи нарочитые, тиуны, смцы, молодые воеводы, тысяцкие, сотенные, которых со временем становилось все больше, не могли рассчитывать на пожалование, мало уже оставалось городов, князю Владимиру приходилось за их службу расплачиваться деньгами.

Потому князь Владимир и чеканил собственные деньги на Горе. Под присмотром тиунов около ста кузнецов день и ночь варили серебро, отливали в опоках длинные палицы, резали их на кружки, на одной стороне выбивали печать — князь Владимир с венцом на голове, в дивитиссии, с крестом в правой и скипетром в левой руке, на обратной — княжий знак: три перекрещенных копы с надписью: "Володимир на столе, а се его серебро".

Печать императора — о, она была страшнее и сильнее, чем оружие, печатью утверждалось княжье золото и серебро, ее рисовали на стенах палат и храмов как символ силы, власти, могущества; вырезанную в камне, аспиде ларник двора князя Владимира погружал ее в горячий воск, ждал, покуда тот не остынет, и на золотых шнурах вешал оттиск к

грамотам, рассылаемым во все концы света, к харатиям, по которым вводились новые и новые уставы, к написанным на пергаменте пожалованиям боярам и воеводам.

Бояре же и воеводы, с благословения князя, заводили свои печати — золотые, серебряные, на твердом камне вишне, на голубой бирюзе, — велено было вырезать собственные знаки для детей и внуков, на веки вечные.

Теперь уж, назначая дань житом, мехами, воском, князь Владимир обязал каждую землю давать известное количество золота и серебра в гривнях: Новгород — две тысячи гривен, Червень и Волынь — по полторы, Тмутаракань, земли тиверцев и уличей — по тысяче... Кроме того, земли и города повинны были присылать еще и людей для княжьей дружины: пять, четыре, три тысячи юношей, которые только вчера еще ходили за ралом.

Доставалось и киевлянам: княжьи тиуны назначали и взымали с людей Подола, предградья, Оболюи подати за хижину или землянку, место на торге, мостовщину, переездное; священникам и диаконам, которые теперь крестили, женили, хоронили, тоже следовало платить: князю — княжево, божье — богу.

Имея в скотнице золото и серебро, опираясь на воевод и бояр, сидел Владимир-князь в Золотой палате. Всех их охраняли полки, стоявшие в Киеве и в городах соседних земель. На Горе день и ночь бодрствовала гридьба.

Опирались князь Владимир, бояре его и воеводы еще на одну, новую и, пожалуй, самую могучую свою силу.

Вернувшись из Херсонеса, Владимир часто приглашал к себе епископа Анастаса. Ничего в том удивительного не было: князь и епископ советовались, как крестить Русь, в какие города посылать епископов, в какие священников. Повергши идолов и уничтожив требища, решали, где и как строить для христиан храмы.

Епископ Анастас был весьма приятный, душевный человек, седовласый, с окладистой бородой и небольшими усами, голубоглазый, с вкрадчивой, мягкой и убедительной речью.

Князь-христианин сам домогался почаще и пообстоятельней беседовать с Анастасом. Так они договорились и послали епископом в Новгород Иоакима: там сидел надежный посадник Добрыня, поэтому Владимир и согласился учредить в городе епархию. В другие города посылали толь-

ко священников-болгар, живших с давних пор в Киеве, или новых, посвященных Анастасом.

Договорились они и о постройке храмов: Софии. — в Новгороде, Богородицы — в Киеве, Петра и Павла — в Переяславе.

Начать строить эти церкви князь Владимир решил безотлагательно; он велел своим посадникам готовить в землях лес, камень, собирать людей — древоделов и здателей, выдал немало золота из своей скотницы на церкви в Киеве, Чернигове и Переяславе, сам следил за постройкой храмов. В Киеве в то время жило уже немало зодчих из Солуни, сюда же один за другим приезжали и херсонесские мастера.

Владимир весьма неохотно принимает греческих мастеров, предпочитая им древоделов и здателей города Киева и даже далекого Новгорода — Миронога, Ждана, Косьмину.

Это отличные знатоки своего дела, еще их деды и отцы, да и они сами тоже, возводили в городах русских крепости со стенами, княжьи, боярские, восводские терема, украшая их кнесами, расписными сволоками, вырезными наличниками, дверями и окнами, тесаными крыльцами. Они мастерски украшали узорами плиты красного шифера и белого мрамора, лепили на стенах изображения богов, людей, зверей, листья, цветы, раскрашивали их вапницами.

Здатели и древоделы еще до крещения Руси построили несколько храмов — в Киеве над Почайной, в Новгороде на Опоках, это были красивые деревянные храмы с рублеными стенами, с несколькими шатрами, крытыми тесом, и с опасаниями вокруг церкви для простого люда.

Только сами для себя ничего не строили и не могли строить древоделы и здатели, ибо, подобно многим другим русским людям, были они княжьими слугами, ремесленниками, смердами и жили, как и все убогие люди, в землянках, кое-как сложенных из дерева, а то и в плетеных из лозы хижинах...

Правда, люди Руси уже тогда, тысячу лет назад, старались, чтобы эти убогие хижины-хатки ласкали взгляд — их мазали глиной, белили мелом, обводили зеленой и синей краской, окна и двери украшали всевозможными рисунками: красными петухами — певцами зари; зелеными березками — священным деревом русов; воронными гривастыми конями — знаками воинов...

Этих искусников и сзывает к себе князь Владимир в терем и говорит старшему из них, Косьмине:

— Задумал воздвигнуть храм в городе Киеве в честь богородицы, дабы слава о нем шла по всей Руси.

Косьмина, седобородый муж с серыми глазами, вылитый апостол Лука, которого изображали на греческих иконах, долго думает, поглядывает на небо, горы, Днепр.

— Давно в мечтах лелею, — говорит он наконец, — построить храм, где человек почил бы от суеты мирской, вознесся мыслями к небу...

— Тогда начинай, Косьмина!

— Однако, княже, — грустно покачивая головой, говорит здатель, — ставили мы до сей поры деревянные храмы, теремы, крепости, ты же полагаешь, поди, воздвигнуть храм каменный, вечный...

— Так, Косьмина, каменный и вечный!

— По греческому образу? — спрашивает мастер, который в свое время, как воин, побывал и в Болгарии и в Константинополе.

— Нет, — решительно возражает князь Владимир. — Вы, киевские, вышгородские и новгородские плотники, известны по всей Руси, потому и строите в Киеве наш, русский, храм, а уж болгары и греки вам помогут...

Проходит немного дней, и Косьмина показывает князю написанную на пергаменте церковь во имя богородицы, а на другом — лик богоматери с большими карими глазами, бледным и строгим лицом и с возведенными горé руками.

— Се истинно наш, русский, храм! — вырывается у князя Владимира. — Прекрасно и лицо женщины... сиречь божьей матери.

Князь Владимир совсем не знал, что здатель Косьмина уже много лет думал, мечтал дни и ночи, как создать памятник, памятник-храм людям Руси, которые твердо стоят на родной земле, тяжело работают на ней, претерпевают много мук, поливают ее кровью и слезами засевают.

Всю свою жизнь провел старый Косьмина в бранях, трудах, был воином, пахарем, наконец стал строителем-древделом, но никогда не ведал радости утех, а только строил да мечтал.

Не изведал он также и любви, не было у него ни жены, ни семьи. Видел он в юности раз и другой в Киеве, на Горе, девушку, которую, наверно, полюбил бы навеки, проплыла она, точно далеская звезда, стороной от его жизненного пути и исчезла, оставив в душе лишь воспоминание...

Молился Косьмина Перуну, всем древним богам Руси, но помощи от них не видел, и вместе с русскими людьми Косьмина принял христианство — может, хоть, сложив на груди натруженные руки, здатель обретет покой и счастье!

Богородица! Новообращенному христианину понравилась замысел князя Владимира посвятить не кому-то, не богу, а неведомой женщине — богородице, которая чем-то напоминала ему богиню Роженицу, первый храм в Кневе, пусть она, жена, мать, молится, радуется перед богом о душах человеческих.

Но какова должна быть богородица? Греческие и болгарские иконы, известные Косьмине, не удовлетворяли его, там богородица была слишком неземная, надуманная, не такая, какую он себе представлял заступницу-мать.

И он пишет на пергаменте другую, земную богородицу — женщину с русыми волосами, высоким челом, карими глазами, тонким носом и правильно очерченными устами — немного грустную, немного беспокойную...

Кто знает, на кого она была похожа?! Косьмина много раздумывал, пытался ее себе представить. Прежде всего богородица, должно быть, очень походила на древнюю богиню русских людей Роженицу, которую некогда кузнецы отливали из меди и бронзы, — высокую, статную, с воздетыми горе руками и вдохновенным лицом... Вместе с тем земная и выношенная в мечтах, обычная и в то же время необычайно красивая, богородица эта походила на многих русских женщин и почему-то очень напоминала юную ключницу Малушу.

Там, где раньше находилась Воздыхальница и требище, копачи день и ночь роют землю, из далекого Вручая на возах, запряженных четверками и шестерками волов, свозят глыбы красного шифера, с Родни — камень, с левого берега Днепра — дубы, грабы, липы.

Могилы на Воздыхальнице сровняли с землею. Кто из бояр и воевод помнит своих предков? Язычники одни мечи да щиты оставили, живой Горе мертвая Воздыхальница ни к чему.

Лишь князь Владимир не забывает о своих предках: решив строить храм Богородицы, он вместе с Косьминой осматривает город и велит воздвигнуть церковь не у стен Горы, как полагал здатель, а далее к западу, на склоне.

Косьмина удивлен — церковь Богородицы должна стоять на самом высоком месте, чтобы подъезжающий к Кневу

путник мог видеть ее издалека, а уезжающий мог попрощаться.

Однако князь Владимир стоит на своем: бояре и восводы не чтут прах своих предков, это они велели и спокойно смотрели, как сравнивали с землею могилы, но он не позволит заровнять, уничтожить могилы древних князей, а также и могилы похороненных на Воздыхальнице княгини Ольги и Ярополка...

Кто знает, какие чувства руководили князем Владимиром, все это казалось даже странным, ведь княгиня Ольга лишила его самого дорогого, что есть у человека, — матери, а Ярополк всю жизнь оставался лютым его врагом?!

Строят церковь Богородицы. Русские здатели знают свое дело, тешут глыбы шифера, скудельники добывают на склонах киевской горы белую глину, формируют из нее и обжигают в печах изразцы; на стане гонят корчаги, высокие кувшины; кузнецы куют цепи, огромные крюки.

Им, которые до сих пор были только плотниками, трудно укладывать кирпичную основу, возводить каменные стены; здатель Косьмина допускает даже ошибки — кладет в основу деревянные срубы, ставит торчмя по углам бревна-торцы, связывает их и заливает вапном, из-за чего спустя какое-то время, когда дерево сгниет, стены церкви осадут, а еще позднее рухнут.

Между тем стены растут. Чтобы церковь была более звонкой и легкой, Косьмина замуровывает в них кувшины-голосники, шатры церкви он искусно возводит из очень тонкого кирпича, множества корчаг и горшков, от чего стены напоминают кусок вошины.

Одновременно Косьмина начинает украшать храм — на Руси с давних пор уже умели варить смальту. Вместе с солунскими и корсунскими мастерами русские здатели, стоя на высоких лесах, укладывают камень за камнем купола церкви, паруса и столпы; алтарь устилают точно ковром из мрамора и яшмы, а полы сиреневым порфиром; возводят на хорах и перед алтарем каменные заборы — ограды; выкладывают шиферными плитами корабль церкви; устилают дубовыми половицами притворы.

Для церкви Богородицы трудится весь Киев: на Подоле вырезают из дерева подсвечники и паникадила, чаши и миски, кузнецы куют цепи и гнезда для свечей, отливают кацми, кравцы шьют одеяния для священнослужителей,

воздухи и покровы на раку с мощами папы Климента для церковных икон, на престол.

Храм вырастает — уже возведен корабль, левая аспиды, через которую идут ступени в бабинец; в другой аспиде, направо от алтаря, делают потайной ход для князя и его семьи на полати...

Строится и вся Гора. То, что воздвигалось когда-то десятками лет, а порой и столетиями, рушат за дни, а то и за часы, и на развалинах старого поднимается новый город.

За древними деревянными стенами Горы было тесно — терем к терему, дом в дом, улицы узки, темны, дворы забиты клетями, медушами, поветьем.

Князь Владимир велит разобрать старые стены и воздвигнуть новые на высоких кручах до самого Перевесища, с каменными воротами на Подоле. Дворы на Горе строят большие, терема высокие.

На земле, которую захватывает Гора, стояли хижины и землянки ремесленников, всяких кузнецов, скудельников, гончаров, которые работали на Гору.

Пустое! Хижины и землянки убогих людей разбирают и сносят, тыны ломают, землю разравнивают — тут вырастут терема бояр и воевод, поднимутся дворцы и храмы.

А смерды? Что ж, князь Владимир печется и о богатом и о убогом, — смерды, жившие у стен Горы, могут городить новые дворы на вольных землях за Щекавицей, на Дорогожиче, на Оболони и повсюду до самого Вышгорода — вон сколько там круч, песков, топей.

Гора строится. Сразу же, как только минувешь ворота, по левую руку тянутся бесконечные возы, запряженные волами, копахи роют землю. Вот плотники разобрали половину терема княгини Ольги, трапезную, палаты, клетки, наверху сломали стену в палате княгини, и теперь кажется, что вся палата — с рублеными стенами, узкими окнами — висит в воздухе и вот-вот упадет и развалится.

Этот древний терем уже не нужен — по правую руку от дороги высится сложенный из кирпича, побеленный вапном, крытый шиферной крышей, с колоннами из мрамора новый терем князя Владимира, перед крыльцом стоят на постаменте привезенные из Херсонеса бронзовые кони.

За теремом князь Владимир велел ставить новые хоромы для боярской думы, для иноземных послов и купцов, терем в саду, из окон которого виден Днепр и левый берег, — для жены, василиссы Анны.

Торопятся и сами бояре: они разбирают старые и строят новые терема — просторные, светлые, из камня; окружают высоким частоколом дворы и все-таки по старому обычаю лепят у стен клети, бретяицы, медуши; все это стерегут лохматые, злобно лающие ночи напролет зубастые псы.

За стенами новой Горы строится предградье; каменные и деревянные терема вырастают уже и на склонах гор; бояре и воеводы, желая не отстать от князя и подражая ему, воздвигают, ставят и свои терема.

А в долине, за Щекавицей и на Дорогожиче, на Оболони, повсюду вдоль Почайны и Днепра, где пески, леса да бодота, — селится убогий смерд, копает землянку, строит из украденного леса хатенку либо попросту плетет из лозы хижину, обмазывает ее глиной с конским кизяком, белит подсиненным мелом, а над окнами и дверями малюет коней, красных петухов, зеленые священные березки.

Говорил князь с епископом и о книжном обучении — Владимир задумал собирать детей бояр и воевод и учить их грамоте; епископ, в надежде воспитать новых священников, благословил почин князя и пообещал, что священники, да и он сам возьмутся за обучение детей.

Однако, радея о науке, князь Владимир полагал, что недостойно и негоже на Руси, в городе Киеве; обучать детей греческому письму — не любят русские люди этот чуждый, непонятный им язык, не примут его. Лучше уж учить детей славянским и русским словам по болгарским книгам и всяким русским харатиям.

Воеводы и бояре, правда, посылали своих детей в науку весьма исохотно. Их возмущало то, что сыновья станут простыми священниками или дьяконами. Например, тиун княжьих стад, рыжий Чухно, когда дело коснулось его сыновей Берибараи и Грежа, запер их в медуше, сам сел на пороге и заявил:

— Для нашего скотского добра грамота не нужна... Не сойти мне с места, если пушу сыновей...

Князь Владимир, рассердившись, повелел отдать тотчас в науку самого тиуна, рыжего Чухно:

— Для скотины Чухно может и не учиться, но мне нужны ученые, грамотные тиуны...

Впрочем, и сами отроки не очень-то рвались к науке, порой, бывало, отцы приводили своих детей постигать грамоту на аркане, порой гнали их княжьи гридни.

Князь Владимир заходил в школу книжной премудрости. Помещалась она в длинном строении с множеством горниц недалеко от старого требища в конце Горы — там, где раньше жили приносившие жертвы Перуну волхвы.

Тут в двух горницах сидели вдоль стей юноши — сыновья воевод и бояр, между ними и рыжий тиун Чухно, который оказался гораздо способнее, чем его сыновья Берибараи и Греж. Приходили сюда одолевать грамоту и другие тиуны, смцы; в кресле сидел учитель, чертил и показывал буквы. У дверей стояли гридни, следившие за тем, чтобы ученики не разбежались.

В нескольких каморках варили в котлах чернила из ольховой коры и чернильных орешков, киноварь из серы и ртути для заглавных букв; делали из тонкой телячьей шкуры драгоценный пергамент, просвечивающий на солнце; резали из бересты длинные свитки, на которых писали острыми железками, а на липовых и ивовых цках — иожам.

В самом дальнем углу здания, в отдельных обособленных уютных покоях, где за узкими окнами колыхались ветки деревьев и ворковали голуби, сидели за столами писцы, писавшие лебедиными или гусиными перьями на пергаменте, железом на бересте, иожам на цках.

Князь Владимир и епископ Анастас обходили горницы, слушали, как десятка два голосов режут: "В-е-ве... ер-у-ру...ю, это ю... верую...", быстро, спасаясь от смрада, пробегали каморки, где варили чернила, скребли, чистили прессовали телячью шкуру, надолго останавливались в покоях, где сидели писцы.

Здесь с деревянных досок переписывали на пергамент давние сказания о Кие, Щеке и Хориве, о их сестре Лыбеди, вели летопись временных лет, готовили грамоты и уставы, которые посылались гоицами во все земли. Далее шли князь Владимир с епископом уже садом; гулко падали на землю яблоки и груши, гудели пчелы, разливали свои ароматы мята, любисток, свшан.

— А как быть с монастырями, с чернецами? — спросил епископ.

Князь Владимир пытливо поглядел на него.

— В Византии, — вкрадчиво промолвил епископ, — насчитывается множество монастырей, в которых живут монахи и монахини, дению и иощию молятся они за василевсов.

— Я не запрещаю, пусть монастыри будут и у нас. Они уже есть.

— Как раз о том я и хотел поговорить с тобой, княже... Что может делать человек, непрестанно молящийся богу? И наши священники и монашество не в силах существовать лишь на подаяния людей, — церковь освящает державу, держава должна радовать о церкви... В Византии церковь владеет землями, лесами, реками, каждый священник, каждый монах получает от василевса воздаяние.

— У меня не хватает земель на пожалования боярству, а золота и серебра — на дружину, — сказал князь сердито. — Довольно того, что я строю соборы и храмы, мне нечего дать церкви и монастырям.

Епископ Анастас молчал. Он знал, чего хочет!

3

В Новгород нарочитые мужи князя Владимира приехали позднее, чем в другие земли. Но явилось их, пожалуй, больше, чем в другие города. Князь Владимир повелел окрестить людей, создать в Новгороде первую после Киева русскую епархию, поэтому вместе с мужами прибыл и епископ Иоаким с несколькими священниками и дьяконами, которые везли с собой иконы, книги, церковную утварь.

Новгородские воеводы, бояре, мужи лучшие, градские старцы хмуро, можно сказать, просто неприязненно встретили мужей Владимировых — суровые, холодные, замкнутые северные люди, под стать земле, скалам и морю, вытесывали из дерева, из камня таких же богов.

Эти боги до сих пор им словно бы и помогали — с ними родилась и росла Новгородская земля, они стояли на погодах, охраняли ратая в поле, охотника, купца и мореходца в дороге, с ними ходили и на брань, с ними начиналась жизнь новгородца, с ними она и заканчивалась.

Но наряду со своими богами новгородцы уважали и других: на севере что ни земля, то и поконы — у чуди заволочской боги, точно чуднща морские, — ни человек, ни рыба; в Новгороде воеводы из свинов молились Одину и Тору; немало воевод и бояр исповедовали уже Христа, была у них и церковь на Опоках, каждый, как говаривали в Новгороде, верит в бога по подобию и надобности, свое бережет, чужого не трогаем.

Ныне же статья иная: мужи князя Владимира прибыли с наказом валить кумиров, разрушать требища, окрестить Новгород и все северные земли, посадить епископа и священников. Так поступили в Киеве, так должен сделать Новгород, так будет по всей Руси.

Новгород всполошился — все князь Владимир не посоветовался с ними. Северным землям неведомо христианство. Сурово, в напряженном молчании встречали бояре, воеводы, а тем паче простые люди киевских мужей, которые, выйдя из лодий на Волхове, шествовали к княжьему двору и исчезали за высокой стеной.

Однако недаром сидел в Новгороде Добрыня. Он знал, на кого опираться, — могуч киевский князь! В палате, где под знаменем князя стояло его кресло, собралась целая толпа воевод, бояр, мужей, сторонников старых законов и обычаев, и несколько волхвов, впрочем, пришло немало воевод, бояр, мужей — христиан.

— Придется свергнуть в Волхов Перуна, — сказал Добрыня, — разрушить кострища на Перинь-горе, окрестить Новгород и все северные земли.

В палате безмолвствовали, жарко горели свечи, волхв загремел своим бубном, колокольца звякнули и утихли, точно отголосок далекого ветра.

— Кто же поднимет руку на Перуна и повергнет его? — прозвучал в палате чей-то робкий голос.

Добрыня какую-то минуту глядел на воевод и бояр новгородских. Идти с ними? Нет, не по дороге сейчас Добрыне с некрещеными воеводами да боярами, он давно уже поставлен над ними, ныне должен поступить, как князь... Правда, Добрыня забыл, что, отстав от своего рода, он все же к князьям не пристал, а оставался лишь княжьим слугой. Гляди, не промахнись, новгородские бояре и воеводы не помилуют, а понадобится — и князя не пощадят!

— Я отрублю голову Перуну, — промолвил Добрыня.

И Добрыня сдержал свое слово. На Перинь-горе и вокруг нее собрались тысячи людей — бояр, воевод, тысяцких, сотенных, десятников, там толпился и простой новгородский люд — кожемяки, скудельники, кузнцы, древоделы, мореходцы, охотники, а всех их окружала, по велению Добрыни, гридьба, воины с мечами и копьями.

Рассвело. Из-за далекого небосклона вставало в прозрачной дымке большое багряное солнце. То тут, то там в небе плыли, словно тяжелые новгородские учаны, серые ту-

чи. Над горой со страшным гамом и карканьем кружилось воронье, которому всегда после жертвоприношения доставалась пожива.

Но в этот день воронам нечего было ждать — на Перинь-горе не пылали, как раньше, кострища, не ревели жертвенные волы и коровы, не ржали лошади, — вокруг Перуна, который уставился серебряными глазами на восток, возились воины, обвязывали его веревками; другие боги были уже обвязаны, их должны были волочить вниз с горы и бросать в Волхов.

Но прежде следовало осквернить и особенно унижить бога Перуна, ведь он первый среди старых богов. Не станет его — сгинут и прочие.

Гридни подали воеводе Добрыне секиру. Он попробовал ее острие и, взяв секиру в правую руку, полез по лестнице, которая доходила до самых плеч Перуна.

Поднявшись, Добрыня встретился с Перуном один на один, его серебряные глазницы таинственно поблескивали в лучах восходившего солнца. Воевода даже вздрогнул, ему показалось, что глаза Перуна заглядывают в самую его душу. Лестница качнулась, так, чего доброго, можно и упасть. Чтобы почувствовать себя уверенней, Добрыня оторвался взглядом от лица Перуна...

И тогда, стоя высоко над всеми, Добрыня увидел далекие леса, серебристый, похожий на огромную чашу, плес Ильмень-озера, несметную толпу на Перинь-горе, на ее склонах, багряное солнце над далеким небосводом — загорался день.

Это был последний день Перуна и старых богов. Добрыня высоко поднял правую руку, нацелился, ударил. Он рубил голову Перуна так, что только щепы летели.

И тотчас завопили воины и все стоявшие на горе люди. Добрыня, сделав свое дело, быстро спустился вниз, а воины потянули за веревки, повалили идолов и поволокли их к Волхову. Последний день старых богов закончился...

Ночью Добрыня не сомкнул глаз. Казалось, и ему, и всем намаявшимся за день людям новгородским следовало отдохнуть — после низвержения богов на Перинь-горе было крещение на Волхове, которое совершал епископ Иоаким со священниками, вечером Добрыня с воеводами и боярами ужинали с гостями из Киева в княжьем тереме.

Как раз в это время и случилась беда. В городе начался пожар. Кто-то поджег стены княжьего терема и детинца.

Гридни несколько часов таскали воду из Волхова, засыпали стены песком, затапывали жар ногами.

Но едва лишь погасили огонь в детинце, как зарево заалело над левым берегом Волхова — там горели княжьи житницы, и, хотя гридни сразу на лодях поплыли туда, тушить пожар было уже поздно — житницы горели, как свечи, огонь бушевал, пылающие головни летели на соседние дворща — зашумел, закричал испуганными голосами весь Новгород...

Добрыня не ложился, где уж тут отдыхать?!

4

Князь Владимир очень скоро узнал о том, что произошло в Новгороде. Вести о глухом сопротивлении христианству и всему новому, что властно вступало в жизнь, доходили также и из других земель — из червенских городов, из Полоцка, Тмутаракани.

Впрочем, что земли? В самом Киеве было весьма неспокойно: на кладбищах и просто у дорог, где по новому обряду хоронили мертвых и ставили над могилами кресты, кто-то по ночам сволочил покойников и рубил кресты; на Подоле и Оболи убогие люди тайком собирались в землянках и хижинах, в рощах и дубравах; ночью раз и второй разбили лавки на торге, убили купца Божедома, княжьего ябедника Сайгу.

Князь Владимир неустрашим и гневен! Ни он, ни Гора не уступят! Князь и бояре спускаются на конях с горы, проезжают по новому кладбищу, где лежат раздетые трупы и срубленные кресты, видят на Подоле разбитые лавки. Бояре и воеводы посматривают на князя — днесь Божедом и Сайга, разбитые лавки на торге, разграбленные кладбища, а что завтра?

— Искать надо татей, сретиков, разбойников и убивать, — нашептывает князю воевода Волчий Хвост.

Кровь за кровь — это напоминало старые времена, когда за смерть карали смертью; тогда брат мстил смертью за убийство брата или сестры, сын за отца, отец за сына, ныне же бояре и воеводы требовали, чтобы богатый мстил бедному, а за убийство княжьих слуг — бояр, воевод, всех княжьих мужей мстил и карал сам князь.

А христианство?! Да, князь Владимир, сидя на коне перед разгромленной лавкой купца Божедома, смотрит на Днепр, на небо, луга и думает о том, каким же он будет христианином, если позволит убийство.

— Головников, татей, еретиков ловить и брати с них виру, — повелевает князь.

Дружина князя Владимира мечется по Оболи и Подолу, врывается в землянки и хижины, ищет татей, головников, еретиков.

Но разыскать их, поймать, наложить виру не легко: здесь, над Почайной и Ситомлей, убогие люди единодушны, тверды, упрямы: никто из них ничего не знает, никто головников и татей даже не видел.

Мало того, когда гридни, продолжая свои поиски ночью, дабы пытать людей с испытанием, рассыпались далеко по лугам и дубравам, неведомо кто, тайком, так тихо, что не слышно было и крика, убивает двух гридней, Зарву и Горнича, песок да кровь, кто знает, куда девались головники?

Среди гридней на Горе тревога и волнение — это уже не та дружина, что ходила с князем когда-то в поле и при виде врага смело нападала на него и побеждала. Кому теперь охота служить князю за постель да харч и умирать у Почайны от руки брата?!

И раньше гридья была хищной, злой, но тогда князь платил им гривнами, кормил говядиной, одного перцу давал три колоды на неделю.

Раздраженные гридни говорят:

— Худо приходится головам нашим, едим деревянными ложками, а режут нас из-за угла ножами...

Князь Владимир велит увеличить гридням жалованье и выковать им серебряные ложки.

— Без дружины всего лишусь, а с ней добуду, подобно отцу и деду, злато, серебро.

Вечером он долго советуется с епископом Анастасом, а утром велит созвать в Золотую палату воевод, мужей, бояр.

Епископ Анастас нерешительно переступил порог Золотой палаты — князь Владимир впервые пригласил его на сход старшей дружины.

Кое-кого из бояр и воевод удивило, почему явился епископ, чем может он помочь в это трудное, смутное время князю, Горе?

Впрочем, о нем тотчас и позабыли, епископ медленно прошел почти до самого помоста, подняв десницу, благословил князя, тихо уселся на скамью и погрузился в свои думы.

Разговор в это утро шел трудный, резкий — об убитом купце и ябеднике, о найденных у Почайны мертвых гриднях.

— Уже, княже, — кричали бояре и воеводы, — не помогают и виры, берем с головников и татей за убитого купчину, гридня, ябедника, мечника по сорок гривен, а разбою нет конца...

— Чего же хотите, мужи мои? — спросил князь.

— Еще убьет головник кого из бояр, воевод, княжьих мужей, да убиен будет...

— Не могу! — промолвил Владимир. — Новый закон, вера моя не позволяют карать смертью. Боюсь греха, не могу...

Владимир умолк, он сказал, что думал. Но здесь, в палате, епископ, пусть он скажет, что велит церковь?

— Отче Анастас, — обратился князь Владимир к епископу, — что скажешь мне и мужам моим?

Епископ Анастас встал, поглядел на князя, воевод, бояр.

— Ты поставлен еси, княже, — тихим голосом промолвил он, — на стол по божественному закону на казнь злым, а добрым на помилование...

— Могу ли я карать смертью за смерть? — спросил князь Владимир.

— Достоин ты казнить разбойника, но с испытанием и розглаголом, без того убо власти нет...

— Буду, — сказал князь Владимир, — творить так, как просите вы, мужи мои, и как повелевает бог! Карать смертью!..

Так в Киеве... А земли? Князь Владимир не понимает, что делается в Киеве, но подобные же вести идут с земель, и там татьба, разбой, и там ересь, волхование, сволочение...

Новое враждует со старым — это так, Владимир верит в новое, в городе Киеве вместе с боярами, воеводами, дружиной да церковью будет бороться за это новое; в каждом городе и земле Руси есть своя Гора, свои воеводы, свои бояре, они помогут ему, потому что борются за себя, за Русь.

Но можно ли надеяться на все города земли, на кого там полагаться, кому верить?

Сомнение — первый враг, начинающий глотать сердце и душу человека, а за ним неизбежно возникают тревога и страх.

5

Князь Владимир сзывает сыновей. Он долго раздумывал, прежде чем это сделать. Но нет, им, только им можно открыть свою душу, только на них можно положиться в трудные времена, ведь они — его кровь, его плоть.

Хороши сыновья у князя Владимира. Одни — Вышеслав, Изяслав, Ярослав — похожи на мать Рогнеду, другие — Всеволод, Святослав — капля в каплю отец; все они здесь обучались верховой езде, владеть мечом и копьем, убивать зверя, а буде потреба, не убоятся и врага; а вот Ярослав усердно учился грамоте — читает греческие, латинские, немецкие письма.

Между ними и Святополк, сын Ярополка, он тоже живет в тереме, учится наряду с княжьими детьми, растет, братья его не обижают, а Владимир относится как к родному.

— Садитесь, дети мои! — говорит князь. Сыновья садятся за стол, а он стоит у открытого окна и смотрит то на них, то на Днепр, пески, луга.

По правде сказать, сыновья удивлены: с тех пор как Рогнеда ушла с Горы, редко кто из них даже видел отца — ели они отдельно в трапезной, отец с царицей Анной завтракали, обедали наверху. Сам же князь давно уже избегал с ними встречи.

Глядя на отца, они диву давались, до чего изменился, постарел, стал совсем, казалось, другим князь Владимир — лицо нахмуренное, глаза потухшие, голос тихий. И все-таки хорошо, что отец созвал их, очень хорошо, что вокруг нет ни воевод, ни бояр, они да отец — одна семья.

Князь Владимир отходит от окна, останавливается у стола и опускает руку на плечо Вышеслава.

— Дети мои, — ласково, по-отцовски начал князь Владимир. — Я позвал вас, чтобы поговорить с вами откровенно, по душам, не как князь, а как отец со своими сыновьями...

Он умолк и стоял, седой, чуть сгорбившись, и, само собой, эти ласковые речи вызвали сочувствие, отклик в юных сердцах.

— Ведаете ли вы, дети мои, — продолжал князь, — что отцы наши и я сам также долго собирали землю Русскую, устроили ее, брань принимали за ню со многими врагами, и днесь Русь велика, сильна, непобедима...

Он снова умолк, припоминая далекие походы, стоны людей, кровь на песке, раздумывая, как бы рассказать обо всем этом сыновьям, но безнадежно махнул рукой и закончил так:

— Многие дела свершили мы, живя по закону и покону отцов и дедов наших, но Русь ждала, наступило время, и я обрел для нее новую веру, ныне люди Руси христиане суть, во Христа облеклись также вы и я с вами, так повелел бог...

Князь говорил тихим, ровным голосом, точно убеждал самого себя, а в словах его звучали тревога, беспокойство.

— Солнце на небе, — продолжал князь Владимир, — затемняют тучи, лучшие цветы садов могут убить морозы, так и на Руси, словно бы и покоряются князю и всюду мир, однако земли ропщут напротив Киева. Повсеместно волнение, татьба, разбой, нет в землях покоя, нет мира и между ними также...

Теперь уже не Владимир, а сыновья смятенно смотрят на отца-князя, тревога отца за Русскую землю — их тревога, а он ведь раскрывает перед ними душу, сердце.

— Потому полагаю так: я глава дома — Руси, но опора моя только вы, кому, кроме вас, поведаю, что тревожит мне душу, на кого, кроме вас, могу опереться? Верьте, никого у меня нет, кроме вас, токмо на вас полагаюсь, потому не могу больше держать в Киеве, как бы того ни хотел, думаю послать вас в земли.

Сыновья поняли, зачем созвал их отец, значит, он не хочет больше видеть их здесь, на Горе...

— Не подумайте худого, — словно угадывая их мысли, продолжал князь, — не унижения ради посылаю вас в земли, нет, а князьями, дабы подобно мне в городе Киеве вы управляли людьми и землями, вы со мною, я с вами — на том отныне стоять будет Русь.

Сыновья переглянулись, улыбки заиграли на их лицах, молодости — свое, теперь уж их манили далекие княжьи столы, куда же и кого именно думает послать отец?!

— Новгород, — князь Владимир задумался, вспоминая, должно быть, свое детство, — северный край нашей земли, великий город, правая рука Киева, кто в нем сидит, должен

зорко следить, что делается за морем, где Русь подстерегают свионы, даны, англичцы. Суровы люди северной земли, немало их держится еще старых законов, потому, раскинув умом, решил послать князем тебя, Вышеслав.

Вышеслав встал и поклонился отцу.

— Полоцк, — князь Владимир опять задумался, перебирая в памяти все, что произошло когда-то в этом городе, — туда я посылаю тебя, Изяслав.

Еще один сын встал и поклонился князю.

— Ты, — обернулся князь к Ярославу, который сидел за столом бледный, встревоженный, — поедешь в город Ростов. Ростово-Суздальская земля велика, богата, но трудная, не раз ходил я туда.

Ярослав поднялся и болезненно поморщился, видно, заболела поврежденная нога.

— Спасибо, отче, — промолвил он, поклонившись.

— Ты, Святослав, поедешь в Древлянскую землю, ты, Всеволод, — в город Воынь, Станислав — в Смоленск...

Сыновья, которых князь Владимир называл, вставали и кланялись.

— Ты, Святополк, — обернулся он наконец к сыну Ярополка и Юлии, — поедешь князем в город Туров, это большая земля, наш рубеж с польскими князьями.

Святополк, который сидел настороженный и внимательно слушал, как князь Владимир раздает уделы своим сыновьям, быстро встал и поклонился.

— А Мстиславу, иже сидит на столе в Тмутаракани, там и быти, — закончил князь Владимир.

Он умолк, сыновья тоже не проронили ни слова, казалось, князь сказал все, что хотел, сыновья же думали о том, что ждет их впереди.

— Вот и весь сказ, — закончил князь Владимир. — Запомните, сыны мои, в трудное время обращаюсь к вам, боюсь за Русь, но верю, вы будете опорой в землях, сбережете ее, не допустите, чтобы она распалась, будете блюсти ее целостность и единство.

Позднее, до конца своих дней, князь Владимир вспоминал этот день и час, когда думал уберечь вместе с сыновьями Русь, позабыв о том, что сыновья ему уже чужие, потому что сам он не сумел уберечь своей семьи.

О замысле князя, конечно, сразу же узнал и епископ Анастас, в тот же день вечером он, как всегда, явился к Вла-

димиру, долго говорил о церковных делах и устройстве Руси, а потом заметил:

— Добро учинил, княже, что посылаешь своих сыновей в земли. Даже у Христа были помощники — апостолы. На высоких горах стоит город Киев, но трудно тебе одному видеть всю Русь, будут сыновья в землях твоими глазами, мыслями, руками.

— Боюсь, епископ, что труднее всего придется их рукам, — ответил на это Владимир. — Смутное, мятежное время ныне на Руси, земля идет на землю, в самих землях разбой и татьба, всюду пожары.

— А ты пошли с ними помощников...

— Ты про кого говоришь?

— Думаю я, что каждому князю надлежит придать епископа, дабы каждая земля имела княжий стол и божий престол, епархию... Князь и его епископ — великая сила, сим победиши, княже!

— Князь и епископ — и в самом деле великая сила, — согласился Владимир. — А кого пошлем с сыновьями моими, отче?

— В Новгороде сидит Иоаким, — начал епископ. — Он будет правой рукой Вышеславу.

— Добро, — согласился князь Владимир.

Анастас, очевидно, уже знал, куда уезжают сыновья Владимира, думал над этим и потому говорил уверенно.

— С Ярославом в Ростов хорошо бы послать Иоанна, вельми ученый он епископ и тихий.

— Пошли, — сказал Владимир.

— Со Святополком в Туров может поехать Феодосий, он тверд в вере, спасался на горе Афон.

— А католиков знает?

— Он лютый враг папе и Польше...

— Ты, Анастас, не токмо епископ, но зришь дале, нежели бояре.

— Что я! — Анастас улыбнулся. — Наставник твой, пастырь овец...

Так, договорившись, они послали в Смоленск Мануила, в Волюнь — Стефана; не только в Киеве церковь подпирала Гору, епископы и священники становились теперь рядом с князьями и в землях.

Сыновья выезжали в земли, Владимиру хотелось, чтобы они поскорее отправлялись и брались там за дело, впрочем, они с радостью покидали Киев; пусть любой город, любая земля, лишь бы не Гора, не Киев, не отец и не мачеха Анна.

В скором времени в Киев прибыли послы польского князя Болеслава. Князь Владимир встретил их, как друзей. Три дня на Горе шел пир, князь Владимир вместе с князем туrowsким Святополком принимали гостей, перевары с медом, олом стояли на концах нового города и на Подоле, веселился весь Киев.

Потом Владимир отправил своих послов, а вместе с ними и Святополка в Гнезно, Болеслав узнав, как принимали его послов в Киеве, захотел принять русов в Гнезно еще лучше.

Конечно, князю Святополку представилась возможность встретиться с княжной Мариной, необычайной красоты девушкой. Невысокая, но стройная, русая, с дивными голубыми глазами, певучим голосом, холеная, нежная, Марина приглянулась Святополку. Прошло немного дней, и он признался ей в любви; княжна Марина ответила тем же, нежной, хрупкой девушке пришелся по сердцу грубоватый и простоватый, но сильный, могучий туrowsкий князь.

Свадьбу справили в Гнезно. Никого не беспокоило, что князь Святополк не католик.

Из Гнезно, не заезжая в Киев, князь Святополк направился прямо в Туров. Вместе с ним ехала его жена Марина с большой свитой, дружиной, с множеством священников и духовником.

Духовник был рад, что Святополк не заезжает в Киев — там его хорошо знали. Это он приезжал когда-то к князю Ярополку в качестве благовестника римского папы, а позднее к князю Владимиру как посланец князя Мешка.

Епископ калобрезский Рейнберн — это был он — ехал сейчас на правах духовного наставника княгини Марины, не отходил от нее ни на шаг, заботился о ней и всячески старался сблизиться со Святополком, проводя долгие вечера в гостиницах на Червенской дороге с молодыми, рассказывая князю всякую всячину либо что-нибудь у него выпрашивая.

Маринин духовник, епископ Рейнберн, выполнял наказ римского папы — сейчас перед ним открывалась широкая дорога на Русь.

6

Известие о том, что в Новгород едет сын Владимира Вышеслав, ошеломило и весьма взволновало посадника Добрыню.

С тех пор как Владимир уехал из Новгорода и после окончания сечи с Ярополком стал киевским князем, а потом и великим князем Руси, Добрыня и в голову не приходило, что в Новгороде может быть и будет когда-нибудь свой, новгородский князь.

Зачем Новгороду князь, если в Кисве сидит Владимир, а в землях за Волховом — его посадник Добрыня? Он ревностно служит киевскому князю, держит в покорности северные земли, как пес, стережет украины Руси, собирает и посылает в Кисв большую дань: две тысячи гривен за лето да еще и шкуры, мед, воск, горючий камень, рыбий зуб. Что же задумал князь Владимир, зачем посылает в Новгород сына?

“Может, — думал Добрыня, — это дело рук киевского боярства, ведь оно никогда не любило и не полюбит его, брата рабыни Малуши; а может, козни новгородских бояр, которым вольготнее сидеть и властвовать под знаменем своего князя, нежели под десницей посадника?”

Однако Добрыня отогнал эти мысли, — что киевскому боярству Новгород, им, конечно, спокойней держать послушного посадника, чем одного князя; с новгородскими боярами и воеводами Добрыня был суров, неумолим, но и они сами такие же суровые и неумолимые к другим. Однако то, что даст Добрыня, им не получить от князя. Нет, когда-то они просили у Святослава сына князем, под знаменем Владимира добыли честь, славу, богатство, но они не станут рубить сук, на котором сидят, не попросят у Владимира сына...

От Руты не укрылось, что Добрыня худеет, стал плохо спать.

— Что с тобой, муж мой? — спросила она как-то ночью, увидав, что Добрыня после долгого ворочанья с боку на бок сел на кровати и выпил полный кухоль квасу. — Может, у тебя что-нибудь болит, печень или опять поясница?

— Нет, ничего не болит, — ответил Добрыня, и в полумраке Рута увидела его всклокоченные волосы и большие, испуганно глядевшие глаза. — Вот лежу, не спится.

— А почему? — Рута села рядом и опустила руку на его шершавую морщинистую шею.

— Сын Владимира Вышеслав едет сюда князем. Не знаю, зачем киевскому князю посылать его сюда, не ведаю и того, как мне с ним держаться.

— А ты не думай об этом, — спокойно сказала Рута. — В Новгороде ты свой, первый боярин, у тебя вся сила, а князь, куда ему без тебя податься? Без тебя и князем не будет!

Рута говорила правду, Вышеслав или какой иной сын Владимира, что они без него?! И все-таки на душе было то-скливо, как-то пусто, Рута напонила, и он вдруг почувствовал, как его и в самом деле мучит печень, ноет поясница. Нет, не тот нынче Добрыня, каким был когда-то. Уже под-краслась к нему и начинается одолевать неумолимая старость.

И Добрыню в этот поздний ночной час обуяла несказан-ная тоска о далеком безвозвратном прошлом, и в полумраке терема над Волховом почувствовал он себя таким одино-ким...

— Дай мне кусочек мела, — сказал он, — и в самом деле мучит печень.

Рута встала с постели, достала из кади кусочек мела и налила из бочки кухоль квасу. Добрыня разгрыз мел и за-пил.

— Кажись, полегчало, — промолвил он. — Погоди-ка, Рута, слыхать, ударила стража?! Так и есть, пора вставать.

В углу Рута раздула жар, зажгла свечу.

Едва лишь вскрылись Волхов и Ловать, в Новгород при-был князь Вышеслав.

Уведомленные гонцами заранее, князя Вышеслава встречали далеко на Ильмень-озере на десяти учанах по-садник Добрыня с воеводами Спиркою, Векшою, Михалом и Тудором, боярами Чудином и Волдуем.

Внимательно ко всем приглядываясь, Добрыня заметил, что известие о приезде князя Вышеслава всех их очень обра-довало, они нетерпеливо ждали его и готовились встре-тить достойно и сердечно.

Никто не попрекал Добрыню, не избегал его, бояре и во-еводы вспоминали времена, когда в Новгороде сидел князь Владимир, а они служили ему, радовались, что теперь он вспомнил о них и посылает князем своего сына.

— Будем служить Вышеславу, — говорили они пря-мо, — а ты, Добрыня, клади мосты между ним и нами...

Встречавшие приветствовали князя на широком плесе, где даже не видать было берегов; Добрыня в шубе, в соболи-ной высокой шапке, с двумя гривнами на шее и золотой

цепью через всю грудь, со всей прямою и от всего сердца обнял и поцеловал Вышеслава.

— Тебе кланяется и просит пожаловать Великий Новгород и северные земли, — громко промолвил он.

Так они поплыли в Новгород — впереди остроносые учаи, за ними шесть длинных киевских насадов, а на одном из них, под знаменем отца, князя Владимира, князь Вышеслав.

Весь тот день Добрыня находился с Вышеславом, и на обеде в Большой палате детинца, где бояре и воеводы присягали новому князю, и в покоях, где отныне должен был жить Вышеслав.

Дело было уже под вечер, Добрыня на краткое время остался с князем. Вышеслав устал, хотел отдохнуть после трудной далекой дороги, но Добрыня не покидал его.

Они сидели наедине в палате на верху терема, окна которого выходили на Волхов. Князь Вышеслав снял опашень, корзно и остался в одном черном платне, туго стягивающем тонкий стан, острые плечи, узкую грудь. И лицо Вышеслава было под стать телу, бледное, изможденное, с темными впадинами вокруг больших серо-голубых глаз.

— Посылаючи меня сюда, — начал Вышеслав, — отец говорил, что во всех начинаниях ты, воевода Добрыня, будешь моим помощником и другом.

— Рад служить тебе, княже Вышеслав, полагайся на меня, подобно отцу своему... Днесь уже поздно, пора тебе на покой.

— Ты живешь близко? Я останусь в этих покоях один? — спросил с тревогой Вышеслав.

— Я живу недалече, — Добрыня усмехнулся, — вон там, над Волховом. А в тереме ты не один, внизу, в снях, живут дворяне, покличешь — все для тебя сделают. День и ночь стоит стража. А я приду на рассвете, буду все время с тобой.

— Добро, воевода! Вижу, ты тоже утомился. Доброй ночи!

— Доброй ночи и тебе, княже!.. Спи спокойно...

Поклонившись Вышеславу, Добрыня, пятясь, покинул хоромы. Вернувшись домой в хорошем настроении, Добрыня велел Руте подать ужин и налить меду.

— Ну, как князь Вышеслав? — спросила она.

Добрыня выпил поначалу кухоль меду, закусил куском вяленого вепря и лишь потом ответил:

— Князь Вышеслав юн и тщедушен. Не в отца пошел, о нет! Трудно ему тут будет, на севере. Нет, по глазам вижу, не жилец в Новгороде князь Вышеслав, не выдержит...

— И тебе совсем нечего бояться его? — полюбопытствовала Рута.

— Бояться его? Ха-ха-ха! — даже расхохотался Добрыня. — Да разве медведь боится какого-нибудь зайчишку?..

Поздняя ночь. Объяты сном Новгород, терема над Волховом, княжий терем, все концы, спят люди... Не спит лишь князь Вышеслав, он ходит по пустынному покою, останавливается время от времени у окна и смотрит на темный Волхов, на черное небо, в котором горят новые, незнакомые ему звезды.

Но что это? На бледном лице князя сверкнули слезы. Склонившись к подоконнику, плачет, плачет князь Вышеслав...

7

...Смерд Давило спасался. Миновав болота на Оболони, он побежал по ивняку вдоль Днепра, потом, свернув в лесную чащу, забился в кусты и сел, тяжело дыша, передохнуть...

“Они меня не найдут, не возьмут”, — думал Давило.

Кругом густой лес, стены кустов, бурелом, никто не пробьется в эти дебри, а если и пробьется, будет уже поздно; вверху, в прорезях между ветвями, синее небо, отливают золотом кромки облачков, уже вечереет, скоро ночь, когда она кончится, Давило будет далеко за Вышгородом.

Нет, нет, его теперь не поймают, там на болотах и в ивняке вдоль Днепра он слышал позади, совсем близко, шаги, голоса, но в чаще голоса стали удаляться и мало-помалу затихли совсем, не слышать их сейчас, тихо, как тихо в дебрях.

Свобода! Да, загнанный в кусты, преследуемый, Давило чувствовал себя здесь свободным — он спасется, убежит, поблуждает вдоль Днепра, в лесах, в поле. Потом еще долго, наверное, будет опасаться людей, избегать их, и все-таки это свобода, никто не свяжет ему руки, которые так много поработали и могут еще работать. Пройдет время, все забудется, он вернется к людям, может быть, даже прокрадется в Киев, заберет жену и детей, пойдет с ними куда глаза гля-

дят в поле, выкопает там землянку, возделает клочок земли. Прячась, как зверь, но будет жить, свобода, она казалась такой близкой, вот темнеет уже небо, скоро ночь...

И в этот последний перед заходом солнца час смерд Давило вспомнил так много, почти всю свою жизнь.

Память воскресила далекое время, еще при княжении Ольги, когда у него был небольшой клочок земли да хижина за Перевесищем.

Тогда Давило проклинал ту чахлую землю с вечным недородом, проклинал хижину, в которой нечего было поставить на огнище, в которой он, жена и дети спали вповалку на твердой холодной земле.

Сейчас он вспоминал тот жалкий клочок, как священную землю, а убогая хижина отца казалась ему теремом. После вокняжения Ярополка двор забрали, хижину разрушили, а его самого с семьей прогнали в пески, за Оболонь.

Давило не сдавался, он верил, что это миует, шли слухи, будто на Ярополка идет брат его Владимир, он, сын рабыни, защитит старые законы и обычаи.

Потому Давило, а с ним вместе много людей, которых обидел Ярополк и его бояре да воеводы, взяв в руки мечи и колья, били в спину воинов Ярополка, когда те бежали из Киева, радостно встречали Владимира, возлагая на него все надежды.

Почему же Давило теперь бежит в леса и трущобы, кого ему бояться в городе Киеве, где князем сидит сын рабыни, великий князь Владимир?

Тщетно надеялся Давило, что ему и таким, как он, убогим людям станет жить лучше при князе Владимире, напрасно смерд столько боролся, верил в князя.

Оболонь, куда прогнал Давилу князь Ярополк, стала для смерда гибелью, клочок песка, где он выкопал землянку, уж ничего не давал. Взял Давило у подольского купца Божедома купу, из года в год он трудился и никак не мог выплатить купу, а прирост на нее шел, Божедом мог сделать смерда обельным холопом.

Так страдал не один Давило. В своей усадьбе на песке не родит ничего, захочет купец или боярин — даст работу, не захочет — грызи корни, ешь давленину, а на заработок едва прокормишься, дома же голодная жена, дети, кругом смерть!

Они стали христианами: на землю надежд не возлагали, царь земной Владимир, его бояре и воеводы не только ниче-

го не давали, а, напротив, только брали и брали, может, хоть царь небесный смилуется над ними...

Однако не помог и Христос, в лютой ненависти шли они на кладбища, валили там кресты, голод делал свое дело — и они ночью тайком стали подкрадываться к лавкам купцов на Подоле. Так Давило попал и во двор Божедома, а когда тот со стражей застал их за грабежом, смерд убил купца.

Даже страшно все это вспоминать, представлять — безумна рука, занесшая топор, налита ненавистью и злобой, но разве ее остановишь, встретив с глазу на глаз врага?!

Ночь! Хоть бы скорее ночь — смерд Давило теперь головник и тать. Он не может пойти к своей семье, к голодной жене и детям. Бежать, бежать подальше от Киева!

Но что это? Справа треснула сухая ветка — Давило повернул голову, слева послышались шаги, — он вскочил, гридень с мечом преградил ему дорогу, а еще несколько стали позади.

Когда смерда повалили на землю и били, он молчал. Стемнело. Давиле связали руки и повели по долине. В отдалении вырисовывались на горе очертания Киева, ночь наступила, но свобода была далеко!

8

На киевских горах, высоко над Днепром, на месте древнего требища богов земли Русской и Воздыхальницы вырос храм.

Его видно было с Подола и с берегов Днепра, он издалека вставал, подобно дивному видению, перед взором приближавшегося к Киеву путника, и пешего, и на лодии. “Дивен храм, нет равного ему в мире”, — говорили люди.

И верно, храм Богородицы был прекрасен, он не напоминал греческих соборов, тяжелых каменных громад с позолоченными куполами, высокими окнами, широкими воротами; не походил и на болгарские храмы, серые, воздвигнутые на скалах строения, а тем более на суровые, сложенные из темного дикого камня храмы далекого юга и востока.

Здатели храма Богородицы в городе Киеве строили его из легкого кирпича, стены мазали красной краской, вокруг окон и дверей вылепили из белой глины пальметты, виноградные гроздья и всякие украшения, крышу выложили вол-

мистой серой черепицей, воздвигли на шатрах позолоченные кресты, которые сверкали в голубом небе, точно звезды...

Храм этот словно вырастал из чащи деревьев, его, казалось, породила, взметнула на горы и слилась с ним родная киевская земля, каждый его камень от основы до верха уложила рука русского человека.

Перед храмом на восьми дубовых столбах повесили медные била, которые висели до того на городницах киевской стены. Начищенные до блеска, они походили на золотые щиты. Не стража Горы, а убогие, задушные люди, искавшие прибежища возле церкви, взялись за клепала, ударили в била, и звон покатился по горам, по Днепру и далеким лугам...

Князь Владимир, которого епископ Анастас и все священнослужители пригласили на освящение храма, пересек двор Горы, остановился на склоне, долго слушал перезвон и любовался новым строением.

— Славно потрудились наши здатели, — промолвил он, обращаясь к окружавшим его боярам и воеводам. — Дивен храм сей, высится ему во веки веков!..

Здатель Косьмина, стоявший справа от князя, тихо сказал:

— Немало пришлось поспорить с греками, не все, что строится в Царьграде, гоже тут, на Руси.

— Спасибо тебе, Косьмина, — ответил Владимир, — вижу в сем храме Русь, доколе он будет стоять, люди не забудут его здателя.

— Я делал лишь то, что ты велел, княже, — и Косьмина поклонился Владимиру.

Вокруг церкви собралось тем временем видимо-невидимо людей киевских, бояр, воевод, их жен и детей, валом валили ремесленники, смерды, холопы.

Окруженный священниками, впереди шел епископ Анастас, князь поднялся по ступеням, миновал притвор, вышел на середину храма и остановился.

Дивное, доселе не виданное зрелище открылось его глазам. Прямо перед ним, залитый яркими огнями множества свечей и паникадил сверкал золотом, серебром и драгоценными камнями алтарь. Над ним, под куполом, в золотом обрамлении был выложен из смальты образ Христа в резном кресле, с золотой короной на голове, с чуть косящими глазами, широкими сведенными бровями, длинными усами и

жидкой бородкой, в сиреновом хитоне и синем корзне, он сидел, суровый и грозный, с Евангелием в левой руке и высоко подняв правую.

Вокруг мастерами была выложена надпись: "Зрите, зрите, аз единый и несть бога инде разве мене; аз сотвори землю, а с ней человека, и создал десницей своей небесную твердь..."

Впрочем, князь Владимир не видел и не прочел этой надписи — он смотрел на сиянный лучами солнца, освещенный множеством свечей и паникадил престол.

Там на кивории был вышит лик Богородицы, она стояла в синем царском одеянии, в красных черевьях на зеленом постаменте, воздев горе руки, и глядела перед собой.

Не пышные царские одежды, не сверкающие драгоценные камни на поясе, рукавах и плечах Богородицы, не блеск золота приковали к себе взор Владимира.

Он видел только ее лицо, бледное, слегка, казалось, утомленное; глаза, грустные, умоляющие и вместе с тем задумчивые, все очень простое, обычное, человеческое.

И почему-то в эту минуту князь Владимир вспомнил свою мать, горячо любимую, но неведомую, о которой он мечтал, которую ждал, но так и не мог дожидаться... Она, Малуша, казалось ему, должна была быть именно такой, как Богородица...

— Мати! — прошептал Владимир. — Еще ты жива, приди ко мне, еще не придешь, хоть помолись за мою душу!

И это человеческое, живое, правдивое было не только в лике богоматери — справа и слева от нее, но значительно ниже, были написаны апостолы — высоченные, здоровенные детины, более похожи на воинов, чем на святых, с протянутыми к Богородице руками, со строгими большими глазами, в ярких одеждах и золотом шитых черевьях.

Таковыми же были и мученики, пророки, святые, изображенные на сводах и стенах церкви; и хотя в их обликах было что-то надуманное, искусственное, но тем ярче проступали в них черточки живого, сам Христос лицом, и станом, и одеждой напоминал князя Владимира, апостолы — горянских воевод и бояр, а евангелист Марк — купца Божедома и даже улыбался так, как купец, — левым углом рта, прищулив левый глаз; люди же, которые им поклонялись, напоминали гридней, ратаев, смердов Руси.

Однако ни князь, ни воеводы и бояре, которые его окружали, не думали об этом; в высоком каменном храме, где

все сверкало, блестело, переливалось, а воздух был напоен ароматами ладана и смирны, где торжественно звучал хор, а голос человека казался глухим и слабым, все напоминало землю, но было величественным, недосягаемым, а потому неземным.

Пораженный виденным, князь Владимир тоже опустил-ся на колени, широко развел руки и воскликнул:

— Дивен храм твой, господи! Все премудростью твоею сотворил еси!

И, поднявшись, обратился к стоявшему недалеко от него епископу Анастасу.

— Я поражен тем, что увидел, Анастас!.. Отныне и до века велю давать на храм сей десятину того, что имею...

На лице Анастаса заиграла счастливая улыбка, это было как раз то, к чему он стремился, но дар князя Владимира превзошел все ожидания: десятина его доходов, целое сокровище.

— Щедра десница твоя, княже Владимир, за сие во сто крат воздаст тебе всевышний... А коли так поступаешь, дозвошь назвать храм Богородицы на веки вечные Десятинным.

— Быть по сему! — согласился князь.

9

В Людской палате еще горят свечи, в их ярком сиянии сидит в дубовом кресле князь Владимир, в серебристом коловии, с багряным корзном на плечах, в красных сафьяновых сапогах; бояре и воеводы стоят там, где потемней — вдоль стен палаты, по углам и у перил лестницы.

Духота! Ночь была парная, знойная, даже из растворенных дверей и окон, что выходят на Днепр, не веет свежестью; горит земля, вода у берегов совсем теплая.

Почему ныне так рано встал князь, почему боярство, мужи, воеводы еще засветло явились в терем, почему все они, и даже князь, так встревожены, чего они ждут?!

— Мы готовы!.. Твори, княже, суд и правду! — слышится в палате голоса.

В сенях по ступеням звучат шаги многих ног, это поднялись и стали гридни, тут же подбежали тиуны, ябедники, емцы и тоже остановились в ожидании.

И вот снова слышны шаги, по ступеням поднимаются несколько человек, сначала видны их головы, потом плечи, руки, ноги. Смерд Давило шел, окруженный гриднями, глядя в землю. Он ступал твердо и тяжело, руки его были связаны за спиной.

Гридни толкали его, но он, казалось, уже не чувствовал их ударов, — шаг, еще шаг, Давило стал среди палаты.

Князь Владимир и смерд Давило — друг против друга, князь в своих серебристо-багряных одеждах в кресле и Давило, с непокрытой головой, в рубище, босой, перед ним.

— Этот смерд содеял много зла на Подоле, — слышится голос тиуна Чурки, — он давно тать и разбойник, убил купца Божедома.

Но князь Владимир не слышит этих слов, он смотрит на смерда, вглядывается в его лицо: лоб, со спадающей на него буйной седоватой гривой, крутые брови над серыми глазами, слегка приплюснутый нос, припухший рот.

Владимир уверен, что видел когда-то этого человека... Но когда, где? В его памяти возникают дни детства, юности, нет, не тогда он встречал этого смерда; Новгород? Нет, туда попасть смерд не мог; сечи под Любечем, в Кисеве?..

...Утром на рассвете князь Владимир вступал в Киев. На Подоле его встречали воевода Рубач, гридень Тур и множество людей, боровшихся с Ярополком, а среди них, ну, конечно, среди них был и смерд, стоявший теперь перед ним, только Владимир тогда не успел спросить, кто он.

— Как твое имя? — спросил его князь Владимир сейчас.

— Давило, — ответил смерд.

— Ты встречал меня на Подоле? — с усилием и словно с болью продолжал князь.

— Правда, княже, было такое на Подоле... — прозвучал в палате ответ, но никто из бояр и воевод не понял, о чем именно спрашивал у смерда князь и почему так ответил Давило.

— Он, он, княже, — закричали бояре, тиуны, ябедники, — грабил лавки на Подоле, он убил купца Божедома, в сенях стоят видоки, послухи, они скажут всю правду.

Князь не велел, как всегда было заведено в подобных случаях, звать видоков и послухов, а прямо спросил смерда:

— Ты учинил татьбу, убил купца?

В палате наступила тишина, бояре и воеводы знали, что смерда уже допрашивали с испытанием — железом, водой, но он не вымолвил ни слова. Что же теперь скажет он князю?

Долго молчал Давило. Это была минута, когда он мог поведать князю так много: рассказать о своей трудной жизни, напомнить, как с мечом в руках он когда-то защищал его, князя, как долго в него верил, а потом, не в силах более терпеть, убил купца Божедома.

Мог Давило — и о том он тоже подумал — сказать князю, что не повинен в смерти купца, его уже пытали железом и водой и ничего не вырвали. Еще один миг — и князь Владимир помирует его.

Но что это даст? Спасаться ложью! Нет! Давило — смерд, самый бедный в городе человек, жил по правде, за правду ныне и гибнет, пусть же правдой закончится и его жизнь.

Давило глубоко вздохнул, пожал плечами.

— Так, княже, — тихо и спокойно ответил он. — Я грабил лавки купца Божедома, а потом убил его...

Палату словно прорвало.

— Видишь, княже, — звучали голоса, — вот он тать, разбойник, вот, княже... твой враг и наш... Да убитен будет!

Однако Владимир не торопился. Перед ним стоял не один смерд Давило, князь видел за ним нечто более значительное, страшное.

— Смерд Давило! — слышался в палате тревожный, срывающийся голос князя. — Почему ты сие сделал?..

Давило, который в отличие от князя был сейчас очень спокоен, ответил просто, искренне:

— А что мне было делать, княже? Был у меня двор когда-то на Перевесище, князь Ярополк выкопал там ров. Дали мне двор на Оболони, но земля не приносила хлеба. Чтобы жить, взял купу у Божедома. Княже Владимир, — повысил голос Давило, — я работал у купца, как вол, с утра до ночи, а часто и ночью, на него гнула спину и моя жена, дети, но купу легко взять, да куда труднее отдать, аще попал я в неволю, будут рабами и дети мои и внуки...

Это были страшные слова о том, какая глубокая пропасть залегла между стоявшими здесь, в Золотой палате, боярами и воеводами и убогим смердом.

— У меня, княже, ничего-ничего на свете не осталось, — хрипло продолжал Давило, — я, аки птах, без гнезда. Божедом не дал мне жить, был я закупом, стал холопом обельным... Так что же делать, куда податься, к кому? Я убил Божедома, убью всякого, кто вырывает у меня кусок хлеба.

Это была смелая, угрожающая, просто дерзкая речь, все в палате ужаснулись, зашумели, загорланили:

— Смерть ему! Смерть!

Лишь холоп Давило не удивился тому, что эти слова вырвались из его уст, он знал, что делал, знал, что его ждет, он ни на что больше не надеялся, так, и только так, должен он был говорить!

Князь Владимир, верно, не слышал последних слов холопа, не слышал и шума, который поднялся в палате. Он понял на мгновение все, что произошло с Давилом, ощутил, казалось, муку, горе, отчаяние этого горемыки, который, потеряв землю и рало, взялся за секиру. Но только на мгновение...

И тут же он понял еще одно: смерд Давило и все стоящие за ним опасны не только боярам, воеводам, купцам, но и всей державе. Ныне смерд поднял топор на Божедома, а завтра поднимет на него.

— Ты язычник? — спросил Владимир.

— Нет, княже, христианин, — сказал Давило.

То была, должно быть, едва ли не самая страшная минута в жизни князя Владимира. До сих пор ему лишь другие говорили о его, княжеской, власти, сам же он боролся за нее, чтобы сильнее, непобедимей стала Русь; но сейчас князь-василевс увидел, чего достиг, понял, как всемогуща его десница, он может карать и миловать, давать людям жизнь и отбирать ее у них, он пишет непреложный закон, которого и сам не может изменить. Смотри, князь Владимир, каких вершин ты достиг!..

И князь ужаснулся тому, что произошло: жалея в сердце Давила, он ничего не мог сделать: закон есть закон. Прошлое отступило, его больше не существовало, надвинулось тяжелое, страшное, неминуемое, новое. Давило один, а людей множество, князь один, а воевод, бояр, мужей уйма. Ему, Владимиру, не остановить того, что идет по Руси, еще хочет спасать Русь, должен творить новый суд и правду...

Оставалось одно — Давило грабил лавку и убивал купца не один, с ним, несомненно, были и другие смерды; если он выдаст их, все-таки легче станет его вина.

— С кем шел ты на татьбу? С кем убивал купца Божедома? — сурово спросил князь.

Давило поглядел на Владимира удивленно и, пожалуй, даже подозрительно. Неужели князь Владимир не знает еще Давила, не разгадал его?

— Княже, — промолвил он, — таких, как я, множество. Но шел я на татьбу и убивал купца один...

Он был готов ко всему, что скажет князь.

— Да убиен будет! — промолвил Владимир, встал с кресла и вышел из палаты.

10

Малуша не удивилась. Она часто теперь видит Тура, который живет в землянке неподалеку от Берестового. Пройдет день-другой, и Малуша повстречает гридня: то он идет к Днепру ловить рыбу, то собирать в лесу грибы либо на лугах злаки.

На этот раз Тур показался ей не таким, как всегда, в лучах угасающего солнца Малуша тотчас заметила необычайную бледность его лица, подергивающиеся скулы, закушенные губы, а в глазах и на щеках слезы.

— Что с тобой, Тур? Ты плачешь?

Он поглядел по сторонам, словно хотел убедиться, не подслушивает ли кто? Но кому и зачем надо их подслушивать здесь, на лугу? Тур быстро отвернулся от Малуши, чтобы смахнуть со щек слезы.

— Нет, не плачу, Малуша! Это тебе почудилось, — и Тур попытался улыбнуться.

Однако Малуша знает, что это неправда, на щеках у него были слезы, да и сейчас у Тура дергается лицо и дрожат губы.

— Садись, Тур! — говорит Малуша, указывая на пенек. — И рассказывай, ну...

Он садится на пенек. Малуша стоит рядом. За гору закатывается солнце, где-то на косах стонет заблудившаяся чайка.

— Говори, Тур!

Старый гридень смотрит вдаль, но Малуша знает, что он ничего не видит: глаза его пусты, Тур глядит себе в душу.

— Не ведаю, что творится, Малуша! Нет, ничего я уже не разумею...

Чайка на косах умолкла, должно быть, отыскала гнездо, потому что на миг поднялся и тотчас стих писк вспугнутых птенцов.

— Когда-то, — говорил Тур, — я надеялся, что жизнь станет лучше, и потому служил Ольге, Святославу, позднее

Владимиру, и, верно, ему-то лучше всего, ибо он твой сын, Малуша, мы его так ждали, так на него уповали...

— И что, Тур?

— Ныне ночью князь Давила, он взломал на Подоле лавку купца Божедома, а его самого убил.

— От голоду? — вырвалось у Малуши.

— Так, Малуша, от страшного голода, у Давила жена, дети, внуки... Не один шел, много с ним было людей, и я ходил к купцу с Давилом.

— Его поймали?

— Поймали, били, судили, но он ничего не сказал, все на себя взял, за что и примет ночью смерть...

— Тур! А может, его помилуют?

Тур долгую минуту молчал.

— Нет, никто его не помилует. Судил Давила сам князь...

— Владимир?

— Так, Малуша! Судил его князь Владимир, а слово его нерушимо... Василевс!

— Василевс! — пересохшими губами шепчет Малуша. — Но разве он не знает, от кого пошел, кто ему был и остается опорой?

— Все забывается, Малуша! Да и не он виноват, вокруг него Гора...

— О! — Малуша сдавила голову руками. — Я знаю Гору, будь проклята она навеки... Но есть же бог, Владимир — христианин...

Тур ничего не ответил, по его бледному лицу пробежала тень.

— Нет, не бывать тому, — решительно промолвила Малуша. — Не Давила он судил, тебя, меня, себя самого. Что делает мой сын, за что убивает людей? Нет, Тур, не в силах я больше терпеть. Пойду на Гору, скажу, что есмь его мать, поведаю всю правду.

Тур попытался было улыбнуться, но лицо его только скривилось от боли.

— Никуда ты не пойдешь, ничего не сделаешь, Малуша! Поздно, слишком поздно идти тебе к Владимиру. И это все правда, боже, какая жестокая, страшная правда...

— Тебе плохо, Тур? Ты совсем белый, дрожишь... Что с тобой?

Тур молчал. Вокруг темнело, темнело и лицо гридня.

И тогда, впервые за все эти годы, Малуша поняла и почувствовала, что не может больше скрываться в тиши монастыря, а должна идти, и как можно скорей, тотчас же к своему сыну и князю Владимиру.

На долю Малуши выпала многотрудная, тяжкая жизнь: кто знает, была ли еще на свете женщина, которая, родив сына-князя, василевса, извела не радость, не счастье, а одни лишь обиды, только горе и бедность?!

Единственной ее утехой и поддержкой была безграничная любовь к сыну. Изредка она видела его, молилась за него, мысленно оберегала, чувствовала себя матерью князя Владимира и жила на свете только ради него.

Вот почему Малуша оторвала его от груди и отдала княгине Ольге, лишь издали попросилась с ним, когда он уезжал в Новгород, долго ждала его возвращения, встретила, когда Владимир как великий князь вступал в Киев, и ждала, нестерпимо долго ждала, когда он уходил в походы...

Одного только не могла сделать Малуша: не могла пойти к сыну, обнять, поцеловать, поговорить с ним — между Малушей и сыном стояла неумолимая, злая Гора. Никто, никто в городе Киеве и на Руси не должен знать, что мать Владимира рабыня, а если кому о том ведомо, он должен забыть про это, храни бог, если кто дознается, что мать еще жива...

Малуша боялась не за себя: что она — рабыня и что ее жизнь! Сын ее Владимир, мать в том не сомневалась, будет добрым и справедливым князем. Не может, не может ее сын стать таким жестоким и безжалостным, как княгиня Ольга, он похож и будет таким, как его отец, любимый Малушей Святослав!

И когда Владимир пошел на брань с Ярополком, которого ненавидели и проклинали в Киеве все люди, когда позднее сел на киевский стол великим князем и порушил все Ярополковы законы, а потом двинулся устроить Русь, Малуша радовалась и утешалась: ее сын такой, именно такой, как Святослав.

Правда, он не признавал Христа, воздвиг старым богам требища. Малуша слышала, как осуждают его за то христиане, да и сама она, будучи христианкой, должна была, казалось, его осудить...

Но нет — Малуша и великое множество русских людей остались на богатой земле бедняками, безрадостная, беспросветная, нисобычайно трудная, страшная жизнь становилась с каждым днем все трудней, порой просто невыносимой. Потому и не диво, что, обращая свои взоры к небу, они верили, что если не тут, то, может, найдут утешение в ином мире. Потому Малуша верила и в Христа, и в богиню своего рода Роженицу, и в Богородицу, и в древнюю богиню отцов Ладу. Если не было жизни, то оставалась, по крайней мере, вера. Так и Владимир, думала Малуша, он не обижает христианин, но приносит жертвы Перуну и Дажьбогу, а разве это не по правде, люди?! Позднее Малуша узнала, что Владимир крестился и окрестит Русь, душой она утешилась и благословила — хорошо, что он пришел к Христу, теперь ему станет легче жить, дай боже только, чтобы в душе не забыл Перуна, Дажьбога, а особенно богиню их рода Роженицу...

Однако саму жизнь Малуша воспринимала такой, какова она есть — трудной, сложной, часто жестокой. Малуша порывалась, ведь к тому стремится и птица, жить лучше, счастливей, но тщетно! А коли так, пусть счастье улыбнется другим людям, ее же утеха — сын-князь, который в силах сделать много добра людям.

И она верила, что так и будет. Трудно, очень трудно было сыну ее, Владимиру. Живет он между небом и землей, в окружении хищной, безжалостной Горы. То в походе, то в Золотой палате стоит он против целого мира, и все ради множества людей, которые любят, уважают его, о которых он печется. Только бы сына не сломила Гора!

Когда Тур рассказал про Давила, Малуше стало очень страшно. Она знала, что одних сын милует, других карает, так Владимир и должен поступать, на то он и князь, но как может карать он Давила, Тура, людей, которые жизни не щадили ради него, ему одному верили, надеялись на него?! Нет, нет, это не его рук дело, это Гора, неужто он не видит, не знает?... Малуша решила идти к сыну-князю.

Вечером к воротам Горы приблизилась женщина. Должно быть, она поднялась с самого низу, с Днепра, потому что запыхалась, устала. Старая, немощная, она остановилась у ворот и долго не могла произнести ни слова.

— Чего тебе нужно, жено? — спросила стоявшая у ворот стража.

— Ой люди, люди, — запричитала она. — Надо мне по-видать князя Владимира.

Высокий, откормленный гридень Брич, который был в карауле старшим, ухмыляясь, спросил:

— А сама ты кто, жено, что так хочешь видеть князя?

Женщина немного смешалась, потом взглянула строго на Брича и ответила:

— Я рабыня...

— Что же тебе нужно от князя? — продолжал Брич.

— О том я скажу только ему... Пустите-ка, пустите, я там скажу князю...

Теперь уж захохотала вся стража. Но они тотчас оборвали смех — к воротам приближался Волчий Хвост, стража расступилась перед главным воеводой князя и отворила ворота.

Однако воевода не пошел сразу на Гору, а остановился в воротах, услышав, как женщина, стоявшая перед стражей, просила:

— Пустите меня, гридни, на Гору, к князю.

— Да разве с тобой князь станет говорить?!

— Станет... Я должна с ним говорить...

И она двинулась в ворота, желая проникнуть на Гору.

— До чего же ты упряма, жено, — принялась уже строго уговаривать ее стража. — К нашему князю и не всякого боярина допустят...

— Вы меня только в ворота пропустите, а уж там я к нему добьюсь, — твердила женщина.

Они снова ей возразили.

— Ничего ты, жено, не ведаешь. Коли мы пустим тебя, то ведь стража стоит и за воротами, и в сенях... Кто тебя к нему пустит?

Старший, Брич, наконец поднял голос:

— Уйди, жено, от греха... Куда тебе, робс, к василевсу? Не сердь меня, жено, не то разгневаюсь и велю гридням гнать тебя.

— А я не пойду! — вскипела женщина. — Не трогайте меня, не пойду...

Воевода Волчий Хвост все еще стоял в воротах, вернувшись, он поглядел на старуху, на стражу.

— Блажная! Гоните-ка ее отсюда, гридни!

Гридни подняли палки.

— Беги!

И Малуша, старая, немощная Малуша, стоявшая перед княжьей стражей, поняла, что, идучи сюда, она тщетно надеялась попасть на Гору, увидеть сына-князя, говорить с ним...

Нелегко было простому человеку пробиться на Гору и встарь, а все же люди ходили, добивались, трудно, очень трудно было и ей под щитом брата попасть туда, но во сто крат труднее, просто невозможно пройти на Гору теперь, когда сидит и правит князь-василевс.

Малуша не стала больше спорить. Да и о чем спорить? Стражи замыкали ворота, им не было до нее, матери, никакого дела, теперь Малуша уже ничего не может сделать, убьют Давила, убьют еще многих людей.

Но не одно это тревожило и терзало ей сердце: стража у ворот, стража на стенах, стража у терема, стража в сенях, вот так все словно бы стерегут князя-василевса, только у его сердца нет стражн, никто не охраняет душу ее сына.

Надвигалась ночь. Слегка согнутая, старая, уже немощная женщина медленно спускалась по Боричеву взвозу. Малуша жалела, о, как несказанно жалела она в эту вечернюю пору, что побоялась и так и не призналась, так никогда и не пошла к сыну-князю. Теперь она поняла, что должна была это сделать. Боже, боже, как много могла бы рассказать тогда мать Владимиру! Может, ведь все может быть, он и жил бы не так, и не прятала бы его сейчас от людей стража. Ныне уже поздно, да и ничего не в силах сделать Малуша. Ей тяжело, несказанно тяжело, но что она — рабыня, убогая монашка, женщина, каких много, тьма...

А он? О, как тяжело, как страшно ему жить, сидя так за высокой стеной, за воротами, куда нет никому доступа, даже ей — матери?!

Старуха спускалась все ниже и ниже по Боричеву взвозу, но сама не видела, куда шла, слезы застилали ей глаза, сердце громко стучало в груди, подгибались ноги.

11

Ночь... Князь Владимир почивал на своем ложе, рядом другое ложе, царицы Анны. В тереме, за раскрытым окном, повсюду на Горе тишина. Спать, только спать.

Но князю Владимиру не спится, он лежит с открытыми глазами, смотрит на темные очертания палаты, образа на стенах, в окно, где сквозь ветви деревьев темнеет усеянное звездами небо.

Всё, как было когда-то, та же опочивальня, те же стены, окно и звезды за ним все те же; они плывут и плывут в вечном круговороте, ясные, пожалуй, чуть тусклее, чем раньше, и деревья под окнами те же, только разрослись...

Один лишь князь Владимир почему-то не такой, как прежде. Годы... Да, должно быть, годы дают себя знать — нет прежней силы, убывает здоровье, слабеет рука.

Но не то беспокоит Владимира и не дает уснуть, у него ноет сердце, смутно на душе, без конца плывут и плывут, точно облака или звезды за окном, думы, тревожа совесть.

Казалось, чего бы волиоваться, беспокоиться князю? Он достиг, чего хотел, Русь знает ныне весь мир, ей никто не угрожает, да и не посмеет угрожать — спи спокойно, князь-василевс, спи!

Нет, не может он спать. Душа полна тревоги, перед глазами встает утро прошедшего дня. Людская палата, смерд Давило, его открытое, искреннее и спокойное даже перед смертью лицо, в ушах звучат его слова:

“А что было делать, княже? Аще попал в неволю, будут рабами дети мои и виуки... У меня, княже, ничего-ничего на свете не осталось, я, аки птах, без гнезда...”

Князь Владимир поднимается с ложа, подходит к окну и прислушивается... Тишина, полная тишина, но ему кажется, что вот-вот среди ночи раздастся крик — так стоит смертельно раненная чайка, так кричит, прощаясь с миром, человек.

“Нет, его не казнят в первую же ночь, — думает князь. — А завтра, властью Богом и людьми мне данной, я прощу Давила, не послушаю ни бояр, ни епископа, ибо Христос велел карать, но и прощать...”

Владимир всматривается в темноту, прислушивается к ночным шумам, но уже не только потому, что никак не может выбросить из памяти Давила.

Вечером к нему явился воевода Волчий Хвост и, смеясь, рассказал, что, идучи на Гору, видел, как у ворот добивалась к князю какая-то женщина.

— Какая женщина? — спросил удивленно Владимир и почему-то вздрогнул.

— Какая-то смердка, — смеясь, промолвил Волчий Хвост, — уже старая, немощная, в темном платне, просит: “Хочу говорить токмо с князем... Все ему скажу... Пустите меня к князю...” Даже кричала на стражу: “Зачем его окружили?... Чего держите?” Чудная старуха, княже, не в себе, безумная, я велел ее гнать. И ее прогнали, палками...

— Худо ты поступил, воевода! — промолвил князь Владимир. — Такую женщину следовало пустить...

— Княже Владимир, — ответил Волчий Хвост, — да ведь коли пускать таких женщин и прочий люд на Гору, то нам и житья не будет.

— Повелеваю тебе, — сурово перебил его Владимир, — ступай и разыщи эту женщину.

Воевода Волчий Хвост удалился и разослал в предградье, на Подол и Оболонь гридней на поиски женщины, которая приходила вечером на Гору и добивалась к князю... Но все было напрасно. Женщина, которую прогнали палками с Горы, никогда уж не придет к князю, а если кто ее и видел, знает о ней, то побоится сказать...

И кто эта женщина, почему она так упорно к нему добивалась именно вечером, перед тем как будут казнить Давила? Страшная догадка тревожила, мучила, терзала сердце князя: в облике женщины, которой он не видел, в ее темном платне, что покрывало старое тело, в словах — во всем, что говорил Волчий Хвост, князь Владимир угадывал свою мать Малушу. Но где она сейчас, где? О, как трудно отыскать родного, самого родного на свете человека, пусть это будет даже мать, если никогда не знал ее.

Конечно, было бы легче искать и найти свою мать, будь у него родные, близкие люди. Но у князя Владимира нет никого, никого. Ушла с Горы Рогнеда. Сам он разослал в земли сыновей...

Правда, у него жена, царица Анна. Она лежит на высоком ложе тут же в полутемной опочивальне, Владимир видит ее такое чарующее лицо, холеное тело.

Как совпадают события, точно нанизываются кольцо за кольцом в долгой цепочке жизни! Только сегодня вечером царица Анна так ласково, нежно, сердечно говорила:

— Ты лучше, чем я думала, муж мой. Ты был варваром, язычником, ныне ты христианин, василевс... И ты положил лишь начало делам, ради которых призвал тебя и благословил Бог, ты станешь великим василевсом, муж мой! — Анна прижалась к нему и поцеловала. — А я, — продолжал она, — за все хочу сделать тебе подарок, хотя подарок этот принесет радость и мне...

— Какой подарок?

— Я неспраздна, Владимир, ношу под сердцем ребенка, уверена, что будет сын...

— Спасибо! — промолвил Владимир, обнял и поцеловал василиссу.

Сейчас она спит, что ей — только спать и спать. Анна сделала все, что могла. Она родит сына, их сына, князь Владимир, вероятно, полюбит его, но до чего далека и чужда ему, и чем дальше тем больше, эта честолюбивая, самовлюбленная, порфирородная Анна, она не подозревает, не может себе представить, какие муки и тревоги переживает ее муж.

Владимир внезапно вздрогнул. Все потеряно, князь-василевс ничего уже не может поправить. Во мраке ночи родился, зазвучал на какое-то мгновение и замер, точно выпущенная из лука стрела, крик — это умер смерд, обельный холоп Давило.

12

Спустившись с горы, Малуша села под кустом над Почайной. После всего, что произошло, у нее не было сил возвращаться в монастырь под Берестовом, она просто не хотела туда идти.

Так она сидела на остывшем у воды песке, смотрела, как сгущаются сумерки, темнеет Днепр, расплываются вдаль его берега и косы.

Вдруг Малуша услышала, как по дороге, что вилась от Боричева взвоза к берестовому, а потом к Подолу, помчались с Горы всадники. Задрожав, она вся сжалась под кустом, точно смертельно раненная птица, не дай боже, еще увидят!...

С наступлением ночи Малуше стало легче — темно вокруг, беспросветно и на душе, ничего она уж не ждала, ничего не хотела.

Малуша даже заснула, тихо, сидя, как это делают старые люди, опустив голову на грудь и уронив вялые, иссохшие руки на песок.

И ей приснился сон, словно она ласточкой полетела вдоль Днепра, подлетела к воротам Горы, перепорхнула их, пронеслась над двором, спустилась у терема, вошла в сени, быстро поднялась и остановилась среди палаты.

Владимир стоял в углу, множество свечей озаряло его лицо.

— Кто ты еси? — спросил князь Владимир.

Малуша вздрогнула и простерла вперед руки.

— Я — твоя мать, Малуша! — сдавленным голосом промолвила она и медленно, медленно сделала шаг, другой, а он кинулся ей навстречу, схватил за руки, обнял, припал головой к груди.

Еще мгновение — и он опустился перед ней на колени....

— Не становись передо мною на колени, — сурово промолвила Малуша, — не становись, ибо се осрама. Ты — князь, я простая женщина, храни господь, кто увидит тебя на коленях, лучше уж я стану перед тобой.

— Нет, нет, нет! — крикнул он, но с колен поднялся и стал возле.

Теперь ее сын, ее детище, Владимир был рядом, она видела так близко его бледное, родное лицо, седые волосы, усы, известную только ей родинку за правым ухом.

— Как долго, долго я искала и ждала встречи с тобой, — вырывалось у Малуши.

— Я тоже искал и долго ждал тебя, мати, — ответил Владимир. — Тебе, верно, нелегко было идти на Гору. Ты утомилась. Сядь вот тут, отдохни.

И она села, но не в кресло, на которое он указывал, а на простую дубовую скамью у двери. “Когда-то, давным-давно, — вспомнила Малуша, — жила в этой светлице княгиня Ольга, а тут, на скамье, лежали ее ключи...”

Сын стоял перед ней, освещенный огнями семисвечника — в темно-сиреновом, шитом золотом платне, с красным корзном на плечах, подпоясанный широким поясом, в зеленых сафьяновых сапогах.

— Боже, боже, — прошептала Малуша, — какой ты красивый и какой добрый сын, и как суров, холоден мир...

— Суров и холоден, — тотчас подтвердил Владимир, — но не для нас, мати. Я счастлив, что нашел тебя, поведу теперь в Золотую палату, посажу одесную себя, надену на го-

лову корону Ольги, скажу людям, воеводам своим и боярам, гридням и дружине, мужам всех земель: се — моя мать, вот она сидит и повинна сидеть подле меня.

— О, сыне, сыне, — ответила Малуша, — как похож ты на отца своего Святослава. Нет, не пойду я в Золотую палату, не надену Ольгиной короны, не сяду одесную тебя... Когда-то, сын мой, лежал у моего сердца, сейчас ты, князь Руси, в моем сердце. Одного бы я хотела, — промолвила Малуша и тяжело вздохнула, — чтобы ты никогда, никогда не забывал обо мне.

Она гладила и гладила его седой чуб.

— А к тебе я шла, чтобы просить за Давила, не убивай его, сынок, пожалей себя, меня...

И вдруг Малуша проснулась. После ярких огней в палате, которые она так отчетливо видела во сне, после задушевной беседы, что она только что вела с сыном, ее страшно напугал так внезапно окруживший ее среди этой глухомани мрак.

Однако не только это всполошило и заставило затрепетать Малушу — среди тьмы и безмолвия, царивших над Днепром, на Горе, по всей земле, Малуша услышала иступленный крик, крик человека, который умирает и последний раз хотя бы голосом прощается с миром.

— Боже, боже! — вырвалось у Малуши. — Помоги же ему, помоги!

Крик еще какое-то мгновение звучал в безмолвии и тиши глухой ночи, и как внезапно возник, так и оборвался.

— Мир праху его! — промолвила Малуша и закуталась в платок, чтобы согреть озябшее тело...

Как знать, долго ли она сидела, впад в какое-то забытие и не замечая даже времени... Час, два, три — не все ли равно?

Начинало светать, когда она поднялась, постояла немного, держась за ствол вербы, чтобы не упасть, потом нашла на песке палку, оперлась на нее и поплелась вдоль берега.

По левую руку, далеко за Днепром, ясно небо, там плавали легкие, похожие на заблудившихся овечек, облачка; тучка, темноватая, вытянутая кверху, напоминала стоящего с посохом в руках пастуха; над плесом колыхался, точно прозрачная голубая вуаль, туман; направо темнела

Гора; леса круто спускались по оврагам к Днепру, а на кручах вздымались черной стсией.

Опираясь на палку, Малуша шла вдоль Днепра по тропинке, среди кустов, с которых падала холодная роса, да по звенящим тишиною лугам.

Так она добралась до землянки, где жил Тур, и опустилась недалеко от двери на камень — немощный он, больной, спит еще, наверно, зачем его будить?!

Одиako Тур уж очень долго не просыпался, солнце поднялось из-за Днепра, а в землянке все еще было тихо.

— Тур! — позвала Малуша.

В землянке никто не откликнулся, и это было очень странно, обычно старый гридень просыпался при малейшем шуме.

— Тур! — Малуша поднялась и постучала в дверь.

От прикосновения ее руки дверь отворилась, Малуша увидела деревянное ложе вдоль стены и босые ноги Тура.

Гридень был мертв, он лежал на ложе навзничь, вытянув руки, и, казалось, спал; на лице залег отпечаток усталости, горя и вечного покоя. Малуша преклонила колени перед телом того, кто любил ее так безгранично и беззаветно, и коснулась устами его холодной руки.

13

В начале нового года, весной* князь Владимир получил печальную весть из Полоцка. От неведомой болезни скончался князь Изяслав, а вскоре его жена и сын Всеслав.

— Требите пути! — велит Владимир. — Еду прощаться с сыном и его семьей.

В распутицу, в стужу, через леса и болота мчится он в далекий Полоцк, долго стоит над могилами Изяслава, его жены и Всеслава у новой деревянной церкви; живет несколько дней в детинце Регволда, ночует в палате, где когда-то говорил с Рогнедой...

Владимир не спит, не может заснуть в этой палате... Забывшись на миг, он слышит откуда-то издалека голос Рогнеды. Владимир встает, подходит к окну. В сером тумане

* Новый год на Руси начинается до XV столетия в марте.

едва-едва можно различить городские стены, взбаламученную Двину под высокой кручей. Там, где когда-то Рогнеда снаряжала в далекий путь лодии убитых отца и братьев, Владимиру чудится какая-то тень. Может, это Рогнедина душа, зная, что Владимир в Полоцке, прилетела сюда, в землю отца своего?

Светает... Нет, никого и ничего нет над беспокойной Двиной, а на краю кручи стоит одинокая березка.

— В Киев! Скорее в Киев! — велит дружине князь.

Князь Владимир остался на Горе один-одинешенек. Этого никто не знает: у него жена, василисса Анна, которую с полным правом называют красивейшей женщиной мира, князя окружают бояре, воеводы, мужи, ныне они берегут его так, как, верно, никогда еще не берегли ни одного князя, раболепствуют перед ним, молятся на него, славословят ему. Князя-василевса неотступно охраняют с мечами в руках многочисленные гридни, на его стороне церковь: епископы и священники и, стало быть, сам Бог.

И все-таки князь Владимир одинок. Василисса Анна — о, чем дальше, тем труднее ему проводить с ней дни и долгие ночи! Бояре, воеводы, мужи — он не верит им, даже начинает их бояться. Епископ, священники — нет, они не могут успокоить его.

В один из осенних ночей Владимир зовет к себе лучшего киевского здателя Косьмину, долго советуется с ним в своей палате, велит построить терем под Берестовом.

Здатель Косьмина не понимает князя. Какие у него чудесные терема на Горе, в Вышгороде, Белгороде. Терем в Берестовом, в трех поприщах от Киева... Что ж, он вырубит лес, свезет камень и поставит крепость, которую будет видно с Горы и левого берега Днепра.

Князь Владимир думает иначе.

— Ты, Косьмина, не руби там ни одного дерева, роща над Днепром как стояла, так и пусть стоит, не вези туда ни камня, ни леса, не ставь ни крепости, ни высоких палат, построй мне небольшой терем, в котором бы я жил один, где бы мог отдохнуть от всех людей...

Старый здатель Косьмина понял наконец князя — на склоне лет, построив множество теремов, соборов, храмов, он сам бы очень хотел отдохнуть...

Осень. Улетели ласточки, потянулись в темные края журавли, гуси, лебеди, пусто в небе. В городе Киеве, как говорили в то время, женили Семена*. В хижинах, в землянках долгими вечерами горели сальные плашки, восковые свечи: рыбаки плели сети, женщины сучили бесконечные нити из куделя, ткали на кроснах толстины, вретища, яриги; уютки и отроки в темных углах, под наметами, в стодолах разговаривали и шептались до рассвета.

Зима в том году выдалась холодная, лютая, снежная; люди, как отмечал летописец, гибли в поле, птицы замерзали на лету.

Но за Кисев, к Берестовому, потянулись еще ранней осенью древоделы и здатели. Всю зиму там, над горою, вились дымки, в рощах и обрывах над Днепром горели костры, далеко катилось эхо множества секир — это здатель Косьмина строил по наказу князя Владимира новый терем.

Никто на Горе не мог взять в толк, зачем понадобилось князю Берестовое, где одни горы да овраги, где бродят звери в пуще да каркает над чернолесьем воронье? Ведь недаром именно там, испокон веку, убегал от орд, скрывался, рыл пещеры гонимый люд, недаром и поныне, правда не в лесу, а у берега Днепра, стоит там церковь и монастырь, воздвигнутые христианами подалеке от суетного мира.

Еще больше удивлялись бояре и воеводы, когда к весне двор был закончен и когда они собственными глазами увидели, что велел построить в Берестовом великий князь.

Двор совсем не походил на прочие дворы князя Владимира. Маленький — один терем с сенями и верхом на две светлицы, к стенам лепились несколько клетей, двор окружала очень высокая, сложенная из нетесаных дубовых бревен стена без городниц, без веж; вокруг стены — ров; ворота запирались тяжелыми железными засовами. Чего искал, от кого прятался князь Владимир в Берестовом, за городом Киевом? Воеводы и бояре, оглядев двор, только головами покачали, пошептались да и вернулись на Гору...

Князь Владимир приехал в Берестовое, когда плотники и каменщики закончили работу. Здатель Косьмина встретил князя у ворот один, несколько дворян убирали терем.

* Жениль Семена (1 сентября) — начало осени.

Обойдя двор, Владимир, задумчивый, хмурый, вошел в сени и поднялся по ступеням в светлицу, которая выходила окнами на Днепр.

И вдруг лицо его озарилось ясной, ласковой улыбкой. Насколько сурово и мрачно выглядел терем снаружи, настолько чудесен и радостен открывался вид из окна светлицы. Князь Владимир увидел днепровский плес и несколько лодий на его голубом лоне, покрытую молодой зеленой травой и цветами долину, купы верб, что, утопая в полноводье, казалось, поднимали к небу руки с длинными пальцами-ветвями, церковь, далекий монастырь.

— Спасибо тебе, Косьмина! — промолвил князь Владимир. — Ты воздвиг за свою долгую жизнь много чудесных строений, но сей терем более всего люб моему сердцу...





ЭПИЛОГ

В БЕРЕСТОВОМ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1



ыстро листаются страницы древней "Повести временных лет" о событиях седой старины и о славном князе Василии-Владимире.

Владимир, истый князь и воин, из конца в конец прошел Русь, как бывало при отцах и дедах его, и объединил ее земли. Древний Киев, начинавший приходить в упадок, снова возродился, стал твердыней над Днепром. Перед матерью городов русских снова склонилась Русь.

Князь Владимир видел и знал, что должен не только объединить Русь. Ее земли жили уже не так, как прежде, в их быт ворвались новые, неведомые силы, и это новое враждовало со старым, рушились законы и обычаи, терялась вера...

Боги? Да, человек хотел верить: зажиточный просил бога освятить его сокровище, его добро, бедняк, гнувший спину за кусок хлеба у богача, поднимал к небу глаза и простирали руки в надежде, что Бог увидит неправду, творящуюся на земле, и даст что-нибудь ему, детям, семье!

Старые боги ничего не давали людям. Суровые, молчаливые каменные или деревянные истуканы стояли в городах, весях, на курганах. Они благопоспешествовали русским людям, когда те шли на брань, и сами походили на витязей, богатырей, простых воинов.

Однако боги ничем не могли помочь людям, жившим по-новому. Им на смену шел Христос, освящавший богатство и бедность, утверждавший власть сильного и покорность смерда. Он был столь милосерд, что обещал неимущему бедняку, трудившемуся на других в этом мире, рай, блаженство, счастье на небе...

Избрать новый путь для Руси, объединить и повести за собой ее людей князю Владимиру было нелегко, ибо старое, каким оно прогнившим, бессильным, никчемным ни стано-

вится, никогда не хочет умирать, а новое всегда, хоть зачистую справедливо, но уж слишком жестоко, враждует со старым; князь Владимир, начинавший свой жизненный путь ревностным защитником и поборником обычаев и законов отцов, поначалу победил свою собственную мятежную, суровую душу, чтобы потом силой меча побороть и обновить душу своего народа.

Так воцарилась новая вера, жестокая, суровая, безжалостная: князю-василевсу — князье, ибо как на небе один бог, так на Руси он единый государь земли; бог благословляет и охраняет добро богатого и жизнь убогого, если на этом свете убогий ничего не имеет, то после смерти он обретает рай, блаженство и жизнь вечную.

Это была могучая вера — пробудившаяся, взбудораженная, мятежная Русь приняла ее и затихла. Не в Христа поверили люди, а лишь в то, что давно уже утвердилось в их жизни; Христос не открыл новый закон, а только освятил его, стал на его страже.

И получилось, как ни странно, что новый закон (по обычаям нечего и говорить, они рухнули сами по себе, точно трухлявое, дуплистое дерево), именно этот новый закон и новая вера, ставшая его мечом, укрепили Русь, а утвердившееся в мире христианство дало Руси науку и книги, храмы. Деревянная Русь воздвигала новые строения, каменные, вечные.

Более того, на новую христианскую Русь перестали смотреть, как на неведомую землю варваров, оказалось, что богатств у нее не меньше, а больше, чем у прочих государств, что народ ее стоит наравне с другими народами, что худородный, как говорили греки, князь Руси силой и славой потягается с императорами Византии и Германии. Не он, а они теперь дрожали перед ним, перед русскими людьми, перед Русью.

Все это свершил сын Святослава и рабыни Малуши Владимир, князь и первый василевс русский, он уничтожил и схоронил старый закон и обычай, завел и утвердил новый.

Владимир был князем-василевсом. Византия, Германия, Русь — вот те три силы, вокруг которых группировался мир того времени. Правда, где-то над Итиль-рекой и за морем Русским, на костях некогда могучих, но умерших империй уже зарождались и вырастали новые государства из племен, которые шли и шли из глубин Азии. Минует несколько столетий — один миг для вселенной, — и они появятся на арене новой истории. Мир содрогнется под ударами арабов, падет и навеки погибнет перед турецкой силой Византия,

древняя Русь зальется кровью в жестокой брани с ордами татар. Безумный Батый, охваченный жаждой власти над миром, поставит свой шатер на Горе, над Лыбедь-рекой, и повелит разгромить и сжечь Киев...

И Киев будет сожжен. Орда Батыя разрушит его стены, ворвется на Гору, в предградье, на Подол, и погибнет множество людей — чудесных юношей, красивых девушек. Пылая в огне, рухнут терема, пламя охватит и уничтожит все, что строили и воздвигали сотни лет русские люди. Пожар уничтожит даже древние цки, на которых была записана вся история Руси, и многолетние пергаменты с повестями временных лет, что утверждались потом и кровью.

Однако, дав волю печали, не станем предаваться отчаянию, Киев падет, страшный смерч пронесется вдоль Днепра, в неизвестность, в неволю, куда-то на восток татарские орды погонят тысячи и тысячи русских людей, но Русь, гордая и непобедимая Русь, снова восстанет на пепелище и пожарище и уже навек; новые поколения построят новые города и села, Русь выдержит, выстоит, станет еще сильней — такова уж эта земля, таковы ее люди...

В ту же пору, когда княжил Владимир, в мире, ограниченном Европой, Малой Азией и Востоком — до Джурджанского моря; Итиль-реки и гор Урала — существовало три силы: Византия, изведавшая в продолжение столетий величие власти, славы, расцвета, но уже начинавшая хиреть, распадаться, идти к своему неизбежному концу; Германия, которая лишь входила в силу, чтобы позднее в продолжение многих столетий захватом, наскоком, ценой большой крови поработать народы; и Русь, с ее древнейшей историей, которая лишь теперь становилась вровень с империями и открывала новую страницу своего существования.

Князь Владимир знал, в каком мире он живет. Когда-то его бабка княгиня Ольга два месяца сидела в Константинополе, добиваясь приема и беседы с императором Константином, днесь он был зятем императора Василия, после которого почитали за великую честь говорить с киевским князем; когда-то немецкие императоры под звон мечей кричали: "Drang nach Osten!" — а сейчас в Киев являлись их послы с богатыми дарами — сила одолела силу, две самые могущественные империи мира клялись Руси в дружбе, любви, мире.

И все-таки князь Владимир был неспокоен, встревожен и не спускал глаз с запада, где новый германский император Генрих упорно продвигался на восток, усыпляя одни народы уверениями в дружбе и мире — уже Польша и Чехия ездили на поклон в Кведлинбург, — примучивая силой другие славянские земли... Генрих не посягал лишь на Русь, понимая, что она, а вместе с ней Угорщина, Болгария, Византия ответят на удар ударом...

Знал Владимир цену и Византии. В Киев без конца тащились священники-греки, здесь их принимали. Приезжали охотно и здатели, каменотесы, маляры, оставшиеся в обедневшем Константинополе без работы. Князь Владимир находил дело всем: в Киеве и других городах вырастали каменные храмы, строения, мнялась, росла, хорошела Русь. Греческие купцы плыли теперь не по Днепру, а ехали по торной дороге — через земли тиверцев и уличей. Голодному Константинополю было что купить в земле Русской.

Но Владимир замечает и другое: подавив восстание в Малой Азии, император Василий начинает наступление на Грузию, Армению, арабские земли, действуя где обещаниями, где дарами, где силой. Так он выходит к реке Тигр, державе Шахарменов, к городам Эдессе и Дамаску в Сирии; захватывает в Средиземном море острова Кипр и Крит, угрожая оттуда кайрским халифам, так он расширяет владения Империи далеко на юг, где никогда еще не ступали легионы ромеев.

Император Василий действует не только в Малой Азии, он хочет утвердиться и над Русским морем, покорить Болгарию, стать на берегах Дуная...

2

Для Болгарии наступил решающий час. Император Василий, собрав лучшие легионы Империи, поставил их на границе Болгарии, а сам с отборным войском, окруженный бессмертными, двинулся к Солуни, чтобы возглавить наступление на Охриду, где сидел Самуил, и на столицу кесаря Романа Скопле.

Самуил Шишман понял, какая зловещая туча нависла над западной Болгарией, и послал своего отважного воеводу Несторицу в Солунь, чтобы задержать на берегах Вардара войско Василия, а сам двинулся через горы на Прилеп и Велес преградить путь Василию на север.

На сей раз счастье изменило Самуилу — полководец Феофилакт Вотаниат, стоявший под Солунью, разбил полки Несторицы. Другой полководец, стратиг Филиппополя Никифор Ксифий, обойдя Самуила, проник по ущелью реки Вардара на север и приблизился к Скопле.

Впрочем, никакой отваги в этом походе не потребовалось, едва лишь войска ромеев подступили к Скопле, ворота города-крепости открылись, оттуда вышел кесарь Роман, недостойный внук славного кагана Симеона, чтобы еще раз, теперь уже окончательно, продать Болгарию.

Войска ромеев и Самуила встретились у горы Беласицы. Началась страшная сеча. Не на жизнь, а на смерть бились болгары, если бы в последнее мгновение Гавриил не отразил меча воина-ромея, Самуил остался бы на поле боя. Более десяти тысяч болгар сложили свои головы у горы Беласицы. Пятнадцать тысяч было захвачено в плен. Сам Самуил, спасая остатки своего войска, едва успел бежать к Прилепу, чтобы потом, соединившись с отрядами Несторицы, отомстить ромеям.

Самуил отомстил. Когда легион ромеев во главе с императором Василием продвигался долиной реки Струмы, а с юга к ним поспешал Феофилакт, чтобы, объединившись, обрушиться на Прилеп, болгары окружили на рассвете в глубоком ущелье легионы Феофилакta, закидали их стрелами и камнями, убили множество воинов и самого солунского полководца. Узнав о том, император Василий поворачивает свое войско и, спасаясь бегством через далекий Мелник, спускается с гор в Македонскую долину.

Но еще злее, еще ужаснее отомстил император Василий. Прибыв в колеснице к Афинополю, а затем выехав с полками бессмертных к Беласице, где легионы караулили пятнадцать тысяч пленных болгар, он повелевает сложить в долине печи, изготовить железные прутья-жигала, построить пленных по полкам и окружить их, голодных, связанных, несколькими легионами.

Стоял десятый день месяца августа 1014 года — чудесная пора, когда все в Болгарии созревает, в беспредельной глубине синее безоблачное небо, на небосклоне, точно стража, высятся горы.

Окруженный бессмертными, император Василий стоял в тот день на пригорке, смотрел в долину на жарко растопленные печи, раскаленные докрасна жигала в руках его воинов-ромеев, на пленных болгар, что стояли полками, на темнеющую черную подкову легионов, окружавших всю долину...

Пленных, связанных по десяти, подводили к печам. Раскаленные жигала, как стрелы, прорезали воздух и впились в глаза, которые смотрели в эти мгновения на долину, горы, небо...

Воины кричали... И как им было не кричать, если победители-ромеи отнимали у них самое дорогое, что есть у человека, — глаза! Но горы молчали, а если бы они и могли кричать, то разве это остановило бы повелевшего ослепить пятнадцать тысяч пленных болгар императора Василия, который получил за это прозвище Василия Болгаробойцы? На каждую сотню он велит оставить по воину с одним глазом, они поведут эти тысячи ослепленных к комиту Самуилу, а прибывшего в его стан кесаря Романа император назначает патрикием и управителем города Абидоса в Малой Азии.

Более месяца шли ослепленные и лишь 15 вресня добрались до столицы — Прилепа. Самуил выехал им навстречу и смотрел, как вдали на снежных вершинах появились воины, как они спускаются в долину.

И вот слепые проходят мимо — сотня за сотней с поводьями впереди... Страшное зрелище! Слепые болгары шли по родной земле среди гор, которых не видели, мимо комита Самуила Шишмана, под знаменем которого они так упорно боролись и поплатились глазами.

Но если не видно родной земли, гор, они вдыхают ее ароматы, слышат голоса детей, которые когда-нибудь отомстят за них. Поводыри сказали слепым воинам, что на них смотрит комит Самуил Шишман, что их ждет родина.

И слепые воины, проходя мимо Самуила Шишмана, кричали:

— Да здравствует Шишман! Да здравствует Болгария!

Только Самуил не слышал этих возгласов — внезапно у него нестерпимо заболело сердце, померкло в глазах, подкосились ноги, и он упал на землю.

— Воды! Глоток воды! — прохрипел он.

Но вода ему уже не понадобилась.

Раздались крики:

— Помер Самуил!

— Нет нашего комита!..

Ослепленные воины опустились на колени.

Свирепо расправившись с Болгарией, император Василий возвращается в Константинополь, велит вытесать мраморную плиту, высечь на ней надпись и выставить плиту в Сосфеновом монастыре близ Константинополя.

Надпись гласила:

“Если когда-нибудь болгары восстанут, их нельзя победить в битвах лицом к лицу, а нужно исподволь забирать их города и крепости, упорно опустошать земли, дабы довести до полного отчаяния...”

Император Василий справедливо заслужил прозвище Болгаробойцы.

3

Слухи о событиях в Болгарии, конечно, скоро достигли Киева. Они очень взволновали, просто ошеломили Владимира. Значит, Византия действует так же точно, как и прежде: разъединяет, ссорит между собой народы, а затем на их крови и костях строит свое благополучие.

Послы Руси едут в Константинополь, в Киев являются василики императоров Василия и Константина и клянутся в любви и дружбе, впрочем, что стоят их обещания! У Византии свой путь, а Русь строит свою жизнь.

Византия утвердилась на берегах Дуная. На Русь идут и идут несудержимым потоком болгары. Это уже не только священники, но и разоренная Византией знать и беднота, у которой ничего, кроме воли, и не было — русские люди их радушно принимают, и болгары поселяются в Киеве, в городах и весях Руси.

Двинуться на Византию? Нет, этого сделать уже нельзя, поздно, между двумя императорами заключен вечный мир. Русь взяла у Византии то, чего добивалась, Византия дала Руси, что имела...

И чем далее, тем все яснее обнаруживается бессилие Византии. Херсонес уже перестал существовать как крепость, это лишь рынок Константинополя. Правда, херсонесские и константинопольские купцы еще заполняют низовье Днепра, поселяются на жительство в Киеве, едут в Смоленск, в Новгород. Но император Василий то и дело посылает своих послов в Киев: некоторые идут прямо к князю Владимиру, некоторые в покои царицы Анны.

Анна — дочь коварной Феофано и сестра Василия Болгаробойцы — живет в Киеве, заводит в княжьем тереме порядки и церемониал византийского двора. Ее окружают придворные женщины, которых возглавляет, подобно опоясанной патрикии Большого дворца, старшая боярыня; в палатах царицы без конца снуют сановники, духовные лица. Ее покой охраняют рыцари, вооруженные длинными мечами...

Много, очень много трудится василисса Анна. У нее, как и следовало ожидать, немало друзей среди жен восвод и бояр. Она — патронесса храмов. Она не жалеет золота, чтобы заполучить сторонников и среди восвод и бояр.

Одного не может достичь василисса Анна — необычайно красивая, всех очаровывающая, истинная дочь своей матери Феофано, она чувствует, что ее не любил, не любит и никогда не полюбит ее муж Владимир. Анна ему чужая, он навсегда ей чужой.

Василисса Анна надеялась, что все изменится после того, как она родит сына, однако, когда родился первенец Борис, поняла, что отец может привязаться к ребенку, но не любить его мать.

Второго сына звали Глебом. Князь Владимир стоял над его колыбелью и ласково смотрел на сына, но не обнял, не поцеловал жену — мать ребенка.

В этой молчаливой борьбе между Анной и Владимиром не было исхода. Тщетно стараясь зажечь камень, горит лишь то, что может гореть, в чем есть жизнь, огонь. Идут годы, и ничего словно не меняется. Однако сыновья Владимира Борис и Глеб растут, они скоро получают от отца земли — Ростов и Муром. Василисса Анна, так и не добившись того, чего хотела, хворает. Изменился и князь Владимир, вот-вот и старость, конец...

Но холодная, черствая, неподкупная рука истории, перестраивая еще одну, и теперь уже последнюю, страницу в повести князя-василевса, делает ее несказанно тяжелой, непомерно жестокой, печальной...

Конечно, нной она и не могла быть: никогда ливень или град не падают с ясного неба — туча долгое время собирается из отдельных капелек; никогда море не становится вдруг бурным и ревущим — долго-долго перед тем дуют ветры, раскачивая волны. То, что произошло на склоне лет с князем Владимиром, было уготовано им самим, его жизнью, деяниями.

4

Все началось с города Кнева, и даже с Горы...

На первый взгляд, как казалось всем, да и самому князю Владимиру, и на Горе, и в городе Кневе было спокойно. За высокими стенами Горы жили, богатели, мудро руководили землями бояре и восводы с великим князем Руси во главе.

Правда, князь Владимир знал, что мужи эти думают по-разному. На Горе жили воеводы, которые приняли христианство и цепко за него держались, но кое-кто молился и новым и старым богам, а были среди них и язычники — недовольные, хищные, злые мужи. Утерев в разные времена свои достатки, они новых пожалований не имели, сидели за высокими заборами в своих теремах и по ночам, словно ма-ры, бродили по Горе.

Преданные князю Владимиру люди, знатные бояре и воеводы, не раз говорили ему о язычниках, намекали на то, что кругом много врагов, что следует оберегать и охранять его особу.

О том же твердили и греки, приехавшие вместе с князем из Херсонеса, ромей, прибывшие в Киев с василиссой Анной, священники, купцы и, наконец, василики, которые все приезжали и приезжали из Константинополя.

— В столице Византии, — рассказывали они, — божественную особу императора охраняют полки бессмертных. В Большом дворце стоит этерия, целые отряды скопцов оберегают его день и ночь. В фемах, в каицелярии стратигов, в епархии посажены послухи.

Князь Владимир смеялся.

— Кого они охраняют? Ведь особа императора божественна?

— Именно потому, что особа императора божественна, его и следует охранять бдительно, зорко! Гляди, княже! В Киеве и во всей земле Русской немало врагов...

И хотя князь Владимир и смеялся, однако на Горе появились послухи, княжьи глаза и уши, шныряли они по всему городу, в предградье, на Подоле, в Оболони, по всем дворам.

Делалось это не зря. За стенами Горы, где жили покуда еще вольные кузнецы, древоделы, скудельники, и на землях боярских, где трудились смерды, которые имели свои дворы, было спокойно, но там, где все больше и больше становилось обельных холопов, бесправных рабов своих хозяев, ширились пожары, татьба, разбой, тиуны и смцы ходили по Оболони и Подолу только с гридьбой, а по ночам туда и не совались, там, чем дальше, тем с большим остереженнем всенародно поносили воевод, бояр, тнунов, князя...

Ничего этого князь Владимир не знал: ему докладывали лишь о пожарах и татьбе, не поминая имени князя-василевса; когда же он отправлялся на охоту или в один из своих дворов в богатом наряде, окруженный воеводами и бояра-

ми, а порой со знатными гостями и проезжал по предградью и Подолу, там уже стояли заранее созванные смерды, холопы и славословили Владимира-князя, а на всех концах города караулила гридьба.

К головникам, татям, поджигателям и сволочникам Владимир был беспощаден... Да и что было делать — чтобы защитить своих, княжьих мужей и все те богатства, которые он давал за их службу (а иначе они ему не служили бы), князь Владимир заводил все новые и новые законы: убийство княжьих мужей каралось двойной вирой и смертью, за убийство вольного ремесленника или смерда взималась простая вира, если же кто убивал холопа, то не платил ничего за его бесталанную душу, а обязан был лишь возместить убыток за потерянного раба его господину... Суровой жизнью жил теперь город Киев. Подобно богу на небе — владыке жизни и хозяину всего сущего, окруженному апостолами и святыми, которые действовали его именем, да еще осужденными на геенну огненную грешными душами, — был князь на земле, его мужи и великое множество убогих людей, которые работали на князя и мужей.

Однако земля не была небом, на ней богатый радел и приумножал свое добро, а у бедняка забирали последнее зерно, холоп-раб острил косарь, выходил ночью на дорогу и подкрадывался к клети боярина...

Так новый закон и писался, на крови стоял ныне Киев, великий князь и василевс Владимир твердо сидел на своем столе.

Князь Владимир больше беспокоился о своих землях — в некоторые из них он послал сыновей, в некоторых сидели свои, местные князья.

Местным князьям князь Владимир не дивился — они с большим трудом платили Киеву дань, не посылали своевременно земское войско и враждебно относились к боярам, которые приезжали из Киева на пожалованные им земли. Время от времени князь Владимир снаряжал в ту или иную непокорную землю дружину, и тогда горе было той земле, далекой украине Руси, сила побеждала и держала в повиновении силу.

А сыновья? Как подпирают великокняжеский стол члены его рода, его глаза, руки, родная кровь? Вышеслав в Новгороде, Мстислав в Тмутаракани, Ярослав в Ростове, Изяслав в Полоцке, Святополк в Турове... "Дети мои, — писал им князь Владимир в своих грамотах, — сидя в Киеве, помышляю о вас, крепите землю отцов наших, мудро

утверждайте закон, будьте едины со мной и городом Киевом..."

Однако сыновья выплачивали дань еще неисправней, чем местные князья, земских воинов в Киев посылали мало и часто не принимали бояр и воевод киевской Горы. Им самим приходилось держать большие дружины и раздавать земли своим мужам. Потому в далекие и близкие земли ехали послухи: глаза и уши князя заполонили всю Русь.

Так Владимир узнал о том, что делается в недалеком Турове, где князем сидел сын Ярополка — Святополк. Воевода Безрук, правая рука Святополка в Турове и одновременно послух Владимира, часто приезжал в Киев и всегда заходил к князю Владимиру. Приехав однажды, он настаивал на беседе с князем с глазу на глаз.

— Слушаю тебя, воевода! — сказал Владимир, когда они остались вдвоем в одной из светлиц на верху терема.

— Недобрые вести из города Турова, княже, — начал Безрук.

— Что за вести, — встревожился князь, — почему недобрые?! Ведь ты сидишь там, блюдешь княжий стол.

— Не один я хозяин в Турове, князь города и всей земли Святополк... Нас никто не услышит, княже?

— Говори смело! Здесь только я да ты...

И Безрук поведал Владимиру, что князь туровский Святополк при посредстве жены Марины завязал дружбу с тестем, польским князем Болеславом, и германским императором Генрихом, которые обещают ему вооруженную помощь, а через епископа Рейнберна, духовника Марины, договорился с римским папой. Святополк уже готов, опираясь на воинство Болеслава, двинуться на Киев, убить его, князя Владимира, захватить киевский стол и принять католическую веру...

Вслушиваясь в каждое слово, произнесенное воеводой Безруком, князь Владимир неподвижно, опираясь на поручни, сидел в углу палаты в кресле. Он долго молчал и вдруг с такой силой сжал пальцы правой руки, что сломал поручни.

— Воевода Безрук! — встав с кресла, сказал князь Владимир. — Понимаешь ли ты, что сказал? Коли то правда — Святополк мой враг, коли се лжа — ты примешь смерть...

— Княже Владимир, — спокойно ответил Безрук. — Я поведал одну правду, должен ее сказать, ибо служу Руси, ее людям, тебе.

Поздно ночью по земляным, скользким после недавнего дождя ступеням князь Владимир спустился в поруб, где сидел Святополк. Впереди с мечами наголо шли два гридня, воевода Волчий Хвост со светильником в руках следовал за князем.

— Выйдите, гридни! — повелел князь Владимир, когда те отперли тяжелый замок и вошли в поруб, а воевода поставил светильник на землю. — И ты, воевода, ступай!

Тусклый свет освещал темницу, сложенную из дубовых кругляков, покрытые белой плесенью стены, потолок из тяжелых тесаных колод, земляной пол, пень, на котором стояла корчага с водой и лежал хлеб, да еще ворох трухлявой соломы в углу.

В другом углу, опустив руки, в сорочке и ноговицах, босой, стоял Святополк. Свет вырвал из полутьмы его лицо, низкий лоб, перерезанный прядью длинных волос, встревоженные глаза, острые скулы, сжатый рот, заросший щетиной подбородок.

— Вот я и пришел к тебе, Святополк! — промолвил Владимир.

— Вижу! — усмехнувшись, сказал тот. — Спасибо, что проведал, княже Владимир. Жаль только, что встречаю тебя не в палатах, а тут, в порубе.

— И то правда, жаль! — Князь вздохнул. — Да что поделаешь, приходится тут, вот так говорить.

Владимир сел.

— Устал я! Садись и ты! — предложил Владимир Святополку.

— Я постою, — хмуро ответил тот. — Мне не от чего устать, разве от дум...

— О чем же ты думаешь, Святополк?

— Князю, который вчера сидел в хоромах, а днесь гниет в твоём порубе на трухлявой соломе, есть о чем подумать.

— Почему не думал о том ранее, до того как замыслил поднять смуту в западных волостях Руси, идти со своим тестем на Киев, убить меня, киевского князя, изменить вере русских людей, стать слугою папы?

— Днесь я в твоей власти, — неторопливо ответил Святополк, — ты сильный, очень сильный, княже-василевс... Но зачем возводишь напраслину на меня, вчера еще туровского князя, а ныне узника, кинутого твоей десницей в этот поруб?

— Напрасно ты меня попрекаешь. Не я тебя кинул в поруб, а бояре и воеводы, узнав о твоём замысле в Турове, схватили тебя и привезли в Киев... Да и жена твоя Марина, и духовник Рейнберн, иже были с тобой, ныне сказали правду... О люди, люди, все вы такие, диесь служите одному, завтра другому...

Святополк молчал, уставясь в темный угол поруба, потом повернулся к Владимиру, и тот увидел его горящие глаза, закушенные губы.

— Что ж, — задыхаясь, прохрипел он, — коли все знаешь, скажу и я правду... Слушай, княже Владимир! Это так! Думал я из Турова идти на Киев, помышлял одолеть твою дружину, а уж вои мои, пожалуй, не пощадили бы и тебя... Тяжко мне в этом признаться, а тебе страшно слушать, но такова она, правда.

Владимир, содрогаясь, промолвил:

— Слышу, Святополк! Ты поведал правду. Однако напрасно полагаешь, что она страшна мне. Нет, не за себя боюсь, за Русь, за людей ее страшно.

Владимир умолк, прошла долгая минута, потом продолжал:

— Страшно, Святополк, за Русскую землю... С одной стороны ромеи. С востока насаждают печенеги, за ними половцы. На севере точат ножи свионы, а ты задумал пустить в нашу землю еще и поляков, германцев, папу римского.

— Поляки и германцы далеко, — возразил Святополк. — Папа римский еще далее... До Византии, — процедил он, — пожалуй, ближе, не так ли, княже?

Владимир понял, на что намекает Святополк.

— На легионы ромеев я не опирался и не пустил бы их на Русь... Веру христианскую принял также не от константинопольского патриарха.

— И я не собирался предавать Русь, — дерзко крикнул Святополк, — ни полякам, ни германцам, ни папе...

Князь Владимир горько улыбнулся.

— Так почему же ты так деял, Святополк?

Долгое время в порубе царила тишина, лишь со сруба стены где-то размеренно падали капли да потрескивала в углу солома, за дверью раз и второй прозвучали шаги.

— От юности моей, — начал Святополк, — не любил я тебя, княже, ибо кровь отца моего Ярополка запеклась на руках твоих, ибо ты выгнал мать мою Юлию из Киева, ибо меня оскорбляли дети твои и ты сам, ибо ты, разделяя земли, поставил меня князем в худшей волости, Турове, ибо ты никогда ни на крошку не сделал мне добра, а токмо зло...

Почему же я должен был делать тебе добро, как мог я не отомстить за отца, за мать и за все, за все?..

Оперши голову на руки, князь Владимир слушал речь Святополка.

— Ты поступил хорошо, сказав мне правду, хотя, Святополк, ты мог бы сказать ее раньше. Что ж, услышал о сем днесь от тебя, хоть ведал твои мысли раньше...

— Так почему же ты кинул меня в поруб, допрашиваешь, мучишь, коли все знаешь?

— Я пришел не допытывать, а говорить с тобой, Святополк, зане все это неправда.

— Великий князь и василевс Руси! — засмеявшись, промолвил Святополк. — Тсбе мало того, что вверг меня в этот поруб, хочешь еще и посмеяться надо мной?

— Я говорю о том, — продолжал Владимир, словно не слыша слов Святополка, — что не хотел убить и не убивал брата моего Ярополка. Много горя и мук принял я от него, а еще больше Русь и ее люди, я же все простил ему, призывал к миру и любви... Князя Ярополка в сенях терема убили два гридня, которых подкупил воевода Блюд. Ты, Святополк, это знаешь.

— Не верю! Это придумал ты со своими боярами, вы нацелили мечи убийц в сердце моего отца...

— Я выслушал твою правду. Почему же не хочешь выслушать моей? Сейчас ты сам все поймешь...

— Слушаю! — крикнул Святополк. — Что же ты скажешь мне?

— Скажу то, что никогда не прогонял и не мог прогнать с Горы твоей матери Юлии. Зане твой отец не Ярополк, как полагают все и думаешь ты сам...

— Не Ярополк? Княже Владимир, ты глумишься надо мной... зачем?! Кто же мой отец?

— Было время, когда все было не так, как ныне, — промолвил грустно Владимир, — время, когда твоя мать, схоронив мужа Ярополка, любила меня... Ты плод сей любви, нашего греха... я... твой отец!

Святополк стоял в углу поруба и пристально смотрел на князя Владимира, который сидел на пне, склонив низко голову. Затрепетав, Святополк, казалось, в какое-то мгновение хотел кинуться вперед.

Но это был лишь краткий миг — Святополк не шевельнулся, охватив руками голову, он стиснул зубы так, что Владимир услышал скрежет и поднял голову.

— Ты мой отец?! — крикнул Святополк. — Нет, ты шутишь, княже Владимир. Ты хочешь меня обмануть, как многих людей... Не верю, слышишь? Я не верю, княже!

У Владимира бешено колотилось сердце. Страх, раны далекого прошлого, скорбь оттого, что так произошло, что он снова стоит перед тенью брата Ярополка, а может быть плодом своей любви, перед сыном, терзали его душу.

— Святополк, — встав, хрипло промолвил он. — Брата Ярополка не стало. Прах твоей матери Юлии погребен в Херсонесе. Я один днесь отвечаю и должен отвечать за наш грех. Говорю правду, ты мой сын, иди же ко мне.

И Владимир в самом деле был бы безгранично счастлив, с его души, вероятно, свалился бы камень, на протяжении многих-многих лет угнетавший его, если бы Святополк подошел к нему, протянул руки.

Но Святополк не двинулся с места.

— Жестокий, безжалостный князь, — прохрипел он. — Сейчас я верю тебе, но почему, почему ты мучил меня, сделал таким, какой я есть? Поздно уже мне меняться, слышишь, — он на миг умолк и закончил, — я проклиная тебя!

Владимир понял, что случилось: Святополк устами своей матери проклинает, ненавидит его, в эту ночь, в этом порубе ничего уж сделать нельзя.

— Что же, Святополк, — сказал он, — ты проклинаяешь, а я... прощаю тебе...

Князь направился к двери поруба и решительно, так, что звякнули засовы, широко распахнул ее.

— Вот, дверь открыта, — промолвил он, — иди, Святополк...

Владимир первым поднялся по земляным ступеням поруба и, увидав воеводу и гридней, сказал:

— Я освободил князя Святополка из поруба. Отныне он будет жить на Горе. Пропустите его.

Моросил дождь. Низко над Горой плыли косматые тяжелые тучи, из-за них украдкой выглядывали звезды. Было холодно, сыро, безлюдно.

В первые дни зарева князю Владимиру сообщили о кончине бывшей его жены княгини Рогнеды. Поведал о том епископ Анастас, он до рассвета пришел в терем и разбудил князя.

— Нынче ночью, — скорбно промолвил он, — почил в бозе княгиня Рогнеда, черница Анастасия.

— Она тяжело хворала, страдала? Почему мне не поведали о том? — повернувшись к епископу и глядя на него широко открытыми глазами, спросил князь Владимир.

— Княгиня не велела никому говорить о болезни, — ответил Анастас, — и не беспокойся, княже, она не мучилась, не страдала. Дни и ночи проводила в одиночестве, вкушала лишь хлеб да воду, давно уже никого не хотела видеть, только вчера позвала меня, исповедалась, а ночью тихо почил, ушла в иной мир...

Епископ явно рассказал не все, что знал, о кончине Рогнеды. Он был единственным свидетелем последнего дня ее жизни, последним беседовал с ней, но князь Владимир не стал расспрашивать: если бы Рогнеда хотела что-нибудь передать, Анастас сказал бы об этом.

— Где лежит ее тело?

— В Предславине, в тереме, княже.

— Когда похороны?

— Завтра, княже!

— А где?

Епископ какое-то мгновение помедлил с ответом.

— Княгиня Рогнеда простила всех и просила, еще перед кем виновата, простить ее, тело же наказала хоронить без почести и славы там, где жила, в Предславине, ибо она давно отреклась от сурового мира, как мир отрекся от нее, а все добро свое завещала церкви...

Стоя у окна, Владимир долго смотрел, как начинает плести паутину рассвет, потом повернулся к епископу и сказал:

— Не будем судить... Рогнеда так наказала, ибо не помышляла никогда о суетной славе, но ради славы нашей и церкви ее следует похоронить, как княгиню.

Епископ склонил голову, он был согласен с князем.

— Повелеваю, — суровым голосом промолвил Владимир, — воздать погребальные почести жене моей Рогнеде, как княгине, тело же схоронить там, где она пожелала, в Предславине.

Владимир умолк. За окном все больше разгорался день. Свет падал на его бледное лицо, высокий лоб.

— И еще хочу, — тяжело вздохнув, закончил князь, — проститься с ней. Ночью мы с тобой, отче, пойдем в Десятинную церковь.

Ночь. Тьма непроглядная. Где-то слышны шаги. Несколько человек, ощупывая землю посохами, спускаются по дороге, которая ведет от ворот Горы. Вот слышно, как они повернули налево и направились через яр к Десятинной церкви, очертания которой вырисовываются на серой кисее неба.

Должно быть, скоро пойдет дождь, парит, тяжело дышать. Небо разрезала ослепительная молния, и на мгновение стало видно, как приостановившиеся на пригорке люди, одетые в черное, направляются к церковным вратам. Грохочет гром, на землю падают большие дождевые капли.

В бабинце Десятинной церкви теплится несколько свечей, их желтые лучи падают на поздних, обряженных в черные мятлы гостей — впереди священники, за ними с посохом в руках епископ Анастас, рядом с ним князь Владимир.

Выдолбленная из толстого ствола липы корста с телом княгини Рогнеды стояла в правом притворе церкви, вокруг, в высоких серебряных подсвечниках, горели свечи. Приблизившись, князь и священники услышали однообразное, нарастав чтение, а потом увидели читавшую Псалтырь монашку и еще нескольких черниц, стоявших на коленях у гроба покойницы.

Увидев пришедших, монашки отступили и точно растаяли во мраке церкви, далеко в переходах остановился епископ со священниками, и князь Владимир остался один перед гробом с телом своей первой жены, княгини Рогнеды.

Да, теперь он остался наедине с той, которую, не видя, называл когда-то своей женой и, не изменив своему слову, позвал в Киев, сделал княгиней Руси...

Он остался наедине с той, которой так нелепо изменил, забыв на какой-то час, за что жестоко расплачивается и поныне и, верно, долго еще будет платить.

Он остался наедине с той, которой не доверился до конца в самую трудную пору жизни, и, послушавшись разума, а не сердца, сделал еще одну, уже последнюю, ошибку, отрекшись от Рогнеды и назвав своей женой греческую царевну Анну.

И вот ныне, скрываясь во мраке заревной ночи, он пришел к ее телу, чтобы спросить себя: где была правда, где лжа жизни, где была любовь и где неприязнь, чтобы ответить самому себе, кого в жизни он любил, а кого не любил, и еще, кто любил его, сына рабыни, князя, а потом василевса?!

Владимир стоял у гроба княгини Рогнеды в темном мятле, в сапогах, покрытых желтой пылью Горы, сияние свечей

озарило его седой чуб, хмурое чело, длинные усы, грустные, глядевшие на усопшую глаза.

Прошло много лет с тех пор, как он видел последний раз Рогнеду. Она лежала в гробу такая, какою он знал ее и раньше. Смерть, пожалуй, даже подчеркнула то, на что в жизни обычно не обращают внимания: при свете множества свечей отчетливо был виден высокий лоб княгини и те же выгнутые брови, гордые, словно чем-то недовольные уста, острый подбородок да еще сложенные на груди руки с тонкими, прозрачными пальцами.

Каким-то очень далеким от душевного церковного притвора, суеты сует Горы и тщеты грешного мира было это бледное лицо, с выступившими скулами, глубоко запавшими глазами, морщинками у носа и губ, серебром волос, сменившим золотистый лен прежней косы.

И князь Владимир понял, что тщетно он надеялся, идучи сюда, стоя перед телом княгини, найти ответ на вопросы, что так давно терзают его душу, — нет, княгиня Рогнеда раньше, еще до того как надеть монашеские одежды, ответила на вопрос, любила ли она князя Владимира... О, как крепко, всей душой и сердцем она любила его! Как бережно, достойно пронесла эту любовь через всю жизнь, из-за нее и погибла, и хоть сейчас тут, в церкви, лежит ее мертвое тело, но живет и вечно будет жить ее любовь.

Даже вчера, в последние часы своей жизни, видя перед собой смерть, Рогнеда сказала, что прощает всех и просит простить ее, нет, не о всех она говорила, а о нем, о князе Владимире, о единственном своем муже, ибо любила его так, что не могла без него жить.

А он? Князь Владимир неизбежно должен был спросить об этом себя в тот час, когда находился наедине со своей первой женой, расставаясь навеки с той, кого уже не мог вернуть... Он, князь Владимир, любил ли ее?

И не ответ на вопрос, а несказанная горечь утраты, щемящая жалость по тому драгоценному, чем он некогда владел и теперь лишился, тоска о минувшей молодости окутали душу грезами.

Не сейчас, не в последние годы, а всю жизнь князю Владимиру трудно было жить, и все-таки в своем одиночестве, в трудах, на брани, не признаваясь даже самому себе, Владимир знал, понимал, чувствовал, что где-то близко есть человек, к которому он может пойти, во всем признаться, исповедаться и получить прощенье, любовь и поддержку, этим человеком была его жена Рогнеда.

А теперь ее нет, некому уж ему поведать о своей скорби, отчаянии, горе, никогда уж он не сможет обратиться к ней, вовек не услышит ее голоса...

Не в силах владеть собой, в безнадежном отчаянии, он склонил колени перед телом княгини, припал головой к холодному каменному полу, и слезы брызнули из его глаз, — в притворе Десятинной церкви великий князь Руси, император Владимир, плакал над прахом и тленом большой, навсегда утраченной им любви.

Когда князь поднялся с колен, к нему подошли епископ Анастас и священники.

— Я попрощался и навеки примирился с княгиней Рогнедой, — промолвил князь. — А теперь пойдем...

Под высокими церковными сводами зазвучали шаги. Монахини выступили из темноты, опустили на колени, а одна из них — низким, скорбным, но в то же время бесстрастным голосом, начала:

— “Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть...”

Отойдя уже далеко, князь Владимир обернулся к гробу и еще какое-то мгновение смотрел на озаренный свечами лик Рогнеды...

На дворе шел дождь. Низко над головой, обволакивая купола церкви, неслись тучи. Земля была влажная, стояли лужи. Повсюду в темноте журчали ручейки, сапоги увязали в непролазной грязи.

Вытаскивая с трудом ноги, князь Владимир и епископ Анастас медленно двинулись на гору. Кругом стоял мрак. На фоне серого неба чернели стены, крыши теремов, деревья.

Внезапно князь остановился — на пригорке перед ними появились двое: высокий и стройный юноша в островерхой княжьей шапке и женщина или девушка намного ниже его, которая держала юношу за руку.

Владимир узнал их, это были Ярослав и Предслава. Судьба не щадит Ярослава. Он прибыл из далекой Ростово-Суздальской земли, чтобы говорить с отцом, а попал на похороны матери. Впрочем, может, это перст судьбы — Рогнеда горячо любила Ярослава, и он так любил ее!..

Вот они идут тайком, ночью в Десятинную церковь, чтобы попрощаться с телом матери и, услышав шаги, остановились.

Князя Владимира неудержимо потянуло кинуться к ним, обнять живых детей мертвой Рогнеды, поцеловать — стало бы легче, спокойней, не чувствовал бы себя таким одиноким в этом ночном, мрачном мире...

Но он не мог подойти к ним — два крадущихся в глухую пору к Десятинной церкви существа, подобно немому укору, беспощадному осуждению того, что свершилось, чего никто не в силах вернуть, стояли теперь на пригорке, сын и дочь, и безмолвно, в несказанном горе смотрели издали на своего отца.

И князь, цепко схватив под руку епископа Анастаса, свернул с тропы, увлекая его за собой, зашагал стороной и остановился лишь на Горе, когда Десятинная церковь и две темные тени на пригорке, оставшись далеко позади, растворились во мгле.

— До чего крута эта Гора! — промолвил князь Владимир.

В эту ночь он не ложился — до самого рассвета горела свеча в княжьей палате. Мрачный, встревоженный князь то садился в кресло за стол и прислушивался, как бешено бьется сердце в груди, то вставал, грустно ступая, расхаживал по палате и ближайшим переходам.

О чем только не передумал князь Владимир за эту ночь! Вот тут в палате, за столом, в этом кресле сидела Рогнеда — волосы у нее, точно лен, глаза ясные, голос тихий, певучий: “Муж мой, Владимир, а я тебя все жду, все жду...” Вот переходы, налево дверь, когда-то он переступал ее порог. Лунная ночь, в углу стоит Юлия, она идет вперед, кладет ему руки на плечи: “Княже Владимир, ты пришел ко мне?...”

Кто-то зовет князя:

— Василиссе Анне тяжело, она хочет видеть тебя.

Он заходит к Анне, в опочивальне горит свеча, у ложа стоят две дворянки, при желтоватом свете Владимир видит пышащее жаром лицо, испуганные глаза.

— Я очень простудилась, василевс, тело мое горит, грудь разрывает кашель...

— Ты выздоровеешь, скоро выздоровеешь, василисса.

Дворянки дают Анне теплое питье, она закрывает глаза и словно засыпает.

Темные переходы, раскрытое окно, где-то недалеко в гуще деревьев хохочет филин-пугач.

“Вещая птица! Чего кричишь? На чью голову накликаешь беду?” — опершись головой об оконный косяк, думает князь Владимир.

Рогнеде отдали погребальные почести в Десятинной церкви, как княгине. За долгий день немало киевских людей пришло склонить свои головы перед корстой с ее телом, а

хоронили Рогнеду согласно монашескому чину ночью в закрытой корсте, в Предславине, как она и наказала.

На похоронах людей было мало — с десятков монахинь, предславинские дворяне, которые несли гроб, священник.

Были еще на похоронах дочь Рогнеды Предслава и сын Ярослав, в темных платнах, с закрытыми лицами, они шли позади всех, никто их не узнал.

Всадник — никому не известный всадник — прискакал в эту позднюю пору с Горы в Предславинский лес, остановил под деревьями коня и долго смотрел на огоньки и на темные тени, которые медленно плыли по долине; всадник, всадник в княжеском корзне, что привело тебя ночью в Предславину?

Небольшой холмик над Лыбедью — вот и все, что осталось на память о Рогнеде. Пройдет немного лет, и дожди, ветры смоят, сровняют с землей и его.

7

И как раз в это время с печальными вестями прибыли послы из Новгорода — там от неведомой болезни скончался князь Вышеслав. По воле покойного гроб с телом везли в Киев, новгородцы же просили себе нового князя.

Известие глубоко опечалило князя Владимира. Сидя с юных лет на столе в Новгороде, воспитанный и выкормленный новгородцами, он знал, как много значит для Руси эта земля, а, кроме того, Вышеслав был его любимым сыном, мудро управлявшим северными украинами Руси, его смерть — великая потеря для киевского стола.

В ближайшие же дни князь Владимир созвал в Золотую палату воевод и бояр, мужей лучших и нарочитых, послов новгородских и рассказал, что случилось в Новгороде, поведал и о том, что северные земли просят князя.

— Кого пошлем туда князем? — спросил Владимир.

— Говори сам, княже, — прозвучали отовсюду голоса. — Сыновей у тебя много, сам скажи, кто достоин сесть на стол в Новгороде.

— Думал я о том, — ответил князь, — зане сам сидел князем земель полунощных. Великий Новгород блюдет украинны Руси, хочу дать туда доброго князя, велю послать сына Ярослава. Согласны ли вы его принять, послы новгородские?

— Согласны! — разом ответили послы. — За Ярослава спасибо, будем ему верно служить.

— А ты, сын, — обернулся князь Владимир к Ярославу, который стоял возле княжьего стола, — согласи ли?

Бледный, без кровинки в лице, Ярослав какую-то мину-ту молчал, потом промолвил:

— Воля твоя, отче!

— Так и будет, — закончил Владимир.

И князь Ярослав, отиыне князь иовгородский, выступил вперед, обнялся, поцеловался с новгородскими послами, поблагодарил за честь и доверие.

Князь Владимир говорил правду и, посылая Ярослава в северные земли, добра хотел Новгороду, а сыну — славы.

Мало того, зная, как скорбит Ярослав по матери, чувствуя перед ним и перед Рогнедой свою вину, он хотел хоть как-нибудь ее искупить. Рогнеды нет, она ушла из жизни, может быть, судьба помирят его хотя бы с сыном: ведь Киев и Новгород — города-братья, два края Руси, Киев — ворота на полдень, Новгород стоит на страже земель и восточных, и западных, и полунощных.

Всего, разумеется, он не мог растолковать сыну при мужах Горы и послаx новгородских и потому позвал его к себе.

Ярослав вошел в светлицу отца твердой походкой, словно бы и не был хромым, и остановился неподалеку от порога.

Владимир иеволюи залюбовался сыном. Молодой, сильный, широкоплечий, с длинными черными волосами, смуглолицый, с орлиным носом — он очень напоминал отца.

Было в нем и что-то другое: голосом, выражением лица он походил на мать — ее не было на свете, но она жила в нем; сейчас отец и сыи начинали беседу, а душа Рогнеды, казалось, незримо витала в палате над ними.

— Я позвал тебя, сын мой, чтобы держать совет перед далекой дорогой и попрощаться... может, и навеки, — начал Владимир.

— Зачем так говоришь, отче? — сурово перебил его Ярослав.

Владимира поразил голос сына, стало больно, что Ярослав не понимает его тревоги и печали.

— Не сердись на меня, Ярослав, что посылаю тебя в полунощные земли. Днесь две твердыни на Руси — Киев и Новгород...

— Посылая меня в Ростов, ты говорил, что и он твердыня Руси.

— Так, Ростово-Суздальская земля также твердыня, близко Итиль-река, болгары, хазары...

— Полагаю, отче, ты знаешь, что в Ростове я жил душа в душу с боярством и людьми, верно служил и тебе.

— Знаю, Ярослав; а все же Ростов не Новгород, отныне Ростов будет под моей рукой, один пригляжу.

— До Ростова далеко, сам знаешь, дважды ты примучивал вятичей, как бы и теперь не случилось там беды, — сказал Ярослав, взглянув исподлобья на отца.

Князь Владимир внимательно следил за сыном — неужто он и в самом деле тревожится за него — за отца, или, может, насмехается над ним?

— Ты что... пугаешь меня, Ярослав?

— Нет, отче, говорю лишь правду, не спокойна Ростово-Суздальская земля. Люди там добрые, трудолюбивые, любят Киев, однако новое приживается трудно.

— Как сказал, так и будет — пригляжу за Ростовом, порадею о нем... Ты же береги Новгород.

— Что мне Новгород? Это твой город, там ты сидел князем. Закончу то, что ты начал, буду стоять, подобно тебе.

“Стоять, подобно тебе”? О чем говорит Ярослав? Князю Владимиру пришлось в Новгороде не только стоять, когда Ярополк задумал один сесть на киевский стол. Это новгородцы не потерпели своеволия киевского князя, достаточно было кликнуть клич, и они встали за свое право и пошли на Киев.

— Новгород и Киев единит большая святая дружба, — сказал Владимир, — и люди там суровые, твердые. Привыкнут к тебе, а коли сумеешь поладить, будут преданными, верными. К тому же и помощник в Новгороде у тебя хороший, там посадником сидит Добрыня, мой пестун.

Горькая улыбка скользнула в уголках губ Ярослава.

— Меня любила Ростово-Суздальская земля, и я любил ее... Что ж, отче, коли такова доля, то я полюбил Новгород уже издалека и поскорей хочу туда уехать, покинуть Киев... А посадник твой в Новгороде мне не понадобится, аки сам буду сидеть князем.

Князь Владимир понял из слов Ярослава, как ему тяжело после смерти матери здесь, в Кисве, говорить с отцом в этой палате, и еще тяжелее думать о том, что будет впереди.

— Ярослав! — сказал Владимир. — Я позвал тебя, дабы поведать все о Новгороде и полуночных землях, опричь того, хочу сказать, что мне больно отряжать тебя...

Он подошел и остановился совсем близко от сына.

— Ты, Ярослав, — хрипло промолвил Владимир, — первый, любимый мой Рогнедин сын... Слушай, ее уже нет и не

будет, но скажу тебе, я любил только ее, за что мучаюсь и страдаю ныне, сынок...

Сочувствие, ласковое сыновье слово?! Нет, князь Владимир не ждал его и не мог ждать, он просто хотел высказать наконец правду, если не Рогнеде, то хоть ее сыну... Кто знает, думал Владимир, может, Ярослав поймет его и простит?

Безмолвный, суровый стоял Ярослав и смотрел в большие, полные тревоги, печальные отцовские глаза, на бледное перекошенное болью лицо.

— Прощай, отче! — сказал он. — Я твой сын и останусь таким вовек, но есть Русь, и я буду служить ей до смерти...

— Прощай! — тихо промолвил князь Владимир.

...Так и разошлись отец с сыном, унося в душе лишь боль и обиду: не стало Рогнеды, той силы, которая могла бы их помирить.

Ярослав зашел к сестре Предславе: они и прежде вместе превозмогали горе и отчаяние. Одиноким уезжал в Новгород брат. Еще более одинокой оставалась на Горе сестра.

— Я пришел, Предслава, чтобы попрощаться с тобой, — сказал Ярослав, переступив порог ее светлицы.

— Слыхала, — перебила его сестра, — ты удостоен великой чести, едешь в Новгород князем.

Ярослав ласково посмотрел на нее, так походившую на Рогнеду, — те же льняные волосы, голубые глаза, приветливое, милое лицо.

— Велика ли честь, сестра! — мрачно промолвил он. — Князем я уже был, правил Ростово-Суздальской землей. Нелегко мне там приходилось, много сил я потратил, чтобы держать землю в покорности и преданности киевскому столу. Там я верно служил отцу...

— Однако Новгород велик, северные земли безграничны.

— Трудная, беспокойная Новгородская земля. Ее окружают злые вражеские языки. Голод, холод бродят по тем землям, мор косит людей... От него и брат наш Вышеслав погиб.

Услышав имя покойного брата, Предслава залилась слезами.

— И, не добра мне желая, посылает меня в Новгород отец...

— Чего же он хочет?

— После того, что произошло с матерью, — выпалил сгоряча Ярослав, — отец не хочет видеть меня в Киеве или Ростове и посылает в северные земли, делает князем-изгоем.

— Ты говоришь страшные слова, — с ужасом воскликнула Предслава. — Тогда не уезжай, не уезжай туда, братец!

— Нет, Предслава! — решительно промолвил Ярослав. — Что я перед отцом... Слово его — закон, десницей подпирает его Христос, за него Гора... Возврата в Ростов мне нету, не могу оставаться и в Киеве... Единный путь — в Новгород... Что ж, лучше там, чем тут, может, там, в Новгороде, вольготнее, бояре и воеводы лучше, а я стану мстителем отцу моему Владимиру...

— Ярослав! Ты о чем говоришь, что задумал!

— Ничего покуда не говорю, ничего не замышляю... Жаль только, что оставляю в Киеве тебя. А ты, Предслава, не забывай обо мне. Сидя в Киеве, поглядывай, что тут делается, а заметишь — сообщи, пошли грамоту...

— Все сделаю! Приглаголю и уведомя! Только почему, почему мне так страшно, братец?!

В Великой Луке, на зимнем гостинце из Новгорода в Киев, князь Ярослав встретил корсту с телом брата Вышеслава. Невеселая была эта встреча живого с мертвым, надежды с тленом.

Дружина, окружавшая князя Ярослава, уже издали увидела на гостинце шествие: впереди с черными хоругвями, печально колыхавшимися среди снегов, ехало несколько десятков всадников, за ними восьмерик коней тащил сани с выдолбленной из дуба, крепко-накрепко закрытой, просмоленной корстой, за ними на многих санях следовали нарочитые мужи Новгородской земли, а еще дальше верхом и пешими, сменяясь на погостах, с секирами и рогатинами поспешали смерды — требити пути, класть мосты, отбиваться от диких зверей, которые стаями бродили по лесам.

Сойдя с коня, князь Ярослав приблизился к саням, где стоял гроб, упал на колени прямо в снег, воздел горе руки и со скорбью промолвил:

— О брат мой, Вышеслав, думал ли ты, едучи в полные земли, вернуться на отчизну в корсте, холодным трупом?!

Над снегами кружилась поземка, черная корста искрилась от инея, задубелые хоругви звенели на ветру.

— Горе мне, горе, — причитал князь Ярослав, — еще встретил тебя не на коне сидящего, а лежащего в гробу.

Хоругви склонялись до самой земли, ветер свистел сильней и сильней, снежное море затягивало все окружающее.

— Прощай, брат! — слышались сквозь завывания ветра слова Ярослава. — И не сетуй на меня, еду замещать тебя, как изгой, подобно тебе направляюсь во тьму полунощную.

Дружинники сели на коней, по снегу закрипели полозья, сани с корстой двинулись дальше.

Долго, с непокрытой головой, с опущенными руками стоял среди снегов князь Ярослав, раздумывая о горькой участи брата своего Вышеслава.

В Новгород князь Ярослав прибыл без всяких почестей и славы. Так получилось, наверно, потому, что его поезд промчался по льду Ильмень-озера вечером, а у княжьего терема остановился поздно ночью, когда в Новгороде все спали.

Подняв на ноги сонную стражу, послы, ездившие в Киев, вместе с князем Ярославом вошли в терем. Забегали дворяне, зажгли огни, в трапезной зазвенела посуда, запахло жареным мясом.

В терем, запыхавшись, тотчас прибежали воеводы и бояре, а вместе с ними и посадник Добрыня, выделявшийся своим нарядом, гривнами, цепями и важной осанкой.

После ужина мужи, воеводы и бояре удалились, но Добрыня остался — хотелось ему поговорить с новым князем, да и кто-то должен был провести Ярослава в палаты.

Так они остались наедине на верху терема, в светлице, которая выходила окнами на Волхов. У Добрыни с вечера болела печень, а теперь, выпив меду и поев, он захмелел, отяжелел, его клонило ко сну. Ярослав же, ехавший из Киева больше месяца и почти не сомкнувший глаз последние ночи, был совсем бодрый. Слегка прихрамывая, он прошелся по палате, постоял у окна и обернулся к воеводе.

— Я, княже Ярослав, — начал Добрыня, — служил еще твоему деду, мир его праху, князю Святославу, воем был отцу твоему Владимиру, много лет сидел посадником в Новгороде, был первым воеводой и боярином у князя Вышеслава.

Добрыня умолк, ожидая, что скажет Ярослав. Но Ярослав молча стоял у окна и смотрел на темные очертания теремов, на заснеженный Волхов.

— И с христианством помог я князю Владимиру, — продолжал Добрыня, — немало обрел врагов среди язычников, немало найдется их и поныне. Перуна к конскому хвосту привязал и вверг в Волхов. Воеводы и бояре свои, а я человек княжий, токмо князьям служил и повинен служить...

Князь Ярослав отвернулся наконец от окна и пристально посмотрел на воеводу Добрыню. Тот даже вздрогнул — на него смотрело лицо юного Владимира: тот же лоб, нос, рот, и что больше всего поразило его — князь новгородский Ярослав смотрел на Добрыню глазами его сестры, Малуши.

— Много я слышал о тебе, воевода Добрыня! — сказал Ярослав, — знаю, немало ты сделал для земель полуночных.

— Верь мне, княже, — смущаясь и путаясь в словах, продолжал Добрыня, — ревностно стану помогать и тебе, буду первым подругом, слугою.

Ярослав сел в кресло и опустил глаза.

— Слушай, Добрыня, — сухо промолвил он. — Мне еще в Киеве много о тебе говорили, знаю, был ты верным слугою князей. Но слуги-воеводы мне не надобны, им след свои дела вершить, мне и дворяне прислужат. А я со всеми мужами моими буду служить людям полуночных земель...

Это были обидные для Добрыни слова, князь Ярослав отклонял его дружбу и службу — его внук, этот юный хромой, стало быть, сговорился по дороге с послами-боярами, а может, что еще хуже, — что-нибудь узнал о нем от отца своего Владимира?

— Так когда же велишь мне прийти? — только и нашелся что сказать Добрыня.

— Днесь, на рассвете, я велел собраться в Большой палате всем боярам, мужам, воеводам... Приходи и ты.

— Но ведь скоро рассвет... Когда же ты будешь спать, княже?

— В сем городе, — резко бросил Ярослав, — я уже не хочу спать.

8

На князя Владимира падают и падают удары судьбы: смерть сына Изяслава в Полоцке, измена Святополка в Турове, утрата жены, которую он любил и которая любила его больше всего на свете...

Владимир крепится, сносит эти удары, старается удерживать скипетр василевса; радуя о покое и ладе в землях, он берет Туров под свою руку, в Полоцк посылает сына Брячеслава, а в Ростово-Суздальскую землю, где сидел раньше Ярослав, старшего сына от царицы Анны Бориса, в Муром — ее второго сына Глеба, с ними, с согласия епископа Анастаса, посылает епископов Феодора и Илариона...

Но коли всколыхнется хоть одна волна, трудно сдержать все море — до Полоцка далеко, ходят слухи, будто неспокойно в тех землях, Туров совсем близко от Киева, а в городе, как и по всей Туровской земле, полыхают пожары, идет татьба, разбой, какие-то тайные отряды скрываются по лесам и чащам.

Хуже всего в Ростове и Муроме... Что приключилось с Ростово-Суздальской землей, исправно платившей дань, когда там сидел Ярослав, посылавшей людей для войска, покорявшейся Киеву? Князя Бориса земля отказывается принять. Не принимают и епископа Феодора.

Ростову следует Муром — муромчане не пустили князя Глеба на свою землю, а над епископом Иларионом еще и насмеялись, отрезали ему бороду, князь и епископ едва спаслись от смерти, бежав в город Чернигов. А теперь шлют гонцов к Владимиру, спрашивают, что делать?

Что делать? Легко сыновьям спрашивать, трудно ответить отцу-князю. Начинается осень, дороги в поле непроходимы, куда ни глянешь — распутица...

Однако страшна не распутица в поле, князь Владимир спрашивает самого себя и не знает, что делать. Шел он — и вдруг остановился, глядит, диву дается, что содеял?..

ГЛАВА ВТОРАЯ

1



Весной, когда вишни в приднепровских садах осыпало, точно снегом, цветами, в месяце травене скончалась царица Анна. Она долго хворала, должно быть, еще с тех пор, как приехала из Константинополя, только болезнь поначалу ничем себя не выявляла: очень худосочна, думали все, уж больно нежна...

В последние годы Анна все худела, стала кашлять, и вот, пролежав целую зиму в жару, весной, когда на Днепре тронулся лед, почувствовала себя совсем плохо.

К ней звали лучших врачей из Киева и других городов, но все они, поглядев на высохшее тело царицы и услышав ее страшный кашель, грустно покачивали головами. "Сухо-та, — говорили они, — одна надежда на Бога". Священни-

ки же тоже ничем помочь не могли, молились да велели уповать на Бога.

Бог не помог, царицы Анны не стало. Среди Десятинной церкви на невысоком помосте стоял сделанный лучшими древоделами, окованный серебром гроб. Повсюду: в обоих притворах, под сводами и в алтаре излучали яркий свет бесчисленные свечи, лампы, паникадила, стояли пахучие весенние цветы. Над покойницей дьяконы громко и неумолчно читали священные книги, на хорах время от времени звучали заупокойные молитвы. Священники правили погребальную службу, на горнем месте сидел епископ Анастас.

Десятинная церковь забита людьми до отказа, не протиснешься, — стоят внизу, в притворах, в сенях, полно и наверху, побаивались даже, как бы не рухнули стены.

Стояли, конечно, не как попало, а с отбором, кто был поближе к живым князьям, тому облегчался доступ к мертвой царице. У самого гроба князь Владимир с сыном Борисом. По обе стороны, сразу же за ними, мужи лучшие и нарочитые, воеводы, бояре, князья земель, которые находились в это время в Киеве, послы, гости.

Много было послов, гостей, всяких ромсеев, которые при жизни не отходили от царицы. В темных платнах, смуглые, с хищными глазами, они, точно вороны, стерегли свою царицу и здесь, в церкви, одновременно наблюдая за русскими людьми.

Стоя у гроба, князь Владимир долго смотрел на тело той, которая называлась его женой, царицей Руси. Она лежала худая, высохшая, среди розовых, желтых и сиреневых цветов виднелось лишь ее необычно бледное, обезображенное тенями смерти лицо.

“Что делает смерть?! — подумал князь. — Неужели это царица Анна?”

Потом он обвел взглядом церковь. Совсем близко от него недвижимо стоял Борис, а кругом, в сверкающих золотом и серебром ризах, священнослужители, за ними мужи, воеводы, бояре, совсем позади огнищане, тиуны, ябедники, мечники, жены.

И почему-то князю Владимиру стало страшно, показалось, что он видит кошмарный сон... Нет царицы Анны, но осталось то, что пришло с ней. Никогда Владимир не будет таким, как когда-то, никогда не будет такою, как в минувшие времена, и Русь...

Теперь возле князя Владимира не осталось никого из родных или близких, с кем он мог бы поделиться радостями

и печальми, посоветоваться, перекинуться по крайней мере искренним словом.

Как и следовало ожидать, епископ Анастас оказался единственным человеком, понимавшим горе, муки, отчаяние князя Владимира, и, надо сказать правду, единственным, кто денно и нощно не отходил от него, неизменно внимательный, искренний, близкий.

Они говорили о делах, о, как много было дел у князя Владимира, начинавшего чувствовать старость, а с ней и болезни, — в эти годы каждый человек видит далеко, хочет сделать многое, но может так мало, и от этого еще острее переживает неудачи, отчетливей сознает свою немощь, болезненней воспринимает обиды и не хочет, не может признать себя побежденным.

Епископ Анастас говорил с князем Владимиром про Русь, он видел много беспорядка в городах и землях и потону советовал князю поменьше взваливать дел на себя и побольше возлагать их на других.

Конечно, Анастас много говорил о священнослужителях, считал, что они должны помогать Владимиру и князьям-сыновьям, дабы они управляли, а священники служили им и судили людей.

Сетовал епископ и на то, что у многих священников нет ни дома, ни земли, что живут они плохо, на одни подаяния.

— Ты, княже Владимир, хорошо поступил, — твердил епископ, — что отдал мне, сиречь церкви Богородицы, десятую часть своих доходов, сам видишь, не себе беру, все отдаю церкви... Почему же ты, княже, так не печешься о прочих епископах и священниках, иже сидят в землях?.. Положи церковный устав, дай повсюду церкви десятину, а на духовенство возложи суд.

— Не могу брать десятины на церковь со всех земель, там суть свои князья... — ответил князь. — И суд в землях должны чинить князья, для того их и послал.

Нет, несмотря на болезни, недомогания, князь Владимир все-таки не хочет уступить церкви, думает управлять землями один...

Однако церковь делает свое дело, епископ Анастас не отходит от князя.

— Я хотел бы тебе поведать, княже, что в прошлую ночь священники нашей церкви видели над могилой княгини Ольги знамение...

— Какое знамение, епископ?

— Выйдя из церкви, когда было уже совсем темно, священники увидели над могилой княгини дивное сияние...

— Верно, кто-нибудь шел со светильником, — спокойно заметил князь.

— О нет, княже... Они сразу кинулись к могиле, но там никого не оказалось... безлюдье, ночь.

— А сияние?

— Сияние поднялось и поплыло к небу...

Князь Владимир ничего не сказал — он спешил в Золотую палату на совет с боярами. На том беседа с епископом о сиянии над могилой княгини Ольги и закончилась.

Но через несколько дней епископ снова завел речь о могиле Ольги, будто священники видели опять сияние и слышали в небе голоса.

Надвигался вечер. На столе горела свеча. Князь Владимир смотрел на епископа широко раскрытыми глазами, в них сквозила тревога, пожалуй, даже и страх.

— Скажи, епископ, что это?

Анастас выдержал его взгляд и ответил:

— В Византии и прочих землях суть множество святых... Еще умирает благочестивый и над его могилой Господь являет знамение и творит чудеса, значит, Бог указывает еще на одного святого. На горе Афон, где я учился и принимал постриг, мощи всех монахов спустя три года после их смерти выкапывают, кладут в кимитирий и ждут. Еще божественному провидению угодно прославить добродетельного, оно являет, со временем, на них чудеса.

— Значит, княгиня Ольга... — начал было князь и не кончил.

Епископ продолжал:

— Коль скоро есть святые в Риме, в Византии и прочих землях, то должны быть и на Руси: они украшение церквей, гордость державы, наши заступники на небесах.

Князю Владимиру стало страшно — с юных лет он помнил свою бабушку Ольгу, сердитую, черствую, знал от отца своего о ней всю правду. Это Ольга разлучила отца с его возлюбленной Малушей, отняла у матери ребенка, а у него, Владимира, мать, многие люди до сих пор еще вспоминают о ней, как о жестокой, бессердечной княгине.

Епископ Анастас словно угадывал мысли князя. Впрочем, он знал, что делает, он целил в душу Владимира.

— На земле все люди, как люди, но княгиня Ольга была первой на Руси христианкой. Она стоит наравне с апостолами, она — святая, княже Владимир, для Руси, для нашего дела это нужно.

И епископ добился своего — вскоре темной ночью гридни окружили Воздыхальницу, раскопали могилу княгини

Ольги, епископ со священниками раскрыли корсту, вынули кости, отнесли их в Десятинную церковь, в уже приготовленную серебряную раку.

— Богу угодно прославить княгиню Ольгу — мощи ее нетленны, — сказал Анастас.

После службы над ракой с мощами Ольги князь Владимир, шагая рядом с епископом Анастасом на Гору, долго молчал, а потом, остановившись, промолвил:

— Я бы хотел... одного бы я хотел на склоне лет, отче...

— Чего же? Скажи прямо, княже.

— Аще умру, дабы никто не видал, где похоронено мое тело.

— Зачем так говоришь, княже?

— Боюсь смерти, — пересохшими губами прошептал Владимир.

— А бессмертие?! Есть же бессмертие, княже Владимир, — ответил Анастас, но и в его голосе звучал страх.

Владимир смотрел на небо, висевшее над серыми стенами Горы, и молчал.

Спустя недолгое время епископ Анастас завел разговор о сыне Владимира Изяславе, умершем, будучи князем в Полоцке, и о сыне Изяслава Всеславе, который через год последовал за отцом.

Идут вести от епископа Стефана из города Полоцка: над могилами Изяслава и Всеслава творятся чудеса, Бог являет знамение.

— И они святые? — поглядев исподлобья на епископа, спросил Владимир.

— Кого Господь захочет, того и прославит, чем больше на Руси святых, княже, тем лучше...

Летописец пишет:

“Лета 6615 * перенесены Изяслав и Всеслав в город Киев, в святую Богородицу...”

Не отставала от церкви и Гора: слава князя — ее слава, честь Владимиру — честь и Горе.

В Золотой палате вспоминают давние походы, когда отбивали червенские города.

— Княже Владимир, — поднимаясь, говорят мужи нарочитые, прибывшие из города Волыни, — служим мы тебе верно, до самой смерти, пусть же ведают о том дети наши и внуки... Просим назвать город Волынь Владимиром.

* Лета 6615 — 1007 год нашей эры.

Глубоко в кресле своих отцов сидит, опираясь на поручни, князь, угрюмо смотрит на воевод, бояр, мужей. Теперь у него всегда хмурый вид, недоверие и хищный блеск в глазах.

— Быть Волыни-городу Владимиром... — звучат крики в палате.

Почему же так грустно, так тоскливо и больно Владимиру-князю?

И не день, не месяц, идут годы, все, кажется, стало на место, старое сгнуло, новое торжествует — отчего же печалиться Владимиру?

Пережитого вытравить из души невозможно. Если задуматься, вспомнить — сколько там несправедливостей, обид, горя. И все-таки, как ни больно, а Владимир со сладко щемящей печалью вспоминает все эти минувшие годы — вечера далекой юности в отчем тереме, как ходил на Перуново требище, как слушал колядки, или, как в ночь на Купала, одевшись в обычное платно, спускался к Почайне и прыгал через костры...

Новгород — а разве там не было радостей у князя Владимира, — он твердо сидел на столе в землях полунощных, мечтал о далеком Киеве, отце, матери, садах над Днпром!

И так во всем — прошлое отступило, его уже не было, но оно жило в душе старого князя Владимира, будило воспоминания, мечты.

Поздним вечером князь Владимир стоит на крыльце терема. Только что кончилась вечерня в Десятинной церкви, до рассвета там будет еще одна служба — завтра Рождество, новый праздник на Горе, князь будет веселиться вместе со всеми боярами и воеводами.

Но что это? У ворот Горы слышен топот множества ног, вот из-за стены выплывают десятки факелов, в морозной ночной тишине звенят оживленные голоса.

Когда не было начала света,
Не было земли и неба,
Земли и неба, а только море,
А среди моря да два дубочка...

Князь Владимир вспомнил песню... Эта ночь, ночь рождения Христа, была когда-то ночью Корочуна. В самую длинную на земле ночь люди хотели прийти на помощь доброму богу, спасти, выволить из небесных сводов доброе, теплое Солнце...

И тогда, чтобы не узнали и не покарала злые боги, женщины надевали одежды мужчин, а мужи женские платна,

закрывали лица скуратами и лаврами, собирались большими толпами на Горе, вокруг Перуна, бряцали мечами о щиты, стучали копьями, свистели в дудки, в свирели, кричали, зажигали и пускали по снегу обвязанное соломой и облитое смолою колесо.

А потом люди, победившие злых богов, шли к княжьему терему и запевали колядку.

...Там сели, упали два голубочка,
Два голубочка на два дубочка,
Стали совет держать,
Совет держать и ворковать,
Как нам мир основать...—

звучало все ближе и ближе.

— Несите меды, ол и орехи! — велит князь Владимир.

Вот песня звучит у самого крыльца, пылающие головни освещают скураты и лавры. Взволнованный князь Владимир стоит на крыльце, угощает, благодарит колядующих.

На Горе звенит, гремит песня:

Добрый вечер, славный княже,
Шедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье...

Из далекого прошлого всплывали добрые, приятные, радостные воспоминания.

Князю Владимиру пришлось потом выслушивать нарекания епископа Анастаса. Владыка был возмущен и сердит.

— Не ведаю, где живу, — говорил он князю Владимиру, завтракая с ним в тереме после заутрени. — Мы, княже, много содеяли, дабы русские люди стали христианами, соблюдали не языческие, а православные законы...

— Да разве не стала ныне Русь христианской? — искренне удивился князь Владимир.

— Где же христианство, ежели в Киеве и повсюду множество людей молится не в церкви, а у реки, в рощах, дубравах.

— Важно, — ответил Владимир, — не где, а кому молятся. Люди Руси днесь молятся Христу.

— Но они прыгают через костры в ночь языческого Купала?!

— Ныне это ночь не Купала, а Иоанна Крестителя, — улыбнувшись, заметил Владимир.

— И в Сварога они верят...

— Не в Сварога, а в Илью, ведь мы же сами с тобой, епископ, договорились.

— А бог Волос?

— Бога Волоса больше нет, стадам покровительствует ныне святой Власий.

— А эти колядки на Рождество Христово? Два голубочка на двух дубочках советуются, как им мир основать?!

Князь Владимир, повернувшись внезапно к епископу, спросил:

— Тогда скажи, отче, кто же основал мир?

— Как кто? Токмо Бог, единый в трех лицах: Бог отец, Бог сын, Бог дух святой.

Опершись руками на стол, князь Владимир задумался.

— Вчера вечером, — тихо промолвил он, — я слушал эти колядки. Хорошо пели, душа радовалась... "Когда не было начала света..." А что же тут такого, епископ? И два дубочка, да еще синее море, ах, до чего хорошо, епископ.

Глядя на серебристыми узорами расписанные морозом окна, князь Владимир шептал слова колядки:

Спустимся на дно моря,
Принесем оттуда мелкого песку,
Мелкого песку, синего камня,
Из мелкого песка — черная земляница,
Студеная водица, зеленая травица,
Из синего камня — высокое небо.

Увидев, что епископ хватается за голову, он закончил:

— Не пугайся, отче! Верю, как велит сердце. Такова она, Русь, таковы все ее люди. Будем вкушати!..

Ключница Амма, совсем уже старенькая, согнувшаяся, подала кутью и у́звар, приготовила сыту — это была древняя, как мир, еда пращуров дома и всех живых, ныне существующих. Епископ Анастас, не зная этого, наелся до отвала.

2

Князь Владимир пожалел Святополка, не покарал его за измену отечеству в надежде, что тот образумится, искупит свой грех.

Но есть грехи, которых нельзя искупить, кто предал отечество — никогда уже не будет его верным сыном, кто проклял отца — станет вовек окаяннным...

Святополк жил за воротами Горы, в тереме, когда-то построенном княгиней Ольгой, с женой Мариной и многочисленной дворней, прибывшей вслед за ним из Турова.

Не было с ним лишь епископа Рейнберна: заядлый католик, вернейший, казалось бы, слуга римского папы, когда воеводы Горы стали пытать водой и железом, отступился первым, первым рассказал всю правду о измене Святополка, отрекся от него и поклялся, если удастся вырваться, никогда на Русь не соваться.

Но не пришлось — слишком преклонный возраст был у епископа калобрезского Рейнберна, благовестника папы, слишком поздно, с крестом в руках, взялся епископ за оружие, — так в киевском порубе он и умер, ночью высохшее тело чужестранца киевляне положили на сани, вывезли далеко за город и закопали в глухом буераке.

Князь Владимир часто справлялся, что делает Святополк, но позволить ему жить рядом, на Горе, не мог — трудно было бы сыну Юлии, еще трудней — ему самому; не веря Святополку, князь не мог позволить ему и выехать из Киева; Владимир надеялся, что спустя какое-то время Святополк придет к нему.

Этого не случилось. Как-то утром, когда князь Владимир, рано поднявшись, спустился в сени и с несколькими воеводами и боярами направлялся в трапезную завтракать, воевода Волчий Хвост, шагая рядом, прошептал:

— Недобрые вести, княже!

— Говори!

— Из Ольгиного терема убежал князь Святополк.

— Может, на ловы поехал, в поле?

— По твоему наказу я внимательно следил за князем, три дня искал его в лесу и в поле и наконец узнал, что он с небольшой дружиной ночью тайно выехал в Белгород и далее по Червенскому гостинцу.

— Но ведь это путь в Польшу?

— Так, княже!

— А жена его, Марина?

— И ее нету...

Воеводы и бояре уже дошли до конца переходов и ждали князя у двери трапезной.

Князь Владимир понял, что произошло, — Святополк изменил ему еще раз, теперь уже окончательно, до смерти.

— Повелеваю, — зашептал Владимир, — взять большую дружину, гнаться за Святополком, искать его повсюду...

— А коли поймает? — Воевода Волчий Хвост стоял перед князем и глядел ему прямо в глаза в ожидании сурового ответа.

— Тогда, в поруб... навеки!

— Добро, княже, — ответил воевода, поклонился и вышел через сени во двор выполнять веление князя: сразу же собрать дружину и мчаться на запад, ловить князя Святополка.

В тот же день воевода Волчий Хвост с дружиной выехал в Белгород, заночевав там, поутру велел своему сотенному Круче схать с дружиной в город Владимир, где у воеводы был свой двор, передать огнищанину Паську грамоту, потом вернуться в Белгород и ждать его наказа.

Сотенный Круча, правая рука воеводы, повел дружину на запад. На Червенском гостинце долго курилось желтое облачко пыли, поднимаемое копытами коней, наконец оно исчезло, словно растаяло в голубой дымке.

Тогда воевода Волчий Хвост, оставшись один далеко от стен Белгорода, повернул коня направо, помчался по широкой долине Ирпеня и скоро углубился в густой, вековой лес, тянувшийся до самого Днепра.

К вечеру он очутился в Вышгороде, древней крепости. Встарь она принимала вражеские удары с севера, а ныне заросла лопухами да бурьяном и стояла, точно черное пугало, над Днестром, не слыша человеческого голоса.

Но что это? Едва лишь воевода Волчий Хвост приблизился к Вышгороду, как на стенах крепости появилось несколько воинов, приглядевшись, они окликнули воеводу, отперли и снова заперли за ним ворота.

Волчий Хвост ужинал наедине со Святополком в палате, которая выходила к Днепру, — здесь когда-то жили несколько дней Рогнеда и князь Владимир.

В палате никого не было — до того, как туда вошли Волчий Хвост и Святополк, дворяне накрыли на стол и удалились, они, видимо, и не знали, для кого готовили ужин.

— Говоришь, ищет меня Владимир? — спросил Святополк.

— Повсюду ищет, послал во все концы, велел, ежели поймает, бросить в поруб навеки.

— Что ж, — Святополк засмеялся, — я в вашей боярской власти...

— Не шути, княже, — сказал Волчий Хвост. — Не за тем сюда ехал.

Усевшись за стол, они выпили.

— Не хотели мы когда-то принимать робиича, — очень тихо, но явно сдерживаясь, начал Волчий Хвост, — кровь проливали под знаменем твоего отца. Погиб Ярополк, служили Владимиру, думали, примет христианство, будет полным владетелем всей Руси, а подле него станем мы...

— А разве он не свершил сего? Выпей, Волчий Хвост!

— Выпил и выпью, но не пьян я, говорю то, что хочет Гора... Владимир делал все как надо, крестился сам, крестил Русь, взял у императоров корону, василевсом был наш князь.

— Слушай, Волчий Хвост, он и днесь василевс.

— Нет, — сразу же возразил воевода. — Он был сильным, могучим, истинным василевсом, но обессилел, заколебался, ныне он уже не тот, что раньше.

— Говори правду, воевода!

— А что мне таиться? — зло бросил Волчий Хвост. — Размахнулся Владимир широко, изо всей мочи, повалил старое дерево, только гул пошел... Едина Русь, василевс, а возле него мы, церковь... Однако нас он не спросил, не посоветовался, а роздал земли сыновьям, землям дал волю и право, только про нас, про Гору, забыл...

Прищурившись, Святополк пристально смотрел на опьяневшего воеводу — сам он был трезв и о чем-то думал.

— И сыновья его уже закопошились. Ярослав, как нам ведомо, едет к свионам, намеревается идти против Киева, Мстислав Тмутараканский — Владимир и этого не знает — собирает рать, Ростов и Муром выгнали его сыновей, Туровская земля без князя... Что поделаешь, дал волю землям, вот василевса и нет, нет единой земли...

— Но у Владимира, — возразил Святополк, — есть дружина, он может созвать земское войско.

— Что дружина и земское войско? — сказал Волчий Хвост. — Мы его дружина и войско, мы были его мечом и крестом... Однако днесь... бороться со всеми его сыновьями? Нет, не хотим и не можем.

— Византия! — выкрикнул одно только слово Святополк.

Волчий Хвост захохотал во все горло.

— Византия... Ох-хо-хо! Ха-ха-ха! У Византии Владимир взял все, что мог, — корону и жену... А что может она еще дать? Греческий огонь? Войско? Нет, императоры ромеев ничего не дадут, они и сами бы не прочь урвать что-нибудь у Руси... Да и сам Владимир их боится, небось не берет митрополита... Мы, княже Святополк, не ссоримся с Византией, однако и не полагаемся на нее, нам нужна сила.

Святополк смотрел теперь в окно, где виднелись Днепр и Десна.

— А Днепр катит, катит, — промолвил он.

— Так, Днепр катит, а жизнь течет, течет, — подхватил Волчий Хвост. — Скажи, княже, — спросил он вдруг, — а есть ли у тебя надежная опора?

— Опора князя — Гора, вы, — лукаво ответил Святополк.

— Мы не хотим иметь князем робичича, каков он, таковы и дети... Быть тебе василевсом — сыну Ярополка и царевны. Но Гора хочет услышать и твое слово...

— Польский князь Болеслав даст мне в помощь лучшее свое войско, а буде надобь, королю поможет германский император Генрих, таково мое слово.

— Ты договорился с ними твердо, княже?

— Болеслав мой тесть, ради славы Руси и моей все сделает.

— И ты, княже, нас не забудешь — без Горы ничего не сделаешь?

— Где вы, там и я — так Горе и скажи.

— Мы знаем, верим тебе, княже... Помни и о том, что днесь мы, православные христиане, латинской церкви не хотим, молимся русскими словами.

— Папа римский благословит нас, церковь же и епископов будете иметь своих. Анастас согласится, воевода?

— Подумаем, княже... Гляди, как вдруг потемнел Днепр.

За окном были видны Днепр и Десна, вдали мерцало несколько огней на горах киевских.

Воевода Волчий Хвост вернулся в Киев днем через десять и направился прямо в терем Владимира. Он не узнал князя, за это время он как-то странно изменился; отдавая земной поклон, воевода увидел острые скулы, совсем поседевшие усы и длинный чуб и горящие, словно в лихорадке, глаза...

— Что привез, воевода?

— Его нет, княже. Искал Святополка во всех городах западней Києва, дошел до самых украин нашей земли, однако никто нигде не видел ни его, ни дружины.

Желтым светом горели свечи. Владимир тревожным взглядом окидывал стены, иконы, темные лики святых. За стеной терема было слышно завывание ветра.

3

А еще через несколько дней, ночью с левого берега Днепра примчался с дружиной переяславский тысяцкий Кучма и тотчас разбудил воеводу.

Рано утром Волчий Хвост с тысяцким явился к князю Владимиру.

— Страшные вести, княже! Вдоль Псла и Сулы появились печенег. С ними идут еще не виданные в нашем поле орды, земля дрожит под копытами коней...

Случись это раньше, как бывало не раз, князь Владимир, не колеблясь и не медля ни минуты, велел бы седлать коней, под знаменем повел бы рать на печенегов и разбил, разметал, рассеял бы их по широкому полю.

Ныне это был уже не тот князь Владимир: сомнения, колебания, отчаяние терзали его, он боролся, но неумолимый страх, точно змея, вполз к нему в душу.

Владимир боялся прежде всего Горы — его окружали не те бояре и воеводы, на которых он полагался раньше. Они вымогают у него то, что он не может дать, они хотят властвовать над всей землей, чего Владимир не желает допустить.

Сыновья! Он любил их, надеялся, что они его поддержат. Покуда все они жили в Киеве, на Горе — это была воистину единая сильная семья, он — глава рода, старейшина княжеской семьи, они — покорные, послушные сыновья. И когда Владимир, раздав сыновьям города и земли, посылал их на княжение, то надеялся, что семья охватит и укрепит всю Русь.

Получилось не так. Сначала неясно, но чем далее, тем отчетливее князь Владимир чувствовал, что, став князьями земель, сыновья отходят от него все дальше и дальше, замечал, что они враждуют и между собой.

Была у князя Владимира дочь Предслава, походившая на свою мать, Рогнеду. Годы текли за годами, Предслава созрела, возмужала, превратилась в красавицу, — такой была Рогнеда в городе Полоцке, когда перед ней преклоняли колена князья и смелые викинги севера.

Знал Владимир еще одно: невзирая на боль, обиду, стараясь их позабыть, красавица Предслава любила отца, жалела его, за всю свою жизнь не сказала злой речи — она была такой же, как мать. Ее большая любовь умела все прощать...

Но за долгие годы Владимир не сказал ей ласкового слова, не позаботился о ее судьбе, только раз, вернувшись из похода, привез ей зеленое монисто из Тмутаракани.

Нет, не только сыновей не стало у Владимира, но и дочери. Встречая Предсладу, он опускал глаза и не глядя проходил мимо. Горе? Да, большое, но неизбежное, непоправимое горе Владимира-князя.

И, уже чувствуя слабость, болезни, раздумывая о том неумолимом страшном часе, после которого кончается все на свете, князь Владимир помышлял о том, кто после него унаследует киевский стол, кто сможет закончить начатое им дело.

Так обдумывая и вспоминая все, что пришлось ему пережить, будучи сыном робы, он решил, что сесть на княжеский стол должен тот, кто достоин короны василевса в глазах императоров Византии и Германии, не Ярослав и Мстислав — старшие сыновья, а Борис — сын василиссы Анны. Вот почему Владимир после смерти Анны больше не отпускал Бориса из Киева и держал при себе.

Услыхав о печенегах, князь позвал Бориса к себе.

— Сын мой, Борис, — начал Владимир, — ты моя надежда и радость, опора и преемник! Днесь, когда я немощен и хотел бы видеть тебя возле себя, токмо на тя полагаюсь. Но что делать — на Киев идут орды печенегов, уже, как докладывает стража поля, они стоят на Псле, Суле, по всему Сейму. Вести рать мне, но кто останется в городе Киеве?! Боярству своему ныне не верю, где-то кует против меня заговор Святополк... Пойду на рать — чую смуту в городе Киеве, боюсь за стол отца моего, чую измену и кровь... Потому решаю так... Я останусь в городе Киеве, а тебя посылаю на печенегов. Воевода Волчий Хвост уже готовит дружину, вместе с тобой идет переяславский тысяцкий Кучма, поезжай, ищи и бей печенегов, я буду тебя ждать...

Бледный, без кровинки в лице стоял князь Борис перед князем Владимиром.

— Не тревожься, отче, — сказал он, — я стану во главе дружины, поведу ее на печенегов, с победой вернусь и тем приумножу славу твою и киевского стола.

— Спасибо, сын! — ласково, от всего сердца промолвил князь Владимир, — Подойди, хочу благословить тебя перед далекой дорогой...

Князь Борис склонил голову, отец благословил его и прижался щекой к его белокурой голове.

Воевода Волчий Хвост быстро собрал дружину для князя Бориса, это были, собственно, все воины, охранявшие Гору и город Киев. Вместе с Борисом ехал тысяцкий Кучма, он отлично знал все дороги в поле за Днепром.

Снаряжая Кучму, который на Горе был гостем в его доме, Волчий Хвост наставлял:

— Ты поезжай, тысяцкий, с князем Борисом за Удай, Сулу, Псел, подальше от Киева.

— Поведу его до самого Донца, пусть гуляст князь.

— Заведи его подальше от Киева... Сейчас он тут не нужен.

Тысяцкий Кучма, невысокий, совсем лысый человек, засмеялся, показав три длинных зуба на верхней челюсти и один, похожий на крюк, на нижней.

— Хотел бы я видеть, что делал бы Борис, кабы в самом деле увидел печенега? Хворый, в чем только душа держится, хоть сейчас на икону!

— Вот такой ныне Владимир — одни глаза остались, а душа... нет, душа его уже мертва...

4

Над Новгородом висели тяжелые, свинцовые тучи.

Невыносимо медленно, точно сквозь густое сито, светало. С неба моросил мелкий дождь, переходивший порой в мокрые хлопья снега, вокруг — и на концах новгородских, и над Ильменем — клубился туман.

Время от времени среди этой мокропогодицы доносился топот коней, стук колес по деревянным мосткам, приглушенно звучали людские голоса.

Тихо было только на двореще Добрыни-любечанина. Впрочем, какое двореще? Накануне тут высился терем, теснились клетки, всякие службы, рядами стояли возы и сани, ржали кони, ревел скот, а когда Добрынины петухи начинали поутру петь, их слышно было за Ильмень-озером... А слуг, сколько было на двореще слуг у Добрыни! Большой двор — много дела.

И вот ничего нет. Добрыня сидит на пне, поднимает то и дело голову, оглядывает двореще, и стон вырывается из его груди.

Вид Добрыни страшен: с непокрытой головой, весь всклокоченный, в бороде и усах солома, щепки, глаза вытаращены, на лбу ссадины, на правой щеке запекшаяся кровь.

И не диво: было у Добрыни двореще — и вот ничего нет, от терема остались одни головни да пепел, что присыпает теперь дождем, возы и сани изломаны, коней и скота в конюшнях и хлевах нет, перепуганные куры и петухи разлетелись, удрал со двора даже пес Баян... Нету ничего, ничего у Добрыни...

Он снова поднимает голову и долго, бессмысленно, тупо смотрит на мертвую Руту, которая лежит перед ним с не-

бычайно бледным лицом, закрытыми глазами, вытянув вдоль тела руки...

— Рута, — говорит он, — Ведь ничего, ничего нет...

Да, теперь у него ничего нет, и его самого тоже нет. Вчера только — воевода, посадник великого князя киевского в Новгороде, все ему кланялись, уважали, а сегодня сидит Добрыня среди пожарища и разорения. Вон в тумане по мосткам тарахтят колеса, слышны голоса, мимо распахнутых настежь ворот идут мужи новгородские, но никто не только не кланяется, даже и не глядит на Добрыню... Что же случилось, кто он ныне?

Добрыня поднимает голову и смотрит куда-то вперед, но ничего не видит, перед глазами мелькают картины далекого прошлого, его душа, сердце, мозг разрываются от напряжения, несказанной боли.

Вот, Добрыня, был ты когда-то внуком славного рода старейшины Анта, сыном бедного любечанина Микулы, но не пожелал ты бороться ни за славу деда, ни за лучшую долю бедняка отца, а пошел ты в город Киев строить собственную жизнь, а коли помогут боги, обрести свою, собственную славу.

Впрочем, о славе в то время он, пожалуй, не помышлял. Где уж гоняться за славой простому гридню, который, по велению князя, шел в широкое поле на смерть... Пей, гридень, веселись, сегодня жив, здоров, а завтра, кто знает, может, ворон закаркает над тобой... Нет, не до славы было гридню Добрыне!

Оказалось, однако, что слава ходила совсем рядом, полюбился он княжичу Святославу, и тот сделал его сотенным. Когда же княжич полюбил Малушу, то стал ему Добрыня подлинным помощником и другом. Малуше, хоть она и родила от Святослава сына, Владимира, не посчастливилось: сына отобрали, сама она где-то затерялась в этом большом мире, а вот Добрыне повезло: друг-наперсник Святослава стал воеводой, воем юного Владимира, а там и посадником киевского князя в Великом Новгороде.

Куда же ему податься теперь, куда?! Оставаться в Новгороде нельзя — вчера новгородцы сожгли его дворище, а сегодня, чего доброго, погубят и душу. Добиваться к Ярославу нечего и думать, и ранее князь был единодушен с новгородцами, а сейчас тем паче поддержит только их; идти в Киев к князю Владимиру — нет, и князь Владимир, и бояре, и воеводы его — вся Гора не примет нищего, битого новгородского воеводу... И домой, в Любеч, все пути отрезаны, давно

отрекся он от деда своего, старейшины Аята, отца Микулы — нет, и в Любече его никто не примет.

А уходить все равно надо. Прячась от людей, Добрыня отыскал на скале заступ, выкопал в конце двора на склоне к Ильменю неглубокую яму, принес и опустил туда мертвую Руту, прикрыл ее тело какой-то ветошью, зарыл и долго сидел у холмика свежего зернистого песка.

Вечером Добрыня вышел со двора, теперь уж больше ему не принадлежавшего. Прощаясь с тем местом, где он прожил столько лет, Добрыня долго ходил по пожарищу в надежде что-нибудь найти и взять с собой. Но что было взять — люди и огонь уничтожили все, что у него было.

Стоя среди пепелища, Добрыня вдруг увидел ржавый гвоздь-крутень, каким прибивают двери и окна. Он поднял этот гвоздь и сунул в карман.

Когда Добрыня покинул свое дворище, уже стемнело. Впрочем, он этого и хотел, в сумерках никто его не узнает. Глубоко надвинув на лоб шапку, подняв воротник, с палкой в руках, он прокрался по своей улице над Волховом, вышел за город и зашагал по дороге, которая вилась на юг.

Вдруг, услышав позади шум, Добрыня остановился и с испугом обернулся. Взяв в правую руку гвоздь-крутень, он смотрел на дорогу, по которой катилось что-то черное. Однако пустить в ход гвоздь-крутень не пришлось — Добрыню догонял Баян.

Несказанно обрадовавшись, Добрыня присел на дороге, когда Баян лизнул его в щеку, даже успокоился.

— Пес ты, и пес теперь я! — тяжело вздохнув, промолвил Добрыня. — Жизнь, вот что делает жизнь. Пойдем вместе, Баян!

5

Обычно в это время в город Киев привозили по уставу дань от Мстислава из далекой Тмутаракани, от Святослава из Выручая, от Всеволода, что сидел в червенских городах, от Судислава из Пскова, а из Новгорода от Ярослава.

Однако ныне с княжьей данью было худо — гривны прислали в Киев лишь Святослав, Всеволод и Судислав; Мстислав почему-то медлил, гонцы его в Киев еще не явились, Муром и Ростов, не принявшие Бориса и Глеба, отмалчивались, город Туров тоже без князя.

Хуже всего было с Новгородом. Князь тиуны и емцы, ездившие принимать дань, вернулись на порожних лодиях с дурными вестями и хотели говорить только с князем.

Тиунов привели в Людскую палату. Вскоре вошел и князь. Вид у него был болезненный, целую неделю он пролежал, жалуясь на боли в сердце, и только потому, что тиуны настаивали рассказать о своем путешествии князю, он встал и, опираясь на посох, явился в палату...

— Что скажете? — спросил он тиунов, которые встретили его низкими поклонами.

Они молчали.

— Чего молчите? — раздражаясь, повысил голос князь.

— Не смеем и говорить, — ответил тиун княжьего двора Горен. — Невеселые вести мы привезли, княже...

— Что? Уж не свионы?

— Нет, княже, хуже, князь Ярослав велел нам тебе передать, что отныне Новгород платить дани не будет...

— Это сказал Ярослав, мой сын?

— Так, княже, Ярослав, твой сын...

Это был, видимо, самый тяжелый удар, обрушившийся на князя Владимира. За краткими и скупыми словами тиунов о дани он слышал более значительное, более страшное.

Далекий Новгород! Там прошла вся юность князя Владимира, там он жил душа в душу с боярами, воеводами, могучим новгородским вечем...

Родной Новгород! Ты поил и кормил сына Святослава Владимира и при его посредстве утверждал единство с городом Киевом, а значит, и всей Русью...

Новгород, Новгород, ты поднялся, ударил в колокол, когда пришла весть об измене князя Ярополка, стал под знамя Владимира, дабы идти на Киев, оборонять Русь, а за тобой двинулись все полунощные земли.

Что же с тобой, Новгород, случилось, коли ты в сей тяжкий, может, самый тяжкий для Руси час отрекся от города Киева, отказываешься давать ему дань, не хочешь говорить с твоим питомцем Владимиром-князем?

Нет, не Новгород, всколыхнулась Русь, ее люди, князь Владимир объединил Русь, но и вынянчил, вырастил силы, разрывающие ее в клочья...

После долгого молчания он промолвил:

— Требите пути, мостите мосты... Иду на Ярослава, сына своего...

Но что случилось с князем? Произнеся эти слова, он побледнел как полотно, вздрогнул, схватился руками за

грудь, из уст вырвался крик, хрипение, бояре, стоявшие рядом, едва успели подхватить князя...

— Умер князь! — пронеслось по палате. — О, горе, горе русским людям! Умер князь!

6

Князь Владимир не умер. Несколько ночей и дней боролось его тело со смертью, он лежал неподвижно, от страшной сердечной боли у него каменели, холодели руки и ноги, временами князь терял сознание, однако жизнь на сей раз победила; в теле князя нашлись еще силы, могучее сердце выдержало страшный удар. Через неделю он сел, еще через неделю он встал и сделал несколько шагов, а там уж прошел по терему...

И было еще одно, что заставляло его бороться за жизнь, победить болезнь, — князь Владимир хотел жить во что бы то ни стало, он понимал, что в этот решающий час не смеет уйти из жизни, князь хотел закончить им начатое... Жить, бороться, побеждать и жить!

Оставив Гору, Владимир поселился в своем тереме Берестовом...

Что влекло его в этот терем, стоявший далеко за городом, на высокой круче над Днепром, среди лесов, чащ, пущи?

Трудно разгадать порывы человеческой души. Еще трудней сказать, почему князь Владимир в этот напряженный и решительный час бежит от мира и поселяется в Берестовом. Может быть, он не хотел видеть суетной, изменчивой, коварной Горы; может, не мог и боялся жить в тереме, где изведаль столько горя, неправды, обид, где в сенях на каменном полу запеклась навеки кровь Ярополка; может, здесь, под охраной дружины, он хотел укрыться от Святополка; может, наконец, его, больного и слабого, манила тишина и покой Берестового?..

Удивляет еще одно. В тихие светлицы Берестовского терема Владимир велит перенести убранные много лет назад из Золотой палаты боевые доспехи древних князей, а меч и щит отца своего Святослава, поцеловав, вешает на стену опочивальни.

Владимир не сдастся, он еще борется. От Берестового к городу и обратно мчатся бесконечные гонцы, днем и ночью едут бояре и воеводы — князь следит, как собирается воинство для рати с Ярославом, ему ведомо, где рыскает в поле

князь Борис, и, поскольку прошло много времени, а печенегов не было, князь велит Борису возвращаться в Киев и нетерпеливо его ждет.

Видимо, князь слишком много трудился — в начале месяца червения, спускаясь с терема, он упал и два дня лежал без сознания, потом поднялся, но что-то случилось с левой рукой — перестала слушаться, стала вялой, точно мертвой, да еще каждый вечер бешено билось сердце, сводило ноги...

Стояла душная, грозовая ночь 15 червения лета 1015-го, канун Перунова дня. Весь день палил зной, стояла мертвая тишина, безветрие, нечем было дышать.

Вечером над Киевскими горами появилось белесоватое облако, оно повисло в небе и сияло, отливалось, сверкало, точно золотая корона. Когда же солнце зашло за Щекавицу, облако потемнело и быстро расплзлось над горами, долиной, Днепром.

И все-таки было душно, тишина стала нестерпимой, казалось, достаточно высечь огнивом искру, как все вспыхнет... И люди в самом деле боялись зажигать огни — в такую сушь пожар испепелит деревянный город. Вскоре Гора, предградье, Подол совсем потонули во мраке.

Однако если люди на земле остерегались огня, то искра эта, видимо, родилась в небе среди высоких туч — и над Киевом уже поздно ночью разразилась гроза, молнии раз за разом ударяли в землю, поднялся страшный грохот и треск, но с туч не сорвалась ни одна капля, стояла такая же духота и сушь.

На ложе в Берестовском тереме лежал и слушал эту грозу князь Владимир. В его просторной светлице тускло мерцали две свечи, в полутьме виднелись стол, стулья возле него да широкое ложе.

Когда же за окном сверкала молния и ослепительный, зеленоватый свет наполнял светлицу, на стене вырисовывался щит и меч Святослава, в углу — суровый лик Христа, из темноты показалось лицо князя Владимира, его тревожный, лихорадочный взгляд, капельки пота на лбу, пересохшие губы и стиснутые в кулаки пальцы рук, лежавших на одеяле.

Князь очень страдал — в груди его раз за разом, точно буря в небе, начинало биться и нестерпимо болеть сердце, а когда его удары затихали, князю казалось, что наступает последняя минута.

Но более всего болела душа князя. Чувствуя, что на него снова надвигается и, может, сметет с земли на сей раз по-

следняя волна, он упорно думал, старался вспомнить, что же еще можно и нужно обязательно сделать...

— Воевода Волчий Хвост тут? — спросил он у дворян, которые тихо то входили, то выходили из палаты.

— Тут, княже...

— Пусть войдет!

Воевода Волчий Хвост был, видимо, где-то близко, потому что тотчас остановился, склонив голову, у княжьего ложа.

— Я тут, княже... Ты меня звал...

— Так, звал... Чего стоишь, сядь, воевода, и пусть все выйдут...

— Тут никого нет...

— Добро... слушай, воевода...

Волчий Хвост еще ниже склонился к князю.

— Воевода, — сказал Владимир. — Ты всю жизнь был мне верным слугою и днесь полагаюсь на тя...

— Мой княже! — только и сказал Волчий Хвост.

— Помнишь, — начал вспоминать князь Владимир, — как ходили мы на радимичей и стояли над Пищаной. Тогда я послал тебя вперед, и побежали они, а я сказал: радимичи от волчьего хвоста бегут...

— Ты послал меня вперед, но впереди шла слава Володи-мира-князя. Победил ты...

— Да разве только радимичи. — Князь Владимир немного успокоился, стал дышать ровнее. — Помнишь, как ходили мы на вятичей, черных булгар?

— Велика твоя слава, княже Владимир, в тяжкую годину ты собрал и устроил Русь...

— Велика и твоя слава, — сказал в ответ на это Владимир, — заие в многотрудную годину полагаюсь на тя...

— Говори, княже, все сделаю по твоему слову.

— Видишь меня, немощего, воевода, и уж не ведаю я, даст ли мне бог еще пожить или покличет к себе. Потому тревожусь за Русь: покуда живу, твердо стоит киевский стол, не станет меня — чую вражду между землями и сыновьями... Скажу тебе правду, воевода, не на всех сыновей полагаюсь, есть среди них лишь один, который защитит честь и славу киевского стола, спасет Русь...

— О ком говоришь, княже?

— О сыне Борисе... Он будет первым после меня... Слышишь, воевода?

— Слышу, княже, и скажу: справедливо ты рассудил: Борис князь иад князьями. Но ты давно уже велел послать к

нему гонцов, и я выполнил твой наказ, князь Борис не сегодня-завтра будет в Киеве...

— Беспокоюсь я. Дни идут, а Бориса нет, повелеваю тебе, воевода: возьми дружину, поезжай в поле, отыщи Бориса и верни его в Киев...

— Завтра выеду, княже...

— А о Святополке ничего не слышать?

— Нет! Он, видимо, далеко, в Польше, да руки у него коротки...

— А Новгород молчит?

— Молчит... Этим летом лодии Ярослава Волока уже не пройдут.

— Ну, ступай! Поезжай в город, отдохни. Может, сейчас и я засну, воевода...

— Сделаю, как велишь. — Воевода поклонился. — Прощай, княже!

— Прощай, воевода! И поезжай, ищи князя Бориса...

Спал он или не спал? Князь проснулся, открыл глаза и увидел в раскрытых дверях темные очертания человека.

— Кто там? — спросил Владимир.

— Епископ Анастас, княже...

— Зачем же ты пришел? Разве можно тебе, старику, ходить в такую непогоду?

— Я услышал, что тебе тяжело, вот и пришел...

— Ты прав, отче, в эту ночь мне почему-то так тяжело, как никогда... Иди, епископ, посиди возле меня...

Епископ приблизился к ложу и опустился в низкое кресло.

— А почему тебе тяжело, княже? — ласково начал он.

— Не знаю, что и ответить.

— Скажи, как велит душа, и тебе легче станет...

Князь Владимир, глядя на огонек свечи, подумал и начал:

— Мне кажется, будто я долго, крепко спал и вдруг проснулся... Много, ох как много минуло лет, однако днесь вижу старей, былой мир, отца своего Святослава, идолов на горах, древние города и веси — все такое родное, близкое, но как далеко, далеко все ныне... И вижу еще, отче, вот тут, за окном — новые города и веси, лик Христа, новых людей. Кто все это содейл?

— Ты, княже Владимир, — василевс Руси.

— Боже, боже! — вырвалось у Владимира, — Неужто же я все это содеял, уничтожил старый закон и покон, насадил древо иовой жизни?

— Ты, княже! — уверенно подтвердил Анастас.

— Так почему же мне страшно, очень страшно, отче?

Владимир умолк. Сверкнула молния, озаряя все за окном и в светлице, загремел гром. Анастас увидел искаженное страхом лицо князя, широко раскрытые глаза, седые усы, почерневший рот... Перекрестившись сам, он истово перекрестил и князя...

В наступившей полутьме епископ повел речь:

— Я внимательно все выслушал и хочу успокоить тебя, княже... К чему тревожить сердце и душу? Ты сказал правду: был старый мир, закон и покой отцов твоих, всему тому надлежало умереть, и оно умерло навек, княже... Ты сказал правду и о том, что на смену старого мира пришел мир иной, иовый, только напрасно ты ужасаешься сему новому миру. Он должен был возникнуть, он существует. Верь мне, грядущие люди помянут добрым словом тех, кто это сделал, а Бог уже благословил их... Но в сем бренном житии нужно, чтобы кто-нибудь вел людей, и перст провидения назначил тебя, княже, ты и токмо ты содеял то, что было угодно Господу, ныне ты снискал любовь всех земель...

— Нет, епископ, жажду лишь правды, любви же не имал и не имаю.

— О какой любви ты глаголешь, княже?

Владимир задумался, видимо, колеблясь, открыть ли свои мысли епископу.

— Нет мира в землях, земли меня не слушают, послал туда сыновей, но нет у них любви ко мне.

— Успокойся, княже, содеянное тобой даст плод позднее, наступит в землях мир, сыновья твои еще подопрут тебя, денно и ночью о тебе молится церковь...

Епископ умолк.

— Ты недоговариваешь чего-то, Анастас?

— Я скажу об этом не теперь...

— А почему?

— Церковь и князь суть едины, каждому из них свое... Верь мне, аще учинишь церковный закон, дашь церкви десятину со всех земель, позволишь чинить ей суд, — мы с тобой все преодолеем, княже.

— Ты говорил уже мне об этом, епископ, не могу так сделать...

— Княже! Ты не мог сделать раньше, однако всему свой час... Кто же сделает это, кроме тебя?

Владимир бросил испуганный взгляд на епископа... Почему Анастас так сказал, на что он намекает — неужели скоро конец, смерть?

— Ты должен и будешь еще долго-долго жить, — словно угадывая его мысли, добавил епископ, — о том молится и всегда будет молиться церковь. И мы с тобой, княже, еще долго будем собирать десятину и чинить суд...

— Устав церковный с тобой? — сухо спросил Владимир.

— Бог велел мне взять его с собою...

— Дай сюда!

Епископ положил перед князем написанный на пергаменте церковный устав, и Владимир, сев на ложе, долго читал написанные рукой Анастаса строки.

— ...дах десятину по всей земли Русской, от всякого княжья суда десятая векша, а из торгу десятая неделя...

Княжья рука вздрогнула.

— Погоди, епископ... Ты пишешь: "и от домов на всякое лето десятину от всякого стада, и от всякого животного..." Такая десятина?

Епископ ответил сурово и холодно:

— Десятина должна быть только такой, ибо церковь молится и за князя и за смерда...

— Страшно. Десятина со всей Руси на церковь... Ох, как страшно, — вырвалось у князя.

— Так нужно, — процедил епископ.

— "...а по сему не вступатись ни детям моим, ни внукам, ни всякому роду моему во вся лета ни в люди церковные, ни в суды их..." Епископ Анастас, зачем принес ты мне этот устав про десятину и суд?..

— Ныне не только на земле — на небе такожде идет суд, — глухо промолвил епископ, прислушиваясь к раскату грома.

Князь Владимир на мгновение зажмурил глаза, грудь его высоко вздымалась, потом взял перо и подписал устав.

— Спасибо, княже! Верь мне, не токмо мы, а все люди грядущего назовут тебя святым, с апостолами равным...

Владимир лег.

— Святой? — прошептал он. — Подобно княгине Ольге... Нет, не святой, не говори, что я равный апостолам, ибо утопал и утопаю в грехах.

— Ты утопал и мог утонуть в грехах, когда был язычником, княже. Но крещение — начало новой жизни, вместе с ним тебе отпущены все содеянные прежде грехи.

Лицо Владимира было очень печальным и беспокойным, а глаза, ставшие особенно большими, смотрели в раскрытое окно.

— Церковь и крещение отпускают грехи, — тяжело вздохнув, прошептал он, — но я не могу их простить себе.

— И апостолы совершали грехи, — слегка улыбнувшись, заметил епископ. — Один Бог без греха... А ты будешь, княже, святым в веках и равноапостольным.

— Не могу, не хочу быть святым, не мне, грешному, равняться с апостолами...

— Молчи, сын мой... Властью, данной мне Богом, разрешаю и отпускаю тебе все содеянные тобой грехи и буду молиться, дабы он, аще призовет тебя, принял туда, где все праведные успокоаются... Возьми себя в руки, княже, усни!

Воевода Волчий Хвост не уехал, как обещал князю, сразу же из Берестового. Покуда епископ Анастас был у Владимира, он все время сидел с несколькими воеводами и боярами в кресле в сенях, ожидая, видимо, епископа, ибо как только он вышел от князя, воевода последовал за ним.

— Какая темная ночь, — заметил епископ, останавливаясь за дверьми терема. — Жара, духота, гроза... В такую пору и здоровому тяжело, а Владимиру тем паче...

— Что думаешь, епископ? Не нравится мне князь.

— Полагаю, что это конец, — тяжело вздыхая, промолвил епископ. — Я, воевода, по глазам вижу, привык. Переживет ли ночь...

В непроглядной темноте они медленно пересекали двор. Время от времени вспыхивала молния, после которой все кругом казалось еще темней, совсем черным.

— Умирает и сам не верит, — продолжал епископ. — Впрочем, так всегда бывает. Срубишь у дуба корень, а лист все зеленеет... Ох, грехи, грехи!

— Что говорил князь? — поинтересовался Волчий Хвост.

— Твердит все свое, воевать с Ярославом собирается, ищет Святополка, молится на Бориса. Что только будет после его смерти, воевода?!

— Каждому овощу свое время, — Волчий Хвост засмеялся, — всякая живая тварь радуется о себе... Ты, епископ, как мне кажется, также о себе не забываешь...

— О чем глаголешь? — остановившись и схватив воеводу за плечо, спросил епископ.

— Видел у тебя в кармане княжью грамоту...

— Что ж, — резко бросил Анастас. — Имеем ныне под-
писанный князем церковный устав. Не о себе радею, о цер-
кви... Что, может, скажешь, плохо сделал?

— Нет, — ответил Волчий Хвост, — сделал ты правиль-
но... Давно пора. Государь повинен дать устав и церкви, и
боярству, и всем людям, каждому свое, потому и служим...
Только что сей устав, еще придет после Владимира недо-
стойный князь?

Небо снова прорезала молния — епископ и воевода сто-
яли рядом посреди двора и казались какими-то великана-
ми. Молния была так ослепительна, что на зеленый спорыш
даже не упали тени, вокруг ничего не было видно, лишь не-
далеке зачернело забытое кем-то ведро с серебристым
кружком воды.

— Воевода Хвост! — испуганно воскликнул епископ. —
Погоди, о чем толкуешь?

— Ни о чем не толкую, — ответил епископу Волчий
Хвост, — а знаю, еще придет в Киев Ярослав, он порвет ус-
тавы отца своего.

— А Борис? — спросил Анастас.

Воевода склонился к самому уху епископа.

— Бориса не принял даже Ростов, для чего же он, не-
мощный, квелый, Киеву?! Сын василиссы? А чем, чем ныне
Византия нам поможет? Да и тебе, епископ, ни с ним, ни с
константинопольским патриархом не по дороге...

— О, это так, — согласился епископ. — С патриархом
мне не по дороге.

Они подходили уже к воротам, при сверкании молнии за
околицей вырисовывались крытый возок епископа, не-
сколько оседланных лошадей, темные фигуры дворян,
гридней. Епископ остановился и схватил воеводу за руку.

— Так что же это? Что? Кто теперь сядет на киевском
столе?

Волчий Хвост помолчал.

— Токмо сын князя Ярополка и царевны, — прозвучал
из темноты его хриплый голос. — Святополк сильный, су-
ровый князь, он защитит бояр, людей, церковь.

— Но он далеко, в Польше?

— Ночь темна, ничего не видать, — намекнул Волчий
Хвост, — ежели что случится с Владимиром ныне, Свято-
полк до рассвета может быть в Киеве...

— Погоди, воевода, погоди, — не выпуская руки Волч-
его Хвоста, сказал епископ. — Святополк католик...

— Князь Владимир умирает, — сурово промолвил Вол-
чий Хвост. — Мы христиане, и католики также христиа-

не... Нашей веры на Руси никто не тронет. Да и что вера? Нам нужна сила, а уж за нею Бог.

Молния... У епископа белое, каменное лицо, неподвижные, точно стеклянные, глаза, закушенные губы.

— Ну, епископ, — насмешливо спросил Волчий Хвост, — согласен ли ты благословить Святополка?

Епископ молчал. За краткую минуту, что промелькнула от молнии до молнии, он вспомнил еще одну такую душную ночь под Херсонесом, когда он, предав константинопольского патриарха и ромеев, крался в темноте к стану Владимира и клялся ему в верности и любви...

То, что свершалось в эту ночь, было не ново. Он шел к Владимиру в поисках силы и славы, ныне силы князя Владимира исчерпаны, славу же епископ Анастас добудет только при посредстве Горы и Святополка.

— Я согласен, воевода! — сказал Анастас при нестерпимом блеске молнии и под страшный грохот грома.

7

Владимир уснул. Может, на минуту, может, на час, покой сошел на его усталую душу. Все позабыв, князь отдыхал.

Проснулся он от резкого удара грома над самой крышей терема и блеска молнии, заставившей его открыть глаза.

— Что это? — хотел крикнуть Владимир.

Однако случилось невероятное — князь крикнул, но не услышал собственного голоса — после удара грома за окном, в саду, внизу, в тереме и в палате наступило необычное, какое-то зловещее затишье, а голоса не было. Кругом тишь, безмолвие.

“Почему я не слышу собственного голоса? — подумал Владимир? — Может, опять сердце, голова?!”

Однако сердце билось, хоть и напряженно, но ровно, он видел вокруг себя все — свечу, корчагу с водой на столе, темное окно, ветви за ним, меч и щит Святослава, образ Христа на стене.

Только на душе у него было беспокойно, по-особому тревожно от предчувствия чего-то неминуемого, что неумолимо приближалось и охватывало его.

Владимир даже приподнялся, сел на ложе, протянул руку к корчаге, чтобы выпить воды...

И тогда он почувствовал, как сердце — на долгое, необычайно долгое мгновение — остановилось, напряженно вдрогнуло, забилося, а в голове вдруг поднялся свист, шум.

“Что это? Почему?” — обжигали, как молнии, мысли.

Князь думал не только о сердце и голове, они болят потому, что нет покоя душе...

“Поехал ли Волчий Хвост в поле?” — всплыла одна мысль.

“А зачем приходил епископ Анастас?” — отогнала ее другая...

Мысли возникали и исчезали, путались и нарождались снова.

“Сыновья! Где они? Бояре? А почему тут нет бояр? Где мои воеводы?”

“Нет, у меня никого, никого нет, я остался один, один...”

“И больной, совсем больной”.

Взгляд его упал на освещенный свечой образ Христа, и Владимир обратился к нему:

— Воззри же теперь на мя, воззри, ибо ты царь небесный, а я царь земной, и, кроме тебя, мне не к кому обратиться... Воззри, воззри, воззри, Христос, услышь, я тяжко страдаю, я гибну... Ты хочешь меня спасти, сойди с образа, помоги, спаси...

Он долго смотрел на образ и вдруг — на лице Христа, до сей поры темном, суровом, Владимир заметил что-то похожее на усмешку...

— Ты смеешься?! — воскликнул князь Владимир. — Почему ты смеешься, Христос? Нет, мне мерещится... Ты не можешь смеяться, тебя нет... Какое заблуждение! — застонал он. — Какое страшное заблуждение, ведь ничего, даже Христа, нет...

“Куда пойду? К кому обращаюсь?” — снова и снова громоздились мысли.

Предслава! Он вспомнил о ней, о своей дочери, которая живет так близко, сразу же за лесом, за стеной, на Горе... Она ведь любит его, как и он ее, не меньше, чем любил когда-то Рогнеду, дочь придет, прибежит сюда, стоит лишь позвать.

Но Рогнеда ушла в небытие, не услышав от него слов любви, с тех пор между ним и Предславой выросла стена — родная дочь стала точно чужой, поздно ее звать, никто, никто не придет к нему в эту страшную ночь.

И тогда он вспомнил одно, самое дорогое на свете существо, — свою мать, Малушу. Год проходил за годом, завер-

шалась жизнь, а он никак не мог свыкнуться с мыслью, что ее нет, верил, что она жива, только Гора, дружина, воеводы и бояре не пускают ее к нему.

Однако так продолжаться дольше не может. Теперь, когда он чувствует себя таким одиноким, больным, мать должна быть возле него, жить дальше без нее он не мог.

И Владимир решил, что немедленно, в эту же ночь, велит кликнуть клич, искать ее по всей Руси, пусть придет, сядет у изголовья, положит руку на его горячий лоб, а он с почетом поведет ее в Золотую палату, посадит рядом с собой, ибо она его мать, он пошел от нее и к ней возвращается.

Князь поднялся с ложа и без посоха, без поддержки чужой руки шагнул раз, другой, третий, так, как ходил когда-то.

Вдруг он остановился. Близ Берестового сверкнула молния, такая ослепительная, что в опочивальне стало светло как днем, молния, видимо, ударила в землю, потому что вдруг все загудело, зашаталось.

Владимир не слышал грома, — в сиянии молнии он увидел то, что было невероятным, непонятным, — на тропинке в саду за теремом князь увидел тень человека, отчетливо выделявшуюся на ковре зеленых трав. Там шла, опираясь на посох, старая женщина — такая, какой он представлял себе ключницу Малушу, свою мать.

— Мати! — вырвалось из груди князя Владимира. — Откуда ты взялась? Как пришла? Мати, иди ко мне! Ма-а-ти!

Но молния, должно быть, целила не только в землю, ее палящая искра впилась и в сердце Владимира, потому что он почувствовал нестерпимую боль, словно десять копий разом впились ему в грудь.

Когда-то такое могучее тело еще боролось, широко расставив ноги, он, хватаясь руками за воздух, стоял и ждал, чтобы боль утихла.

Владимир еще успел крикнуть:

— Люди! Дружина! Дружи-и...

Кто-то бежал из соседних покоев, внизу на лестнице слышались шаги — в светлицу поспешали бояре, воеводы, гридни...

Но великий князь Руси Владимир уже этого не слышал. Случилось невероятное — боль в груди утихла, но внезапно все вокруг погасло, огоньки свечей перевернулись и померкли, исчезло все: шум, свет, жизнь — и, точно сломанное копье, князь Владимир упал на пол.

В эту же ночь, немного позже, у крыльца терема в Берестовом остановились сани, запряженные четвериком борзых, сильных коней. По обычаю, мертвого полагалось везти только так; туда же примчались из города десятка два воевод, бояр, мужей.

В тереме тем временем обрядили тело князя Владимира, завернули его в ковер, гридни вынули несколько половиц и на ремнях спустили покойника в сени, потом прорубили в стене сеней отверстие и через него вынесли тело князя во двор.

Все это делалось тайком, дабы никто не узнал, что произошло ночью в Берестовом; никто не уронил слезы, не запричитал над телом князя Руси, лишь на подоконник светлицы, где он умер, один из гридней положил ломоть хлеба да плошку с сытой — на прокорм души.

Сани тронулись. Воеводы и бояре сели на коней, несколько человек двинулись пешком. Покуда ехали по двору, а потом дорогой по лесу, полозья скользили легко, ближе к городу, над Днепром, они стали зарываться в песок, и сани едва тащились, подпрыгивая на ухабах.

В городе, видимо, кое-кто уже знал о смерти Владимира — шествие то и дело встречали и присоединялись к нему всадники.

Гроза миновала, по небу ползли к низовью обрывки туч, и наконец в прогалине выглянул месяц, тоненький серпик нежно-голубого цвета.

Кони били копытами землю. В лесах и кустах по обочинам дороги кричали ночные птицы, где-то на Подоле, а потом на Горе пропели петухи, а издалека, из Заднепровья, неся многоголосый перепелиный крик.

И никто не замечал, да и никому не было дела до того, что за саними с телом князя Владимира поспешала какая-то старая женщина в темном платне.

В эту ночь Малуша не спала. В монастыре давно уже знали, что недалеко от них, в своем тереме, тяжело хворает князь Владимир; епископ Анастас, побывавший у него накануне, дал наказ священникам и братии служить молебен о здравии вельми больного князя Владимира, и они молились в церкви до позднего вечера.

Малуша поняла, что происходит: князь Владимир, ее сын, умирает, возле него нет ни жены, ни сыновей, ни одной родной души, все такие далекие, чужие...

Потому она решила во что бы то ни стало идти к князь-сму терему в Берестовое, добиться, на коленях умолять гридней, воевод, чтобы позволили ей, старой чернице, побыть около больного князя, помочь, а коли уж такова судьба, собственными руками закрыть ему глаза.

И Малуша пошла, хотя иочь была темная-претемная, над головой висели тучи, в небе то и дело сверкали молнии, гремел гром; пробиралась сквозь кусты, падала в промоины, спотыкалась о пни и иаконец очутилась совсем близко, в саду за теремом.

Малуша знала, что поступила хорошо, придя к сыну.

При свете молиии она увидела в темном окне Владимира, он стоял и протягивал к ней руки...

— Мати! Иди ко мне! Мати! — донесся его крик...

Что было потом? Разве Малуша знает? Она кинулась к терему, вбежала в сени, где стояли воеводы, бояре, гридни.

— Князь умер, — точно сквозь сон, долетело до нее, но когда она, сквозь рыдания, сбивчиво стала просить допустить ее, монахиню, к телу, чтобы обрядить князя, Малушу вытолкнули из сеней. Князя Владимира стерегли даже мертвого.

Малуша очутилась во дворе и стала недалеко от крыльца под деревом так, чтобы никто ее не заметил.

Она слышала шум, движение в тереме, видела, как к крыльцу подъехали сани, как из терема вышло несколько гридней с факелами в руках, как сквозь дыру в сенях вынесли тело.

Малуша вышла из тени, стала у саией, на которые положили тело князя Владимира, увидела при свете факелов его слегка утомленное, но уже спокойное лицо, припухшие веки, что иавсегда закрыли глаза, серебристые брови, что вздымались над лбом, пересеченным двумя глубокими морщинами, острый и длинный нос, скулы, седые усы над темным ртом — вот, собственно, и всё.

Она стояла над телом сына долго-долго, покуда бояре и воеводы о чем-то советовались между собой, и смотрела на Владимира. Ведь всю свою жизнь она так мало была с сыном. Гридни гасили факелы, воеводы все советовались, и никому не было никакого дела до старой согнутой монахини, безмолвно стоявшей над мертвым князем.

Сани троинулись, застучали копытами кони, зашуршали полозья, все поехали, пошли со двора — и Малуша двинулась вслед за ними. Опираясь на посох, она так спешила...

Думала о прошлом — она не могла этого не вспоминать. Перед ней встал далекий Любеч с его желтыми песками и

тот день, когда она под щитом брата Добрыни ехала на Гору, и хижина Ярины, и два камешка в сережках, что искрились при свете месяца, и трапезная, куда входят княгиня Ольга и Святослав...

На Малушу, шагавшую сейчас за санями, пахнуло счастьем далекого купальского вечера, представились среди этой темной ночи красные отблески костров, блестящие глаза княжича Святослава: "Я люблю тебя, Малуша!" Неужто, неужто это когда-то было?

Да, все это было! Была Гора, — потом Будутин, в хижине над Росью она родила сына — его, Владимира... "Качайся, люлька, с угла до угла, дитяtko малое, велика вина...", "Слушай, Добрыня, страшно мне, ой, как страшно! Душу ты забираешь у меня..." Неужто все это было?

Все было — и ничего больше нет. Не стало Святослава, вон в снях лежит Владимир, только она живет среди черной ночи — мать князя и все равно рабыня...

Но почему же вы так торопитесь, воеводы, гридни — сани все удаляются и удаляются, она ведь старая, немощная мать князя, — нет, того никто не знает, она, черница Мария, задыхается, не может поспеть за вами, даже за мертвым сыном!

Малуша остановилась... Нет, не поспевает... и куда идти, куда?... Где-то вдали еще слышался какое-то время лошадиный топот, голоса, и вот все затихло. Малуша стояла на лугу, где когда-то горели купальские костры.

9

Святополк еще до рассвета вышел из убежища — из терема воеводы Волчьего Хвоста, проник со своей дружиной, стоявшей под рукой на Подоле, в древний княжий терем, уселся в Золотой палате и велел будить бояр, воевод, мужей Горы.

О, суeta суeta быстротечного, проходящего, изменчивого мира! Не успели еще гридни — кликуны Святополка обойти Гору, как изо всех теремов к княжьим покоям заспешили бояре и воеводы, мужи лучшие и нарочитые, огнищане и тиуны.

Они шли во мраке душевной ночи, высекая о камни искры железными остриями своих посохов, тихо перебрасываясь словами о смерти князя Владимира, советовались, что сказать Святополку...

Княжий терем тесным кольцом окружала гридьба, в сенях стояли ближайшие воеводы Святополка, оглядывая всех заходивших и отправляя наверх.

Там, в Золотой палате, их ждал Святополк. Он сидел в углу палаты, недалеко от помоста, где под знаменами Святослава и Владимира стояло порожнее кресло; Святополк окружали воеводы Волчий Хвост, Слуда, бояре Вуефаст, Искусев, Коницар — все суровые, молчаливые.

Бояре и воеводы Горы безмолвно заходили в палату, пришел, поклонился Святополку и уселся на свое место справа от помоста и епископ Анастас.

И вот, неторопливо шагая, словно о чем-то раздумывая, поднялся на помост и остановился перед княжьим креслом Святополк. Он тревожно, пристальным взглядом окидывал палату, вглядывался в сотни глаз...

— Я созвал вас сюда, воеводы, бояре, лучшие мужи города Киева, в тяжкую годину, — начал Святополк. — Осиротела Русская земля, князя Владимира не стало... Сотворим ему вечную память...

По Золотой палате прокатился шум — люди переступали с ноги на ногу, но молчали, ждали.

— И хотя князю Владимиру еще не воздана погребальная почесть, по завещанию он отказался ее принять, но и тут, в городе Киеве, и повсюду на Руси ныне так тяжело, что должен был созвать вас говорить о нашей судьбе.

Глубокий вздох вырвался из многих грудей, тяжело жить на Руси, сердце каждого терзают беспокойство, забота.

— Тревожно у нас на юге, — продолжал Святополк. — Ромеи покорили болгар и вышли на берега Дуная, их хеландии бороздят Русское море, стоят в Херсонесе, поднимаются по Танаису...

Золотая палата зашумела, загудела множеством голосов:

— Вишь, куда метила Византия с ее императорами...

— Позор, позор ромеям!

А воеводы и бояре, которые стояли ближе к Святополку, кричали:

— Мечом рассчитаемся с ромеями...

Князь Святополк решительным взмахом руки оборвал крики — в палате тотчас наступила тишина.

— Всюду на Руси неспокойно, — продолжал он. — Чужую легкую поживу, за Днепром стали печенег, за ними с востока тянутся половцы, на севере Ярослав позвал свионов и готовится идти на Киев...

О, если бы князь Владимир был живой, мог стать тут, на помосте, и сказать:

“Люди родные, Русь, всю жизнь я звал вас на брань с врагами, только вчера я говорил о том же, хотел идти, вести вас... люди, поднимайтесь, люди Руси, бдите...”

Но Владимир лежал в холодном просторе Десятинной церкви, — немой, безгласный, и каждое слово Святополка обращалось против него, уже мертвого князя.

— Мне тяжело и стыдно говорить, мужи, — продолжал Святополк, — однако нет князя Владимира, нет и князей, иже повели бы рать русскую против врагов наших... Борис и Глеб, которых всемерно возвеличивал князь Владимир, суть немощны, они заодно с ромеями, они предадут Русь. Ярослав, князь новгородский, уже поднял меч на отца и готовится идти со свионами на Киев, Мстислав сидит в далекой Тмутаракани, Изяслава не стало. Что же, что сотворил ты, княже Владимир, почто народил таких сыновей; кто спасет теперь Русь?!

И разом воеводы и бояре, окружавшие помост, закричали:

— Служим тебе, Святополк!

— Быть тебе князем!

— Свя-то-пол-ка!

На какое-то мгновение, правда, возгласы эти оборвались. Один из старцев города Киева, боярин Ратша, поднялся со скамьи, схватился за голову и завопил:

— Что творится, мужи? Куда идем? Еще не остыло тело князя Владимира, а Святополк поносит его сыновей, всех нас. Мужи! Остановитесь! И ты остановись, Святополк, ибо будешь окаяннным вовеки!

Но к боярину уже кинулись воеводы и гридни Святополка, схватили под руки, поволокли.

В палате стало тихо — сила одолела силу, каждого, кто посмеет, подобно Ратше, подать голос, ждут позор, муки, смерть...

— Волим тебя, Святополк! — закричали воеводы.

— Святополка! — требовала Золотая палата.

Он стоял и, прищурившись, смотрел на мужей.

— Я поведу воев на Византию и князей Бориса и Глеба, иже вкупе с нею; я пойду на свионов и Ярослава, что пустил их на Русь. Зане против нас восстанет юг, восток и север, мне помогут польский князь и германский император...

В одной из светлиц, в самом конце темных переходов, на верху княжьего терема, горит свеча. Перед ней, приковав взгляд к рубленой стене, сидит женщина — льняные волосы, голубые глаза, грустное, точеное лицо — красавица, княжна полоцкая Рогнеда!

Но это не Рогнеда — и красота ее, и сама она уже в прошлом, ее нет — за столом сидит княжна Предслава, так похожая на свою мать.

И не только лицом, у Предславы такая же душа: услышав ночью о смерти отца, она долго плакала, молилась и еще раз все ему простила.

Предславу беспокоит другое — уже на Гору привезли и поставили в Десятинной церкви гроб с телом Владимира, она ходила туда прощаться, но ее не пустили. Не успев вернуться в терем, Предслава узнала, что туда ворвался со своей гридьбой князь Святополк, а сквозь полуоткрытые двери в светлицу долетают крики из Золотой палаты.

Свеча догорает. Капельки воска, словно большие слезы, медленно стекают по изгибам глиняного подсвечника и, остывая, густеют, несколько капель упало на кожаную харатню — им неизвестно, что вместе с ней они войдут в века, станут бессмертными. Свеча догорает, желтое пламя, слабее, мигает.

А глаза княжны Предславы все застилают и застилают слезы, они тоже падают на харатню, но слезы не вечны, они падают — и высыхают.

Рука дрожит, когда княжна пишет:

“Се ночью наш отец умер, а Святополк уже сидит в Киеве на его столе, хочет послати дружину на Бориса и Глеба, и ты, брат, блюдися его, поелику...”

Крики в Золотой палате нарастают, даже тут, в дальней светлице на верху терема слышно:

— Да здравствует князь Святополк!

Предслава вскакивает, сдавливает руками шею — рвется и рассыпается по полу зеленое монисто из Тмутаракани — подарок отца...

Взволнованная, растерянная, беспомощная Предслава становится на колени и старается собрать рассыпавшиеся камни.

Киев знал, что князь Владимир умер в Берестовом. На Горе, Подоле, в предградье и Оболини всем было известно, что гроб с его телом стоит в Десятинной церкви, все ждали, что покойнику князю воздадут погребальные почести.

Однако одновременно кто-то ширил слухи, будто князь Владимир завещал похоронить себя без всяких почестей и славы, в безымянном месте, без людей, как схоронили когда-то и жену его Рогнеду: он сделал, что мог, тело же принадлежит токмо земле.

И еще со страхом шептались в Киеве, будто ночью на Горе сын Ярополка, Святополк, собрал бояр и воевод, и они провозгласили его князем Руси, что Святополк уже послал дружины против сыновей Владимира Бориса и Глеба, Святослава волынского, а против Ярослава новгородского поведет рать сам...

Все с великим трепетом, и христиане, и люди старой веры, говорили, что Святополка благословил епископ Анастас, что Святополку обещают помощь польский князь, германский император и римский папа.

Киев волновался, Киев ждал.

Десятинную церковь весь день окружала гридьба, даже близко не подпуская никого. К вечеру гридью возглавили многие сотенные, несколько тысяцких, воеводы.

В глухую полночь от княжьего терема по тропе, что вела к Десятинной церкви, проследовала небольшая группа воевод и бояр. Остановившись на крутом склоне Горы над Подолом, они заговорили с тысяцкими.

— Весь день рвались к церкви, — слышался голос воеводы Слуды, — гридни едва сдерживали натиск...

— А сейчас? — спросил боярин Воротислав.

— Ждут и сейчас, вот тут, с Подола, и с той стороны, с Перевесища... Хотим, дескать, поклониться мертвому князю.

Воеводы и бояре стояли у обрыва. Перед ними во мраке и безмолвии тонули предградье, Подол, Перевесище, Щекавица, там, желая отдать погребальную почесть князю Владимиру, стоит тьма киевского люда — друзей и недругов, христиан и язычников.

— Пусть гридни будут начеку, не выпускают из рук копий, — велел воевода Волчий Хвост. — Мы же пойдем, воеводы и бояре!

Тихо отворились врата Десятинной церкви, в темных переходах замелькали огни свечей, слышался топот шагов.

В правом притворе стоял очень простой, сколоченный из свежих сосновых досок, закрытый гроб с телом князя Владимира. Возле него не было, как велел обычай, ни княжьего

копья, ни знамени. Свет упал на лица воевод Волчьего Хвоста и Слуды, бояр Воротислава, Вуефаста, Искусева... В углу у стены жалось несколько священнослужителей и каменщиков.

— Понесем, — сказал Волчий Хвост.

Воеводы и бояре подняли корсту на плечи.

— Помогите и вы! Со стороны головы! — бросил священнослужителям и каменщикам Волчий Хвост.

Несколько человек со свечами в руках медленно шли впереди. За ними, тяжело ступая, несли корсту воеводы. Шли среди пустынного храма. В полумраке, словно из воды, всплывали большие глаза, суровые лики святых. Вверху, под сводами, отзывалось эхо.

Направлялись к левому церковному притвору, где стояла рака с мощами княгини Ольги. Рядом с ракой были подняты половицы, сделаны ступени, в конце их, в выкопанной под полом яме, стояла каменная гробница.

В эту гробницу воеводы и опустили корсту с телом князя Владимира. Волчий Хвост склонился над гробницей, вынул из поясного кармана грош — серебро князя Владимира — и кинул его так, что все услышали, как монета, покотившись, зазвенела... Каменщики сразу же заложили и замуровали крышку гробницы. А когда бояре и воеводы поднялись наверх, каменщики торопливо принялись укладывать половицы.

Свечи догорали, половицы уложили, воеводы и бояре молча постояли у раки княгини Ольги и вышли из церкви.

Остался в Десятинной только Волчий Хвост. Он подождал, пока вдали не утихнут шаги, потом поднялся по ступеням на хоры, — там в темноте стоял князь Святополк, он видел, как несли гроб, опускали в яму, укладывали половицы.

— Вот все и кончилось! — сказал Святополку Волчий Хвост. — Пойдем, княже, на Гору.

Слабое желтое пламя свечей, мерцавших внизу, освещало лицо Святополка — суровое, со стиснутыми губами, черными глазами.

Более двухсот лет пролежит прах князя Владимира под дубовыми половицами Десятинной церкви. Когда орды Батыя ворвутся в Киев, церковь разрушат, изломают пол, раскидают кости Владимира, и никто потом о нем не вспомнит, не назовет в городе Киеве ни святым, ни равноапостольным.

Первые епископы Руси, начиная с Анастаса, и их преемники не захотят, да и не смогут возвеличивать сына рабыни, князя и василевса, хотя он и крестил Русь и дал в руки церкви власть, — они служили сыновьям Владимира, которые отступились от отца.

Потом на Русь придут греческие епископы и митрополиты — им ли было славить и провозглашать святым князя, который всю жизнь ненавидел Византию, ромеев, а они, в свою очередь, бесчестили его...

Только митрополит Иларион — первый русский митрополит, решительно поднявший свой голос против Византии, с гордостью говоря про Русь, “иже ведома и слышима есть всими конци земля”, вспомнит Владимира, который “заповеда по всей землѣ своей креститися... аще кто и не любовью, но страхом повелевшего крещахуся, понеже благоверие его с властью сопряжено...”, однако призыв Илариона был гласом вопиющего в пустыне.

У неведомого чернеца XII столетия, писавшего жития, с горечью вырывается:

“Дивно же есть се, колико добра сотворив Володимир Русской земле, крестил ю, мы же, христиане суще, не воздаем почести против оного воздаянию...”

И лишь лета 1249-го в день, когда новгородцы под знаменем своего князя разобьют под Ижорой и Невой полчища шведов, за что он и будет прозван Невским, Александр вспомнит своего прапрадеда, князя Владимира, и вместе с новгородцами помолится за него.

Так оканчивается повесть о князе Владимире.
А далее — Ярослав...

Киев — Конча-Заспа
1958 — 1961

КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Азнаур — дворянин (груз.).

Акрит — воин византийских пограничных войск.

Аланы — скифское племя, жившее на Кавказе.

Альтабас (алтабас) — ткань из Греции, Дамаска, Венеции; атлас (греч.).

Ани — один из крупнейших городов древней Армении.

Аспид — здесь: яшма.

Бабинец — особый женский притвор в древних церквях.

Бадана — кольчуга.

Базилики — в Древнем Риме общественные здания, предназначенные для суда и торговли. Они имели продолговатую форму и были разделены несколькими рядами колонн. Позднее, в христианский период, базиликами стали называть церкви.

Балиста — машина для метания камней у древних народов.

Банда — отряд в 200—400 пеших воинов (Византия).

Барлат — шелк, пропшитый серебряными или золотыми нитками.

Бармицы, бармы — оплечье, ожерелье.

Бахмут — пророк Магомет.

Бердыш — широкий топор с лезвием в виде полумесяца, насаженным на длинное древко.

Бессмертные — закованные с головы до ног в железо византийские всадники.

Било — доска; деревянный колокол; колотушка.

Бирич — чиновник, в обязанности которого входило объявлять народу распоряжения властей; глашатай.

Боил — воевода, военачальник.

Боляры — болгарская феодальная знать, крупные землевладельцы.

Борей (бореас) — север; северный ветер (греч.).

Бортъ — колода для пчел; дерево с ульем; пасека.

Боспор Киммерийский — Керченский пролив (греч.).

Братафулы — священные клятвенные чаши (швед.).

Братина — большая деревянная чаша; деревянный или медный сосуд с носиком и ручкой.

Бретяница — амбар, кладовая.

Бурмицкий жемчуг — персидский жемчуг.

Бусы — морские суда.

Валькирии — в мифологии скандинавских народов райские девы, которые по велению бога Одина решают исходы битв, даруют победу воинам или обрекают их на смерть.

Вапница — кисть.

Вапно — известь.

Варяжское море — Балтийское море.

Василевс — император (греч.).

Василих — императорский вестник, посол (Византия).

Вежа — башня.

Вежа, веверица — белка; шкурка белки в значении денежной единицы.

Весь — деревня, село.

Весь, меря, чудь — финские племена на севере Древней Руси.

Вечник, или ларник — княжеский писец и хранитель печати.

Вигла — караул, стража (Византия).

Видок — свидетель.

Визеры — министры (груз.).

Вина — выкуп, пеня.

Винис (виниса) — драгоценный камень; гранат.

Вира (вера) — денежная пеня, которой иногда заменяли смертную казнь.

Воздухи — покровы на сосуды со святыми дарами.

Волосинь (Волосыни) — созвездие Плеяды.

Воспатити — возратить.

Вресень — сентябрь.

Вретище — мешок; корзина.

Вуй — наставник; дядя по матери.

Выдыбай — выплыви, выйди на берег.

Гард — искаженное "город".

Гардарик — страна городов (от швед. чis — страна).

Гексамит (оксамит) — бархат (греч.).

Гимназия — здесь: дом для физических упражнений, от буквального значения слова: "упражняю в гимнастике" (греч.).

Гиперборей — мифические обитатели счастливой страны на севере.

Глайтейны — кропила (швед.).

Гирдманы — дружинники (швед.).

Гобино — богатство, изобилие.

Головник — убийца, преступник.

Гольмгард — город-остров. Так называли шведы Новгород, расположенный на берегах реки Волхов. В древности он еще был окружен рвом и валом, вокруг которых было много естественных рек и озер.

Гон — участок земли, место для охоты.

Гора Афон — священная гора, узкий гористый полуостров в Эгейском море.

Городница — часть городской стены в древнерусских городах.

Горючий камень — янтарь.

Горяне — жители киевской Горы.

Гостинец — большая дорога.

Гостинно — радушно, гостеприимно.

Гостиница, гостинца — хижина или навес у дороги, где путники могли укрыться от непогоды и отдохнуть.

Греческий огонь — воспламеняющаяся жидкость.

Гривна — золотой обруч, ожерелье.

Гривно — серебряная монета.

Гридьба, гридни — княжеские дружинники.

Давленина — мясо задавленного животного.

Дворянин — дворовый слуга.

Дегенельд — дань (швед.).

Детинец — кремль, крепость.

Дивитисский — парадное одеяние (Византия).

Динаты — буквально: сильные — византийская феодальная знать.

Диргеми, динары, драхмы — золотые и серебряные монеты.

Долбень — чекмарь, род большого деревянного молота, чурбан с вытесанной рукояткой.

Доместик — императорский телохранитель в Византии; великий доместик или доместик школ — начальник телохранителей; высокий воинский титул.

Домница — древняя печь для выплавки железа.

Древяне, поляне, кривичи — славянские племена.

Дромон — буквально: бегущий — византийский корабль.

Дротт — жрец, властитель (швед.).

Дука — губернатор.

Душник — всякое отверстие, пропускающее воздух.

Евшан (емшан) — полынь.

Еловец — флажок, украшение шлема древнерусского воина.

Емь, водь, саами, коми — северные племена Руси.

Жажель — цепь, ярмо.

Жеравец — рычаг для подъема тяжестей с помощью блока; журавль у колодца.

Забороло — городская стена; забор на городской стене или валу.

Загон — отряд, посланный с определенным заданием (на разведку, добычу продовольствия).

Задушный — неимущий; раб, освобожденный господином и для спасения души подаренный церкви; один из церковных людей.

Зарев — август.

Застава — заклад (взаимы).

Здатель — строитель.

Знамено — клеймо, печать, тавро.

Иверия — древнее название восточной части Грузии.

Изок — буквально: кузничек — древнеславянское название июня.

Итиль-река — Волга.

Ишханы — аристократия, знать.

Каган — правитель, хазарский хан.

Катихумений — покои василевсов (греч.).

Касоги — черкесские племена, жившие в низовьях Кубани.

Катаракт — подвижные заслоны в крепостных воротах.

Катун — стан; лагерь; хижина (болг.).

Кация — ручная кадилыница.

Кентинарий — мера веса и денежная единица. 15 кентинариев — около ста тысяч старинных червонцев (греч.).

Керкендида — Евпатория.

Керкиты, керкетон — патруль (Византия).

Киворий — навес над церковным престолом; дарохранительница.

Кимитрий — особое хранилище, тайник (греч.).

Китонит — служитель китона — внутренних покоев византийского императорского дворца.

Клепало — доска, в которую ударяли для созыва на молитву; било.

Клер — богатая усадьба у херсонитов.

Климаты — буквально: склоны гор — одна из областей Византийской империи, нынешний Южный берег Крыма.

Клир — собрание всех церковнослужителей; причетники и певчие.

Клисур — ущелье (болг.).

Ключ — единица русского флота.

Ключар — лицо, заведующее имуществом княжеским или церковным.

Кмет — правитель области (болг.).

Кнес (князь) — балка в потолке; конек на крыше.

Коловий — туника без рукавов (греч.).

Колода — здесь: бочка, долбленный улей.

Комит — правитель области в западной Болгарии.

Комитопул — сын комита.

Комонники — всадники.

Коммеркарий — сборщик податей (Византия).

Конец — квартал; улица в древнерусских городах.

Конклав — в переводе с латинского — комната на ключе. Место, куда в строгой изоляции от всего окружающего собираются кардиналы для избрания нового папы римского.

Конунг — князь (швед.).

Корабль церкви — основание здания, которое строилось в виде корабля, длинным четырехугольником.

Корзано — плащ знатных людей.

Корста — гроб.

Корсунь — Херсонес.

Корчев — современная Керчь.

Корчийница — кузница.

Крабица — короб, ларец.

Кравец — портной.

Кросно — ткацкий станок.

Кубарь (кубара) — корабль.

Кузнъ — различные изделия из железа.

Кумвария — грузовая лодка (греч.).

Куна — шкурка куницы в значении денег; денежная единица; деньги вообще.

Купа — засм.

Куропалат — высокий придворный титул в Византии, мажордом.

Кухоль — глиняный кувшин.

Лаба — первоначальное, славянское название реки Эльбы.

Лагман — управитель земли; судья (швед.).

Летгалы, земгалы, курши — древние племена, жившие у Балтийского моря.

Лимень — залив, лиман.

Личина — здесь: налобник, наличник, забрало.

Лов — охота; место для охоты.

Логофет — заведующий финансами (греч.).

Лойва — судно у новгородцев и финнов.

Лоры — см. бармы.

Лунница — ожерелье, подвески.

Лучшие мужи — люди, которых восточнославянские племена посылали в дружину князя.

Магистр — высокое придворное звание в Византии.

Мама — монастырь святого Мамонта в Константинополе.

Мара — призрак, привидение, домовая.

Менсураторы — землемеры, топографы (греч.).

Мепет-мепе — царь царей (груз.).

Местник — обыватель, местный житель; наместник.

Месячина — содержание для купцов на месяц.

Мечник — страж, оруженосец.

Мисяне — болгары.

Мостовщина — плата за проход по мосту или по дороге.

Мостник — строитель мостов, дорог.

Мусня — мозаика.

Мыто — пошлина за проезд через заставу или за провоз товара.

Мятел — длинный плащ.

Нав — мертвец; душа предка.

Накры — барабаны.

Намет — навес, шатер.

Нарочитый муж — именитый, знатный, принадлежавший к землевладельческой знати.

Насад — мореходное гребное судно с нашивными бортами.

Неаполь — здесь: древний город в Крыму; в настоящее время местечко в юго-восточной окраине Симферополя.

Нево — ныне Ладожское озеро.

Непраздная — беременная.

Неть — племянник, сын сестры.

Ноговицы — нижнее платье, штаны.

Нощьва — неглубокое корыто.

Обельный холоп — раб.

Обстоять — окружить.

Овощи древесные — садовые плоды.

Огницанни — богатый, знатный человек, владелец дома.

Одады — землевладения (швед.).

Озадок — наследство.

Ол — пиво.

Опасань — галерея.

Опашень — верхняя одежда с рукавами.

Оплит — тяжеловооруженный византийский пехотинец.

Опока — меловой известняк, белая глина.

Опоясанная патрикня — высокое придворное звание в Византии, дающее право на свободный вход во дворец.

Осрама — позор.

Остров Григория — остров Хортица у Днепровских порогов.

Охочни, охочии — добровольцы, охотники.

Паволок — драгоценная ткань.

Палаты Валгалла — в скандинавской мифологии жилище павших воинов; рай.

Пальметты — цветные или лепные украшения, по форме напоминающие листья пальмы (греч.).

Памфилы — легкие боевые суда (греч.).

Папия — начальник стражи; управитель византийского императорского дворца.

Паракимомен — буквально: спящий близ царя, постельничий; высшая придворная должность в Византии.

Паруса — здесь: косые плоскости церковного свода, его грани.

Патрикий — высший титул в Византии.

Перевара — чаш для варки меда и пива.

Перевесище — место в лесу для ловли птиц сетями.

Перу — берег залива Золотой Рог.

Перунов день — языческий праздник, день Перуна — бога грома и молнии — главного божества Руси времен князя Владимира. Впоследствии народные обычаи, связанные с этим днем, приурочены к Троицыну дню.

Платно — одежда; сорочка и иголовицы; платок, ткань.

Поветье — хлев, сарай.

Погост — усадьба, княжеский стан.

Полати — здесь: придел в верхнем церковном ярусе, хоры.

Половцы, кимаки, огузы — кочевые народы тюркского происхождения, вышедшие в конце X века из глубин Азии. Кимаки и огузы обосновались на северо-востоке от современного Аральского моря. Половцы — в южнорусских степях от Урала до Дуная.

Понт Евксиинский — буквально: Гостеприимное море — Черное море (греч.).

Полудень — юг.

Полуночь — север.

Поприще — мера длины, $\frac{2}{3}$ версты.

Пороки — стенобитные осадные машины.

Поруб — темница.

Послух — свидетель, сам не видевший фактов, но слышавший о них от других.

Постолы — обувь из сыромятной кожи.

Поток — наказание, которое, по воле князя, могло быть изгнанием с уничтожением имущества, заточением или обращением виновного в рабство.

Пресвитор — священник, настоятель собора (греч.).

Примучить — подчинить.

Припускать — допускать, дать волю в чем-нибудь.

Протевои — глава местного самоуправления, коивента в Византии.

Протоспафарий — высший государственный чин в Византии.

Проздр — буквально: председатель — первое лицо в Византии после императора.

Пытать с испытанием — допрашивать с расследованием, с испытанием.

Пятины — пять частей древней Новгородской земли.

Рака — гробница; ковчег с мощами святого.

Рало — соха.

Резан — мелкая монета в Древней Руси.

Резы — древнейшие русские буквы, которые резались на досках.

Робичич — сын робы (рабыни).

Родня — древняя крепость над Днепром, находилась ниже Киева.

Родопы — Балканские горы.

Рожен — кол; рогатина; вилка.

Ропата — мусульманская мечеть; молитвенный дом иноверцев.

Рота — клятва, присяга.

Рушати — здесь: в значении передвигаться, перемещаться.

Рыбий зуб — моржовая кость.

Рьнда — здесь: оруженосец.

Ряд — договор.

Рядович — простолюдин.

Саркел — древний город на Дону, столица Хазарии.

Свеарике, Свиония — Швеция.

Сволок — матица, потолочная перекладина, балка.

Сволочить — раздевать, грабить.

Сечень — февраль.

Синклит — собрание высших сановников (греч.).

Сифон — особым образом устроенная трубка для метания огня (Византия).

Скальды — странствующие певцы, иародиные поэты в древней Исландии и Норвегии.

Скань — изделия тонкой работы из крученой золотой и серебряной проволоки.

Склепища — погребя; подвалы, ледники.

Скудельник — гончар.

Скарамангий — верхняя одежда высших чинов Византии, предназначенная для выездов. По покрою напоминала кафтан.

Скарбница — казна.

Скотница — сокровищница.

Скураты, лавры — маски.

Слутый — слепой.

Смальта — здесь: цветное стекло для мозаики.

Смерд — земледelec. Постепенно эта категория сельского населения перешла в положение зависимых и крепостных.

Солунь — славянское название древнего города Фессалоники, ныне Салоники.

Соляной гостинец — древний путь из Киева в Крым.

Сочиво — чечевица.

Спафарокандидат, спафарий — придворные чины в Византии (спафарий — буквально: меченосец).

Средец — ныне София.

Стадия — греческая мера длины от 157 до 189 метров.
Стратиг — правитель фемы (см.) в Византии, буквально: полководец.
Стрелище — расстояние на один ружейный выстрел.
Студеница — здесь: болезнь, рак.
Студеное море — Белое море.
Сугдея (Сурож) — ныне Судак.
Сун — Древний Китай.
Сурожское море — Азовское море.
Сухота — чахотка.
Сущный — истинный, существующий.
Сыта — мед, разведенный водой.

Тагма — единица византийской кавалерии, строевая часть.
Таксиархий — отряд в 128 человек (Византия).
Танаис — древнее название Дона (греч.).
Термы — бани (греч.).
Ти — рабыня (швед.).
Тинг — торжественное собрание; вече (швед.).
Тиуны, емцы — сборщики податей.
Толстины, яриги — толстые грубые ткани.
Травень — древнерусское название апреля и мая месяцев.
Требити — расчищать.
Требище — жертвенник (треба — жертва).
Трел — раб (швед.).

Убо — ибо, потому что; стало быть, следовательно.
Убогие — нищие, бедные.
Убрус — полотенце, платок, скатерть.
Угры — венгры. Угорщина — Венгрия.
Узвар — взвар, компот.
Узорочье — золотые и серебряные украшения.
Укот — якорь.

Уютка — девушка.
Упруг — ребро судна, шпангоут.
Урент (Ургенч) — город в древнем Хорезме.
Уроки и уставы — подати, налоги.

Устав — древнейшая русская письменность: стоячие, строгой, простейшей формы буквы.

Устроить — укрепить.
Ухожен — угодие.
Учан — речное судно.

Фема — военно-административная область в Византии.
Фибула — металлическая застежка, напоминающая современную брошь (греч.).

Фофудия — здесь: восточная материя, тканная золотом.

Харатия — пергамент; кожа, приготовленная для письма.

Хеландия — византийский корабль (отсюда шаланда).

Хоз — козловая выделанная кожа — сафьян.

Хрисополь — ныне Скутарь (Шкодер), город в Албании.

Цветень — апрель.

Цка — доска.

Чаньянь — столица Древнего Китая.

Червень — старославянское название июля.

Чераленый — багряный, ярко-малиновый.

Черевьи — башмаки, сапоги.

Черные булгары — народ тюркского происхождения, к X веку слившийся с татарами и принявший ислам.

Черные клобуки — собирательное обозначение конников — кочевников.

Чернь — черная эмаль по металлу.

Четверик — мера сыпучего.

Чудь заволочская — одно из северных племен, жившее в Заволочье (в верховьях Онеги и Северной Двины).

Чуры — духи домашнего очага.

Шеляг — название монеты.

Шемаха — столица Шервана (совр. Азербайджан).

Шнека — плоскодонное судно.

Штрангуг — десант, высадка на берег.

Этериоты, этерия — конная гвардия византийского императора.

Ябедник — княжеский чиновник, судебное должностное лицо.

Ярл — у древних скандинавов начальник дружины.

Ятвяги — балтийские племена, жившие в верховьях Немана и на Буге.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая. Сын рабыни. <i>Перевод А. Дейча</i>	3
Книга вторая. Василевс. <i>Перевод И. Дорбы</i>	253
Эпилог. В Берестовом. <i>Перевод И. Дорбы</i>	435
Краткий пояснительный словарь	501

Литературно-художественное издание

Скляренко Семен Дмитриевич

ВЛАДИМИР

Р о м а н

Зав.редакцией *С.Никифоров*

Редактор *Л.Хренникова*

Художественный редактор *А.Пикулин*

Технический редактор *Г.Такташова*

Корректоры *З.Тихонова, В.Тищенко*

ИБ № 0044

Сдано в набор 24.12.90. Подписано в печать 22.04.91. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага газетная. Печать высокая. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л.
26,88. Усл. кр.-отт. 27,09. Уч.-изд. л. 30,33. Тираж 350 000 экз.

Заказ 1317. Цена 7 руб.

Издательство «Дружба народов» Государственного комитета по печати
СССР. 101424, Москва, К-6. ГСП, ул. Петровка, 26

Набор и диапозитивы изготовлены в ПО «КЕМА», 127000, Москва,
ул. Багрицкого, д. 1.

Отпечатано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Пе-
чатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110,
Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

7 p.

